

ШАРЛЬ  
ДЕ  
КОСТЕР

Легенда  
об  
Уленшпи-  
геле  
и  
Ламме  
Тудзаке  
их  
приключениях  
отважных  
забавных  
и  
достославных  
во  
Фландрии  
и иных  
странах

Шарль де Костер



ЛЕГЕНДА  
ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

ШАРЛЬ ДЕ КОСТЕР

Легенда  
об  
Уленишпеле  
и  
Ламме Гудзаке,  
их  
приключениях  
отважных, забавных  
и достославных  
во Фландрии  
и  
иных  
странах

  
Перевод с французского

Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Москва 1955

Перевод *А. Горнфельда*  
Стихи в переводе *С. Вышеславцевой*  
Редакция переводов *Н. Соколовой*  
Вступительная статья *Е. Гальпериной*

## ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

**М**аленькому Тилю Клаас дал два урока — урок Солнца, веру в мощь природы и земли, и урок Птички, гласящий, что живое существо нельзя лишать свободы. «Легенда об Уленшпигеле» покоится на этих двух началах народной жизни — на любви к родной земле и на исконном свободолюбии народа.

Эти два урока предполагают и третий, заключенный в книге Костера, — урок великой ненависти к угнетателям.

Книга Костера, подобно Уленшпигелю, не стареет, она вечно молода, как ее герой — народ. Рожденная потребностью национального самосознания, «Легенда» переросла рамки Бельгии и стала любимой книгой для каждого свободолюбивого народа. Мало оцененная при жизни ее автора, она, быть может, еще никогда не звучала с такой силой, как теперь, когда на разных концах земли народы, в борьбе против насилий современного средневековья, отстаивают свое существование и свою независимость.

Разве не современная фигура тот упомянутый в «Предисловии Совы» «политик, который, надев личину свободомыслия, неподкупности, любви к человечеству, улучив момент, потихоньку возьмет да и придушит человека или нацию?»

И в наши дни, как в «Легенде», на разных концах земли разыгрываются героические эпизоды национально-освободительной войны. Снова пытками и казнями палачи пытаются сломить народное сопротивление. И снова народы в единодушном порыве встают на борьбу против иноземных захватчиков. Но более всего современной кажется самая атмосфера героической «Легенды» Костера — ее пылкое свободолюбие и воля к борьбе, яростная ненависть к палачам, вера в торжество и бессмертие народа.

Шарль Анри де Костер (1827—1879) происходил из старинной фландрской семьи. Он не без гордости дважды упоминает в своей книге имя Костеров. Окончив университет, он долго работал в брюссельских архивах, изучая старинные хроники, народные песни и фарсы, а также народный французский язык XVI и XVII веков, который Костер ценил за его мужественность, суровую силу и звучность. На основе всего этого были написаны «Фламандские легенды» (1858), некоторые образы которых своей резкой антирелигиозностью, насмешливым свободомыслием и ненавистью к поработителям предвзвешивают книгу об Уленшпигеле.

В происходившей тогда в Бельгии политической борьбе между клерикалами и либералами Костер примыкал к левому крылу либеральной партии. Искренний демократ, он неоднократно выступал в печати в защиту бедняков и бастующих рабочих и резко разоблачал реакционных клерикалов. Однако несколько расплывчатый гуманизм этих выступлений Костера был далеко превзойден великолепным революционным взлетом «Легенды об Уленшпигеле» (1867). Причины этому надо искать в бурных социальных потрясениях, в накаленной политической атмосфере, царившей в Бельгии в конце 60-х годов.

В 1830 году вооруженное восстание освободило Бельгию из-под власти реакционного правительства Нидерландов, к которым она была насильственно присоединена во время Реставрации. Бельгия получила независимость, и тем самым после периода длительного застоя создавались предпосылки для ее капиталистического развития. Но власть не досталась народным низам, которые с оружием в руках завоевали независимость родины. В новой бельгийской монархии у власти оказались дворянство, клерикалы, либеральная буржуазия.

Естественно, что в стране, лишь недавно завоевавшей независимость, остро стояли задачи пробуждения национального самосознания, создания своей культуры и литературы. Во времена Костера существовало фламандское движение не только в политике, но и в области культуры, его деятели пытались поднять традиции старого фламандского искусства, пробудить интерес к народному творчеству и к прошлому Фландрии. Уже в годы борьбы за независимость в Бельгии стали появляться исторические романы (Кооманса, Богертса, Жюста, Сен-Женуа и других), а некоторые из них затрагивали даже темы национально-освободительной борьбы (романы Анри Мока «Лесные гёзы» и «Морские гёзы»). Однако они не оставили заметного следа в литературе.

Книга Костера представляла собой известный отклик на фламандское течение в области культуры. Но она решала задачи формирования национального самосознания в неизмеримо более широком и при-

том революционном плане. Более того, эти задачи разрешались Костером в обстановке конца 60-х годов, когда Бельгия вошла в полосу резких и кровавых классовых столкновений. 60-е годы были годами бурного промышленного роста Бельгии и открытых выступлений бельгийского рабочего класса, жестоко подавлявшихся властями.

Яркую характеристику Бельгии тех лет дал Маркс:

«Существует лишь одна страна в цивилизованном мире, где каждую стачку немедленно и рьяно превращают в предлог для официального избения рабочего класса. Эта обетованная страна — *Бельгия*, образцовое государство континентального конституционализма, уютный, хорошо отгороженный маленький рай помещиков, капиталистов и попов. Бельгийское правительство устраивает свое ежегодное избиеие рабочих с точностью, не уступающей ежегодному обращению земли вокруг солнца».\*

Годы выхода в свет «Легенды» совпали с жестокими репрессиями против бельгийских шахтеров. Пламенная ненависть книги Костера питалась, конечно, не только воспоминаниями о гёзах. Ее гнев разогрет кровью современников. Это время — годы деятельности I Интернационала, конгресс которого был в 1868 году созван в Брюсселе, годы массового подъема рабочего движения в Европе перед Парижской Коммуной, будившего грозное эхо в Бельгии. На этой почве и возникла гениальная книга Костера.

В резком и злом «Предисловии Совы» Костер подчеркнул его острый политический смысл, направленный против «мрачных сов» реакции, против Насилия и Коварства, царствующих не только во времена Филиппа II: «Разве и среди ваших ночей нет таких, когда рекой лилась кровь под ударами убийства, подкравшегося на войлочных подошвах, чтобы не было слышно его приближения? И разве ваша собственная история не помнит бледных рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, усеянные трупами мужчин, женщин, детей? Чем живет ваша политика с тех пор, как вы царите над миром? Кровопротитиями и избияниями».

И по-новому раскрывая символическое имя своего героя, как сокращенное «Улиден шпигель» (ваше зеркало), Костер гневно бросает: это «ваше зеркало, ваше, господа крестьяне и дворяне, управляемые и правящие: зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи».

Остро вставшие в Бельгии задачи формирования национального самосознания возникли в обстановке резких социальных столкновений в Бельгии и в соседних странах Европы. Вот почему так органически

---

\* К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XIII, ч. I, стр. 304.

связаны в «Легенде» темы национального и социального освобождения, вот почему они прозвучали в ней с такой силой.

Поэтому, обращаясь к национальной традиции, Костер связывает героя народных легенд Тиля Уленшпигеля с наиболее героической эпохой бельгийского прошлого — эпохой нидерландской буржуазной революции XVI века и великой национально-освободительной войны народа Нидерландов против испанского абсолютизма. В центре «Легенды» встал образ Великого гёза, борца против двойного гнета, национального и социального. Война за независимость, богатая героической и напряженными страстями, дала Костеру материал для эпического изображения народа.

Нидерланды XVI века были самой экономически передовой страной Европы, с высоко развитой промышленностью. Ранее сосредоточенная в городах, промышленность к этому времени проникает уже и в крестьянские провинции, ремесленники стали значительной силой не только в городах, но и в деревне. Нидерланды были страной цветущих городов. Обширная торговля связывала их со всем миром. В нидерландских портах стояли корабли всех флагов. Антверпен в это время был центром мировой торговли. С исключительным упорством и настойчивостью нидерландцы отвоевывали у океана куски скудной земли. В этой стране городов, изрезанной каналами с многочисленными искусно построенными шлюзами, общий уровень культуры был очень высок.

Вся совокупность исторических условий способствовала тому, что в народных массах Нидерландов складывался тот особый характер, который изображен Костером и ярче всего воплощен в фигуре его Уленшпигеля. Мужество, настойчивость, сила воли, предприимчивость и широта взглядов сочетаются в нем с полнокровным чувством жизни, духом независимости и чувством собственного достоинства.

Эти черты народного характера прежде всего были связаны с тем, что в Нидерландах XVI века назрели противоречия между феодализмом и капиталистическими отношениями, между буржуазией и плебейскими массами городов, между дворянством и крестьянами в деревне. Но первая в Европе буржуазная революция происходила в таких условиях, при которых она вылилась в форму широчайшей всенародной национально-освободительной войны против испанских захватчиков.

В «Легенде об Уленшпигеле» прекрасно показано, как народный характер закаляется, растет и мужает в испытаниях народной войны за независимость, как оттачивается он в ненависти к захватчикам и палачам, как в ходе борьбы он поднимается до высот героизма.

Костер написал «Легенду», а не исторический роман. Порой он несколько смещает события, многое пропускает, порой вольно поднимает характеры в легендарный и гиперболический план. Но самый воздух той бурной эпохи, напряженная атмосфера всенародной национальной войны воссозданы в «Легенде» с поразительной силой.

Передовая, богатая, промышленная страна, Нидерланды были подчинены Испании — огромной могущественной мировой монархии, воплощавшей феодальную отсталость, дух абсолютизма, религиозную реакцию, стране, которая, подобно огромному пауку, высасывала золото из Нидерландов. Важнейший источник испанских богатств был в Нидерландах. Оттуда шел в Испанию непрерывный поток золота, позволявший Испании одерживать ее блистательные победы. Испания выжимала золото из Нидерландов налогами, податями и сожжением еретиков. Введение инквизиции в Нидерландах имело целью не только уничтожение ереси, не только политический террор, но и систематическое ограбление нидерландских провинций. Кровавый указ Карла V 1550 года гласил, что еретики наказываются — «мужчины мечом, а женщины зарытием заживо в землю, если не будут упорствовать в своих убеждениях; если упорствуют, то предаются огню, собственность же в обоих случаях конфискуется в пользу казны». Половину собственности казненных получали доносчики. При Филиппе II, ставшем в веках символом жесточайшей кровавой реакции, политика террора еще усилилась. В «Легенде об Уленшпигеле» с потрясающей силой воспроизведено то мрачное время, когда доносы и обвинения в ереси, пытки и казни, костры и виселицы угрожали людям всех слоев, когда целые провинции были разорены и разграблены. Это не могло не привести к взрыву народного гнева.

Широкое распространение протестантизма в Нидерландах было ответом на разгул инквизиции. Ненависть к испанским угнетателям часто выражалась в форме борьбы против католицизма и его догматов. Но за религиозными формами войны, жесточайших преследований и распрей в книге Костера отчетливо проступает их социальное и политическое содержание.

«Легенда об Уленшпигеле» передает драматические события народной войны, занявшей вторую половину XVI века. В 1566 году в замке графа Кейлембурга нидерландское дворянство заключило «союз», принимая своим именем и символом имя «гёзов» — «нищих». В том же году разразилось стихийное движение иконоборцев, которое перекидывалось из провинции в провинцию. Народ в стихийной ярости против гнета инквизиции разгромил Антверпенский собор, громил и жег церкви. Костер ошибочно считает движение иконоборцев испанской провокацией. Но оно было действительно использовано испанской реакцией как предлог для военного вторжения в Нидер-

ланды В следующем году герцог Альба ввел туда испанские войска. В иронических репликах Уленшпигеля и его песнях отражены противоречия между народными массами и блестящими представителями нидерландской знати, подобными графам Эгмонту и Горну. Сначала примкнувшие к гёзам, но испуганные движением низов (Эгмонт жестоко усмирлял движение иконоборцев), они пошли на сговор с испанской монархией и по иронии судьбы пали первыми жертвами террора Альбы. Вильгельм Оранский бежал, чтобы собрать армию сопротивления. Началась полоса страшного террора, разгула инквизиции, насилий испанцев над населением. Протестанты в панике бежали за границу, цветущие провинции пустели. После того как войска Оранского вошли в северные провинции, широчайшее сопротивление охватило страну. Центром его стали северные промышленные и протестантские области, туда стягивались все боеспособные силы народа.

Десятилетия второй половины XVI века — патетическая картина того, как маленькая страна успешно выдерживает схватку с мировой монархией, покорительницей Европы и властительницей морей. Города выдерживали жестокие осады испанских войск. Широкое партизанское движение охватило людей самых разных профессий и слоев. В лесах действовали лесные гёзы, или лесные братья. Морские гёзы хозяйничали на океане и на Шельде, успешно занимая порты. Мы видим их в последних частях «Легенды», где рассказано, как под командой боевых адмиралов корабли гёзов сопротивлялись испанцам. Протестанты из других стран стекались в Нидерланды для борьбы. Вождем всенародного движения стал Оранский, образ которого правильно передает Костер. Он пытался сплотить всю страну в общенациональной войне, объединить северные и южные провинции, крестьян и горожан, католиков и протестантов для отпора испанским захватчикам. Именно с этой мыслью о необходимости широкого союза всех, кто стремился отстаивать независимость и свободу родины, связан в книге Костера символ «пояса», то есть «союза», проходящий как лейтмотив в «Легенде», и особенно в ее последней части. Лишь такой широкий союз мог привести к победе.

Однако этого единства не удалось достигнуть. Одержав решительные победы на севере, Оранский был разбит в южных провинциях, крестьянских и католических. В ходе войны резко обозначились и социальные противоречия внутри Нидерландов, которые лишь частично могли найти свое отражение в книге Костера. В ряде городов — Брюсселе, Генте и других — возникали революционные коммуны, «комитеты 18-ти», плебейская беднота городов пыталась отстранить буржуазию от власти, установить налоги на зажиточные слои. В страхе перед выступлениями плебейских масс, дворянство юга пошло на сговор с врагом. К 1579 году становится очевидным двойственный итог

национально-освободительной войны и распад Нидерландов. Семь промышленных и протестантских провинций севера, объединенных Утрехтской унией, продолжают борьбу. Победоносно отстояв свою самостоятельность, они вскоре превращаются в независимое буржуазное государство — Голландию. Южные провинции остаются под властью Испании. Борьба в них затихает. Из разоренных южных областей массами бегут на север ремесленники, купцы, буржуазия, интеллигенция. Бельгия погружается в многовековой сон, символизированный в «Легенде» сном Уленшпигеля, подобным смерти. Но замечательной, мужественной концовкой книги Костер намекает на будущее национальное возрождение. Уленшпигель, который, отряхиваясь, встает из могилы и уходит, распевая свою песнь, — это образ бельгийского народа, который, пробудясь после долгого сна, оживает для новых битв. Это образ народа, который может потерпеть временное поражение, но который бессмертен.

«Легенда об Уленшпигеле» в целом правильно воссоздает эту историческую эпоху, как и ряд подлинных событий. Тем не менее было бы неправильно оценивать ее как исторический роман или повесть. Жанр ее трудно определим. Реализм книги Костера сохраняет следы ее происхождения от народных легенд и во многом напоминает реализм Возрождения. Она вся пронизана фольклором, сказкой, фантастикой, свойственной фольклору. Но вместе с тем она впитала в себя и опыт литературы XIX века.

Самое же главное в «Легенде» Костера — то, что она эпически воссоздает героику народной жизни. В этом смысле «Легенда об Уленшпигеле» — произведение новаторское и необычное для западной литературы XIX века.

Основные черты поэтики «Легенды» связаны с тем, что она воспроизводит широкий эпический мир народной жизни в такую эпоху, когда весь этот широкий и пестрый мир приведен в движение, поднят до общенациональных интересов, втянут в большие события национально-освободительной войны. В полупоэтической форме, еще сохранившей связь с поэтикой народных книг, здесь раскрыта жизнь народа в состоянии революционных потрясений.

Естественно поэтому, что вся книга построена на резком контрасте — верхов и низов, реакции, воплощенной в испанских угнетателях, и народа Нидерландов, католического мракобесия и вольнодумного свободомыслия, Филиппа II и Уленшпигеля. «Легенда» построена на резком противопоставлении необычайно мрачной, трагической атмосферы террора, казней, пыток, мучений — и широкого, вольного, свободолюбивого характера народа Фландрии, солнечного, пол-

нокровного оптимизма, живущего в народе, который борется и побеждает. В некоторых фразах «Легенды» этот контраст предстает в виде отвлеченных понятий «добра» и «зла». Но вся «Легенда» в целом политически остро раскрывает его как противопоставление верхов и низов, испанских угнетателей и сопротивляющегося им народа.

Образ борющегося народа вырастает в основной образ книги. И борьба народа против черных сил реакции выражена в «Легенде» с такой силой оптимизма, с такой уверенностью в конечном торжестве народа и его бессмертии, что это поднимает книгу Костера до истинно революционного пафоса.

Воссоздание истории в «Легенде» близко к революционно-демократическому пониманию роли народа как активной, решающей силы истории. Именно так изображено там движение гёзов и народная война. В отличие от многих западных писателей, Костер не пытался сделать блестящих дворян, подобных графам Эгмонту и Горну, трагическими героями первого плана. Деятельность нидерландской знати оценивается им с точки зрения народных масс. Это ярко выражено, например, в том эпизоде, где Уленшпигель, сидя в каминной трубе, подслушивает переговоры дворянских вождей, сопровождая их ироническими репликами. Это выражено и в резкой песне Уленшпигеля: «Дворяне и попы — вот кто нас предал. Толкает на измену их корысть...» Костеру удалось передать не только ненависть народа к иноземным захватчикам, но и все большее осознание народом предательской роли нидерландских верхов.

К эпохе Филиппа II не раз обращались позднейшие писатели Запада, искавшие в его облике символ жестокой, черной реакции. Но они обычно противопоставляли ему фигуры одиноких гуманистов, сметаемых насильем. Они искали в той эпохе аналогий своей собственной судьбе — судьбе одиноких интеллигентов. Костер искал в этой эпохе другое — образ своего народа, каким он выразился в годы наивысшего напряжения народных страстей и народной борьбы. Поэтому даже Вильгельм Оранский, связавший свою судьбу с делом национального освобождения, не стал для Костера героем переднего плана, хотя Костер передал и значение Оранского для восстания и то доверие, которое испытывал к нему народ.

Народ в «Легенде» — не фон, не статисты. Борющийся народ возникает в книге в десятках живых, запоминающихся многообразных фигур: суровый протестант Симон Праат, печатающий библию на фламандском языке, ревностный кузнец, ночами куяющий оружие, храбрый силач Стерке Пир, крестьяне, сумевшие обмануть войска герцога Альбы, храбрые и веселые гёзы, жители Дамме, требующие медленной казни для предателя-рыбника... Для Костера народ — не сумма лучше или хуже написанных фигур. Народ — это единое целое,

связанное общностью страданий, гнета, жажды возмездия и прежде всего — общей борьбой. Книга Костера с необыкновенной силой раскрыла народную стихию, как стихию активного действия.

Среди множества фигур «Легенды» выделяются те, кто по замыслу автора, оставаясь живыми людьми, подняты до воплощения основных черт народного характера. Таков простой труженик Фландрии Клаас, с черными руками и чистым сердцем, — воплощение труда и мужества. Таковы Сооткин, мать Уленшпигеля, — образ верности и твердости, и Неле, его подруга, — «сердце Фландрии», воплощение поэтического и женственного начала. Таков и Ламме Гудзак — «брюхо Фландрии», воплощение плотской, чувственной стороны народной жизни.

Все эти и многие другие черты национального характера соединяет в себе Уленшпигель. Как и его отец, он труженик и мастер на все руки. Весельчак и насмешник, он готов на любую озорную проделку. Подобно Ламме Гудзаку, он познал цену всем чувственным радостям жизни. Как Неле, он знает мир нежных и глубоких чувств. Подобно Сооткин, он может выдержать любые пытки и испытания. Пытливый и любознательный, он одержим страстной любовью к жизни. Но все черты Уленшпигеля подняты и озарены в нем его великой любовью к родине, к земле Фландрии, его великой ненавистью к врагу. Простой сын угольщика, он вырастает в образ Великого гёза. Это дух народа и дух восстания. Более того, Уленшпигель — это неумирающий, вечно юный «дух Фландрии», эпический образ народа, вобравший в себя все существенные стороны национального характера.

Где же истоки этого образа?

Уленшпигель — герой народных легенд, по преданию большой плут и забавник, живший в XIV веке. Известны две его могилы, одна в Мёлльне, другая в Дамме, на плитах которых высечены символические знаки Уленшпигеля — сова и зеркало. Жил он в действительности или нет, но народ сделал его героем многочисленных плутовских историй.

Первые версии похождения Уленшпигеля сложились на фламандском языке. Наибольшее распространение они получили в Германии и Нидерландах, но многочисленные варианты и переводы приключений Уленшпигеля появились с течением времени на фламандском, французском, итальянском и других языках. Любопытно, что народная книга об Уленшпигеле числилась в списке запрещенных книг, который был составлен в Нидерландах во времена террора Альбы.

Уленшпигель народных книг — весельчак и проказник, зубоскал и плут. Но за маской балагура уже там виден народный герой, утверждающий дух независимости, презрение к авторитету церкви и власти. В шутовских проделках Уленшпигеля, буквально выполняющего

приказы своих хозяев, видна издевка над буквой закона А заключительный эпизод, передающий, как Уленшпигель был похоронен стоя, так как гроб его никак не ложился в могилу, открыто говорит о бунтарском духе, о непокорности, сопротивляющейся даже смерти. Уже народный образ Уленшпигеля в своей плутовской жизнерадостности несет в себе черты человека Возрождения — дух независимости, достоинства, утверждение свободной мысли и широкой любви к жизни. Однако этот образ еще очень далек от той политической остроты, которую он приобрел в «Легенде» Костера.

Костер перенес Уленшпигеля из XIV в XVI век и, отправляясь от народных легенд, создал образ, наполненный уже иным содержанием, — образ гёза, борца за независимость родной страны.

Обращение к фольклору дало жизненность и полнокровие образу Уленшпигеля и книге в целом. Но важно подчеркнуть творческое переосмысление фольклора Костером. Народное творчество для него не объект красочных цитат и деталей, не источник стилизаций, всегда искусственных и бесплодных. В книге Костера образы народного творчества озвучены передовыми идеями и чувствами его времени. Найденные в фольклоре черты национального характера перечеканены в характер, неизмеримо более сложный, более современный, который стал близким передовому читателю нашей эпохи.

Черты Уленшпигеля народных книг переосмыслены Костером. Правда, в первой части «Легенды» ряд эпизодов почти дословно воспроизводит плутовские проделки фольклорного Уленшпигеля. Но его глубокая жизнерадостность, чувство жизненной полноты, подчеркнутое с самого начала и являющееся одной из определяющих его черт, — уже сразу, в начале книги, получают у Костера философское осмысление. Уленшпигель раскрывается в пророчествах Катлины как дух народа, вечно юный и бессмертный. А в противопоставлении Уленшпигеля Филиппу II, проходящем через всю «Легенду» с первых ее страниц, образ народа во всей его жизненности и человечности противостоит реакции, как Жизнь — Смерти.

К концу первой части образ Уленшпигеля вполне определяется и далее становится все значительнее. По словам Ромена Роллана, фламандская лисица скрещена здесь с волком. Сохраняя свою великолепную жизнерадостность и насмешливость, Уленшпигель уже дышит иным — гневом и ненавистью народа к палачам. После казни К्लाаса Уленшпигель становится воплощением Восстания и Возмездия. «Пепел К्लाаса стучит в мое сердце» — отныне эти слова сопровождают всю жизнь Уленшпигеля как героический лейтмотив.

Костер переосмысливает даже самое его имя. «Тиль» (Тильберт) означает подвижный, прыткий. Но самая подвижность Тили у Костера уже иная. Это не только насмешник и плут, шатающийся по стране.

Худой, быстрый, неуловимый, он стремительно пронесется по стране, как пламя, как ветер восстания, как вездесущий мститель и борец, соединяющий в едином порыве всех, кто на пенье жаворонка отвечает пеньем петуха.

Костер переосмысливает и шутовское озорство Уленшпигеля. Такие эпизоды, как явление предателю духа убитого Михиелькина или мнимая крестьянская свадьба, позволяющая крестьянам прогнаться через войска Альбы, — как бы выросли из проделок народного плута. Но они получили новый смысл, они становятся эпизодами народной войны, вбирая в себя пафос народного гнева.

Уленшпигель народных сказаний — удачник. Он выходит из самых трудных положений. Он всегда в выигрыше, ибо он находчив, остроумен и жизнерадостен. Уленшпигель Костера тоже удачлив: его не берет ни пуля, ни виселица. «О, я в огне не горю и в воде не тону», — говорит он о себе. Но, подняв его до символа народа, Костер по-новому осмысливает и его удачливость. Уленшпигель — неуловимый, неумирающий, вечно юный, как сам народ. Дерзкая и легкая жизнерадостность Уленшпигеля воплощает у Костера вечную молодость, бессмертие народа. Отсюда выросли и смелые символы «Легенды». Хотя к концу книги Уленшпигелю должно быть около шестидесяти лет, он, как и Неле, остается юным. Это та идеализация, та гиперболизация образа, которую мы встречаем в народном эпосе, в фольклоре.

Если с народом связывает Костер идею бессмертия, то с «верхами», правителями — образы смерти. Если в Уленшпигеле и во всей плеяде народных образов подчеркнута полнота жизни, то в Филиппе II, в палатах нидерландского народа, в предателях — физическое и моральное вырождение, извращенная ненависть к людям; на них лежит печать смерти.

Сделав народ центром своего эпического повествования, Костер подчеркнул, насколько его персонажи — Клаас, Сооткин, Ламме, Неле и прежде всего Уленшпигель — плоть от плоти родной земли. Полнота и сила жизни, свойственные людям народа, усилены яркостью материального, чувственного мира, воссозданного в «Легенде». С первых строк мы видим залитую солнцем прекрасную землю Фландрии. Она изображена Костером как бы в восприятии ее народом, с глубоким патриотическим чувством, с лиризмом и вместе с тем с юмором. Так, описывая весну и «упойтельное цветение боярышника, роз, жасмина», Костер тут же деловито говорит о «трудоу музыка пчел», о том, что корзинщики, столяры, бочары делали улья. Рисуя жаркий день в Дамме, когда еле шевелятся листочки деревьев, Костер иронически замечает, что «в полях слуги церкви и аббатства собирали тринадцатую долю урожая в пользу патеров и аббатов».

В своем восхищении мощью земли, мощью природы Костер как бы пытается воскресить дух Возрождения, живущий и в его герое Уленшпигеле, противопоставляя его лицемерному ханжеству церкви, католическому мракобесию как XVI, так и XIX века. Торжество земного, чувственного начала очень сильно в книге Костера. Это связано и с фольклорными истоками книги, и с традициями литературы Возрождения, в частности Рабле, и еще более непосредственно с традициями фламандской живописи. Вся фигура Ламме Гудзака, весельчака и обжоры, толстого и кроткого Санчо Пансы «Легенды», жанровые сцены в кабаках связаны с образами старого фламандского искусства. Картина символического праздника весенних духов кажется непосредственно списанной с «Вакханалии» Рубенса.

Однако Ромен Роллан был прав, когда он в своем блестящем очерке об Уленшпигеле предостерегал от чрезмерного сближения Костера с Рабле, от преувеличения фальстафовских интонаций книги, которые не должны скрывать ее, по словам Роллана, мрачный, трагический колорит: «Смех фламандского Уленшпигеля — личина смеющегося Силена, скрывающая неумолимое лицо, горькую желчь, огненные страсти. Сорвите личину! Он страшен, Уленшпигель. Сущность его трагична».

Действительно, возрожденческое торжество плоти не носит в «Легенде» самодовлеющего характера, оно — лишь сторона народной жизни, как Ламме Гудзак — лишь сторона народного характера. Однако не менее односторонне считать сущность «Легенды» мрачной и трагической и видеть в смехе Уленшпигеля — лишь его личину, маску. Да, страшны, нечеловечны мучения и пытки, описанные на страницах книги Костера. Мрачно то исступление ненависти, которое охватывает толпу, требующую медленной казни предателя-рыбника. И Костер умеет найти для выражения этой ненависти необычные, сильные образы. Какой романтически-мрачный пейзаж служит фоном для этой сцены: черные тучи, с безумной быстротой мчащиеся по небу, грохочущее черное море, небо, омрачившееся, как пасть преисподней, волны, яростными, нетерпеливыми толчками сотрясающие друг друга. . И все же не трагизм, не страдания, не мученичество определяют колорит «Легенды». Это также лишь стороны воссозданного в ней широкого мира народной жизни. «Легенда об Уленшпигеле» — книга не мучеников, но борцов, идущих через борьбу и испытания к победоносному будущему.

«Легенда об Уленшпигеле» — героична. Она проникнута неудержимым оптимизмом, который несет с собой восставший народ. Свободолюбие, ненависть к поработителям, жажда возмездия, пафос народной войны — вот что более всего определяет собой боевой, героический дух этой книги. Эпическим величием проникнуты сцены сожже-

ния Клааса и клятвы матери и сына. Уленшпигель берет пепел из сердца отца, и отныне все, что происходит, связано с этим пеплом, «стучащим в сердце» Уленшпигеля. Упорством и сопротивлением палачам полны Сооткин и ее сын, когда, корчась в пытках, они повторяют слово «рыбник» как символ возмездия, дающий им нечеловеческую силу духа. Каким неукротимым духом борьбы проникнут замечательный эпизод, разыгрывающийся в кабачке Куртре, когда Уленшпигель и семеро мясников в нарастающем напряженном ритме поют грозный, страшный, все повторяющийся припев гёзов: «Время звенеть бокалами!»

Героический дух «Легенды», как в фокусе, собран в образе Уленшпигеля. «Благословенны скитающиеся ради освобождения родины», — говорит Уленшпигель. Он мог бы стать мастером и зажиточно жить. Но пепел Клааса стучит в его сердце. И он вербует солдат для войск Оранского и обходит провинции, призывая к борьбе, убивает предателей и шпионов и берет Бриль вместе с морскими гёзами, становясь прообразом тех тысяч и тысяч людей, которые, скитаясь по родной земле, отдают себя на дело восстания.

Но как при этом Уленшпигель далек от жертвенности, аскетизма, от напыщенного «героизма» интеллигентских революционеров. Дерзкий, насмешливый, веселый, в своих лохмотьях и шляпчонке с торчащим пером — он полон жизни, переливающейся в нем всеми оттенками и бьющей через край. Эта жизненная полнота, это богатство души, остающейся легкой и естественной в своем героическом взлете, — признак истинной народности и Уленшпигеля и всей книги Костера.

Читая ее, снова и снова изумляешься раскрывающемуся в ней поистине шекспировски богатому, широкому и пестрому миру народной жизни, народных страстей.

В ней все: цветущая земля Фландрии, высокая любовь и грубоватое веселье народного фарса, страдания народа в годы испытаний, труд, и война, и неугасимая народная ненависть.

Вот откуда вырастают поражающие читателя контрасты «Легенды»: рядом — грубоватая чувственность любовных утех Уленшпигеля и целомудренная, прозрачная чистота Неле. Рядом — насмешливый народный юмор и мрачный пафос мести. После костров и пыток — чудесные солнечные пейзажи родины, после кошмарных видений инквизиции — весенние прелестные строки о губах, которые слаще, чем земляника по утрам.

Мы видим здесь то живое, естественное многообразие, которое происходит от стремления Костера открыть в прошлом широкий мир народной жизни. Эта попытка удалась Костеру. Отсюда неумирающее значение его книги.

«Легенда об Уленшпигеле» не лишена некоторых недостатков. Есть известный разрыв между плутовскими эпизодами первой части и дальнейшим развитием образа Уленшпигеля. Порой, особенно в описании праздника весенних духов, Костер грешит натуралистическими излишествами. Неудачны морализирующие символы семи пороков, которые после народной победы должны превратиться в семь добродетелей. Бескровными кажутся стихи рядом с сильной, поэтической прозой. Но эти частности не могут затемнить эпического величия книги Костера.

«Легенда» не имела широкого успеха у современников. Костер не узнал при жизни славы и умер в нищете. Однако его книга не имела успеха скорее благодаря своим достоинствам, чем недостаткам. Костер был поддержан лишь немногими передовыми интеллигентами, такими, как иллюстрировавший его книгу художник Ф. Ропс, писатель К. Лемонье и другие. «Легенда» была замолчена буржуазией, которая не могла примириться с воинствующим свободомыслием и свободолобием этой книги. Но и в передовых кругах того времени книга Костера не нашла достаточно широкого отзвука. Только гораздо позже, в XX веке, «Легенда о Тиле Уленшпигеле» стала для народов всего мира одной из самых живых и любимых книг прошлого.

Английский писатель-коммунист Ральф Фокс, намечая в своей книге «Роман и народ» пути развития героического и эпического искусства наших дней, назвал «Легенду» подлинным революционным эпосом XIX века, он находил, что «в ней выражена самая сущность человеческого бунта против угнетения».

Вот почему для народных, мужественных и богатых духом героев современной революционной борьбы остается такой живой традицией покоряющий нас герой «Легенды» — Великий гёз, жизнерадостный и смелый, вечно юный, бессмертный Уленшпигель.

*Е. Гальперина*

ПРЕДИСЛОВИЕ  
С О В Ы







ОСПОДА художники, государи мои  
господа издатели, господин поэт, я  
должна сделать вам несколько замеча-  
ний касательно вашего первого изда-  
ния. Как! В этой книжной громадине,  
в этом слоне, коего вы, в количестве  
восемнадцати человек, пытались толк-  
нуть на путь славы, вы не нашли са-  
мого крохотного местечка для птицы

Минервы, мудрой совы, совы благоразумной? В Герма-  
нии и в этой столь любимой вами Фландрии я непре-  
станно путешествую на плече Уленшпигеля, который так  
прозван потому, что имя его обозначает *Сова и Зеркало*,  
*Мудрость и Комедия*, Uyl en spiegel. Жители Дамме, —  
где, говорят, он родился, — по закону стяжения гласных

и по привычке произносить «Уу» как «U» произносят «Уленшпигель». Это их дело.

Вы же сочинили другое объяснение: «Ulen (вместо Ulieden) spiegel» — ваше зеркало, ваше, господа крестьяне и дворяне, управляемые и правящие: зеркало глупостей, нелепостей и преступлений целой эпохи. Это было остроумно, но неблагоприятно. Никогда не надо порывать с традицией.

Быть может, вы нашли причудливой мысль воплотить Мудрость в образе птицы мрачной и нелепой — на ваш взгляд, — педанта в очках, балаганного лицедея, любителя потемок, беззвучно налетающего и убивающего раньше, чем слух уловит его появление: точно сама смерть. И однако, притворно-простодушные насмешники, вы похожи на меня. Разве и среди ваших ночей нет таких, когда рекой лилась кровь под ударами убийства, подкравшегося на войлочных подошвах, чтобы не было слышно его приближения? И разве ваша собственная история не помнит бледных рассветов, тусклым лучом озарявших мостовые, усеянные трупами мужчин, женщин, детей? Чем живет ваша политика с тех пор, как вы царите над миром? Кровопролитиями и избиениями.

Я, сова, скверная птица, убиваю для того, чтобы жить, чтобы кормить моих птенцов, а не для того только, чтобы убивать. Если вы попрекаете меня тем, что мне случилось сожрать птичий выводок, то не могу ли я попрекнуть вас избиением всего, что дышит на этом свете? Вы наполнили целые книги трогательными рассказами о стремительном полете птицы, о ее любовной жизни, о ее красоте, об искусстве вить гнездо, о страхе самки за детенышей; и тут же пишете, под каким соусом надо подавать птицу и в каком месяце она жирнее и вкуснее. Я не пишу книг, помилуй бог, не то я бы написала, что когда вам не удастся съесть птицу, то вы съедаете гнездо, лишь бы зубы не оставались без дела.

Что касается тебя, легкомысленный поэт, то ведь тебе выгоднее было указать на мое участие в твоём творении, из коего по малой мере двадцать глав принадлежат мне — прочие оставляю в полную твою собственность. Это еще наименьшее зло — быть неограниченным владыкой всех глупостей, которые печатаешь. Поэт, ты без разбора обличаешь тех, кого называют палачами родины, ты

пригвождаешь Карла V и Филиппа II к позорному столбу истории, — ты не таков, как сова, ты неблагоприятен. Уверен ли ты, что в этом мире уже нет ни Карлов Пятых, ни Филиппов Вторых? Не боишься ли ты, что внимательная цензура найдет в чреве твоего слона намек на знаменитых современников? Зачем ты тревожишь в могиле мирный сон этого императора и этого короля? Зачем ты лаешь на таких особ? Кто ищет ударов, от ударов погибнет. Есть люди, которые тебя не простят ни за что, да и я тебя не прощаю, ты нарушаешь мое благополучное мещанское пищеварение.

Что это за упорное противопоставление ненавистного короля, с детства жестокого, — на то ведь он и человек, — фламандскому народу, который ты хочешь изобразить нам таким героическим, жизнерадостным, честным и трудолюбивым? Кто сказал тебе, что этот народ был хорош, а король плох? Я могла бы самыми разумными доводами доказать тебе противное. Твои главные действующие лица без исключения дураки или сумасшедшие: твой сорванец Уленшпигель берется за оружие, чтобы бороться за свободу совести; его отец, Клаас, умирает на костре ради утверждения своих религиозных убеждений; его мать, Сооткин, терзает себя и умирает после пытки, потому что хотела сохранить счастье для своего сына; твой Ламме Гудзак идет в жизни прямым путем, как будто на этом свете достаточно быть добрым и честным; твоя маленькая Неле всю жизнь — что не так плохо — любит одного человека... Где видано нечто подобное? Я пожалела бы тебя, если бы ты не был смешон.

Однако я должна признать, что рядом с этими нелепыми личностями у тебя можно найти несколько фигур, которые мне по душе. Таковы твои испанские солдаты, твои монахи, сжигающие бедный люд, твоя Жиллина, шпионка инквизиции, твой скаредный рыбак, доносчик и оборотень, твой дворянчик, прикидывающийся по ночам дьяволом, чтобы соблазнить какую-нибудь дуру, и особенно этот «умница» Филипп II, который, нуждаясь в деньгах, подстроил разгром святых икон в церквах, чтобы затем покарать за мятеж, коего умелым подстрекателем был он сам. Это еще наименьшее, что можно сделать, когда ты призван быть наследником своих жертв.

Но, мне кажется, я говорю попусту. Ты, быть может, и не знаешь, что такое сова. Сейчас объясню тебе.

Сова — это тот, кто исподтишка брызжет клеветой на людей, которые ему почему-либо неудобны, и, когда ему предлагают принять на себя ответственность за свои слова, благоразумно восклицает: «Я ничего не утверждаю. *Говорят...*» Он отлично знает, что эти «*говорят*» неуловимы.

Сова — это тот, кто втирается в почтенную семью, ведет себя как жених, бросает тень на девушку, берет займы и, не расплатившись с долгами, исчезает, когда больше взять нечего.

Сова — политик, который, надев личину свободомыслия, неподкупности, любви к человечеству, улучив момент, потихоньку возьмет да и придушит человека или нацию.

Сова — это купец, который подделывает вина и съестные припасы, которые вместо питания вызывают несварение, вместо удовольствия — ярость.

Сова — это тот, кто ловко крадет, так что его не схватишь за шиворот, тот, кто защищает ложь против правды, разоряет вдову, грабит сироту и торжествует в сытости, как другие торжествуют в крови.

«Совиха» или «совица» — как хочешь, без игры слов — это женщина, которая торгует своими прелестями, растлевает лучшие чувства молодых людей, заявляя, что это она их «развивает», и оставляет их без гроша в кармане в том болоте, куда втянула их.

Если она печальна иногда, если вспоминает, что она женщина, что она могла бы быть матерью, я ее не признаю. Если, измученная этим существованием, она бросается в воду, — это сумасшедшая, недостойная жить.

Осмотришься вокруг, захолустный поэт, и сочти, если можешь, сов мира сего; подумай, разумно ли нападать, как ты делаешь, на Силу и Коварство, этих царственных сов. Углубись в себя, произнеси твое *Mea culpa* \* и вымоли на коленях прощение.

Твое доверчивое неразумие занимает меня однако; и потому, невзирая на известные мои привычки, я предупреждаю тебя, что предполагаю незамедлительно обличить резкость и дерзновение твоего слога пред моими литературными родичами, сильными своими перьями, клювами и очками. Люди рассудительные и педантичные, они

---

\* *Mea culpa* — мой грех (лат.).

умеют в самой милой, самой пристойной форме, под всяческими дымками и затушевками, рассказывать молодежи любовные истории, родина которых не только Кифера и которые могут в течение одного часа совершенно незаметно «довести до точки» самоё целомудренную Агнесу. О дерзновенный поэт, так любящий Рабле и старых мастеров, эти люди имеют пред тобой то преимущество, что, оттачивая французский язык, они в конце концов сведут его на нет.

*БУБУЛУС БУБ*



Книга первая







И



ГОРОДЕ Дамме во Фландрии, в ясное майское утро, когда распустились белые цветы боярышника, родился Уленшпигель, сын Клааса.

Повитуха, кума Катлина, завернула его в теплые пеленки, присмотрелась к его головке и указала на прикрытую пленкой макушку.

— В сорочке родился, под счастливой звездой, — сказала она радостно.

Но вдруг жалобно застонала и показала черную родинку на плече ребенка.

— Ах! — вздохнула она. — Это черная метка чертова когтя.

— Стало быть, — сказал Клаас, — господин сатана изволил очень рано подняться, если он уже удосужился отметить моего сына.

— Он еще и не ложился, — ответила Катлина, — ведь петух только начинает будить кур.

И, положив ребенка на руки Клааса, она вышла.

Тут заря пробилась сквозь ночные облака, ласточки с криком зареяли над лугами, и солнце в багровом отблеске показало на востоке свой ослепительный лик.

Клаас распахнул окно и сказал Уленшпигелю:

— Сынок мой, в сорочке рожденный! Вот царь-солнце встает с приветом над землей Фландрской. Погляди на него, когда станешь зрячим; и если когда-нибудь, мучимый сомнениями, ты не будешь знать, что делать, чтобы поступить как должно, спроси у него совета: оно дает свет и тепло; будь сердцем чист, как его лучи, и будь добр, как его тепло.

— Клаас, муженек, что ты поучаешь глухого, — сказала Сооткин. — Иди попей, сынок.

И мать протянула новорожденному свои чудесные, природой созданные чаши.

## II

Пока Уленшпигель сосал, прильнув к ней, проснулись все птички в поле.

Клаас, связывая дрова в вязанки, смотрел, как жена кормит Уленшпигеля.

— Жена, — сказал он, — а достаточный у тебя запас этого славного молочка?

— Чаши полны, — ответила она, — но радость моя не полна.

— Не очень-то веселы твои речи в столь торжественный час.

— Я думаю о том, что в той кошелке — видишь, вон там, на стене — уж давно не было ни грошика.

Клаас взял кошелку в руки, но напрасно тряс он ее: не звякнуло в ней ни грошика. Это смутило его. Но он все же хотел подбодрить жену.

— О чем ты беспокоишься? — сказал он. — Разве нет у нас в хлебном ларе лепешки, что вчера принесла Катлина? Да не лежит ли там добрый кусок говядины,

который уж по меньшей мере на три дня даст мальчику доброго молочка? Уж не голод ли пророчит мешок бобов, улегшийся в углу? Ведь не во сне я вижу этот горшок с маслом? И не волшебные же яблочки, точно солдатики в шеренгах, рядышком дюжинками разложены на чердаке? Ну, а там что — не добрый ли бочонок пивца из Брюгге, хранящий освежительный напиток в своем толстом брюшке?

— Чтобы окрестить ребенка, — ответила Сооткин, — надо иметь два патара для священника и флорин на крестины.

Тут вернулась кума Катлина с охапкой травы в руке и сказала:

— Приношу в сорочке рожденному листок дягиля, что хранит человека от распутства, и листок укропа, к которому не смеет приблизиться сатана...

— А траву, что привораживает флорины, не принесла? — спросил ее Клаас.

— Нет, — ответила она.

— Ну, пойду погляжу, не найду ли ее в канале.

Он взял удочку и сеть и вышел, уверенный, что в такую рань никого не встретит: целый час оставался еще до 'oosterzon, — так называют во Фландрии шестой час утра.

### III

Подойдя к Брюггскому каналу, недалеко от моря, Клаас наживил удочку, забросил ее и закинул сеть. На другом берегу канала лежал на холмике из ракушек хорошо одетый мальчик и спал крепким сном.

Шум, произведенный Клаасом, разбудил его, и он вскочил, испугавшись, что это подошел общинный стражник, чтобы поднять его с ложа и отвести как бродягу к старшине.

Но страх его исчез, когда он узнал Клааса, который крикнул ему:

— Хочешь заработать шесть лиаров? Гони рыбу ко мне!

Мальчик — с заметным уже брюшком — вошел в воду и, вооружившись пушистым стеблем тростника, стал гнать рыбу по направлению к Клаасу.

Окончив ловлю, Клаас собрал сеть и удочку, перешел через шлюз к мальчику и спросил его:

— Послушай, тебя окрестили именем Ламме, а прозван ты Гудзак за свое добродушие; ты живешь на Цаплиной улице, за собором Богоматери? Так как же это вышло, что такой нарядный маленький мальчик спит на улице?

— Ах, господин угольщик, — ответил мальчик, — дома у меня сестра... и хоть она на год моложе меня, но, чуть повздорим, колотит меня, а я не смею отдать ее спине то, что получил сам: боюсь сделать ей больно, господин угольщик. Вчера за ужином я был очень голоден и немножко повозился пальцами в блюде тушеного мяса с бобами. Она захотела, чтоб я с ней поделился, а там ведь и для меня одного было мало. Как она увидела, что я облизал губы, потому что мне очень понравилась подлива, — она точно взбесилась: набросилась на меня и таких плюх надавала, что я еле живой удрал из дому.

Клаас полюбопытствовал, что же делали во время этой потасовки отец и мать.

— Отец хлопал меня по одному плечу, мать — по другому, и оба говорили: «Дай ей сдачи, трусишка». Но я не хотел бить девочку и убежал.

Вдруг Ламме побледнел и задрожал всем телом.

Клаас увидел, что к ним приближается высокая женщина, а с ней худенькая девочка с недовольным лицом.

— Ой, — захныкал Ламме и ухватился за штаны Клааса, — это моя мать и сестра ищут меня. Спасите меня, господин угольщик.

— погоди, — сказал Клаас, — получи сперва свои шесть лиаров за работу, и пойдем без страха к ним навстречу.

Увидев Ламме, мать и сестра набросились на него с побоями: мать — потому, что очень беспокоилась о нем, сестра — потому, что уж так привыкла.

Ламме спрятался за Клааса и кричал:

— Я заработал семь лиаров, я заработал семь лиаров, не бейте меня!

Но мать уже обнимала его, а девочка старалась разжать его кулак и отнять у него деньги. Ламме кричал: «Это мое, не дам!» — и крепко сжимал кулаки.

А Клаас за уши оттащил от него девочку и сказал:

— Если ты еще хоть раз ударишь брата, — он ведь добрый и кроткий, как ягненок, — то я тебя посажу в чер-

ную угольную яму. Но там не я тебя буду дергать за уши, а придет красный черт из ада и разорвет тебя своими когтями и зубами, длинными, как вилы.

От ужаса девочка не могла поднять глаз на Клааса и подойти к Ламме и спряталась в юбки матери. Но, войдя в город, она стала кричать:

— Угольщик побил меня; у него в погребе черт!

Однако с тех пор она уже не была Ламме, но когда она стала старше, то заставляла его работать на себя. И добродушный малый исполнял охотно всякую работу.

Клаас отнес по дороге улов в одну усадьбу, где у него всегда покупали рыбу. И, вернувшись домой, он сказал жене:

— Смотри, что я нашел в брюхе у четырех щук, девяти карпов и в полной корзине угрей.

При этом он бросил на стол два флорина и патар.

— Почему ты каждый день не ходишь на рыбную ловлю? — спросила Сооткин.

— А чтобы самому не попасть в сети к общинным стражникам, — ответил Клаас.

#### IV

В Дамме отца Уленшпигеля, Клааса, называли Koll-draeger, то есть угольщик. У него были черные волосы и блестящие глаза; кожа его была под цвет его товара, за исключением праздничных и воскресных дней, когда в его домике было в большом ходу мыло. Был он приземистый, коренастый, крепкий и всегда весело улыбался.

Когда день кончался и спускался вечер, он шел в какой-нибудь трактирчик по дороге в Брюгге, чтобы промыть свою забитую углем глотку добрым пивцом. И по пути все женщины, вышедшие на крыльцо, чтобы подышать свежим воздухом, встречали его дружеским приветом:

— Добрый вечер, светлого пива, угольщик!

— Добрый вечер, бдительного мужа, — отвечал Клаас.

Девушки, возвращаясь толпами с полей, становились перед ним, загораживая ему дорогу, и требовали выкупа:

— Что дашь за пропуск: красную ленту или золотые серьги, бархатные сапожки или флорин в кошелек?

Но Клаас обнимал какую-нибудь из них, целовал ее в щеку или шею, смотря по тому, какой кусок этого свежего тела был ближе к его губам, и говорил:

— Остальное, красотки, получите от своих возлюбленных, только попросите.

И девушки разбегались с хохотом.

Дети узнавали Клааса по его звонкому голосу и топоту сапог. Они бежали к нему навстречу и кричали:

— Добрый вечер, угольщик!

— Благослови вас господь, ангелочки,— говорил он,— только близко не подходите, а то я сделаю из вас арапов.

Однако малыши, народ отважный, подходили; тогда Клаас хватал смельчака за куртку, проводил своей черной пятерней по его свежей мордочке и так отпускал его, хохоча сам, к великой радости всех ребят.

Сооткин, жена Клааса, была хорошая хозяйка, она вставала с солнцем и хлопотала как муравей.

Вместе с Клаасом она обрабатывала поле, и оба впрягались в плуг, точно волю. Плуг был тяжелый, но еще тяжелее была борона, когда приходилось деревянными зубьями разрыхлять твердую землю. Но они работали весело и пели при этом какую-нибудь старинную песню.

И как ни была тверда земля, как ни палило солнце самыми жгучими своими лучами и как от великой усталости ни подгибались колени при бороньбе, — если случалось остановиться для передышки, Сооткин поднимала к Клаасу свое кроткое лицо, Клаас целовал это зеркало нежной души, — и они забывали о своей великой усталости.

## V

Накануне вечером у дверей ратуши выкрикали, что государыня, супруга императора Карла V, затяжелела, а посему надлежит возносить молитвы о благополучном ее разрешении от бремени.

Вдруг к Клаасу, вся дрожа, прибежала Катлина.

— Чем ты так взволнована, кума? — спросил он.

— Ах! — и она стала бессвязно причитать: — Сегодня... привидения косили людей, как косари траву... Девушек заживо в землю зарывали!.. Палач плясал на их трупах... Камень потел кровью девять месяцев, — в эту ночь он лопнул...

— Милость господня с нами, — вздохнула Сооткин. — Это предвещает горе земле Фландрской!

— Что же, ты во сне это видела или наяву? — спросил Клаас.

— Наяву, — ответила Катлина.

И, вся бледная, Катлина, рыдая, продолжала:

— Вот младенцы — их двое: один в Испании — инфант по имени Филипп, другой во Фландрии — сын Клааса, который позже получит прозвище Уленшпигель. Филипп будет палачом, ибо он порождение Карла Пятого, злодея нашей страны. Уленшпигель станет великим мастером на веселые шутки и юношеские проказы и будет отличаться добрым сердцем, ибо отец его, Клаас, славный работник, который честным и бодрым трудом умеет добыть свой хлеб. Император Карл и король Филипп пройдут через жизнь войнами, поборами и всякими преступлениями, сея зло; Клаас будет без усталости работать и всю жизнь проживет по праву и закону, не плача над своей тяжелой работой, но всегда смеясь, и останется примером честного фламандского труженика. Уленшпигель будет вечно молод, никогда не умрет и будет странствовать по свету, нигде не оседая. Он будет крестьянином, дворянином, живописцем, ваятелем — всем вместе. И так он пройдет по разным землям, восхваляя все справедливое и прекрасное, смеясь во всю глотку над глупостью. О благородный народ Фландрии! Клаас — это твое мужество; Сооткин — твоя доблестная мать; Уленшпигель — твой дух; нежное, милое создание — спутница Уленшпигеля, подобно ему бессмертная, — твое сердце, а толстопузый простак Ламме Гудзак — твое брюхо. Наверху — кровопийцы народные, внизу — жертвы; наверху — разбойники шершни, внизу — работающие пчелы; а в небесах будут кровью истекать раны Христовы.

И, сказав все это, добрая колдунья Катлина уснула.

## VI

Когда понесли крестить Уленшпигеля, вдруг полил проливной дождь, и ребенок весь промок. Так он был окрещен в первый раз.

Когда он был уже в церкви, церковный сторож, — он же schoolmeester, то есть школьный учитель, — предложил куму с кумою и отцу с матерью стать вокруг купели.

Но в своде над купелью была дыра, которую проделал каменщик, чтобы закрепить лампаду под звездой из вызолоченного дерева. Увидев сверху крестных, чинно стоящих вокруг прикрытой еще купели, озорник каменщик вылил на крышку купели ведро воды, которая обрызгала всех, а больше всего Уленшпигеля. Так он был крещен во второй раз.

Пришел священник; все стали жаловаться, но он велел им поторопиться и сказал, что это случайность. Уленшпигель все корчился, потому что был мокрый. Священник, окрестив его водою и солью, дал ему имя *Тильберт*, что значит «подвижный» или «прыткий». Так он был крещен в третий раз.

Выйдя из церкви, они пошли по Долгой улице, ведущей к трактиру «Бутылочные четки», где пивная кружка изображала «Верую». Здесь они выпили семнадцать с лишним пинт *dobbel-kuyt*, то есть пива двойной крепости. Ибо во Фландрии это общепринятый способ сушить промокших: зажечь в брюхе пивной костер. Так Уленшпигель был крещен в четвертый раз.

Когда они возвращались домой, покачиваясь, ибо их головы были тяжелее их тел, им пришлось переходить по мосткам через лужу. Кума Катлина, несшая ребенка, оступилась и упала с ним в воду. Так он был крещен в пятый раз.

Его вытащили и дома обмыли теплой водой. Это было его шестым крещением.

## VII

В этот же день его святейшее величество император Карл V решил устроить празднество, чтобы ознаменовать рождение своего сына. Он, подобно Клаасу, решил поудить, да только не в канале, а в копилках и кошельках своих подданных. Ибо оттуда обычно выуживают государи рыбок под названием «червонцы», «дукаты», «талеры»; вся эта чудесная рыба имеет свойство, по желанию рыбака, обращаться в бархатные платья, драгоценности, тончайшие вина, изысканные яства. Ибо самые рыбные реки — не самые многоводные.

Обсудив дело со своими советниками, так решил император обставить эту рыбную ловлю.

Между девятью и десятью часами его высочество инфанта понесут к обряду крещения; обыватели Вальядолида, чтобы проявить великую свою радость, всю ночь должны будут веселиться, на свой счет пировать и праздновать и на Большой площади швырять свои деньги беднякам.

На пяти перекрестках за счет города пять больших фонтанов вплоть до зари будут бить вином. На других пяти перекрестках на деревянных подмостках будут развешаны всякие колбасы, телячьи и бараньи, кровяные и мясные, бычьи языки и иная мясная снедь — тоже за счет города.

Граждане Вальядолида — опять-таки за свои деньги — воздвигнут по пути шествия многочисленные триумфальные арки, на коих в живых эмблемах представлены будут образы Мира, Довольства, Изобилия, Богатства и всяческих прочих даров небесных, коими так осчастливило их правление его священного величества.

Наконец, кроме этих мирных триумфальных ворот, будет сооружено еще несколько других, где, также яркими красками, должны быть изображены несколько менее снисходительные атрибуты власти, каковы — орды, львы, копья, алебарды, дротики с пламенеобразными наконечниками, пушки, аркебузы, бомбарды, широкожерловые мортиры и прочие орудия, наглядно живописующие воинскую мощь и непобедимость его величества.

Свечной *гильдии* всемилостивейше разрешено пожертвовать для освещения храма двадцать с лишним тысяч восковых свечей, огарки коих будут переданы соборному капитулу.

Что касается прочих расходов, то император охотно берет их на себя, проявляя таким образом очевидное желание оградить свои народы от обременительных поборов.

Когда община приготовилась уже исполнить сие повеление, пришли из Рима прискорбнейшие вести. Императорские военачальники, принц Оранский, герцог Алансонский и Фрундсберг, вторглись в святой город, разграбили и разрушили там церкви, часовни и дома, не щадя при этом никого — ни священников, ни монахов, ни женщин и детей. Сам святой отец в заточении. Вот уже неделя, как длится грабеж, *рейтары* и *ландскнехты* неистовствуют в Риме, объедаются и опиваются, шатаются по

улицам, размахивая оружием, разыскивая кардиналов, крича, что они отрежут им лишнюю кожу, чтобы навеки лишить их возможности пробраться в папы. Другие, уже исполнившие эту угрозу, слонялись по городу, надев на шею четки из двадцати восьми окровавленных бус, громадных как орехи. Некоторые улицы превратились в кровавые потоки.

Утверждали, что император, имея нужду в деньгах, хотел поживиться на крови духовенства. Одобрив договор, заключенный его военачальниками со взятым в плен папой, Карл потребовал, чтобы папа передал ему все крепости в своих владениях и уплатил ему четыреста тысяч дукатов. Пока эти условия не будут выполнены, папа останется в заключении.

Однако печаль его величества была безмерна. Император отменил все торжества, празднества, увеселения и повелел всем кавалерам и дамам своего двора одеться в траур.

И инфант был крещен в белых пеленках — знак императорского траура.

Придворные кавалеры и дамы истолковали это как зловещее предзнаменование.

Несмотря на это, ее милость госпожа кормилица представила инфанта придворным кавалерам и дамам, дабы они, по исконному обычаю, могли принести новорожденному свои пожелания и подарки.

Госпожа де ла Юена повесила ему на шею предохраняющий от яда черный камень видом и величиной с орех, в золотой скорлупе. Госпожа де Шеффад повязала ему на живот шелковинку и подвесила к ней лесной орешек, что содействует хорошему пищеварению. Господин ван дер Стин из Фландрии преподнес ему гентскую колбасу в пять локтей длины и пол-локтя толщины, всепреданнейше пожелав его высочеству, чтобы один запах этой колбасы возбуждал в нем жажду к гентскому доброму пиву *clauwaert*, ибо, сказал он, кто любит пиво из какого-нибудь города, тот уже не может ненавидеть тамошних пивоваров. Господин конюший Хаиме-Христофор Кастильский просил господина инфанта носить на его прекрасных ножках камешки зеленой яшмы, которые сообщают легкость и быстроту в беге. Ян де Папе, шут, присутствовавший при этом, заметил однако:

— Сударь, поднесите ему лучше трубу Иисуса Навина, при звуке которой бежали бы пред ним все города, чтобы унести куда-нибудь свое добро вместе со всеми обитателями — мужчинами, женщинами и детьми. Ибо его высочеству нет нужды учиться бегать, а надо других обращать в бегство.

Безутешная вдовица Флориса ван Борселе, который был губернатором Веере в Зеландии, поднесла его королевскому высочеству камень, который, по ее словам, делал мужчин влюбленными и женщин безутешными.

Но ребенок ревел, как бычок.

В это время Клаас сплел сыну из прутьев погремушку с бубенцами и подбрасывал Уленшпигеля на руке, приговаривая в лад: «Бом-бом-дилинь-бом! Будь всегда с бубенцом, будь веселым молодцом. В старину шутникам жилось как господам».

И Уленшпигель смеялся.

## VIII

Клаас поймал большого лосося, и в воскресенье им пообедали и он, и Сооткин, и Катлина, и маленький Уленшпигель. Но Катлина ела как птичка.

— Кума, — сказал ей Клаас, — неужто воздух Фландрии стал так густ, что достаточно вдохнуть его, чтобы насытиться, словно мяса поел? Хорошо было бы! Дождь сошел бы за добрую похлебку, град — за бобы, а снег — за небесное жаркое, обновляющее силы путников.

Катлина кивнула головой, но не сказала ни слова.

— Посмотрите-ка на бедную куму, — сказал Клаас, — чем это она так огорчена?

Но Катлина отвечала голосом, подобным вздоху:

— Нечистый! Черная ночь пришла. Слышу все ближе, все ближе. Орланом кричит... Дрожу вся, молю деву святую... смилостивься... Все напрасно... Нет для него ни стен, ни оград, ни дверей, ни окон. Пробирается всюду, точно дух... Скрипит лестница... Вот взобрался ко мне на чердак, где сплю, схватил руками — твердые, холодные, как камень. Лицо ледяное. Целует — мокрый, точно снег.

Земля под ногами так и ходит; пол качается, как челнок в бурю...

— Каждое утро ходи в церковь, — сказал Клаас, — моли Христа-спасителя об избавлении от духа преисподней...

— Он такой красавчик, — сказала она.

## IX

Уленшпигель, отнятый от груди, рос, как молодой тополек.

Клаас уже не так часто целовал его, но, любя его, делал строгое лицо, чтобы не избаловать мальчика.

Когда Уленшпигель приходил домой и жаловался на синяки, полученные в товарищеской потасовке, Клаас давал ему подзатыльник за то, что он сам не вздул других, и при таком воспитании Уленшпигель стал смел, как львенок.

Если отца не было дома, Уленшпигель просил у матери лиар на игру. Сооткин сердилась и говорила:

— Что там за игры? Сидел бы лучше дома, щенок этакий, вязал бы вязанки.

Уленшпигель, видя, что ничего не получит, подымал дикий крик, но Сооткин гремела своими горшками и сковородками, которые мыла в лохани, делая вид, что ничего не слышит. Уленшпигель начинал реветь, и тогда мать отказывалась от своего притворного жестокосердия, гладила его по головке и говорила: «Довольно с тебя денье?» А надо вам знать, что в денье шесть лиаров.

Так проявляла она свою чрезмерную любовь, и, когда Клаас уходил куда-нибудь, Уленшпигель верховодил в доме.

## X

Однажды утром Сооткин увидела, что Клаас шагает по кухне с понурой головой, совершенно поглощенный какими-то мыслями.

— Чем огорчен ты, милый? — спросила она. — Ты бледен, раздражен и рассеян.

Клаас ответил тихо, тоном ворчащей собаки:

— Опять собираются восстановить эти свирепые императорские указы. Снова смерть пойдет гулять по Фландрии. Доносчики получают половину имущества своих жертв, если их состояние не превышает ста флоринов.

— Мы с тобой бедняки, — заметила она.

— Им и это пригодится. Есть мерзавцы, коршуны и вороны, живущие стервятиной, которые и на нас рады донести, чтобы разделить с его святейшим величеством мешок угольев, точно мешок червонцев. Много ли было у несчастной Таннекин, вдовы портного Сейса, умершей в Гейсте, где ее живую закопали в землю? Латинская библия, три золотых да немножко утвари из английского олова, которая приглянулась ее соседке. Иоанну Мартенс сожгли как ведьму, сначала ее бросили в воду, но она, видишь ли, не тонула — и в этом было все ее преступление. У нее было два-три колченогих стула и семь золотых в чулке; доносчик захотел получить половину. О, я мог бы рассказывать тебе до завтра. Но надо убраться, милая: после этих указов невозможно жить во Фландрии. Скоро каждую ночь будет ездить по городу возок смерти, и мы услышим, как в нем будет стучать ее сухой костяк.

— Не пугай меня, милый муж, — ответила Сооткин. — Император — отец Фландрии и Брабанта и, как отец, полон терпения и сострадания, милосердия и снисхождения.

— Это ему очень невыгодно, — ответил Клаас, — ибо конфискованное имущество идет в его пользу.

Вдруг затрубила труба, прогремели литавры городского глашатая. Клаас и Сооткин, поочередно передавая Уленшпигеля друг другу на руки, бросились вслед за толпой народа.

Перед городской ратушей они увидели конных глашатаев, которые трубили в трубы и били в барабаны, профоса с судейским жезлом, верхом на коне, и общинного прокурора, который обеими руками держал императорский указ, готовясь прочитать его толпе.

И тут услышал Клаас, что отныне всем вообще и каждому в отдельности воспрещается печатать, читать, хранить и распространять все писания, книги и учения Мартина Лютера, Джона Виклефа, Яна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампадия, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска Ламберта, Иоанна Померана,

Отгона Брунсельзиуса, Иоанна Пупериса, Юстуса Иоанаса и Горциана, книги Нового Завета, напечатанные у Адриана де Бергеса, Христофа да Ремонда и Иоанна Целя, поелику таковые исполнены Лютеровых и иных ересей и осуждены и прокляты богословским факультетом Лувенского университета.

«Равным образом воспрещается неподобающе рисовать, или изображать, или заказывать рисунки с неподобающими изображениями господа бога, пресвятой девы Марии или святых угодников, равно как разбивать, разрывать или стирать изображения или изваяния, служащие к прославлению, поминанию, чествованию господа бога, пресвятой девы Марии или святых угодников, признанных церковью».

«Кроме того, да не дерзнет никто, — продолжал указ, — какого бы он ни был звания и состояния, рассуждать или спорить о священном писании, даже о сомнительных вопросах в таковом, если только он не какой-нибудь известный и признанный богослов, получивший утверждение от какого-либо знаменитого университета».

Среди прочих наказаний, установленных его святейшим величеством, определялось, что лица, оставленные под подозрением, лишаются навсегда права заниматься честным промыслом. Упорствующие в заблуждении или вновь впавшие в него подвергаются сожжению на медленном или быстром огне, на соломенном костре или у столба — по усмотрению судьи. Прочие подвергаются казни мечом, если они дворяне или почтенные граждане; крестьяне — повешению, женщины — погребению заживо. Как предостерегающий пример головы казненных будут выставлены на столбе. Имущество всех этих казненных преступников переходит в собственность императора, если таковое находится в областях, доступных конфискации.

Его святейшее величество предоставляет доносчикам половину всего принадлежащего осужденным, если все достояние последних не превышает ценностью ста фландрских червонцев. Все доставшееся на долю императора он передает на цели благотворения и благочестия, как он сделал это с римскими сборами.

И Клаас, удрученный, ушел с площади вместе с Сооткин и Уленшпигелем.

Год был удачный. Клаас купил за семь флоринов осла и девять мер гороха и однажды утром собрался в дорогу. Уленшпигель сидел на осле сзади, держась за отца. Так отправились они в путь, в гости к дяде Уленшпигеля, старшему брату Клааса, Иосту, который жил неподалеку от Мейборга в немецкой земле.

Некогда, в цвете лет, Иост был добродушен и мягкосерд. Но потом, испытав много несправедливостей, он озлобился. Его кровь почернела от желчи, и, возненавидев людей, он жил в одиночестве.

Он любил поссорить двух так называемых верных друзей; и жаловал три патара тому из двух, которому удавалось крепче отлупить другого.

Он устраивал себе также такое развлечение: собирал в хорошо истопленной комнате целую компанию самых старых и самых злобных сплетниц и угощал их печеньями и сладким вином.

Тем, которым было больше шестидесяти лет, он давал прясть шерсть, предупреждая при этом, чтобы они отпускали себе ногти подлиннее. Он с восхищением слушал, как эти старые совы изливали яд, болтая своими злыми языками, клевета на весь мир, хихикали, кричали, плевали, держа свою прялку подмышкой и теребя зубами доброе имя ближнего.

Когда они входили в особый раж, Иост брал щетку и бросал в огонь: щетина загоралась, и зловоние становилось невыносимым.

Старухи нападали друг на друга с обвинениями в этой вони, кричали все разом, каждая винила другую, и, наконец, все они вцеплялись друг другу в волосы. Но Иост еще подсыпал щетины в огонь и на пол. Когда от этой свалки, воя, дыма и пыли ничего уже разобрать было нельзя, он призывал двух своих работников, одетых как городские стражники: они набрасывались на старух, колотили их что было сил и палками выгоняли их из комнаты, точно стадо разъяренных индюшек.

Иост осматривал поле битвы, покрытое лоскутами юбок, рубах и старушечьими зубами.

И грустно говорил себе:

«Потерял день. Ни одна из них не оставила в драке своего языка».

Проезжая Мейборгскую округу, Клаас должен был пересечь маленький лесок. Осел по дороге кормился чертополохом. Уленшпигель бросал шапкой в бабочек и тут же ловил их, не слезая со своего места на спине осла. Клаас жевал ломоть хлеба, мечтая оросить его пивом в ближайшей корчме. Вдруг издали послышался звон колокола и шум, похожий на говор целой толпы.

— Верно, богомольцы, — сказал он, — и не в малом количестве. Держись, сынок, крепче на ослике, чтобы не свалиться. Посмотрим. Вперед, серячок, живее!

И осел пустился рысью.

Выехав из рощицы, они спустились к полю, с запада окаймленному рекой. По другую сторону оказалась часовня, на крыше которой возвышалось изваяние божьей матери, а у ног ее две статуэтки, изображавшие бычков. На ступенях часовни стоял отшельник, посмеиваясь звонил в колокол, а вокруг него с полсотни стражников — каждый с зажженной свечкой в руке, потом музыканты, звонари, барабанщики, трубачи, свирельщики, дудочники, волынщики и еще несколько веселых парней с жестяными ящиками в руках, полными железного лома; но пока все были неподвижны и безмолвны.

По дороге тесными рядами, по семь человек, подвигались пять или более тысяч богомольцев, все в шлемах и с палками в зеленой коре. Иногда со стороны присоединялись новые, тоже в шлемах и с палками; они с шумом выстраивались в ряды за остальными. Так проходили они мимо часовни, где подносили свои палки под благословение, получали из рук стражников свечу и за это уплачивали отшельнику по полфлорина.

И шествие их было так длинно, что у первых уже давно догорели свечи, когда у последних они еще еле разгорались от избытка сала.

Клаас, Уленшпигель и осел с изумлением смотрели на это великое разнообразие животных, длинных, широких, высоких, остроконечных, стройных, важных или же вяло свисавших на свои природные подпорки. И на всех паломниках были шлемы.

Одни, вывезенные из Трои, были подобны фригийским колпакам; другие — с красными конскими хвостами; были и с распростертыми орлиными крыльями, хотя не похоже

было на то, что надевшие их толстомордые брюханы собираются лететь ввысь. Потом шли те, у которых на голове был такой салат \*, от которого, за скудостью зелени, даже улитки отвернулись бы с презрением.

На большинстве же были старые ржавые шлемы, напоминавшие времена Гамбривиуса, древнего короля Фландрии и пива; сей король жил за девятьсот лет до рождения Христова и вместо шлема носил пивную кружку, боясь, как бы ему за отсутствием сосуда не пришлось отказаться от выпивки.

Вдруг загремели, завизжали, засвистели, зашипели, затрещали, загудели колокола, волынки, дудки, литавры, железки.

Богомольцы, видимо, ждали этого грохота; они повернулись, стали один против другого и принялись поджигать друг другу свечами лицо. Поднялось чихание, заговорили палки. Они колотили друг друга ногами, головой, каблуками, чем попало. Одни, надвинув шлемы до плеч, ринулись головами на своих противников, точно бараны, и в ослеплении наткнулись на семерку разъяренных богомольцев, которые отвечали им тем же. Другие, плаксы и трусы, скулили от колотушек, но пока они жалостно выли: «Помилуй, господи», две дерущиеся семерки богомольцев молнией набросились на них, смяли, повалили и пошли дальше, безжалостно топча поверженных на землю плакс.

А отшельник смеялся.

Другие семерки, сплетясь точно виноградные гроздья, катились по откосу вниз, в речку, и там продолжали с остервенением драться, не охладив своей ярости.

А отшельник смеялся.

Те, что остались наверху, выбивали друг другу зубы, подставляли синяки под глаза, вырывали волосы, в клочья рвали камзолы и штаны.

И отшельник со смехом зывал:

— Валяй, ребята, кто крепче бьет, крепче любит. Забияки бабам сладки. Воззри, мать божия риндбибельская: вот самцы так самцы!

Это, видимо, было очень приятно богомольцам.

---

\* Игра слов: la salade по-французски значит не только «салат», но и «шлем».

Между тем Клаас приблизился к отшельнику, оставив Уленшпигеля, который при виде драки хохотал и хлопал в ладоши.

— Отец, — спросил Клаас, — чем согрешили эти бедняки, что вынуждены так жестоко колотить друг друга?

Но отшельник не слушал его и кричал:

— Бездельники! Не падать духом! Если изнемогли ваши кулаки, то не устали ноги, слава богу. На то и даны вам они, чтобы удирать. Кто выбивает огонь из камня? Сталь, бьющая по камню! Что может оживить мужские способности стареющих людей лучше, чем добрая толика ударов, раздаваемых в мужественном гневе?

И доблестные богомольцы продолжали обрабатывать друг друга руками, ногами и головами. В этой дикой воюющей схватке и сам стоглазый Аргус не разглядел бы ничего, кроме облака пыли да кончика шлема.

Вдруг отшельник зазвонил в колокол. Барабанщики, дудочки, свистуны, трубачи, волынщики, дребезжальщики прекратили гам. Это был знак мира.

Богомольцы подбирали своих раненых. У некоторых висели изо рта распухшие от гнева языки, которые потом сами влезли обратно в свое логовище. Труднее всего было тем, что по самую шею надвинули шлемы на головы и теперь не могли их стащить. Они трясли головой, но шлемы держались крепче, чем зеленые сливы на ветке.

Тогда отшельник крикнул:

— Теперь пусть каждый прочтет «Ave», и идите к своим женам. Через девять месяцев в округе будет столько новорожденных, сколько было сегодня храбрых бойцов.

И отшельник затащил «Богородицу», прочие подхватили. А колокол звонил.

Затем отшельник призвал на них благословение матери божьей риндбибельской и сказал:

— Идите с миром.

И они с криком, гамом и пением, толкаясь, перегоня друг друга, повернули обратно в Мейборг. Старые и молодые жены ждали их на пороге домов, куда они ворвались, точно орда солдат в приступом взятый город.

Колокола в Мейборге звонили всюду, а мальчишки свистели, орали и гремели в *gommel-pot* \*.

\* *Gommel-pot* — самодельный музыкальный инструмент наподобие волынки (флам).

Кружки, рюмки, стаканы, бокалы, бутылки сладостно звенели. И вино ручьями лилось по глоткам.

Пока шел этот трезвон и ветер доносил из города пение мужчин, женщин и детей, Клаас, подойдя к отшельнику, стал его расспрашивать, какую божественную милость надеялись снискать эти люди столь суровым искусом.

Отшельник, смеясь, ответил:

— Видишь на крыше часовни двух выточенных из дерева быков? Это память о чуде святого Мартина, который превратил двух волов в бугаев, заставив их бодаться друг с другом. Затем он в течение часа мазал им морды салной свечой и тер зеленой корой. Зная об этом чуде, я купил за хорошие деньги у его святейшества патент и поселился здесь. С тех пор все мейборгские толстяки и старикашки убеждены, что с моей помощью получают милость богородицы, если хорошенько подерутся между собою со свечкою в руках — это память о помазании — и с палкой — эмблемой мощи. Женщины посылают сюда своих старых мужей. Дети, рожденные после этого паломничества, сильны, смелы, дики, живы — словом, из них выйдут хорошие солдаты.

Вдруг отшельник взглянул на Клааса.

— Ты меня узнаешь?

— Да, — сказал тот, — ты брат мой Иост.

— Верно, — ответил отшельник, — а что это там за малыш, который строит мне рожи?

— Это твой племянник, — сказал Клаас.

— А как велика, по-твоему, разница между мною и императором Карлом?

— Очень велика, — ответил Клаас.

— Нет, очень невелика, — возразил Иост. — Он заставляет людей убивать друг друга, а я их заставляю только драться: и оба мы делаем это для нашей пользы и удовольствия.

Затем он повел их в свою хижину, и там они угощались и пировали одиннадцать дней.

### XIII

Расставшись с братом, Клаас уселся опять на осла и сзади посадил Уленшпигеля. Проезжая через Мейборг, он заметил, что стоящие на Большой площади во множестве богомольцы при виде его приходят вдруг в ярость,

грозят своими палками и кричат: «Негодяй!». Причиной оказался Уленшпигель, который, расстегнув штанишки и подняв рубашонку, показывал им некую часть тела.

Заметив, что угрозы обращены к его сыну, Клаас спросил:

— Что такое ты делаешь, что они так сердятся на тебя?

— Дорогой батюшка, — ответил Уленшпигель, — я сижу себе на ослике, ни с кем не говорю ни слова, а они бранят меня негодяем.

Тогда Клаас пересадил его вперед.

Уленшпигель стал показывать богомольцам язык. Они ругались, потрясали палками, грозили кулаками и чуть не побии Клааса и осла.

Но Клаас погнал осла рысью, так что дух захватило, и, пока за ними гнались, он обратился к сыну:

— Видно, ты родился в несчастный день. Сидишь передо мной, никого не трогаешь, а они задуть тебя готовы.

Уленшпигель засмеялся.

Проезжая через Льеж, Клаас узнал, что в приречной области жители страдали от голода и были подчинены суду официала, состоящему из лиц духовного звания. Они восстали, чтобы добиться хлеба и светских судей. Одних за это повесили, другим отрубили головы, третьи пошли в изгнание, ибо так велика была милость его высокопреосвященства господина де ла Марка, мягкосердечного архиепископа.

Клаас видел по дороге изгнанников, бежавших из тихой льежской стороны, и на деревьях под городом видел трупы людей, повешенных за то, что им хотелось есть. И он заплакал над ними.

#### XIV

Приехав на своем осле домой, Клаас привез с собой полный мешок денег, полученных от брата Иоста вместе с кружкой из английского олова. Теперь в доме не прекращались воскресные угощения и ежедневные пиршества, ибо изо дня в день ели мясо и бобы.

Клаас часто наполнял свою большую кружку английского олова добрым пивом *dobbel-kuut* и выпивал ее до дна.

Уленшпигель ел за троих и возился в миске, точно воробей в куче зерна.

— Смотри, — говорил Клаас, — он, чего доброго, и солонку съест.

— Если солонка сделана, как наша, из хлебной корки, — отвечал Уленшпигель, — то ее и надо почаще съедать, а то в ней черви заведутся.

— Зачем ты вытираешь жирные пальцы о свои штаны? — спрашивала мать.

— Чтобы они не промокали, — отвечал Уленшпигель.

В это время Клаас хватил здоровый глоток пива из своей кружки.

— Отчего у тебя такая большая кружка, а у меня такой маленький стаканчик? — спросил Уленшпигель.

— Оттого, что я твой отец и хозяин в доме, — ответил Клаас.

Но Уленшпигеля этот ответ не удовлетворил:

— Ты пьешь уже сорок лет, а я только девять. Твое время пить уже проходит, а мое только начинается. Стало быть, мне полагается кружка, а тебе стаканчик.

— Сын мой, — поучал его Клаас, — кто хочет влить бочку в бутылку, тот прольет свое пиво в канаву.

— А ты будь умен и лей свою бутылку в мою бочку: я ведь больше твоей кружки, — отвечал Уленшпигель.

И Клаас, довольный, дал ему выпить свою кружку. Так Уленшпигель научился балагурить ради выпивки.

## XV

Пояс Сооткин показывал, что ей предстоит вновь стать матерью. Катлина также была беременна, и от страха она не смела выйти из дому.

Пришедшей к ней Сооткин она жаловалась, истомленная и расплывшаяся:

— Что делать мне с этим злополучным плодом моего чрева? Задушить, что ли? Ах, лучше бы мне умереть! А то стражники уличат меня в том, что у меня ребенок, схватят и поступят, как со всякой распутницей: двадцать флоринов штрафа возьмут и высекут на Рыночной площади.

Сказав ей несколько ласковых слов в утешение, Сооткин распростилась с нею и в раздумье пошла домой. И однажды она спросила мужа:

— Что, Клаас, если у меня вместо одного родится двойня, ты не побьешь меня?

— Не знаю, — ответил Клаас.

— А если этот второй будет не от тебя, а, как у Катлины, от неизвестного, быть может от дьявола?

— Дьяволы, — ответил Клаас, — рождают огонь, смерть, дым, но не детей. Ребенка Катлины я бы принял как своего.

— Неужели принял бы?

— Я же тебе это сказал, — отвечал Клаас.

Сооткин пошла к Катлине и рассказала ей об этом.

Услышав это, Катлина была вне себя от счастья и радостно восклицала:

— Так он сказал? О благодетель! Его слово — спасение моего бедного дитяти! Господь его благословит, и дьявол его благословит, если, — продолжала она с дрожью, — если дьявол породил тебя, бедное дитя, что шевелишься в моем чреве.

И Сооткин и Катлина родили: первая — мальчика, вторая — девочку. Обоих понесли крестить как детей Клааса. Сын Сооткин назван был Ганс и вскоре умер. Дочь Катлины получила имя Неле и была здоровенькая.

Из четырех молочных бутылей пила она напиток жизни: из грудей Сооткин и грудей Катлины. И обе женщины тихо спорили, кто даст дитяти попить. Но, несмотря на свое желание, Катлина вынуждена была засушить свою грудь, чтобы никто не мог спросить, откуда у нее молоко, если она не была матерью.

Когда маленькую Неле отняли от груди, мать взяла ее к себе и пустила к Сооткин лишь тогда, когда дочь стала называть ее «мама».

Соседи находили, что Катлина хорошо делает, взяв к себе на воспитание ребенка Клаасов: она женщина с достатком, а Клаасы ведут бедную, трудовую жизнь.

## XVI

Как-то утром, сидя дома и скучая, Уленшпиттель ковырял отцовский башмак, мастера себе из него кораблик. Он уже воткнул в подошву грот-мачту и продырявил носок, чтобы закрепить там бушприт, как вдруг в двери показалась верхняя часть тела всадника и голова лошади.

— Есть здесь кто-нибудь? — спросил всадник.

— Есть, — отвечал Уленшпигель: — полтора человека и лошадиная голова.

— Как это? — спросил тот.

— Да вот как: целый человек — это я; половина другого человека — это ты; а лошадиная голова — у твоей кобылы.

— Где твои отец и мать?

— Мой отец работает: роет яму ближнему, а мать старается принести нам стыд или вред.

— Говори яснее, — сказал проезжий.

Уленшпигель ответил:

— Отец в поле копает ямы, чтобы охотники, что топчут наш посев, попали туда. Мать ходит и ищет, где бы занять денег: если она возвратит слишком мало, будет нам стыдно; если отдаст слишком много, будет нам вредно.

Всадник спросил его, где дорога.

— Там, где ходят гуси, — ответил Уленшпигель.

Проезжий скрылся, но когда Уленшпигель из второго башмака Клааса соорудил гребную галеру, он появился вновь.

— Ты обманул меня, — сказал он: — там, куда ты послал меня, нет ничего, кроме грязи и навоза, в котором копошатся гуси.

Уленшпигель ответил:

— Я послал тебя не туда, где гуси «копошатся», а туда, где они «ходят».

— Ну, покажи, наконец, дорогу, которая идет в Гейст.

— Во Фландрии ходят люди, а не дороги, — ответил Уленшпигель.

## XVII

Как-то Сооткин говорит Клаасу:

— Послушай, муж, у меня душа изныла от беспокойства: вот уж три дня, как Тиля нет дома. Не знаешь ли, где он?

— Он там, где бродят бездомные собаки, — печально ответил Клаас, — где-нибудь шляется на большой дороге с такими же, как он, бездельниками. Жестоко наказал нас господь таким сыном. Когда он родился, я думал: он будет нам утешением на старости лет и работником

в доме. Мне хотелось сделать из него доброго ремесленника, а злая судьба делает из него лентяя и бродягу.

— Не будь так строг, — ответила Сооткин, — нашему сыну едва минуло девять лет, он и дурит, как ребенок. Ведь и дерево сбрасывает чешуйки, прежде чем оденется в зеленый убор, который дает ему честь и красоту. Знаю, длинный у него язык. Но что ж такого, если он его употребит не на глупые шутки, а на честное дело, и это пойдет ему в пользу. Он любит посмеяться над ближним, но и это потом не повредит ему в кругу веселых товарищей. Он смеется без усталости, а лицо, скисшее до зрелости, — дурное предзнаменование для юноши. Много бегаёт он — ну, будет расти лучше; не работает — так ведь в этом возрасте он и не может понять, что труд — наш долг, а если он подчас половину недели, дни и ночи, проводит бог-весть где, то ведь он не знает, как огорчает нас этим: у него доброе сердце, и он любит нас.

Клаас покачал головой, но ничего не ответил, и Сооткин тихо плакала одна, когда он уснул. К утру ей уже казалось, что сын ее валяется больной где-нибудь на дороге. Поэтому она подошла к двери посмотреть, не вернулся ли он, но ничего не было видно, и она села у окна и стала смотреть на улицу. И часто вздрагивало ее сердце при звуке легких шагов какого-нибудь мальчика. Но он пробегал мимо — это был не Уленшпигель, — и опять плакала бедная мать.

А Уленшпигель со своими негодными приятелями был на рынке в Брюгге: там по субботам базарный день.

Были здесь башмачники и латальщики, в отдельных рядах старьевщики, *meesevangers*, то есть птицеловы из Антверпена, по ночам с совами ловящие синиц, торговцы птицей, бродяги, подбирающие собак, кошачники с кошачьими шкурками для перчаток, нагрудников и оторочек, всякие покупатели, горожане, горожанки, прислуга, работники, пекари, повара, кухарки, все вперемежку, продавцы и покупатели с криком и бранью, одни расхваливали товар, другие хаяли его.

В одном углу рынка была разбита на четырех шестах красивая парусиновая палатка. У входа ее стоял крестьянин из Алоста с двумя монахами, занятыми сбором приношений; он показывал за патар благочестивым зрителям осколок ключицы святой Марии Египетской. Надорванным голосом прославлял он добродетели святой,

не умалчивая о том, как за неимением денег подвижница *натурой* уплатила юному лодочнику за перевоз, боясь погрешить против святого духа, если не вознаградила бы труженика.

И монахи усердно кивали в подтверждение того, что он говорит правду. Подле него рыжая толстуха, с виду похотливая, как Астарта, дула что есть силы в гнусавую волынку, а рядом с ней, точно пеночка, заливалась песней хорошенькая девочка. Но никто не слушал ее. Над входом в палатку висела на двух шестах бадья с чудотворной водой из Рима. Так говорила рыжая толстуха, а монахи кивками подтверждали, что это правда. Уленшпигель посмотрел на бадью и задумался.

К одному из шестов был привязан осел, который, видно, привык питаться больше соломой, чем овсом. Свесив голову, он устался в землю, очевидно без всякой надежды найти на ней хотя бы колючку чертополоха.

— Ребята! — сказал Уленшпигель и показал товарищам на толстуху, монахов и унылого осла. — Хозяева поют хорошо; надо бы, чтобы серяк потанцевал.

Сказав это, он побежал в соседнюю лавчонку, купил на шесть лиаров перца и насыпал ослу под хвост.

Почуяв жжение, осел потянулся к хвосту и стал осматривать, откуда идет эта необычайная теплота. Решив, что его поджаривает какой-то дьявол, он рванулся было, заревел, завизжал, забрыкался и изо всех сил дернул недоуздок. Шест покачнулся, бадья перевернулась, и вся чудотворная вода вылилась на палатку и на тех, кто был в ней. Свалилась и парусина и мокрым покровом окутала всех, кто слушал историю святой Марии Египетской. Уленшпигель с друзьями, столпившись у палатки, слышали несшиеся оттуда вопли и брань, ибо благочестивые души, свалившиеся там в кучу, пришли в дикую ярость, обвиняя друг друга в несчастии, и бешено колотили кто в кого попадал. Парусина надувалась над этой свалкой. Всякий раз, как на ней обозначалась выпуклая часть чьего-нибудь тела, Уленшпигель втыкал туда булавку. Ответом были остервенелые крики из-под палатки и новый град колотушек.

И это уже было достаточно восхитительно, но еще веселее стало, когда осел бросился бежать и потащил за собою парусину, бадью и шесты, между тем как хозяин палатки, его жена и дочь хватались за свои пожитки.

Осел, изнемогши, наконец остановился, поднял морду кверху и ревел непрерывно, изредка только оглядываясь, не гаснет ли огонь, поджигающий его сзади.

А благочестивые слушатели продолжали свою возню; монахи, не обращая на них внимания, ползали, собирая деньги, упавшие с тарелок, и Уленшпигель благоговейно помогал им — не без выгоды для себя.

## ХVIII

Пока негодный сын угольщика рос в удалых забавах, жалкий отпрыск царственного властелина жил в мрачной тоске. Дамы и кавалеры видели, как ковыляет по покоям и переходам замка Вальядолида его тощее тело на неустойчивых ногах, с трудом несущих тяжесть его безобразно большой головы, косматой и белобрысой.

Обычно выискивал он темные проходы во дворце и садился в уголок, вытянув ноги. Так он сидел часами, ожидая, что какой-нибудь слуга впопыхах зацепится за его ноги. Слугу секли за это, а принц радовался, слыша его крики под ударами. Но он никогда не смеялся.

На следующий день он устраивал такую же ловушку, усевшись с вытянутыми ногами где-нибудь в другом месте. Фрейлины, придворные и пажы, спеша пробежавшие мимо него, спотыкались, падали, ушибались. Это было ему приятно, но он не смеялся.

Если кто-нибудь натыкался на него и не падал, он вскрикивал, точно его ударили, и ужас испуганного человека веселил его. Но он никогда не смеялся.

Его святейшему величеству было доложено об этом поведении: последовал приказ не обращать на инфанта внимания. Ибо, сказал император, если инфант не хочет, чтобы ему наступали на пальцы, то пусть не вытягивает их там, где ступают ноги.

Это не понравилось Филиппу, но он не сказал ничего, и с тех пор его видели лишь изредка, когда он в теплый летний день грел на солнце свое зябкое тело.

Однажды, возвратившись с похода и застав сына в обычной тоске, Карл обратился к нему:

— Сын мой, как мало похож ты на меня! Когда я был в твоём возрасте, я лазил по деревьям, ловил белок; я

слускался на канате с отвесной скалы, чтобы ловить орлят в гнездах. Я мог в этой игре сложить кости, но они стали только крепче от этого. На охоте дикие звери убегали в чащу, увидев меня с моим добрым мушкетом.

— О, у меня болит живот, государь! — стонал инфант.

— Паксаретское вино — превосходное лекарство для желудка, — отвечал Карл.

— Я не люблю вина. У меня голова болит, государь.

— Сын мой, ты должен бегать, прыгать, лазить, как все мальчишки в твоём возрасте.

— У меня судороги сводят ноги, государь.

— У меня бы их не свело, — отвечал Карл, — их сводит оттого, что ты ими не пользуешься, точно они деревянные. Я прикажу привязать тебя к борзому коню.

Инфант расплакался:

— О, только не привязывайте никуда: у меня болят бедра.

— Но у тебя, кажется, нет ничего, что бы не болело.

— Ничего у меня не будет болеть, если меня оставят в покое.

— Что ж, ты думаешь промечтать всю свою королевскую жизнь, точно какой-нибудь подьячий? — нетерпеливо воскликнул император. — Покой, уединение и раздумье пристойны тем, у кого только и дела, что пачкать чернилами пергамент. Тебе, сыну меча, пристала огненная кровь, глаза рыси, хитрость лисы, мощь Геркулеса. Что ты крестишься? Порази меня господь... Не пристало львенку подражать старым бабам-ханжам!

— Звонят к вечерне, государь, — отвечал инфант.

## XIX

Май и июнь в этом году были поистине месяцами расцвета. Никогда во Фландрии не было видано столь упоительного цветения боярышника, никогда не было такого множества роз, жасмина и жимолости в садах. Когда дул ветер из Англии и нес благоухание этой расцветшей страны к востоку, все, особенно в Антверпене, поднимали носы и весело замечали:

— Чувствуете, какой приятный запах доносится из Фландрии?

И трудолюбивые пчелы собирали мед с цветов, делали воск и клали яички в ульях, не вмещавших уже их роев. Как разносилась трудовая музыка под голубым небосклоном, лучезарно обнимавшим эту богатую землю!

Делали ульи из тростника, соломы, ивовых прутьев, из травы. Корзинщики, столяры, бочары затупили на этой работе свои инструменты. Не хватало корытников.

Насчитывали в роях до тридцати тысяч пчел и до двух тысяч семисот трутней. Соты были так великолепны, что каноник города Дамме послал одиннадцать штук императору Карлу в благодарность за то, что он своими новейшими указами вернул святой инквизиции ее надлежащую силу.

Филипп съел мед, но он не пошел ему впрок.

Нищие, бродяги, босяки — вся эта орава всевозможных бездельников, шатающаяся по большим дорогам и любой работе предпочитающая даже виселицу, — почуяв сладостный запах меда, явились за своей долей, влача с собою свою лень. И по ночам они толпами бродили вокруг.

Клаас тоже наделал ульев, чтобы собрать в них рой. Некоторые были уже полны, другие ждали пчелиного народа. Ночь за ночью сторожил Клаас свое сладкое добро. Утомившись, он поручал это дело Уленшпигелю. Тот охотно соглашался.

Вот однажды ночью, почувствовав холод, он забрался в пустой улей и, съжившись там, смотрел в дырочки: их было две.

Он уже засыпал, как вдруг слышит: хворост на заборе шуршит; слышны и голоса двух человек — верно, воры. Он посмотрел в дырочку и увидел, что оба длинноволосые и бородатые, хотя бороды тогда носили только дворяне

Переходя от улья к улью, они подошли к нему, подняли его улей и сказали:

— Возьмем этот: он самый тяжелый.

Потом проткнули в него свои палки и понесли.

Уленшпигелю этот переезд в улье не доставлял никакого удовольствия. Ночь была ясная, и сперва воры двигались молча. Каждые полсотни шагов они останавливались, переводили дыхание и опять пускались в путь.

Передний бешено ругался сквозь зубы, что ноша слишком тяжела, а задний только жалобно всхлипывал. Ибо на этом свете есть два сорта бездельников: одних всякая работа приводит в бешенство, другие от нее только скулят.

Не зная, что предпринять, Уленшпигель, высунув руки, схватил переднего вора за волосы, заднего за бороду и таскал их до тех пор, пока, наконец, сердитый не закричал слезливому:

— Перестань дергать меня за волосы, а не то я так тресну тебя по башке, что она провалится в грудную клетку и ты будешь смотреть сквозь ребра, как вор сквозь тюремную решетку.

— Как бы я посмел, дружище, дергать тебя, — ответил слезливый, — ведь это ты вырвал мне бороду.

— Ну, стану я ловить вшей в колтуне.

— Ой, не качай так улей — мои бедные руки не выдержат! — взмолился слезливый.

— Сейчас совсем оторву их, — закричал сердитый.

И, скинув с себя ремень, он поставил улей на землю и бросился на своего спутника. Пока они колотили друг друга, под проклятия одного и мольбы другого, Уленшпигель вылез из улья, утащил его в соседний лес и спрятал так, чтобы его можно было опять найти, и вернулся домой.

Так извлекает хитрец выгоду из чужой распри.

## XX

Уленшпигелю было пятнадцать лет, когда он как-то в Дамме соорудил маленькую палатку на четырех шестах и, сидя в ней, выкликал, что здесь каждый — как в настоящем, так и в будущем — может лицезреть свое изображение в прекрасной соломенной рамке.

Когда горделиво и напыщенно подходил надутый ученый законник, Уленшпигель высовывал свою голову из рамы, строил обезьянью рожу и говорил:

— Старое хайло, не цвести тебе, а догнивать. Ну что, не вылитый я ваш портрет, господин доктор?

Если подходил к рамке покупатель — здоровенный солдат-наемник, Уленшпигель, пряча свое лицо, выставлял в рамке полное блюдо рубленого мяса с хлебом, говоря:

— К этому блюду подливу из тебя в сражении выго-  
нят. Что ты мне дашь за мое предсказание, миленький  
солдатик? А ну-ка, во всю глотку и ко всем чертям...

Подходил старикашка со своей бесславной плешью и  
молодой женой; Уленшпигель, опять прячась, так же как  
от солдата, показывал в раме рогульку, на ветках кото-  
рой висели роговые гребешки, шкатулки, черенки для  
ножей, и восклицал:

— Из чего сделаны эти штучки, сударь мой? Из рога,  
который так хорошо растет в садах старых мужей. Кто  
смеет теперь сказать, что от рогоносцев нет никакой  
пользы государству?

И рядом с роговыми изделиями показывалось в раме  
юное лицо Уленшпигеля.

От ярости у старика делался припадок кашля, но его  
хорошенькая жена успокаивала его своей ручкой и, улы-  
баясь, спрашивала Уленшпигеля:

— А мой портрет покажешь?

— Подойди поближе, — отвечал Уленшпигель.

Только она подходила, он притягивал ее к себе и по-  
крывал поцелуями.

— Пусть будет твое зеркало, — говорил он, — в на-  
пряженной юности, пребывающей за мужскими застеж-  
ками.

Красотка уходила, дав ему на прощание флорин, а то  
и два.

Жирному толстогубому монаху, просившему тоже по-  
казать ему его изображение, настоящее и будущее, Улен-  
шпигель отвечал:

— Сейчас ты ларь для ветчины — это твое настоящее,  
а потом станешь пивным погребом — это твое будущее,  
ибо соленое требует выпивки, — не так ли, брюхан? Дай  
патар — ведь я сказал тебе правду.

— Сын мой, — отвечал монах, — мы не носим при  
себе денег.

— Деньги носят вас, — возражал Уленшпигель, — я  
знаю, у тебя деньги в подошвах сандалий. Дай мне твои  
сандалии.

— Сын мой, это достояние обители. Но, так и быть,  
вытащу; вот тебе два патара за твои труды.

Монах подал, и Уленшпигель почтительно принял  
ленту.

Так показывал он жителям Дамме, Брюгге, Бланкенберга и даже Остенде их изображения.

И, вместо того чтобы сказать по-фламандски: «Ik ben ulieden spiegel», то есть: «Я — ваше зеркало», он производил коротко: «Ik ben ulen spiegel», как говорят в восточной и западной Фландрии.

Отсюда и произошло его прозвище *Уленшпигель*.

## XXI

Когда он подрос, его лучшим удовольствием стало слоняться по рынкам и ярмаркам. Увидев дудочника, скрипача или волынщика, он непременно старался за парта научиться у него музыке.

Особенно хорошо он играл на *gommel-pot* — инструменте, состоящем из горшка, свиного пузыря и длинной камышинки. Он устраивал его следующим образом: обтягивал смоченным пузырем горшок, потом середину пузыря привязывал к камышинке, упиравшейся в дно горшка, к краям которого был туго-натуго привязан пузырь, так что чуть не лопался.

К утру, когда пузырь высыхал, он при ударе гудел как бубен, а камышинка, если по ней провести пальцем, звучала как лютня. И Уленшпигель со своим хрипящим горшком, подчас ворчавшим точно цепной пес, со своим громким пением ходил славить Христа по домам, а за ним толпа ребятишек, носивших под крещенье блестящую бумажную звезду.

Когда приезжал в Дамме живописец, чтобы изобразить на полотне коленопреклоненными почтенных членов какой-нибудь «гильдии», Уленшпигель пристраивался к нему растирать краски только для того, чтобы смотреть, как тот работает, а платы брал всего лишь ломоть хлеба, три лиара денег и кружку пива.

Растирая краски, он изучал манеру мастера. Когда тот отлучался, он пытался писать как тот, но злоупотреблял красной краской. Так пробовал он изобразить Клааса и Сооткин, Катлину и Неле, а также горшки и кружки. Клаас, глядя на его картины, пророчил ему, что если он станет ревностно учиться, он грудами будет загребать флорины, разрисовывая *speel-wagen*: так в Зе-

ландии и Фландрии называются фургоны бродячих акробатов.

Он научился также вырезать вещицы из камня и дерева у каменщика, который взялся сделать на хорах собора Богоматери для престарелого каноника такое сиденье, чтобы тот мог, когда захочется, сесть, но казался бы стоящим.

Между прочим Уленшпигель был первый, украсивший резьбой ручку ножа, и такая резьба и сейчас распространена в Зеландии. Он изобразил клетку, внутри клетки — череп, а на ней — собаку. Это должно было означать: «Клинок, верный до смерти».

Так начали сбываться предсказания Катлины: Уленшпигель был все вместе — живописец, ваятель, крестьянин и дворянин, ибо из рода в род Клаасы имели герб — три серебряные кружки на «пивном» фоне.

Но ни на одном ремесле не мог остановиться Уленшпигель, и Клаас заявил ему, что, если так будет продолжаться, он его вышвырнет из дому.

## XXII

Возвратившись однажды с похода, император спросил, почему не вышел к нему навстречу сын его Филипп с должным приветом.

Архиепископ, воспитатель инфанта, ответил, что принц не захотел выйти, объявив, что любит только книги и одиночество.

Император осведомился, где находится инфант.

Воспитатель полагал, что принца надо искать в каком-нибудь темном закоулке; так они и сделали.

Они прошли длинную вереницу комнат, пока набрали, наконец, на какой-то чулан без пола, освещаемый только отверстием в стене. Здесь они увидели вбитый в землю столб, на котором подвешена была маленькая обезьянка, как-то присланная из Индии в подарок его высочеству, дабы позабавить его ужимками зверька. Внизу дымились еще тлеющие дрова, и в чулане стоял отвратительный запах жженой шерсти.

Зверек так страдал, издыхая на огне, что его маленькое тельце ничем не напоминало некогда живое существо, но скорее походило на какой-то искривленный, шишковатый

тый корешок. Рот, широко открытый, точно в последнем крике предсмертной агонии, был полон кровавой пены, и крупные слезы заливали мордочку.

— Кто сделал это? — спросил император.

Воспитатель не посмел ответить, и оба стояли в молчании, мрачном и гневном.

Вдруг в этой тишине из темного угла за ними послышался тихий звук, точно кашель. Император обернулся и увидел инфанта. Филипп был в темной одежде и сосал лимон.

— Дон Филипп, — сказал отец, — подойди и поздоровайся со мной.

Инфант не шевельнулся и смотрел на отца трусливыми глазами, в которых не было любви.

— Ты это сжег здесь зверька?

Инфант опустил голову.

— Если ты был достаточно жесток, чтобы сделать это, то будь же достаточно смел, чтобы признаться, — сказал император.

Инфант не ответил ни слова.

Тогда император вырвал лимон из рук сына, бросил его на землю и собрался было поколотить Филиппа, который от страха намочил штаны. Архиепископ удержал его величество и шепнул ему на ухо:

— Его высочество прославится сожжением еретиков.

Император улыбнулся, и они вышли, оставив инфанта с его обезьянкой.

А впоследствии другие существа, уже не обезьяны, тоже нашли свою смерть на кострах.

### XXIII

Наступил ноябрь с его морозами, когда кашляющее человечество внимает музыке харканья. Ребятишки носятся толпами по свекловичным полям, воруя что попадет под руку, к великой ярости крестьян, которые напрасно гоняются за ними с палками и вилами.

Однажды вечером Уленшпигель, возвращаясь с такого набега, услышал где-то под забором жалобное визжание. Он наклонился и увидел лежащую на камнях собаку.

— Ах, бедняга, что ты тут так поздно делаешь?

Погладив ее рукой, он почувствовал, что спина у нее совершенно мокрая, и подумал, что ее, верно, хотели утопить. Он взял ее на руки, чтобы согреть. Придя домой, он спросил:

— Я принес раненого, что с ним делать?

— Перевязать, — ответил Клаас.

Уленшпигель положил собаку на стол, и тут, при свете лампы, он, Сооткин и Клаас увидели рыженького люксембургского шпица с раной на спине. Сооткин промыла рану, намазала мазью и перевязала тряпочкой. Потом Уленшпигель уложил его в свою постель, хотя мать хотела взять собачку к себе: потому, говорила она, что Уленшпигель ночью мечется, как черт под кропилом, и, чего доброго, придушит собачку во сне.

Но Уленшпигель настоял на своем и так усердно ухаживал за песиком, что через шесть дней тот уж бегал с нахальством настоящего барбоса.

И schoolmeester (школьный учитель) назвал его Титус Бибулус Шнуффиус: Титус — в память известного своей добротой римского императора, который любил подбирать бродячих собак; Бибулус, то есть пьяница, — потому, что пес очень полюбил темное пиво, и Шнуффиус, то есть Нюхало, — потому, что он, беспрестанно что-то вынюхивая, тыкал свой нос в каждую крысиную или кротовую нору.

#### XXIV

В конце Соборной улицы по краям глубокого пруда стояли две вербы одна против другой.

Уленшпигель натянул между ними канат и однажды в воскресенье после вечерни плясал на нем, забавляя толпу зевак, рукоплесканиями и криками выражавших ему свое одобрение. Потом он слез и стал обходить толпу с тарелкой, которая вскоре наполнилась. Он высыпал все деньги в передник матери, а себе взял только одиннадцать лиаров.

В следующее воскресенье он опять собрался плясать на канате, но нашлись пакостники-мальчишки, которые, завидуя его ловкости, надрезали канат; после нескольких прыжков канат лопнул, и Уленшпигель свалился в воду.

В то время как он подплывал к берегу, мальчишки кричали ему:

— Как твое драгоценное здоровье, Уленшпигель? Не собрался ли ты учить карпов в пруде тоже плясать на канате, плясун несравненный?

Уленшпигель вылез из воды, отряхнулся, и, так как они в страхе, что он бросится на них, шарахнулись в сторону, он крикнул им:

— Не бойтесь! Вот приходите в то воскресенье: я покажу новые штуки на канате и вырубкой поделюсь с вами.

В воскресенье эти мальчишки уже не подрезали каната, а, наоборот, смотрели, чтобы кто другой не повредил его, потому что народу собралось множество.

Уленшпигель обратился к ним:

— Дайте мне каждый по одному башмаку и — хотите биться об заклад? — они у меня — большие ли, малые ли — запляшут на канате.

— А какой заклад?

— Я ставлю сорок кружек пива, — отвечал Уленшпигель, — а если я выиграю, вы платите три патара.

— Идет, — ответили они.

И каждый дал ему по башмаку. Уленшпигель сложил их все в передник, влез на канат и, хоть с трудом, плясал на нем с этой ношей.

Молодежь кричала снизу:

— Ты говорил, что башмаки будут плясать, а ты их держишь. Обуйся в них или заплати проигрыш!

— Да я и не говорил, что надену их, — отвечал Уленшпигель, — а только, что буду плясать с ними... Вот я и пляшу, и они пляшут со мною в моем переднике. Что устались, точно лягушки? Платите-ка мои три патара.

Они кричали, требуя, чтобы он им отдал их башмаки.

Он стал бросать один башмак за другим в толпу: все кинулись разбирать их, произошла свалка, никто не мог добраться в куче до своего башмака.

Уленшпигель слез с дерева и полил драчунов — только не чистой водой...

## XXV

Инфанту было пятнадцать лет; бесцельно, как всегда, слонялся он по переходам, лестницам и залам замка. Чаще всего его видели у дамских покоев, где он затевал ссоры с пажами. Ибо пажи тоже были всегда там, точно

коты на ловле. Некоторые оставались во дворе и, подняв носы кверху, пели нежные песни.

Услышав пение, инфант вдруг показывался в окне, и бедные пажы разбежались, увидев эту бледную образину вместо чудных очей своих милых.

Среди придворных дам была одна прелестная фламандка из Дюдзееле, подле Дамме, пышная, точно зрелый плод, и восхитительно красивая: с зелеными глазами, с вьющимися золотистыми волосами. Веселая и пламенно-страстная, она ни от кого не скрывала своей склонности к тому счастливцу из кавалеров, которому предоставила сладостное право наслаждаться ее божественной благосклонностью. Она избрала в то время одного знатного красавца. Ежедневно в определенное время они встречались, и об этом узнал Филипп.

Поэтому он сел на скамье у окна и подстерег ее; со сверкающими глазами и полуоткрытым ртом, шурша своим золотым парчовым платьем, прелестная и соблазнительная, она мелькнула мимо него по пути с купанья. Не подымаясь со скамейки, инфант остановил ее:

— Сеньора, свободны ли вы на минутку?

Она дрожала от непреодолимого нетерпения, как кобылица, задержанная в своем беге к красавцу жеребцу, ржущему на лугу, но ответила:

— Здесь в замке всякая женщина подчиняется воле вашего высочества.

— Сядьте подле меня, — сказал он.

Он посмотрел на нее хитрым, острым, похотливым взглядом и продолжал:

— Прочтите мне «Отче наш» по-фламандски. Я знал когда-то, но забыл.

Бедняжка читала ему «Отче наш», а он все просил ее читать как можно медленнее.

И так она прочитала ему молитву десять раз подряд, все думая о часе иных молитв, который казался ей столь близким.

Затем он стал осыпать похвалами ее прекрасные волосы, роскошный цвет ее лица, ее ясные глаза; только о ее полных плечах, ее высокой груди и иных прелестях он не посмел сказать ничего.

Она уж думала, что может идти, и посматривала в сторону двора, где ждал ее кавалер, но инфант спросил ее, знает ли она, в чем достоинство женщины.

И так как она в замешательстве не знала, что ответить, он поучительно ответил за нее сам:

— Достоинство женщины — ее чистота, добродетель и скромное поведение.

И он посоветовал ей одеваться пристойно и скрывать свои прелести

Она выразила согласие наклонением головы и ответила, что перед его гиперборейским высочеством ей приятней было бы закутаться в десять медвежьих шкур, чем в кисейный лоскуток.

И, смутив его этим ответом, она весело убежала.

Однако пламя юности возгорелось в груди инфанта, но это был не тот могучий пыл, который побуждает сильные души к великим подвигам, и не тот мягкий огонек, от которого плачут нежные сердца, но то мрачное адское пламя, возжечь которое дано одному сатане. Это пламя светилось в его тусклых глазах, словно лунный свет в зимнюю ночь над кладбищем. Жестоко жег его этот огонь.

Не чувствуя в себе любви ни к кому на свете, несчастный выродок не смел предложить себя женщинам. Он уходил в темный, заброшенный угол, в чулан с выбеленными известью стенами и узкими окнами, где он грыз обыкновенно свое пирожное и куда на сладкие крошки во множестве слетались мухи. Там он ласкал себя, давил пальцами мух на стекле и убивал их сотнями, пока его руки не начинали так дрожать, что он уже не мог продолжать этого отвратительного занятия. И мерзкое наслаждение испытывал он от этой жестокой истомы, ибо сладострастие и жестокость — две гнусные сестры. Он уходил отсюда еще угрюмее, чем пришел, и всякий, как мог, бежал от лица этого принца, иссиня-бледного, точно он отдал гнойных струпьев.

И принц страдал: ибо злое сердце — это мучение.

## XXVI

Юная красавица покинула Вальядолид и отправилась в свой замок Дюдзееле во Фландрии.

Проезжая в сопровождении своего толстого управляющего через город Дамме, она увидела юношу лет пятнадцати, который, сидя у стены маленького домика, играл на волынке. Перед ним стоял рыжий пес и жалобно выл,

очевидно не одобряя этой музыки. Солнце светило ярко. Подле юноши стояла хорошенькая девушка, которая громко хохотала при каждом завывании унылой собаки.

Проезжая мимо домика, прекрасная дама со своим толстым управляющим увидела, как дудит на волынке Уленшпигель, хохочет Неле и воет Титус Бибулус Шнуффиус.

— Злой мальчишка, — сказала дама, — зачем ты доводишь бедного пса до такого воя?

Но Уленшпигель, услышав это, загудел еще громче, Бибулус завыл еще жалостнее, Неле захохотала еще веселее.

Управляющий пришел в бешенство и, показывая на Уленшпигеля, предложил даме:

— А не оттрепать ли мне эту дрянь ножнами моей шпаги? Может быть, он тогда прекратит свой непристойный визг?

Уленшпигель взглянул на управляющего, пробормотал: «Молчи, толстопузый!» и продолжал играть. Управляющий подошел к нему и пригрозил кулаком. Но Титус Бибулус бросился на него и схватил за ногу. Управляющий упал на землю и заорал:

— Спасите!

Дама засмеялась и спросила Уленшпигеля:

— Скажи, дудочник, не знаешь ли ты, дорога из Дамме в Дюдзееле все та же, что и прежде?

Уленшпигель утвердительно кивнул головой, но продолжал играть, не отрывая глаз от дамы.

— Что это ты так уставился на меня? — спросила она.

Но он только шире раскрыл свои глаза, как бы в восторге и изумлении.

— Не стыдно тебе в твои годы так смотреть на даму? — спросила она.

Уленшпигель слегка покраснел и, не переставая играть, все смотрел на нее.

— Я спрашивала тебя, не изменилась ли дорога из Дамме в Дюдзееле? — повторила она.

— Она потеряла свою зелень с тех пор, как вы лишили ее счастья носить вас на себе, — ответил Уленшпигель.

— Может быть, проводишь меня? — спросила она.

Но Уленшпигель продолжал сидеть, не отрывая от нее взгляда. И она не сердилась: ей нравилось, что он

такой молодой и, видно, продувной. А он встал и направился к дому.

— Куда ж ты? — спросила она.

— Принарядиться, — ответил он.

— Иди, — сказала она.

Она села на скамейку у входа, и управляющий рядом с ней. Она хотела поболтать с Неле, но Неле не отвечала ей: Неле ревновала.

Уленшпигель вернулся вымытый, в плисовой куртке. В своем воскресном наряде этот шельмец выглядел весьма недурно.

— Ты в самом деле пойдешь с этой красивой дамой? — спросила Неле.

— Я сейчас вернусь, — ответил Уленшпигель.

— А не пойти ли мне вместо тебя? — предложила Неле.

— Нет, очень грязно на дороге.

— Почему, — спросила дама гневно и тоже ревниво, — почему ты, девочка, хочешь помешать ему пойти со мной?

Неле ничего не ответила, но крупные слезы показались в ее глазах, и она сердито и тоскливо посмотрела на даму.

Они отправились вчетвером: дама, точно королева сидевшая на своем белом коне, покрытом черной бархатной попоной, управляющий, толстое брюхо которого вздрагивало при каждом шаге, Уленшпигель, который вел белого коня под уздцы, и рядом с ним Титус Бибулус с гордо поднятым хвостом.

Так ехали и шествовали они некоторое время. Но Уленшпигелю было не по себе. Безмолвный, как рыба, он вдыхал еле уловимый запах бензоа, шедший от дамы, и бросал украдкой взгляды на сбрую с металлическим набором, на драгоценные украшения, а также на нежное лицо, открытую грудь, блестящие глаза и волосы, сверкавшие на солнце, точно золотой чепец.

— Почему ты все молчишь, мальчик? — спросила она.

Он ничего не ответил.

— Не так уж ты робок, чтобы не выполнить поручение?

— Смотря какое, — сказал он.

— Отсюда я поеду одна, а ты пойдешь обратно, знаешь, в Коолькерке, и там передашь от меня одному

господину в черно-красной одежде, чтобы он не ждал меня сегодня, а в воскресенье в десять часов вечера пришел бы ко мне в замок через потайной ход.

— Не пойду! — сказал Уленшпигель.

— Почему?

— Не пойду! — повторил он.

— Чего ты взбесился, петушок сердитый?

— Не пойду! — твердил Уленшпигель.

— А если я заплачу тебе флорин?

— Нет.

— Дукат?

— Нет.

— Червонец?

— Нет, — повторил он. — Хотя, — прибавил он, — на такие вещи я смотрю много охотнее, чем на ракушки в кошеле матери.

Дама засмеялась и вдруг закричала:

— Я потеряла мою дорогую парчовую сумку, вышитую жемчугом! Еще в Дамме она висела у меня на поясе.

Уленшпигель не шевельнулся, управляющий же всполошился:

— Сударыня, не посылайте этого проходимца, а то вы никогда не увидите своей сумки.

— Кто же пойдет за ней? — спросила она.

— Придется мне не пожалеть своей старости.

И он поспешил обратно.

Полуденная жара была невыносима, кругом было безлюдно. Уленшпигель снял молча свою праздничную куртку и расстелил ее в тени ивы, чтобы дама могла сесть, не боясь сырой травы. И он стоял подле нее, вздыхая.

Она взглянула на него и почувствовала жалость к робкому мальчику. Поэтому она спросила его, не устал ли он стоять на своих молодых ногах. Он не сказал ни слова, и когда он стал падать подле нее, она поддержала его, привлекла к своей обнаженной груди, и там он остался с такой радостью, что ей показалось бесчеловечным приказать ему искать себе другое изголовье.

Между тем возвратился управляющий с известием, что нигде не мог найти сумки.

— Да вот она, — ответила дама, — я нашла ее, сходя с коня: падая, она зацепилась за стремя. А теперь, — обратилась она к Уленшпигелю, — веди нас прямо в Дюдзееле и скажи мне, как тебя зовут.

— Я ношу имя святого Тильберта, и имя это значит: быстрый в погоне за прекрасными вещами; отца моего зовут Клаас, по прозвищу я Уленшпигель, то есть ваше зеркало. Если вы, ваша милость, взглянете в это зеркало, вы увидите, что во всей Фландрии нет цветка, равного прелестью вашей благоуханной красоте.

Дама покраснела от удовольствия и не рассердилась на Уленшпигеля.

А Сооткин и Неле проплакали все время его долгого отсутствия.

## XXVII

Вернувшись из Дюдзееле, Уленшпигель при входе в город прежде всего увидел Неле. Прислонившись к стене, она общипывала гроздь черного винограда, и ягоды, конечно, освежали и услаждали ее, но это удовольствие не проявлялось ни в чем. Наоборот, она, видимо, была не в духе и сердито отрывала одну виноградину за другой. Так явно было ее страдание и на лице ее написана была такая забота и печаль, что Уленшпигель, охваченный ласковым состраданием, приблизился к ней сзади и нежно поцеловал ее в шею.

Но в ответ он получил яростную оплеуху.

— И все-таки я ничего не понимаю, — сказал Уленшпигель.

Она залилась слезами.

— Хочешь изобразить фонтан у городской заставы, Неле? — спросил он.

— Убирайся! — вскрикнула она.

— Не могу убраться, пока ты так плачешь, девочка!

— Я не девочка, и я не плачу.

— О нет, ты не плачешь, — только вода льется из твоих глаз.

— Уйди от меня.

— Не уйду.

И дрожащими руками она теребила мокрый передник, на который градом катились ее слезы.

— Неле, — спросил Уленшпигель, — погода скоро переменится?

И он с нежной улыбкой смотрел на нее.

— Не все ли тебе равно?

— Значит, не все равно: в хорошую погоду нет дождя.

— Убирайся к твоей даме в парче, ей с тобой весело.  
На это он запел:

Плачет милая моя —  
Рвется сердце у меня.  
Смех у милой — меда слаше,  
Слезы — жемчуг настоящий.  
Я люблю ее всегда...  
Эй, давай вина сюда,  
Чтобы кружки зазвенели!  
Лучшего вина сюда —  
Только б улыбулась Неле...

— Скверный человек, — сказала она, — ты еще смеешься надо мной!

— Неле, — ответил он, — человек, но не скверный: наш почтенный род, род старшин, имеет в гербе три серебряных кружки на пивном фоне. Скажи, Неле, неужто так заведено во Фландрии, что когда сеют поцелуи, пожинают оплеухи?

— Я не хочу с тобой разговаривать.

— Однако открываешь рот, чтоб сказать мне это.

— Я зла, зла, зла на тебя!

Уленшпигель легонько толкнул ее в спину и сказал:

— Целуешь злючку — она дерется, побьешь ее — она сдается. Ну, сдавайся, девочка, я ведь побил тебя.

Неле обернулась. Он протянул руки, она бросилась ему на шею, всхлипывая:

— Ты туда больше не пойдешь, Тиль?

Но он не отвечал, так как был занят: он сжимал ее бледные дрожащие пальчики и старался губами осушить горячие слезы, которые крупными каплями проливного дождя лились из глаз Неле.

## XXVIII

В эти дни благородный Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном императором Карлом. Город был уже совершенно разорен Карлом и платить не мог. Это было тяжкое преступление, и Карл решил собственноручно наказать его.

Ибо сыновний бич больше спине матери, чем всякий иной.

Враг Карла, Франциск Длинноносый, предложил ему двинуться через Францию. Карл принял предложение, и его приветствовали и окружили царскими почестями,

вместо того чтобы заточить в тюрьму. Между государями всегда царит согласие, когда им надо поддержать друг друга в борьбе против их народов.

Карл долго оставался в Валансьенне, не показывая своего гнева. Город Гент жил беззаботно, в спокойной надежде, что император, сын его, простит своей родине то, что она поступила по праву и по закону.

Карл с четырьмя тысячами всадников явился под стены города. С ним был Альба, а также принц Оранский. Простой народ и ремесленники хотели воспротивиться этому сыновнему посещению и завербовали для этой цели восемьдесят тысяч горожан и крестьян. Но заживревшие купцы, называемые *hoogh-rooters*, воспротивились, боясь, что, в случае успеха, простой народ получит слишком много прав. Город Гент, вооружив население, мог бы искрошить своего сына и его четыре тысячи всадников. Но город любил его, и даже к ремесленникам вновь вернулись надежды.

Карл тоже любил Гент, но только за те деньги, которые он, получив от него, держал в сундуках и которых ему всегда было мало. Овладев Гентом, он расставил повсюду часовых; дозоры день и ночь обходили город. Затем с большой торжественностью он объявил свой приговор.

Знатнейшие граждане обязаны были с веревкой на шею явиться пред его престолом и публично принести повинную. Гент был обвинен в самых доходных для государевой казны преступлениях: в измене, непокорности, вероломстве, восстании, мятеже, оскорблении величества. Император объявил недействительными все права и льготы, вольности и обычаи города Гента и, подобно господу богу, предрек будущее: отныне его преемники при вступлении на престол будут давать клятву соблюдать ту «привилегию рабства», которую он отныне дарует городу в «*Concession Carolina*» — в «пожаловании Карла».

Он разрушил Сен-Бавонское аббатство, чтобы воздвигнуть на его месте крепость, откуда он при желании мог бы с удобством пронизать чрево своей матери пушечными ядрами.

Как любящий сын, который спешит завладеть наследством, он конфисковал все имущество и доходы Гента, дома, оружие, пушки и военные припасы.

Найдя, что город слишком хорошо защищен, он срыл все укрепления: Красную Башню, Жабыю Дыру, город-

ские ворота — Брампоорт, Стинпоорт, Ваальпоорт, Кетельпоорт и многие другие, украшенные изящными и тонкой художественной резьбой.

Когда впоследствии в Гент попадали иностранцы, они с удивлением спрашивали друг друга:

— Что же это за чудеса рассказывали об этом городе? Он такой обыкновенный и скучный.

И гентские граждане отвечали:

— Император Карл недавно снял с города его драгоценный пояс. — И, отвечая так, они были полны негодования и стыда. Из развалин городских башен и стен император взял кирпичи для постройки своей крепости.

Он хотел дотла разорить Гент, чтобы трудолюбие, промышленность и богатство города не препятствовали его горделивым замыслам. Поэтому он обязал город уплатить невнесенную дань в четыреста тысяч флоринов и, кроме того, уплатить сто шестьдесят тысяч дукатов, а затем еще навечно ежегодно платить налог в шесть тысяч. Гент дал ему некогда денег взаймы, и он должен был выплачивать городу ежегодно сто пятьдесят фунтов серебра. Он отобрал свои долговые обязательства. Расплачиваясь с долгами таким образом, он быстро обогатился. Гент любил его и не раз поддерживал его, но Карл все глубже вонзал кинжал в грудь Гента и уже пил его кровь, ибо там оказалось недостаточно молока.

Потом Роланд, прекрасный колокол, обратил на себя его внимание; и он приказал повесить на его языке того, кто забил в набат, призывая город к защите своих прав. Он не сжалился над Роландом, языком своей матери, над языком, вызывавшим к Фландрии, над Роландом, гордым колоколом, который сам о себе говорил:

Als men my slaet dan is't brandt.

Als men my luyt dan is't storm in Vlaenderlandt.

Слышен гулкий удар —

значит вспыхнул пожар.

Я в набат начинаю бить —

во Фландрии буре быть.

И, найдя, что язык его матери говорит слишком громко, Карл снял колокол. И люди в округе говорили, что Гент умер потому, что сын его железными клещами вырвал у города язык.

Стояли погожие, солнечные весенние дни, когда природа исполнена томления любви. Сооткин болтала с кем-то у открытого окна, Клаас мурлыкал песенку, а Уленшпигель смастерил судейскую шапочку и надел ее на Титуса. Пес важно поднимал лапу, точно изрекая приговор, но делал это только для того, чтобы избавиться от шапочки.

Вдруг Уленшпигель захлопнул окно, заметался по комнате, вскакивая на столы и стулья, и шарил руками по потолку. Сооткин и Клаас увидели, что он хочет поймать прелестную маленькую птичку, которая пищала, вся дрожа от ужаса, и прижалась в углу к потолочной балке.

Только Уленшпигель хотел схватить ее, как Клаас сказал ему:

— Чего ты мечешься?

— Хочу поймать ее, — ответил Уленшпигель, — посадить в клетку, кормить ее зерном и слушать, как она будет петь.

Птичка опять вспорхнула с жалобным писком и, проносясь из угла в угол, билась головой о стекла.

Уленшпигель все прыгал за нею, но Клаас опустил свою тяжелую руку на его плечо и сказал:

— Ты поймай ее и посади в клетку, чтобы она для тебя пела. А я тебя посажу в клетку, запертую доброй железной решеткой, и тоже заставлю тебя петь. Ты любишь бегать, да нельзя будет; ты будешь сидеть в тени, когда тебе будет холодно, и на солнце, когда тебе станет жарко. А то как-нибудь в воскресенье мы уйдем, позабыв накормить тебя, и вернемся только в четверг, и когда придем домой, то найдем Тиля умершим от голода, холодным и неподвижным.

Сооткин заплакала. Уленшпигель вскочил.

— Что ты делаешь? — спросил Клаас.

— Отворяю для нее окно, — ответил Уленшпигель.

И щегленок порхнул к окну, радостно пискнул, поднялся стрелою вверх, потом уселся на соседнюю яблоню, чистя перышки и осыпая на своем птичьем языке яростными ругательствами Уленшпигеля.

И Клаас сказал:

— Сын мой, никогда не лишай человека или животное свободы — величайшего блага на земле. Не мешай никому.

греться на солнце, когда ему холодно, и прохладиться в тени, когда ему жарко. И пусть господь судит его величество, императора Карла, который сначала заковал в цепи свободную веру во Фландрии, а теперь хочет заключить в клетку рабства благородный Гент.

### XXX

Филипп женился на Марии Португальской, земли которой присоединил к владениям испанской державы. От нее родился дон Карлос, жестокий безумец. Филипп не любил свою жену.

Королева болела после тяжелых родов. Она лежала в постели, окруженная придворными дамами, среди которых была герцогиня Альба.

Филипп часто покидал жену, чтобы присутствовать при сожжении еретиков. Все дамы и кавалеры его двора следовали его примеру — в том числе и герцогиня Альба, благородная сиделка при королеве.

Инквизиция осудила в это время одного фламандского скульптора, католика: некий монах заказал ему вырезать из дерева изваяние божьей матери и не заплатил ему, сколько было условлено; тогда художник искромсал резцом лицо статуи, ибо, сказал он, лучше он уничтожит свою работу, чем отдаст ее за позорно малую цену.

Обвиненный по доносу монаха в кощунстве, он был подвергнут бесчеловечной пытке и присужден к сожжению.

Во время пытки ему сожгли подошвы ног, и по пути от тюрьмы к костру, покрытый «San-benito», он все время кричал:

— Отрубите ноги! Отрубите ноги!

И Филипп издали слушал эти исступленные крики, ему они были приятны. Но он не смеялся.

Придворные дамы королевы Марии покинули ее, чтобы видеть казнь, и вслед за ними побежала герцогиня Альба, ибо и она хотела слушать крики фламандского художника и наслаждаться зрелищем казни. И королева осталась одна.

Филипп и весь его двор, его князья и графы, кавалеры и дамы, все смотрели, как фламандского скульптора длинной цепью приковали к столбу, окруженному на некотором расстоянии пучками соломы и связками хво-

роста, так что осужденный мог, если это ему хотелось, держаться подальше от наиболее жаркого пламени и, таким образом, жариться на медленном огне.

С любопытством смотрели они, как он, голый, или почти голый, напрягал все свои душевные силы для борьбы с огнем.

Как раз в это время роженице королеве Марии очень захотелось пить. В другом конце спальни на блюде лежала половина дыни; королева с трудом поднялась с постели, прошла через комнату, взяла и съела всё без остатка.

От холода съеденного плода ее начало знобить; обливаясь холодным потом, она упала и долго лежала на полу без движения.

— О, — стонала она, — я бы согрелась, если бы меня перенесли в постель.

Тут донесся до нее крик несчастного скульптора:

— Отрубите ноги!

— Ах, что это, — вздыхала королева, — не собака ли там вьет, чует мою смерть?

В это мгновение скульптор, увидев вокруг себя лишь враждебные испанские лица, подумал о Фландрии, стране мужественной силы. Он скрестил руки, потянул за собой цепь во всю ее длину, выпрямившись, стал на горящие связки соломы и хвороста и воскликнул:

— Так умирают фламандцы на глазах своих испанских палачей. Не мне, а им рубите ноги, чтобы они не могли больше творить убийств! Да здравствует Фландрия! Фландрия во веки веков!

И дамы рукоплескали ему и, видя его гордое поведение, просили смилостивиться над ним.

И он умер.

Королева Мария дрожала всем телом и рыдала; зубы ее стучали от потрясавшего ее предсмертного озноба, и она вытягивала ноги и руки с криком:

— Положите меня в постель, согрейте меня!

И она умерла.

Так, по предсказанию Катлины, доброй колдуньи, Филипп везде сеял кровь, смерть и слезы.

А Уленшпигель и Неле нежно любили друг друга.

Был конец апреля, все деревья стояли в цвету, все растения, полные соков, ждали мая, который нисходит на землю, многоцветный, как павлин, и благоухающий, как букет цветов. В садах, заливаясь, распевали соловьи.

Часто Уленшпигель и Неле бродили вдвоем по безлюдным тропам. Неле льнула к Уленшпигелю, и он, упиваясь радостью, нежно обнимал ее. И она была счастлива, но не говорила ничего.

Ветерок разносил по дорогам ароматы лугов. Море плескалось вдали, словно нежась под лучами солнца. Уленшпигель был горд, как молодой сатаненок, Неле наслаждалась своим счастьем стыдливо, как маленькая святая в раю.

Она склоняла голову на плечо Уленшпигеля, он брал ее руки, целовал ее в лоб, щеки и в губы. Но она не говорила ничего.

Так проходили часы. Их бросало в жар и мучила жажда, они заходили к крестьянину, пили у него молоко, но это не освежало их.

Они сели на траве у обрыва.

Неле была бледна и задумчива. Уленшпигель тревожно смотрел на нее.

— Ты тоскуешь? — спросила она.

— Да, — ответил он.

— Отчего?

— Я не знаю; но эти яблони и вишни в цвету, этот теплый воздух, точно пронизанный молниями, эти маргаритки, розовеющие на лугах, терновник, весь белый, у нас на заборах... Кто скажет мне, отчего я так взволнован? Мне хочется не то умереть, не то уснуть. И сердце мое бьется так сильно, когда я слышу, что проснулись в ветвях птички, когда я вижу, что прилетели ласточки. Мне хочется нестись куда-то дальше солнца и месяца. То мне жарко, то холодно. Ах, Неле! Я хотел бы оторваться от этой земли, или, вернее, я хотел бы отдать тысячу жизней той, которая меня будет любить...

Неле ничего не говорила, но радостно улыбалась и смотрела на Уленшпигеля.

В день поминовения усопших Уленшпигель вместе с несколькими озорниками вышел из собора Богоматери; среди них был и Ламме Гудзак — точно ягненок в стае волков.

Ламме щедро угостил всех доброй выпивкой, так как по праздникам и по воскресеньям получал от матери по три патара.

Они всей компанией отправились в «Красный щит» к Яну ван Либекке, у которого нашли хорошее куртрейское пиво.

Выпивка развеселила их; они говорили о церковной службе, и Уленшпигель заявил, что панихиды приносят пользу только попам.

Но был в их компании иуда, который донес на Уленшпигеля. Несмотря на слезы Сооткин и доводы Клааса, Уленшпигель был взят по обвинению в ереси и заключен в тюрьму. Месяц и три дня сидел он за решеткой, не видя живой души. Тюремщик съедал три четверти еды, предназначенной заключенному. В это время наводили справки о его доброй и дурной славе. Оказалось, что он только злой проказник, вечно насмехающийся над своими ближними, но никогда не изрекал хулы на господу бога, деву Марию или святых угодников. Поэтому и приговор был мягок — за такое преступление ему могли наложить на лоб клеймо раскаленным железом и бичевать до крови.

Принимая во внимание его юность, судьи постановили: в наказание он в одной рубахе, с обнаженной головой и босыми ногами, со свечой в руке, должен будет шествовать вслед за священниками в первом крестном ходе, который выйдет из церкви.

Это было в день вознесения.

Когда крестный ход возвращался в церковь, Уленшпигель остановился в дверях собора и провозгласил:

— Благодарю тебя, господи Иисусе! Благодарю господ священнослужителей! Молитвы их сладостны и прохладительны для душ, страдающих в огне чистилища. Ибо каждое «Ave» есть ведро воды, изливающееся на их спины, а каждое «Pater» — целый чан!

Народ слушал все это с благоговением, но не без усмешки.

В духов день Уленшпигель также должен был идти за крестным ходом, в рубахе, босой, с обнаженной головой и свечой в руке. На обратном пути он остановился на паперти, благоговейно держа свечу, — причем, однако, корчил рожи, — и провозгласил громко и звучно:

— Если молитвы христианские — великое облегчение для душ, томящихся в чистилище, то молитвы каноника собора Богородицы, святого человека, преуспевающего во всяческих добродетелях, так успешно гасят огонь чистилища, что все пламя его мгновенно превращается в лимонад. Но чертям, терзающим там грешников, не достается ни капельки.

Народ внимал ему с великим благоговением, но про себя посмеиваясь, а каноник пастырски улыбался.

Затем Уленшпигель был изгнан на три года из Фландрии с тем условием, что за это время он совершит паломничество в Рим и принесет оттуда прощение папы.

За приговор этот Клаас уплатил три флорина, да еще на дорогу дал сыну один флорин и паломническую одежду.

В час разлуки, обнимая Клааса и Сооткин, бедную рыдающую мать, Уленшпигель был очень удручен. Они провожали его далеко за город вместе с многими горожанами и горожанками.

Вернувшись домой, Клаас обратился к жене:

— Знаешь, жена, это, по-моему, очень жестоко — так сурово наказывать мальчика за несколько глупых слов.

— Ты плачешь, муж, — сказала она, — ты любишь мальчика больше, чем это кажется, ибо рыдания сильного мужчины подобны стенанию льва.

Но он не ответил ей.

Неле спряталась на чердак, чтобы никто не видел, что она плачет об Уленшпигеле. Издали шла она за Сооткин и Клаасом и их спутниками. Увидев, что Уленшпигель остался один, она бросилась бежать за ним, догнала и кинулась ему на шею со словами:

— Там будет столько красивых дам...

— Красивых — может быть, — отвечал он, — но таких свежих, как ты, конечно, нет: их всех сожгло солнце.

Долго шли они вместе. Уленшпигель был погружен в глубокое раздумье и только иногда приговаривал:

— Заплатят они мне за свои панихиды.

— Какие панихиды, и кто за них заплатит? — спросила Неле.

— Все: деканы, каноники, патеры, пономари, попы, толстые, высокие, низкие, худые, которые морочат нас. Если бы я был прилежный труженик, они этим путешествием лишили бы меня плодов трехлетней работы. Теперь поплатится бедный Клаас. Сторицей заплатят они мне за эти три года, и пропою же я им панихиды на их же денежки!

— Ах, Тиль, будь осторожен, — предупреждала Неле, — они тебя сожгут живьем.

— О, я в огне не горю и в воде не тону, — ответил Уленшпигель.

И они расстались: она — плачущая, а он — озлобленный и удрученный.

### XXXIII

В среду, проходя через Брюгге, он увидел на рынке женщину, которую тащил палач со своими подручными. Вокруг них толпилось множество других женщин, осыпавших ее грязными ругательствами.

Взглянув на ее платье с пришитыми к нему красными лоскутьями, на «камень правосудия», висевший на ее шее на железных цепях, Уленшпигель понял, что эта женщина виновна в том, что торговала юным и свежим телом своих невинных дочерей. В толпе говорили, что ее зовут Барбарой, что она замужем за Ясоном Дарю и что должна переходить в этом одеянии с площади на площадь до тех пор, пока не вернется вновь на Большой рынок, где взойдет на эшафот, уже воздвигнутый для нее. Уленшпигель шел за ней вместе с галдящей толпой. По возвращении на рыночную площадь ее привязали к столбу, и палач насыпал перед ней кучу земли, а сверху положил пучок травы, что должно было обозначать могилу.

Уленшпигель узнал также, что ее уже бичевали в тюрьме.

Дальше на пути он встретил бродягу Генриха Маришалья, которого уже раз вешали в округе Вест-Ипра. Генрих показывал следы веревки у него на шее. Он рассказывал, что спасся от смерти чудом. Уже вися на веревке, он вознес моления к галльской богородице. Когда суд и

должностные лица удалились, веревка, уже не душившая его, разорвалась, и он, упав на землю, освободился.

Новскоре за тем Уленшпигель узнал, что этот висельник вовсе не нищий и не Генрих Маршалль и что поощряет его шататься повсюду и распространять эту ложь сам протоиерей собора Галльской богородицы, снабдивший его грамотой за своей подписью. Рассказни о мнимом спасении этого бродяги принесли церкви обильные плоды. Люди, которые чуяли виселицу более или менее близко от себя, толпами стекались к галльской богоматери и много жертвовали. И долго еще божья мать галльская носила название «богородицы висельников».

### XXXIV

В это время инквизиторы и теологи вторично предстали перед императором Карлом и заявили ему следующее: «Церковь гибнет; значение ее падает; если он одержал столько славных побед, то ими обязан он молитвам католической церкви, коими держится на высотах трона его императорское величество».

Один испанский архиепископ потребовал, чтобы император отрубил шесть тысяч голов или сжег шесть тысяч тел, чтобы искоренить в Нидерландах злую Лютерову ересь. Его святейшему величеству это показалось еще недостаточным.

И куда ни приходил бедный Уленшпигель, везде, исполненный ужаса, он видел только головы, торчащие на шестах; он видел, как девушек бросали в мешках в реку, голых мужчин, распятых на колесе, избивали железными палками, женщин бросали в ямы, засыпали их землей, и палачи плясали сверху, растапывая им груди. Но если кто отрекался от своих убеждений, духовники получали по двенадцати су за каждого раскаявшегося.

В Лувене он видел, как палачи сожгли сразу тридцать лютеран, — костер был зажжен посредством пушечного пороха. В Лимбурге он видел, как целая семья — мужчины и женщины, дочери и зятя — с пением псалмов взошли на эшафот. Только один старик закричал, когда пламя охватило его.

С болью и ужасом брел Уленшпигель по этой несчастной земле.

В полях он отряхивался, как птица, как спущенная с цепи собака, и при виде деревьев, лугов и ясного солнца на душе его снова становилось веселее.

После трехдневного пути пришел он в брюссельскую округу, в богатую деревню Уккле. Проходя мимо деревенской гостиницы «Труба», он почуял сладостный запах жаркого. Какой-то бездельник стоял рядом с ним и тоже, задрав нос, наслаждался этим благоуханием. Уленшпигель обратился к нему с вопросом, в честь кого воздымается к небу этот праздничный фимиам. Тот ответил, что это братья ордена «Упитанная рожа» собираются здесь в час вечерней трапезы, чтобы отпраздновать годовщину освобождения Уккле, которое совершили женщины и девушки в незапамятные времена.

Издали увидел Уленшпигель шест, на котором висчлось чучело попугая, а вокруг шеста — женщин, вооруженных луками.

На его вопрос, с каких это пор стали бабы стрелками, бездельник, вдыхая в себя аромат соуса, ответил, что в давние времена этими самыми луками женщины общины Уккле отправили в лучший мир более сотни разбойников.

Уленшпигель хотел узнать подробности, но бездельник сказал, что он голоден и не может вымолвить ни слова, пока не получит патар на пропитание и выпивку. Из жалости Уленшпигель дал ему патар.

Получив монету, тот юркнул в гостиницу, точно лиса в курятник, и победоносно явился оттуда, неся полколбасного круга и здоровенный ломоть хлеба.

Вдруг послышались приятные звуки бубен и скрипок; показалась толпа танцующих женщин, в кругу их плясала одна красотка с золотой цепочкой на шее.

Парнишка, блаженно улыбающийся с тех пор, как насытился, объяснил Уленшпигелю, что молодая красотка — королева стрельбы из лука, что зовут ее Миэтье и что она жена господина Ренонкеля, общинного старшины. Затем он попросил у Уленшпигеля шесть лиаров на выпивку. Получив их, поев и выпив, он сел на солнце и стал ковырять пальцами в зубах.

Увидев Уленшпигеля в паломническом одеянии, женщины окружили его хороводом с криками:

— Здравствуй, хорошенький богомолец! Издалека ли ты идешь, молоденький богомолец?

Уленшпигель ответил:

— Я иду из Фландрии, прекрасной страны, столь богатой милыми девушками.

И он с грустью подумал о Неле.

— В чем твое прегрешение? — спросили они, переставая кружиться вокруг него.

— Ах, прегрешение мое, — сказал он, — так велико, что я не могу назвать его. Но у меня есть и еще кой-что, также не малых размеров.

Они расхохотались и стали расспрашивать, почему это он идет с посохом паломника и нищенской сумой.

— Я в недобрый час сболтнул, что панихиды выгодны только священникам, — ответил он.

— Они получают за молитвы хорошую мзду, — говорили женщины, — но молитвы спасают грешные души в чистилище.

— Я там не был, — сказал Уленшпигель.

— Хочешь закусить с нами, паломник? — спросила самая хорошенькая.

— Конечно, хочу закусить с вами и закусить вами, тобою и всеми остальными по очереди, так как вы — знатное блюдо, повкусней дроздов, куропаток и рябчиков.

— Бог с тобой: нет цены этой дичи.

— Такой, как вы?

— Ну, это как для кого; но нас ведь не купишь.

— Значит, даром получишь.

— Получишь колотушек за наглость. Хочешь, вымолотим, как скирду хлеба?

— Ой, не буду!

— Ну, то-то же, пойдем-ка лучше покушаем.

Они повели его во двор трактира, и ему было так приятно видеть вокруг себя эти свежие лица. Вдруг с трубой и дудкой, с бубном и знаменем торжественно ввалилась во двор процессия братьев «Упитанной рожи», являвшихся веселым и наглядным воплощением жирного названия их братства. Мужчины с недоумением смотрели на Уленшпигеля, но женщины объяснили им, что они нашли его на улице, и так как рожа его им показалась, такой же, как у их мужей и женихов, то есть достаточно

благодушной, они пригласили его принять участие в их торжестве.

Эти доводы были приняты мужчинами, и один из них сказал:

— Не хочешь ли пропутешествовать через соусы и жаркие?

— В сапогах-скороходах, — отвечал Уленшпигель.

Но по пути в зал, где приготовлено было пиршество, он увидел дюжину слепых, тащившихся по парижской дороге, стеная и жалуясь на голод и жажду.

При виде их Уленшпигель решил про себя, что он должен сегодня накормить этих нищих царским ужином за счет каноника из Уккле и в память панихид. Он подошел к ним и сказал:

— Чувствуете запах жаркого? Вот девять флоринов, идите закусите.

— Увы, за полмили чувствуем, — ответили они, — только без всякой надежды.

— Вы сытно поужинаете на девять флоринов, — сказал он.

Но в руки он им ничего не дал.

— Благослови тебя господь, — ответили они.

И Уленшпигель усадил их вокруг маленького стола, между тем как за большим столом рассаживались братья «Упитанной рожи» со своими женами и дочерьми.

Слепые, гордые своими девятью флоринами, заказывали хозяину:

— Давай нам лучшее, что у тебя есть из еды и питья.

Хозяин трактира слышал разговоры о девяти флоринах и, убежденный, что деньги лежат в их карманах, спросил, что угодно им заказать.

Они заговорили все разом:

— Дашь гороха с салом; дашь крошеного мясца — воловьего, телячьего, бараньего, куриного. Для кого сосиски-то — для собак, что ли?

— Кто, проходя, чуял запах колбас кровяных, колбас белых — и не схватил их за шиворот? Видал я их, видал, бедняга, не раз, когда глаза мои светили мне.

— А коекебаккен, пирожки, поджаристые такие, в масле, в Андерлехте под Брюсселем их делают. Они поют на сковороде, такие сочные, хрустящие, и пить хотят, пить, пить. Яичницу с ветчиной мне или ветчину с яичницей, — ну уж объеденье!. А где вы, небесные шое-

sels \* — такие гордые мясные великаны среди всяких почек, петушьих гребешков, телячьих желез, бычьих хвостиков, бараньих ножек; и приправа: лучок, перчик, мускат, гвоздика и три кружки белого вина для соуса... О, дождусь ли я тебя, божественная свиная колбаса, такая мягкая, что ты слова не вымолвишь, когда тебя пожирают! Прямым путем из «Царства объедал» приходишь ты, из далекой страны блаженных бездельников и сластен! Где вы, сухие листочки минувшей осени?.. Мне баранины с бобами... Мне свиных ушей!.. Мне сооруди четки из куличков... «Отче наш» будут стрепета, а «Верую» — жирный каплун.

Трактирщик спокойно им ответил:

— Вы получите яичницу из шести десятков яиц; путеводными вехами для ваших ложек будут полсотни черных колбас, которые, дымясь, увенчают эту гору еды. На выпивку будет dobbel peterman \*\* — целая река доброго пива.

У бедных слепых потекли слюнки изо рта, и они кричали:

— Давай скорее и гору, и вехи, и реку, давай!

И братья «Упитанной рожи», уже сидевшие с Уленшпигелем за столом, говорили между собой, что сегодня для слепых — день незримого пира и что бедные слепые потеряют поэтому половину удовольствия.

Когда яичница, украшенная гирляндами петрушки и укропа, была внесена в столовую хозяином и четырьмя поварами, слепые набросились на нее и стали было копаться в сковороде, но хозяин, хоть и не без труда, разделил все и каждому положил на тарелку его долю.

Женщины расчувствовались, видя, как жадно, причмокивая, едят бедняки: страшно голодные, они глотали колбасы, точно устриц. Dobbel peterman низвергался в желудки подобно водопаду, несущемуся с горной вершины.

Очистив свои тарелки, они снова потребовали печений, дроздов и фрикасе. Но трактирщик принес им большую миску, полную бычьих, телячьих, бараньих ко-

---

\* Schoesels — кусочки тушеного мяса, ragu (флам).

\*\* Dobbel peterman — двойное пиво Петермана — особенно крепкий сорт пива (флам.).

стей, плававших в доброй подливе, и уж не делил их на части.

Когда они, запустив руки по локти в соус, стали махать хлеб и вытаскивать оттуда только обглоданные ребра да лопатки, а то и бычьи челюсти, каждый решил, что все мясо захватил его сосед, и они стали бешено швырять костями друг другу в лицо.

Братья «Упитанной рожи», досыта нахохотавшись при виде этого зрелища, переложили часть своего угощения в миску слепых, и те, запуская руку вглубь, чтобы найти там кость для драки, вдруг стали вытаскивать то дрозда, то цыпленка, а то и пару жаворонков. А женщины запрокидывали им головы назад и вливали в глотки полные кружки брюссельского вина. И слепые, шаря вокруг себя руками, чтобы найти, откуда льется божественная влага, вдруг хватались за юбки и изо всех сил тащили их к себе. Но женщины ускользали.

Итак, слепые хохотали, пили и ели и пели песни. Некоторые, почуяв женщин, бегали за ними в любовном пылу по столовой, но озорницы дразнили их, прятались за своими мужчинами и кричали слепым: «Поцелуй меня!»

Они пытались целовать, но вместо женского лица наткнулись на мужскую бороду да еще получали при этом шлепок.

Братья «Упитанной рожи» запевали, а слепые подтягивали им. И веселые бабенки хохотали при виде их веселья.

Когда пришла пора кончать веселье, явился трактирщик.

— Ну, поели, попили, — сказал он, — платите-ка девять флоринов.

Каждый клялся, что деньги не у него, и отсылал хозяина к другому. И из-за этого вновь возникла свалка, в которой они старались ткнуть друг в друга ногой, кулаком, головой, но не попадали и били по воздуху, потому что окружающие, видя, куда они тычут, удерживали их. Удары сыпались впустую, только один нечаянно угостил оплеухой хозяина. Тот разъярился, стал их обыскивать, но нашел у них у всех лишь старый нарамник, семь лиаров, три пуговицы от штанов и у каждого — четки.

Он хотел было запереть слепых в свиной хлев и держать там на хлебе и воде, пока не получит с них за все.

— Хочешь, — сказал Уленшпигель, — я поручусь за них?

— Хорошо, — ответил хозяин, — если кто-нибудь поручится за тебя.

Братья «Упитанной рожи» хотели поручиться за Уленшпигеля, но тот отклонил это и сказал:

— За меня поручится ваш каноник, я пойду к нему.

Памятуя о панихидах, он отправился к местному священнику и рассказал ему, что хозяин «Трубы», будучи одержим бесом, говорит только о слепых и свиньях: то ли свиньи съели слепых, то ли слепые съели свиней во всевозможных безбожных видах и блюдах. И во время таких припадков трактирщик разгромил все свое заведение. Он просит священника прийти и освободить беднягу от наваждения.

Священник обещал прийти, но сказал, что сейчас не может: он подводил итог доходам по причту и старался при этом выгадать что-нибудь для себя.

Видя, что священнику теперь не до него, Уленшпигель сказал ему, что пришлет жену трактирщика, — пусть он поговорит с ней.

— Приходите вдвоем, — сказал священник.

Вернувшись от него, Уленшпигель сообщил трактирщику:

— Я говорил с каноником, он готов поручиться за слепых. Ты присмотри тут за ними, а хозяйка пусть пойдет со мной к его преподобию, он подтвердит то, что я сказал.

— Пойди, жена, — сказал трактирщик.

Хозяйка пошла с Уленшпигелем к священнику, который все еще был погружен в расчеты, как бы выгадать что-нибудь в свою пользу. Когда она и Уленшпигель вошли к нему, он нетерпеливо махнул рукой, чтобы они ушли, и только сказал:

— Не беспокойся, через два-три дня я помогу твоему мужу.

И, вернувшись в трактир, Уленшпигель сказал себе:

«Он уплатит эти девять флоринов, и это будет моя первая панихида».

И он удрал, и слепые за ним.

Встретив на следующий день на большой дороге толпу богомольцев, Уленшпигель пошел с ними и узнал, что сегодня богомолье в Альзенберге.

Он видел бедных старух, шедших босиком по дороге задом наперед: они пятились так, подрядившись за флорины искупить грехи нескольких знатных дам. По обочинам дороги расположились богомольцы, сладко закусывая и попивая пиво под звуки дудок, скрипок и волынок. Запах вкусного соуса подымался к небу, как нежный фимиам.

Но были и другие богомольцы: грязные, голодные, увечные; они тоже шли задом, за что получали от церкви по шесть су.

Лысый старикашка с вытаращенными глазами и мрачным лицом прыгал за ними тоже задом наперед, неустанно твердя молитвы.

Уленшпигель хотел узнать, чего это ради он подражает ракам, и, став перед плешивым, тоже запрыгал, как тот. Дудки, рожки, скрипки, волынки, стенания богомольцев и прочая музыка сопровождали эту пляску.

— Чертова перечница, — сказал Уленшпигель, — зачем ты бежишь таким способом? Чтоб вернее упасть?

Тот ничего не ответил и продолжал твердить «Отче наш».

— Хочешь, может быть, знать, сколько деревьев на дороге? Или ты и листья на них считаешь?

Человек, бормотавший в это время «Верую», махнул на него рукой, чтобы он помолчал.

— Или ты, — сказал Уленшпигель, продолжая прыгать перед ним, — или ты вдруг спятил, что так пятишься? Но кто хочет от дурака добиться разумного ответа, тот сам дурак. Не так ли, шелудивый господин?

Тот все не отвечал, а Уленшпигель продолжал прыгать, так стуча при этом своими подошвами, что дорога гудела, как деревянный мост.

— Или вы немой, почтеннейший господин?

— «Ave Maria gratia plenae et benedictus fructus ventris tui Jesu» \*.

---

\* «Радуйся, благодатная Мария, и благословен плод чрева твоего Иисус» (лат).

— Оглохли, что ль? Посмотрим. Говорят, глухие не слышат ни похвалы, ни брани. Ну, посмотрим, из чего твоя барабанная перепонка, из кожи или железа. Ты, фонарь без свечи, путник заблудший, ты думаешь, что похож на человека? Будет это тогда разве, когда людей станут делать из старых тряпок. Где это увидишь такую желтую образину, такую башку облезлую? Разве на виселице! Висел уж, видно, когда-нибудь?

И Уленшпигель плясал, а человек яростно прыгал, все бормоча свои молитвы.

— Может, ты понимаешь только господское наречие, так я поговорю с тобою просто по-фламандски. Если ты не обжора, то ты пьяница, если не пьяница, то у тебя запор, а если не запор, то понос. Если ты не распутник, то, стало быть, каплун; если есть где на свете умеренность, то не в бочке твоего пуза проживает она. И если на тысячу миллионов человек, обитающих на земле, приходится один рогач, то это, должно быть, ты.

При этих словах Уленшпигель упал на свой зад вверх ногами, ибо старик вдруг так ударил его кулаком по носу, что у него из глаз искры посыпались. Потом, несмотря на свое брюхо, старикашка бросился на Уленшпигеля, колотя его куда попало, и удары сыпались градом на худощавое тело Уленшпигеля. У него и палка из рук выпала.

— Пусть это будет тебе уроком не заговаривать насмерть порядочных людей, идущих на богомолье, — сказал старикашка. — Ибо надо тебе знать, что я иду в Альзенберг, как принято, молить Божью мать о том, чтобы беременная жена моя выкинула ребенка, зачатого в мое отсутствие. Чтобы добиться такой великой милости, надо, начиная с двадцатого шага от своего дома, плясать вплоть до первой ступеньки соборной лестницы, пятясь задом и не произнося ни слова. А теперь из-за тебя приходится мне все начать сначала.

Уленшпигель успел поднять свою палку и сказал:

— Я научу тебя, негодяй, как пользоваться милостью богородицы для того, чтобы убивать детей во чреве матери.

И он так отлупил злого рогоносца, что тот полумертвый остался лежать на дороге.

Попрежнему раздавались стенания богомольцев, звуки скрипок, дудок, рожков и волынок, и, как чистый фимиам, подымался к небу запах жареного мяса.

## XXXVII

Клаас, Сооткин и Неле сидели кружком у очага и говорили о странствующем богомольце.

— Девочка, — сказала Сооткин, — отчего ты не могла силой чар твоей молодости удержать его навсегда у нас?

— Увы, — отвечала Неле, — не могла.

— Потому, — сказал Клаас, — что есть какие-то другие чары, заставляющие его вечно носиться с места на место, — если только не занята его глотка.

— Злой, противный! — вздохнула Неле.

— Злой — согласна, — сказала Сооткин, — но противный — нет. Может быть, сын мой Уленшпигель не какой-нибудь римский там или греческий красавец, но это ведь еще не беда. Ибо у него — быстрые фландрские ноги, острые карие глаза, как у Франка из Брюгге, а нос и рот — точно их сделали две лисы, отлично постигшие искусства ваяния и лукавства.

— А кто, — спросил Клаас, — кто создал его праздные руки и ноги, которые слишком охотно устремляются за развлечениями?

— Их создало его не в меру юное сердце, — ответила Сооткин.

## XXXVIII

Катлина простыми травами вылечила у Спильмана быка, свинью и трех баранов. Но корову Яна Бэлуна ей не удалось вылечить. И он обвинил ее в колдовстве. Он утверждал, что она околдовала корову, потому что она поглаживала ее, когда давала ей снадобье, и разговаривала с ней, конечно на бесовском наречии. Ибо честный христианин не умеет разговаривать с бессловесной тварью.

Вышеупомянутый Ян Бэлун присовокупил, что он сосед Спильмана и что у последнего Катлина вылечила быка, свинью и баранов. И убила она его корову, конечно, по наущению Спильмана, который позавидовал, что его, Бэлуна, поля возделаны лучше и приносят больше дохода. По свидетельству Питера Мелемистера, человека почтенного и известного, и вышеупомянутого Яна Бэлуна, заверивших, что Катлина известна в Дамме как ведьма и, несомненно, убила корову, Катлина была взята под

стражу и присуждена к пытке, которая должна была продолжаться до тех пор, пока она не сознается в своих злодеяниях и преступлениях.

Ее допрашивал судья, вечно раздраженный, так как целый день пил водку. Пред ним и пред судом Фирсхаро была она подвергнута первому допросу под пыткой и давала показания.

Палач раздел ее донага, сбрил все волосы на ее теле и осмотрел всю, чтобы установить, не скрывает ли она какого-нибудь чародейства.

Не найдя ничего, он привязал ее веревками к скамье. Она говорила:

— Мне стыдно лежать так голой пред мужчинами. Пошли мне смерть, пресвятая дева Мария!

Палач прикрыл ей мокрым полотном грудь, живот и ноги и, подняв скамью, стал вливать в нее горячую воду — так много, что вся она точно разбухла; потом он опрокинул ее со скамьей

Судья спросил, сознается ли она в преступлении. Она ответила знаком, что нет. В нее влили еще горячей воды, но Катлина извергла все обратно.

Затем, по указанию лекаря, ее развязали. Она не говорила ничего, но била себя по груди, чтобы показать, что горячая вода обожгла ее. Увидав, что она оправилась от первой пытки, судья обратился к ней:

— Сознайся, что ты ведьма и околдовала корову.

— Не могу я в этом сознаться, — отвечала она, — я люблю животных, сколько могу моим слабым сердцем, и я скорее причинила бы зло себе, чем им, ибо ведь они беззащитны. Я употребляла для лечения безвредные травы.

Но судья сказал:

— Ты давала отраву, так как корова сдохла.

— Господин судья, — возразила она, — вот я перед вами и вся в вашей власти, и все же я решаюсь сказать вам, что животное, так же как человек, может умереть от болезни, несмотря на помощь костоправа и лекарей. И я клянусь господом нашим Иисусом Христом, пострадавшим на кресте за грехи наши, что я не хотела сделать корове ничего дурного, но лечила ее домашними средствами.

Судья пришел в бешенство:

— Эта проклятая баба отучится у меня оправдываться. Приступите ко второй пытке!

И он выпил большой стакан водки.

Палач посадил Катлину на крышку дубового гроба, стоявшего на козлах. Крышка сходилась кверху острым ребром, точно лезвие ножа. В печи горел жаркий огонь, так как на дворе стоял ноябрь.

Катлине, сидевшей на ребре гроба, надели на ноги тесные сапоги из сырой кожи и пододвинули к огню. Когда острие ребра и колышки стали впиваться в ее тело, а жар нагрел и стиснул кожу сапог, сдавивших ей ноги, она закричала:

— Ой, больно, больно! Дайте мне яду!

— Пододвиньте ближе к огню, — сказал судья.

И он стал допрашивать Катлину:

— Как часто садилась ты на помело и летала на шабаш? Как часто гноила хлеб на корню, плоды на дереве, дитя во чреве матери? Как часто делала ты двух братьев заклетыми врагами, двух сестер — злобными соперницами?

Катлина хотела ответить, но не могла и лишь шевельнула рукой, точно желая сказать: нет.

На это судья сказал:

— Она заговорит, когда почувствует, как тает ее боровский жир. Пододвиньте ее к огню.

Катлина кричала.

— Попроси сатану, пусть он прохладит тебя, — сказал судья.

Она сделала движение, чтобы сбросить сапоги, дымившиеся от жара раскаленной печи.

— Проси сатану, пусть он разует тебя, — сказал судья.

Пробило десять часов: это было время завтрака негодя. Он вышел с палачом и с судебным писарем, оставив Катлину пред огнем в застенке.

В одиннадцать они возвратились и застали Катлину окоченевшей и неподвижной.

— Кажется, она умерла, — сказал писарь.

Судья приказал палачу спустить ее с гроба и снять с нее сапоги. Но это было невозможно, пришлось разрезать их: ноги Катлины были залиты кровью.

Судья думал об обеде и смотрел на Катлину, не произнося ни слова. Но затем она пришла в себя, упала на пол, не могла, несмотря на все усилия, подняться и сказала судье:

— Ты хотел взять меня в жены; теперь не получишь. Четырежды три — священное число, тринадцать — суженый.

И хотя судья хотел что-то сказать, она продолжала:

— Тише, тише; его слух тоньше, чем у архангела, который на небе считает биение сердца праведника. Почему ты пришел так поздно? Четырежды три — святое число, оно убьет всех, кто возделел ко мне.

— Она блудодействует с дьяволом, — сказал судья.

— Она сошла с ума от пытки, — отвечал судейский писарь.

Катлину отвели обратно в тюрьму. Через три дня собрался суд старшин, и, по рассмотрении дела, Катлина приговорена была к наказанию огнем.

Палач с подручными привели ее на Большую площадь в Дамме, где уже устроен был помост. Туда возвели ее; там же заняли места профос, глашатай и судья.

Трижды прозвучала труба городского глашатая. Затем он обратился к народу и провозгласил:

— Власти города Дамме сжалились над осужденной Катлиной и избавили ее от наказания согласно с самыми строгими предписаниями городских законов. Но, чтобы показать, что она все-таки ведьма, будут сожжены ее волосы; она уплатит двадцать червонцев штрафа и изгоняется на три года из Дамме и его округа под страхом отсечения руки.

И народ приветствовал эту жестокую милость.

Затем палач привязал Катлину к столбу, обернул паклей ее выбритую голову и зажег. Пакля медленно горела, а Катлина плакала и кричала.

Потом ее развязали и вывезли за пределы общины Дамме в тележке, ибо ноги ее были обожжены.

### XXXIX

Уленшпигель дошел уже до Герцогенбуша в Брабанте. Отцы города хотели его сделать местным шутом, но он отклонил эту честь.

— Странствующему богомольцу, — сказал он, — не подобает быть шутом оседлым, он шутит только в корчмах и по дорогам.

В это время Филипп, бывший также королем Англии, прибыл обозреть свое будущее наследие — Фландрию, Брабант, Геннегау, Голландию и Зеландию. Ему шел двадцать девятый год; в его сероватых глазах затаилась гнетущая тоска, злобное лицемерие и жестокая непреклонность. Его застывшее лицо и яйцевидная голова, покрытая рыжеватыми волосами, его худощавое тело и тонкие ноги как бы одеревенели. Речь была медлительна и невнятна, точно рот был набит шерстью.

Между турнирами, играми и празднествами он осматривал веселое герцогство Брабантское, богатое графство Фландрское и прочие свои владения. Повсюду он приносил присягу соблюдать права и вольности страны. Когда в Брюсселе он клялся на евангелии не нарушать Золотой буллы Брабанта, его рука так сжалась от судороги, что он должен был снять ее со священной книги.

Затем он отправился в Антверпен, где к его прибытию было сооружено двадцать три триумфальных арки. Город издержал двести восемьдесят семь тысяч флоринов на эти арки и на костюмы для тысячи восьмисот семидесяти девяти купцов, которые были одеты в пурпурный бархат, а также на богатые ливреи для четырехсот шестнадцати лакеев и блестящее шелковое одеяние четырех тысяч одинаково одетых граждан. Многочисленные празднества были даны риторам почти всех нидерландских городов.

Среди шутов и шутих здесь можно было видеть «Принца любви» из Турне верхом на свинье по имени Астарта; «Короля дураков» из Лилля, который вел лошадь за хвост, идя вслед за нею; «Принца развлечений» из Валансьенна, который развлекался тем, что считал ветры своего осла; «Аббата наслаждений» из Арраса, который тянул брюссельское вино из бутылки, имевшей вид тревника (как сладостны были ему эти молитвы!); «Аббата предусмотрительности» из Ата, одетого лишь в дырявую простыню и разные сапоги: зато у него была колбаса, обеспечивающая его брюхо; затем «Старшину бесшабашных» — молодого парня, который, трясясь верхом на пугливой козе среди толпы, получал со всех сторон толчки и оплеухи; «Аббата серебряного блюда» из Женау, который верхом на лошади старался подставить под себя блюдо, приговаривая, что «нет такой большой скотины, чтобы она не изжарилась на огне».

Вся эта компания забавляла людей всякой невинной бессмыслицей, но король сидел мрачный и унылый.

В тот же вечер маркграф антверпенский, бургомистры, военное начальство и духовенство собрались на совещание, дабы выдумать такое представление, которое рассмешило бы короля Филиппа.

— Слышали ли вы, — сказал маркграф, — о Пьеркине Якобсене, шуте города Герцогенбуша, который так прославился своими шутками?

— Да, — отвечали они.

— Пошлем за ним — пусть покажет, что умеет. У нашего шута точно свинцовые ноги.

— Что ж, пошлем за ним, — решили все.

Когда гонец антверпенский прибыл в Герцогенбуш, ему сообщили, что шут Пьеркин лопнул со смеху, но что у них есть проезжий шут по имени Уленшпигель. Его нашел гонец в одном трактире, где тот ел рагу из ракушек, украшая выеденными раковинками грудь сидевшей подле девушки.

Уленшпигель был очень польщен тем, что посланный антверпенской общины явился за ним, и не только сам прискакал на прекрасном амбахтском коне, но держал другого такого же коня на поводу.

Не слезая с коня, гонец спросил Уленшпигеля, может ли он выдумать такой новый фокус, чтобы заставить смеяться короля Филиппа.

— У меня их целые залежи под волосами, — отвечал Уленшпигель.

И они поскакали. Кони летели, закусив удила и неся на себе гонца и Уленшпигеля в Антверпен.

Уленшпигель явился пред маркграфом, обоими бургомистрами и общинными старшинами.

— Что ты собираешься делать? — спросил маркграф.

— Полететь вверх.

— Как же ты это сделаешь?

— А знаете, что стоит меньше, чем лопнувший пузырь?

— Нет, не знаю, — сказал маркграф.

— Разоблаченная тайна, — ответил Уленшпигель.

Праздничные герольды уже красовались на своих великолепных конях в красной бархатной сбруе и разъезжали по всем большим улицам, площадям и перекресткам города. Трубя в трубы и барабаня в литавры, они

объявляли всем *signorkes* и *signorkinnes* \*, что Уленшпигель, шут из Дамме во Фландрии, будет на набережной летать по воздуху и что при этом на помосте будет восседать король Филипп со своею многочисленной, знатной и высокопоставленной свитой.

Перед помостом был дом, построенный по итальянскому образцу; вдоль крыши его тянулся желоб. На желоб выходило окошко из чердака.

В день представления Уленшпигель проехал на осле по городу; скороход бежал рядом с ним. Уленшпигель был в красной шелковой одежде, данной ему городским управлением. Его головной убор составлял такой же красный колпак с двумя ослиными ушами, на кончиках которых болтались бубенчики. На шее была цепь из медных блях, на которых выдавлен был герб города Антверпена. На рукавах его полукафтання у локтей висели бубенчики. Носки его вызолоченных башмаков тоже кончались бубенчиками.

Осел Уленшпигеля был в красной шелковой попоне, и на каждом бедре его красовался вышитый чистым золотом герб города Антверпена.

Слуга в одной руке вертел погремушку с ослиной головой, в другой — прут, на конце которого мотался коровий колокольчик.

Уленшпигель оставил на улице своего слугу и осла и влез на водосточный желоб.

Здесь он затремел своими бубенчиками, широко расставил руки, как будто хотел полететь, потом наклонился к королю Филиппу и сказал:

— Я думал, что я единственный дурак в Антверпене, но вижу, что этот город кишит дураками. Если бы вы все сказали мне, что собираетесь лететь, я бы вам не поверил. А приходит дурак, объявляет, что полетит, — и вы верите. Как я могу полететь, когда у меня нет крыльев?

Одни смеялись, другие бранились, но все говорили:

— Как-никак, а дурак говорит правду.

Но король Филипп был неподвижен, точно каменная статуя.

Общинные власти говорили между собой:

---

\* *Signorkes* и *signorkinnes* — господам и господам. Испанское название с фламандским уменьшительным суффиксом.

— Поистине не стоило устраивать праздник для такой кислой образины.

И они уплатили Уленшпигелю три флорина, с которыми он и отправился в путь, после тщетной попытки оставить у себя свое красное шелковое платье.

— Что такое три флорина в кармане молодого человека? Снежинка в пламени, полная бутылка перед глоткой пьяницы. Три флорина. Листья падают с деревьев и вновь вырастают, флорины же, выскользнув из кармана, уже не возвращаются обратно; бабочки пропадают вместе с летом, а флорины исчезают быстрее, хотя в них два эстерлинга и девять асов веса.

Так бормотал Уленшпигель, внимательно рассматривая свои три флорина.

— Какой гордый здесь вид у императора Карла в его панцире и шлеме, в одной руке меч, в другой держава — изображение нашей бедной земли. Божией милостью он — император римский, король испанский, и прочая, и прочая, и, право, он чрезвычайно милостив к нашей земле, этот броненосный император. А на обороте — гербы с обозначением всяких его званий и владений, графских, княжеских и других, и с прекрасным девизом: «*Da mihi virtutem contra hostes tuos*» — «Дай мне силу против твоих врагов». Поистине он был достаточно силен против реформатов, у которых конфисковывал их имущество и получал его в наследство. Ах, если бы я был императором Карлом, я бы для всех людей начеканил флоринов, все были бы богаты, и никто бы не работал.

Но сколько ни любовался Уленшпигель своими красивыми монетами, все они отправились в страну беспутства под звон бутылок и дребезжание кружек.

## XL

Когда Уленшпигель в своем красном шелковом костюме показался на дождевом желобе, он не заметил Неле, которая, смеясь, смотрела на него из толпы. Она жила в это время в Боргерхауте, под Антверпеном, и сказала себе: «Если какой-то шут собирается летать пред королем Филиппом, то это может быть только Уленшпигель».

Задумчиво шел Уленшпигель по дороге и не слышал поспешных шагов за собой, но вдруг почувствовал две руки, закрывшие ему глаза. Он узнал эти руки и спросил:

— Это ты?

— Да, — отвечала она, — бегу за тобой с тех пор, как ты вышел из города. Пойдем со мной.

— Где же Катлина?

— О, ты не знаешь, что ее пытали как ведьму и затем на три года изгнали из Дамме, что ей жгли ноги и паклю на голове. Я говорю это тебе, чтобы ты не испугался, когда увидишь ее: она сошла с ума от боли. Часами смотрит она на свои ноги и приговаривает: «Гансик, мой нежный дьявол, посмотри, что сделали с твоей милой. Бедные мои ноги — точно две раны». И заливается слезами, говоря: «У других женщин есть муж или любовник, а я живу на этом свете как вдова». Тогда я начинаю верить ее, что ее Гансик возненавидит ее, если она кому-нибудь скажет о нем, кроме меня. И она слушается меня, как дитя малое; только как увидит вола или корову — причину ее страданий, — бросается бежать от них изо всех сил: все пытку вспоминает. И тогда не удержит ее ничто — ни забор, ни речка, ни канава, — бежит, пока не упадет от усталости где-нибудь на перекрестке или у стены дома. Там я поднимаю ее и перевязываю кровоточащие ноги. Я думаю, что когда жгли паклю на ее голове, ей и мозги сожгли.

Удрученные мыслями о Катлине, они дошли до дома и увидели ее на освещенной солнышком скамейке у стены.

— Узнаешь ты меня? — спросил Уленшпигель.

— Четырежды три — святое число, — ответила она, — но тринадцать — это чертова дюжина. Кто ты, дитя этой юдоли страданий?

— Я — Уленшпигель, сын Клааса и Сооткин.

Она подняла голову, узнала его; поманив его пальцем, она наклонилась к его уху:

— Когда ты увидишь того, чьи поцелуи холодны, как снег, скажи ему, Уленшпигель, — пусть придет ко мне.

Потом, показав на свою сожженную голову, она сказала:

— Больно мне. Они забрали мой разум, но когда Гансик вернется, он наполнит мою голову; она теперь совсем пустая. Слышишь — она звенит, как колокол, —

это моя душа стучит в дверь, рвется наружу, потому что кругом горит. Если Гансик придет и не наполнит мне голову, я скажу ему — пусть проделает ножом дыру. Стучит моя душа, рвется на свободу. Больно, больно мне. Я, верно, умру скоро. Я больше не сплю, — все жду его. Пусть он наполнит мою голову. Да...

И она забылась и застонала.

И крестьяне, возвращавшиеся с полей домой, потому что уже зазвонил вечерний колокол, созывая их обедать, проходя мимо Катлины, говорили:

— Вот та сумасшедшая.

И крестились.

Неле и Уленшпигель плакали. И Уленшпигель должен был идти дальше в путь.

## ХЛІ

Тем временем, продолжая паломничать, он поступил на службу к одному человеку по имени Йост, по прозванию Квабаккер, то есть сердитый булочник, — такая у него была злобная рожа. Каждую неделю Уленшпигель получал от хозяйки три черствых хлебца, а жилищем ему служил чердак под крышей, где неумеренно сквозило и поливало.

В отместку за столь дурное обращение Уленшпигель устраивал хозяину всякие пакости. Вот одна из них. Если собираются печь хлеб рано утром, то просеивать муку надо ночью. Однажды в лунную ночь Уленшпигель попросил свечу, чтобы было видно, как сеять муку. Хозяин и говорит:

— Просей муку на лунном свету.

Уленшпигель исполнил приказание: стал сыпать муку на землю, освещенную лунным светом.

Утром хозяин пришел посмотреть работу Уленшпигеля и видит, что тот все еще просеивает.

— Что такое! — закричал он. — Или мука ничего не стоит, что ты ее на землю сыплешь?

— Я сеял на лунном свету, как вы приказали, — ответил Уленшпигель.

— Осел ты безмозглый, где же твое сито?

— Я думал, что у вас луна — новоизобретенное сито. Но беда не велика — я соберу муку.

— Да ведь уже поздно месить тесто и печь хлеб.

— Хозяин, — сказал Уленшпигель, — у соседа на мельнице готовое тесто: сбегая и принесу.

— Убирайся на виселицу, оттуда принесешь что-нибудь!

— Иду, — сказал Уленшпигель.

Он побежал к месту казней, нашел там высохшую руку казненного и принес ее хозяину со словами:

— Вот тебе заколдованная рука, она делает невидимкой всякого, у кого она лежит в кармане. Вот ты и скроешь свою злость.

— Я пожалуюсь на тебя в общину, и ты увидишь, что значит нарушать права хозяина.

Когда оба они стояли перед бургомистром и булочник хотел уже начать перечисление многочисленных злодеяний Уленшпигеля, он вдруг увидел, что тот выпучил на него глаза. Он пришел в такую ярость, что прервал свои жалобы криком:

— Да чего тебе надо?

— Ты сказал мне, что я увижу, как тебя не слушаться. Вот я и хочу увидеть.

— Долой с моих глаз! — закричал булочник.

— Если бы я был на твоих глазах, я бы с них мог сойти только через твои ноздри.

Поняв, что тяжущиеся плетут какую-то чепуху, бургомистр отказался слушать их дальше.

Вместе они вышли на улицу. Булочник поднял палку, но Уленшпигель увернулся и сказал.

— Хозяин, ты хочешь колотушками высеять из меня мою муку: оставь себе отруби — это твоя злость; я возьму себе муку — это мое веселье.

Потом, повернувшись к нему задом, он прибавил:

— А вот тебе и печка, пеки что угодно.

## XLII

Все идя вперед, Уленшпигель был бы рад, чтобы путь скрадывался для него, да булыжник по дороге был слишком тяжел: не украдешь.

Он направился наудачу в Ауденаарде, где стоял фламандский гарнизон, охранявший город от французских банд, опустошавших страну, как саранча.

Начальствовал над фламандскими рейтарами капитан по имени Корнюин, фрисландец по рождению. Они тоже рыскали по окрестностям и грабили население, которое, как это обычно бывает, страдало от обеих сторон.

Все шло на пользу рейтарам — куры, цыплята, утки, голуби, телята, свиньи. Однажды, когда они возвращались, нагруженные добычей, капитан и его офицеры увидели на дороге Уленшпигеля, спавшего под деревом. Ему снилось тушеное мясо.

— Ты чем промышляешь? — спросил капитан.

— Умираю с голода, — отвечал Уленшпигель.

— Но твое занятие?

— Богомолец за свои прегрешения, созерцатель чужой работы, плясун по канату, изобразитель красоток, резчик черенков для ножей, артист на *gommel-pot* и трубач.

Трубачом назвал себя смело Уленшпигель, ибо уже слышал, что, за смертью последнего стражника, составившегося на этом месте, должность трубача в замке Ауденаарде свободна.

— Будешь городским трубачом, — сказал капитан.

Уленшпигель отправился с ним и был водворен на самой высокой башне городских укреплений. Его помещение продувалось со всех четырех сторон; только южный ветер веял при этом лишь одним крылом.

Он получил приказ трубить в трубу, как только увидит неприятеля, а так как для этого голова должна быть свободна и глаза открыты, ему давали не слишком много есть и пить.

Капитан и его наемники сидели в башне и целыми днями обжирались за счет округи. Здесь зарезали и слопали не одного каплуна, единственным преступлением которого был его жир. Об Уленшпигеле вечно забывали, он питался пустой похлебкой, и запах яств, подымавшийся к нему в башню, совсем не услаждал его. Нагрянули французы и увели много скота. Уленшпигель не трубил.

Капитан поднялся к нему наверх.

— Почему ты не трубил? — спросил он.

— Нечем было отблагодарить вас за вашу кормежку, — отвечал Уленшпигель.

На другой день капитан и его наемники устроили большое пиршество, но об Уленшпигеле опять никто не

вспомнил. Только пирующие успели разгуляться, как Уленшпигель вдруг затрубил.

Убежденные, что идут французы, капитан с солдатами бросили еду и вино, вскочили на коней и помчались за город. Но они не нашли там никого, кроме вола, который жевал свою жвачку, лежа на солнце, и забрали его.

А Уленшпигель тем временем напился и наелся до отвала. Капитан по возвращении застал его у дверей столовой: он покачивался на ногах и насмешливо смотрел на офицеров.

— Это предательство — трубить тревогу, когда нет никакого врага, и не трубить, когда он перед тобой! — закричал капитан.

— Господин капитан, — ответил Уленшпигель, — в башне так дует, что ветер унес бы меня, как пузырь, если бы я не вытрубил из себя дух. А хотите — повесьте меня хоть сейчас или в другой раз, когда вам понадобится ослиная шкура для барабана.

Капитан вышел, не сказав ни слова.

Между тем пришло известие, что высоко милостивый император Карл со своей высокородной свитой собирается прибыть в Ауденаарде. По этому случаю городские власти снабдили Уленшпигеля парой очков, дабы он издали видел приближение его святейшего величества. Условились, что как только Уленшпигель увидит, что император направляется в Луппегем, находящийся в четверти мили от ворот Боргпоорта, он трижды протрубит в свой рог.

Это дало бы обывателям возможность во-время звонить в колокола, приготовить фейерверк, поставить мясо на огонь и откупорить бочки.

Однажды около полудня — ветер задул с Брабанта, небо было ясно — Уленшпигель увидел на луппегемской дороге приближающийся отряд всадников на резвых конях; их перья развевались по воздуху; некоторые держали знамена. На горделиво поднятой голове всадника, ехавшего впереди, была парчовая шляпа с длинными перьями. Он был в коричневом бархатном камзоле с золотым шитьем.

Уленшпигель надел очки и увидел, что это император Карл V, который милостиво разрешал жителям Ауденаарде попотчевать его отборнейшими винами и изысканнейшими яствами, какие только у них были.

Всадники медленно подвигались вперед, вдыхая свежий воздух, возбуждающий в человеке аппетит. Но Уленшпигель сказал себе, что они и так жрут обильно и не умрут, если попостятся один разок. И он спокойно смотрел на их приближение и не трубил.

Они гарцевали, смеясь и болтая, и мысль его величества обращалась к желудку с заботой, достаточно ли там осталось места для пиршества в Ауденаарде. Император был удивлен и недоволен, что ни один колокол не возвещает о его прибытии.

Вдруг в городские ворота ворвался крестьянин с криком, что он видел, как к городу приближается отряд французов, чтоб все сожрать и разграбить.

Немедленно привратник запер ворота и послал общинного слугу оповестить прочих городских привратников. Рейтары тем временем пировали, ничего не подозревая.

Чем ближе подъезжал император, тем больше он гневался, что колокола не трезвонят, пушки не палят, аркебузы не салютуют. Напрасно напрягал он слух. Он не слышал ничего, кроме получасового боя башенных часов. Так подъехал он к воротам, нашел их запертыми и постучал кулаком, чтобы ему открыли.

Свитские кавалеры, недовольные, как и его величество, сердито ворчали. Дозорный с крепостного вала закричал, что если они там не перестанут безобразничать, то он охладит их нетерпенье картечью.

Разъяренный император закричал:

— Слепая свинья, ты не узнаешь своего императора?

Дозорный ответил:

— Золоченая свинья ничуть не лучше, чем первая встречная. Пока что известно, что господа французы большие шутники: все знают, что император Карл ведет войну в Италии и потому не может стоять у ворот Ауденаарде.

На это Карл и его свита закричали еще громче:

— Если ты не откроешь, ты будешь изжарен на острие копья, как на вертеле. А перед этим проглотишь свои ключи.

На шум прибежал из арсенала старый солдат, высунул нос над стеной и заорал:

— Дозорный, ты ошибся. Это наш император, я узнал его, хотя он состарился с тех пор, как увез отсюда Марию ван дер Гейнст в замок Лалэн!

От ужаса привратник упал на землю замертво. Солдат взял ключи у него и побежал отворять ворота.

Император спросил, почему так долго заставили его ждать. Выслушав объяснение солдата, его величество приказал опять запереть ворота, вызвать солдат Корнюина и повелел им открыть шествие с дудками и барабанами.

Раздался колокольный трезвон.

И его величество с царственным грохотом прибыл на Большой рынок. В зале заседаний тем временем собрались бургомистры и старшины: старшина Ян Гигелер выбежал на шум и возвратился в зал заседаний с криком:

— Keyser Karel is alhier! — Император Карл здесь!

Испуганные этой вестью, бургомистры, советники и старшины поспешили из зала на улицу, чтобы приветствовать императора в полном составе, а слуги побежали по городу с приказами готовить потешные огни, палить из мортир, жарить птицу, открывать бочки.

Мужчины, женщины и дети бегали повсюду с криками:

— Keyser Karel is op't groot markt! — Император Карл на Большом рынке!

На рынке собралась огромная толпа.

Пришедший в неистовую ярость император спросил обоих бургомистров, не достойны ли они виселицы за такое невнимание к своему повелителю.

Бургомистры ответили, что, конечно, достойны, но трубач Уленшпигель заслужил ее еще более, ибо, вслед за слухом о прибытии его величества, Уленшпигеля, снабженного очками, посадили на башню и дали ему приказ трижды протрубить, как только он заметит приближение императора. Но он этого не исполнил. Император не смягчился и велел привести Уленшпигеля.

— Почему, — спросил он, — ты, несмотря на очки, не трубил при моем приближении?

Говоря это, он прикрыл глаза рукой от солнца и смотрел на Уленшпигеля сквозь пальцы.

Уленшпигель тоже прикрыл глаза рукою и ответил, что, с тех пор как он увидел, что его величество смотрит сквозь пальцы, он не хотел пользоваться очками.

На это император сказал, что он будет повешен, и городской привратник ответил, что так и следует. Бурго-

мистры так были потрясены этим приговором, что не сказали ни слова ни за, ни против.

Явились палачи и подручные с лестницей и новой веревкой, взяли Уленшпигеля за шиворот, и так шел он мимо сотни рейтаров Корнюина, не сопротивляясь и бормоча про себя молитвы. А они зло издевались над ним.

Сбежавшийся народ говорил:

— Какая жестокость — за такой ничтожный проступок осудить на смерть несчастного юношу!

Была здесь толпа ткачей, они были вооружены и кричали:

— Не позволим повесить Уленшпигеля: это против законов Ауденаарде!

Так дошли до поля Виселиц. Уленшпигеля взвели на лестницу, и палач надел ему петлю на шею. Ткачи столпились у виселицы. Верхом на коне высился профос. В руках у него был судейский жезл, которым он должен был, по приказанию императора, подать знак к исполнению казни.

Народ кричал:

— Милосердие! Помилуйте Уленшпигеля!

Уленшпигель, стоя на лестнице, крикнул:

— Помилуйте, ваше величество!

Император поднял руку и сказал:

— Если этот негодяй попросит меня о чем-нибудь, чего я не могу исполнить, он будет помилован.

— Говори, Уленшпигель! — закричал народ.

Женщины плакали и говорили:

— Ну что он, бедняга, может попросить? Ведь император всемогущ.

Все кричали:

— Говори, Уленшпигель!

— Ваше величество, — сказал он, — я не прошу ни денег, ни поместий, ни даже жизни, но прошу об одной вещи, за которую, однако, если я ее назову, обещаю не колесовать и не бичевать меня, пока я сам не отойду к вечному блаженству.

— Обещаю, — сказал император.

— Прошу ваше величество, прежде чем я буду повешен, приблизиться ко мне и поцеловать в те уста, которыми я не говорю по-фламандски.

Император и весь народ расхохотались.

— Этой просьбы я не могу исполнить, и, стало быть, ты не будешь повешен, Уленшпигель.

Но бургомистру и старшинам император повелел в течение шести месяцев носить на затылке очки. «Ибо, — сказал он, — если ауденаардцы не умеют смотреть пере-дом, то пусть смотрят задом».

И по указу императорскому до сих пор эти очки красуются в гербе города.

А Уленшпигель потихоньку убрался с мешочком серебра, собранного для него среди женщин.

### XLIII

В Льеже, на рыбном рынке, Уленшпигель увидел молодого толстяка, который в каждой руке держал по кошелке; правая была полна всякой птицы, левую он наполнил форелями, угрями, щуками, камбалами.

Уленшпигель узнал Ламме Гудзака.

— Что ты здесь делаешь, Ламме? — спросил он.

— Ты знаешь, как здесь, в милом Льеже, любят нас, фламандцев. Я пришел искать мою любовь. А ты?

— Ищу хозяина, который дал бы мне хлеба за службу.

— Это сухая пища, — ответил Ламме, — лучше бы ты опустил в свою глотку четки из жаворонков с дроздом в виде Credo.

— Ты богат? — спросил его Уленшпигель.

— Я потерял отца, мать и младшую сестру, которая так меня била, — отвечал Ламме. — Я их наследник и живу с одноглазой старухой, великим мастером кухонного искусства.

— Давай я понесу твою рыбу и птицу.

— Неси.

И они пошли по рынку.

— А ведь ты дурак, — вдруг сказал Ламме. — И знаешь почему?

— Почему?

— Несешь рыбу и дичь не в желудке, а в руках.

— Это верно, Ламме. Но с тех пор как у меня нет хлеба, дрозды и смотреть на меня не хотят.

— Наешься дроздов вволю, Уленшпигель, когда будешь служить у меня, если позволит моя стряпуха.

По пути им встретилась очень красивая и приветливая на вид девушка в шелковом платье, которая бросила ласковый взгляд на Ламме. Он указал на нее Уленшпигелю.

Вслед за девушкой шел старик, ее отец, и нес две корзины — одну с дичью, другую с рыбой.

— Вот кого я выбрал себе в жены, — сказал Ламме.

— Да, — ответил Уленшпигель, — я знаю ее: она фламандка из Цоттегема, живет на улице Винав д'Иль; соседи говорят, что мать вместо нее подметает улицу перед домом, а отец гладит ее рубашки.

— Она взглянула на меня, — вдруг обрадовавшись, сказал Ламме, не обращая внимания на слова Уленшпигеля.

Они подошли к дому Ламме, у сводов моста, и постучали в дверь. Им открыла кривая служанка. Уленшпигель увидел, что она стара, длинна, сухопара и сварлива.

— Ла-Санжин, — обратился к ней Ламме, — возьми этого парня в помощники?

— Возьму на пробу.

— Попробуй; пусть узнает блаженство твоей кухни.

Ла-Санжин подала на стол три черных колбасы, кружку пива, большой ломоть хлеба.

Пока Уленшпигель ел, Ламме выбрал и для себя колбасу.

— Знаешь, — сказал он, — где обитает наша душа?

— Нет, Ламме.

— В нашем желудке: это она неустанно опустошает его, чтобы вновь ввести в наше тело жизненную силу. Кто лучший спутник нашей жизни? Вкусные и тонкие блюда и доброе маасское вино.

— Да, — сказал Уленшпигель, — колбаса — приятное общество для одинокой души.

— Он хочет еще, — сказал Ламме, — дай ему еще чего-нибудь, Ла-Санжин.

Она подала теперь белую колбасу.

Жадно глотая, Ламме впал в задумчивость и сказал:

— Когда я умру, мой желудок умрет вместе со мной, а там, в чистилище, придется поститься, и я буду таскать с собой это пустое обвислое брюхо.

— Черная была вкуснее, — заметил Уленшпигель.

— Шесть штук съел, довольно с тебя, — заявила Ла-Санжин.

— Здесь, знаешь, тебя будут хорошо кормить, — сказал Ламме, — есть ты будешь то же, что и я.

— Буду иметь в виду, — сказал Уленшпигель.

Все это привело его в хорошее настроение. Поглощенные колбасы вселили в него такую бодрость, что он в тот же день вычистил все котлы, сковороды и горшки, и они блестели, как солнце.

Живя в этом доме привольно, он частенько наведывался в кухню и в погреб, предоставляя чердак кошкам. Однажды Ла-Санжин жарила двух цыплят и приставила его вертеть вертел, пока она сходит на рынок за кореньями для приправы.

Когда цыплята изжарились, Уленшпигель съел одного из них.

Войдя в кухню, Ла-Санжин закричала:

— Здесь были два цыпленка; где другой?

— Посмотри своим другим глазом, — ответил Уленшпигель, — увидишь обоих.

В бешенстве бросилась она к Ламме с жалобой. Тот сошел в кухню и обратился к Уленшпигелю:

— Что ты издеваешься над моей служанкой? Была ведь пара цыплят.

— Верно, Ламме. Но когда я поступил к тебе, ты сказал, что я буду есть и пить то же, что и ты. Здесь была пара цыплят — одного съел я, другого съешь ты. Мое удовольствие уже прошло, твое еще впереди. Разве тебе не лучше, чем мне?

— Да, — ответил Ламме, смеясь, — делай только все так, как Ла-Санжин прикажет; тогда придется тебе делать только половину работы.

— Постараюсь, Ламме, — ответил Уленшпигель.

И всякий раз, как Ла-Санжин что-нибудь ему приказывала, он исполнял только половину. Посылала ли она его принести два ведра воды, он приносил одно. Шел ли он в погреб нацедить из бочки кружку пива, он выливал по дороге полкружки в свою глотку, и так далее.

Наконец это надоело Ла-Санжин, и она заявила Ламме, что если этот бездельник останется в доме, она сейчас же бросит службу.

Ламме спустился к Уленшпигелю и сказал ему:

— Придется тебе уйти, сын мой, хотя ты здесь порядочно подкормился. Слышишь, петух кричит: два часа

дня — значит, будет дождь. Не хочется мне выгонять тебя из дому в непогоду, но подумай, сын мой: благодаря своим жарким Ла-Санжин — страж моего бытия. Я не могу расстаться с нею, не рискуя жизнью. Иди, сын мой, ступай с богом! Возьми эти три флорина и эту связку колбасок на дорогу.

И Уленшпигель пошел удрученный, с сожалением думая о Ламме и его кухне.

#### XLIV

Стоял ноябрь в Дамме, как и везде, но зимы не было: ни снега, ни дождя, ни мороза.

Ничем не омраченное солнце сияло с утра до вечера. Дети возились в пыли по улицам и переулкам. После ужина лавочники, купцы, золотых дел мастера, кузнецы и прочие ремесленники выходили в час отдыха на крылечко и глядели на вечно синий небосвод, на деревья, еще покрытые зеленью, на аистов на крышах и на ласточек, все не отлетавших. Розы отцвели в третий раз, и в четвертый раз на них появились бутоны, ночи были теплые, и соловьи заливались без устали.

Жители Дамме говорили:

— Зима умерла, сождем зиму.

И они смастерили громадное чучело с медвежьей мордой, длинной бородой из стружек и косматой гривой из льна, одели чучело в белую одежду и торжественно сожгли его.

Клаас хмурился по этому случаю и не радовался ни постоянно синему небу, ни ласточкам, не желавшим улетать. Ибо никому в Дамме не нужен был уголь — разве только для кухни, но у всех были запасы для кухни, и никто не покупал у Клааса, а он истратил все свои сбережения на покупку угля.

Так стоял он у своего порога, и когда свежий ветерок охлаждал кончик его носа, угольщик говорил:

— Ну, вот прибывает мой хлеб.

Но свежий ветерок стихал, небо оставалось синим, листья не хотели падать. Клаас не согласился уступить за полцены свой уголь скупому Грейпстюверу, старшине рыбаков. И вскоре в его домике стало не хватать хлеба.

А король Филипп не страдал от голода и объедался пирожными подле своей супруги Марии Уродливой из королевского дома Тюдоров. Он не любил ее, но надеялся, оплодотворив эту хилую женщину, дать английскому народу государя-испанца.

Но на горе себе заключил он этот брак, подобный браку булыжника с горящей головней. В одном лишь они всегда были согласны — в истреблении несчастных реформатов: они их жгли и топили сотнями.

Когда Филипп не уезжал из Лондона или не уходил, переодетый, из дворца распутничать в каком-нибудь при-tone, час ночного покоя соединял супругов.

Королева Мария в ночной рубаше из фламандского полотна с ирландскими кружевами стояла у супружеской постели, а Филипп рядом с ней, как прямой столб, приглядывался, не видно ли на теле жены признаков близкого материнства; но он ничего не видел, приходил в бешенство и злобно молчал, рассматривая свои ногти.

Бесплодная похотливая женщина говорила ему страстные слова и, стараясь придать нежное выражение своим глазам, просила бесчувственного Филиппа о любви. Слезы, крики, мольбы — все пускала она в ход, чтобы добиться ласки от человека, который не любил ее.

Напрасно ломала она руки, бросалась к его ногам, напрасно, чтобы расшевелить его, смеялась и плакала одновременно, точно безумная. Ни смех, ни слезы не могли смягчить это каменное сердце.

Напрасно обвивала она его, точно влюбленная змея, своими худыми руками, напрасно прижимала к своей плоской груди узкую клетку, в которой жила изуродованная душа властелина. Он был недвижим, как пограничный столб.

И она, эта злосчастная дурнушка, старалась очаровать его. Она называла его всеми ласковыми именами, какие дают упоенные страстью женщины своим возлюбленным; Филипп рассматривал свои ногти.

Иногда он спрашивал:

— Так и не будет у тебя детей?

Голова Марии падала на грудь.

— Разве я виновата в своем бесплодии? — отвечала она. — Сжался надо мной: я живу как вдова.

— Отчего у тебя нет детей? — спрашивал Филипп.

И королева, точно сраженная насмерть, падала на ковер. Из глаз ее лились только слезы, но она плакала бы кровью, если бы могла, эта несчастная сладострастная женщина.

Так мстил господь палачам за жертвы, которыми они усеяли Англию.

## XLVI

В народе шел слух, что император Карл собирается лишить монахов принадлежавшего им права наследовать имущество лиц, умерших в монастыре, и что папа этим чрезвычайно недоволен.

Уленшпигель в это время скитался по берегам Мааса и думал о том, что император умеет извлечь из всего выгоду: ибо он наследует имущество и в тех случаях, когда нет других наследников. Уленшпигель сидел на берегу, забросив свои удочки с доброй приманкой, жевал черствую корку черного хлеба и жалел, что нет бургонского оросить эту сухую закуску. Но не все наши желания сбываются. Он это знал хорошо.

И, однако, он бросал крошки хлеба в воду, полагая, что кто не разделяет своей пищи с ближним, тот вовсе недостоин ее.

К крошкам хлеба подплыл пескарь; сперва он стал их обнюхивать, потом коснулся их кончиком морды и, наконец, широко раскрыл свою невинную пасть, точно в надежде, что хлеб сам влезет туда. Но пока он смотрел вверх, вдруг стрелой налетела на него коварная щука и разом проглотила.

Так же поступила она с карпом, который, не думая об опасности, ловил на лету мошек. Наевшись досыта, щука неподвижно остановилась в реке, не обращая внимания на рыбу мелкоту, стремглав бросающуюся во все стороны при виде щуки. Но ее спокойная важность была нарушена: вдруг с разинутой пастью бросилась на нее другая щука, голодная и прожорливая. Закипел яростный бой, страшны были раны с обеих сторон, и вода вокруг покраснела от их крови. Сытая щука не могла справиться с голодной, которая все отскакивала, разбегалась и пулей бросалась на противницу. Та разинула пасть, захватила половину головы врага, хотела высвободиться —

и не могла: ее зубы были загнуты внутрь. И обе отбивались друг от друга, совсем обессилев.

В своей возне они не заметили привязанного к шелковой леске крючка, который вцепился в плавник сытой щуки; он захватил ее, потянул вместе с врагом из воды и без всякого почтения выбросил обеих на траву.

Потроша их, Уленшпигель сказал:

— Милые мои щучки, вы вроде как император и папа, которые стараются слопать друг друга, и не я ли народ, который среди их свары, в час, какой угодно будет назначить господу богу, подцепит обоих крючком.

## XLVII

Катлина все еще жила в Боргерхауте и скиталась по окрестностям, приговаривая:

— Гансик, муж мой, они зажгли огонь на моей голове; проделай дыру, чтобы душа могла вырваться наружу. Ах, она стучится там, и каждый удар — точно нож острый.

И Неле ухаживала за безумной матерью и, сидя подле нее, думала с тоской о своем друге Уленшпигеле.

А Клаас в Дамме попрежнему собирал в вязанки хвост, продавал уголь и часто погружался в глубокую печаль, когда вспоминал о том, что Уленшпигель изгнан и долго-долго еще не вернется домой.

Сооткин все сидела у окна и смотрела, не покажется ли ее сын.

А он, находясь в это время в окрестностях Кельна, вдруг решил, что у него склонность к садоводству.

И поступил на службу к Яну де Цуурсмую, который, будучи предводителем ландскнехтов, только посредством выкупа спасся когда-то от виселицы и потому питал непобедимый ужас перед коноплей, которая на фламандском наречии называлась тогда *кеннип*.

Однажды Ян де Цуурсмуй, давая Уленшпигелю очередную работу, повел его на свое поле, и здесь они увидели участок земли, весь поросший зеленой коноплей.

Ян де Цуурсмуй сказал Уленшпигелю:

— Всякий раз, как увидишь это мерзостное растение, загадь его, ибо оно служит для колесований и виселиц.

— Загажу непременно, — отвечал Уленшпигель.

Однажды, когда Ян де Цуурсмуйль сидел за столом с несколькими собутыльниками, повар приказал Уленшпигелю:

— Сходи-ка в погреб и принеси *зеннип* (то есть горчицы).

Уленшпигель из озорства якобы спутал *зеннип* и *кеннип*, нагадил в погребе в горшок с горчицей и, посмеиваясь, принес к столу.

— Чего смеешься? — спросил Ян де Цуурсмуйль. — Думаешь, наши носы из железа, что ли? Съешь этот *зеннип*, коли сам его приготовил.

— Предпочел бы жаркое с корицей, — ответил Уленшпигель.

Ян де Цуурсмуйль вскочил, чтобы отколотить его.

— Кто нагадил в горшок с горчицей? — закричал он.

— Хозяин, — ответил Уленшпигель, — разве вы забыли, как я шел за вами к вашему полю, где растет *зеннип*. Там, указав мне на коноплю, вы сказали: «Везде, где увидишь это растение, загадь его, ибо оно служит для колесования и виселицы». Я его и загадил, хозяин, загадил и опозорил: не бейте же меня за мое послушание.

— Я сказал *кеннип*, а не *зеннип*, — закричал в бешенстве Ян де Цуурсмуйль.

— Хозяин, вы сказали *зеннип*, а не *кеннип*, — возразил Уленшпигель.

Долго они препирались; Уленшпигель говорил тихо, Ян де Цуурсмуйль ревел как бык, путая *зеннип*, *кеннип*, *кемп*, *земп*, точно моток крученого шелка.

И собутыльники хохотали, как черти, пожирающие котлеты из доминиканцев и почки инквизиторов.

Но Уленшпигель потерял службу у Яна де Цуурсмуйля.

## XLVIII

Неле все тосковала о своей судьбе и о своей безумной матери.

Уленшпигель служил в это время у портного, который всегда говорил ему:

— Когда делаешь шов, шей плотно, чтоб ничего не было видно.

Уленшпигель сел в бочку и принялся там за шитье.

— Это еще для чего? — вскричал портной.

— Уж когда шьешь, сидя в бочке, наверное ничего не будет видно.

— Садись-ка за стол и делай помельче стежки, один подле другого, — понял теперь? И сделаешь из этого сукна «волка».

«Волком» в тех местах назывался крестьянский кафтан.

Уленшпигель взял сукно, разрезал его на куски и сделал из них чучело волка.

Увидев это, портной закричал:

— Что ты тут, черт тебя дерит, наделал?

— Волка сделал, — ответил Уленшпигель.

— Каналья! Я приказал, правда, тебе сделать «волка», но ведь ты отлично знаешь, что «волк» — это крестьянский кафтан.

Спустя некоторое время хозяин приказывает ему:

— Перед сном, парень, подкинь-ка рукава к этой куртке.

Уленшпигель повесил куртку на гвоздь и целую ночь бросал в нее рукавами.

На шум пришел, наконец, портной:

— Негодяй, что ты за новые шутки тут выкидываешь?

— Какие же шутки. Подкидываю рукава, как вы приказали, — да они все не пристают к куртке.

— В этом нет ничего удивительного, и потому уберись сейчас же из моего дома. Посмотрим, будет ли тебе лучше на улице.

## XLIX

Время от времени Неле, поручив Катлину присмотру добрых соседей, сама уходила далеко-далеко: до Антверпена. Она бродила по берегам Шельды и все искала на барках и по пыльным дорогам, не встретит ли где своего милого друга Уленшпигеля.

А тот как-то в Гамбурге на рынке среди купцов увидел нескольких старых евреев, которые промышляли тем, что давали деньги в рост и торговали старьем.

Уленшпигель тоже захотел заняться торговлей: увидев на земле куски лошадиного навоза, собрал, отнес на

свою квартиру — он ютился в закоулках городского вала — и высушил. Потом он купил шелка, красного и зеленого, сшил из него мешочки, насыпал навоза, завязал ленточкой — точно они наполнены мускусом.

Сколотив из нескольких дощечек лоток, он подвесил его старой бечевкой к себе на шею, сложил туда товар и вышел на рынок продавать душистые подушечки. Вечером он освещал свой товар свечкой, прикрепленной посреди лотка.

На вопрос, чем он торгует, он таинственно ответил:

— Скажу вам, только потихоньку.

— Ну? — спрашивали покупатели.

— Это гадальные зерна — по ним узнают будущее, они доставлены во Фландрию прямо из Аравии, где их изготавливает некий искусник Абдул-Медил, потомок великого Магомета.

Собрались покупатели и говорили между собой:

— Это турок.

— Нет, это фламандский богомолец, — не слышите разве по его речи?

Подходили оборванцы к Уленшпигелю и говорили:

— Дай нам этих гадальных зерен.

— По флорину штука, — отвечал Уленшпигель.

И беднота, грязная и оборванная, печально расходилась со словами:

— Только богатым житье на этом свете!

Слух о гадальных зернах распространился по всему рынку. И обыватели говорили друг другу:

— Тут явился один фламандец с гадальными зернами, освященными в Иерусалиме на гробе Христа-спасителя. Но, говорят, он их не продает.

И люди собирались вокруг Уленшпигеля и просили его продать им гадальные зерна.

Но он хотел поднять на них цену и отвечал, что они не созрели, и все посматривал на двух богатых евреев, ходивших по рынку.

— Я хотел бы знать, — спросил у него один купец, — что будет с моим кораблем, который теперь в море?

— Он подыметя до небес, если волны будут достаточно высоки, — отвечал Уленшпигель.

Другой, указав на свою хорошенькую дочку, которая при этом покрылась румянцем, спросил:

— Она, конечно, найдет свое счастье?

— Всякий находит свое счастье там, где прикажет его природа, — ответил Уленшпигель, ибо он видел, что девушка сунула ключ какому-то молодому человеку.

Последний, сияя самодовольством, подошел к Уленшпигелю:

— Господин купец, позвольте и мне один волшебный мешочек: я хочу узнать, один ли я буду спать эту ночь.

— Говорится так, — отвечал Уленшпигель: — кто сеет рожь соблазна, пожнет плевелы рогиношения.

Молодой человек вскипел:

— На кого ты намекаешь?

— Зерна говорят, что ты будешь счастлив в браке и жена не украсит тебя шлемом Вулкана. Знаешь ли ты это украшение?

И Уленшпигель продолжал в тоне проповедника:

— Женщина, дающая до брака задаток, всем раздает потом свой товар даром.

Девушка, желая выказать свою предусмотрительность, спросила:

— И все это видно в волшебных зернах?

— Там виден и ключ, — шепнул Уленшпигель ей на ухо.

Но молодой человек уже скрылся с ключом

Вдруг Уленшпигель увидел, как воришка схватил с прилавка длинную колбасу и спрятал ее себе под плащ. Колбасник не заметил, и вор, очень довольный собой, подошел к Уленшпигелю с вопросом:

— Что ты продаешь тут, каркающий пророк?

— Мешочки, которые скажут тебе, что тебя повесят за чрезмерную любовь к колбасе, — ответил Уленшпигель.

Вор бросился бежать, а колбасник кричал:

— Ловите вора!

Но было уже поздно.

Все это время богатые евреи внимательно слушали разговоры Уленшпигеля и, наконец, подошли:

— Что ты продаешь, фламандец?

— Волшебные мешочки.

— А в чем их волшебство?

— Они предсказывают будущее, если пососать их.

Евреи пошептались между собой, и старший сказал:

— Ну так узнаем от мешочка, когда придет наш мессия; это будет великим для нас утешением. Купим одну штуку. А что ты хочешь за мешочек?

— Пятьдесят флоринов, — отвечал Уленшпигель. — Если это для вас дорого, проваливайте. Кто не купил поля, тому и навоз ни к чему.

Видя по Уленшпигелю, что он не уступит, они заплатили ему, взяли один мешочек и побежали в свой квартал, где вокруг них собралась целая толпа евреев; те уже слышали, что один из двух стариков купил мешочек, предсказывающий день и час прихода месии.

Всем хотелось бесплатно пососать мешочек. Но старик, по имени Иегу, купивший мешочек, объявил, что сам хочет пососать.

— Дети Израиля! — возгласил он, держа мешочек в руке. — Христиане издеваются над нами, гонят нас, преследуют позорными кличками. Филистимляне хотят пригнуть нас ниже земли. Они плюют нам в лицо, ибо бог ослабил тетиву наших луков. Долго ли, о бог Авраама, Исаака и Иакова, будет длиться это испытание, ниспосланное нам вместо блаженства, и скоро ли прольется свет в эту тьму? Скоро ли снизойдешь ты на землю, божественный мессия? Когда спрячутся христиане в пещеры и ямы из страха пред тобой и твоим грозным явлением в час, когда придешь ты покарать их?

И евреи кричали:

— Приди, мессия! Соси, Иегу!

Иегу пососал, выbleвал и жалостно возопил:

— Истинно вам говорю — это навоз, а фламандский богомолец — мошенник.

Тут евреи набросились на мешочек, разорвали, увидели, что в нем лежит, и в ярости бросились на рынок ловить Уленшпигеля. Но он не ждал их.

## L

Один обыватель в Дамме не мог уплатить Клаасу за уголь и потому оставил ему в залог свое лучшее добро: арбалет с двенадцатью отлично выстроганными стрелами, чтобы уж бить без промаха.

В часы досуга Клаас постреливал; не один заяц был им загублен и обращен в жаркое за чрезмерное пристрастие к капусте.

Клаас ел в таких случаях с жадностью, но Сооткин смотрела на безлюдную улицу и говорила:

— Тиль, сын мой, вдыхаешь ли и ты запах подливывы? Наверное, голодаешь где-нибудь. — И, погруженная в свои мысли, она готова была оставить для него вкусный кусочек.

— Если он голоден, — отвечал Клаас, — сам виноват: пусть вернется, будет есть, что и мы.

Клаас держал голубей. Кроме того, он любил щеглов, скворцов, коноплянок и прочих пискунов и визгунов, их щебетание и возню; и он охотно стрелял кобчиков и ястребов, истребляющих эту певчую братию.

Однажды, когда он во дворе отмеривал уголь, вдруг прибежала Сооткин, показывая ему большую птицу, кружащуюся над голубятней.

Клаас схватил арбалет со словами:

— Ну, пусть теперь черт спасет господина ястреба.

Он прицелился и следил за движениями птицы. Спустились сумерки, и Клаас мог различить в небе только темную точку. Наконец он выстрелил: во двор упал аист.

Это очень смутило Клааса, а Сооткин была огорчена и крикнула ему:

— Злой человек, ты убил божью птицу.

Она подняла аиста, увидела, что тот ранен только в крыло, смазала и перевязала его рану и сказала:

— Милый аист, нехорошо, что ты, наш любимец, вздумал парить по поднебесью, точно ястреб, наш враг; так не одну стрелу выпустит народ в ложную цель. Болит у тебя крылышко, аист милый? Как терпеливо ты переносишь мои заботы. Видно, ты знаешь, что наши руки — руки друзей.

Оправившись, аист ел, что ему хотелось; особенно любил он рыбу, которую Клаас ловил для него в канале. И всякий раз, когда Клаас возвращался домой, он широко разевал свой клюв.

Аист бегал за Клаасом, как собачонка, но еще больше любил оставаться в кухне; он грелся у огня и колотил клювом по животу Сооткин, хлопотавшей у печки, как бы спрашивая: «Нет ли чего для меня?»

И было так забавно видеть, как важно расхаживает по домику на своих длинных ногах этот вестник счастья.

Но вновь вернулись тяжелые дни; печально и одиноко работал Клаас в поле, ибо на двоих там больше не было работы. Сооткин сидела дома одна, часто плакала. Чтобы еда не опротивела мужу, она придумывала разные приправы к бобам, которые приходилось есть изо дня в день. При муже она пела и смеялась, стараясь разогнать его тоску, аист же стоял подле нее на одной ноге, уткнув голову под крыло.

Как-то раз перед домом остановился всадник; он был в черной одежде, очень худой, а лицо его было печально.

— Есть кто-нибудь в доме? — спросил он.

— Бог да благословит вашу мрачную милость, — ответила Сооткин. — Что же я, призрак, что ли, что вы, видя меня здесь, спрашиваете, есть ли кто в доме?

— Где твой отец? — спросил всадник.

— Если это моего отца зовут Клаасом, то он там, сеет хлеб; там и найдешь его.

Всадник уехал. И Сооткин печально пошла за хлебом, чтобы в шестой уже раз взять у булочника в долг. Вернувшись с пустыми руками, она была изумлена, увидев, что Клаас едет с поля с победоносным, сияющим лицом на коне черного человека, а тот идет с ним рядом и ведет коня под уздцы. Клаас гордо прижимал рукой к бедру кожаную, видимо туго набитую сумку.

Сойдя с коня, он обнял черного человека, похлопал его по плечу и, встряхнув сумку, воскликнул:

— Да здравствует мой брат Иост, добрый отшельник! Сохрани его господь в радости, в сытости, в веселье и здоровье! Иост благословенный, Иост щедрый, Иост сытно питающий! Аист не солгал.

И он положил сумку на стол.

На это Сооткин жалобно сказала:

— Муж, у нас сегодня есть нечего: булочник не дал в долг хлеба.

— Хлеба? — воскликнул Клаас, раскрывая сумку, из которой хлынуло на стол золото. — Хлеба? Вот тебе хлеб, вот масло, мясо, вино, пиво! Вот ветчина, мозговые кости, дрозды, каплуны, паштеты из цапли, лакомства, как у самых важных господ, вот бочка пива, вот бочонки вина! Где тот булочник, который нам теперь откажет в хлебе? Болван! Ведь мы тогда не будем больше покупать у него.

— Но, милый... — сказала ошеломленная Сооткин.

— Так слушай же и радуйся, — продолжал Клаас. — Катлина не осталась в Антверпене ждать, пока кончится срок ее изгнания. Неле перебралась с ней в Мейборг, весь путь они сделали пешком. Здесь Неле рассказала моему брату Иосту, что, несмотря на нашу тяжелую работу, мы часто живем впроголодь. Как мне сообщил этот почтенный посланец, — и Клаас указал на черного всадника, — Иост отвернулся от святой римской церкви и предался Лютеровой ереси.

— Еретики — это те, которые служат Великой Блуднице, сам папа римский — симониак, торгующий святыней, — возразил человек в черном.

— Ах, господи, — воскликнула Сооткин, — не говорите так громко, а то из-за вас сожгут и нас всех.

— Итак, — продолжал Клаас, — Иост поручил этому почтенному посланцу передать нам, что вступает в войско Фридриха Саксонского, набрав и вооружив для него пятьдесят солдат. Так как он идет на войну, то ему не нужно столько денег, которые в случае неудачи попадут в руки какого-нибудь негодного ландскнехта. Поэтому он приказал отвезти брату своему Клаасу эти восемьсот червонцев вместе со своим благословением: «Передай ему, пусть живет во благе и думает о спасении души».

— Да, — сказал посланный Иоста, — для этого настало время, ибо господь будет судить каждого и воздаст ему по делам его.

— Конечно, сударь, — сказал Клаас, — но пока что могу же я порадоваться доброй вести. Прошу вас побыть у меня: мы отпразднуем эту радость, поглотив великолепные потроха, жаркое, окорока, которые так заманчиво и привлекательно — я, проходя, видел — висели у мясника, что у меня от жадности слюнки потекли изо рта.

— Увы, безумные, — сказал черный человек, — они предаются наслаждениям, между тем как око господне следит за их путями.

— Слушай, посланец, — сказал Клаас, — ты хочешь или нет выпить и закусить с нами?

Посланец ответил:

— Когда падет Вавилон, тогда настанет для верных пора предаваться земным радостям.

Сооткин и Клаас при этом перекрестились, он же повернулся, чтоб ехать. Тогда Клаас сказал:

— Если уж ты непременно желаешь так нелюбезно расстаться с нами, то передай моему брату Иосту дружеский поцелуй и охраняй его в бою.

— Исполню, — ответил посланец.

И он уехал. Сооткин же отправилась за покупками, чтобы как следует отпраздновать их неожиданное счастье; и аист получил в этот день к ужину пескарей и тресковую голову.

Вскоре распространилась по Дамме весть, что бедный Клаас, благодаря дару своего брата Иоста, сделался Клаасом богатым, а священник говорил, что это, конечно, Катлина околдовала Иоста. Ибо Клаас хотя и получил от него большие деньги, а между тем и одежды какой-нибудь не пожертвовал святой деве.

Клаас и Сооткин были счастливы: Клаас работал в поле или продавал уголь, а Сооткин хлопотала в доме по хозяйству.

Но она все же грустила, глаза ее попрежнему неустанно искали по дорогам ее сына Уленшпигеля.

И все наслаждались счастьем, дарованным им от господ бога, и ждали, что дадут им люди.

## ЛII

Император Карл в этот день получил от своего сына из Англии письмо, которое гласило:

*«Государь и отец мой!*

Мне неприятно жить в этой стране, где проклятые еретики кишат, точно блохи, черви и саранча. Меча и пламени недостаточно, чтобы очистить от их скверны ствол мощного древа животворящего, коим есть и пребудет наша мать, святая церковь. И словно мало для меня этой печали, — я должен еще терпеть, что меня здесь не признают королем, но лишь мужем их королевы, не пользующимся, помимо нее, никакой властью. Они издеваются надо мной и в ядовитых пасквилях, сочинители которых так же неуловимы, как и издатели, рассказывают, что папа римский подкупил меня, чтобы я безбожными виселицами и кострами довел это королевство до смуты и конечной гибели. Когда мне бывает нужно провести спешный налог, — ибо часто они злоумышленно оставляют

меня совсем без денег, — они насмешливо советуют мне в своих ядовитых листках обратиться к сатане, которому я служу. Господа из парламента, правда, извиняются и, из страха, что я могу укусить их тоже, гнут спину, но денег они не дают.

А стены лондонских домов пестреют позорящими меня пасквилями, где я изображен как отцеубийца, готовый покуситься на жизнь вашего величества, дабы вступить на ваш престол.

Но вы сами, государь и отец мой, знаете, что, несмотря на законное честолюбие и гордость, я желаю вашему величеству долгого и славного царствования.

Они распространяют по городу преискусно вычеканенную на меди гравюру, которая изображает, как я заставляю кошек играть на клавесине. Кошки заперты в ящике, их хвосты торчат из круглых отверстий, где они закреплены железными проволоками. Человек — это я — прижигает им хвосты раскаленным железом. Я нарисован в таком гнусном виде, что не в силах смотреть на себя, вдобавок изобразили меня смеющимся. Но вы знаете сами, государь мой и отец, если я и предавался когда-либо подобному неблагочестивому удовольствию, то дело в том, что я пытался развлечься кошачьим мяуканьем, но я никогда не смеюсь. На их языке, языке бунтовщиков, они называют это «новый страшный клавесин» и говорят, что это преступление, но ведь у зверей нет души, и всякий человек, а тем более отпрыск королевского рода, вправе пользоваться ими для своего развлечения, хотя бы они и дошли от этого. Но здесь, в Англии, они так любят своих скотов, что лучше обходятся с ними, чем со своими слугами. Конюшни и псарни здесь не хуже дворцов, и есть дворяне, которые спят на одной подстилке со своей лошадью.

Кроме того, королева, моя благородная супруга, бесплодна. С подлой наглостью утверждают они, что виноват в этом я, а не она, которая к тому же ревнива, вспыльчива и безгранично похотлива. Отец и государь мой, ежечасно молю я господа помиловать меня и надеюсь на другой престол, хотя бы в Турции, — в ожидании престола, на который призывает меня честь быть сыном вашего во веки веков преславного, непобедимого, святейшего величества».

Подписано: «Филипп».

Император ответил на это письмо:

*«Господин и сын мой!*

Не спорю, враги ваши многочисленны, но постарайтесь не раздражаться чрезмерно в ожидании более блестящей короны. Многим лицам я уже не раз выражал мое намерение отречься от престола нидерландского и других: ибо я стар и хвор — и знаю, что не могу противостать Генриху II, королю французскому. Ибо фортуна любит молодых людей. Поразмыслите и о том, что вы, будучи повелителем Англии, своим могуществом вредите Франции — нашему врагу.

Под Мецем я потерпел позорное поражение и потерял сорок тысяч человек. От саксонцев пришлось бежать. Если господь в божественном его благопопечении не вернет мне одним разом мою былую силу и крепость, тогда, сын мой, я предполагаю отречься от моего королевского сана и передать его вам.

Вооружитесь посему терпением и до поры до времени исполняйте ваш долг по отношению к еретикам, не щадя никого, ни мужчин, ни женщин, ни девушек, ни детей, ибо я не без великого прискорбия уверился, что королева, супруга ваша, слишком часто оказывала им снисхождение.

Ваш любящий отец».

Подписано: *«Карл»*.

### ЛИИ

Долог был путь Уленшпигеля, и кровью начали сочиться его ноги. К счастью, в майнцском епископстве он попал в повозку с богомольцами и в ней доехал до Рима.

Прибыв в город и сойдя с повозки, он увидел на пороге корчмы прехорошенькую бабенку, которая на его взгляд ответила улыбкой.

Обнадеженный этим приветом, он обратился к ней:

— Хозяйка, не дашь ли приют богомольцу? Срок настал, и мне пора разрешиться... отпущением грехов.

— Мы даем приют всем, кто платит.

— Сто дукатов в моем кошельке, — ответил Уленшпигель (хотя у него был всего один), — и первый из

них я истрачу с тобой за бутылкой старого римского вина.

— Вино не дорого в этой святой стране, — отвечала она, — войди, напьешься и на один сольдо.

И они пили так долго и без труда опорожнили столько бутылок, что хозяйка вынуждена была поручить своей служанке подавать другим гостям. Сама она с Уленшпигелем удалилась в соседнюю комнатку, облицованную мрамором и прохладную, точно зимой.

Склонив голову на его плечо, она спрашивала, кто он такой.

Уленшпигель ответил:

— Я маркиз де Разгильдьяй, граф Проходимский, барон Безгроша; на родине моей в Дамме мне принадлежит двадцать пять лунных поместий.

— Что же это за страна? — спросила хозяйка и выпила из бокала Уленшпигеля.

— Это страна, где сеют надежды, обещания и мечты. Но ты, милая хозяйка с ароматной кожей и светящимися, точно жемчужины, глазами, ты родилась не при луне, ибо золотой отблеск этих волос — это цвет солнца, и никто, кроме Венеры, чуждой ревности, не мог создать эти полные плечи, эти пышные груди, эту круглую шею, эти маленькие ручки. Мы ужинаем сегодня вместе?

— Красивый богомолец из Фландрии, скажи, зачем ты приехал в Рим?

— Поговорить с папой, — ответил Уленшпигель.

— О! — воскликнула она, сложив руки. — Говорить с папой? Я здешняя — и то не могла добиться этой милости.

— А я добьюсь, — отвечал Уленшпигель.

— Но разве ты знаешь, где он пребывает, какой он, какие у него привычки и требования?

— Мне по дороге рассказывали, что зовут его Юлий Третий, что живет он весело и распутно, что он боек на язык и любит поговорить. Мне рассказывали, что он питает необычайную склонность к бродяжке черномазому, который где-то подошел к нему с обезьянкой и, грязный, оборванный, попросил милостыню. Взойдя на папский престол, Юлий сделал его кардиналом Дюмон, ведающим денежными сборами, и теперь не может жить без него.

— Пей и не говори так громко.

— Слышал я еще, что однажды вечером, когда ему не подали холодного павлина, которого он приказал оставить для себя, он бранился, не щадя имя господне: «A dispetto di Dio, potta di Dio» \*. И говорил при этом: «Я, наместник божий, могу ругаться из-за павлина — рассердился же мой повелитель на Адама из-за яблока!» Видишь, красавица, я знаю папу и знаю, каков он.

— Ах, только с другими не говори об этом. Все-таки ты его не увидишь.

— Я с ним буду говорить.

— Сто флоринов, если добьешься.

— Я уже выиграл.

На другой день, несмотря на свою усталость, он все ходил по городу и узнал, что сегодня папа будет служить обедню в соборе св. Иоанна Латеранского. Отправившись туда, Уленшпигель расположился как можно ближе к папе и на виду. Всякий раз, как папа воздымал святую чашу или святые дары, Уленшпигель поворачивался к алтарю спиной.

Рядом с папой стоял сослужащий кардинал, со смуглым, толстым и злым лицом, и, держа на плече обезьяну, давал народу причастие, делая при этом непристойные телодвижения. Он обратил внимание папы на поведение Уленшпигеля, и после обедни были посланы взять его четыре отличных солдата, какими славится эта воинственная страна.

— Какой ты веры? — спросил его папа.

— Ваше святейшество, — ответил Уленшпигель, — я той самой веры, что и моя хозяйка.

Привели хозяйку.

— Какой ты веры? — спросил ее папа.

— Той самой, что и ваше святейшество, — ответила она.

— Я тоже, — сказал Уленшпигель.

Тогда папа спросил его, почему же он отворачивается от святых даров.

— Я считал, что недостойн смотреть на них.

— Ты богомolec?

— Я пришел из Фландрии вымолить отпущение моих грехов.

---

\* «Будь я проклят, разрази меня создатель» (итал.).

Папа благословил его. Уленишпигель удалился со своей хозяйкой, и она отсчитала ему сто флоринов. С этим приятным грузом он покинул Рим, чтобы возвратиться на родину.

Но за свидетельство об отпущении грехов, написанное на пергаменте, ему пришлось уплатить семь дукатов.

## LIV

Два монаха ордена премонстрантов прибыли в это время в Дамме продавать индульгенции. Поверх их монашеских одеяний были надеты кружевные рубахи.

В хорошую погоду они торговали на паперти собора, в дождливую — в притворе, где была прибита табличка с расценкой грехов. Они продавали отпущение грехов за шесть лиаров, за патар, за пол парижского ливра, за семь, за двенадцать флоринов, за дукат, — на сто, двести, триста, четыреста лет, а равно, смотря по цене, также полное загробное блаженство или половину его и разрешение самых страшных преступлений, включая вожделение к пресвятой деве. Но это стоило целых семнадцать флоринов.

Уплатившим сполна покупателям они вручали кусочки пергаamenta, на которых указано было число оплаченных лет. Внизу можно было прочесть следующую надпись:

Коль не хочешь, чтоб тысячу лет  
Тебе в чистилище томиться,  
А после в аду, на вечном огне,  
Гореть, жариться и вариться —  
Купи индульгенцию! —

Грехов отпущенье,  
Милость божию и прощенье  
По сходной цене продаем.  
Помни о спасенье своем!

И покупатели стекались за десять миль отовсюду.

Один из монахов часто читал народу проповеди. У него была цветущая рожа, тройной подбородок и порядочное брюшко, нимало не смущавшее его.

— Нечестивец! — говорил он, вперяя взор в кого-либо из своих слушателей. — Нечестивец! Взгляни — вот ты в адском огне! Жестокое жжет тебя пламя. Тебя варят в

котле кипящего масла, в котором изготавливаются пироги для Астарота. Ты — колбаса на сковороде Люцифера, ты — огузок в кастрюле Гильгерота, великого дьявола; и на мелкие кусочки для того ты изрублен. Взгляни на этого великого грешника, не подумавшего об отпущении грехов, взгляни на эту кастрюлю рубленого мяса; это он, это он, это его безбожное тело, это его проклятое тело так разделано. А приправа к нему? Приправа — сера, деготь и смола! И все несчастные грешники будут вечно пожираемы, но так, чтобы непрестанно вновь воскресать к новым мучениям. Вот где льются неподдельные слезы, вот где подлинно скрежет зубовой! Господи помилуй, господи помилуй! Да, вижу, вижу тебя в аду, бедный грешник, вижу твои мучения! Один лишь грош, уплаченный за тебя, — и уже легче твоей правой руке; еще полущка — обе твои руки освободились из пламени. А остальное тело? Флорин всего — и низверглось на тебя благостной росой отпущение грехов. О сладостная прохлада! И так — десять дней, сто дней, тысяча лет, смотря по взносу: ты уже не рубленое мясо, не жаркое, не лепешка, кипящая в масле. И если не для тебя это, грешник, то разве мало в сокровенных глубинах этого пламени других страждущих душ: твоих родных, твоей любимой жены, какой-нибудь милой красотки, с которой ты так сладостно грешил?

При этих словах монах толкнул в бок своего товарища, стоявшего подле него с серебряным блюдом. Тот опустил глаза и благоговейно потряс блюдом, призывая к жертвованиям.

— И разве, — продолжал монах, — разве в этом страшном пламени нет у тебя сына, дочери, любимого ребеночка? Они кричат, плачут, они зывают к тебе! Неужто ты глух к этим жалостным стенаниям? Нет, невозможно. Твое ледяное сердце тает, — и это стоит тебе грош. И посмотри: при звуках этого гроша, падающего на эту жалкую медь (здесь монах вновь потряс своим блюдом), ты видишь вдруг: пламя затухает, одна бедная душа поднялась из жерла вулкана. И вот она на свободе, она на чистом воздухе! Где ее муки? Холодное море перед нею, она бросилась в него, она барахтается в нем, плавает на спине, поворачивается на живот, плывет, ныряет. Слышишь — она издает радостные крики, видишь — она кувыркается в воде. Ангелы глядят на нее и

ликуют. Они ждут ее, но она не может оторваться от этого наслаждения. Ей хотелось бы стать рыбой! Она не знает, что там, наверху, ее ждут прохладительные ванны, полные душистой, сладостной, нежной влаги, в которой — точно холодные льдины — плавают громадные куски белого леденца. Вот подплыла акула, но душа не боится ее, она садится чудовищу на спину, и оно не чувствует этого. Она ныряет с ним в глубь морскую, она приветствует морских ангелов, которые едят waterzoeu \* из коралловых чаш и свежих устриц на перламутровых тарелках. И как встречают ее здесь, каким уходом, приветом и вниманием она окружена! Ангелы сверху всё зовут ее с небес. И вот наконец, возрожденная, блаженная, она возносится в небеса, звеня жаворонком, взлетает туда, ввысь, где во всем великолепии восседает на престоле господь бог. Там находит она всех своих земных родных и друзей, кроме тех, которые не купили своевременно индульгенции, презрели отпущение грехов, даруемое святой нашей матерью — католической церковью, и жарятся в недрах адовых. И так вечно, впредь во веки веков в огне непреходящих страданий. А прощенная душа — та в чертогах господних наслаждается благоуханной влагой и сладостью леденца.

— Покупайте индульгенции, братья; есть на всякие цены: за крузат, за червонец, за английский соверен. Принимаем и мелкие деньги. Покупайте. Покупайте. Здесь святая торговля: здесь есть товары для всякого — для бедного и богатого. Но в долг, братья, к великому горю, мы давать не можем, ибо покупать прощение и не платить за него наличными — преступление в глазах создателя.

Монах, собиравший деньги, молча потрясал блюдом. Флорины, крузаты, патары, дукатоны, денье и су сыпались в него градом.

Клаас, считая себя богачом, уплатил флорин, получив за него отпущение на десять тысяч лет. В подтверждение монахи выдали ему кусок пергамента.

Вскоре они увидели, что не купивших себе индульгенции осталось в Дамме всего несколько закоренелых скряг. Тогда оба перебрались в Гейст.

---

\* Waterzoeu — рыбное блюдо (флам.).

В хламиде богомольца и с отпущением грехов в суме покинул Уленшпигель Рим. Бодро шел он вперед и так пришел в Вамберг, который славился лучшими овощами в мире.

В трактире, куда он направился, его встретила приветливая хозяйка со словами:

— Молодой хозяин, хочешь поесть за деньги?

— Конечно, — ответил Уленшпигель, — а за какие же деньги у вас едят?

— За шесть флоринов на господском столе, за четыре на купеческом, за два на общем.

— Чем дороже, тем лучше для меня, — отвечал Уленшпигель и сел за господский стол.

Наевшись досыта и запив еду рейнским, он обратился к хозяйке:

— Что ж, кума, я съел на шесть флоринов; плати, стало быть.

— Ты издеваешься, что ли, — ответила хозяйка, — плати за обед.

— Прелестная хозяйка, — возразил Уленшпигель, — не видно по вашему лицу, чтобы вы были неисправным должником, нет, наоборот, я вижу, что честность ваша так велика, любовь к ближнему так необъятна, что вы готовы заплатить мне восемнадцать флоринов, не то что шесть, которые должны мне за еду. Достаточно взглянуть на эти прекрасные глаза: солнечные лучи стремятся из них на меня, точно стрелы, и под их светом любовные шалости возрастают пышнее, чем бурьян в пустыне.

— Знать не хочу никаких твоих шалостей и бурьянов — плати деньги и уходи.

— Что! Уйти — и тебя не видеть? Лучше издохнуть на месте! Хозяйка, красотка, я не привык обедать за шесть флоринов, я бедный бродяжка, пешком пришедший через горы и долины. Я нажрался досыта, так что вот-вот высуну язык, как сытый пес; заплатите же мне за тяжкие труды моих челюстей; я заработал мои шесть флоринов. Позвольте получить, — и я так нежно обниму и поцелую вас, как и двадцать семь любовников обнять не могут.

— И ты все это говоришь из-за денег?

— А ты хочешь, чтоб я тебя даром съел?

— Нет, — говорила она, отталкивая его.

— Ах, — вздохнул он, следуя за нею, — твоя кожа точно сливки, твои волосы точно золотистый фазан на вертеле, твои губы точно вишни. Есть ли кто на свете вкуснее тебя?

— Негодяй, — говорила она, смеясь, — ты еще денег требуешь, скажи спасибо, что поел даром.

— Ах, — ответил он, — если бы ты знала, сколько у меня там еще пустого места.

— Убирайся, пока муж не пришел.

— Я не буду суровым кредитором, — ответил Уленшпигель. — Дай пока хоть один флорин залить жажду.

— Возьми, каналья, — ответила она.

— Можно еще прийти?

— Уходи подобру-поздорову!

— Идти подобру — значит, к тебе, голубка, уйти от тебя, от твоих прекрасных глаз — это не подобру будет. Если бы ты позволила мне остаться, я бы тебя каждый день съедал по меньшей мере на флорин.

— Ой, возьму палку! — крикнула она.

— Возьми мою, — ответил Уленшпигель.

Она захохотала, но ему пришлось уйти.

## LVI

Ламме Гудзак переселился обратно в Дамме, так как в Льеже стало беспокойно из-за еретиков. Его жена была рада этому, потому что льежцы — исконные насмешники — трунили над добродушием ее мужа.

Ламме часто заходил к Клаасу, который, с тех пор как стал богатым наследником, охотно проводил время в трактире «Влаuwe Тогге» \*, где всегда был готовый стол для него и для его собутыльников. За соседним столом обычно помещался Иост Грейпстювер, скаредный старшина рыбных торговцев; скупой и мелочный, он выпивал не больше полкружки, питался одной соленой селедкой и думал о своих грошах больше, чем о спасении своей души. А у Клааса в суме лежал листочек пергамента, на котором значилось десять тысяч лет отпущения грехов.

Сидели они как-то в трактире — Клаас, и Ламме, и Ян ван Роозебеке, и Матейс ван Асхе; пришел и Иост

\* «Влаuwe Тогге» — «Синья башня» (флам).

Грейпстювер. По сему случаю Клаас пил кружку за кружкой, и Ян Роозебеке заметил ему:

— Эта кружка уж лишняя! Грех!

— За одну лишнюю кружку, — ответил Клаас, — полагается гореть в аду всего полдня, а у меня в сумке отпущение на десять тысяч лет. Кто желает получить из них сотню, пей без счета, пока не лопнешь.

— А почему продаешь? — кричали приятели.

— Сотню за кружку пива, — ответил Клаас, — а за ломоть солонины отдам полтора ста!

Одни из собутыльников поднесли Клаасу по кружке пива, другие по ломтику ветчины — и он для них всех отрезал узенькую полоску пергамента. Конечно, Клаас не один потребил всю эту плату натурой: ему помогал Ламме Гудзак, который так набил брюхо, что просто на глазах распух, а Клаас все расхаживал по трактиру, предлагая всем свой товар.

— И десять дней продашь? — спросил рыбник, обращая к нему свое кислое лицо.

— Нет, — ответил Клаас, — такой кусочек трудно отрезать.

Все расхотались, а рыбнику пришлось проглотить пилюлю.

И Ламме с Клаасом направились домой, но шли они медленно, точно ноги у них были из пакли.

## LVII

К концу третьего года своего изгнания Катлина вернулась в свой дом в Дамме; без усталости твердила она: «Горит голова, стучит душа, пробейте дыру, выпустите душу». И, увидя стадо коров или овец, убегала стремглав. Сидит, бывало, на скамеечке под липой за домом, трясет головой и смотрит на проходящих, не узнавая их. Жители Дамме говорили:

— Она сумасшедшая.

А Уленшпигель бродил по городам и селам. Как-то на большой дороге, видит он, стоит осел в роскошной сбруе с медным набором; голова вся убрана кисточками и подвесками из красной шерсти.

Вокруг осла — несколько старых баб, все одновременно говорят, перебивая друг друга:

— Не трогайте его, не трогайте, страшно... не подходите. Это заговоренный осел проклятого колдуна барона де Рэ, которого сожгли живьем за то, что он восьмерых своих детей отдал сатане. А осел бежал так быстро, что его нельзя было поймать, — сам дьявол его охранял. Потому что, видишь ли, кумушка, когда он выбился из сил и стал на дороге и стражники подошли к нему, чтобы схватить, он стал брыкаться и реветь так, что все разбежались... И не ослиный это рев был, а прямо чертов вой, — вот и оставили его щипать чертополох, вместо того чтобы представить на суд и тоже сжечь за колдовство... Трусы эти мужчины.

Несмотря на такие смелые речи, бабы с криком разбежались, как только осел поднимал кончик ушей или хлопал себя хвостом по бедрам. Потом они вновь собирались, и кричали, и трещали, как сороки, и при каждом движении осла повторялась та же сцена.

Уленшпигель смотрел на них некоторое время.

«Что за бесконечное любопытство, — размышлял он, — что за неустанная болтовня брызжет из бабьего рта, точно поток, особенно у старых: у молодых она все-таки прерывается любовными занятиями...»

И, взглянув на ослика, он подумал:

«А ведь этот колдун — добрая рабочая скотинка, и рысь у него, верно, не тряская. Можно разъезжать на нем, а то продать».

Не сказав ни слова, он отошел в сторону, сорвал пучок вереска и дал ослу, потом разом вскочил на него, раскланялся, схватил поводья и поскакал, посылая рукой благословения изумленным бабам. Те от ужаса чуть не попадали в обморок и бухнули на колени.

Вечером того же дня обыватели рассказывали друг другу, как спустился с небес ангел в войлочной шляпе с фазаньим пером, как он благословил всех и, по особой милости божьей, унес с собой заклятого осла.

А Уленшпигель ехал дальше по тучным лугам, где прыгали на свободе жеребята, где коровы с телятами лениво паслись, лежа на солнце. И он дал ослу имя: Иеф.

Осел остановился, наслаждаясь чертополохом. Иногда только он вздрагивал всем телом и колотил по бедрам хвостом, отгоняя жадных оводов, которые, подобно ему, тоже хотели пообедать, но его собственным мясом.

Желудок Уленшпигеля вопил от голода, и он скорбно размышлял:

— Как счастлив был бы ты, серый, если бы никто не мешал тебе наслаждаться колючками и не являлся напомнить, что ты смертен, то есть рожден, чтобы терпеть всякие пакости. И у носителя священной папской туфли есть свой овод — это господин Лютер. — При этом Уленшпигель сдавил осла коленями. — И у его величества, — продолжал он, — у императора Карла, тоже есть овод — это благородный Франциск Первый, король французский, с его очень длинным носом и еще более длинным мечом. А мне, бедняге, блуждающему точно вечный жид, конечно, позволительно иметь своего овода. Так-то, любезнейший серячок! Ах, дырявы все мои карманы, и из их дырок выкатились все мои дукаты, флорины и талеры, точно стая мышей, разбежавшаяся пред кошкой. Просто не знаю, что деньги имеют против меня, который их так любит. Нет, фортуна, наверное, не женщина, — она любит только скупердяев, которые всё копят, и под замок прячут, и денежки берегут, не позволяя им даже кончик золотого носика высунуть наружу: вот он, мой овод, который вечно и жалит, и колет, и щекочет меня, однако мне не смешно нисколько. Да ты не слушаешь, серячок: все думаешь, как бы еще попастьись; ах ты, брюхан, набивающий свое брюхо, твои длинные уши глухи к воплям моего пустого желудка. Да слушай же, каналья!

И пребольно стегнул его. Осел заревел.

— Ну, поел, теперь в путь!

Но осел был неподвижен, как пограничный столб, и, видимо, намеревался съесть весь придорожный репейник. А его было немало.

Увидев это, Уленшпигель сошел с осла, нарезал целый букет чертополоха, вскочил в седло и сунул чертополох ослу под самую морду, так что осел потянулся за ним. И так они ехали до земли ландграфа Гессенского.

— Ах, серый, — сказал Уленшпигель, — вот ты бежишь за моей охапкой колючек, не получая их, а позади себя оставил прекрасную дорогу, обросшую этим лакомством. Ведь так и люди поступают. Одни гонятся за лаврами, которые пронесит судьба мимо их носа, другие — за растущим барышом, третьи — за цветами любви. В конце пути они, как ты, видят, что гнались за пустя-

ком, оставив позади все самое важное — здоровье, труд, покой, домашний уют.

Так, болтая со своим ослом, Уленшпигель подъехал к замку ландграфа.

На ступеньках подъезда два стрелка-офицера играли в кости.

Один из них, рыжий великан, заметил Уленшпигеля, который, подъехав на Иефе, почтительно остановился и смотрел на них.

— Чего тебе, голодный святоша? — сказал офицер.

— А ведь и правда, — сказал Уленшпигель, — и голоден я и богомольствую не по своей воле.

— Ты голоден? Так накорми свою шею веревкой: вот она висит на виселице, приготовленной для бродяг.

— Господин капитан, — ответил Уленшпигель, — если вы мне дадите золотой шнурок с вашей шляпы, то я, пожалуй, повешусь... вцепившись зубами в ветчину, что вон там висит у колбасника.

— Откуда ты? — спросил стрелок.

— Из Фландрии.

— Чего тебе надо?

— Я хочу представить его высочеству господину ландграфу картину моей работы.

— Если ты живописец и из Фландрии, то войди: я отведу тебя к графу.

Представ пред ландграфом, Уленшпигель отвесил троекратный и даже многократный поклон.

— Прошу прощения у вашего высочества за мою смелость, — начал он, — осмеливаюсь повергнуть к благородным стопам вашим написанную для вас картину. Я имел честь изобразить на ней пресвятую богородицу во всем ее царственном величии. Быть может, картина эта понравится вашему высочеству, и в этом случае, — продолжал он, — я не удержусь от преувеличенного мнения о моем искусстве и позволю себе надеяться, что когда-нибудь и я получу возможность занять это красное бархатное кресло, в котором при жизни сидел достойный сожаления художник вашей милости.

Ландграф посмотрел на картину и, найдя ее прекрасной, произнес:

— Ты будешь нашим живописцем, сядь в то кресло.

При этом он весело поцеловал его в обе щеки. Уленшпигель уселся.

— Ты отошал, — сказал граф, глядя на него.

— Да, ваше высочество, — ответил Уленшпигель, — Иеф (это мой осел) пообедал репейником, а я вот уже три дня лицезрел только голод и питался исключительно дымом надежды.

— Сейчас получишь более питательную говядину, — ответил ландграф. — Но где твой осел?

— Я оставил его на площади, — отвечал Уленшпигель, — пред дворцом вашей милости. Я буду счастлив, если и Иеф получит на ночь пристанище, подстилку и корм!

И ландграф тотчас приказал одному из пажей содержать осла Уленшпигеля так же, как его собственных ослов.

Подошло время ужина, который был роскошен, как торжественное пиршество. Дымящееся мясо и ароматное вино катились вниз по глоткам.

Уленшпигель и ландграф были оба красны, как раскаленные жаровни. Уленшпигель был весел, граф задумчив.

— Послушай, художник, — вдруг сказал он, — мне нужен мой портрет: утешительно ведь для смертного государя оставить потомству воспоминание о своем образе.

— Ваше высочество, ваша воля — закон, но недостойному рабу вашему кажется, что вашей милости не так будет приятно быть представленным грядущим столетиям в одиночестве. Вам следует красоваться на картине в сопровождении госпожи ландграфини, вашей благородной супруги, с ее дамами и кавалерами, с военачальниками и храбрейшими офицерами. И среди всего этого блеска — точно два солнца среди фонарей — ваша милость с супругой.

— Правильно, господин живописец, — сказал ландграф, — а что будет стоить эта великая работа?

— Сто флоринов вперед или потом.

— Возьми вперед, — ответил ландграф.

— Ваша милость! — воскликнул Уленшпигель. — Вы галиваете масло в мою лампу, и она будет гореть в вашу честь.

На другой день он попросил графа представить ему всех тех, кто удостоится изображения на картине.

Первым был герцог Люнебургский, командовавший графскими наемниками. Это был громадный мужчина, с

трудом таскавший свое сытое брюхо. Приблизившись к Уленшпигелю, он шепнул ему на ухо:

— Если ты на своей картине не снимешь с меня половину жира, мои солдаты повесят тебя.

И герцог вышел.

Затем явилась высокая дама с горбом на спине и грудью плоской, как меч правосудия.

— Господин художник, — сказала она, — если ты на картине не уберешь мне выпуклость со спины и не поместишь зато пару выпуклостей на груди, ты будешь четвертован как отравитель.

И дама вышла.

Следующая была молоденькая, хорошенькая, свеженькая, изящная фрейлина, у которой недоставало впереди трех верхних зубов.

— Господин художник, — сказала она, — если ты не нарисуешь меня с улыбкой, открывающей все тридцать два зуба, то вот этот мой поклонник изрубит тебя на куски.

И она показала на капитана стрелков, того самого, который давеча играл в кости на ступенях подъезда, и вышла.

И так один за другим. Наконец Уленшпигель остался вдвоем с ландграфом.

— Если ты себе на горе вздумаешь лукавить, — сказал ландграф, — и нарисовать хоть черточку в чьем-нибудь лице не так, как оно есть, я прикажу тебя зарезать, как цыпленка.

«Плаха или колесо, топор или по меньшей мере виселица, — подумал Уленшпигель, — тогда лучше никого не рисовать. Ну, посмотрим».

— Где зал, который я должен украсить всей этой живописью? — спросил он ландграфа.

— Пойдем, — ответил тот.

И он привел его в огромную комнату с необъятными голыми стенами.

— Вот, — сказал ландграф.

— Было бы хорошо, — сказал Уленшпигель, — чтобы все стены были завешены большими занавесами, дабы предохранить мою работу от мух и пыли.

— Хорошо, — согласился граф.

Занавесы были повешены. Уленшпигель потребовал трех помощников: растирать краски, объяснил он.

В течение тридцати дней Уленшпигель и его помощники занимались жратвой и выпивкой. Сам ландграф заботился о том, чтоб им доставлялись лучшие яства и вина.

Но на тридцать первый день он просунул нос в дверную щелку: Уленшпигель строго запретил кому бы то ни было входить в комнату.

— Ну, Тиль, как картина?

— Еще далеко до конца.

— Можно посмотреть?

— Нет еще.

На тридцать шестой день ландграф опять просунул нос в щелку:

— Ну, Тиль?

— Кончаем, господин ландграф.

На шестидесятый день ландграф рассердился и влетел в зал с криком:

— Покажешь ты мне, наконец, картину, нахал?

— Сейчас, сейчас, господин грозный государь, благоволите только разрешить не поднимать занавес, пока не сойдутся все придворные дамы и кавалеры.

— Я согласен, — произнес ландграф.

И по приказу государя все собрались в зале.

Уленшпигель стал перед опущенным занавесом и сказал:

— Господин ландграф, и вы, госпожа ландграфиня, и вы, господин герцог Люнебургский, и прочие прекрасные дамы и доблестные кавалеры: здесь, за занавесом, на картине я изобразил ваши прелестные или мужественные лица. Каждый из вас легко узнает свое изображение. Вам хочется скорее взглянуть на себя, и это нетерпение вполне понятно. Но благоволите потерпеть еще немного и выслушать одно словечко или с полдюжины таковых. Прекрасные дамы, доблестные воители, вы все, у кого в жилах течет благороднейшая дворянская кровь, увидите мою картину, но если бы кто-нибудь в вашей среде оказался низкого происхождения, он не увидит ничего, кроме белой стены. Благоволите раскрыть ваши благородные глаза.

Уленшпигель открыл занавес и продолжал:

— Лишь высокорожденные, лишь дамы и кавалеры благородной крови могут видеть картину. Отныне все бу-

дут говорить: он слеп к живописи как мужик, или: он понимает в картинах — вот подлинный дворянин.

Все смотрели в упор, все притворялись, что прекрасно видят, показывали друг другу на свои портреты, узнавали, обсуждали их. На самом же деле они видели только голые стены и были очень удручены этим.

Вдруг шут, бывший при этом, подпрыгнул на три фута вверх, загремел бубенчиками и закричал:

— Пусть я буду самый низкий, дрянной, подлеший из подлых мужичонка, но я буду в трубы трубить и в барабаны бить, провозглашая одно: «Ничего здесь не вижу, кроме голых, белых, пустых, гладких стен!» Так да поможет мне господь бог и все святые!

— Там, где появляются дураки, умным людям делать нечего, — сказал Уленшпигель.

Он уже выходил из замка, когда его удержал сам ландграф.

— Дурачок, дурачок, — сказал он, — бродишь ты по свету, восхваляешь во всю глотку прекрасное, издеваешься над глупостью. Пред такими важными дамами и еще более знатными вельможами ты решился посмеяться, по народному обычаю, над дворянским чванством и высокомерием: повесят тебя когда-нибудь за твой длинный язык.

— Если веревка будет золотая, — ответил Уленшпигель, — то при одном моем взгляде она рассыплется в куски от страха.

— Вот тебе первый кусок, — ответил ландграф, протягивая ему пятнадцать флоринов.

— Благодарю от души вашу милость, — сказал Уленшпигель, — каждый трактир по дороге получит по ниточке — по ниточке чистого золота, которая сделает всех этих каналов трактирщиков крезами.

И, гордо заломив набекрень шляпчонку с торчащим пером, он весело вскочил на своего осла и умчался.

## LVIII

Листья желтели на деревьях, и порою проносился осенний ветер. Случалось, что час и больше Катлина бывала совсем в ясном сознании. И Клаас говорил тогда, что это дух божий, в благостном милосердии, навещает

ее. В такое время она чародейством слов и движений заставляла Неле видеть за сотни миль то, что происходило на площадях, на улицах и даже в домах.

И в этот день Катлина была вполне разумна и вместе с Клаасом, Сооткин и Неле ела оладьи, обильно запиваемые пивом.

Клаас сказал:

— Сегодня отрекается от престола его величество император Карл Пятый. Неле, милая, не смогла бы ты увидеть, что делается теперь в Брюсселе?

— Увижу, если Катлина захочет, — отвечала Неле.

Катлина приказала ей сесть на скамью и словами и движениями, волшебными действующими, усыпила Неле, которая тихо погрузилась в глубокий сон.

— Войди, — приказала ей Катлина, — в маленький домик в парке, здесь любит пребывать император Карл Пятый.

— Вот я в маленьком зеленом зале, стены его выкрашены масляной краской в зеленый цвет, — говорила Неле тихо и как бы задыхаясь. — Здесь сидит человек, ему около пятидесяти четырех лет, седой, лысый, с русой бородкой и сильно выдающимся подбородком. Взгляд его серых глаз исполнен хитрости, жестокости и притворного добродушия. Этого человека называют «его святейшим величеством». Он простужен и кашляет. Подле него стоит другой человек, молодой, большеголовый, уродливый, как обезьяна, я видела его в Антверпене, — это король Филипп. Его величество бранит его за то, что он последнюю ночь провел вне дома. «И все затем, — говорит он, — чтобы в каком-нибудь жалком вертепе найти грязную потаскуху». Он говорит сыну, что от волос его несет кабаком, что его удовольствия недостойны короля, что к его услугам нежные тела, атласная кожа, омытая в благоуханной ванне, и руки влюбленных знатных дам. А ему по вкусу какая-нибудь тварь, которая, верно, еще не отмылась от объятий пьяного наемника, только что покинутого ею. Нет девушки, нет мужней жены, нет вдовы, которая отказала бы ему: ни одной — даже самой прекрасной и знатной из тех, которые освещают свои любовные радости благоуханными светильниками, а не вонючими сальными огарками.

Король отвечает его величеству, что он будет повиноваться ему во всем.

Его величество кашляет и выпивает несколько глотков горячего вина.

«Теперь, — говорит он Филиппу, — ты увидишь Генеральные штаты — епископов, дворян и горожан: всегда молчаливого Вильгельма Оранского, тщеславного Эгмонта, мрачного Горна, отважного, как лев, Бредероде и всех кавалеров Золотого Руна, во главе которых я поставлю тебя. Ты увидишь высокопоставленных особ, которые дадут себе отрезать нос, чтобы носить его на золотой цепи на груди — как знак высшей знатности».

Потом его величество меняет тон и жалобно говорит королю Филиппу:

«Ты знаешь, сын мой, я отрекаюсь в твою пользу, я дам миру величавое зрелище и буду говорить перед толпой, хотя я кашляю и икаю, — оттого, что я слишком много ел всю жизнь, сын мой. Железное сердце должно быть у тебя, если ты после моей речи не прольешь нескольких слезинок».

«Я буду плакать, отец мой!» — отвечает король Филипп.

Теперь его величество говорит своему слуге по имени Дюбуа:

«Накапай мне мадеры на кусочек сахара, Дюбуа: у меня икота. Хоть бы она не напала на меня, когда надо будет говорить перед людьми. Этот вчерашний гусь, должно быть, никак не пройдет. Уж не выпить ли мне стакан орлеанского? Или лучше не надо — оно такое терпкое. Или сардинку съесть? Нет, жирно. Дюбуа, дай бургонского».

Дюбуа подает королю вино, потом одевает его в пурпурный бархат, накидывает ему на плечи парчовую мантию, опоясывает мечом, вкладывает ему в руки скипетр и державу и надевает на голову корону.

Его величество выходит из павильона, садится на маленького мула, за ним идут король Филипп и несколько представителей самых знатных фамилий. Так направляются они к большому зданию — к дворцу; здесь в одной из комнат они встречают высококого стройного мужчину в богатой одежде: это — Оранский. Его величество обращается к нему и говорит: «Как ты меня находишь, кузен Вильгельм?»

Но тот не отвечает.

Его величество говорит тогда не то еердито, не то в шутку:

«Что ты, онемел навеки, кузен? Даже тогда, когда надо сказать правду старым мощам? Царствовать мне или отречься? Скажи, Молчаливый».

«Ваше святейшее величество, — говорит высокий, — когда приходит зима, самый могучий дуб стряхивает с себя листья».

Бьет три часа.

«Дай, Молчаливый, обопрись на твое плечо».

И с ним и со своей свитой его величество вступает в большой зал и садится на помосте под балдахином, где все вокруг покрыто шелком и пурпурными коврами. Три трона устроены здесь: средний для его величества; он убран роскошнее, и над ним водружена императорская корона. Король Филипп сидит на другом троне; третий предназначен для женщины — для королевы. Слева и справа, на покрытых коврами скамьях, сидят господа в красном; у всех на шее висит золотой агнец. За ними стоит множество господ, всё, видно, князья и высокие особы. Напротив трона на скамьях, ничем не покрытых, сидят люди в суконных одеждах. Я слышу, в этой толпе говорят, что они так скромно одеты, потому что все расходы падают на их счет. При появлении его величества все встают. Император садится и знаком приказывает всем сделать то же.

Медленно и долго говорит один старик, потом дама, судя по виду — королева, подает его величеству пергаментный свиток, на котором написано много чего-то, и император, кашляя, читает это глухим, тихим голосом и потом говорит:

«Много странствовал я по Испании, по Италии, по Нидерландам, Англии и Африке, и все странствия эти были ко славе господа бога, к мощи нашего оружия, ко благу моих народов».

Потом он долго говорит еще и объявляет, что он немогучен и устал и вознамерился вручить сыну корону Испании, равно как все принадлежащие ей герцогства, графства и баронства.

И он плачет, и все плачут вместе с ним.

Король Филипп поднимается с места, бросается на колени и говорит:

«Ваше величество, как могу я осмелиться принять эту корону из ваших рук, когда вы еще в силах носить ее!»

Потом император шепчет сыну на ухо, чтобы он обратился с благосклонной речью к господам, сидящим на покрытых коврами скамьях.

Филипп, не поднимаясь, обращается к ним и говорит кислым тоном:

«Я знаю французский язык настолько, чтобы понимать его, но не настолько, чтобы на нем говорить. Поэтому выслушайте, что вам скажет вместо меня епископ Аррасский, кардинал Гранвела».

«Плохая речь, сын мой», — говорит его величество.

И действительно, среди собравшихся слышится ропот, они видят, как надменен и высокомерен молодой король.

Потом говорит королева, вознося государю хвалу, затем слово переходит к одному престарелому доктору, и, когда он кончил, его величество мановением руки благодарит его. После того как окончены все формальности и разглагольствования, его величество объявляет своих подданных свободными от присяги ему, подписывает утверждающие это документы, потом подымается с трона и уступает сыну свое место. Все в зале плачут. И император с сыном и приближенными удаляется в домик в парке.

Здесь, оставшись одни, они запираются в зеленом зале, и император, захлебываясь от хохота, обращается к королю Филиппу, который не смеется.

«Видишь ты, — говорит его величество, смеясь и икая, — как мало надо, чтобы растрогать этих людишек. Какой поток слез! И этот толстый Маас, который в заключение своей длинной речи ревел, как теленок. Да и ты как будто был растроган, но недостаточно. Вот настоящее зрелище, каким надо потчевать народ. Сын мой, мы тем больше любим наших любовниц, чем дороже они нам стоят. С народами то же самое. Чем больше мы с них дерем, тем больше они нас любят. В Германии я терпел реформацию, в Нидерландах сурово преследовал ее. Если бы немецкие государи остались католиками, я бы сам перешел в лютеранство, чтобы конфисковать их владения, а они верят в мою преданность римско-католической вере и жалеют, что я покидаю их. Благодаря мне погибло в Нидерландах пятьдесят тысяч человек — наиболее достойных мужчин и самых прекрасных женщин, всё за ересь. Теперь я покидаю престол, а они хнычут.

Не считая конфискаций, я добыл от них поборами больше денег, чем могли бы дать Индия или Перу, — а они огорчены, что теряют меня. Я нарушил Кадзанский мирный договор, я задушил Гент, я уничтожил все, что могло мне помешать: вольности, права, привилегии — всё я подчинил власти моих чиновников, а эти простофили считают себя свободными, потому что им разрешено стрелять из луков и носить в процессиях их цеховые знамена. Они чувствуют руку властелина: благодушествуют в клетке, воспевают и оплакивают меня. Сын мой, будь с ними как я: милостив на словах, суров на деле. Лиж, пока не пришло время укусить. Непрестанно клянись блюсти все их вольности, права и преимущества. Но, увидев, что они опасны, растопчи их. Не касайся их робкой рукой. тогда они — железные, но они оказываются из стекла, когда ты раздробил их тяжелым кулаком. Не потому уничтожай еретиков, что они отвергли католическую веру, но потому, что они могут подорвать наше положение в Нидерландах. Те, которые нападают на папу, носителя трех корон, легко справятся с государями, которые носят лишь одну корону. Сделай, как я, из свободы совести оскорбление величества, влекущее за собой конфискацию имущества, и всю жизнь, как я, будешь получать наследства. И когда настанет день твоего отречения или ты умрешь, они скажут: «Ах, добрый был государь!» — и заплачут».

— Дальше ничего не слышу, — сказала Неле, — ибо его священное величество лежит на кровати и спит, а король Филипп, надменный и горделивый, смотрит на него без любви.

После этих слов Катлина разбудила ее.

И Клаас в раздумье смотрел в огонь, пылавший в глубине печи.

## ЛИХ

Покинув ландграфа Гессенского, Уленшпигель проехал через площадь перед замком; он видел сердитые лица придворных кавалеров и дам, но это мало тронуло его.

Во владениях герцога Люнебургского он встретил компанию «Smaedelyke broeders»\*, веселых фламандцев из

\* «Smaedelyke broeders» — «Веселые братья» (флам.).

Слейса, которые каждую субботу откладывали понемножку денег, чтобы раз в год съездить в Германию.

С пением совершали они свой путь, сидя в открытой телеге, которую здоровенный амбахский конь шутя тащил по проселкам и болотам герцогства Люнебургского. Были такие в этой компании, что играли на скрипках, дудках, лютнях, волынках, производя страшный шум. Рядом с телегой шагал толстяк, игравший на *gommel-pot*, видно, в надежде сбавить немного жиру.

У них уж приходил к концу последний флорин, когда они увидели Уленшпигеля со звонкой монетой в кармане. Затащив его в корчму, они угостили его там, чему Уленшпигель не противился. Но когда он заметил, что эти ребята перемигиваются и посмеиваются, подливая в его кружку, он догадался, что они замышляют что-то против него, вышел за дверь и стал подслушивать, что они там говорят. И вот он слышит:

— Это живописец ландграфа, — говорил толстяк, — он получил там больше тысячи флоринов за картину. Угостим его хорошенько: получим вдвойне.

— Аминь, — ответили прочие.

Уленшпигель отвел своего оседланного осла в ближайший дом — шагов за тысячу; дал там девушке два патара, чтобы она за ним присмотрела, вернулся в трактир к своей компании и молча сел за стол. Они всё подливали и платили за него. Уленшпигель, позванивая графскими золотыми в кармане, сказал, что только что продал мужику своего осла за семнадцать серебряных талеров.

Так, обильно угощаясь, они двигались дальше под звуки дудок, волынок, *gommel-pot* и забирая по дороге всех женщин, которые казались им подходящими. Они народили таким образом немало детей; случайная подруга Уленшпигеля впоследствии тоже родила сына, которого назвала *Eulenspiegelchen*, что по-немецки значит 'маленькое зеркальце и сова, ибо, как немка, она не понимала прозвища своего случайного сожителя, а может быть, мальчик назван был в память того часа, когда он был зачат. Он и есть тот Эйленшпигель, о котором ложно утверждают, будто он родился в Книттингене, в Саксонии.

Здоровенный конь мчал телегу «Веселых братьев» навстречу деревням и трактирам. У одного из них с выве-

ской «In den Keteles» — «Корчма Котел» — они остановились: уж очень вкусно пахло оттуда.

Подойдя к хозяину, толстяк указал ему пальцем на Уленшпигеля и сказал:

— Это графский живописец: он платит за все.

Трактирщик посмотрел на Уленшпигеля и был удовлетворен этим осмотром. Услышав звяканье флоринов и талеров, он уставил стол яствами и напитками. Уленшпигель ничего не пропустил. И всё звенели в его кармане денежки. Кроме того, он похлопывал себя по шапке, приговаривая, что там хранится самое большое его сокровище. Так длилось пиршество два дня и ночь, пока, наконец, компания не обратилась к Уленшпигелю:

— Пора расплатиться и ехать дальше.

— Разве крыса, сидя в сыре, думает уйти? — ответил Уленшпигель.

— Нет.

— А когда человек отлично ест и пьет, тянет его к уличной пыли и к воде из лужи, полной пивок?

— Нет.

— Ну и будем здесь сидеть, пока мои флорины и талеры служат воронкой, через которую льется в наши глотки душу веселящий напиток.

И он приказал трактирщику подать еще вина и колбасы.

— Я плачу, ибо теперь я ландграф, — сказал Уленшпигель за едой, — но когда мои карманы опустеют, что вы будете делать, друзья? Примитесь за мою шапку, в которой везде, и в тулье и в полях, зашиты червонцы.

— Дай пощупать, — закричали они.

И, захлебываясь от удовольствия, они нащупывали пальцами монеты величиной с червонец. Но один щупал так настойчиво, что Уленшпигель отобрал у него шапку со словами:

— Не так настойчиво, доильщик, еще не настала пора для дойки.

— Дай мне половину твоей шапки, — попросил тот.

— Нет, а то у тебя будет дурацкая голова: в одной половине свет, в другой потемки.

И, передав трактирщику шапку, он сказал:

— Побереги ее у себя, она слишком теплая. Я выйду на двор.

Трактирщик взял шапку, а Уленшпигель, очутившись на улице, побежал туда, где был осел, вскочил на него и доброй рысью помчался в Эмден.

Увидев, что он не возвращается, его собутыльники подняли крик:

— Он удрал! Кто будет платить?

Трактирщик испугался и разрезал ножом оставленную ему шапку. Но между войлоком и подкладкой вместо червонцев оказались медяки.

Тогда вся ярость его обратилась на веселую братию, и он кричал на них:

— Мошенники, проходимцы, скидайте с себя платье, иначе не выпущу, — все, кроме рубахи!

Вот они и расплатились своей одеждой и ехали в одних рубахах по горам и долинам: с конем и телегой они все-таки не захотели расставаться.

И путники, встречая их в столь жалком виде, подавали им хлеб, пиво, иногда и мясо, ибо они говорили, что обобрали их грабители.

На всю компанию осталась у них одна пара штанов.

Так они и вернулись в Слейс в одних рубахах, но, несмотря на это, они плясали в своей телеге и играли на *gommel-pot*.

## LX

А Уленшпигель в это время мотался на спине Иефа по низинам и болотам герцога Люнебургского. Фламандцы называют этого герцога *Water Signorke* (Водяной барин) — очень уж сыро в его стране.

Иеф слушался Уленшпигеля, как собака. Он пил пиво, танцевал под музыку лучше венгерского скомороха, прикидывался мертвым и вытягивался на спине по малейшему знаку хозяина.

Уленшпигель знал, что герцог Люнебургский разгневан и взбешен против него за то, что в Дармштадте он так жестоко посмеялся над ним в присутствии ландграфа Гессенского; виселица грозила Уленшпигелю за пребывание в его владениях.

И вдруг он видит, что герцог собственной персоной приближается к нему. Он знал, что герцог — жестокий насильник, и струхнул не на шутку.

В страхе заговорил он с ослом:

— Видишь, Иеф, там приближается благородный герцог Люнебургский. Я чувствую, как сильно трет мою шею веревка. Надеюсь, не палач почешет мне шею: почесать — это одно, а повесить — это другое. Подумай, Иеф, мы с тобой точно братья: по несчастью и по длинным ушам. Подумай, какого доброго друга ты лишился бы, потеряв меня.

И Уленшпигель вытер глаза, а Иеф заревел.

— Живем мы вместе, деля дружно горе и радость, как придется, — помни, Иеф, — продолжал Уленшпигель. Осел продолжал реветь, так как был голоден. — И ты никогда не забудешь своего хозяина, не правда ли, ибо ничто так не скрепляет дружбу, как общие печали и общие радости. Иеф, ложись на спину.

Послушный осел повиновался, и герцог увидел торчащие вверх четыре ослиные копыта. Уленшпигель сидел уже на его животе.

— Что ты здесь делаешь? — закричал герцог, приблизившись. — Разве ты не знаешь, что в своем последнем приказе я под страхом виселицы запретил ступать на мою землю твоим грязным ногам?

— Помилуйте, господин, — отвечал Уленшпигель, — сжальтесь надо мной!

И, указав на осла, он сказал:

— Вы ведь знаете, что, по праву и закону, кто живет между своих четырех столбов, тот свободен.

— Убирайся из моих владений, — ответил герцог, — не то будешь повешен. \*

— О благородный повелитель, как стремительно вылетел бы я из этой земли, будь я окрылен одним-двумя золотыми.

— Негодяй, — ответил герцог, — мало того, что ты послушался меня: ты осмеливаешься еще и денег у меня просить?

— Что делать, ваша милость, — раз я не могу отнять, приходится просить.

Герцог бросил ему флорин, и Уленшпигель обратился к ослу.

— Встань, Иеф, и приветствуй господина герцога.

Осел вскочил и заревел. Затем оба скрылись.

Сооткин и Неле сидели у окна хижины и смотрели на улицу.

— Что, милая, — спросила Сооткин, — не идет ли мой сын Уленшпигель?

— Нет, — ответила Неле, — мы уже больше не увидим этого дрянного бродягу.

— Не сердись на него, Неле, — сказала Сооткин, — а пожалей его: он ведь скитается где-то без приюта, бедный мальчик.

— Наверное, приютился где-нибудь в доме побогаче родного, у какой-нибудь пригожей барыньки.

— Я порадовалась бы за него, — сказала Сооткин, — может быть, сидит и ест жареных дроздов.

— Камнями накормить бы его, обжору, тогда бы вернулся домой! — закричала Неле.

Сооткин расхохоталась:

— Откуда такая ярость, дитя мое?

Клаас, в раздумье связывавший хворост, отозвался из угла:

— Не видишь разве, что она по уши влюблена в него?

— Полюбуйтесь на хитрую девчонку! — закричала Сооткин. — Ни звуком не выдала! Скажи, милая, это правда, что он тебе по душе?

— Пустяки, — ответила Неле.

— Хорошего мужа получишь ты, — заметил Клаас, — с широкой пастью, пустым брюхом и длинным языком; мастер из флорина делать гроши; в жизни ни единого лиара не заработал честным трудом. Вечно шатается по дорогам, точно бродяга.

Но Неле вдруг покраснелась и сердито возразила:

— А почему вы ничего лучшего из него не сделали?

— Видишь, до слез довел девочку, — сказала Сооткин, — молчи уж, муженек.

Добравшись до Нюрнберга, Уленшпигель выдал себя здесь за великого врача, целителя всех немощей, знаменитого очистителя желудка, не менее известного укроти-

теля лихорадки, прославленного освободителя от чумы и непревзойденного победителя чесотки.

В больнице лежало столько больных, что уж не знали, куда их девать. Услышав о прибытии Уленшпигеля, к нему прибежал смотритель больницы узнать, правду ли говорят о нем, что он излечивает от всех болезней.

— От всех, кроме самой последней, — ответил Уленшпигель. — Но обещайте мне двести флоринов за излечение всех прочих болезней, — и я не возьму с вас ни гроша, пока все ваши больные не заявят, что они совершенно здоровы и уходят из больницы.

На следующий день с важным, ученым видом и уверенным взглядом он явился в больницу. Войдя в палаты и обходя больных, он наклонялся к каждому и говорил ему на ухо:

— Поклянись, что не расскажешь никому, что услышишь от меня. Чем ты болен?

Больной отвечал ему и клялся не выдавать.

— Дело вот в чем, — говорил Уленшпигель, — я должен одного из вас сжечь, из пепла его сделать чудодейственное лекарство и дать всем остальным. Сожжен будет тот, кто не сможет выйти сам из больницы. Завтра я приеду со смотрителем, стану на улице перед больницей и крикну всем вам: «Кто не болен, забирай пожитки и выходи на улицу!»

На другое утро Уленшпигель так и сделал.

Все больные — хромые, ревматики, чахоточные, горячечные — разом ринулись на улицу, даже те, которые уж десять лет не покидали постели.

Смотритель спросил их, верно ли, что они здоровы и могут бегать.

— Да, да! — кричали они, в уверенности, что кто-нибудь остался и что его уже жгут на дворе.

— Плати, — сказал Уленшпигель, — вот они все на улице и объявляют себя здоровыми.

И, получив двести флоринов, он поспешил обратиться.

Но на другой день больные, еще в худшем состоянии, стали возвращаться в больницу, — кроме одного, который от чистого воздуха выздоровел. Этот напился и бегал пьяный по улицам с криком: «Да здравствует великий доктор Уленшпигель!»

К тому времени как эти двести флоринов разбежались во все стороны, Уленшпигель добрался до Вены, где поступил к каретнику, который постоянно бранил своих рабочих, так как они плохо управлялись с кузнечным мехом.

— Поспевай, поспевай! — кричал он то и дело. — Догоняй с мехами! Догоняй, догоняй!

Однажды, когда хозяин был в саду, Уленшпигель снял один мех, взвалил его на плечи и стал носить вслед за хозяином. Тот удивился, увидав его с этой необычайной ношей, но Уленшпигель объяснил ему:

— Вы же мне приказали, хозяин, догонять вас с мехом. Прикажете положить этот и пойти за другим?

— Нет, любезный, не так я тебе сказал; пойди и поставь мех на место.

Чтобы отомстить за эту насмешку, хозяин стал подыматься в полночь и будить подмастерьев на работу.

— Чего ты нас будишь среди ночи, хозяин? — спрашивали подмастерья.

— Такая уж у меня привычка: первую неделю мои рабочие должны проводить в постели лишь половину ночи.

В следующую ночь каретник опять разбудил своих рабочих в полночь.

Когда хозяин собирался идти будить Уленшпигеля, который спал на чердаке, тот взвалил себе тюфяк на плечи и явился в кузницу.

— Ты с ума сошел! — закричал хозяин. — Зачем ты тащишь постель с собой?

— Такая уж у меня привычка, — отвечал Уленшпигель, — первую неделю я сплю на постели, вторую — под постелью.

— Хорошо, — сказал хозяин, — только у меня есть еще одна привычка: наглых работников я выбрасываю за дверь, разрешая первую неделю спать на земле, а вторую — под землей.

— Чудесно, хозяин, — сказал Уленшпигель, — значит, в твоём погребе, подле пивных бочек?

Покинув каретника и возвращаясь во Фландрию, он поступил в учение к сапожнику, который охотнее торчал на улице, чем орудовал шилом в своей мастерской. Видя, как он уже в который раз собирается из дому, Уленшпигель спросил его, как кроить башмачные передки.

— Кроить для больших и малых ног, — ответил хозяин, — чтобы обувь годилась на всякого, за кем идет крупный и мелкий скот.

— Хорошо, хозяин, — сказал Уленшпигель.

Когда сапожник вышел, Уленшпигель выкроил обувь, пригодную разве для кобыл, ослиц, телок, свиней и овец.

Возвратившись в мастерскую, хозяин увидел кожу, изрезанную на мелкие куски.

— Что ты наделал, пачкун негодный? — закричал он.

— То, что вы приказали, — ответил Уленшпигель.

— Я приказал тебе выкроить башмаки, которые были бы пригодны для всех, за кем ходит скот — быки, свиньи, бараны, а ты сделал обувь по ногам скота.

— Хозяин, — сказал Уленшпигель, — за кем же ходит боров, как не за свиньей, в то время года, когда вся скотина влюблена: осел — за ослицей, бык — за телкой, баран — за овцой; разве не так?

И он ушел и остался без приюта.

Наступил апрель. Вначале стояла мягкая погода, потом ударил мороз, и небо было пасмурно, как в поминальный день. Давно уже кончился третий год изгнания Уленшпигеля, и Неле со дня на день ждала своего друга.

— Ах, — говорила она, — погубят заморозки и цветущую грушу, и жасмин, и все бедные растения, которые, доверившись теплу преждевременной весны, распустили свои цветочки. Уж падают снежинки на дорогу; снегом засыпано и мое сердце. Где ясные лучи светлого солнышка, озарявшие веселые лица, игравшие на красных крышах, от чего они делались еще краснее, а оконные стекла еще ослепительнее? Где они, согревавшие небо и землю, птичек и жучков? Ах, знобит меня днем и ночью от тоски и ожидания. Где ты, друг мой Уленшпигель?

А Уленшпигель, голодный и холодный, добрался уже до Ренэ во Фландрии; но он не унывал, а старался шутками и прибаутками раздобыть себе пропитание. Однако это плохо удавалось ему, и люди шли мимо и не давали ему ничего.

Было холодно; то снег, то дождь, то град падали на спину путника. Шел он по деревне, — слюнки текли у него изо рта, когда он видел где-нибудь в углу собаку, грызущую кость. Он охотно заработал бы флорин, но не знал, как устроить, чтобы флорины попадали в его кошелек.

Невольно он поглядывал навверх: голуби, сидя на крыше голубятни, роняли вниз белые кружочки, но это были не флорины. Он искал на земле, но флорины не растут на мостовой.

Поискав направо, он увидел преподлую тучу, которая неслась по небу, точно громадная лейка, но он знал, что если что и польется из этой тучи, то это никак не будет дождь флоринов. Поискав налево, он увидел здорового лентяя — никому не нужный дикий каштан, стоящий без дела.

— Эх, — сказал Уленшпигель, — почему это есть каштановые деревья и нет флориновых? Приятные были бы деревца!..

Вдруг разверзлась громадная туча, и из нее посыпался на спину Уленшпигеля град, твердый, как камень.

— Увы, — сказал он, — знаю, что камнями швыряют только в бездомных собак. — И, бросившись бежать, он говорил с собою на бегу: — Не моя вина, что у меня нет ни двора, ни даже шалаша, чтобы приютить мое тощее тело. О злые градины — они тверды, как ядра. Не моя вина, что я влачу по миру мое рубище. Зачем я не император! Эти градины врываются в мои уши насильно, точно злые слова! — И он бежал дальше. — Несчастный мой нос, — приговаривал он, — вот сейчас ты будешь как решето и можешь служить перечницей на пиршествах сильных мира сего, куда не попадает град. — И, потрогав свои щеки, он говорил: — Они пригодились бы в качестве шумовок поварам, которым жарко стоять у очагов. О далекие воспоминания о былых соусах! Я голоден. Не жалуйся, пустое брюхо; не урчите, тоскующие

кишки. Где ты скрываешься, добрая судьба? Веди меня к своему пастбищу.

Понемногу во время этих рассуждений небо прояснилось, солнце засверкало, град прекратился, и Уленшпигель сказал:

— Здравствуй, солнце, мой единственный друг. Ты появилось, чтоб меня высушить?

Но холод гнал путника, и он стремительно бежал вперед. Вдруг он увидел, что по дороге громадными прыжками мчится прямо на него собака, белая с черными пятнами, высунув язык; глаза ее были страшно выпучены.

«Наверное, бешеная», — подумал Уленшпигель, схватил с дороги здоровенный камень и полез на дерево; едва он добрался до первой ветки, как собака была уже внизу. Он швырнул камень и раскроил ей череп. Она остановилась, жалобно заскулила и судорожно попыталась прыгнуть на дерево, чтоб укусить Уленшпигеля, но не смогла, упала и издохла.

Это не обрадовало Уленшпигеля, тем более что, спустившись с дерева, он увидел, что у собаки морда совсем не сухая, как это всегда бывает у бешеных собак.

Ее шкурка понравилась ему, и он решил, что ее можно продать. Ободрав собаку, он вымыл шкуру, высушил на солнце, повесив на верхний конец своего посоха, потом уложил ее в свой мешок.

Голод и жажда мучили его. Он проходил мимо крестьянских дворов, но боялся предложить там купить шкуру: собака могла ведь быть собственностью этого самого крестьянина. Он просил хлеба, но безуспешно. Настала ночь. Едва держась на ногах от усталости, он зашел в маленькую харчевню; старуха хозяйка сидела, поглаживая старую собаку, непрестанно кашлявшую и очень похожую на убитую Уленшпигелем.

— Откуда идешь, путник? — спросила старуха.

— Из Рима, — ответил Уленшпигель, — я вылечил там папскую собаку от простуды, которая ее очень мучила.

— Ты, значит, видел святого отца? — спросила она и налила ему кружку пива.

— О, — ответил Уленшпигель, выпивая, — он позволил мне только приложиться к его благословенной ноге в священной туфле.

Между тем старая собака все кашляла, но не харкала.

— Когда это было? — спросила старуха.

— В прошлом месяце. Меня ждали; я подошел к двери и постучался. «Кто там?» — спросил архикардинал, чрезвычайный архисекретарь, тайный камергер его святейшего святейшества. «Это я, ваше высокопреосвященство, — ответил я, — я спешно прибыл из Фландрии, чтобы приложиться к папской ноге и вылечить папскую собачку от простуды». — «А, это ты, Уленшпигель! — закричал папа из-за маленькой боковой двери. — Я был бы очень рад повидать тебя, но никак невозможно. Мне, видишь ли, воспрещено священными декреталями показывать посторонним мое лицо, когда его обрабатывает священная бритва». — «О, какое несчастье! — ответил я. — Я ведь прибыл из такой дали, чтобы приложиться к ноге вашего святейшества и вылечить вашу собачку. Неужто мне так и возвращаться, ничего не свершив?» — «Нет», — ответил святой отец. И я услышал его зов: «Эй, архикамергер, придвинь мое кресло к двери и открой внизу створку!» Дверца распахнулась, и я увидел в отверстии ногу в золотой туфле и услышал голос, подобный грохоту грома: «Вот всемогущая нога царя царей, короля королей, императора императоров. Целуй ее, христианин, целуй священную туфлю!» И я приложился к священной туфле, и в мой нос проникло небесное благоухание, струившееся от этой ноги. Затем дверца захлопнулась, и тот же громовой голос приказал мне ждать. Когда снова распахнулась дверца, оттуда вылезла, с позволения сказать, скотина: паршивый, раздутый, как бурдюк, хрипящий пес с гнойными глазами; его распухшее брюхо позволяло ему тащиться, только широко расставив кривые ноги.

Тогда вновь изволил заговорить со мной святой отец: «Уленшпигель, — сказал он, — вот моя собачка. Она страдает кашлем и иными хворостями оттого, что грызла перебитые кости еретиков. Излечи ее, сын мой, ты не пожалеешь об этом».

— Пей же, — прервала его старуха.

— Налей, — ответил Уленшпигель и продолжал рассказ: — Я дал собачке чудодейственное слабительное моего приготовления. Три дня и три ночи ее несло без остановки, и она выздоровела.

— Иисус и Мария! — воскликнула старуха. — Дай я поцелую тебя, доблестный богомолец, лицезревший святого отца. И мою собаку ты тоже сможешь вылечить?

Но поцелуй старухи мало соблазняли Уленшпигеля.

— Кто коснулся устами святой туфли, два года не смеет дотрагиваться ими до женщины. Дай мне несколько добрых кусков жареного мяса, пару колбас и пива — и голос твоей собаки очистится так, что она будет петь в мажоре «Богородицу» на амвоне собора.

— О, если бы ты сдержал обещание, — ныла старуха, — ты получил бы от меня флорин.

— Конечно, сдержу, только после ужина.

Она подала все, что он потребовал. Он наелся и напился вдосталь, исполнившись при этом такой благодарности, что даже поцеловал бы старуху, если бы не наплел ей раньше о папском запрещении.

Во время еды к нему подошла старухина собака и положила ему лапы на колени, прося косточку. Он дал ей несколько костей и спросил хозяйку:

— Если бы кто у тебя наелся и не заплатил, что бы ты с ним сделала?

— Отобрала бы у такого прохвоста его лучшее платье.

— Хорошо, — ответил Уленшпигель и, взяв собаку подмышку, вышел с ней в сарай. Здесь он запер ее, дал ей косточку и, вынув из своего мешка шкуру убитой собаки, вернулся к старухе.

— Значит, кто не заплатит, с того его лучшее платье долой? — спросил он.

— Разумеется.

— Отлично. Твоя собака ела у меня и не заплатила. Вот я по-твоему и сделал, — содрал с нее ее лучшее и единственное платье.

И он показал ей шкурку.

— Ой, — завывала старуха. — Какой ты жестокий, господин доктор! Бедная собачка! Для меня, старой вдовы, это не собачка была, а дитя родное! Зачем лишил ты меня моего единственного на свете друга! Теперь мне один путь — в могилу.

— Я воскрешу ее, — ответил Уленшпигель.

— Воскресишь? И она будет опять ласкаться ко мне, и смотреть, и бегать, и вертеть, глядя на меня, своим бедным, стареньким, облезлым хвостиком? Спасите ее, господин доктор, и сколько бы вы ни наели, все будет бесплатно, да еще уплачу вам флорин.

— Я воскрешу ее. Но мне нужна горячая вода, патока, чтобы замазать швы, иголка, нитки и подлива от жаркого. И я должен остаться один.

Старуха подала все, что он потребовал. Он взял шкуру и вышел в сарай.

Здесь он помазал морду запертой собаке мясной подливой, что та приняла с большим удовольствием, потом провел по ее брюху полосу патокой, лапы тоже смазал патокой, а хвост подливой.

Затем он трижды громко возгласил: «*Staet op! staet op! i'kt bevel vuilen hond!*» \*

Быстро спрятав шкуру убитой собаки в мешок, он ударом ноги вышвырнул живую из сарая прямо в корчму.

Собака виляла хвостом и вертелась вокруг старухи, которая, увидев ее живой, бросилась было ее целовать, но Уленшпигель не позволил.

— Не ласкай свою собачку, прежде чем она слижет языком всю патоку, которою обмазана; тогда швы на коже заживут, так что не будут заметны. А теперь плати десять флоринов.

— Я говорила об одном, — возразила старуха.

— Флорин за операцию и девять за воскрешение, — сказал Уленшпигель.

И, получив плату, он удалился, бросив на прощанье среди корчмы собачью шкуру, со словами:

— Вот тебе, хозяйка, старая шкура: можешь ею заплататать новую, если прорвется.

## LXVII

В это воскресенье в Брюгге был крестный ход в честь праздника крови господней. Клаас предложил жене и Неле пойти посмотреть: может быть, встретят Уленшпигеля. Сам он останется стеречь дом и будет ждать, не вернется ли их богомолец.

Женщины ушли. Клаас, оставшись один в Дамме, уселся на пороге. Городок точно вымер. Не слышно было ничего, кроме звонких ударов деревенского колокола, да из Брюгге временами доносились отдельные звуки соборного перезвона, громовых залпов из фальконетов, шипения потешных огней.

\* «Встань, встань! слушай приказ, собака, оживи!» (флам).

В раздумье Клаас искал глазами сына, но перед ним не было ничего, кроме синего безоблачного небосклона, нескольких собак, лежащих с высунутым языком на припеке, воробьев, с чириканьем купающихся в песке, подкрадывающегося к ним кота и лучей солнца, ласково заглядывающих в окна домов и сверкающих на медных кастрюлях и оловянных кружках.

Но среди всего этого ликования Клаас оставался печален и, ожидая сына, все старался разглядеть его в сизой дымке лугового тумана или услышать его голос в веселом шелесте листьев и радостном пении птиц. Вдруг на дороге из Малдегема выросла высокая фигура человека; но это, очевидно, был не Уленшпигель. Человек шел по краю поля и, выдергивая морковь, жадно ел ее.

«Здорово проголодался», — подумал Клаас.

На мгновение он потерял его из виду. Потом он снова увидел его на углу Цап्लीной улицы — и тогда узнал того посланца его брата Иоста, который привез ему восемьсот червонцев. Бросившись к нему навстречу, он приветствовал его словами:

— Добро пожаловать.

— Благословенны принимающие бесприютных путников, — ответил тот.

Снаружи на подоконнике рассыпаны были крошки хлеба, которые Сооткин бросала птицам. Зимой они прилетали сюда в поисках корма. Человек подобрал несколько крошек и жадно жевал их.

— Ты голоден? — спросил Клаас.

— Неделю тому назад меня обобрали грабители, — ответил тот, — с тех пор я питаюсь морковью с полей да корешками в лесу.

— Самое время, стало быть, подкрепиться. Вот, — Клаас открыл шкаф, — вот миска гороха, яйца, колбаса, ветчина, гентские сосиски, холодная рыба. В погребе внизу дремлет лувенское вино, красное и светлое, как рубин, — оно по вкусу вроде бургонского, — ждет только, чтобы стаканы наполнить. Затем — полено в печь, — слышишь, как шипит колбаса на сковородке? Это песнь доброй закуски!

Клаас хлопотал, переворачивая колбасу и расспрашивая:

— А сына моего Уленшпигеля ты нигде не встречал?

— Нет, — отвечал тот.

— А что ты знаешь о брате моем Иосте?

И Клаас поставил на стол яичницу с жирной ветчиной, жареную колбасу, сыр, большие рюмки и красное лувенское вино, сверкавшее в бутылке.

И он услышал в ответ:

— Твоего брата четвертовали в Зиппенакене под Ахеном за то, что он, как еретик, воевал с императором.

Клаас почти потерял сознание. Дрожая всем телом от гнева, он повторял только:

— О проклятые палачи! Ах, Иост, бедный мой брат!

Но тот сурово заявил:

— Наши радости и горести не от мира сего, — и принялся за еду. Затем он продолжал:

— Я был у твоего брата в темнице, куда пробрался, выдав себя за крестьянина из Нисвейлера, его родича. Я пришел сюда потому, что он повелел мне: «Если ты не умрешь, подобно мне, за правую веру, пойдешь к брату моему Клаасу; прикажи ему жить в мире господнем, отдаться делам благотворения, втайне учить сына вере Христовой. Деньги, полученные им от меня, отобраны у бедного, невежественного народа; пусть употребит их на то, чтобы взрастить Тиля в познании господина и слова его».

При этих словах посланец облобызал Клааса. А Клаас со стоном повторял:

— Умер на колесе! Бедный мой брат!

И он не мог прийти в себя от душевной боли. Однако, видя, что гость хочет пить, он налил ему вина. Но сам он ел и пил без удовольствия.

Сооткин и Неле пробыли в Брюгге целую неделю. Все это время посланный Иоста прожил у Клааса.

По ночам раздавались по всему дому вопли Катлины:

— Огонь, огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!

И Клаас шел к ней, успокаивал ее ласковыми словами и возвращался в свой домик.

К вечеру седьмого дня гость ушел и не хотел взять от Клааса больше двух червонцев на еду и приют в дороге.

## LXVIII

Неле и Сооткин возвратились из Брюгге. Как-то утром Клаас, усевшись в кухне на полу, как сидят портные, пришивал пуговицы к старым штанам. Подле него Неле

науськивала Титуса на аиста. Титус Бибулус Шнуффиус бешено лаял, прыгал к птице и отскакивал обратно. Аист, стоя на одной ноге, сосредоточенно и важно смотрел на собаку и, изогнув длинную шею, чистил клювом перышки на животе. В ответ на это миролюбие Титус Бибулус лаял еще бешенее. Но вдруг эта музыка, как видно, надоела птице, и она, точно стрела, впилась клювом в спину собаки, которая обратилась в бегство с визгом «спасите!».

Клаас хохотал, Неле за ним, только Сооткин не отрывала глаз от улицы, — не покажется ли где Уленшпигель.

Вдруг она сказала:

— Идет профос с четырьмя стражниками. Не к нам, конечно... Двое стали у нашего дома.

Клаас поднял голову.

— А двое обходят наш дом.

Клаас встал.

— Кого это они могут подстерегать на нашей улице?.. Господи Иисусе! Клаас, они идут к нам!

Клаас выскочил из кухни в сад, Неле за ним. Он успел шепнуть ей:

— Спрячь червонцы, они за печной вьюшкой.

Неле поняла. Но, увидев, как он прыгнул через забор, и как стражники схватили его за шиворот, и как он отбивался, она закричала:

— Он невиновен, он невиновен! Не обижайте моего отца, не бейте Клааса. Уленшпигель, где ты? Ты бы убил их!

И она бросилась на одного из стражников и вцепилась ему ногтями в лицо. Затем с криком: «Они убьют его!» — она бросилась на траву и стала кататься по ней, точно безумная.

На шум прибежала Катлина; выпрямившись, точно окаменелая, она смотрела на то, что делалось перед ней, потом затрясла головой, твердя:

— Огонь, огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!

Сооткин была в доме и ничего этого не видела, она обратилась к двум другим стражникам, вошедшим в дом.

— Что вы, господа, ищете в нашей бедной избенке? Моего сына? Он далеко! Не догоните, ноги у вас короткие.

И она была довольна, что так отделала их.

В это мгновение донесся до нее крик Неле. Бросившись в сад, Сооткин увидела, как муж ее, схваченный стражниками, отбивается от них у забора.

— Бей их! — кричала она. — Бей! Уленшпигель, где ты?

И она рванулась мужу на помощь. Но один из стражников, схватив ее, держал крепко, не без опасности для себя.

Клаас дрался и отбивался так успешно, что вырвался бы из рук стражников, если бы на помощь к ним не прибежали те, которые были у Сооткин в доме.

Со связанными руками привели они Клааса обратно в кухню, где Сооткин и Неле заливались слезами.

— Господин профос, — говорила Сооткин, — что же сделал мой бедный муж, что вы его так вяжете веревками?

— Он еретик, — отвечал один из стражников.

— Еретик! — вскричала Сооткин. — Ты еретик? Врет этот дьявол.

— Милость господня да будет со мной, — отвечал Клаас.

Они вышли. Неле и Сооткин с плачем шли следом, думая, что их поведут к судье. Собрались соседи и друзья. Узнав, что Клааса ведут связанным потому, что он заподозрен в ереси, они все страшно перепугались и, разбежавшись по домам, крепко заперли за собой все двери. Лишь несколько девочек набрались храбрости, чтобы приблизиться к Клаасу и спросить его:

— Угольщик, куда ты идешь связанный?

— Милости господней предаю себя, детки, — отвечал Клаас.

Его отвели в общинную тюрьму. Сооткин и Неле сели на ее пороге. Но к вечеру Сооткин просила Неле пойти и посмотреть дома, не вернулся ли Уленшпигель.

## LXIX

И вскоре по всем окрестным деревням разнеслась весть, что в Дамме бросили в тюрьму человека за ересь и что следствие ведет инквизитор Тительман, каноник города Ренэ, прозванный «Неумолимым». В это время Уленшпигель проживал в Коолькерке у одной пригожей фер-

мерши, вдовы, которая не отказывала ему ни в чем из того, что могла назвать своим достоянием. В ласке, довольстве и баловстве жил он так, пока гнусный соперник, общинный старшина, выследив его как-то утром, когда он возвращался из трактира, не набросился на него с дубиной. Чтобы охладить его ярость, Уленшпигель сшиб его в лужу, откуда старшина выбрался с большим трудом, зеленый, как жаба, и мокрый, как губка.

За это дело Уленшпигель должен был покинуть Коолькерке и из страха перед местью старшины со стремительной быстротой бежал по направлению к Дамме.

Спускался свежий вечер. Уленшпигель бежал быстро: ему хотелось уже быть дома. Он представлял себе, как сидит и шьет Неле, Сооткин готовит ужин, Клаас связывает дрова, Титус грызет кость, аист же бьет клювом хозяйку по животу, чтобы получить кусочек мякиша.

— Куда спешишь? — спросил его встречный разносчик.

— Домой, в Дамме.

— В Дамме небезопасно, — заметил пешеход, — там хватают реформатов.

И пошел дальше. Дойдя по дороге до трактира «Roode Schildt» — «Красный щит», Уленшпигель зашел выпить кружку пива.

— Не Клаасов ли ты сын? — спросил трактирщик.

— Да.

— Так спеши домой: с отцом беда стряслась.

Уленшпигель спросил было, в чем дело, но трактирщик ответил, что когда бы он ни узнал, все будет слишком поздно.

И Уленшпигель побежал дальше.

Вот он уже в городе, и собаки, лежавшие у дверей, бросились на него, лая и хватая его за ноги. Женщины выбежали на шум и, крича все зараз, говорили:

— Откуда ты теперь? Что с отцом? Где твоя мать? Она тоже в тюрьме? Ох, хоть бы дело не дошло до костра!

Уленшпигель бежал еще быстрее.

И он увидел Неле, которая встретила его словами:

— Тиль, не ходи домой. Там именем его величества стража устроила засаду.

Тут Уленшпигель остановился и спросил:

— Неле, это правда, что отец в тюрьме?

— Да, правда, и Сооткин плачет, сидя на ее пороге. Тут переполнилось скорбью сердце блудного сына, и он только сказал:

— Я пойду к ним.

— Нет, не делай этого; слушайся отца, который сказал мне, когда его схватили: «Спаси червонцы, они за печной вьюшкой». Вот ты и спаси их, потому что они — наследство матери, бедной Сооткин.

Но Уленшпигель не слушал ее и бросился к тюрьме, на пороге которой сидела Сооткин. С рыданиями обняла она его, и так они плакали вместе.

Народ собрался вокруг них и стоял у тюрьмы. Тогда явились стражники и приказали Уленшпигелю и Сооткин сейчас же убраться отсюда.

Мать с сыном пошли к дому Неле, который был рядом с их домом. Пред домом Клааса был поставлен один из ландскнехтов, которых вызвали из Брюгге, опасаясь беспорядков во время суда и расправы, ибо жители Дамме очень любили Клааса.

Ландскнехт сидел на крыльце и тянул из бутылки водку. Высосав все до дна, он швырнул фляжку, вытащил палаш и ради развлечения стал ковырять им мостовую.

Сооткин, плача, вошла к Катлине.

Катлина кивнула головой и сказала:

— Огонь, огонь! Пробейте дыру, душа хочет наружу.

## LXX

Колокол, носящий имя *borgstorm* (городская буря), звал судей на заседание трибунала. Они собирались в Фирсхаро, в четыре часа, под сенью липы правосудия.

Ввели Клааса, и он увидел перед собой под балдахинном коменданта города Дамме, а по бокам его и напротив — бургомистра, старшин и судебного писаря.

На звук колокола сбежался толпами народ. Многие говорили:

— Не для того собрались здесь судьи, чтобы творить правосудие, но чтобы выслужиться перед императором.

Писарь объявил, что суд, собравшийся под липой, в предварительном заседании постановил: ввиду и вследствие донесений и свидетельств о Клаасе, угольщике, родившемся в Дамме, муже Сооткин, урожденной

Иостенс, взять его под следствие и подвергнуть личному задержанию. Теперь, прибавил он, суд приступает к слушанию свидетельских показаний.

Первым давал показания цирюльник Ганс, сосед Клааса. После принесения присяги он заявил:

— Спасением моей души клянусь и заверяю, что Клаас, стоящий здесь перед судом, известен мне около семнадцати лет, что жил он как честный человек, по законам матери нашей святой католической церкви, что никогда не говорил о ней оскорбительно, не давал, сколько мне известно, приюта еретикам, не прятал у себя Лютеровых книг и не говорил о таковых и не совершал ничего, что позволяло бы подозревать, что он нарушает законы государства и постановления властей. И да помилует меня господь бог и все святые.

Затем предстал перед судом Ян ван Роозебеке, показавший, что во время отсутствия Сооткин, жены Клааса, он не раз слышал доносящиеся из дома обвиняемого два мужских голоса, что не раз после вечерни он видел на чердаке, в каморке под самой крышей, свет; два человека, из коих один был Клаас, беседовали между собой. Был ли другой еретиком или нет, он не знает, так как смотрел на все это издали. — Что касается Клааса, — прибавил он, — то следует по совести заверить, что он постился, как должно, по большим праздникам причащался святых тайн, а по воскресеньям бывал у обедни, за исключением, однако, дня святой крови господней и следующих за ним дней. Больше ничего не имею сказать. Да помилует меня господь бог и все святые.

Спрошенный, не присутствовал ли он в трактире «Синья башня» при том, как Клаас распродал там индульгенцию, издеваясь над чистилищем, Ян ван Роозебеке ответил, что Клаас действительно продавал свое отпущение грехов, но не выражал при этом пренебрежения или насмешки, и что он, Ян ван Роозебеке, купил кусочек индульгенции, хотел купить также и Иост ван Грейпстювер, старшина рыбаков, вон там стоящий в толпе.

Вслед за тем председатель суда сообщил, что теперь он объявит те проступки и действия Клааса, за которые он предан суду.

— Обвинитель, донесший все суду, — сказал он, — остался случайно в Дамме, так как не хотел расточать свои деньги на попойки и беспутства в Брюгге, что часто

бывает во время церковных торжеств. Трезвый, он сидел у дверей своего дома и дышал свежим воздухом. Вот тут-то он и увидел человека, который шел по направлению к жилищу Клааса; Клаас также заметил этого человека, пошел к нему навстречу и поздоровался с ним. Человек был в черной одежде; он вошел в дом Клааса, и дверь осталась полуоткрытой. Любопытствуя узнать, что это за человек, обвинитель прокрался в прихожую и подслушал там, что Клаас говорил в кухне с пришельцем: они разговаривали о некоем Иосте, брате Клааса, который был захвачен в плен в протестантских войсках и за это был четвертован под Ахеном. Посетитель говорил Клаасу, что деньги, полученные им, отобраны у бедного, невежественного народа и потому должны пойти на воспитание его сына в реформатской вере. Он уговаривал также Клааса покинуть лоно нашей матери, святой католической церкви, и произносил при этом другие безбожные слова, на что Клаас отвечал только: «О жестокие палачи! Бедный мой брат!» Таким образом, обвиняемый поносил святого отца нашего, папу, и его королевское величество, называя их жестокосердными, ибо ведь они по праву карали ересь как оскорбление величества божеского и человеческого. Когда посетитель поел, обвинитель слышал, как Клаас сказал: «Бедный Иост, упокоенный ныне на лоне господнем, как жестоко они поступили с тобой!» Таким образом, он обвинил самого господа бога в безбожии, выразив, что господь бог приемлет в лоно свое еретиков. И Клаас все твердил: «Бедный мой брат!» Тогда посетитель, разъярясь, возглашал и проповедовал, как подлинный ересиарх: «Рухнет великий Вавилон, римская блудница, и станет обиталищем всех дьяволов и пристанищем всякой нечисти». Клаас говорил: «Жестокие палачи! Бедный мой брат!» А посетитель продолжал: «Ибо ангел возьмет камень величиной с жернов, и бросит его в море, и скажет: так будет низвергнут Вавилон и сотрутся следы его!» — «Ах, господин, — сказал Клаас, — уста ваши исполнены гнева; но скажите мне, когда же воцарится такая власть, при которой будут спокойно жить на земле мирные люди?» — «Никогда, — ответил посетитель, — пока длится царствие антихриста, он же папа римский и враг истины». — «Ах, — сказал Клаас, — вы говорите неуважительно о нашем святом отце. Он, наверное, ничего не знает о бесчеловечных наказаниях,

коим подвергают бедных реформатов». Посетитель ответил: «Он знает обо всем очень хорошо, ибо он изрекает приговоры, а император — а теперь король — приказывает их исполнить, получая при этом выгоду от конфискации, наследуя имущество казненных, — и оттого так охотно преследует богатых за ересь». Клаас ответил: «Так рассказывают во Фландрии, и приходится верить; плоть человеческая слаба, даже если это плоть королевская. Ах, бедный мой Иост!» Таким образом, Клаас выразил, что его величество преследует еретиков из гнусного сребролюбия. Посетитель собирался еще разглагольствовать, но Клаас заметил: «Пожалуйста, господин, не держите при мне таких речей, ибо, если их кто-либо услышит, это навлечет на меня беду».

Затем Клаас поднялся и пошел в погреб, откуда вернулся с кружкой пива. «Запру дверь», — сказал он. И дальше обвинитель уже ничего не слышал, так как ему пришлось выскочить из дома. Когда спустилась ночь, дверь опять была отперта. Посетитель вышел, но вскоре, однако, вернулся, постучался и сказал: «Клаас, мне холодно, я не знаю, где переночевать, приюти меня. Никто не видит, что я вошел к тебе; город точно вымер». Клаас впустил его, зажег фонарь, и видно было, как он ведет еретика по лестнице на чердак в клетушку, окно которой выходит на поле.

— Кто мог обо всем так донести? — вскрикнул Клаас. — Это, конечно, ты, негодяй рыбник; я видел, как ты в воскресенье столбом стоял перед своим домом и притворялся, что смотришь на полет ласточек.

И Клаас пальцем показал на Иоста Грейпстювера, старшину рыбников, гнусная рожа которого высывалась из толпы.

Рыбник злобно засмеялся, услышав, как Клаас выдал себя, и все люди: мужчины, женщины, девушки, говорили между собой: «Бедняга, эти слова будут стоить ему жизни».

Но писарь продолжал:

— В эту ночь еретик и Клаас долго беседовали друг с другом и также следующие шесть ночей, и видно было во время этих бесед, как посетитель делает какие-то жесты — то угрожающие, то как бы благословляющие. Он воздевал также руки к небесам, как обычно делают еретики, и Клаас, очевидно, одобрял все это. В течение

этих дней, вечеров и ночей они, конечно, поносили святую мессу, исповедь, индульгенции и его королевское величество...

— Никто этого не слышал, — закричал Клаас, — нельзя меня так обвинять без доказательств!

Писарь ответил:

— Слышали другое. На седьмой день, уже в десятом часу, когда совсем стемнело, пришелец покинул твой дом, и ты провожал его до межи поля Катлины; здесь он спросил, — при этом судья перекрестился, — что сделал ты со своими скверными идолами, имея в виду образа божией матери, святого Николая и святого Мартина. Ты ответил, что изрубил их и выбросил в колодец. Там они и были найдены прошлой ночью, и обломки находятся в застенке.

При этих словах Клаас чуть не лишился чувств. Его спросили, может ли он возразить что-нибудь на это, и Клаас отрицательно покачал головой.

Судья спросил его, не отрекается ли он от преступного недомыслия, по коему он уничтожил священные изображения, и не откажется ли от безбожных заблуждений, приведших его к оскорбительным выражениям против его божественного величества и его королевского величества.

Клаас ответил, что тело во власти его королевского величества, но совесть служит Христу, завету которого он следует. Судья спросил, есть ли это завет матери нашей святой римской церкви. Клаас ответил:

— Это завет святого евангелия.

Спрошенный, признает ли он папу наместником господна на земле, он ответил:

— Нет!

Спрошенный, отвергал ли он служение образам пресвятой девы и святых угодников, он ответил, что считает это идолопоклонством. Спрошенный, верит ли он, что в тайной исповеди — благо и спасение, он ответил:

— Христос сказал: «Исповедуйтесь друг перед другом».

И, мужественно давая свои ответы, он казался испуганным и потрясенным до глубины души.

Когда пробило восемь часов и спустился вечер, судьи удалились и отложили произнесение окончательного приговора на завтра.

В домике Катлины, обезумев от скорби, рыдала Сооткин, неустанно твердя только:

— Мой муж! Мой бедный муж!

Уленшпигель и Неле обнимали и утешали ее с бесконечной нежностью. И она прижала их обоих к себе и только тихо всхлипывала.

Потом она знаком приказала им оставить ее одну, и Неле сказала Уленшпигелю:

— Уйдем, если она так хочет; спасем червонцы.

Они вышли, а Катлина пробралась к Сооткин и повторяла:

— Пробейте дыру. Душа рвется наружу.

И Сооткин смотрела на нее неподвижным взглядом, не видя ее. Дома Клааса и Катлины стояли рядом, только дом Клааса отступал немного, и перед ним был палисадник, а перед домом Катлины — засаженный бобами огород, выходящий на улицу. Огород был окружен живой изгородью, в которой Уленшпигель и Неле еще в детстве проделали дыру, чтоб ходить друг к другу.

Войдя в огород, они увидели на крыльце солдата, поставленного для охраны. Его голова тряслась, он плевал в воздух, и плевки падали на его камзол. Перед ним на дороге лежала оплетенная фляжка.

— Неле, — тихо сказал Уленшпигель, — этот воин не до конца утолил свою жажду. Надо завладеть его фляжкой, подпоить его как следует, и тогда мы все устроим.

Услышав их шепот, ландскнехт повернул к ним свою отяжелевшую голову, поискал свою бутылку и, не найдя ее, продолжал плевать, стараясь разглядеть при лунном свете свои плевки.

— Нализался до чертиков, — сказал Уленшпигель, — слышишь, еле отплевывается.

Наплевавшись вдосталь и поглядев вокруг, солдат снова протянул руку к фляжке. Он нашел ее, припал ртом к ее горлышку, откинул голову назад, перелил ее содержимое в глотку, похлопал пальцами по ее доньшуку, чтобы добыть последние капли, и прильнул к ней, как дитя к материнской груди. Не найдя ничего, он примирился с неизбежным, поставил бутылку подле себя, громко выругался по-немецки, снова плюнул, покачал головой и заснул, несвязно бормоча «Отче наш».

Уленшпигель, зная, что этот сон непродолжителен и что надо его углубить, пролез в дыру, взял фляжку и передал Неле, которая наполнила ее водкой.

Солдат все храпел. Уленшпигель вернулся, поставил полную фляжку между его ног, опять скользнул в огород Катлины и стал ждать, стоя с Неле у изгороди, что будет дальше.

Холод вновь наполненной фляжки разбудил солдата, и первое его движение было нащупать, что такое холодит его ноги.

По пьяному вдохновению он решил, что фляжка полна, и взялся за нее. Уленшпигель и Неле видели при лунном свете, как он встряхнул фляжку, чтобы увериться, что в ней что-то есть, как он усмехнулся, удивился, сперва попробовал чуточку, потом хватил большой глоток, отставил фляжку, опять взял ее, потянул из нее еще и еще. Потом он запел старую немецкую песню о море и месяце. Немцы Верхней Германии называют море госпожой Зэ; ее супруг Манн — месяц, владыка и повелитель всех женщин.

И так солдат пел:

Что ни вечер, на свиданье  
К Зэ идет владыка Манн.  
Угощает Зэ супруга,  
Наливает полный кубок...  
К Зэ идет владыка Манн.

С ним за стол она садится,  
В нежных ласках не скупится:  
И накормит и на ложе  
Спать с собой его положит.  
К Зэ идет владыка Манн.

Принимает пусть меня  
Так любезная моя —  
Подает мне вкусный ужин,  
Доброго вина стакан  
К Зэ идет владыка Манн.

Потом, попеременно потягивая из фляжки и напевая, он стал засыпать. И он уже не мог слышать, как Неле проговорила: «Они в горшке за вьюшкой», ни видеть, как Уленшпигель пробрался через сарай в кухню, отодвинул вьюшку, нашел горшок с червонцами, возвратился во двор Катлины и спрятал деньги в стенке колодца, потому что он знал, что искать их будут не во дворе, а в доме.

Потом они вернулись к Сооткин и застали несчастную женщину в слезах и беспрерывно повторяющей:

— Мой муж, мой бедный муж.

И они провели с ней без сна всю ночь до утра.

## LXXII

На следующее утро колокол звонкими ударами созвал судей на заседание суда.

Усевшись на четырех скамьях вокруг «дерева правосудия», они возобновили допрос и допытывались у Клааса, отрывается ли он от своих заблуждений.

Клаас поднял руки к небу и сказал:

— Христос господь мой взирает на меня с высоты. Я узрел свет его, когда сын мой Уленшпигель — где он теперь, скиталец? — родился на свет божий. И ты, Сооткин, кроткая подруга моя, найдешь ли ты силу бороться с горем!

И, взглянув на липу, под сенью которой собирался суд, он сказал, проклиная ее:

— Солнце жаркое и ветер могучий! Лучше бы вы засушили все деревья на земле наших отцов, чем смотреть, как под их сенью кладут на плаху свободу совести. Где ты, сын мой Уленшпигель? Я был суров с тобой. Господа судьи, сжальтесь, судите меня милостиво, как судил бы господь бог наш в своей благости!

И все, слышавшие это, плакали, кроме судей.

Потом он спросил, не будет ли ему прощения:

— Всю жизнь я много работал и мало зарабатывал; я был добр к беднякам и ласков со всеми. Я покинул римскую церковь, повинуюсь голосу благодати господней, воззвавшему ко мне. И об одной милости молю я: заменить сожжение пожизненным изгнанием из Фландрии, ибо и это наказание достаточно тяжело для меня.

— Сжальтесь, господа судьи, — кричал народ, — помилуйте его.

Только Иост Грейпстювер среди всех присутствующих молчал.

Судья знаком приказал всем умолкнуть и заявил, что указы ясно воспрещают просить о помиловании еретиков; если же Клаас согласен отречься от своих заблуждений, то сожжение может быть заменено повешением.

Народ, однако, говорил:

— Костер или веревка — все равно смерть.

И женщины плакали, а мужчины глухо роптали.

Но Клаас сказал:

— Я ни от чего не буду отрекаться. Делайте с моим телом то, что вам подскажет ваше милосердие.

И Тительман, каноник города Ренэ, воскликнул:

— Это невыносимо — видеть, как этакое еретическое ничтожество поднимает голову перед судьями! Сжечь тело — это ведь ничтожное наказание: душу надо спасти, а ее только пыткой можно принудить отречься от заблуждения, дабы народ не стал свидетелем опасного зрелища, как умирают нераскаявшиеся еретики.

При этих словах женщины зарыдали еще громче, а мужчины говорили:

— Раз есть признание, то полагается наказание, но не пытка!

Суд решил, что законы не предусматривают в этом случае пытки и что нет основания подвергать Клааса этому наказанию. Призванный еще раз отречься от заблуждений, он ответил:

— Не могу!

И Клаас, на основании указов, был признан виновным: в симонии — так как он продавал индульгенцию; равным образом в ереси и укрывательстве еретиков; и ввиду этого присужден к сожжению на костре на медленном огне до тех пор, пока не последует смерть. Казнь совершена будет перед входом в ратушу.

Тело его будет в течение двух дней выставлено у позорного столба, служа устрашающим примером, а затем будет погребено там, где всегда хоронят казненных.

Суд присудил доносчику Иосту Грейпстюверу, имя которого, однако, не было названо, пятьдесят флоринов на сто первых флоринов наследства и по десять флоринов на каждую следующую сотню.

Выслушав этот приговор, Клаас обратился к рыбнику:

— Ты умрешь когда-нибудь лютою смертью, злодей, из-за гроша делающий вдову из счастливой жены и бедного сироту из веселого сына.

Судьи не мешали Клаасу говорить, ибо и они все, кроме Тительмана, тоже отнеслись с безмерным презрением к доносу старшины рыбаков.

Тот позеленел от стыда и злобы.

А Клааса отвели обратно в тюрьму.

На следующий день, накануне дня казни Клааса, об этом приговоре узнали Неле, Уленшпигель и Сооткин.

Они просили у судей позволения пройти в тюрьму, и это было им разрешено, кроме Неле. Войдя, они увидели, что Клаас прикован длинной цепью к стене. Так как было сыро, то в печи горел огонек, ибо закон фландрский предписывает обращаться хорошо с присужденными к смерти, доставляя им хлеб, мясо, сыр и вино. Но жадные тюремщики часто нарушали этот закон, и многие из них съедали большую и лучшую долю еды, предназначенной для бедных узников.

Со стенаниями обнял Клаас жену и сына, но он первый пересилил себя, — и глаза его стали сухи, как и пристойно было ему, мужу и главе семьи.

Сооткин рыдала, а Уленшпигель вскрикнул:

— Разобью эти проклятые оковы!

И, все плача, Сооткин сказала:

— Я пойду к королю Филиппу, он помилует тебя.

Но Клаас ответил:

— Король получает наследство после казни мучеников. — И он прибавил: — Любимые жена и сын мой! В муке и тоске я покидаю этот свет. Я не только боюсь страданий тела моего, но еще больше меня удручает сознание, что, когда меня не станет, вы останетесь нищими; король заберет себе все мое добро.

Уленшпигель шепнул отцу:

— Вчера мы с Неле все спрятали.

— Ты успокоил меня, — сказал Клаас, — доносчику не удастся поиздеваться над моим прахом.

— Чтоб он окошел, — сказала Сооткин, и взгляд ее сухих глаз был исполнен ненависти.

Но Клаас все думал о червонцах.

— Молодец, мой мальчик, — сказал он, — значит, не придется на старости лет голодать вдове моей Сооткин.

И Клаас поцеловал ее, крепко прижав к груди, и она залилась слезами при мысли, что вскоре лишится его нежной поддержки.

Обратившись к Уленшпигелю, сказал Клаас:

— Сын мой, ты много грешил, шатаясь, как беспутный мальчишка, по большим дорогам. Больше не делай

этого, мой мальчик, не оставляй дома одну эту сокрушенную горем вдову. Ты — мужчина и должен быть ей опорой и защитой.

— Буду, отец, — ответил Уленшпигель.

— О бедный мой муж, — рыдала Сооткин на его плече, — чем мы так согрешили? Мы жили мирно, скромно, честно, дружно, ты, господи, видишь, мы вставали на рассвете, чтобы трудиться, и вечером ели хлеб наш насущный, вознося тебе благодарность. Я пойду к королю и растерзаю его своими руками. О господи, поистине мы ни в чем не провинились.

Но вошел тюремщик и сказал, что пора уходить.

Сооткин умоляла разрешить ей остаться. Клаас чувствовал, как горит ее лицо, как градом катятся по ее щекам слезы и как дрожит и трепещет ее бедное тело... Клаас тоже просил позволения оставить жену с ним.

Но тюремщик вторично приказал им уйти и вырвал Сооткин из объятий Клааса.

— Береги ее, — сказал Клаас сыну.

Тот обещал; Сооткин с Уленшпигелем вышли, и сын поддерживал мать.

#### LXXIV

Наутро, в день казни, соседи из сострадания заперли Уленшпигеля, Сооткин и Неле в доме Катлины.

Но они не подумали о том, что те могут издали слышать вопли страдальца и в окна видеть пламя костра.

Катлина бродила по городу, качала головой и приговаривала:

— Пробейте дыру! Душа рвется наружу!

В девять часов утра Клаас в одной рубашке, со связанными назад руками, был выведен из тюрьмы. Согласно приговору, костер был сложен на улице Богоматери, у столба, прямо против входа в ратушу. Палач с помощниками еще не кончили укладывать хворост.

Клаас, окруженный стражей, ждал терпеливо, пока они кончат эту работу, а прсфос верхом на коне, стражники и девять вызванных из Брюгге ландскнехтов с трудом удерживали волнующуюся толпу.

Все кричали, что бесчеловечно убивать без вины, на старости лет, такого кроткого, доброго, трудолюбивого и честного человека.

И вдруг все упали на колени и начали молиться: с колокольни собора Богоматери раздался первый удар погребального звона.

Катлина тоже стояла в толпе, в первом ряду, совершенно обезумевшая, смотрела на Клааса и костер и кричала:

— Огонь, огонь! Пробейте дыру!

Услышав колокольный звон, Сооткин и Неле перекрестились, но Уленшпигель объявил, что он больше не станет поклоняться господу, подобно этим палачам. Он метался по дому, пытаясь взломать двери или выскочить из окна, но все было накрепко заперто.

Вдруг Сооткин вскрикнула и закрыла лицо передником:

— Дым!

И действительно, несчастные увидели черное облако дыма, потянувшееся к небу. Дым подымался с костра, на котором стоял Клаас, привязанный к столбу, и который палач поджег с трех сторон во имя бога отца, бога сына и бога духа святого.

Клаас посмотрел вокруг, и когда он не нашел в толпе ни Сооткин, ни Уленшпигеля, у него стало легче на душе при мысли, что они не увидят его страданий.

И слышно было только, как молится Клаас и трещит горящее дерево, как ропщут мужчины и всхлипывают женщины. Катлина кричала:

— Потушите огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу!

И с колокольни собора неся погребальный звон.

Вдруг Сооткин стала белее снега, затряслась всем телом и, уже не плача, пальцем показала на небо. Длинный, тонкий язык пламени вырвался из костра, временами поднимаясь над крышами низких домов. И Клаас страдал невыносимо, ибо этот огненный язык, по прихоти ветерка, то обвивался вокруг его ног, то лизал его дымящуюся бороду, то поджигал волосы на голове.

Уленшпигель крепко обнял свою мать, стараясь оторвать ее от окна. Они слышали пронзительный крик — это кричал Клаас, тело которого горело с одной только стороны. Потом он умолк, и слезы лились из его глаз и залили всю грудь.

Потом Сооткин и Уленшпигель слышали громкий крик толпы. Это горожане, женщины и дети кричали:

— Клаас присужден к сожжению на большом огне, а не на медленном! Палач, раздувай скорей костер!

Палач послушался, но огонь не разгорался.

— Задуши его, — кричали они.

И в профоса полетели камни.

— Огонь, огонь! — вскрикнула Сооткин.

И действительно, большое красное пламя взвилось среди дыма к небу.

— Теперь он умирает, — говорила вдова. — Господи боже, прими эту невинную душу в милосердии твоем... Где король? Я бы ногтями вырвала у него сердце!

С колокольни несся погребальный звон.

Сооткин слышала еще, как громко вскрикнул Клаас, но она не видела, как в страшных муках извивалось его тело, как исказилось его лицо, как билась во все стороны его голова, ударяясь о столб. Возмущенный народ кричал, свистал, женщины и дети бросали камни. Вдруг вспыхнул разом весь костер, и все услышали из-за дыма и пламени голос Клааса:

— Сооткин! Тиль!

И голова его тяжело, точно налитая свинцом, упала на грудь.

Жалобный, пронзительный крик донесся из домика Катлины — и все смолкло; только бедная сумасшедшая качала головой и приговаривала:

— Душа рвется наружу!

Клаас умер. Догоревший костер рассыпался, тлея у подножия столба. Привязанное к столбу за шею тело Клааса обуглилось и скорчилось.

С колокольни собора Богоматери несся погребальный звон.

## LXXV

В доме Катлины, выпрямившись, у стены неподвижно стояла, опустив голову, Сооткин; не говоря ни слова, не плача, она обхватила руками Уленшпигеля.

И он молчал. Он с ужасом чувствовал, каким лихорадочным огнем горит тело матери.

Пришли соседи с казни и рассказали, что Клаас скончался.

— Он отошел к праведникам, — сказала Сооткин.

— Молись! — сказала Неле Уленшпигелю. И она дала ему свои четки, но он отверг их — потому, сказал он, что они освящены папой.

Пришла ночь.

— Мать, — сказал Уленшпигель, — приляг в постель, я буду сидеть подле тебя.

— Незачем тебе сидеть. Молодым людям нужен сон. Неле постлала обоим в кухне и ушла.

Они остались вдвоем; в печи тлели дрова.

Сооткин легла, Уленшпигель тоже, — но он слышал, как она плачет под одеялом.

На дворе в ночном молчании шумели деревья у канала, точно волны морские, и, предвестник осени, порывистый ветер бился в окно.

Уленшпигелю показалось, будто кто-то ходит. Он услышал в кухне звук шагов, посмотрел, но уже никого не было. Он прислушался, но только ветер гудел в трубе, и Сооткин всхлипывала под одеялом.

И снова он услышал подле себя шаги и у самой головы своей вздох.

— Кто здесь? — спросил он.

Ответа не было, но раздалось три удара по столу. Уленшпигель испугался и, дрожа, снова спросил:

— Кто здесь?

Опять никто не ответил, опять послышались удары по столу. И он почувствовал, как две руки обхватывают его и кто-то склоняется над его лицом. Его коснулась обожженная кожа, в груди нагнувшейся фигуры была большая дыра, и от нее сильно несло горелым.

— Отец, — сказал Уленшпигель, — это твое бедное тело коснулось меня?

Ответа не было, и хотя тень стояла подле него, он услышал за окном зов:

— Тиль! Тиль!

Вдруг Сооткин поднялась, подошла к постели Уленшпигеля и спросила:

— Ты не слышишь?

— Слышу, — ответил он, — отец зовет меня.

— Я почувствовала подле себя холодное тело, — сказала Сооткин, — простыни шевелились, полог колыхался, и я слышала голос: «Сооткин». Но голос был тихий, точно вздох, и шаги легкие, точно шелест полета мошки.

И, обратившись к духу Клааса, она сказала:

— Муж мой! Если на небесах, куда вознесся ты теперь на лоно праведников, нужно тебе что-нибудь, скажи нам, чтобы мы могли исполнить твоё желание.

Вдруг бурный порыв ветра распахнул дверь и наполнил комнату пылью. И Уленшпигель и Сооткин услышали: вдали каркали вороны.

Они вышли вместе и пришли к костру.

Ночь была мрачная, облака, гонимые порывистым северным ветром, неслись по небу, как стадо быstroногих оленей, только на мгновение разрешая блеснуть яркой звездой.

У костра ходил стражник. Уленшпигель и Сооткин слышали четкие удары его сапог по затвердевшей земле и крик ворона, который, должно быть, созывал других, и те карканьем отвечали ему.

Когда Уленшпигель и Сооткин подошли к костру, ворон спустился на плечо Клааса; и они слышали стук его клюва о кости трупа. Тут налетело еще воронье.

Уленшпигель бросился было на костер разогнать воронье, но стражник остановил его:

— Эй, колдун, ты ищешь руки казненного. Но ведь руки сожженного не могут сделать тебя невидимкой, — невидимкой делают только руки повешенного, каким и ты будешь когда-нибудь.

— Господин стражник, — ответил Уленшпигель, — я не колдун, а осиротевший сын того, кто там висит на столбе, а эта женщина — его вдова. Мы хотим приложиться к его телу и взять на память частицу его праха. Разрешите нам это. Вы ведь не чужестранный наемник, а сын этой страны.

— Будь по-твоему, — ответил стражник.

Сирота и вдова поднялись по обугленным поленьям к трупу и, рыдая, целовали лицо Клааса.

И там, где на месте сердца пламя выжгло большую дыру, сын взял немножко пепла. Потом, став на колени, они молились. Когда бледная заря рассвета показалась на небе, они были еще у костра; но теперь стражник прогнал их, боясь, как бы ему не досталось за его снисходительность.

Дома Сооткин взяла кусочек черного и кусочек красного шелка, сшила мешочек и всыпала в него пепел. К мешочку пришила она две ленточки, чтобы Уленшпигель

мог носить его на шее. И, надевая его сыну, Сооткин сказала:

— Пусть этот пепел, который был сердцем моего мужа, в красном, подобно его крови, и в черном, подобно нашей скорби, будет вечно на твоей груди, как пламя мести его палачам.

— Да будет так, — сказал Уленшпигель.

И вдова поцеловала сироту, и взошло солнце.

## LXXVI

На другой день общинные стражники и глашатаи явились в дом Клааса и вынесли его имущество на улицу, чтобы все продать с молотка. Сооткин из дома Катлины видела, как вынесли из дому железную колыбель с медными украшениями, которая переходила от отца к сыну в доме Клааса, где родился несчастный мученик и потом Уленшпигель. Затем они унесли кровать, в которой она зачала сына и столько сладких ночей провела на плече своего мужа. За кроватью следовал ларь для хлеба, горшок, в котором в доброе время бывало мясо, потом сковороды, кастрюли и прочая утварь. Все это уже не блестело, как в счастливые времена, но, заброшенное, потемнело и покрылось пылью. И Сооткин вспомнила о семейных пиршествах, на запах которых сходились соседи.

Затем последовали бочонок и полубочонок «простого и двойного пива» и корзинка с тремя по меньшей мере десятками бутылок вина. Все это было вытасчено на улицу — все до последнего гвоздя, который — и это слышала бедная вдова — с треском вытащили из стены.

Без слез и без криков сидела она и в отчаянии смотрела, как уносят ее скромное имущество. Глашатай зажег свечу и приступил к продаже с молотка. Прежде чем догорела свеча, все за бесценок купил старшина рыбаков, чтобы дальше пустить в продажу. Он, видимо, упивался всем этим, точно ласка, высасывающая куриный мозг.

«Погоди, убийца, ты недолго будешь радоваться», — говорил про себя Уленшпигель.

Торги, однако, кончились, и общинные стражники перерыли весь дом, но червонцев не нашли. Рыбник кричал:

— Вы плохо ищете; я наверное знаю, что у Клааса полгода назад было их восемьсот штук.

«Не получишь, убийца», — говорил про себя Уленшпигель.

Вдруг Сооткин обернулась к нему и сказала:

— Доносчик, — и пальцем указала на рыбака.

— Знаю.

— Потерпишь ты, чтобы он унаследовал от крови твоего отца?

— Я готов лучше целый день страдать в застенке, — ответил Уленшпигель.

— Я тоже. Но не выдай меня из сострадания, в каких бы муках ты меня ни видел.

— Ты женщина! — сказал он.

— Дурачок, — ответила она, — я родила тебя и умею страдать. Но если я увижу твои муки... — она побледнела, — я буду молиться деве Марии, которая видела своего сына на кресте.

Она плакала и ласкала Уленшпигеля.

Так заключили они союз ненависти и силы.

## LXXVII

Рыбнику пришлось уплатить за свою покупку лишь половину цены, — другая половина была платой за его донос, — пока не найдут восемьсот червонцев, толкнувших его на преступление.

Сооткин проводила ночи в слезах, а днем работала по дому. Часто слышал Уленшпигель, как она говорит сама с собой:

— Если деньги достанутся ему, я покончу с собой.

Уленшпигель и Неле видели, что она делает так, как говорит, и они всеми способами старались заставить ее переехать на Валхерен, где у нее были родственники. Но она отвечала, что ей незачем убегать от червей, которые скоро будут глотать ее вдовьи кости.

Между тем рыбак опять отправился к начальству и сообщил, что покойник всего несколько месяцев тому назад получил восемьсот червонцев, что был он скуп, тратил

мало и потому не мог издержать столь большую сумму, но, конечно, где-нибудь спрятал ее.

Судья спросил его, что ему сделали Уленшпигель и Сооткин, что он отнял у сына отца, у жены мужа и теперь так злобно преследует их.

Рыбник ответил, что он, как почтенный гражданин города Дамме, желает заставить уважать законы государства и таким образом заслужить милость его величества. При этом он подал письменный донос, где называл свидетелей, которые, сообразно истине, хоть и против воли, покажут, что он не лжет.

Суд старшин выслушал эти показания и признал, что собранные улики в полной мере оправдывают применение пытки. Посему они приказали произвести вторичный обыск в доме обвиняемых, а равно заключить последних в городскую тюрьму. Здесь мать и сын должны были ждать прибытия спешно вызванного из Брюгге палача.

Когда Уленшпигель и Сооткин шли по городу со связанными на спине руками, рыбник стоял на пороге своего дома и смотрел на них.

И обыватели Дамме тоже стояли у своих дверей. Матиссен, ближайший сосед рыбника, слышал, как Уленшпигель, проходя, сказал донсщику:

— Проклянет тебя господь, вдовый палач!

А Сооткин прибавила:

— Ты умрешь лютой смертью, грабитель сирот!

Увидев, что вдову и ее сына ведут в тюрьму по новому доносу Грейпстювера, горожане накинулись на него с яростными криками и вечером выбили стекла в его доме. А дверь его вымазали навозом.

И он не смел больше выйти из дому.

## LXXVIII

К десяти часам утра Уленшпигеля и Сооткин привели в застенок. Здесь были судьи, писарь, старшины, палач из Брюгге с помощником и хирург-цирюльник.

Судья спросил Сооткин, не утаила ли она какого-либо имущества, принадлежащего императору. Она ответила, что у нее нет ничего и что она ничего не могла утаить.

— А ты? — спросил судья Уленшпигеля.

— Семь месяцев тому назад, — ответил он, — мы получили по наследству восемьсот червонцев. Часть мы издержали; где находятся остальные, я не знаю. Думаю, что прохожий, посетивший наш дом на наше несчастье, унес остальные; с тех пор я денег не видел.

Судья спросил, настаивают ли они оба на том, что они невинны.

Они ответили, что не прятали никаких денег, принадлежащих императору.

Тогда судья сказал печально и настойчиво:

— Улики против вас важные, обвинение представляется основательным; если вы не сознаетесь, вам придется претерпеть пытку.

— Не трогайте вдову! — вскричал Уленшпигель. — Рыбник купил все, что было.

— Дурачок, — сказала Сооткин, — мужчина не вынесет тех мук, которые может претерпеть женщина.

И, увидев, что Уленшпигель, боясь за нее, побледнел как мертвец, она шепнула ему:

— У меня есть сила и ненависть.

— Не трогайте вдову, — сказал Уленшпигель.

— Возьмите меня вместо него, — крикнула Сооткин.

Судья спросил палача, принес ли он все орудия пытки, чтоб узнать истину.

— Все готово, — ответил палач.

Судьи посоветовались и решили, что для раскрытия правды надо начать с матери.

— Ибо, — сказал один из них, — нет сына столь жестокосердного, чтобы мог смотреть на страдания своей матери, не сознавшись в преступлении ради избавления ее. То же сделает всякая мать для своего детища, хотя бы у нее было сердце тигрицы.

— Посади женщину, — приказал судья палачу, — и вложи ее руки и ноги в тиски.

Палач повиновался.

— О, не надо, господа судьи, — взмолился Уленшпигель, — возьмите меня вместо нее, раздробите мне кости рук и ног, но отпустите вдову!

— Помни о рыбнике, — сказала Сооткин, — меня не покинули сила и ненависть.

Уленшпигель побледнел и смолк, дрожа от возмущения.

Тиски состояли из маленьких деревянных палочек, которые вкладывались между пальцев и были так соединены хитроумной механикой из веревочек, что палач мог по требованию судей сдвинуть разом все пальцы, сорвать мясо с косточек и раздробить их или же причинить жертве лишь слабую боль.

Он вложил руки и ноги Сооткин в тиски.

— Дави! — сказал судья.

Он сдвинул очень сильно.

Тогда, обратившись к Сооткин, судья сказал:

— Укажи место, где спрятаны червонцы.

— Не знаю, — простонала она.

— Сдави сильнее, — приказал он.

Уленшпигель, желая прийти матери на помощь, старался разорвать веревку и освободить свои связанные на спине руки.

— Не давите, господа судьи, — говорил он, — это косточки женщины, нежные и хрупкие. Птица может сломать их своим клювом. Не давите. Господин палач, я говорю не с вами, потому что вы ведь обязаны исполнять приказы судей. Но сжальтесь, не давите.

— Рыбник! — сказала Сооткин.

И Уленшпигель умолк.

Но, увидев, что палач все сильнее закручивает тиски, он не выдержал:

— Сжальтесь, сжальтесь, господин судья! Вы раздавите пальцы вдове, которой ведь надо работать. Ой, ноги! Ведь она и ходить не будет! Помилуйте, господа судьи!

— Ты умрешь лютой смертью, рыбник! — вскричала Сооткин.

И кости ее трещали, и кровь капала из ее ног на землю.

На все это смотрел Уленшпигель, и, дрожа от муки и гнева, он говорил:

— Женские кости, господа судьи, не ломайте их.

— Рыбник! — простонала Сооткин.

И голос ее был тих и сдавлен, точно речь призрака, и Уленшпигель дрожал и кричал:

— Что же это, господа судьи, ведь кровь льется из ее рук и ног! Переломали кости вдове!

Лекарь дотронулся пальцем, и Сооткин издала страшный крик.

— Признайся за нее, — обратился судья к Уленшпигелю.

Но Сооткин смотрела на него своими широко раскрытыми, точно у покойника, глазами. И он понял, что должен молчать, и тихо плакал.

— Так как эта женщина одарена твердостью мужчины, — сказал судья, — то надо испытать ее упорство пыткой сына.

Сооткин не слышала, ибо от невероятной боли потеряла сознание.

При помощи уксуса ее привели в себя.

Затем Уленшпигеля раздели догола, и так он стоял обнаженный перед матерью. Палач сбрил ему волосы на голове и на теле и осмотрел, не скрыто ли у него где какое-нибудь чародейство. При этом он заметил у него на плече черное родимое пятно. Много раз втыкал он туда длинную иголку, но, так как из проколов потекла кровь, он убедился, что пятно не имеет колдовской силы. По приказанию судьи, руки Уленшпигеля привязали к веревкам, перекинутым через блок, привешенный к потолку. Палач начал вздергивать, встряхивать, подбрасывать вверх и кидать вниз обвиняемого. Девять раз проделал он это, между тем как к обеим ногам Уленшпигеля было привязано по гире в двадцать пять фунтов каждая.

При девятой встряске лопнула кожа на лодыжках и кистях, и берцовые кости начали выходить из суставов.

— Сознайся, — сказал судья.

— Нет, — ответил Уленшпигель.

Сооткин смотрела на сына, но сил кричать или говорить у нее не было. Она только вытянула вперед руки и шевелила окровавленными пальцами, точно желая сказать, что от этой пытки ее должны избавить.

Палач еще раз поднял и сбросил Уленшпигеля. И кожа на кистях и лодыжках разорвалась еще сильнее, и еще дальше вытянулись ножные кости из суставов; но он не кричал.

Сооткин рыдала и потрясала окровавленными руками.

— Укажи, где спрятал деньги, — сказал судья, — и ты будешь прощен.

— Пусть рыбник просит о прощении, — ответил Уленшпигель.

— Ты смеешься над судьями? — спросил один из старшин.

— До смеха ли мне, увы! — ответил Уленшпигель. — Это вам показалось, честное слово!

Затем Сооткин увидела, как палач, по приказу судьи, раздул в жаровне уголь, а его подручный принес две свечи.

Она хотела подняться на своих истерзанных ногах, но упала обратно на скамью и только кричала:

— Уберите уголья! Господа судьи, пожалейте бедного мальчика, уберите уголья!

— Рыбник! — крикнул Уленшпигель, увидев, что она слабеет.

— Подымите его на локоть от пола, — сказал судья, — поставьте жаровню ему под ноги и держите свечи у него подмышками.

Палач повиновался. И остатки волос подмышками у Уленшпигеля трещали и чадили от огня.

Он кричал, а мать всхлипывала:

— Уберите огонь!

— Укажи, где деньги, и ты будешь освобожден, — сказал судья, — мать, сознайся за него!

— А кто ввергнет рыбника в геенну огненную? — сказал Уленшпигель.

Сооткин покачала головой в знак того, что ей сказать нечего. Уленшпигель скрежетал зубами, и Сооткин смотрела на него обезумевшими, заплаканными глазами.

Но когда палач потушил свечи и пододвинул жаровню под ноги Уленшпигелю, она закричала:

— Господа судьи, пожалейте же его, он не знает, что говорит.

— Почему же он не знает, что говорит? — коварно спросил судья.

— Не спрашивайте ее дальше, господа судьи, вы же видите, что она обезумела от боли, — сказал Уленшпигель. — Рыбник солгал.

— И ты, женщина, утверждаешь то же самое? — спросил судья.

Сооткин сделала головой утвердительный знак.

— Сожгите рыбника! — крикнул Уленшпигель.

Сооткин молча подняла к небу сжатый кулак, точно проклиная кого-то.

Но в это время вспыхнули пламенем угли на жаровне под ногами ее сына, и она закричала:

— Господи боже, пресвятая дева на небесах, прекрати эти мучения! Сжальтесь! Уберите жаровню!

— Рыбник! — прохрипел Уленшпигель.

Кровь хлынула у него изо рта и носа, голова его поникла, и так он вчсел без движения над жаровней.

И Сооткин закричала:

— Умер! Умер мой бедный сиротка! Убили его! Его тоже! Уберите жаровню, господа судьи! Дайте мне обнять его, дайте умереть вместе с ним. Вы же знаете, что я не могу убежать на своих переломанных ногах.

— Отдайте ей сына! — сказал судья.

Началось совещание.

Палач развязал Уленшпигеля и, голого и окровавленного, положил на колени к Сооткин, а хирург вправлял ему вывороченные суставы.

Мать целовала Уленшпигеля и приговаривала:

— Бедный мой мальчик, бедный мученик! Если господа судьи позволят, я уж тебя вылечу, но очнись же, Тиль, сын мой. Если вы мне убили его, господа судьи, я пойду к его величеству, ибо это противозаконно, и вы увидите тогда, что может сделать бедная женщина против злых людей. Но вы отпустите нас, господа судьи. Ибо нас только двое на свете и нет никого и ничего у нас, бедняков, на которых так тяжело легла десница господня.

Посоветовавшись, судьи вынесли следующий приговор:

«Принимая во внимание, что вы, Сооткин, вдова Клааса, и вы, Тиль, сын Клааса, по прозванию Уленшпигель, обвинены были в утайке имущества, которое — невзирая на все права собственности — принадлежало на основании конфискации его королевскому величеству, и однако, несмотря на жестокие пытки и достоудолжное испытание, не признались ни в чем, — суд признает улики недостаточными и объявляет вас, женщина, ввиду жалостного состояния ваших членов, и вас, мужчина, ввиду тяжелых мук, претерпенных вами, свободными и разрешает вам селиться здесь или там, где угодно, в городе, у всякого обывателя, который, невзирая на вашу бедность, примет вас к себе на жительство.

Дано в Дамме октября двадцать третьего дня 1558 года от рождества господа нашего Иисуса Христа».

— Бог да вознаградит вас за милость, господа судьи! — сказала Сооткин.

— Рыбник! — простонал Уленшпигель.

И мать с сыном отвезли на телеге в дом Катлины.

В том же году — пятьдесят восьмом году столетия — как-то пришла Катлина к Сооткин и рассказала следующее:

— Прошедшей ночью, намазавшись волшебной мазью, я полетела на колокольню собора Богоматери; здесь я увидела стихийных духов, которые несли людские молитвы ангелам, а те переносили их дальше на небеса, к подножию престола господня. И небо было покрыто сверкающими звездами. Вдруг с одного костра поднялась черная тень, взлетела и села рядом со мной на колокольне. И я узнала Клааса, он был таким же, как всегда, в одежде угольщика. И он спросил меня: «Что ты делаешь на колокольне?» — «А ты? — спрашиваю я. — Почему ты летаешь, как птица, и куда направляешься?» — «На суд, — ответил он, — разве ты не слышала трубы архангела?» Я стояла подле него и чувствовала, что тело его воздушное, а не плотное, как у живого, и я, приблизившись, вошла в него, как в теплое облако пара. У ног моих, разбросанные по всей Фландрии, мигали огоньки, и я сказала себе: «Люди, которые так рано встают и поздно трудятся, благословенны господом».

И всю ночь слышала я трубу архангела. Потом поднялся с земли другой призрак, принесшийся из Испании. Он был стар и дряхл, подбородок его выдавался вперед, башмаком, а к углам губ присохло варенье. На нем была горностаевая мантия, крытая красным бархатом, на голове императорская корона, в одной руке сардинка, в другой — кружка пива.

Видимо от усталости, он тоже спустился и уселся на колокольню. Я встала пред ним на колени и сказала: «Ваше величество, припадаю к стопам вашим, но не знаю, кто вы. Откуда вы и что вы делаете на земле?» — «Я из монастыря святого Юста в Эстремадуре, — ответил он, — я был император Карл Пятый». — «Но куда, — спросила я, — куда вы направляетесь в эту ночь, среди этих грозowych туч?» — «На суд, — ответил он, — на суд». Только что император собрался съесть свою сардинку и запить пивом, как раздалась труба архангела, и он поднялся, недовольно бурча, что ему помешали поужинать, и полетел. Я поспешила следом за его величеством. Он ле-

тел, тяжело вздыхая от усталости и одышки, икая, иногда даже со рвотой: ибо смертный час захватил его во время расстройства пищеварения. Неудержимо неслись мы, точно стрелы, выпущенные из кизилового лука. Звезды мелькали мимо нас, чертя сверкающие полосы по небу, и мы видели, как они отрывались от него и падали. Труба архангела все гремела. Какой потрясающий, всепроникающий гром! При каждом звуке сотрясалась и разрывалась вся толща воздуха, точно пронесся ураган, и раскрывался перед нами путь. Пролетая тысячи и тысячи миль, мы увидели пред собой Иисуса Христа во всей его славе на звездном престоле. Справа от него был ангел, заносящий на бронзовую скрижаль все дела людские, а слева — мать, пресвятая дева, неустанно молящаяся за грешников.

Клаас и император Карл бросились на колени пред престолом.

Ангел сбросил с головы Карла корону и сказал:

«Здесь один царь — Христос!»

Это, видимо, рассердило его святейшее величество, но все же он смиренно спросил:

«Не позволено ли будет мне докончить эту сардинку и мое пиво, ибо я проголодался от долгого пути».

«Да ведь ты «голодал» всю жизнь, — сказал ангел, — но все равно, ешь и пей».

Император пожевал сардинку и запил ее пивом.

Тогда заговорил Христос и сказал:

«С чистым ли сердцем предстаешь ты пред судом?»

«Надеюсь, что да, господь мой милостивый, ибо в свое время исповедался».

«А ты, Клаас, — спросил Христос, — ты не трепещешь, как этот император?»

«Господь мой и спаситель, — ответил Клаас, — нет души чистой пред тобой, и потому нет во мне страха, ибо ты — великая милость и ты — великое правосудие. И все-таки я страшусь, потому что много за мной грехов».

«Говори, падаль!» — сказал ангел императору.

«Я, господи, — отвечал Карл смущенным голосом, — перстами твоих священнослужителей помазан на царство, их благословением и молитвами был освящен как король кастильский и римский, император германский. Неустанна была моя забота охранять власть, полученную мной от

тебя, и мечом и веревкой, огнем и могилой карал я посягнувших на нее реформатов».

Но ангел прервал его:

«Ты хочешь обмануть нас, прозорливый лгунишка. В Германии ты терпел реформатов, потому что боялся их. В Нидерландах ты их вешал, жег, живьем в землю зарывал, рубил им головы, потому что здесь у тебя была одна забота: собрать побольше с этих трудолюбивых пчел. Сто тысяч душ приняли кончину по твоей вине, не потому, что ты возлюбил Христа, моего господя, но потому, что ты был деспот, тиран, вымогатель, любил лишь одного себя, а затем — рыбу, мясо, вино и пиво, ибо ты был жаден, как пес, и впитывал вино, как губка».

«Теперь говори ты, Клаас», — сказал Иисус.

Но ангел поднялся и сказал:

«Этому не о чем говорить. Он был добр и трудолюбив, как бедный народ фландрский, охотно работал и охотно смеялся, соблюдал верность своим государям, в которой он присягал, и думал, что и государи соблюдают верность, которою обязаны ему. Он имел деньги, был обвинен и, так как приютил у себя реформата, был сожжен на костре».

«О бедный мученик, — сказала пресвятая дева, — зато теперь ты на небесах, где текут свежие ручейки и где бьют фонтаны молоком и вином; пойдем, угольщик. Я отведу тебя».

И вновь зазвучала труба архангела, и я увидела, как из глубины пропасти вынырнул человек в железной короне, обнаженный и прекрасный. На ободке короны было написано: «В тоске до страшного суда».

Он приблизился к престолу и сказал Иисусу Христу: «Я твой раб, пока не стал господином».

«Сатана, — сказала пресвятая дева, — придет день — и не будет ни рабов, ни господ, и Христос, который есть любовь, и сатана, который есть гордость, будут называться: сила и мудрость».

«Ты добра и прекрасна, женщина», — сказал сатана.

И, обратившись к Христу, он спросил, указывая на императора:

«Что прикажешь сделать с этим?»

Христос ответил:

«Ты отведешь этого на царство венчанного червя в место, где соберешь все орудия пытки, бывшие в употребле-

нии в его царствование. Всякий раз, когда несчастный невинный человек будет подвергнут пытке водой, которая вздувает людей как пузырь, или пытке свечами, которыми обугливают им пятки и подмышки, или пытке тисками, раздробляющими пальцы, или казни четвергованием, — всякий раз, когда свободная душа испустит на костре последнее дыхание, шаг за шагом пусть и он пройдет чрез все эти мучения, дабы он узнал, сколько страданий может причинять несправедливый человек, властвующий над миллионами других людей, — и он будет гнить в темницах, умирать на плахе, чахнуть в изгнании, тоскуя по родине; пусть он подвергнется позорящим наказаниям, бесчестию и бичеванию; пусть он будет богат и потом ограблен казной; пусть станет жертвой доносов, пусть разорят его конфискации. Обрати его в осла, чтобы он научился послушно работать, получать побои и питаться отбросами; сделай нищим, чтобы он просил о подаении и получал в ответ ругань; сделай его мастеровым, чтобы он через силу трудился и ел мало. Когда он достаточно настрадается душой и телом в образе человеческом, обрати его в собаку, которая за свою преданность получает только побои; сделай его индийским рабом, чтобы его продали с торгов; сделай его солдатом, чтобы он шел воевать по чужому приказу и давал себя убивать, сам не зная за что; и когда, таким образом, в течение трехсот лет все муки, все горести будут исчерпаны, сделай его свободным человеком, и если тогда он будет добротой подобен Клаасу, то дай его телу клочок земли под сенью прекрасного дерева, покрытый ковром зелени, в полдень охлажденный тенью, утром озаренный солнцем: клочок земли для вечного упокоения. И друзья его придут на его могилу пролить горькие слезы и усадить ее фиалками, цветами воспоминания».

«Смилуйся, сын мой! — воскликнула пресвятая дева. — Он не знал, что творил, ибо власть порождает жестокосердие».

«Нет ему пощады», — ответил Христос.

«О, — вскричал император, — нельзя ли мне хоть стакан андалузского вина».

«Пойдем, — сказал сатана, — прошло время вина, мяса и фазанов».

И он потащил в мрачайшие недра преисподней бедную душу его величества, еще жевавшую свой кусочек сардинки.

Из жалости сатана дал ему докончить. Потом я увидела, как пресвятая богородица возносит душу Клааса вверх к небесам, где звезды пышными гроздьями свешиваются с небосвода. Здесь, омытый ангелами, он стал молодым и прекрасным. И они подали ему *gustpar*\*, и он ел серебряной ложкой. И небеса закрылись.

— Он в царствии небесном, — сказала вдова.

— Пепел стучит в мое сердце, — сказал Уленшпигель.

### LXXX

В продолжение следующих двадцати трех дней Катлина все худела, и бледнела, и сохла, точно внутренний огонь сжигал ее изнутри еще безжалостнее, чем пламя безумия.

Она уже не вскрикивала: «Огонь! Пробейте дыру, выпустите душу!» — но в каком-то упоении, обращаясь к Неле, говорила:

— У меня муж, и тебе надо мужа. Красавец, с густой гривой волос. Любовь горячая, руки холодные, колени холодные.

И Сооткин печально смотрела на нее, видя в этом новый признак безумия.

И Катлина продолжала:

— Трижды три девять — святое число. У кого ночью глаза светятся, как у кошки, только тот видит тайну.

Однажды вечером, слушая рассказы Катлины, Сооткин сделала жест недоверия, но Катлина бормотала:

— Четыре и три под знаком Сатурна значит несчастье, под знаком Венеры — брак. Ледяные руки. Ледяные колени. Сердце огненное.

— Не надо говорить о злых языческих идолах, — сказала Сооткин.

Услышав это, Катлина перекрестилась и ответила:

— Благословен серый рыцарь. Нужен жених для Неле; будет ей жених со шпагой, черный жених со светлым лицом.

---

\* *Rustpar* — сладкий рис (флам.).

— Да, конечно, — сказал Уленшпигель, — целое угощение из женихов, а подливу я сделаю своим ножом.

Увидев его ревность, Неле бросила на своего друга взгляд, исполненный счастья, и сказала:

— Не нужно мне женихов.

Катлина ответила:

— Вот придет он в серой одежде, в новых сапожках и новых шпорах.

— Молитесь богу за лишнюю разума, — сказала Сооткин.

— Уленшпигель, — проговорила на это Катлина, — пойдй принеси нам четыре литра «двойного», а я пока испеку heetkoeken. Это такие оладьи, которые во Франции называются блинчиками.

На вопрос Сооткин, почему она — как евреи — празднует субботу, Катлина ответила:

— Потому что тесто взошло.

Уленшпигель стоял, держа в руке кружку из английского олова, как раз подходящую по размерам.

— Что же делать, мать? — спросил он.

— Иди, — сказала Катлина.

Сооткин не хотела спорить, так как не она была хозяйка в доме.

— Иди, сынок, — сказала она.

Уленшпигель сбегал в трактир и принес четыре литра пива.

Запах оладий наполнил всю кухню, и все почувствовали голод, даже согбенная горем вдова.

Уленшпигель ел за троих. Катлина поставила ему большую кружку, заявив, что он, как единственный мужчина в доме и, стало быть, глава его, должен пить больше всех, а затем спеть.

И, говоря это, она насмешливо подмигнула; однако Уленшпигель выпил, но не пел. Взглянув на бледную и удрученную Сооткин, Неле заплакала. Одна Катлина была весела.

После ужина Сооткин с Уленшпигелем взобрались на чердак, где они спали; Катлина и Неле постлали свои постели в кухне.

К двум часам ночи Уленшпигель уже давно спал мертвым сном, так как голова его отяжелела от пива. Сооткин, как и в предыдущую ночь, лежала с открытыми глазами

и молила пресвятую деву ниспослать ей сон, но богородица не слышала ее.

Внезапно с улицы донесся крик орлана, и из кухни ответили таким же криком. Потом с поля донеслись такие же крики, и Сооткин все казалось, что из кухни отвечают тем же.

Она решила, что это ночные птицы, и не думала больше об этом. Вскоре с улицы слышалось конское ржание и топот копыт на мостовой; она высунулась из окошка чердака и увидела, что перед домом привязаны две оседланные лошади и, фыркая, щиплют траву. Вдруг раздался женский вопль и мужской голос, угрожающий. Вопли сменились ударами, потом снова крик, дверь громко хлопнула, и торопливые шаги застучали вверх по лестнице.

Уленшпигель храпел и не слышал ничего. Дверь чердака распахнулась, и вбежала Неле, почти голая; задыхаясь и рыдая, она стала заваливать входную дверь всем, чем могла: придвинула стол, стулья, старую жаровню: все, что было под рукой, она притащила к двери.

Уже гасли последние звезды и кричали петухи.

От шума, производимого Неле, Уленшпигель на миг проснулся, но перевернулся на другой бок и опять уснул. Тут Неле, рыдая, бросилась на шею Сооткин:

— Сооткин, зажги свечу, я боюсь.

Сооткин зажгла свечу и при ее свете увидела, что рубашка девушки разорвана на плече и что лоб, щки и шея ее покрыты царапинами, точно чьи-то когти прошли по ней

— Неле, — спросила Сооткин, целуя ее, — кто это тебя так изранил?

— Не отправь нас на костер, Сооткин, — дрожа всем телом и всхлипывая, говорила девушка.

Между тем проснулся Уленшпигель и щурил глаза от света свечи.

— Кто там внизу? — спросила Сооткин.

— Молчи, — ответила Неле, — это тот, кого она мне прочит в мужья.

Снова донесся снизу крик Катлины, и Сооткин и Неле задрожали.

— Он бьет ее. Он бьет ее из-за меня! — вскрикнула Неле.

— Кто здесь? — заорал Уленшпигель, вскочив с постели. Протерев глаза, он стал метаться по комнате, пока не схватил стоящую в углу кочергу.

— Там никого нет, никого, — удерживала его Неле, — не ходи туда, Уленшпигель!

Однако он, не слушая ее, бросился к двери, толкая стол, стулья и жаровню. Неле и Сооткин, несмотря на ужасные крики Катлины, раздававшиеся внизу, удерживали его одна за плечо, другая за ногу.

— Не ходи туда, Уленшпигель, там черти.

— Да, конечно, — отвечал он, — Нелины чертовы женихи: вот я их повенчаю с кочергой! Будет свадьба железа с мясом! Пустите меня.

Но они не отпускали его и оказались сильнее, так как схватились за перила. Он все-таки стащил их по двум-трем ступенькам; от ужаса, охватившего их при мысли, что черти так близко от них, они выпустили его, и он, точно снежная лавина, свергающаяся с горы, громадными прыжками слетел с лестницы, вбежал в кухню и нашел здесь одну Катлину. Бледная и истомленная, она лежала здесь в предрассветных сумерках и приговаривала: «Гансик, зачем ты меня покинул? Я же не виновата, что Неле злая».

Уленшпигель не стал слушать, бросился к чулану и распахнул дверь, но, никого не найдя там, он побежал в огород и оттуда на улицу. Здесь он увидел только двух коней, скачущих в облаке пыли. Уленшпигель кинулся было вслед за ними в погоню, но они летели как полуденный ветер, мчащий сухие листья.

В бешенстве и отчаянии он возвратился, скрежеща зубами:

— Ее изнасиловали! Ее изнасиловали! — и злобно смотрел он на Неле, которая, содрогаясь, стояла подле Сооткин и Катлины и говорила:

— Нет, Тиль, нет, любимый, нет!

При этих словах она смотрела ему в глаза так грустно и так искренне, что Уленшпигель почувствовал, что она говорит правду, и стал спрашивать:

— Что это были за крики? Куда убежали эти люди? Отчего твоя рубашка вся разорвана? Почему расцарапаны у тебя лоб и щеки?

— Слушай, — сказала она, — только не доведи нас до костра, Уленшпигель. Вот уже двадцать три дня, как у Катлины — спаси ее господь от ада — завелся дружок:

черт в черной одежде, в высоких сапогах со шпорами. На лице его белый отблеск лучей, точь-в-точь как бывает в жару летом над волнами морскими.

— Гансик, дорогой мой, зачем ты ушел? — вздохнула Катлина. — Неле злая.

Неле рассказывала дальше:

— Он подавал ей знак о своем появлении криком орлана. Каждую субботу он приходит к матери на кухню. Она говорит, что поцелуи его холодны и тело — как снег. Он бьет ее, когда она не все делает, как он хочет. Один раз он принес ей несколько флоринов, но обычно забирал у нее.

Во время этого рассказа Сооткин сложила руки и молилась за Катлину. Но та оживленно говорила:

— Не мое теперь тело, не мой рассудок: всё его. Гансик, радость моя, опять полетим на шабаш? Только Неле не хочет. Она злая, Неле.

— На рассвете он уходил, — продолжала девушка, — а на следующий день мать рассказывала всякие невероятные вещи... Да не смотри же на меня такими злыми глазами, Уленшпигель! Вчера вечером она сказала мне, что один красивый рыцарь в сером, по имени Гильберт, хочет взять меня в жены и придет в дом показаться мне. Я ответила, что никакого мужа мне не надо, ни красивого, ни урода. Но все-таки мать принудила меня не спать и ждать их, потому что, когда дело касается ее любовных дел, она рассудка не теряет. Мы уж почти разделись и собирались лечь; я дремала, сидя вон на том стуле, и, когда те вошли, я не сразу очнулась. Вдруг чувствую, что кто-то обнимает меня и целует в шею. При свете месяца вижу лицо, светящееся, как летом гребешки на волнах перед грозой, и я услышала тихий шепот: «Я — Гильберт, твой муж, будь моей, я сделаю тебя богатой». И лицо того, кто говорил, пахло как будто рыбой. Я оттолкнула его, он хотел взять меня силой, но я стала сильнее десятерых таких, как он. Он все-таки разорвал на мне рубаху, испарал лицо и все приговаривал: «Будь моей, я сделаю тебя богатой». — «Да, — ответила я, — как мою мать, у которой ты отбираешь последний грош». Он удвоил свои усилия, но ничего не мог со мной сделать. И так как он противный, как труп, то я так вцепилась ему ногтями в глаза, что он завыл от боли; я вырвалась и убежала наверх к Сооткин.

Катлина все приговаривала:

— Неле злая. Зачем он умчался, Гансик, дорогой мой?

— Скверная мать, — сказала Сооткин, — где ты была, когда чуть не опозорили твою дочь?

— Неле злая, — ответила Катлина, — я была с моим черным господином, когда серый дьявол прибежал к нам с кровью на лице и говорит: «Уйдем, приятель, в этом доме неладно. Здесь мужчины могут убить, а у женщин, должно быть, ножи на пальцах». Они побежали к своим лошадям и исчезли в тумане. Неле злая!

## LXXXI

На следующий день, когда они пили теплое молоко, Сооткин говорила Катлине:

— Ты ведь видишь, что тоска и так скоро сведет меня в могилу, а ты хочешь еще добить меня своим проклятым колдовством?

Но Катлина повторяла только:

— Неле злая! Гансик, дорогой, приди ко мне!

В ночь на следующую среду опять явились оба черта. С субботы Неле спала у вдовы ван ден Гауте, под тем предлогом, что ей неудобно оставаться у Катлины, так как там живет Уленшпигель, молодой человек.

Катлина приняла своего черного господина и его друга в keet — это пристройка, где помещается прачечная и большая печь. Здесь они угощались старым вином и копченым языком, всегда готовыми к их услугам.

— Нам для одного важного дела нужны большие деньги, — сказал «черный» Катлине, — дай, что можешь.

Катлина хотела дать ему один флорин, но он пригрозил ей смертью, и они отстали от нее, лишь когда получили два червонца и семь денье.

— Больше не приходите в субботу, — сказала она им: — Уленшпигель знает этот день, он будет ждать с оружием и убьет вас. А тогда умру и я.

— Мы придем во вторник, — ответили они.

В эту ночь Уленшпигель и Неле спали, не боясь чертей, так как решили, что те являются по субботам.

Катлина встала и заглянула в прачечную, не пожаловали ли ее друзья.

Она горела от нетерпения. С тех пор как она увидела своего Гансика, ее помешательство значительно ослабело. Ибо ее безумие — так говорили — было любовным безумием.

Не дождавшись их, она была очень удручена. Услышав со стороны Слейса крик орлана над полем, она пошла в этом направлении и шла по лугу вдоль плотины из хвороста, засыпанного землей. И вот с другой стороны плотины слышит она разговор обоих своих чертей.

— Мне половина, — сказал один.

— Ничего не получишь, — ответил другой, — что ее, то все мое.

Последовали проклятья, брань; они спорили, кому из них достанутся и любовь и деньги Катлины и Неле. Испуганная Катлина не смела ни пикнуть, ни шевельнуться и вскоре услышала, как они подрались и как один сказал: «Холодна сталь». Потом — хрип, и тяжелое тело упало на землю.

В ужасе бросилась Катлина домой. В два часа ночи она вновь, на этот раз из сада, услышала знакомый крик. Она вышла, открыла и увидела своего друга одного.

— А с другим что ты сделал? — спросила она.

— Он больше не придет, — был ответ.

И он обнял и ласкал ее, и тело его казалось ей еще холоднее, чем всегда. И ум ее был ясен. Уходя, он потребовал двадцать флоринов — все, что у нее было; она дала ему семнадцать.

На другой день она побежала к плотине, но не нашла там ничего, только на одном месте, размером в рост мужчины, земля подавалась под ногой, и на ней выступала кровь. Но к вечеру дождь смыл и следы крови.

В следующую среду из ее садика вновь раздался крик орлана.

## LXXXII

Всякий раз, когда приходилось рассчитывать с Катлиной за общие расходы, Уленшпигель вынимал ночью камень, которым была закрыта дыра, проделанная у колодца, и доставал оттуда червонец.

Однажды вечером все три женщины пряли. Уленшпигель сидел с ними и работал над ящиком, заказанным ему городским судьей. Он искусно вырезал на крышке

ножом целую охоту: свору геннегауских собак, критских овчарок, известных своей свирепостью, брабантских гончих, бегущих всегда парами, и всевозможных других псов, всяких видов и пород, больших и малых, мопсов и борзых.

Катлина слышала, как Неле спросила Сооткин, хорошо ли запрятаны деньги. Сооткин, чуждая всякого недоверия, ответила: где же им быть лучше, чем у колодца.

В четверг после полуночи жалобный лай Бибулуса, скоро, однако, прекратившийся, разбудил Сооткин. Она решила, что он залаял по ошибке, и опять заснула.

В пятницу Сооткин и Уленшпигель поднялись рано утром. Но они не нашли в кухне, как всегда, Катлины, огонь не был разведен, молоко не кипело на очаге. Удивленные, они выглянули наружу, не в саду ли она, и увидели, что она стоит под дождем. Рубашка на ней была разорвана, она окоченела от холода и вся вымокла, но не смеет войти в дом.

— Чего ты ищешь полуголая под дождем? — спросил, подойдя к ней, Уленшпигель.

— Ах, — ответила она, — чудо, великое чудо.

И она указала на окоченелый труп собачки, кем-то удушенной.

Уленшпигель тотчас же подумал о деньгах: он бросился к колодцу — дыра была пуста, кругом рассыпана земля.

Он накинулся на Катлину и, колотя ее, кричал:

— Где червонцы?

— Да, чудо, великое чудо, — твердила она.

Неле бросилась защищать мать:

— Смилуйся, Уленшпигель, сжался.

Он остановился. Прибежала Сооткин, стала расспрашивать, что случилось.

Уленшпигель показал ей удушенную собаку и пустую дыру, где были деньги.

Сооткин побледнела и сказала:

— Тяжелы твои удары, о господи! Бедные мои ноги!

Так сказала она, вспоминая о муках и пытках, которые она напрасно претерпела ради этих червонцев. Видя,

как спокойно принимает Сооткин весть о несчастье, Неле разрыдалась в отчаянии. Катлина же размахивала листом пергамента и говорила:

— Да, чудо, великое чудо. Этой ночью пришел он, ласковый, прелестный. У него не было уже этого бледно-светящегося лица, которого я всегда так боялась. Он нежно-нежно говорил со мной. Я была так рада, сердце мое растаяло. Он сказал: «Теперь я богат и скоро принесу тебе тысячу флоринов». — «Да, отвечаю, не за себя я буду радоваться, а за тебя, Гансик, радость моя». — «А нет у тебя в доме еще кого, кто тебе мил и кого ты хотела бы сделать богатым?» — «Нет, говорю, здесь в доме никто в тебе не нуждается». — «О, какая гордая, — говорит он, — а разве Сооткин и Уленшпигель так богаты?» — «Они живут, отвечаю, и ни в чем не нуждаются». — «Несмотря на конфискацию?» Я ответила, что вы решили лучше претерпеть пытку, чем расстаться со своим добром. «Я так и думал», — говорит он. И он стал потихоньку и ядовито насмехаться над судьями, которые не сумели добиться от вас признания. Я смеялась с ним вместе. «Не так уж они глупы, чтобы здесь, в доме, прятать свои деньги». Я засмеялась. «Или, например в погребе». — «Конечно, нет». — «Или, скажем, в огороде». Я ничего не ответила. «Да, говорит, то была бы большая глупость». — «Небольшая, отвечаю, вода и стена ничего не скажут». Он все смеялся.

В эту ночь он ушел раньше, чем обычно, и на прощанье дал мне порошок, который, сказал он, перенесет меня на самый лучший шабаш. Я провожала его через огород в одной рубахе и была такая сонная. Как он и обещал, я полетела на шабаш, только к рассвету вернулась и очутилась здесь. Вижу — собака удушена, дыра пустая. Это тяжкий удар для меня: я его так крепко любила — всю душу ему отдала. Но все, что есть у меня, будет ваше, руки мои и ноги будут без усталости трудиться, чтобы содержать вас.

— Я — как зернышко между жерновами, — сказала Сооткин. — Господь бог и чертов вор раздробили меня одним ударом.

— Вор! Это неправда, — ответила Катлина, — а черт, черт — это верно. Вот тебе доказательство — пергамент, который он оставил во дворе. Читай:

«Не забывай, что ты мне служишь. Пять дней и трижды две недели пройдет, и ты вдвойне получишь твой клад. Не сомневайся в этом, не то умрешь». Он сдержит слово, увидите.

— Бедная дурочка, — сказала Сооткин.  
Это был ее последний упрек.

## LXXXIII

Трижды прошли эти две недели и пять дней равным образом: друг и черт не явился. Но надежда не покидала Катлину.

Сооткин уже не работала: сгорбившись и кашляя, она сидела перед огнем. Неле поила ее целебнейшими и благовоннейшими травами. Но никакое лекарство не помогало ей. Уленшпигель не выходил из дому: боялся, что мать может умереть в его отсутствие.

Понемногу дошло до того, что она уже не могла ни есть, ни пить: все извергалось рвотой. Пришел лекарь и пустил кровь, но потеря крови так ослабила ее, что она уже не вставала. Однажды вечером, истерзанная страданиями, она проговорила:

— Клаас, муж мой! Тиль, сын мой! Благодарю тебя, господи, что ты берешь меня к себе!

Потом вздохнула и умерла.

Катлина не посмела оставаться подле нее. Уленшпигель и Неле оставались всю ночь вдвоем у праха усопшей, молясь за нее.

На заре в открытое окно влетела ласточка.

— Птичка — душа усопшей, — сказала Неле. — Хороший знак. Сооткин уже на небесах.

Ласточка трижды облетела всю комнату и с криком вылетела наружу.

За ней влетела другая ласточка, больше и чернее, чем первая. Эта кружилась вокруг Уленшпигеля, и он сказал:

— Отец и мать! Пепел стучит в мое сердце. Я сделаю то, чего вы требуете.

И вторая ласточка, точь-в-точь как первая, улетела с криком. Почти совсем рассвело, и Уленшпигель увидел тысячи ласточек, реющих над лугами. И солнце взошло над землей.

И Сооткин похоронили на кладбище для бедных.

По смерти Сооткин Уленшпигель впал в глубокое раздумье, тоску и раздражение, все метался по кухне, не слышал, что ему говорят, ел и пил, не замечая, что ему дают. И часто вставал среди ночи.

Напрасно кроткий голос Неле убеждал его не терять бодрости, напрасно уверяла его Катлина, что ей хорошо известно, что Сооткин в раю. Уленшпигель на все отвечал:

— Пепел стучит.

Он точно лишился рассудка, и Неле проливала слезы, видя его таким.

Между тем рыбник сидел взаперти, одинокий, точно отцеубийца, и лишь по вечерам осмеливался выйти из дому; мужчины и женщины осыпали его при встрече оскорблениями и называли его убийцей, и маленькие дети бежали от него, потому что им сказали, что это палач. Так бродил он, избегаемый всеми, не смея войти ни в один из трех трактиров в Дамме, ибо на него указывали там пальцами, и, бывало, как только он покажется, все посетители уходят.

Понятно, что трактирщики не хотели такого гостя и запирали перед ним дверь. На униженные просьбы рыбака они отвечали, что продавать — это их право, а не обязанность.

Измученный этой борьбой, рыбник тащился за вечерним глотком пива «In't Roode Valck» — в трактир «Красный сокол», жалкую корчму за городом, у Слейсского канала. Здесь ему, правда, подавали все, что он требовал, ибо хозяева были бедные люди, которые радовались всякому заработку. Но и хозяин «Красного сокола», так же как жена его, не разговаривал с ним. Была там собака и двое детей; если рыбник хотел приласкать детей, они убегали от него; звал он собаку — она набрасывалась на него с лаем.

Как-то вечером Уленшпигель стоял у порога. Увидя его в этой вечной задумчивости, Матиссен, бочар, сказал ему:

— Возьмись за работу — ты забудешь этот тяжкий удар.

— Пепел Юлааса стучит в мое сердце, — ответил Уленшпигель.

— Ну, жизнь несчастного рыбака хуже твоей, — заметил Матиссен, — никто с ним не общается, все избегают его. Ему приходится тащиться к этим гололранцам — в «Красный сокол», чтобы хоть там в одиночестве выпить свою кружку пива. Тяжелое наказание!

— Пепел стучит в мое сердце, — повторил Уленшпигель.

В тот же вечер, когда на колокольне пробило девять часов, Уленшпигель направился к «Красному соколу». Увидав, что рыбака там нет, он стал прохаживаться по берегу канала под деревьями. Месяц светил ярко.

И вот он увидел злодея.

Он видел его совершенно ясно, когда тот проходил мимо него, и слышал, как он громко, — как делают одиноко живущие люди, — говорил сам с собой:

— Куда они запрятали червонцы?

— Туда, где черт их нашел! — крикнул в ответ Уленшпигель и ударил его кулаком в лицо.

— Горе мне! — закричал рыбак. — Я узнал тебя, ты — сын Клааса. Пожалей меня, я стар и хил. То, что я сделал, я сделал не по злобе, но верой и правдой служа его величеству. Прости, сделай милость. Я верну тебе все ваше добро, что я купил, и ни гроша с тебя не потребую. Мало этого разве? Я купил все за семь флоринов. Все получишь ты и еще полфлорина, потому что ведь я не богат, не верь рассказням.

И он уже был готов упасть на колени пред Уленшпигелем.

Увидя его перед собой таким жалким, гнусным, трусливым, Уленшпигель схватил его и бросил в канал.

И пошел домой.

## LXXXV

На кострах дымился прах жертв. Уленшпигель думал о Клаасе и Сооткин и плакал в одиночестве.

Однажды вечером он пришел к Катлине с просьбой дать ему совет и помочь отомстить за все.

Она сидела перед лампой вдвоем с Неле и шила. При шуме его шагов она медленно подняла голову, точно пробуждаясь от тяжкого сна.

Он сказал ей:

— Пепел Клааса стучит в мое сердце. Я хочу спасти землю Фландрскую. Я молил об этом господа земли и неба, но он ничего не ответил мне.

— Господь бог и не станет разговаривать с тобой, — ответила Катлина, — тебе надо было обратиться к духам стихийного мира; они двух родов, небесных сил и земных, они принимают молитвы бедных людей и передают их ангелам, а уж те несут их к престолу всевышнего.

— Помоги мне в моем замысле: кровью моей, если надо, я готов заплатить за его исполнение.

— Я помогу тебе, — ответила Катлина, — если девушка, любящая тебя, возьмет тебя с собой на шабаш весенних духов, на праздник оплодотворения.

— Я возьму его с собой, — сказала Неле.

Катлина налила в хрустальный бокал мутнобеловатое питье и дала обоим выпить. Тем же снадобьем она натерла им виски, ноздри, большие пальцы и суставы рук, потом дала им проглотить по шепотке белого порошка и приказала пристально смотреть друг на друга, чтобы слились воедино их души.

Уленшпигель смотрел на Неле, и кроткие глаза девушки зажгли в нем могучий огонь. И он почувствовал, что от напитка точно тысячи раков впились в его тело.

Потом они разделись — и прекрасны были они, озаренные светом лампы: он в своей гордой силе, она в своей нежной прелести. Но они уже не видели друг друга — они были точно во сне. Затем Катлина положила голову Неле на плечо Уленшпигеля, а его руку на сердце девушки.

И так лежали они, обнаженные, рядом друг с другом.

И от тел, касающихся друг друга, веяло нежное тепло, грешнее их, точно июньское солнце.

Они поднялись, — так рассказывали они впоследствии, — встали на подоконник, бросились оттуда в пространство и почувствовали, что воздух несет их, несет, как вода несет корабли.

И перестала для них существовать земля, где спали бедные люди, и небо; облака уже скользили под их ногами. И они ступили на холодное светило Сириус. И отсюда их метнуло на полюс.

Здесь не без содрогания увидели они голого великана — Зиму вселенной; обросший мохнатой шерстью, он

сидел на льдине, прислонившись к ледяной стене. В полыньях ныряли медведи и тюлени и с ревом плавали вокруг великана. Хриплым голосом созывал он град, снег, метель, свинцовые тучи, желтые удушливые туманы, и ветры, и ураганы, несущие бурю. И все это по приказу его свирепствовало в этом мрачном месте.

Смеясь над этими ужасами, лег великан на цветы, которые увядали под его рукою, на листья, разом засыхавшие под его дыханием. Потом он наклонился и стал царапать землю ногтями, грыз ее зубами и выгрыз глубокую яму, чтобы добраться до сердца земли и пожрать его, чтобы там, где стояли тенистые леса, стал черный уголь, там, где расстилались хлебные поля, — пустая солома, и песок там, где была плодородная земля. Но сердце земли было костром пылающим, и он не решился коснуться его и отпрянул со страхом.

Точно царь, владычествовал он там и пил кубками ворвань среди своих медведей и тюленей и среди скелетов всех тех, кого он погубил на море, на суше и в бедных хижинах. Радостно слушал он, как рычат медведи и режут тюлени, как стучат костяки людские и звериные под когтями коршунов и воронов, разыскивавших там последние клочки мяса, радуясь и грохоту льдин, сталкивавшихся друг с другом в черной воде.

И голос великана был подобен реву урагана, свисту зимней непогоды, завыванию ветра в трубе.

— Мне холодно и страшно, — сказал Уленшпигель.

— Он бессилен против духов, — ответила Неле.

Вдруг тюлени заметались, бросаясь стремглав в воду, медведи, перепуганные, прижали уши и жалобно завывали, вороны в ужасе закаркали и исчезли в тучах.

И Уленшпигель и Неле услышали глухие удары тарана в ледяную стену, служащую опорой великану. Стена затряслась и раскололась до самых своих устоев.

Но великан Зима ничего не слышал. Он радостно ревел и завывал, наполняя и выпивая свои кубки ворвани, вгрызаясь все глубже к сердцу земли, чтобы обледенить его, но не смел его коснуться.

А удары гремели все сильнее, стена раскалывалась на глыбы, и дождь ледяных осколков неудержимо низвергался, сверкая вокруг него.

Жалобно визжали медведи, из черных вод неся тоскливый вой тюленей.

Стена рухнула, светлый день засиял на небесах, и в высоте возник человек, обнаженный и прекрасный, опираясь одной рукой на золотую секиру. Это был Люцифер Светоносец, царь весны.

При виде его великан отбросил свой кубок ворвани и взмолился не убивать его.

И пред теплым дыханием царя весны потерял великан всю свою силу. И, взяв алмазные цепи, царь скрутил его и приковал к полюсу.

Потом он остановился и воззвал, — но нежно и ласково. И с неба спустилась обнаженная женщина, белокурая и прекрасная. Она приблизилась к царю и сказала: — Ты мой повелитель, могучий человек.

Он ответил:

— Если ты голодна, — ешь; если жаждешь, — пей; если боишься, — приди ко мне: я — твой мужчина!

— Я жажду только тебя.

Снова воззвал царь, и семь раз прозвучал его громовый зов. Загрохотал страшный, могучий удар, и засверкали молнии, и за ними появилась небесная сень из солнц и звезд. И они воссели на престол.

И тогда, не меняя выражения своих царственных лиц, не делая ни одного мановения, ни движения, которое нарушило бы их величавый покой, воззвали царь и его жена.

И на зов их взволновалась, всколыхнулась земля, каменная глыба с ледяными скалами. И Неле с Уленшпигелем услышали чудовищный треск: точно исполинская птица разбивает ударами своего страшного клюва скорлупу громадных яиц.

И во всеобъемлющем движении земли, вздымавшейся и опускавшейся, точно волны морские, возникли огромные тела яйцевидной формы.

Вдруг повсюду, сплетая свои сухие ветви, выросли леса деревьев, стволы которых колыхались, точно пьяные люди. Деревья расступились, и широкие поляны легли между ними. Из вздымающейся волнами почвы появились духи земли, из глубины лесов — лесные духи, из близкого моря — духи водяные.

Перед Неле и Уленшпигелем сменялись гномы, хранящие подземные сокровища, — маленькие, горбатые, кривоногие, мохнатые, грязные, уродливые, — владыки камня, лешие, духи древесные, живущие подобно деревьям

и вместо рта несущие пучок спутанных корней, которыми они высасывают свое питание из недр земных; за ними шли владыки рудных жил, вечно безмолвные, лишенные сердца и внутренностей, движущиеся как блестящие автоматы. Здесь были карлы из мяса и костей, с змеиными хвостами, жабыми головами и светлячками на макушке, которые ночью вскакивают на плечи пьяным путникам и трусоватым прохожим, заманивают их в болота и дебри, мигая своим огоньком, который этому злополучному дурачью представляется светом лампы их жилища.

Здесь были и феи цветов — великолепные образцы женской силы и здоровья, без краски смущения за свою наготу, гордые своей красотой, не прикрытые ничем, кроме богатого плаща своих волос.

Глаза их переливались влагой, точно жемчуг в воде, тело их было белоснежно, крепко и облито золотым светом; полураскрытые уста их дышали благоуханием, более пьянящим, чем запах жасмина.

Это они по вечерам блуждают по садам и рощам или в глубине леса, разыскивая на тенистых дорожках мужскую душу, чтобы насладиться ее обладанием. Если проходят мимо них юноша и молодая девушка, — они стараются умертвить девушку. А если им не удастся, они внушают еще сопротивляющейся девушке такую страсть, что она тут же отдается возлюбленному; и тогда половина поцелуев достается фее цветов.

Уленшпигель и Неле видели и духов звезд, духов вихрей, ветерков и духов дождя. Одни за другими сходили с высот небесных эти легкокрылые юноши, оплодотворяющие землю.

За ними появились на небесах птички-души, милые ласточки. И свет при их появлении стал еще живее. И гномы и карлики, фси цветов и духи гор, лешие и водяные, духи огня и земли вскричали разом:

— Свет! Сок! Слава весне; слава владыке!

Хотя единодушный крик их был громче рева бушующего моря, завывания урагана и свиста разнузданного ветра, но он прозвучал как величаявая музыка в ушах Неле и Уленшпигеля, которые безмолвно и неподвижно прижались к корявому стволу громадного дуба.

Но еще больше испугались они, когда увидели, что духи тысячами стали рассаживаться на исполинских пау-

ках, жабах с слоновыми хоботами, клубках свившихся змей; на крокодилах, ставших на дыбы, опираясь на хвост и неся духов в своей разверстой пасти; на змеях, на подвижных телах которых сидело верхом по тридцати и более карликов и карлиц; на сотнях тысяч насекомых, громадных, как Голиаф, вооруженных зубчатыми серпами и косами, семизубыми вилами и всяческими смертоубийственными орудиями. С диким воем и скрежетом боролись они друг с другом, сильнейший пожирал слабейшего и тут же толстел, доказывая этим, что Смерть дает начало Жизни и Жизнь — Смерти.

И из всей этой кишашей, мятущейся, подвижной, волнами ходящей толпы духов несся неустанный крик, подобный раскатам глухого грома и грохоту сотен прядилен, слесарен, сукновален.

Вдруг появились духи соков земных, короткие, коренастые увальни, бедра которых были толсты, как гейдельбергская бочка, а икры — как винные бочонки; мышцы которых были раздуты силой, как будто состояли из больших и малых яиц, сросшихся между собой. И вся эта масса мускулов была обтянута красноватой жирной кожей, блестящей так же, как их жидкие бородачки и рыжие волосы. В руках их были необъятных размеров чаши с какой-то странной жидкостью.

При виде их в толпе духов поднялась радостная суетня и стрекотанье; деревья и прочие растения качались взад и вперед, земля трескалась, чтобы вобрать в себя влагу.

И духи соков опорожнили свои чаши. И все вокруг зазеленело, распустилось, зацвело. Трава на лугах переполнилась стрекочками насекомыми, небо усеяли птицы и бабочки. И всё лили и лили сверху духи, и всякий, сообразно своим силам, напивался сладостными соками. Феи цветов раскрыли роты, кружились вокруг своих рыженьких виночерпиев, целуя их, чтобы выпросить побольше питья. Другие просительно складывали руки. Третьи блаженно подставляли себя струям. Но все, в беге или в полете, в движении и неподвижности, в голоде и жажде, — все рвались к питью и при каждой полученной капле становились всё живее. Здесь уж не было старых, но все, красивые и уродливые, были равно полны юношеской силы и жизнерадостной молодости.

И они смеялись, и кричали, и пели, гнались друг за другом по ветвям, как белки, каждый самец искал свою самку и под сводом небес свершал священное дело природы.

И духи соков земных поднесли царю и царице большой кубок, полный их напитка. И царь и царица выпили и поцеловались.

Затем царь, держа царицу в объятиях, вылил остаток из своего кубка на деревья, цветы и духов и воскликнул:

— Слава жизни! Слава чистому воздуху! Слава силе!

И все вскричали:

— Слава природе! Слава ее силе!

И Уленшпигель обнял Неле, и, во всеобщем сплетении, началась пляска — пляска, подобная круговороту листочков в вихре ветра, пляска, в которой все мчится и колышется: деревья и травинки, жуки и бабочки, земля и небо, царь и царица, феи цветов, гномы, водяные, лешие, блуждающие огоньки, косолапые карлики, духи гор, духи звезд, сотни тысяч чудовищных насекомых, сплетающих свои лезвия, свои зазубренные косы и семизубые вилы; хоровод безумствующих, несущийся в пространстве, пляска вселенной, в которой кружились солнце, месяц, звезды, светила, ветер и облака.

И дуб, к которому прислонились Уленшпигель и Неле, неся в круговороте, и Уленшпигель шептал Неле:

— Погибли мы, дорогая!

Один из духов услышал их, увидел, что это смертные, и с криком: «Здесь люди! Здесь люди!» — оторвал их от дереза и бросил в общий хоровод.

И Неле с Уленшпигелем мягко упали на спины духов, и те перебрасывали их один другому, восклицая:

— Здравствуйте, люди! Привет вам, черви земные! Кому нужны мальчик и девочка? В гости пришли они к нам, немощные!

И Неле с Уленшпигелем перелетали из рук в руки с криком:

— Помилуйте нас!

Но духи не слушали их, и они кувыркались в воздухе вверх ногами, вниз головой, кружились, как пушинки в урагане, а духи покрикивали:

— Сюда, самцы и самочки! Пусть попляшут с нами!

Фей цветов хотели оторвать Неле от Уленшпигеля, стали бить ее и убили бы, но царь весны мановением руки вдруг остановил пляску и приказал:

— Привести этих двух насекомых пред мои глаза!

И их оторвали друг от друга, и каждая из разлучниц, цветочных фей, пыталась разлучить Уленшпигеля с соперницей и шептала ему:

— Тиль, разве ты не готов умереть ради меня?

— Сейчас и умру, — отвечал Уленшпигель.

А древесные карлы, несшие Неле, говорили:

— Почему ты не дух, как мы, — ты бы стала нашей.

— Потерпите, — отвечала Неле.

Так приблизились они к престолу и, увидя золотую секиру и железную корону, затрепетали всем телом.

И царь обратился к ним:

— Зачем явились вы сюда, ничтожные?

Они не отвечали.

— Я знаю тебя, ведьмино отродье, — сказал царь, — и тебя, порождение угольщика. Но так как вы проникли в эту мастерскую природы с помощью чародейства, то почему заткнуты ваши клювы, точно у каплунов, обьевших хлебным мякишем?

Неле задрожала, увидев страшное чудовище; но к Уленшпигелю вернулось его мужественное спокойствие, и он ответил:

— Пепел Клааса стучит в мое сердце. Смерть властвует над Фландрией и во имя папы косит сильнейших мужчин и прекраснейших девушек. Права Фландрии попраны, ее вольности отобраны, голод грызет ее; ее гкачи и суконщики покинули ее и ищут свободного труда на чужбине. Если ей не придут на помощь, она погибнет. Ваши величества! Я, маленький бедняк, рожденный на этот свет, как всякий другой, жил, как мог, темно и нечисто, не зная ни добродетели, ни истины, не достойный милости ни человеческой, ни божеской. Но Сооткин, мать моя, умерла от горя и пыток, Клаас, мой отец, умер страшной смертью на костре; я хотел отомстить за них и однажды уж попытался это сделать. Я хотел также видеть более счастливой эту бедную землю, усеянную их костями, и просил господ о гибели их убийц, но он не услышал меня. Усталый от жалоб, я прибег к темным заклинаниям Катлины, я и моя подруга в трепете

лежим у подножия престола и молим о спасении этой страны.

Царь и царица вместе ответили:

Средь развалин, в огне  
И мечом на войне —  
Ищи Семерых!

Там, где смерть, боль и страх,  
И в крови и в слезах —  
Найди Семерых!

Безобразны, злы, ужасны  
Семь бичей земли несчастной.  
Жги Семерых!

Слушай, жалкий, примечай.  
Ты доволен? Отвечай!  
Ищи Семерых!

И все духи подхватили хором:

Лишь только север  
Обнимется с западом —  
Бедствиям наступит конец...  
Ищи Семерых  
И заветный Пояс их!

Слушай, жди и примечай.  
Возлюби Семерых  
И заветный Пояс их!

— Но, ваше величество, и вы, господа духи, — сказал Уленшпигель, — я ведь не понимаю вашего языка. Вы, видно, смеетесь надо мной.

Но те, не слушая его, отвечали:

Лишь только север  
Обнимется с западом —  
Бедствиям наступит конец...  
Возлюби Семерых  
И заветный Пояс их!

И они пели с такой могучей, громозвучной, согласной силой, что задрожала земля и сотряслось небо. И птицы свистели, совы кричали, воробьи пищали от страха, с клеточком металась в тревоге орлы.

И звери земли — львы, змеи, медведи, олени, лани, волки, собаки и кошки — ревели, выли, рычали, визжали, свистели, лаяли, мяукали.

А духи пели:

Слушай, жди и примечай!  
Возлюби Семерых  
И заветный Пояс их!

Запели петухи, и все духи растаяли в тумане, кроме злого гнома, владыки подземных руд, который схватил Неле и Уленшпигеля и немилосердно швырнул их в бездну.

И они очнулись, лежа друг подле друга, точно после сна, и вздрагивали от прохладного утреннего ветерка.

И Уленшпигель смотрел на прелестное тело Неле, позлащенное пурпурным отблеском восходящего солнца.

Книга вторая







I



АННИМ сентябрьским утром, захватив свою палку, три флорина, полученных на дорогу от Катлины, кусок свиной печенки и краюху хлеба, вышел в путь Уленшпигель по направлению к Антверпену искать Семерых. Неле еще сдала.

По пути увязалась за ним собака, почуявшая печенку, и ни за что не хотела отстать от него. Уленшпигель прогонял ее, но, видя, что она упорно бежит за ним, он обратился к ней:

— Собачка милая, нехорошо ты это выдумала — покинуть свой дом, где ждут тебя добрые яства, отличные объедки и мозговые косточки, чтобы искать приключений

с неведомым странником, у которого подчас и корки не будет, чтобы накормить тебя. Послушайся меня, глупая собачка, и вернись к своему хозяину. Беги от дождя, снега, града, пыльного ветра, тумана, гололедицы и прочих сомнительных закусок, выпадающих на долю беспризорного бродяги. Сиди спокойно у домашнего очага, грейся, свернувшись клубочком, у веселого огонька. А я пойду один моим путем, по грязи и пыли, в холод и жару, сегодня в пекло, завтра в мороз, в пятницу сытый, в воскресенье голодный. Вернись туда, откуда пришла, — это будет самое разумное с твоей стороны, о неопытная собачка!

Но песик будто не слышал Уленшпигеля. Он вертел хвостом, прыгал, ластился и лаял от жадности. Уленшпигель думал, что все это выражает дружбу, но он забыл о печенке, лежавшей в его сумке.

Так и шли они с собакой.

Пройдя около мили, вдруг увидели они на дороге повозку; запряженный в нее осел стоял, понутив голову. На откосе у дороги сидел между двух кустиков чертополоха толстяк, обгладывавший баранью ногу, которую он держал в одной руке; в другой он держал бутылку, из которой потягивал что-то; в промежутках между едой и питьем он стонал или всхлипывал.

Уленшпигель остановился, собака тоже. Почувяв запах бараньей ноги, она бросилась вверх по откосу, присела подле толстяка и стала теребить его за куртку, требуя своей доли угощения, но тот оттолкнул ее локтем и с жалобными стенаниями поднял вверх свою баранину. Изглодавшаяся собака стала подвывать ему. Осел, запряженный в повозку и потому напрасно тянувшийся к чертополоху, обозлился и заревел.

— Чего тебе, Ян? — обратился толстяк к ослу.

— Ничего, — ответил Уленшпигель, — он просто хотел бы позавтракать чертополохом, который расцвел вокруг вас, как терние в Тессендерлоо, на церковных хорах, вокруг Иисуса Христа. Конечно, собачка была бы не прочь поработать челюстями над вашей бараньей костью, но я пока что покормлю ее свиной печенкой.

Пока собака уничтожала печенку, толстяк, осмотрев кость со всех сторон, обглодал ее дочиста и тогда только бросил собаке, которая накинулась на нее, придерживая лапами на траве.

Между тем толстяк повернул голову к Уленшпигелю, и тот узнал Ламме Гудзака из Дамме.

— Ламме, — сказал он, — что ты тут делаешь: жрешь, пьешь и хнычешь? Не надрал ли тебе без всякого почтения уши какой-нибудь солдат?

— О жена, жена моя! — простонал Ламме.

И он опять прильнул к бутылке, но Уленшпигель опустил руку на его плечо.

— Не пей, — сказал он. — Непрерывное питье только почкам полезно. Лучше оно пригодилось бы тому, у кого с собой бутылки нет.

— Говоришь ты хорошо, — сказал Ламме, — а вот горазд ли ты выпить?

И он протянул ему бутылку.

Уленшпигель опрокинул ее содержимое себе в рот и, возвращая, сказал:

— Зови меня испанцем, если осталась хоть капля, чтоб напоить воробья.

Ламме посмотрел на бутылку, жалобно вздохнул, порылся в своем мешке, вытащил другую бутылку и кусок колбасы и, разрезав на ломтики, начал жевать так же мрачно.

— Что ж, ты всегда так ешь без остановки? — спросил Уленшпигель.

— Часто, сын мой, — ответил Ламме, — но только для того, чтобы разогнать печальные мысли. Где ты, жена моя? — простонал он, вытирая слезы и нарезая десять ломтиков колбасы.

— Ламме, — сказал Уленшпигель, — ешь не так быстро и не будь безжалостен к бедному путнику.

С плачем протянул ему Ламме четыре толстых кружочка, и Уленшпигель ел, умиляясь их чудесному вкусу. Но Ламме не переставал жевать и скулил, приговаривая:

— Жена моя, хорошая моя жена! Какая она была нежная и милая, легкая, как бабочка, быстрая, как молния! Она пела, как жаворонок. Только наряды слишком любила. И шло же ей все! Но и цветы хороши в наряде. Если бы ты видел, сын мой, ее маленькие ручки, созданные для ласки, ты не позволил бы ей коснуться сковороды или горшка. От кухонного огня потемнела бы ее белоснежная кожа. А глаза! При одном взгляде на них я таял от умиления... Выпей глоточек, я после тебя... Ах,

лучше бы она умерла! Знаешь, Тиль, у нас в доме все заботы я взял на себя, чтобы она не знала ни малейшего труда; я подметал комнаты, я готовил наше супружеское ложе, на котором по вечерам она вытягивалась, истомленная вольным житьем; я мыл посуду и стирал белье, даже сам гладил... Ешь, Тиль, это гентская колбаса... Часто она приходила с прогулки слишком поздно к ужину, но я так радовался при виде ее, что не смел ее упрекнуть; ибо я был счастлив, когда она ночью не поворачивалась ко мне спиной, надув губы. Все, все потерял я! Пей, это брюссельское на манер бургонского.

— Почему же она сбежала? — спросил Уленшпигель.

— Почему я знаю? — отвечал Ламме. — Увы, где то времечко, когда я ухаживал за ней в надежде жениться, а она убегала от меня, любя и робея? Ее круглые белые руки были обнажены, и когда она чувствовала, что я смотрю на них, она опускала на них рукава. А иногда я дерзал приласкать ее, и я целовал ее прекрасные глаза, которые она зажмурировала в это мгновение, и крепкий полный затылок; она вздрагивала, вскрикивала слегка, отворачивалась и отталкивала меня, щелкая в нос. И она смеялась, когда я кричал «ай!» и тоже нежно хлопал ее. Только и были между нами игры да смешки!.. Тиль, осталось еще вино?

— Да, — ответил Уленшпигель.

Выпив, Ламме продолжал:

— А то, когда она была ласковее настроена, она, бывало, обовьет мою шею руками и говорит: «Красавец ты мой!» и целует, как безумная, сто раз подряд, все в лоб и в щеки и никогда в губы; и когда я спрашивал ее, почему это она среди таких вольностей налагает на себя этот запрет, она бежала к своему ларцу, доставала из стоявшей на нем чаши куколку, всю в шелку и бисере, и, подбрасывая и укачивая, говорила: «Не хочу иметь такого!» Верно, мать, чтобы оберечь ее добродетель, наговорила ей, что дети рождаются от поцелуя в губы. Ах, где эти радостные мгновения! Где эти сладостные ласки!.. Взгляни, Тиль, нет ли там в сумке ветчины?

— Пол-окорока, — ответил Тиль, и Ламме проглотил все целиком.

Уленшпигель посмотрел на него и сказал:

— Эта ветчина очень полезна для моего желудка.

— И для моего тоже, — ответил Ламме, ковыряя

пальцами в зубах, — но я не увижу больше моей красавицы: она убежала из Дамме. Хочешь, поедем вместе искать ее?

— Едем.

— А в бутылке ничего не осталось?

— Ничего, — ответил Уленшпигель.

Они сели в повозку, и осел с прощальным жалобным ревом потащил их вперед.

А собака, наевшись досыта, убежала, не сказав ни слова.

## II

Повозка тряслась по плотине, отделявшей канал от пруда. Уленшпигель задумчиво поглаживал ладонку с пеплом Клааса, висевшую у него на груди. Он спрашивал себя, правда или ложь было его видение, издевались над ним духи или загадочно поведали ему, что он действительно должен разыскать, чтобы спасти землю своих отцов.

Тщетно бился он и терзался, стараясь разгадать смысл веления; никак не мог он понять, кто такие Семеро и о каком поясе речь.

Он перечислял: умерший император, живой король, правительница Маргарита, папа римский, Великий инквизитор, генерал иезуитского ордена — вот шесть страшных палачей его родины, которых он сжег бы без колебания. Но он понимал, что это не они, ибо слишком уж легко их сжечь; значит, надо искать Семерых где-то в другом месте. И он повторял про себя:

Лишь только север  
Обнимется с западом —  
Бедствиям наступит конец...  
Возлюби Семерых  
И заветный Пояс их!

«Ах, — говорил он себе, — в смерти, в крови и в слезах искать Семерых, сжечь Семерых, возлюбить Семерых! Кто они? Мой бедный ум терзается понапрасну: ибо кто же сжигает то, что любит?..»

Повозка оставила за собой уже добрую часть пути, как вдруг впереди послышался скрип шагов по песку и голос, напевавший песню:

Ушел мой ветреный дружок..  
Его ты, путник, видеть мог:  
Он бродит где-то дни, недели  
Где мой дружок?

Как хищник, что в ягненка целит,  
Взял сердце он мое врасплох..  
Он молод и собой не плох.  
Где мой дружок?

Коль встретится, скажи, что Неле,  
Его искавши, сбилась с ног..  
Тиль, отзовись, не будь жесток!  
Где мой дружок?

Дни горлилки осиротели,  
Коль с ней расстался голубок..  
Тоскует сердце верной Неле —  
Где мой дружок?

Уленшпигель похлопал Ламме по животу и приказал:  
— Не сопи так, толстопузый.

— Ах, — вздохнул Ламме, — это не легко для человека моего объема.

Но Уленшпигель уже не слушал его, а спрятал голову под холщовый верх повозки и, подражая хриплому голосу едва очухавшегося пьяницы, запел:

Он здесь, твой ветреный дружок,  
А с ним трясется, как мешок,  
Обжора толстый бок о бок..  
Здесь твой дружок!

— Тиль, — сказал Ламме, — сегодня у тебя злой язык.

Уленшпигель, попрежнему не слушая его, высунул голову из-за занавески и сказал:

— Неле, узнаешь?

Она вздрогнула от неожиданности, разом рассмеялась и расплакалась и сквозь слезы крикнула:

— Вижу тебя, негодный!

— Неле, — сказал Уленшпигель, — если тебе угодно меня побить, то у меня есть здесь палка достаточно увесистая, чтобы чувствовать ее удары, и суковатая, чтобы память от нее оставалась надолго.

— Тиль, — спросила Неле, — ты ушел искать Семейных?

— Да, — ответил он.

Неле несла туго набитую сумку. Протянув ее Уленшпигелю, она сказала:

— Тиль, я подумала, что нехорошо человеку пускаться в странствие, не имея в запасе жирного гуся, окорока, гентских колбас. Закуси и вспомни обо мне.

Так как Уленшпигель смотрел на Неле, не собираясь взять ее сумку, Ламме высунул голову с другой стороны занавески и сказал:

— Предусмотрительная девица, если он не возьмет, то это только по рассеянности; давай сюда и окорок и гуся, навяжи мне и ту колбасу: я их сберегу для него.

— Что это за добродушная рожа? — спросила Неле.

— Это жертва супружеской жизни, — ответил Уленшпигель, — истерзанный страданиями, он высох бы, как яблоко в печи, если бы не восстанавливал свои силы непрерывным подкреплением пищей.

— Воистину так, сын мой, — вздохнул Ламме.

Солнце палило своими пламенными лучами голову Неле. Она накрылась передником. Уленшпигелю хотелось побыть с ней вдвоем, и он сказал Ламме:

— Смотри, смотри, вон женщина на лугу.

— Ну, вижу.

— Не узнаешь, что ли?

— О, — вздохнул Ламме, — разве это моя? Она и одета не как горожанка.

— Ты еще сомневаешься, слепой крот?

— А если это не она? — сказал Ламме.

— Тогда тоже ничего не теряешь: там левее, к северу, кабачок, где найдешь отличное пиво. Мы там встретимся с тобой и утолим естественную жажду.

Ламме выскочил из брички и размашистыми прыжками побежал к женщине, переходившей через лужайку.

— Влезай же, — сказал Уленшпигель Неле.

Он помог ей взобраться, усадил рядом с собой, снял передник с ее головы и накидку с плеч; потом, покрывая ее поцелуями, спросил:

— Куда ты шла, голубка?

Она не ответила, но замерла от счастья. Уленшпигель тоже не помнил себя от радости.

— Вот ты здесь! — говорил он. — Цветы шиповника на изгородях грубее твоей свежей кожи. Ты не королева, но дай я возложу на тебя венец поцелуев. Прелестные ручки, какие вы нежные, какие розовые! Амур создал вас

для объятий. О девочка дорогая, мои грубые мужские руки не поцарапают эти плечи? Легкий мотылек спускается на алую гвоздику, но имею ли я, такой чурбан, право покоиться на твоей сверкающей белизне, не омрачая ее? Господь на небесах, король на троне, солнце там, в победной вышине, — а я, неужто я здесь и господь, и король, и солнце, — ведь я подле тебя! О, волосы твои нежнее шелка. Неле, я бью, я рву, я неистовствую, но не бойся меня, радость моя. Какая ножка! Почему она так бела? Ее мыли в молоке?

Она хотела подняться.

— Чего ты боишься? — говорил Уленшпигель. — Не солнца ли, которое сияет над нами и покрыло тебя своим пурпуром? Не опускай ресниц. Смотри в мои глаза, — какой чудный огонь ты зажигаешь в них. Слушай, дорогая, слушай, красавица: молчит час полудня. Пахарь дома ест свою похлебку. Почему же нам не жить нашей любовью? Я хотел бы тысячу лет отсчитать индийскими жемчужинами на твоих коленях.

— Лыстец! — сказала она.

И солнце светило сквозь белую занавеску повозки, и жаворонок пел, трепеща, над полями, и голова Неле лежала на плече Уленшпигеля.

### III

Между тем, запыхавшись, покрытый крупными каплями пота, явился Ламме, фыркающая как дельфин.

— Ах, — говорил он, — я родился под несчастной звездой. Бежал изо всех сил, нагнал, наконец, женщину — и увидел, что это не она. По лицу ее видно, что ей добрых сорок пять, а по повязке — что она никогда не была замужем. Спрашивает меня грозно, чего я тут с моим пuzом ищу в клевере.

«Ищу, — говорю ей вежливо, — мою жену, которая меня бросила; приняв вас за нее, я и побежал к вам».

На это пожилая девица ответила мне, чтобы я поскорее убирался туда, откуда пришел. И что если меня бросила моя жена, то отлично сделала, так как все мужчины негодяи, проходимцы, распутники, еретики, обманщики и отравители и надуют девушек даже зрелого возраста.

И что если я немедленно не уберусь, то она натравит на меня свою собаку.

Я послушался не без трепета, так как у ног ее лежал и ворчал громадный пес. Перебравшись через ее между, я присел отдохнуть и стал закусывать кусочком твоей ветчины. Вдруг слышу позади шорох, обернулся, а там пес старой девы, но тут он уже не ворчал на меня, а вертел хвостом и смотрел ласково и просительно: захотелось ему моей ветчинки. Ну, бросил ему кусочек-другой, вдруг бежит его хозяйка с криком: «Куси его, куси, сынок!»

Тут я помчался что есть духу, а на штанах моих повис уже пес и вырвал из них кусок с моим мясом. Я от боли пришел в ярость, обернулся и так треснул его палкой по передним ногам, что по крайней мере одну из них перешиб пополам. Он свалился, крича по-собачьи: «Смилуйся!» — и я помиловал его. А хозяйка его тем временем, за отсутствием камней, швырнула в меня комом земли; я бежал что было мочи.

Ну, не гадко ли, не позорно ли, что девушка, не найдя — по малой привлекательности — себе мужа, вымещает это на таком невинном несчастном человеке, как я?

Удрученный, направился я к трактиру, который ты мне указал, и хотел спросить там для утешения кружку пива. Но и тут разочарование: только я переступил порог, вижу — дерутся мужчина и женщина. Я спрашиваю, не угодно ли им будет прекратить этот бой, чтобы дать мне кружку темного пива вместимостью в одну или шесть пинт. На это баба — настоящая сушеная треска с виду — яростно отвечает, что если я не уберусь в мгновение ока, то она угостит меня тем самым деревянным башмаком, которым она обрабатывает голову своего мужа. И вот я вернулся, вспотел, хоть выжми, и устал до смерти. Найдется ли что поесть?

— Найдется, — ответил Уленшпигель.

— Наконец-то! — вздохнул Ламме.

#### IV

Так в компании продолжали они свой путь. Осел, откинув уши назад, тащил повозку.

— Смотри, Ламме, — сказал Уленшпигель, — какие хорошие мы четверо: осел, верная тварь господня, пощи-

пывает себе колючки; ты, толстячок, разыскиваешь ту, которая тебя покинула; а эта кроткая девушка с нежным сердцем нашла недостойного ее возлюбленного, то есть меня.

Что ж, бодрее, дети мои! Листья желтеют, и звезды ярче сияют на небосклоне, скоро уляжется солнышко в перину осенних туч, придет зима, образ смерти, и покроет снежными пеленами тех, кто покоится под нашими ногами, а я пойду в путь искать спасения земли отцов. Бедные усопшие, ты, Сооткин, умершая от горя, и Клаас, претерпевший смерть на костре! Дубок любви, плющ нежности, я, ваш отпрыск, выросший из вас, тяжело скорблю! Я отомщу за вас. Пепел Клааса стучит в мое сердце.

— Не следует оплакивать тех, кто умер за правду, — сказал Ламме.

Но Уленшпигель попрежнему был задумчив.

— Пришел час разлуки, — сказал он, — и надолго, Неле: может быть, никогда больше мне не видеть твоего милого личика.

Неле взглянула на него своими ясными, лучистыми глазами и сказала:

— Оставь повозку, пойдем со мной в лес; там будет у нас хорошая еда: я умею отыскивать растения и приманивать птиц.

— Девочка, — сказал Ламме, — нехорошо, что ты пытаешься удержать Уленшпигеля на его пути, когда он должен отыскать Семерых и помочь мне найти мою жену.

— Только не сейчас! — вскричала Неле, плача и сквозь слезы улыбаясь своему другу.

Увидев это, Уленшпигель сказал Ламме:

— Поверь, когда соскучишься по новым неприятностям, обязательно найдешь свою жену.

— Что ж это, Тиль, — сказал Ламме, — ты из-за этой девушки хочешь оставить меня одного в моей повозке? Ты не отвечаешь и думаешь о лесе, где нет ни Семерых, ни моей жены. Лучше будем искать их на этой вымощенной дороге, по которой так легко катится повозка.

— Ламме, — сказал Уленшпигель, — у тебя в повозке полный мешок еды: ты, стало быть, не умрешь с голоду, если и без меня поедешь до Коолькерке, где я догоню тебя. В одиночестве ты там лучше разведаеть, в какую сторону направиться тебе на поиски твоей жены. Слушай и заме-

чай. Вот так, шажком, проедешь три мили до Коолькерке — «Холодной церкви», которая так называется потому, что она, — как и многие другие, впрочем, — обвеивается ветрами со всех четырех сторон. На колокольне ее есть флюгер в виде петуха, который вертится на ржавых петлях во все стороны. Его скрип возвещает бедным мужчинам, потерявшим своих возлюбленных, на каком пути их разыскивать. Только надо раньше ударить ореховым прутиком семь раз по каждой стене. Скрипят петли под северным ветром — иди на север, но осторожно, ибо северный ветер — ветер войны. Дует с юга — вперед на крыльях, ибо это ветер любви. Веет восточный — спеши рысью: там свет и радость. Подул западный — иди потихоньку: это ветер дождя и слез. Поезжай, Ламме, в Коолькерке и жди меня там.

— Еду, — ответил Ламме и двинулся в путь.

Пока он приближался к Коолькерке, теплый, но сильный ветер нагнал серые тучи, которые неслись толпами по небу, точно стадо овец; и деревья сердито шумели, как волны бушующего моря. Уленшпигель проголодался, и Неле стала искать сладкие коренья, но нашла только поцелуи, полученные от милого, да желуди.

Уленшпигель поставил силки и насвистывал, чтобы заманить птицу; он рассчитывал на жаркое. Соловей сел на листву подле Неле; но она не схватила его, так как хотела послушать его пение. Прилетела коноплянка, но Неле пожалела веселую и гордую птичку; потом слетел жаворонок, но Неле посоветовала ему, чем вертеться на смертоубийственном острие вертела, лучше подняться к высотам небесным и оттуда воспеть хвалебную песнь природе.

И она говорила правду, так как Уленшпигель обстругал прутик, который должен был заменить вертел, развел яркий костер и ждал своих жертв.

Но птицы не слетались, только несколько злобных воронов каркало над их головами.

И Уленшпигелю не пришлось поесть.

Между тем настало время Неле вернуться к Катлине.

Рыдая, пошла она обратно, и Уленшпигель смотрел ей вслед.

Но она вернулась и кинулась ему на шею, говоря:

— Ухожу!

И так подряд раз двадцать и более.

Наконец она в самом деле ушла, и Уленшпигель остался один и двинулся в путь за Ламме.

Он нашел друга у подножия колокольни. Ламме сидел, расставив колени, между которыми стояла большая кружка пива, и мрачно грыз ореховый прутик.

— Тиль, — сказал он, — ты, кажется, послал меня сюда лишь затем, чтобы остаться вдвоем с девочкой. Как ты сказал мне, я семь раз стучал ореховым прутиком по каждой стене колокольни, но, хотя ветер дует, как дьявол, петли не скрипели.

— Значит, их смазали маслом, — ответил Уленшпигель.

И они направились в герцогство Брабантское.

## V

Мрачно и неустанно целые дни, а то и ночи строчил король Филипп бумаги и исписывал пергаменты. Им вверял он думы своего жестокого сердца. Так как он никого не любил в этой жизни и знал, что и его никто не любит, он хотел сам нести бремя своей необъятной власти. Но это был немощный Атлант, раздавленный непосильным бременем. Мрачен и раздражителен был он, и непосильная работа истощала его слабое тело. Невыносимо было для него всякое радостное лицо, и более всего, за ее веселье, ненавидел он Фландрию: ненавидел он купцов Фландрии за их богатство и роскошь; ненавидел дворянство Фландрии за его свободный дух, за его независимость; ненавидел он всю Фландрию за ее мужественную жизненность. Он знал, — ибо ему сказали об этом, — что задолго до того, как кардинал де Куза около 1380 года, указав на пороки церкви, проповедовал необходимость преобразования, негодование против папы и римской церкви проявилось во Фландрии в самых различных сектах и кипело во всех головах, как вода в закрытом котле.

Упрямый, как мул, он был убежден, что воля его должна тяготеть над всем миром, подобно воле божией. Он хотел, чтобы Фландрия, отвыкшая от подчинения, склонилась под старым ярмом, не добившись никаких реформ. Он хотел видеть свою святейшую мать, римско-католическую апостолическую церковь, нераздельной и вселенской,

без ограничений и преобразований. Никаких разумных оснований для этого у него не было, кроме того, что он так хотел. И он упорствовал в этом, как глупая баба, и под гнетом своих нелепых мыслей метался ночью на постели, точно на терновом ложе.

— Да будет так, святой Филипп! Да будет так, господи боже! Хоть бы мне пришлось обратить все Нидерланды в одну общую могилу и сбросить в нее всех жителей страны, они возвратятся к тебе, святой покровитель, к тебе, пресвятая дева, к вам, святители небесные.

И он старался поступать по слову своему и стал более ревностным католиком, чем папа римский, чем вселенские соборы.

И Уленшпигель, и Ламме, и весь народ фландрский с ужасом представляли себе, как там, в мрачной твердыне Эскориала, сидит этот коронованный паук с длинными лапами и разверстой пастью и плетет паутину, чтобы запутать их и высосать кровь их сердца.

Несмотря на то, что папская инквизиция за время правления Карла загубила сотни тысяч христиан на костре, на плахе и на виселице, что достояние казненных мучеников перелилось в казну императора и короля, точно дождь в сточную канаву, — всего этого казалось мало королю Филиппу. Он навязал стране новых епископов и ввел здесь испанскую инквизицию.

И городские глашатаи при звуке труб и литавр читали указы, грозившие смертью на костре всем еретикам, мужчинам, женщинам и девушкам, если они не отрекутся от своих заблуждений, и виселицей, если они отрекутся. Женщинам и девушкам грозило погребение заживо, и палачи топтали бы их тела.

И пламя мятежа вспыхнуло по всей стране.

## VI

Пятого апреля, перед пасхой, ко дворцу правительницы, герцогини Пармской, в Брюсселе, явились дворяне — граф Людвиг Нассауский, Кейлембург и Бредероде, этот геркулес-гуляка, и с ними триста прочих дворян. По четыре в ряд шествовали они и поднимались по дворцовой лестнице.

Войдя в зал, они вручили правительнице прошение, где была изложена их просьба побудить короля Филиппа отменить указы, касающиеся веры и введения испанской инквизиции, ибо, заявляли они, под влиянием недовольства в нашей стране могут возникнуть волнения, которые приведут к разорению и всеобщему обнищанию.

Прожение это получило название: *Компромисс*.

Берлеймон, который впоследствии предал родину и бесчеловечно расправлялся со всеми в стране своих отцов, стоял подле ее высочества; издеваясь над бедностью некоторых из дворян, явившихся с прошением, он шепнул герцогине:

— Ваше высочество, не бойтесь, это только нищие (гнецх).

Он намекал на то, что эти дворяне разорились или на королевской службе, или стараясь соперничать в пышности с испанскими придворными.

Выражая свое презрение к словам господина де Берлеймона, дворяне в дальнейшем заявили, что считают почетным называться нищими (гёзами) за службу королю и на благо родины.

Они стали носить на шее золотую медаль, на одной стороне которой было вычеканено изображение короля, а на другой — две руки, сплетенные над нищенской сумой, вокруг была надпись: «Верны королю вплоть до нищенской сумы». На шляпах и шапках они носили золотое изображение нищенской лохани и колпака.

А Ламме в это время влачил свое пузо, разыскивая жену по всему городу, но нигде не находил ее.

## VII

Однажды утром Уленшпигель сказал Ламме:

— Пойдем со мной засвидетельствовать почтение одной высокопоставленной, высокородной, могущественной, грозной особе.

— Она скажет мне, где моя жена?

— Если знает, то скажет.

И они отправились к Бредероде, геркулесу-гуляке.

Он был во дворе своего замка.

— Что тебе нужно? — спросил он Уленшпигеля.

— Поговорить с вами, ваша милость.

— Говори.

— Вы могучий, прекрасный, храбрый рыцарь, — начал Уленшпигель, — однажды вы раздавили француза в панцире, как слизняка в ракушке. Но вы не только сильны и храбры — вы ведь и умны. Почему же, скажите, носите вы эту медаль с надписью: «Верны королю вплоть до нищенской сумы»?

— Да, почему, ваша милость? — спросил также Ламме.

Но Бредероде не отвечал и смотрел на Уленшпигеля. А тот продолжал:

— Почему вы, высокие господа, хотите оставаться верными королю вплоть до нищенской сумы? Может быть, он к вам особенно милостив или отечески расположен к вам? Не лучше ли, вместо того чтобы хранить верность этому палачу, отобрать у него все владения, чтобы он сам был верен нищенской суме?

И Ламме кивал головой в знак согласия.

Бредероде смотрел на Уленшпигеля своими живыми глазами и, видя его добродушное лицо, улыбнулся.

— Если ты не шпион короля Филиппа, — сказал он, — то ты добрый фламандец, и я тебя награжу на всякий случай за то и за другое.

Он повел его в буфетную, и Ламме следовал за ними.

Здесь он дернул Уленшпигеля за ухо так, что кровь пошла, и сказал:

— Это шпиону.

Уленшпигель не крикнул.

— Подай ему чашу с глинтвейном, — сказал Бредероде дворецкому.

Тот принес большой ковш и налил из него в бокал теплого вина, ароматом которого наполнился воздух.

— Пей, — сказал Бредероде Уленшпигелю, — это за доброго фламандца.

— Ах, добрый фламандец, — вскричал Уленшпигель, — каким прекрасным, ароматным языком говоришь ты! Даже святые не умеют так говорить.

Он выпил кубок до половины и передал его Ламме.

— А это что за рорзас (пузан), который получает награду, ничего не совершив? — спросил Бредероде.

— Это мой друг Ламме, который всякий раз, когда пьет теплое вино, радуется, что найдет опять свою жену.

— Да, — сказал Ламме, умиленно припав к кубку.

— Куда вы теперь держите путь? — спросил Бредероде.

— Идем искать Семерых, которые спасут честь Фландрии, — ответил Уленшпигель.

— Каких Семерых?

— Когда я найду их, тогда скажу вам, каких.

А Ламме, пришедший в возбуждение от вина, задал Уленшпигелю вопрос:

— А что, Тиль, не поискать ли нам мою жену на луне?

— Прикажи поставить лестницу, — ответил Уленшпигель.

Это было в мае, в зеленом месяце мае.

— Вот и май на дворе, — сказал Уленшпигель Ламме. — Ах, синеют небеса, носятся веселые ласточки. Смотри, как краснеют от сока ветви деревьев. Земля полна любви. Самое подходящее время вешать и сжигать людей за их веру. Добрались они сюда, мои добренькие инквизиторчики. Какие благородные лица! Им дана вся власть исправлять, наказывать, уничтожать, предавать светскому суду. Ох, какой чудный май! Бросать в темницы, вести процессы, не соблюдая законов, сжигать, вешать, рубить головы, закапывать живьем женщин и девушек. Щеглята поют на деревьях! Особое внимание сосредоточили добрые инквизиторы на людях с достатком: король — наследник их достояния. Бегите в луга, девушки, пляшите там под музыку волынок и свирелей! О чудный месяц май!

И пепел Клааса стучал в сердце Уленшпигеля.

— Ну, пора в путь, — сказал он Ламме. — Счастлив тот, кто в черные дни сохранит чистоту сердца и будет держать высоко свой меч.

## VIII

Как-то в августе шел Уленшпигель по Фландрской улице в Брюсселе мимо дома Яна Сапермиллента, который так был прозван потому, что его дед со стороны отца в приступе гнева бранился словом *Sapermillemente*, — что значит «тысяча проклятий» в сокращенном виде, — дабы не оскорблять произнесением этих проклятий священное имя господне. Был этот Сапермиллент по ремеслу вышивальщик. Так как он оглох и ослеп от пьянства, то его жена, старая баба со злобной рожей, выши-

вала вместо него, украшая своей работой барское платье, плащи, башмаки и камзолы. И ее хорошенькая дочка помогала ей в этой прибыльной работе.

Проходя мимо их дома перед вечером, Уленшпигель увидел у окна девушку и услышал, как она поет:

Август! Август!  
Ты скажи, месяц милый,  
Что судьба мне сулила?  
В жены кто возьмет меня?..

— А хотя бы я! — сказал Уленшпигель.

— Ты? — ответила она. — Подойди-ка поближе, дай разглядеть тебя.

— Но как это так, — спросил он, — ты в августе просишь о том, о чем брабантские девушки спрашивают накануне марта?

— У них там только один месяц дарует мужей, а у меня все двенадцать. И вот накануне каждого, только не в полночь, а за шесть часов до полуночи, я вскакиваю с постели, делаю, пятясь назад, три шага к окошку и говорю то, что ты слышал. Потом я поворачиваюсь, делаю, опять пятясь назад, три шага к постели, а в полночь ложусь, засыпаю, и мне должен присниться мой жених. Но месяцы, добрые месяцы, они злые насмешники, и вот мне приснился не один, а двенадцать женихов. Если хочешь, будь тринадцатым.

— Прочие приревнуют. Значит, и твой клич «свобода»?

— И мой клич «свобода», — ответила девушка, краснея, — и я знаю, о чем прошу.

— Я тоже знаю — и просьбу твою исполню.

— Не торопись — надо подождать, — ответила она, показывая белые зубки.

— Ждать — ни за что! Еще чего доброго дом свалится мне на голову, или ураган сбросит меня в ров, или злобный пес укусит за ногу, — я не стану ждать!

— Я ведь еще молода и вызываю женихов только потому, что таков обычай.

Уленшпигель опять подумал о том, что брабантские девушки только накануне марта взывают о муже, а не в дни жатвы, и у него зародилось подозрение.

— Я молода и вызываю женихов только потому, что таков обычай, — повторила она, улыбаясь.

— Что ж, ты будешь ждать, пока состаришься? Пло-

хая арифметика. Я в жизни не видал такой круглой шеи, таких белых фламандских грудей, полных того доброго молока, которым вскармливают доблестных мужей.

— Полных?.. Пока еще нет, ты поспешил, шутник!

— Ждать! — повторил Уленшпигель. — Может быть, потерять раньше зубы, вместо того чтобы сожрать тебя живьем, красотка? Ты не отвечаешь? Твои ясные карие глазки смеются, твои вишневые губки улыбаются?

Девушка бросила на него лукавый взгляд.

— Уж не влюбился ли ты в меня? — сказала она. — Кто ты? Чем занимаешься? Богат ты или нищий?

— Я нищ, но буду богат, если ты отдашь мне свое тело.

— Я не об этом спрашиваю. Ты добрый католик? В церковь ходишь? Где ты живешь? Или ты настоящий нищий — гёз — и не побоишься признаться, что ты против королевских указов и инквизиции?

Пепел Клааса застучал в сердце Уленшпигеля.

— Да, я гёз, — сказал он, — и хочу предать смерти и червям угнетателей Нидерландов. Ты смотришь на меня с ужасом. Во мне горит огонь любви к тебе, красотка, — это огонь юности. Господь бог возжег его; он пылает как солнце, пока не погаснет. Но пламя мести тоже горит в моем сердце. Его тоже возжег господь. Оно вспыхнет пожаром, и подыметя меч, засвистит веревка, война опустошит все, и палачи погибнут.

— Ты красив, — печально сказала она и поцеловала его в обе щеки, — но молчи, молчи.

— Почему ты плачешь? — спросил он.

— Здесь и везде, где бы ты ни был, будь осторожен.

— Есть уши у этих стен?

— Никаких, кроме моих.

— Они выточены богом любви, я закрою их поцелуями.

— Дурачок, слушай, если я говорю.

— В чем же дело? Что ты скажешь мне?

— Слушай, — прервала она его нетерпеливо, — вот идет моя мать. Молчи, особенно при ней...

Вошла старуха Сапермилментиха.

При одном взгляде на нее Уленшпигель подумал:

«У, продувная рожа, продырявлена точно шумовка, глаза лживые, рот одновременно улыбается и гримасничает... Ну и любопытно же все это».

— Господь да хранит вас, господин, во веки веков! — сказала старуха. — Ну, дочка, хорошо заплатил господин граф Эгмонт за плащ, на котором я вышила по его заказу дурацкий колпак... Да, сударь мой, дурацкий колпак назло «Красной собаке».

— Кардиналу Гранвеле? — спросил Уленшпигель.

— Да, — ответила старуха, — «Красной собаке». Говорят, он доносит королю все об их замыслах. Они и хотят сжечь Гранвелу со свету. Правильно ведь, а?

Уленшпигель не ответил ни слова.

— Вы, верно, встречали их? Они ходят по улицам в простонародных камзолах и серых плащах с длинными рукавами и монашескими капюшонами; на плащах вышиты дурацкие колпаки. Я уж вышила по малой мере двадцать семь таких колпаков, а дочь моя штук пятнадцать. «Красная собака» приходит в бешенство при виде этих колпаков.

И она стала шептать Уленшпигелю на ухо:

— Я знаю, они решили заменить дурацкий колпак снопом колосьев — знаком единения. Да, да, они задумали бороться против короля и инквизиции. Это их дело, не так ли, господин?

Уленшпигель не ответил ни слова.

— Господин приезжий, видно, чем-то опечален, — сказала старуха, — он как будто набрал в рот воды.

Уленшпигель, не говоря ни слова, вышел из дома.

У дороги находился трактир, где играла музыка; он зашел туда, чтобы не разучиться пить. Трактир был полон посетителей, они без всякой осторожности громко говорили о короле, о ненавистных указах, об инквизиции и «Красной собаке», которую необходимо выгнать из страны. Вдруг Уленшпигель увидел знакомую старуху: она была одета в лохмотья и, казалось, спала за столиком со стаканом вина. Так она долго сидела, потом вынула из кармана тарелочку и стала обходить гостей, прося милостыню, особенно задерживаясь около тех, кто был неосторожен в разговоре.

И простаки, не скупясь, бросали ей флорины, денье и патары.

В надежде выпытать от девушки то, чего ему не сказала старая Сапермилментиха, Уленшпигель отправился опять к ее дому. Девушка уже не зывала о женихах, но,

улыбаясь, подмигнула ему, точно обещая сладостную награду.

Вдруг за ним оказалась и старуха.

При виде ее Уленшпигель пришел в ярость и бросился бежать, точно олень, по переулку с криком: «'t brandt! 't brandt!» — «пожар, пожар!» Так он добежал до дома булочника Якоба Питерсена. В доме этом были окна, застекленные по немецкому образцу, в них горело отражение заходящего солнца, а из печи валил густой дым от пылающего хвороста. Уленшпигель бежал мимо дома Якоба Питерсена, крича: ««'t brandt! 't brandt!» Сбежалась толпа и, видя багровый отблеск в стеклах и густой дым, тоже закричала: «'t brandt! 't brandt!» Сторож на соборной колокольне затрубил в рог, а звонарь изо всех сил ударил в набат. Вся детвора, мальчишки и девчонки, сбегались толпами со свистом и криком.

Гудели колокола, гремела труба. Старая Саперментиха мигом сорвалась и выбежала из дома.

Уленшпигель следил за ней. Когда она отошла далеко, он вошел в ее дом.

— Ты здесь? — удивилась девушка. — Ведь там внизу пожар?

— Внизу? Никакого пожара.

— Чего же звонит колокол так жалобно?

— Сам не знает, что делает.

— А вой трубы, толпа народа?

— Дуракам нет числа на свете.

— Что же горит?

— Горят твои глазки и мое сердце.

И Уленшпигель впился в ее губы.

— Ты съешь меня!

— Я люблю вишни!

Она бросила на него лукавый и грустный взгляд. Вдруг она заплакала и сказала:

— Больше не приходи сюда. Ты гёз, враг папы, не приходи сюда...

— Твоя мать...

— Да, — ответила она покраснев, — знаешь, где она теперь? На пожаре, подслушивает разговоры. Знаешь, куда она пойдет потом? К «Красной собаке». Расскажет все, что узнала, чтоб герцогу, который едет сюда, было много кровавой работы. Беги, Уленшпигель, беги, я спасу

тебя, беги! Еще поцелуй — и не возвращайся! Еще один, я плачу, видишь, но уходи!

— Честная, храбрая девушка, — сказал Уленшпигель, сжимая ее в объятиях.

— Не всегда была... Я тоже была как она...

— Это пение, этот призыв к жениху?

— Да! Так требовала мать. Тебя, тебя я спасу, дорогой. И других буду спасать в память о тебе. А когда ты будешь далеко, вспомнит твое сердце о раскаявшейся девушке? Поцелуй меня, миленький. Она уже не будет за деньги посылать людей на костер. Уходи! Нет, останься! Какая нежная у тебя рука. Смотри, я целую твою руку — это знак рабства; ты мой господин. Слушай, ближе, ближе; молчи, слушай. Сегодня ночью в этом доме сошлись какие-то воры и бродяги, среди них один итальянец; прокрадывались один за другим. Мать собрала их в этой комнате, меня прогнала и заперла двери. Я слышала только: «Каменное распятие... Боргерхаутские ворота... Крестный ход... Антверпен... Собор Богоматери...» — заглушенный смех, звяканье флоринов, которые считали на столе... Беги, идут, беги, дорогой. Вспоминай меня добром. Беги...

Уленшпигель побежал, как она приказала, изо всех сил вплоть до трактира «Старый петух» — «In den ouden Naep», где он нашел Ламме, печально жующего колбасу и кончающего седьмую кружку лувенского «Петермана».

И, несмотря на его брюхо, Уленшпигель заставил его бежать за собой.

## IX

Мчась во весь опор, добежали они с Ламме до улицы Эйкенстраат; здесь Уленшпигель нашел злобный пасквиль, написанный против Бредероде. Прямо к нему он и направился с этим листком.

— Я, господин граф, тот добрый фламандец и королевский соглядатай, которому вы так хорошо надрали уши и поднесли вина. Вот вам славенький пасквиль, где вас, между прочим, обвиняют в том, что вы именуете себя, как король, графом Голландским. Листок свеженький, только что сработан в печатне Ивана Вралья, проживаю-

щего подле Воровской набережной, в Негодяйском тупике.

— Два часа подряд придется тебя сечь, пока ты не скажешь настоящее имя сочинителя, — смеясь, ответил Бредероде.

— Господин граф, — ответил Уленшпигель, — если желаете, секите меня хоть два года подряд, но вы все-таки не заставьте мою спину сказать то, чего не знает мой рот.

И с тем он удалился, не без флорина в кармане, полученного за труды.

## Х

С июня, месяца роз, начались по земле Фландрской проповеди.

И апостолы проповедовали восстановление первоначальной христианской церкви и произносили свои проповеди повсюду, в полях и садах, на холмах, где животные находили убежище во время наводнения, и по рекам на судах.

Их стоянки на земле походили на укрепленные лагеря, окруженные обозом. На реках и в портах проповедников охраняла цепь лодок с вооруженными людьми.

И в лагерях мушкетеры и аркебузиры стояли на дозоре, ожидая врага.

Вот так раздавалось слово свободы повсюду на земле наших отцов.

## ХІ

Прибыв в Брюгге, Уленшпигель и Ламме оставили повозку на пригородном постоялом дворе, а сами отправились не в трактир, ибо в их кошельке не слышно было веселого звяканья монет, а в храм Спасителя.

Патер Корнелис Адриансен, монах из ордена миноритов, грязный, непристойный, крикливый проповедник, яростно бесновался, возвещая в этот день истину.

Фанатичные прихожанки, молодые и красивые, толпились вокруг кафедры.

Патер Корнелис говорил о страстях Христовых. Дойдя до того места евангелия, где рассказывается, как толпа кричала Понтию Пилату: «Распни, распни его! У нас есть

закон и по закону этому он должен умереть!» — патер Корнелис воскликнул:

— Вы слышали, люди добрые: если господь наш Иисус Христос принял смерть лютую и позорную, то это потому, что всегда и везде на свете были законы о наказании еретиков. Он, стало быть, правильно был осужден, ибо он преступил закон. А еретики не хотят подчиняться указам и эдиктам. Ах, господи Иисусе, каким проклятиям предал ты эту землю! Благословенная дева Мария! О, если бы жив был почивший император Карл и видел гнусное деяние этих дворянских заговорщиков, осмелившихся подать правительнице прошение против инквизиции и указов, составленных и изданных после зрелых размышлений для дела благого, для уничтожения всяких сект и ереси! Что хотят уничтожить эти господа? То, что необходимо людям больше, чем хлеб и сыр! В какую зловонную, смрадную, гнойную бездну хотят нас ввергнуть? Лютер, этот поганый Лютер, этот бешеный бык, торжествует в Саксонии, в Брауншвейге, в Люнебурге, в Мекленбурге; Бренциус, этот грязный Бренциус, питавшийся в Германии желудями, от которых отказывались свиньи, торжествует в Вюртемберге; сумасшедший Сервет, Сервет тринитарий с четвертью луны в голове, царит в Померании, Дании и Швеции, изрыгая хулу на святую троицу, преславную и всемогущую! Да! Но мне рассказывали, что его живьем сжег Кальвин, который только на это и пригодился, этот вонючий Кальвин, от которого несет кислятиной; да, его творожная харя вытянулась вперед бурдюком, из его пасти торчат зубы, точно лопаты. Да, волки пожирают друг друга; бешеный бугай Лютер вооружил немецких государей против анабаптиста Мюнцера, который, говорят, был честный человек и жил по писанию. И по всей Германии разносится рев дикого бугая Лютера.

А что ж видим мы во Фландрии, в Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии? Адамиты бегают голышом по улицам! Да, да, добрые люди, голые, в чем мать родила, бесстыдно выставляя прохожим свое тощее мясо. Вы скажете, что нашелся только один, — да, может быть, один, но один стоит сотни, а сотня стоит одного. И он, говорите вы, был сожжен живьем, сожжен по просьбе лютеран и кальвинистов? Я же говорю вам: волки пожирают друг друга.

И что же видим мы во Фландрии, Гельдерне, Фрисландии, Голландии, Зеландии? Сплошь разнузданную чернь, которая утверждает, что всякое рабство противоречит слову божьему. Лгут они, вонючие еретики: наш закон — это покорность святейшей матери нашей, римской церкви. И там, в господом проклятом Антверпене, этом средоточии всей еретической сволочи, они нагло рассказывали, что мы изготовляем святое миро из собачьего сала. Один бродяга, что на углу этой улицы сидит на ночном горшке, уверяет, что нет ни господа бога, ни жизни вечной, ни воскресения плоти, ни вечных мук. «Можно, — говорит другой лицемерным голосом, — крестить людей без соли, без жира, без плевков, без заклинаний, без свечей». «Нет никакого чистилища», — заявляет третий. Нет чистилища! Что вы скажете на это, добрые люди? О, лучше бы вам согрешить с вашими матерями, сестрами, дочерьми, чем сомневаться в чистилище!

Да они еще задирают нос пред инквизитором, пред этим святым человеком. В Белэм — тут неподалеку — явилось четыре тысячи кальвинистов, с оружием, со знаменами, с барабанами! Слышите чад от их стряпни? Они овладели церковью святой Католины, чтобы опозорить ее, опоганить, обесчестить своими паршивыми проповедями.

Что за безбожная, постыдная терпимость! Тысяча чертей адовых, о бессильные католики, почему вы не хватаетесь тоже за оружие? Есть же ведь у вас в городе, как у этих проклятых кальвинистов, панцыри, копья и мечи, алебарды, шпаги, самострелы, ножи, дубины, пики, фальконеты и кулеврины!

Они не нарушают мира, говорите вы, они хотят только чинно и свободно внимать слову божию? Мне все равно: вон из Брюгге! Бейте насмерть всех кальвинистов! Гоните вон из церкви. Что? Вы еще здесь? Позор! Вы дрожите от страха, точно куры на навозной куче. Вижу, вижу! Проклятые кальвинисты будут бить в бубен на животах ваших жен и дочерей, а вы и это стерпите, поджавши хвосты, трусишки жидконогие! Нет, стойте, не ходите: поберегите штаны! Позор вам, католики! Стыд и срам, обыватели Брюгге! Трусы малодушные, вы недостойны имени католика. Стыдно! Утки вы и селезни, гуси и индюшки, вот кто вы!

Разве нет у вас прекрасных проповедников, что вы таскаетесь толпами туда слушать враки и рассказы еретиков? Девчонки по ночам бегают на эти проповеди, чтобы через девять месяцев было полным-полно гёзят, маленьких паршивцев и паршивок. Четверо было их, — четыре негодяя проповедовали там на погосте. Один из этих прохвостов, тощий, дохлый, холерная испитая рожа, был в гнусной шляпенке и нахлобучил ее сколько мог — ушей не было видно. Скажите, видел кто из вас уши у проповедника? Рубашки на нем не было, голые руки торчали из камзола — и ни следа белья!

Я видел это, хоть он и старался запахнуть своим смердящим малахаем, и видел сквозь его сквозные, точно антверпенская колокольня, черные штаны, как болтались там его природные подвески, точно колокола. Другой каналья проповедовал в куртке, босиком; и у него ушей не было видно. Среди проповеди он вдруг замолчал, и ребятишки тюкали и кричали: «Эй, тю-тю, ты урока не выучил!» Третий из этих позорных бродяг в скверной нищенской шляпенке, в которой торчало маленькое перо; его ушей тоже никто не видел. Четвертый висельник, Германус, одет, правда, лучше, чем прочие, но, говорят, палач дважды наложил клеймо на его плечо. Так-то.

У всех под шляпами поганые шелковые ермолки, закрывающие их уши. Видели вы когда-нибудь уши лютеранского проповедника? Кто из этих бродяг показывает свои уши? Не смеют! Их уши, о — показать уши! — как бы не так: их давно отрезал палач, да-с!

И все-таки народ суетится вокруг этих воров, этих карманников, этих бездельников, бросивших свои мастерские, этих бродячих болтунов, за ними бегают и кричат: «Да здравствуют гёзы!» — точно все с ума сошли или перепились.

А нам, бедным католикам, ничего не остается, как покинуть Нидерланды, где можно безнаказанно орать: «Да здравствуют гёзы! Да здравствуют гёзы!» Что за проклятый жернов свалился на голову этого околдованного и одураченного народа? Христос спаситель! Все кругом — богатые и бедные, дворяне и простолюдины, молодые и старые, мужчины и женщины — все орут: «Да здравствуют гёзы!»

И кто же эти важные господа, эти дубленые кожаные штаны, явившиеся к нам? Все их добро ушло на девок,

на вертепы, на разврат, на кутежи, на пьянство, на чревоугодие, на свинство, на игру в кости, на расточительную пышность. У них не осталось и ржавого гвоздя, чтобы почесаться там, где свербит. Теперь им понадобятся церковные и монастырские имущества.

И там, на пиршестве у этого мерзавца Кейлембурга, где был и другой мерзавец, Бредероде, они пили из деревянных лоханей, чтобы выразить свое пренебрежение к благородному господину Берлеймону и герцогинеправительнице. Хорошо? И кричали при этом: «Да здравствуют гёзы!» О, если бы я, с позволения сказать, был господом богом, я бы позаботился о том, чтобы их напиток, пиво или вино, обратился в вонючие помои, да, в грязные, зловонные, тошнотворные помои, в которых мыли их гнойные рубахи и простыни.

Ревите, ослы, ревите: «Да здравствуют гёзы!» Я буду вашим пророком: все проклятия, все кары небесные, все несчастья, чума, лихорадка, разорение, пожары, отчаяние, шанкр, черная оспа и гнилая горячка, — да падет все на голову нидерландцев. Да! Так отомстит господь бог за ваш подлый вой «да здравствуют гёзы!» Камня на камне от ваших домов не останется, не уцелеет ни одна кость ваших проклятых ног, бежавших за этой поганой кальвиновской трескотней! Да будет так, да будет, да будет, да будет во веки веков. Аминь!

— Пойдем, сын мой, — сказал Уленшпигель.

— Сейчас, — ответил Ламме.

И он поискал среди молодых и пригожих прихожанок, с благоговением слушавших проповедь, но не нашел своей жены.

## ХИ

Уленшпигель и Ламме пришли к месту, которое носит название Minne-water — любовная вода; но великие ученые и всякие многознайки утверждают, что это Mingewater — миноритская вода. Усевшись на берегу, Уленшпигель и Ламме смотрели на зелень, осенявшую их, точно низкий свод, на толпу, проходившую мимо них; мужчины и женщины, парни и девушки, украшенные цветами, гуляли рука об руку, бедро к бедру, глядя друг другу в глаза с такой нежностью, точно ничего, кроме

них, нет на этом белом свете. Вспомнил о Неле, глядя на них, Уленшпигель и с грустью сказал:

— Пойдем выпьем!

Но Ламме, не слушая Уленшпигеля, смотрел тоже на влюбленные парочки и сказал:

— Так когда-то и мы, я и жена моя, упоенные любовью, гуляли перед носом тех, кто, подобно нам с тобой, сидел одиноко без жены на берегу.

— Пойдем выпьем, — сказал Уленшпигель, — мы найдем Семерых на дне кружки.

— Что за мысль пьяницы? — ответил Ламме. — Ты ведь знаешь, что Семеро — это великаны, которые, встав, не поместились бы и под высоким сводом собора Христа Спасителя.

Уленшпигель с тоской подумал о Неле, однако и о том, что где-нибудь в трактире нашлась бы, верно, и добрая постель, и еда, и приветливая хозяйка, и сказал:

— Пойдем выпьем.

Но Ламме не слушал, устремив свой взгляд на колокольню, и сказал:

— Святая дева Мария, покровительница любви освященной, дай мне увидеть еще раз ее белую грудь и сладкое изголовье!

— Пойдем! Выпьем! Ты найдешь ее в трактире, где она показывает пьяницам свои прелести.

— Как ты смеешь дурно думать о ней!

— Пойдем выпьем, — верно, она держит где-нибудь трактир.

— Это ты раздражен от жажды, — сказал Ламме.

— Может быть, — продолжал Уленшпигель, — у нее уж готово для бедных путников блюдо чудесного тушеного мяса, запахом которого пропитан воздух, нежирного, сочного, нежного, точно розовые лепестки; как рыба во вторник на масленой, красуется она среди гвоздик, муската, петушьих гребешков, печеночек и прочих небесных лакомств.

— Злюка, ты в могилу хочешь меня свести. Забыл ты, что ли, что мы уже два дня живем черствым хлебом да жидким пивом.

— Это ты раздражен от голода. Ты ревешь от голода; стало быть, пойдем закусим и выпьем. Вот полфлорина, есть на что покутить.

Ламме смеялся. Быстро нашли они свою повозку и проехали через весь город, отыскивая лучший трактир. Но, видя лица недружелюбных трактирщиков и безжалостных трактирщиц, они колесили дальше, говоря себе, что кислая рожа — плохая вывеска для хорошей кухни.

Так доехали они до Субботнего рынка и здесь вошли в гостиницу под названием «Blauwe Lantern» — «Синий фонарь»; у хозяина ее было более приветливое лицо.

Поставив повозку под навес, а осла в конюшню и дав ему в подкрепление добрую торбу овса, они заказали себе ужин, наелись досыта, выпались и встали, чтобы опять есть. Ламме просто лопался от удовольствия и приговаривал:

— Я слышу в моем желудке божественную музыку.

Когда пришло время платить, хозяин подошел к Ламме:

— С вас десять патаров.

— Получите, — отвечал Ламме и указал на Уленшпигеля.

— У меня нет, — сказал тот.

— А твои полфлорина? — спросил Ламме.

— Нету, — ответил Уленшпигель.

— Хорошо, — сказал хозяин, — тогда я сниму с вас обоих куртки и рубахи.

Вдруг Ламме, набравшись пьяной отваги, заорал:

— А если мне захотелось поесть-попить, да, есть-пить захотелось, хоть на двадцать семь флоринов, — взял и поел, да! Ты взгляни на это брюхо — это поважнее флоринов! Благодарение создателю! До сих пор оно только каплунами питалось. Никогда ты такого не будешь носить под твоим кожаным поясом. Ибо ты носишь свой жир на воротнике твоей куртки и никогда не будешь носить его сладостное бремя, слоem в три пальца толщины, на животе.

Трактирщик неистовствовал от ярости. Он и так был от природы заика, а тут он хотел говорить быстро и, чем он больше спешил, тем сильнее фыркал, точно собака, вылезшая из воды. Уленшпигель бросал ему в нос хлебные шарики, а Ламме, приходя в азарт, уже кричал:

— Да, у меня есть чем заплатить и за твоих трех дохлых кур, и за твоих четырех паршивых цыплят, и за болванского павлина, что тащит свой вонючий хвост по навозу птичьего двора. Если бы твоя кожа не была бо-

лее суха, чем престарелый петух, если бы ребра твои уже не рассыпались песком в твоей груди, у меня было бы достаточно денег, чтобы слопать и тебя, и твоего сопливого слугу, и одноглазую служанку, и короткорукую повара, который не может почесаться, когда у него свербит его чесотка. Смотри-ка на эту птицу: из-за полфлорина вздумал отбирать у нас одежду! Скажи, что стоит все твоё платье, нахал ободранный, — я дам тебе три гроша за него!

Хозяин был вне себя от ярости и пыхтел все неистовее.

А Уленшпигель стрелял в него хлебными шариками.

Ламме ревел, как лев:

— Скажи, дохлая образина, сколько, по-твоему, стоит великолепный осел с тонкой мордой, длинными ушами, широкой грудью и стальными поджилками? Восемнадцать флоринов по малой мере, не так ли, кабатчик несчастный? А сколько старых гвоздей накопил ты в своих сундуках, чтобы заплатить за такую превосходную скотину?

Трактирщик пыхтел все сильнее, но не смел пикнуть.

Ламме продолжал:

— А отличная ясеневая повозка, выкрашенная в красный цвет, с завесой из куртрейской парусины, защитой от дождя и солнца, — сколько, по-твоему, стоит, а? Двадцать четыре флорина, не меньше, не так ли? Ну-с, сколько флоринов это будет — восемнадцать да двадцать четыре? Да отвечай ты, безграмотный балбес! И так как сегодня базарный день и в твоей гнусной корчме остановились мужики, то вот сейчас и сбуду им всё!

Так он и сделал, ибо все знали Ламме. Он в самом деле получил за своего осла и бричку сорок четыре флорина и десять патаров. И он позванивал под носом хозяина деньгами и говорил:

— Чувствуешь запах будущих попок?

— Да, — ответил трактирщик. И тихо прибавил: — Если ты продаешь свою кожу, то дам тебе грош за нее — сделаю из нее ладонку против мотовства.

А в глубине двора красивая молодая женщина смотрела в окно на Ламме и пряталась всякий раз, когда он поворачивался и мог увидеть ее милое личико.

И вечером, когда он поднимался в темноте по лестнице, покачиваясь по случаю излишне выпитого вина, он вдруг почувствовал, что его обнимают женские руки, что его щеки, губы и даже нос осыпают поцелуями, что на лицо падают слезы любви. Потом женщина скрылась.

Подвыпивший Ламме очень хотел спать, поскорее улегся, уснул и на следующее утро отправился с Тилем в Гент.

### XIII

Здесь он искал свою жену по всем *kaberdosjen*, *musicos*, *tafelhoogen*, тавернам, гостиницам, трактирам, корчмам, заезжим дворам. Вечером он встретился с Уленшпигелем в трактире «*In den zingende Zwaam*» — «Поющий лебедь». Уленшпигель обходил город, сея тревогу и возбуждая людей против палачей отечества.

На Пятничном рынке подле «*Dulle griet*» — «Большой пушки» — Уленшпигель вдруг распластался животом на земле.

— Что ты делаешь? — спросил проходивший мимо угольщик.

— Мочу нос, чтобы узнать, откуда ветер веет.

Проходил столяр:

— Что ты из мостовой перину сделал?

— Скоро она станет для многих покрывалом.

Монах, проходя, остановился:

— Что этот балбес тут делает?

— Молит, лежа на брюхе, о вашем благословении, отче!

Монах благословил его и пошел дальше.

Затем Уленшпигель приложил ухо к земле.

— Что ты там слышишь? — спросил проходивший крестьянин.

— Слышу, как растут деревья, которые порубят на костры для несчастных еретиков.

— А больше ничего не слышишь? — спросил общинный стражник.

— Слышу, как идут испанские жандармы. Если у тебя есть что спрятать, зарой в землю: скоро от воров в городах житья не будет.

— Он сошел с ума, — сказал общинный стражник.

— Он сошел с ума, — повторяли горожане.

## XIV

Между тем Ламме ничего не ел, не пил и все думал о сладостном видении на лестнице «Синего фонаря». Сердце влекло его в Брюгге, и Уленшпигель должен был силком тащить его в Антверпен, где он продолжал свои безуспешные поиски.

Сидя в трактирах среди добрых фламандцев-реформатов и ищущих свободы католиков, Уленшпигель так объяснял им смысл указов:

— Желая очистить нас от ереси, они вводят инквизицию, но это слабительное действует не на наши души, а на наши кошельки. А мы любим принимать только те снадобья, которые нам нравятся; ежели лекарство вредное, то мы можем и рассердиться и за мечи взяться. И король это знает. Когда он увидит, что мы слабительного не хотим, он придет с клистирными трубками, то есть с пушками, большими и малыми, мортирами широкомордыми, с фальконетами и кулевринами. О, от этого королевского промывания во всей Фландрии не останется ни единого зажиточного фламандца! Счастливая страна! У нее поистине царственный лекарь!

Горожане смеялись.

А Уленшпигель говорил:

— Сегодня смейтесь, пожалуй, но спешите вооружаться, чтобы быть наготове в тот день, когда хоть что-нибудь разрушится в соборе Богоматери.

## XV

15 августа, в день успенья пресвятой богородицы и освящения плодов и овощей, когда пресыщенные кормом куры глухи к призывам обуреваемых похотью петухов, у ворот антверпенских было разбито большое каменное распятие итальянцем, состоявшим на службе у кардинала Гранвелы, и крестный ход в честь пресвятой девы вышел из собора Богоматери, предшествуемый шутами, зелеными, красными и желтыми.

Но статуя богоматери подверглась по дороге поруганию со стороны неизвестных злоумышленников, и ее быстро внесли обратно в церковь на хоры и заперли решетку.

Уленшпигель и Ламме вошли в собор. Несколько оборванцев, мальчишек и неизвестных личностей стояли под хорами, перемигиваясь и кривляясь, стуча ногами и щелкая языками. Никто не видел их в Антверпене ни раньше, ни позже. Один из них, краснорожий, точно поджаренная луковица, спрашивал, не испугалась ли Машутка — так он называл богородицу, — что ее так поспешно вернули в собор.

— Не тебя она испугалась, конечно, арапская харя, — сказал Уленшпигель.

Парень, к которому он обратился, двинулся было на него, чтобы затеять драку, но Уленшпигель схватил его за шиворот со словами:

— Если ты дотронешься до меня, я выдавлю тебе язык из глотки.

Затем он обратился к нескольким антверпенцам, стоявшим вокруг, и сказал:

— Господа горожане, остерегайтесь этих молодцов, — это не настоящие фламандцы, это предатели, нанятые для того, чтобы вовлечь нас в беду, невзгоды и разорение.

Затем он заговорил с подозрительными незнакомцами:

— Слушайте вы, ослиные уши: обычно выдохнете с голоду, а откуда это сегодня в ваших карманах звенят деньги? Запродали вы свою шкуру на барабаны, так, что ли?

— Ишь ты, какой проповедник нашелся! — кричали незнакомцы. И, собравшись вокруг статуи девы, горлалили:

— На Машутке наряд важный! На Машутке венец царский! Вот бы моей девке такой!

Они вышли было, но тут один из них взобрался на кафедру и оттуда нес всякую чепуху; тогда остальные вернулись с криком:

— Сойди, Машутка, сойди сама, пока мы тебя за шиворот не стащили... Сотвори чудо, покажи, что ты и ходить умеешь, не только на других ездить, бездельница!

Напрасно кричал Уленшпигель: «Перестаньте орать, громилы, не затевайте свалки», — они не слушали, а некоторые кричали, что надо снести хоры и заставить Машутку слезть.

Услышав эти богохульные речи, старуха, продававшая в церкви свечи, швырнула им в глаза золой из своей жаровни. Но ее поколотили, опрокинули на пол, и тут-то поднялся настоящий содом.

В собор явился маркграф со своими стражниками.

Увидев здесь сборище, он приказал всем очистить церковь, но так нерешительно, что из храма вышли лишь немногие. Прочие орали:

— Сперва послушаем, как попы споют вечерню во славу Машутки.

Маркграф ответил:

— Службы не будет.

— Сами споем. — И подозрительного вида бродяги затанули песню среди храма. Некоторые играли в kriegesteeren (вишневые косточки) и приговаривали:

— Машутка, в раю тебе играть не приходится, все скучаешь, — поиграй-ка с нами.

И, понося изваяние, они улюлюкали, орали, свистали.

Маркграф притворился испуганным и быстро удалился. По его приказанию все церковные двери, кроме одной, были заперты.

Горожане во всем этом не принимали никакого участия, а наезжая чернь становилась все наглее и орала все громче. И, точно грохот сотни пушек, крики отдавались под сводом церковным.

Потом один из проходимцев, краснорожий, точно печеная луковица, как будто предводитель всей банды, влез на кафедру, подал знак рукой и произнес проповедь:

— Во имя отца и сына и святого духа! Эта тройка — один, и один — это тройка. Боже, избави нас в раю от арифметики. Сегодня, двадцать девятого августа, выехала Машутка в пышных нарядах показать свой деревянный лик господам антверпенским обывателям. Но по дороге повстречался ей черт Сатана, и посмеялся над ней, и сказал: «Как гордо ты выступаешь в твоём царском одеянии, Машутка; четверо знатных дворян несут тебя, а ты и взглянуть не хочешь на захудалого Сатану, — он ведь тащится на своих на двоих». — «Убирайся, Сатана, — говорит она, — или я раздавлю тебе голову теперь уж окончательно, змея ты гнусная». — «Машутка, — говорит ей Сатана, — этим делом ты забавляешься уж полторы тысячи лет, но дух господа, твоего повелителя, освободил меня. Теперь я сильнее тебя, и ты уж не

будешь наступать мне на голову, ты у меня попляшешь». И Сатана взял здоровенную плетку и стал хлестать Машутку, и она не смела кричать, чтобы не выказать страха, и пустилась рысью, и господа, которые ее несли, тоже помчались, чтобы она не свалилась среди нищего народа со своим золотым венцом и пышными одеждами. И теперь Машутка сидит в своем уголке тихо и неподвижно и устала на Сатану, который уселся в приделе на колонне под куполом, и грозит ей плеткой, и издевается: «Ты у меня заплатишь за всю кровь и все слезы, которые пролиты во имя твое! Как твое девственное здоровьице, Машутка? Сползай-ка! Разрубят тебя теперь пополам, свирепая ты деревяшка, за всех живых людей, которых во имя твое сожгли, повесили, в землю живьем зарыли». Так говорил Сатана — и дело говорил. Вылезай-ка из своей ниши, Машутка кровожадная, Машутка жестокосердная, совсем не похожая на сына своего, Христа Спасителя.

И вся подлая банда завывала, заорала, заревела:

— Слезай, Машутка! Намочилась там от страха? Вперед, брабантцы! Ломай идолов, стаскивай вниз! Выкупаем их в Шельде! Дерево плавает лучше, чем рыбы!

Народ молча слушал все это.

Но Уленшпигель вскочил на кафедру, столкнул оттуда того, кто говорил, и закричал народу:

— Дураки вы, дураки, сумасшедшие, которых впору связать! Иль вы не видите дальше своего сопливого носа! Не понимаете, что ли, что тут предатели орудуют? Ведь все это кощунство и святотатство взвалит на вас, чтобы вас ограбить, вас на плаху послать, вас на костре сжечь! А наследство получит король! Господа горожане, не верьте этим злоумышленникам. Оставьте пресвятую деву в ее нише, живите весело, трудитесь радостно и приятно проживайте свои прибыли и доходы. Черный дух погибел и направил на вас свое око: погромом и грабежом он хочет призвать на вас вражескую силу; вы будете объявлены зачинщиками, а Альба станет владыкой, властвуя при помощи силы инквизиции, конфискации и казней. И наследником будет он!

— Не надо громить, господа горожане! — поднял голос Ламме. — Король и так уж сердится. Дочь вышивальщицы рассказала об этом моему другу Уленшпигелю. Не надо громить, господа!

Но народ не слушал их.

— Все громи, все ломай! — кричали подстрекатели. — Все тащи! Действуй, брабантцы! В воду деревянных идолов! Они плавают лучше, чем рыбы!

Тщетно кричал Уленшпигель с кафедр:

— Не давайте громить, господа горожане! Не навлекайте на город гибели!

Его стащили вниз и, хотя он отбивался руками и ногами, исцарапали лицо и изорвали на нем куртку и штаны. Окровавленный, он все-таки кричал:

— Не позволяйте громить!

Но все было тщетно. Подстрекатели вместе с городской чернью бросились на хоры, взломали решетку и кричали при этом:

— Да здравствуют гэзы!

Начался общий разгром, уничтожение и разрушение. К полуночи этот громадный храм с семьюдесятью алтарями, великолепными картинами, редкими драгоценностями был опустошен дотла. Алтари были разбиты, статуи сброшены, все замки взломаны.

Затем толпа бросилась на улицу, чтобы совершить то же, что было проделано в соборе Богоматери, в церквах миноритов, францисканцев, Белых сестер, Серых сестер, св. Петра, св. Андрея, св. Михаила и во всех храмах и часовнях, какие есть в городе. Забрав свечи и факелы, они бежали по улицам.

И они не спорили между собой и не ссорились. При всем этом разгроме, когда летели доски, камни и всякие осколки, ни один из громил не был ранен.

Перебравшись в Гаагу, они здесь тоже очищали церкви от статуй и алтарей, но ни здесь, ни где-либо в другом месте ни один из реформатов не помогал им.

В Гааге магистрат спросил их, от чьего имени они действуют.

— Вот от чьего, — ответил один из них, ударяя себя в грудь.

— От чьего имени, слышите, люди добрые? — кричал Уленшпигель, узнав об этой истории. — Значит, от чьего-то имени, по мнению магистрата, можно совершать все эти святотатства! Пусть бы ко мне в домишко забрался этакий грабитель, я бы, конечно, поступил по прекрасному примеру гаагского магистрата: снял бы вежли-

венько шляпу и почтительно спросил бы: «Любезнейший вор, достопочтеннейший погромщик, милейший грабитель, по чьему полномочию ты действуешь?» Он ответит мне, что полномочие в его сердце, страстно желающем получить мое добро, а я поэтому вручу ему все мои ключи. Подумайте, поищите, кому на руку эти погромы? Не верьте «Красной собаке»! Преступление совершено, и мы отомстим. Каменное распятие низвергнуто! Не верьте «Красной собаке»!

Государственный совет в Мехелене через своего председателя Виглиуса заявил, что препятствовать иконоборцам воспрещается.

— Увы, — сказал Уленшпигель, — жатва созрела для испанских жнецов. Герцог Альба надвигается на нас. Фламандцы, море вздымается, море мести. Бедные женщины и девушки, бегите, вас зароят живьем. Бедные мужчины, бегите от виселицы, костра и меча. Филипп собирается закончить кровавое дело Карла. Отец сеял смерть и изгнание, а сын поклялся, что лучше будет королем на кладбище, чем над живыми еретиками. Бегите, близок палач и могильщики!

Народ слушал, и сотни семейств покидали города, и проезжие дороги были запружены телегами с имуществом беглецов.

И Уленшпигель ходил повсюду с печальным Ламме, разыскивающим свою милую.

А в Дамме лила слезы Неле подле безумной Катлины.

## XVI

В октябре — месяце ячменя — Уленшпигель находился в городе Генте и здесь встретил Эгмонта, возвращавшегося с попойки в благородном обществе аббата Сен-Бавонского. В блаженном настроении граф задумчиво опустил поводья, и лошадь шла шагом. Вдруг он заметил человека с зажженным фонарем, идущего с ним рядом.

— Чего тебе? — спросил Эгмонт.

— Ничего, хочу только осветить вам путь.

— Пошел прочь!

— Не уйду.

— Хлыста захотел?

— Хоть десять хлыстов, лишь бы зажечь в вашей голове такой фонарь, чтобы вы видели ясно все вплоть до Эскориала.

— Убирайся со своим фонарем и с Эскориалом!

— Нет, не уйду, я должен сказать вам, что я думаю.

Он взял лошадь графа под уздцы, та стала было на дыбы, но он продолжал:

— Граф, подумайте о том, что вы легко гарцуете на коне, а голова ваша тоже легко гарцует на ваших плечах. Но, говорят, король собирается положить конец этим пляскам, он оставит вам тело и, сняв с ваших плеч голову, пошлет ее плясать в далекие страны, откуда вы ее не получите. Дайте флорин, я его заслужил.

— Хлыста я тебе дам, если не уберешься, дрянной советник.

— Граф, я — Уленшпигель, сын Клааса, сожженного на костре, и сын Сооткин, умершей от горя. Их пепел стучит в мою грудь и говорит мне, что граф Эгмонт, доблестный вождь, может со своими солдатами собрать войско в три раза более сильное, чем у Альбы.

— Поди прочь, я не предатель!

— Спаси родину! Только ты один можешь это сделать! — вскричал Уленшпигель.

Граф хотел ударить его хлыстом, но Уленшпигель не дожидаясь этого и отскочил в сторону.

— Приглядитесь лучше, граф, ко всему, что делается, и спасите родину! — крикнул он.

В другой раз граф Эгмонт остановился напиться у корчмы «In't bondt verkin» — «Пестрый поросенок», где хозяйкой была одна смазливая бабенка из Куртре по прозвищу Мусекин, что по-фламандски значит «мышка».

Привстав на стременах, граф крикнул:

— Пить!

Уленшпигель, прислуживавший у Мышки, вышел с оловянным бокалом в одной руке и бутылкой красного вина в другой.

Увидев его, граф сказал:

— А, это ты, что каркаешь свои черные пророчества?

— Господин граф, — ответил Уленшпигель, — если мои пророчества черны, это потому, что не вымыты. А вы скажите мне, что краснее: вино ли, льющееся вниз по

глотке, или кровь, хлещущая вверх из шеи? Вот о чем спрашивал мой фонарь.

Граф ничего не ответил, выпил, расплатился и ускакал.

## XVII

Теперь Уленшпигель и Ламме разъезжали верхом на ослах, полученных от Симона Симонсена, одного из приближенных принца Оранского. Так ездили они повсюду, предупреждая граждан о мрачных замыслах кровавого короля и разведывая, что нового слышно из Испании.

Переодетые крестьянами, они продавали овощи, разъезжая по рынкам.

Возвращаясь как-то с Брюссельского рынка, они заметили в нижнем этаже одного каменного дома в окне красивую, очень румяную даму в атласном платье, с высокой грудью и живыми глазами.

— Не жалей масла на сковородку, — говорила она молодой смазливой кухарке, — не люблю, когда соус подсыхает.

Уленшпигель просунул нос в окно и сказал:

— А я люблю всякие подливы — голодный желудок неразборчив.

Дама обернулась.

— Кто это сует нос в мои кастрюли? — спросила она.

— О прекрасная дама, — ответил Уленшпигель, — если бы вы захотели сварить что-нибудь вместе со мной, я бы показал вам, какие сласти готовит случайный проезжий вместе с пригожими домоседками стряпухами, — и, щелкнув языком, он прибавил: — Хорошо бы закусить!

— Чем? — спросила она.

— Тобой, — ответил он.

— Пригожий парень, — сказала кухарка даме. — Хорошо бы позвать его, пусть порасскажет, что видывал на свете.

— Да их двое.

— Другого я беру на себя, — ответила кухарка.

— Да, нас двое, сударыня, — заявил Уленшпигель, — совершенно верно — я и мой бедный Ламме, который не в силах снести на плечах сто фунтов, но охотно носит в животе пятьсот фунтов мяса и рыбы.

— Сын мой, — заметил Ламме, — не смейся надо мной, бедняком, истратившим столько денег, чтобы упитывать это брюхо.

— Сегодня это тебе ни гроша не будет стоить, — сказала дама, — войдите оба.

— А как же наши ослы? — сказал Ламме.

— На конюшнях господина графа Мегема всегда достаточно овса, — ответила дама.

Оставив свои сковороды, кухарка ввела во двор ослов, которые немедленно заревели.

— Трубят к обеду, — объяснил Уленшпигель, — от радости трубят бедные ослики.

Сойдя с осла, Уленшпигель прежде всего обратился к кухарке:

— Если бы ты была ослицей, был бы тебе по душе такой осел, как я?

— Если бы я была женщиной, мне был бы по душе пригожий и веселый парень.

— Если ты не женщина и не ослица, то что же ты такое? — спросил Ламме.

— Девушка, — отвечала кухарка. — Девушка не женщина и, конечно, не ослица: понял, толстопузый?

— Не верь ей, — сказал Уленшпигель Ламме, — она только наполовину девушка, да и то гулящая, а четвертушка ее равна двум дьяволятам. За злодейство плотское ей уже отведено местечко в аду: будет там на тюфячке ласкать Вельзевула.

— Насмешник, — отвечала кухарка. — Я бы не легла на тюфячок, набитый твоими волосами.

— А я бы съел тебя со всеми волосиками.

— Лыстец, — крикнула дама, — неужели тебе нужны все женщины на свете?

— Нет, хватило бы и тысячи, если бы они были слиты в одной такой, как ты, — ответил Уленшпигель.

— Прежде всего, — сказала дама, — выпей кружку пива, съешь кусок ветчины, отрежь ломтик бараньей ноги, прикончи этот пирог и проглоти этот салат.

Уленшпигель молитвенно сложил руки:

— Ветчина — добрая еда; пиво — небесный напиток; баранья нога — божественное угощение; от начинки пирожка трепещет в упоении язык во рту; жирный салат — царская приправа. Но блажен лишь тот, кто получит на закуску вашу красоту.

— Придержи язык, — сказала она, — сперва поешь, бездельник.

— Не хотите ли перед «Gratias» \* прочитать «Benedicite» \*\*?

— Нет, — ответила она.

— Голоден я, — простонал тут Ламме.

— Так поешь, — отвечала дама, — у тебя ведь только и на уме, что жареное мясо.

— И свежее, такое, как моя жена, — ответил Ламме.

Это словечко привело кухарку в дурное расположение духа. Так или иначе, они поели и попили вдосталь, затем Уленшпигель этой же ночью получил от дамы и просимый ужин. И так продолжалось на другой день и все следующие дни.

Ослы получали двойную порцию овса, и Ламме обедал по два раза в день. Целую неделю он не выходил из кухни, но наслаждался только жарким, а не кухаркой, так как он все думал о своей жене.

Это приводило в бешенство девушку, которая твердила, что нельзя засорять своей особой землю, когда помышляешь только о своем брюхе.

А Уленшпигель и дама жили в любви и согласии. Как-то раз она сказала ему:

— Тиль, ты совсем не знаешь приличий. Кто ты такой?

— Я сын счастливого случая, рожденный им от приятной встречи.

— Нельзя, однако, сказать, что ты о себе дурного мнения.

— Это из боязни, что меня станут хвалить другие.

— Хочешь стать на защиту преследуемых братьев?

— Пепел Клааса стучит в мое сердце.

— Какой ты молодец! Кто этот Клаас?

— Это мой отец, сожженный на костре за веру!

— Граф Мегем не похож на тебя. Он готов залить кровью родину, которую я люблю. Я ведь родилась в Антверпене, славном городе. Знай же, что он сговорился с брабантским советником Схейфом впустить в Антверпен десять батальонов своей пехоты.

---

\* «Gratias agamus Deo» — «Возблагодарим господ» (лат.) — благодарственная католическая молитва после еды и перед сном.

\*\* «Benedicite» — «Благословите» (лат.) — призыв к молитве перед едой (в католических монастырях).

— Я немедленно сообщу об этом горожанам: надо сейчас же лететь туда, с быстротой призрака.

Он бросился в Антверпен, и на другой день горожане были готовы к встрече с врагом.

Однако Уленшпигель и Ламме, поставившие своих ослов у одного из фермеров Симона Симонсена, вынуждены были скрыться от графа Мегема, который искал их повсюду, чтобы повесить. Ибо ему донесли, что два еретика пили его вино и ели его мясо.

Он ревновал и сказал об этом своей даме, которая от ярости скрежетала зубами, плакала и семнадцать раз падала в обморок. Кухарка совершала то же самое, только не столь многократно, и клялась спасением своей души и своим местом в раю, что ни она, ни ее барыня не провинились ни в чем. Лишь два странствующих богомольца на своих тощих ослах получили немножко объедков — вот и все.

Обе пролили в тот день такое количество слез, что пол промок насквозь. Видя это, граф Мегем в конце концов уверился, что они действительно не лгут.

Ламме не осмеливался уже показаться в доме графа Мегема. Он был грустен и вечно озабочен вопросом об еде. Но Уленшпигель таскал ему добрые куски, ибо он пробирался с улицы св. Катерины в дом Мегема, где скрывался на чердаке.

Как-то раз граф Мегем сообщил своей прекрасной подруге, что он на рассвете выступает со своим конным отрядом в Герцогенбуш. Когда граф заснул, прекрасная дама поспешила на чердак и рассказала обо всем Уленшпигелю.

## XVIII

Переодетый богомольцем, без денег и без провизии, лишь бы скорее предупредить граждан Герцогенбуша, Уленшпигель поспешил в путь. Он рассчитывал по дороге получить лошадь у Иеронима Праата, к которому он имел письма от принца, и оттуда кратчайшим путем домчатся до Герцогенбуша.

Пересекая большую дорогу, он наткнулся на отряд наемных солдат. Из-за писем принца он очень испугался.

Однако, решив вести игру до конца, он, стоя, дождал войско и, бормоча «Отче наш», пропустил его мимо

себя. Присоединившись к последним рядам, он узнал, что войско направляется в Герцогенбуш.

Движение открывал валлонский батальон, во главе его шли капитан Ламотт и шесть алебардчиков — его охрана; затем — сообразно чину — шел знаменосец с меньшей охраной, далее профос, его стражники и два сыщика, начальник караула, начальник обоза, палач с подручными и, наконец, свирельщики с барабанщиками, производившие большой шум.

Затем шел батальон фламандцев — двести человек со своим капитаном и знаменосцем. Они были разделены на две сотни под командой фельдфебелей, испытанных рубак, а сотни делились на взводы, которыми командовали *rot-meesters* — ротмистры. Профос и его *stocks-knechten* — «палочные прислужники» — шли также в сопровождении свистевших флейтчиков и звенящих литаврщиков.

За солдатами, громко смеясь, треща как сороки, заливаясь соловьями, забавляясь едой и питьем, лежа, стоя или приплясывая, в двух больших открытых повозках ехали их спутницы, гулящие девки.

Некоторые из них были одеты в ландскнехтские костюмы, но их одежда была сшита из тонкого белого полотна, с глубоким вырезом на груди, с прорезами вдоль рук и бедер, позволявшими видеть нежное тело; на голове у них были шапочки из белого полотна, затканые золотом, и в воздухе колыхались приколотые к шапочкам пушистые страусовые перья; на парчовых вышитых красным шелком поясах висели матерчатые ножны их кинжалов, украшенные золотом; их башмаки, чулки, шаровары, камзолы, перевязи, пряжки — все отливало золотом и белым шелком.

Другие были также в ландскнехтских одеждах, но в синих, зеленых, красных, голубых, пурпурных, с выпушками, вышивками, гербами, — как кому нравилось. И у всех на рукаве виднелся пестрый кружок — знак их ремесла.

Ноег-ууфел — «бабий староста» — старался утихомирить их, но девицы озорничали, перекидывались словечками, смешили его веселыми ухватками и не слушались.

В своем хитоне богомольца Уленшпигель шел в ногу с войском, точно шлюпка рядом с кораблем, бормоча свои молитвы.

Вдруг Ламотт спросил его:

— Ты куда идешь, богомolec?

— Ах, господин капитан, — ответил Уленшпигель, порядком проголодавшийся, — некогда я совершил великий грех и был присужден капитулом собора Богоматери пешком отправиться в Рим и там получить от святого отца отпущение. Прощенный и просветленный, ныне я возвращаюсь в родную землю под условием везде, где я встречу по пути солдат, проповедовать им слово божие. А за проповеди мои я буду получать от них хлеб и мясо. Разрешите мне на ближайшем привале исполнить мой обет.

— Можешь, — ответил де Ламотт.

И Уленшпигель вмешался в ряды фламандцев и валлонов, все время проверяя, в сохранности ли его письма под курткой.

Девушки кричали ему:

— Пилигрим, хорошенький богомolec, иди к нам, покажи нам силу своей добродетели.

— Сестры мои во Христе, — проникновенно сказал Уленшпигель, подойдя к ним, — не смейтесь над бедным богомольцем, странствующим через горы и доли, чтобы возвещать воинам слово божие.

И он пожирал глазами их прелести.

Гулящие красотки высовывали веселые лица из-за занавесок повозки и кричали:

— Ты слишком молод, чтобы говорить солдатам добродетельные речи! Полезай к нам в повозку, мы научим тебя более приятным разговорам.

Уленшпигель охотно принял бы предложение, но боялся потерять письма; уже две-три из них пытались, протянув свои белые полные руки, подтащить его ближе, но «бабий староста» ревниво крикнул Уленшпигелю:

— Убирайся, не то изрублю тебя в куски!

И Уленшпигель отошел подальше и плутовато поглядывал издали на девичьи лица, ярко озаренные солнечными лучами.

Так дошли они до Берхема. Начальник фламандцев, Филипп де Ланнуа барон де Бовуар, приказал сделать привал.

Здесь стоял невысокий дуб, ветви которого были срублены, кроме самой большой, обломанной до поло-

вины: на ней в прошлом месяце был повешен один анабаптист.

Солдаты разбили лагерь: явились маркитанты, предлагаемая хлеб, вино, пиво и всякое мясо. Гуляющие девицы покупали у них леденцы, миндаль, пирожки и другие сласти. При виде всего этого голод Уленшпигеля стал невыносимым.

Вдруг с ловкостью обезьяны он взобрался на дерево, сел верхом на сук на высоте семи футов от земли и начал бичевать себя веревкой; солдаты и девушки собрались вокруг него. И он говорил:

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь! Сказано: кто подает нищему, тот подает господу богу. Воины и прекрасные девушки, милые возлюбленные храбрых солдат, подайте господу богу, то есть, значит, подайте мне. Подайте хлеба, мяса, вина, пива, всего, что угодно, хотя б пирожков, господь бог богат и щедр, он отплатит вам за это целыми блюдами жареных дроздов, реками мускатного вина, горами леденцов и *gustpar*, который вы будете есть в раю серебряными ложками.

И жалобно продолжал он:

— Разве вы не видите, как тяжело мне послушание во имя искупления грехов моих? Неужели мои мучительные бичевания, изранившие мою спину и обагрившие кровью плечи мои, не вызвали у вас сострадания?

— Что это за юродивый? — спрашивали солдаты.

— Друзья мои, — говорил Уленшпигель, — я приношу покаяние и страдаю от голода. Ибо, пока дух мой оплакивает мои грехи, тело мое плачет от голода. Благословенные воины и прекрасные девушки, я вижу у вас там жирную ветчину, гусятину, колбасы, вино, пиво, пирожки, — неужто не поделитесь с бедным богомольцем?

— На, бери! — кричали фламандские солдаты. — У этого проповедника рожа добродушная.

И все бросали ему куски еды, точно мячики. И Уленшпигель ел, сидя верхом на ветке, ел и приговаривал:

— Жестокосердным делает голод человека и неспособным к молитвам, но кусок ветчины мигом меняет настроение.

— Берегись, голову проломлю, — крикнул один фельдфебель, бросая ему недопитую бутылку.

Уленшпигель поймал ее на лету и, выпивая понемногу, продолжал:

— Если острый, мучительный голод — пагуба для бедного тела человеческого, то есть другая вещь, более губительная — это страх бедного богомольца напиться. Ему щедрые господа солдаты бросают то кусочек ветчины, то бутылку пива, но богомалец всегда должен быть трезвым, и если он пьет, а пищи в его животе немного, то этак и действительно он может охмелеть...

И, поймав при этих словах на лету гусиную ногу, он продолжал:

— Что за чудесное ремесло — удить в воздухе летящую рыбу! Ну вот, она уже исчезла, с кожей и костями! Что жаднее сухого песка? Бесплодная женщина и голодное брюхо.

Вдруг он почувствовал укол алебарды в зад и услышал:

— С каких это пор богомольцы отвергают баранью ногу?

Он увидел на кончике алебарды баранью ногу. Схватив ее, он продолжал:

— Ляжка за ляжку. Лучше мои зубы в этой ляжке, чем чужие зубы в моей. Я сделаю флейту из этой кости и на ней воспою тебе славу, милосердный алебардщик. Но что за обед без сладкого блюда? — продолжал он. — Что такое сочнейшая баранья лопатка в мире, если за ней бедный пилигрим не узрит благословенного образа сладенького пирожка?

При этих словах он схватился за лицо, ибо из толпы веселых девиц полетело разом два пирожка, и один ударил его в глаз, другой в щеку. И девушки хохотали, а Уленшпигель кричал им:

— Спасибо, спасибо, милые девушки, сластями поцеловавшие меня.

Но пирожки все-таки упали на землю.

Вдруг загремели барабаны, засвистели флейты, и солдаты снова двинулись в путь.

Господин де Бовуар приказал Уленшпигелю слезать с дерева и идти с отрядом. Он же предпочел бы быть за сто миль отсюда, ибо, подслушав разговоры некоторых не особенно доброжелательных к нему солдат, почуял, что его считают подозрительным и вот-вот схватят и, как шпиона, обыщут, найдут письма и повесят.

И, свалившись с дерева в канаву, он поднял оттуда крик:

— Сжальтесь, господа солдаты, я сломал ногу, не могу идти дальше. Позвольте сесть в повозку к девушкам.

Но он знал, что ревнивый «бабий староста» ни за что ему не позволит.

Девушки кричали:

— Иди к нам, хорошенький, иди, богомолец. Мы тебя будем любить, ласкать, угощать и в один день вылечим.

— Знаю, — ответил он, — женская рука — небесный бальзам для всех ран.

Но ревнивый «бабий староста» обратился к господину де Ламотту:

— Я думаю, господин, этот богомолец морочит нас своей сломанной ногой, чтобы влезть в повозку к девушкам. Прикажите, пожалуйста, оставить его там, где он лежит.

— Хорошо, — ответил Ламотт.

И Уленшпигель остался в канаве.

Некоторые солдаты поверили, что он в самом деле сломал ногу, и, так как он был веселый парень, пожалели его и оставили ему вина и мяса дня на два. Девушки охотно поухаживали бы за ним, но так как это оказалось невозможным, они побросали ему все, что осталось у них из лакомств.

Когда войско скрылось из виду, Уленшпигель вскочил и побежал.

Купив по пути лошадь, он помчался по дорогам и тропинкам в Герцогенбуш.

Узнав, что Бовуар и Ламотт идут на город, восемьсот граждан вооружились, выбрали предводителя, а Уленшпигеля, переодетого угольщиком, отправили в Антверпен к геркулесу-гуляке Бредероде просить о помощи.

И войско де Ламотта и де Бовуара не вошло в Герцогенбуш, ибо город был настороже и приготовился к стойкой защите.

## ХІХ

В следующем месяце некий доктор Агилеус дал Уленшпигелю два флорина и письма, с которыми он должен был отправиться к Симону Праату, а тот уже скажет, что делать дальше.

У Праата Уленшпигеля накормили и уложили спать. Сон его был спокоен, как ясно было его юношеское лицо. Праат был хил и немощен с виду и, казалось, вечно погружен в мрачные мысли. Уленшпигеля поражало, что каждый раз, когда он случайно просыпался ночью, до его слуха доносились удары молотка, и, как бы рано он ни встал, Симон Праат был всегда уже на ногах. Лицо его делалось все более изможденным, глаза глядели еще печальнее, как у человека, который готовится к смерти или к бою.

Часто Праат вздыхал, молитвенно складывал руки и всегда был как будто в настроении непримиримой ненависти. Руки его, как и рубашка, были черны и чем-то засалены.

Уленшпигель решил разведать, что это за удары молотка, откуда грязь на руках Праата и тоска на его лице. Однажды вечером, сидя в трактире «Blauwe gans» — «Синий гусь» — с Праатом, которого с трудом уговорил пойти вместе, Уленшпигель выпил и притворился пьяным, так что его надо было поскорее увести домой выспаться.

Праат мрачно отвел его в свой дом.

Уленшпигель спал на чердаке вместе с кошками, Симон — внизу, подле погреба.

Продолжая притворяться пьяным, Уленшпигель, спотыкаясь, взобрался на свою лестницу, чуть не падая вниз с каждой ступеньки и держась за веревку, заменявшую перила. Симон поддерживал его с нежной заботливостью, словно брата. Уложив Уленшпигеля, он выразил сожаление, что тот напился, помолился господу богу о прощении молодого человека, затем сошел вниз, и Уленшпигель услышал вскоре тот самый стук молотка, который будил его уже не раз.

Бесшумно встал он и начал спускаться босиком по узкой лестнице. Пройдя таким образом семьдесят две ступеньки, он наткнулся на маленькую дверцу, едва прикрытую, так что из щели ее виднелся свет.

Симон печатал листки старым шрифтом времен Лоренца Костера, великого провозвестника благородного печатного искусства.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Уленшпигель.

— Если ты, — ответил в страхе Симон, — пришел от дьявола, донеси на меня, приведи меня на плаху; но если

ты от господ бога, то да будут уста твои тюрьмой твоего языка.

— Я от господ бога, — успокоил его Уленшпигель, — и ничего дурного тебе не сделаю. Но что ты-то делаешь?

— Печатаю библию, — ответил Симон. — Ибо днем, чтобы кормить жену и детей, я печатаю жестокие и злые указы его величества, зато ночью сею слово истины господней и стараюсь исправить зло, содеянное мною днем.

— Ты крепок духом, — сказал Уленшпигель.

— Я тверд в вере, — ответил Симон.

И вот из этой-то печатни выходили на фламандском языке библии и распространялись по Брабанту, Фландрии, Голландии, Зеландии, Утрехту, Оверэйселу и Гельдерну вплоть до того дня, когда был осужден и обезглавлен Симон Праат, отдавший свою жизнь за Христа и правду.

## XX

Однажды Симон обратился к Уленшпигелю:

— Послушай, брат мой, достаточно ли у тебя мужества?

— Достаточно для того, чтобы колотить испанца, пока он не издохнет, чтобы убить убийцу, чтобы расправиться со злодеем.

— Сумел бы ты забраться в каминную трубу и там сидеть тихо, чтобы подслушать, что будут говорить в комнате?

— Так как, благодарение господу, у меня здоровый хребет и гибкие икры, то я могу держаться в трубе, как кошка, сколько угодно.

— А довольно ли у тебя терпения и памяти?

— Пепел Клааса стучит в мое сердце.

— Так слушай, — сказал печатник. — Возьми эту сложенную игральную карту, отправляйся в Дендермонде и постучи два раза громко и один раз тихо в двери дома, который вот здесь нарисован. Тебе откроют и спросят тебя, не трубочист ли ты; ты ответишь, что ты худ и карты не потерял. И покажешь ее. А потом, Тиль, исполни свой долг. Великие бедствия нависли над землей Фландрской. Тебе укажут камин, который уже наперед будет приготовлен и вычищен. В трубе его ты найдешь опоры для ног и дощечку, прибитую для сиденья. Если

тот, кто тебе откроет, скажет, что ты должен влезть в трубу, повинуйся и сиди, не шелохнувшись. Знатные господа соберутся в комнате у камина, в котором ты спрячешься: Вильгельм Молчаливый — принц Оранский, графы Эгмонт, Горн, Гоохстратен и Людвиг Нассауский, доблестный брат Вильгельма. Мы, реформаты, должны знать, что хотят предпринять эти господа для спасения родины.

И вот первого апреля, выполнив все, что ему было приказано, Уленшпигель сидел в каминной трубе. Приятно было, что огонь не был разведен, и Уленшпигель говорил себе, что непрокопченный он будет лучше слышать.

Вскоре дверь зала распахнулась, и порыв ветра пронизал его. Но и это перенес он терпеливо, сказав себе, что ветер освежит его внимание.

Затем он слышал, как в зал вошли принц Оранский, Эгмонт и прочие. Они начали говорить о своих опасениях, о гневе короля и о дурном управлении финансами и налогами. Один из них говорил резко, высокомерно и отчетливо — это был Эгмонт. Поэтому Уленшпигель и узнал его, равно как Гоохстратена — по хриплому голосу, Горна — по громкой речи, Людвиг Нассауского — по его крепкому солдатскому языку и Молчаливого — по тому, что он каждое свое слово произносил так медленно, точно раньше взвешивал его на весах.

Граф Эгмонт спросил, для чего они собираются вторично: ведь у них в Хеллегате было время решить, что делать.

Горн ответил:

— Часы летят, король разгневан, не надо терять времени.

Тогда заговорил Оранский:

— Страна в опасности, надо защищаться от вражеского нашествия.

Эгмонт возбужденно ответил, что ему кажется странным, зачем король, их повелитель, считает нужным посылать войско, когда в стране благодаря дворянам и особенно благодаря его благопопечению царит спокойствие.

На это ответил Молчаливый:

— У Филиппа в Нидерландах четырнадцать корпусов, солдаты которых все до одного преданы тому, кто командовал ими при Гравелине и Сен-Кантене.

— Не понимаю, — сказал Эгмонт.

— Больше я ничего не скажу, — ответил принц, — но прежде всего вам, граф, и всем вам, господа, прочтут письма, написанные несчастным схваченным Монтиньи.

В этих письмах мессир Монтиньи писал: «Король чрезвычайно разгневан тем, что произошло в Нидерландах, и, когда придет час, накажет виновников смуты!»

Тут граф Эгмонт заметил, что ему холодно и что следовало бы развести в камине огонь. Так и сделали, пока двое вельмож говорили о письмах.

Так как труба была заткнута, огонь не разгорался как следует, и комната наполнилась дымом.

Затем Гоохстратен, кашляя, прочитал перехваченные письма испанского посланника Алавы к правительнице.

— Посланник сообщает, что виной всех беспорядков в Нидерландах — три человека: Оранский, Эгмонт и Горн. Необходимо, пишет он далее, проявить к ним благосклонность и выразить уверенность, что только благодаря их услугам страна сохраняет покорность. Что касается двух остальных, то есть Монтиньи и Бергена, то они там, где им быть надлежит.

— Ах, — сказал Уленшпигель, — я предпочитаю дымный камин во Фландрии свежей тюрьме в Испании. Ибо там на сырых стенах растут петли.

— Посланник пишет далее, что король, будучи в Мадриде, сказал: «Все происходящее в Нидерландах умаляет нашу королевскую власть и оскорбляет святость богослужения, и мы подвергнем опасности прочие наши земли, если оставим безнаказанным мятеж. Мы решили лично прибыть в Нидерланды и призвать к содействию папу и императора. Под нынешним злом скрыто грядущее благо. Мы принудим Нидерланды к безусловному повиновению и, согласно нашей воле, преобразуем там власть, веру и управление».

«Ах, король Филипп, — сказал Уленшпигель про себя, — если бы я мог согласно моей воле решать твою участь, под моей фламандской дубиной достигли бы значительного преобразования твои бока, руки и ноги. Двумя гвоздями я прикрепил бы твою голову к спине и посмотрел бы, можешь ли ты в этом положении, глядя на кладбище, оставленное за тобой, еще петь песню о твоих тиранствах и подвигах».

Подали вина. Гоохстратен встал и провозгласил:

— Пью за родину!

Все присоединились к нему; он выпил свой кубок, поставил его на стол и сказал:

— Настал роковой час для бельгийского дворянства. Надо думать о путях и способах обороны.

И, в ожидании ответа, он устремил взгляд на Эгмонта, который не ответил ни слова.

Но Молчаливый сказал:

— Мы отстоим себя, если Эгмонт, перед которым дважды, при Сен-Кантене и Гравелине, трепетала Франция и влияние которого на фламандских солдат безгранично, придет к нам на помощь и не допустит испанского вторжения.

На это граф Эгмонт ответил:

— Я слишком высокого мнения о короле, чтобы думать, что мы должны стать мятежниками. Пусть удалятся те, кто боится его гнева. Я останусь, ибо жить без поддержки короля я не могу.

— Филипп умеет жестоко мстить, — сказал Оранский.

— Я доверяю ему, — ответил Эгмонт.

— Вплоть до головы? — спросил Нассауский.

— Голова, тело и моя верность — все принадлежит королю.

— Друг мой, я твой союзник, — сказал Горн.

— Надо предвидеть, а не выжидать, — повторил Оранский.

— Я повесил в Граммоне двадцать два реформата! — возбужденно воскликнул Эгмонт. — Если прекратятся их проповеди и будут наказаны иконоборцы, гнев короля смягчится.

— Едва ли, шаткие надежды, — ответил Оранский.

— Вооружимся доверием, — сказал Эгмонт.

— Вооружимся доверием, — сказал Горн.

— Мечами надо вооружиться, а не доверием, — возразил Гоохстратен.

Молчаливый встал, чтобы уйти.

— Прощайте, принц без земли, — сказал Эгмонт.

— Прощайте, граф без головы, — ответил Оранский.

— Барана ждет мясник, а воина, спасающего родину, ждет слава, — сказал Людвиг Нассауский.

— Не могу и не хочу, — сказал Эгмонт.

— Пусть кровь невинных жертв падет на голову придворного подхалима, — сказал Уленшпигель.

Собравшиеся разошлись.

Тогда Уленшпигель вылез из камина и бросился со своими известиями к Симону Праату.

— Эгмонт изменник, — сказал тот, — господь на стороне принца.

Альба в Брюссель вошел со своими солдатами! Где ж эти кассы крылатые?

Книга прѣтвѣ  
Ѧ





I



ОЛЧАЛИВЫЙ идет в поход; господь — его руководитель. Оба графа уже схвачены. Альба обещал Молчаливому милость и прощение, если он явится к нему.

Уленшпигель, узнав об этом, сказал Ламме:

— Черг побери! По настоянию генерал-прокурора Дюбуа, герцог приглашает принца Оранского, его брата Людвига, Гоохстратена, ван ден Берга, Кейлембурга, Бредероде и прочих друзей принца в течение шести недель добровольно явиться на суд и обещает им за это правосудие и милосердие. Слушай, Ламме: как-то один амстердамский еврей, увидев с улицы в окне верхнего этажа какого-то своего врага, стал звать его на улицу.

«Сойди вниз, — кричал он, — я тресну тебя по башке так, что она влезет тебе в грудную клетку и будет смотреть на божий свет сквозь ребра, как вор сквозь тюремную решетку». — «Ну, — ответил тот, — обещай мне хоть в сто раз больше колотушек, и то я не сойду!»

Так пусть и ответят принц Оранский и его друзья. Да они так и поступили, ведь они отказались явиться. Эгмонт и Горн поступили иначе. И суд божий покарает их за то, что они не выполнили свой долг.

## II

Братья д'Андло, дети Баттенбурга и иные славные и знатные дворяне были в это время казнены на Конском рынке в Брюсселе за попытку внезапным нападением овладеть Амстердамом.

Когда все они, числом восемнадцать, с пением гимнов шествовали к месту казни, всю дорогу позади них и перед ними шли барабанщики и громко били в барабаны.

Испанские солдаты, окружавшие их, обжигали их факелами то с той, то с другой стороны. И, когда они корчились от боли, солдаты издевались над ними:

— Что, господа лютеране, больно, что вас жгут до времени?

Того, кто предал, звали Дирик Слоссе. Он заманил их в Энкгейзен, бывший еще католическим, и здесь выдал сыщикам Альбы.

И они умерли мужественно.

И наследство после них получил король.

## III

— Вот он прошел — видел? — спросил переодетый дровосеком Уленшпигель, обращаясь к Ламме, который был в таком же наряде. — Видел ты грязную образину этого герцога с его плоским лбом, низким, как у орла, с его бородой, напоминающей конец веревки на виселице? Удуши его господь! Видел ты этого паука с длинными мохнатыми ногами, извергнутого сатаной в блевотине, когда его рвало на нашу землю? Пойдем, Ламме, пойдем набросаем камней в его паутину...

— Ах, — вздохнул Ламме, — нас сожгут живьем!

— Идем в Гронендаль, друг мой, идем в Гронендаль; там прекрасный монастырь, где его паучье высочество, господин герцог, молит господа бога помочь ему завершить дела его, а именно — чтобы его черные приспешники могли покопаться в мертвечине.

Теперь пост, и герцог постится, но от крови никак не может отказаться его высочество. Пойдем, Ламме. Дом в Оэне окружен пятьюстами вооруженными всадниками, триста пехотинцев маленькими отрядами выступили в поход и вошли в Суанский лес. Альба там молится: бросимся на него, схватим, посадим в хорошую железную клетку и пошлем принцу.

Но Ламме дрожал от страха.

— Опасно это, сын мой, очень опасно, — говорил он. — Я бы не отказался содействовать тебе в этом замысле, будь ноги мои не слабы, а брюхо не так раздуто кислым пивом, которым приходится пробавляться в этом Брюсселе.

Этот разговор происходил в яме, вырытой среди чаши. Взглянув сквозь листву, точно из барсучьей норы, друзья увидели красные и желтые мундиры шедших по лесу герцогских солдат, оружие которых сверкало на солнце.

— Нас предали, — сказал Уленшпигель.

Когда солдаты прошли, он спешно бросился в Оэн; они пропустили его, не обращая на него внимания, так как он был в одежде дровосека и нес на спине вязанку дров. Здесь он встретил всадников; узнав от него, что в лесу войско герцога, они рассеялись в разные стороны и ускользнули. Лишь господин де Бозар д'Армантьер был захвачен. Что касается пехоты, шедшей из Брюсселя, то она тоже скрылась, и войска герцога не нашли никого.

Господин де Бозар жестоко поплатился за всех остальных. Выдал его один подлый предатель из полка господина де Ликса.

С сердцем, полным ужаса, пошел Уленшпигель в Брюссель на Конский рынок, где мучительной, бесчеловечной смертью должен был погибнуть де Бозар.

Несчастный мученик был колесован, причем получил тридцать семь ударов железным прутом по ногам и рукам. Кости от этих ударов были раздроблены, и палач наслаждался его невероятными страданиями.

Тридцать седьмой удар де Бозар получил в грудь и от него умер.

#### IV

В светлый, теплый июньский день в Брюсселе на площади перед ратушей воздвигли эшафот, обитый черным сукном; по бокам высились два столба с железными острями. На эшафоте были две черные подушки и столик, на котором стояло серебряное распятие.

На этом эшафоте были обезглавлены мечом благородные графы Эгмонт и Горн. И наследство получил король.

И посланник Франциска Первого сказал об Эгмонте:

— Я видел только что, как отрубили голову тому, перед кем дважды трепетала Франция.

И головы казненных были насажены на железные остря.

И Уленшпигель сказал Ламме:

— Тела и кровь покрыты черным покровом. Слава тем, кто с мужественным сердцем готовит меч для грядущих черных дней.

#### V

Молчаливый набрал войско и вторгся в Нидерланды с трех сторон.

Уленшпигель на собрании «диких гёзов» в Маренгауте говорил так:

— По совету господ инквизиторов король Филипп объявил, что каждый житель Нидерландов, обвиненный в оскорблении его величества, или в ереси, или в том, что не оказал должного противодействия ереси, осуждается без различия пола и возраста, за исключением лишь особо поименованных лиц, и присуждается к наказаниям, соответствующим чудовищным преступлениям, без всякой надежды на помилование. Наследство получает король. Смерть косит обильную жатву в этой богатой и обширной стране, что лежит между Северным морем, графством Эмден, рекою Эме, Вестфалией, Юлих-Клеве и Льежем, епископством Кельнским и Трирским, Лотарингией и Францией; смерть косит свою жатву на земле протяжением в триста сорок миль, в двухстах укрепленных городах и множестве местечек, поселков, имеющих права города, деревень, хуторов. А наследник — король.

Едва хватает для этого одиннадцати тысяч палачей, которых Альба называет солдатами. А родина стала

кладбищем, покинутая промышленниками, ремесленниками, художниками, купцами, чтобы обогащать чужбину, которая дает им возможность молиться богу их свободной совести. Смерть и разгром косят свою жатву. А наследник — король.

Страна имела привилегии, купленные за большие деньги у обедневших государей: они отняты. Она надеялась, что ей дадут возможность мирно радоваться богатым плодам своей работы. Не тут-то было: каменщик строит добычу для пожара, ремесленник работает для вора. Наследник — король.

Кровь и слезы! Смерть повсюду — на кострах, на деревьях, ставших виселицами вдоль большой дороги, в могилах, куда бросают живыми бедных девушек, в тюремных колодцах, где топят толпами заключенных, на грудах горящих дров, где на медленном огне тлеют жертвы, в пылающих соломенных хижинах, в дыму и пламени которых гибнут несчастные. Их наследник — король.

Так пожелал папа римский.

Города переполнены сыщиками, жаждущими своей доли в имуществе жертв. Кто богаче, тот и более виновен. Наследник — король.

Но в стране есть мужественные люди, которые не дадут перебить себя как баранов. Среди бежавших есть вооруженные, пока скрывающиеся в лесах. Их предают монахи на смерть и ограбление, но храбрецы ночью и днем, шайками, точно дикие звери, нападают на монастыри и украденные у бедноты деньги отбирают назад, отбирают подсвечники золотые и серебряные, ларцы для мощей, дарохранильницы, диски и драгоценные сосуды. Не так ли, добрые люди? Там пьют они старое вино, выдержанное монахами для себя. И сосуды, переплавленные или заложенные, идут на дело священной войны. Да здравствуют гёзы!

Они не дают покоя королевским солдатам, убивают их, грабят и опять скрываются в своих логовищах. Днем и ночью в перелесках вспыхивает то там, то сям огонек, гаснет и вновь вспыхивает в другом месте. Это огни наших пиршеств. Наша добыча — всякая дичь, пернатая и косматая. Мы хозяйева ее. Крестьяне, когда надо, снабжают нас хлебом и салом. Присмотрись-ка, Ламме: в отрепьях, одичалые, решительные, с отвагой во взоре, со своими топорами, секирами, мечами, шпагами, пиками,

копьями, луками, аркебузами бродят они по лесам, ибо всякое оружие им годно, и они не хотят ходить ровными рядами, точно солдаты. Да здравствуют гёзы!

И Уленшпигель запел:

Slaet on den trommele van dirre dom deyne,  
Slaet on den trommele van dirre doum, doum.

Бей, барабан, бей, барабан,  
Бей, барабан войны!

Вырви у герцога Альбы кишки —  
По морде его кишками хлещи!  
Громче бей, бей, барабан!  
Будь герцог проклят! Смерть палачу!  
Псам его кинь! Да здравствуют гёзы!

Вешай его за язык и за правую руку:  
Языком тем на казнь он людей посылал,  
Той рукой приговоры смерти скреплял...  
Бей, барабан войны,  
Бей, барабан! Да здравствуют гёзы!

С трупами жертв заприте герцога вы:  
Пускай от смрада задохнется,  
Околеет от черной чумы!  
Бей, барабан! Да здравствуют гёзы!

Христос! Воззри на воинов твоих:  
На плаху, на костер они пойдут  
За правду, за твое святое слово  
И за свободу родины своей

Slaet on den trommele van dirre dom deyne,  
Бей, барабан войны! Да здравствуют гёзы!

И все чокались, восклицая:

— Да здравствуют гёзы!

И Уленшпигель пил из вызолоченного монашьяго кубка и гордо смотрел на мужественные лица диких гёзов.

— Дикие! — говорил он. — Вы волки, тигры, львы. Пожрите же собак кровавого короля!

— Да здравствуют гёзы! — восклицали они и повторяли его припев:

Slaet on den trommele van dirre dom deyne,  
Slaet on den trommele van dirre doum, doum.  
Бей, барабан! Да здравствуют гёзы!

Уленшпигель вербовал в Ипре солдат для принца: скрываясь от преследования герцогских сыщиков, он поступил на службу причетником к приору аббатства св. Мартина. Товарищем его по службе был звонарь по имени Помпилиус Нюман, здоровенный парень, но трус, каких мало, ночью принимавший свою тень за черта, а рубашку за привидение.

Приор был толст и упитан, как пулярка, выкормленная для вертела. Уленшпигель скоро заметил, на каких лугах паслось его преподобие, копя свой жирок. Он узнал от звонаря, а потом увидел своими глазами, что приор завтракал в девять часов утра, обедал в четыре. До половины девятого он спал, потом перед едой отправлялся в церковь посмотреть, каков кружечный сбор в пользу бедных. Половину сбора он пересыпал в свой кошель. В девять часов он закусывал: съедал тарелку молочного супа, половину бараньей ноги, пирожок, начиненный мясом цапли, и выпивал пять рюмок брюссельского вина. В десять часов, сося чернослив и орошая его орлеанским вином, он молил господа бога не дать ему впасть в чревоугодие. В полдень, для препровождения времени, он объедал гузку какой-нибудь дичины, присоединяя к ней и крылышко. В час он начинал думать о своем обеде и сообразно с этим вливал в себя добрый стакан испанского вина. Затем он ложился в постель и дремал минутку для отдохновения.

Проснувшись, он начинал, для возбуждения аппетита, с соленой лососины, которую сопровождала большая кружка антверпенского *dobbel-kno1* \*. Затем он переходил в кухню и располагался здесь перед очагом, где весело трещали дрова. Внимательно следил он за тем, как здесь жарится для монахов аббатства телячья вырезка или подрумянивается на вертеле ошпаренный поросенок, который казался ему много предпочтительнее ломтя сухого хлеба. Но настоящий аппетит у него разыгрался еще не вполне, и приор рассматривал хитрую механику вертела, который как бы чудом поворачивался сам собой. Это было создание Питера ван Стинкисте, кузнеца, жившего

\* *Dobbel-kno1* — пиво двойной крепости (флам.).

в куртрейском владении. Приор заплатил ему за этот вертел пятнадцать парижских ливров.

Затем он опять ложился в постель, вытягивался там от усталости, в два пробуждался, проглатывал немножко свиного студня, запивая его бургонским, которое он покупал по двести сорок флоринов за бочку. В три часа он съедал цыпленка в мадере, которого запивал двумя стаканами мальвазии по семнадцати флоринов бочонок. В половине четвертого он лакомился вареньем, запивая его медом. От этого он становился бодр духом, охватывал руками колени и погружался в спокойную задумчивость до четырех часов.

В четыре наступало время обеда, и в этот сладостный час его часто навещал священник церкви св. Иоанна. Не раз бились они об заклад, кто из них больше съест рыбы, дичи, птицы, мяса. Тот, кто отставал, должен был угостить победителя мясом, поджаренным на углях, с четырьмя соусами, семью гарнирами из зелени и подогретым вином трех лучших марок.

Так опивались они и объедались, ведя беседу о еретиках, причем пребывали в полном согласии, что, сколько их ни перебить, все будет мало. И никогда не возникало между ними ни малейшего спора, кроме того случая, когда им приходилось препираться о тридцати девяти способах, коими изготавливается добрый пивной суп.

Затем они склоняли свои достопочтенные головы на свои священнические животы и храпели. Случалось, кто-нибудь из них открывал на мгновение глаза и бормотал, что жизнь на этом свете — прекрасная вещь и что бедные люди напрасно жалуются на нее.

При этом-то святом муже состоял причетником Уленшпигель. Он отлично прислуживал ему при мессе, всегда пополняя чашу трижды: два раза для себя и раз для приора. И звонарь Помпилиус Ньюман помогал ему при этом.

Видя цветущее здоровье, красные щеки и толстое брюшко Ньюмана, Уленшпигель задал ему вопрос — здесь ли, на службе у приора, он накопил столь завидные достоинства.

— Конечно, сын мой, — ответил Помпилиус. — Закрой только дверь, чтобы нас никто не слышал.

Он шепотом рассказал ему:

— Ты ведь знаешь, как нежно наш господин приор любит всякие вина и пиво, всякое мясо и птицу. Он забирает мясо в кладовке, вино в погребе и всегда носит ключи в кармане. И когда спит, не отнимает рук от них. Ночью, когда он уснет, я пробираюсь к нему, — не без опаски, — снимаю ключи с его брюшка, потом кладу назад. Не без опаски: ибо, сын мой, если он узнает о моем преступлении, он меня сварит живьем.

— Незачем так затрудняться, Помпилиус, — сказал Уленшпигель, — достаточно стащить ключи один раз — я сделаю по их образцу новые; а старые пусть себе лежат на животе добрейшего отца приора.

— Сделай, сын мой, — сказал Помпилиус.

И Уленшпигель сделал ключи: часам к восьми вечера, когда он и Помпилиус решали, что благодушный приор уснул, они спускались вниз и добывали себе мяса и вина, сколько было душе угодно. Уленшпигель нес бутылки, Помпилиус еду, ибо он дрожал как осинный лист, а окорока и бараньи лопатки не разбиваются, когда падают на пол. Не раз забирали они также птицу, в чем обвинены были многие кошки по соседству и претерпели казнь за свое преступление.

Затем они отправлялись на Ketel-straat — улицу гулящих девиц. Здесь они проявляли большую щедрость, кормя своих любушек солониной и ветчиной, вареной колбасой и птицей, поили их орлеанским и бургонским винами и английским пивом, которое за морем называется *эль*, ручьями вливая все это в свежие глотки своих красоток. А те платили им за это ласками.

Но однажды утром, после еды, приор позвал их обоих. С грозным лицом он яростно сосал мозговую кость, вынутую из супа.

У Помпилиуса от страха дрожали поджилки, и брюхо его содрогалось. Уленшпигель был совершенно спокоен и лишь весело ощупывал ключи от погреба в своих карманах.

— Кто это пьет мое вино и ест мою птицу, — грозно спросил приор, — не ты ли это, чадо мое?

— Нет, — ответил Уленшпигель.

— А этот звонарь, — и он указал при этом на Помпилиуса, — не приложил ли он руку к сему преступному деянию? Он бледен, как покойник. Видно, украденное вино для него отравя.

— Ах, ваше преподобие, — ответил Уленшпигель, — вы несправедливы, обвиняя звонаря. Ибо если он бледен, то не оттого, что пил ваше вино, но оттого, что нанюхался духа его; он чахнет со дня на день, и, если ничего против этого не предпринять, его душа ручьем ускользнет сквозь его штаны.

— Есть бедные люди на земле! — вздохнул приор и хватил здоровенный глоток вина из стоящего перед ним стакана. — Но скажи, чадо мое, — у тебя ведь рысьи глаза, — ты не заметил вора?

— Я буду следить, ваше преподобие, — ответил Уленшпигель.

— Господь да утешит вас своей милостью, чада мои, — сказал приор, — живите в трезвости, ибо из невоздержанности проистекают все бедствия сей юдоли слез. Идите с миром.

И, благословив их, он высосал еще одну мозговую кость из супа и выпил еще большой стакан вина.

Уленшпигель и Помпилиус вышли.

— Этот гнусный скаред не дал тебе ни капли своего вина, — сказал Уленшпигель. — Поистине благословен украденный у него хлеб. Но что с тобой, почему ты так дрожишь?

— Мои штаны мокры насквозь.

— Вода сохнет быстро, сын мой, развеселись! Сегодня сыграем плясовую на бутылках на Ketel-straat и напойм допьяна всех трех ночных сторожей. Пусть храпят, охраняя город.

Так и сделали.

Между тем подходил день св. Мартина; церковь была украшена для праздника. Ночью Уленшпигель и Помпилиус вошли в нее, заперли за собой двери, зажгли все свечи, взяли лютию и волынку и играли с увлечением. И свечи сияли, как солнце, но это было далеко не все. Устроив все как должно, они отправились к приору, которого, несмотря на поздний час, застали еще на ногах. Он жевал жареного дрозда, запивая его рейнским, и широко раскрыл глаза, когда увидел освещение в окнах церкви.

— Ваше преподобие, — сказал Уленшпигель, — не угодно ли вам узнать, кто ест ваше мясо и пьет ваше вино?

— Что за освещение! — воскликнул приор, указывая на окна церкви. — Господи боже, неужто это с твоего соизволения святой Мартин жжет по ночам свечи бедных монахов, ничего не платя за них?

— Он и не то еще делает, — сказал Уленшпигель. — Пожалуйте с нами, отец приор.

Тот взял посох, и они вошли в церковь.

Здесь посреди храма он увидел всех святых: выйдя из своих ниш, изваяния собрались в кружок. И святой Мартин являлся как бы начальником, ибо он головой был выше всех; в руке, протянутой для благословения, он держал жареную индейку. У других угодников были во рту или в руках куски гусятины или курятины, колбаса, ветчина, рыба сырая и вареная, между прочим щука в добрых четырнадцать фунтов веса. И в ногах у каждого стояло по бутылке вина.

При виде всего этого приор пришел в неистовство, лицо его вздулось так, что Помпилиус и Уленшпигель испугались, как бы он тут же не лопнул. Но приор, не обращая на них внимания, грозно подошел к святому Мартину, которого он, очевидно, считал ответственным за злоумышления всех прочих, вырвал у него из рук индейку и осыпал такими ударами, что разбил ему руку, нос, посох и митру.

Не помиловал он и других, и не один из святителей потерял под его ударами руки, ноги, митру, посох, крест, косу, секиру, решетку, пилу и иные знаки своего достоинства и своей мученической кончины. Затем приор с бешеной быстротой стал, с трясущимся брюхом, задувать все свечи.

Все окорока, птицу и колбасу, сколько мог собрать, он взял с собой и, согбенный под этой ношей, возвратился в свою опочивальню. Но он был так разъярен и удручен, что вынужден был выпить одну за другой три больших бутылки вина.

Уленшпигель подождал, пока он уснул, и тогда унес все, что приор отобрал у святых, а также то, что осталось в церкви, на *Ketelstraat*, полакомившись предварительно лучшими кусочками. Объедки они с Помпилиусом сложили у ног святых.

На другой день, пока Помпилиус звонил к заутрене, Уленшпигель вошел к приору в опочивальню и опять пригласил его пойти в церковь.

Здесь, указав на объедки и на святых, он сказал:

— Что ж, ваше преподобие, ничто не помогло, они все-таки все съели.

— Да, — ответил приор, — даже в мою опочивальню, как воры, пробрались и утащили все, что я спас. Так, господа святые? Вот я пожалуйюсь на вас его святейшеству.

— Так-то так, — сказал Уленшпигель, — только вот послезавтра крестный ход, скоро в церковь придут рабочие. Увидят они эти разбитые статуи, как бы вас, отец приор, не обвинили в кощунстве.

— О святой Мартин, — простонал приор, — спаси меня от костра! Я не помнил, что делаю.

Затем, обратившись к Уленшпигелю, меж тем как трусливый Помпилиус звонил в колокола, приор сказал:

— К воскресенью никак не успеют починить святого Мартина. Что делать? Что скажет народ?

— Ваше преподобие, — сказал Уленшпигель, — надо употребить невинную хитрость. Мы приклеим Помпилиусу бороду, — вид у него всегда мрачный и потому очень почтенный, — наденем на него митру, стихарь, облачение и весь убор святителя. Он будет стоять на своем подножии, и народ примет его за деревянного святого Мартина.

Приор поднялся к Помпилиусу, который все еще звонил в колокола, и обратился к нему:

— Перестань звонить и слушай: хочешь заработать пятнадцать дукатов? В воскресенье во время крестного хода ты будешь изображать святого Мартина. Уленшпигель тебя оденет как надо, но если ты во время крестного хода пикнешь или шевельнешь пальцем, я прикажу сварить тебя в кипящем масле, в котле, который, по заказу палача, только что обмуровали на Рыночной площади.

— Ваше преподобие, — ответил Помпилиус, — я предан вам бесконечно, но вы ведь знаете, что я страдаю недержанием.

— Повинуйся! — сказал приор.

— Повинуюсь, ваше преподобие, — жалобно ответил Помпилиус.

На следующий день при ярком солнечном сиянии крестный ход вышел из церкви. Уленшпигель по возможности починил двенадцать угодников, которые покачивались теперь на своих носилках среди цеховых знамен. За ними двигалась статуя пресвятой девы, затем, прославляя ее песнопениями, шла ее почетная свита из девиц в белых платьях; за ними шагали лучники и арбалетчики, и, наконец, подле балдахина — Помпилиус, качавшийся на носилках еще более, чем другие, согбенный под бременем пышного убранства св. Мартина.

Уленшпигель раздобыл причиняющий зуд порошок. Он сам одел Помпилиуса в епископское облачение, дал ему перчатки и посох и показал, как благословлять народ по латинскому обряду. Он помогал одеваться и священникам: на одного накиннул орарь, другому подал рясу, дьяконам надел стихари. Он метался по церкви, здесь разглаживая складки камзола, там штаны. Он расхваливал начищенные самострелы и страшные луки братства стрелков. И каждому он насыпал за воротник, на спину или в рукав своего порошка. Больше всех получили приор и четыре носильщика св. Мартина. Только девушек из свиты пресвятой девы он не тронул — ради их нежной красоты.

С развевающимися хоругвями, с развернутыми знаменами, в чинном порядке вышла торжественная процессия из храма. Прохожие, мужчины и женщины, крестились при встрече. Солнце палило.

Приор первым почувствовал действие порошка и почесал за ухом. За ним стали чесаться все, духовенство и стрелки: они чесали себе шею, ноги, руки, стараясь, однако, не показать этого. Почесывалась и четверка, несшая св. Мартина, но звонарь, страдавший больше всех, так как лучи солнца припекали его более других, не смел шевельнуться из страха, что его сварят живьем. Он дергал носом, корчил чудовищные рожи и трясся на своих дрожащих ногах, так как каждый раз, когда кто-нибудь из его носильщиков чесался, он чуть не падал со своей высоты.

Но он не смел двинуться, и от страха из него лило, и носильщики переговаривались:

— Святой Мартин, неужто будет дождь?  
Духовенство взывало к пресвятой деве:

Si de coe... coe .. coe... lo descenderes  
O sanc... ta... ta... Ma... ma... ria \*.

От зуда, ставшего невыносимым, дрожали их голоса; однако они старались чесаться незаметно. Приор же и четверка носильщиков едва не разорвали себе шеи и руки. Помпилиус стоял выпрямившись, его слабые ноги дрожали, они более всего страдали от зуда.

Но вдруг стрелки, дьяконы, священники, сам приор, все, несшие св. Мартина, остановились и начали чесаться. От порошка у Помпилиуса невыносимо свербели пятки, но он не шевелился, боясь упасть.

И в толпе говорили, что св. Мартин дико вращает глазами и показывает бедному люду очень сердитое лицо.

Затем по знаку приора крестный ход опять двинулся в путь.

Но вскоре под знойными лучами солнца, палившего спины и животы участников процессии, действие порошка стало нестерпимым.

И тут духовенство, стрелки, дьяконы, приор остановились и, точно стадо обезьян, начали уже без всякого стыда чесаться везде, где зудело.

Девушки пели гимны, и свежие голоса, звонко возносясь к небу, звучали как ангельские хоры.

И, наконец, все разбежались, кто куда мог. Приор, все почесываясь, спас святые дары; благоговейный народ унес святые мощи обратно в церковь; четверка, несшая св. Мартина, попросту бросила Помпилиуса на землю. Здесь злополучный звонарь лежал, не смея ни почесаться, ни шевельнуться, ни промолвить слово и лишь благочестиво закрыв глаза.

Два мальчика решили было понести его, но он оказался им слишком тяжелым, и они поставили его, прислонив к стене. И слезы градом лились из его глаз.

Народ собрался вокруг него. Своими белыми полотняными носовыми платками женщины отирали его лицо, чтобы собрать его слезы, как священную реликвию, и говорили при этом:

— Как вам жарко, ваша святость!

---

\* «Снизойди с небес, о пресвятая Мария» (лат.).

Звонарь жалостно смотрел на них и против воли не-  
удержимо дергал носом.

Слезы вновь хлынули ручьями из его глаз, и женщины говорили:

— О великий святой Мартин, вы плачете о прегрешениях города Ипра? Отчего так подергивается ваш благородный нос? А мы слушались поучений Луиса Вивеса, и бедняки города Ипра обеспечены работой и едой. Ах, какие крупные слезы — настоящие жемчужины! Вот где наше спасение!

И мужчины говорили:

— Не прикажешь ли, святой Мартин, разрушить все веселые дома на Ketel-straat? Но тогда скажи нам, как помешать бедным девушкам бегать по ночам в поисках всяких приключений?

И вдруг поднялся крик:

— Вот идет причетник!

Уленшпигель подошел, взял Помпилиуса в охапку, взвалил его себе на плечи и понес. А верующая толпа благоговейно следовала за ним.

— Ох, — сказал ему на ухо несчастный звонарь, — я издыхаю от зуда, сын мой.

— Держись прямо, — ответил Уленшпигель, — забыл ты, что ли, что ты — деревянная статуя?

Он быстро шагал и принес звонаря к приору. Тот уже исцарапал себя ногтями до крови.

— Звонарь, — сказал приор, — чесался ли ты, как я?

— Нет, ваше преподобие.

— Говорил ты или шевелился?

— Нет, ваше преподобие.

— Ну, получишь свои пятнадцать дукатов. Иди и чешись сколько угодно.

## VIII

На другой день Уленшпигель рассказывал всем, что произошло во время процессии. Народ, узнав, что над ним зло подшутили, заставив поклоняться вместо святого плаксе, делающему под себя, пришел в негодование.

И многие стали еретиками, покинули город, захватив все свое имущество, и перешли на сторону принца.

Уленшпигель возвратился в Льеж.

Одинокó сидел он как-то в лесу и размышлял. Он смотрел на ясное небо и говорил себе:

«Все война да война: испанцы избивают народ, грабят, насилюют женщин и девушек. Расхищается наше добро, ручьями течет наша кровь, не принося пользы никому, кроме державного мерзавца, которому хочется украсить свою корону новым узором власти. Он считает славным отличием этот узор крови, узор пожаров. Ах, если бы я мог тебя украсить по моему вкусу, мухи были бы твоим единственным обществом».

Так размышляя, он вдруг увидел, как мимо пронеслось стадо оленей. Здесь были матерые самцы, еще гордо несшие свои девятиконечные рога; рядом с ними, точно телохранители, бежали стройные двухлетки, как бы готовые своими окрепшими, острыми рожками защищать их. Уленшпигель не знал, куда они бегут, но подумал, что они возвращаются в свое логовище.

— Ах, — сказал он, — старые самцы и молодые олени, вы гордо и весело несетесь в глубине леса к своему пристанищу, объедаете молодые побеги, вдыхаете сладостные благоухания и наслаждаетесь бытием, пока не придет ваш палач — охотник. Так и мы живем, благородные олени!

И пепел Клааса стучал в грудь Уленшпигеля.

## IX

В сентябре, в дни, когда перестают кусать комары, Оранский с шестью полевыми пушками и четырьмя тяжелыми орудиями, говорившими от его имени, а также с четырнадцатью тысячами фламандцев, валлонов и немцев переправился через Рейн у Санкт-Флейта.

Под желтыми и красными знаменами на суковатой бургундской палке, так долго терзавшей нашу страну и обозначавшей начало нашего рабства, под начальством Альбы, кровавого герцога, шли двадцать шесть тысяч пятьсот человек, катились семнадцать полевых пушек и девять тяжелых орудий.

Но этот поход не принес больших успехов Молчаливому, так как Альба упорно уклонялся от сражения.

И брат Оранского, Людвиг, Баярд Фландрии, заняв несколько городов и взяв выкуп со многих судов на

Рейне, сражался при Эммингене в Фрисландии против сына герцога и потерял здесь шестнадцать пушек, полторы тысячи лошадей и двадцать знамен, и все из-за подлости продажных наемников, требовавших деньги, когда надо было драться.

И в этом разгроме, этой крови и этих слезах тщетно искал Уленшпигель спасения родины.

И палачи по всей стране вешали, рубили головы, сжигали невинные жертвы.

И наследство получал король.

## Х

Странствуя по земле Валлонской, Уленшпигель убедился, что принцу нечего здесь рассчитывать на какую-либо помощь. Так он добрался до окрестностей города Бульона.

По пути стали ему попадаться всё горбатые, всякого возраста, пола и состояния. У всех были большие четки, которые они перебирали с благоговением.

И молитвословия их звучали как кваканье лягушек в пруду в теплый вечер.

Были здесь горбатые матери с уродливыми ребятишками на руках, между тем как остальной выводок того же вида цеплялся за их юбки. Горбуны были на холмах и горбуны на полях. И повсюду видел Уленшпигель фигуры горбунов, резко выступающие на фоне ясного небосклона.

Подойдя к одному из них, он спросил:

— Куда направляются все эти несчастные люди, мужчины, женщины и дети?

Тот ответил:

— Мы идем к усыпальнице святого Ремакля, чтобы вымолить у него то, о чем мечтает наше сердце, а именно: чтобы он убрал с наших спин этот унижительный груз.

— А не мог бы святой Ремакль, — спросил Уленшпигель, — милостиво даровать и мне то, чего жаждет мое сердце, а именно: убрать со спины бедных общин кровавого герцога, тяготеющего на них точно свинцовый горб?

— Святому Ремаклю не дано снимать горбы, ниспосланные в наказание, — был ответ богомольца.

— А другие он снимал? — спросил Уленшпигель.

— Да, если они не застарелые. Тогда свершается чудо исцеления, и мы справляем веселые празднества всем городом. И каждый богомолец жертвует серебряную монету, а иногда целый золотой флорин исцеленному, ставшему уже святым от этого чудесного исцеления, и молитва его за других скорее доходит до неба.

— Почему же, — спросил Уленшпигель, — богатый господин Ремакль взимает плату за свои лекарства, точно какой-нибудь жалкий аптекарь?

— Безбожный путник, он покарает тебя за такое кощунство! — ответил богомолец, яростно потрясая своим горбом.

— Ой, — простонал Уленшпигель и, скорчившись в три погибели, упал под деревом.

— Вот видишь, если святой Ремакль карает, то карает жестоко, — сказал богомолец, глядя на него.

Уленшпигель извивался, скреб свою спину и стонал:

— О преславный угодник, сжался надо мной! Это наказание! Я чувствую адскую боль между лопатками. Ой, ой, прости, святой Ремакль! Уйди, богомолец, уйди! Дай мне здесь в одиночестве выплакать мою вину и покаяться, как отцеубийце!

Но богомолец уже бежал оттуда вплоть до Большой площади города Бульона, где было сборище всех горбатых.

Здесь, дрожа от ужаса, он прерывающимся голосом рассказывал:

— Встретил богомольца... стройный был, как тополь... хулил святого, сразу вскочила опухоль на спине... горб... очень болезненный...

При этом известии богомольцы подняли восторженные крики:

— Святой Ремакль, если ты можешь нагружать горбами, значит, можешь и снимать их. Убери наши горбы, святитель Ремакль.

Между тем Уленшпигель убрался из-под своего дерева. Проходя по опустевшему предместью, он увидел, что у входа одного кабачка мотаются на палке два свиных пузыря, повешенные здесь в знак колбасной ярмарки — *ranch kermis*, как говорят в Брабанте.

Взяв один из этих пузырей, он подобрал лежавший на земле хребет сушеной камбалы, надрезал себе кожу

и напустил крови в пузырь, потом надул его, завязал, привязал его на спину, а к нему прикрепил кости камбалы. С этим украшением, со сгорбленной спиной, трясущейся головой и дрожащими ногами, точь-в-точь старый горбун, явился он на площадь.

Богомолец, бывший свидетелем его падения, увидев его, закричал:

— Вот он, богохульник! — и указал на него пальцем. И все сбежались посмотреть на несчастного.

Уленшпигель жалобно тряс головой и говорил:

— Ах, я не достоин ни милости, ни сострадания, убейте меня, как бешеную собаку...

И горбатые радостно потирали руки, говоря:

— Нашего полку прибыло!

— Отплачу я вам за это, злопыхатели, — бормотал сквозь зубы Уленшпигель, но с виду терпел все покорно и говорил:

— Не буду ни есть, ни пить, — хотя бы от этого мой горб все сильнее твердел, — пока святой Ремакль не исцелит меня так же, как покарал.

И слух о чуде дошел до каноника. Это был человек рослый, пузатый, осанистый. С высоко поднятым носом он, точно корабль, прорезал толпу горбатых.

Ему указали Уленшпигеля, и он обратился к нему:

— Итак, это тебя, любезный, поразила бич святого Ремакля?

— Так точно, ваше преподобие, — ответил Уленшпигель, — именно меня, и я хочу, как смиреннейший богомолец, вымолить у него, чтобы он избавил меня, если ему угодно, от этого свежего горба.

Почуяв в этих словах какую-то хитрость, каноник сказал:

— Дай пощупать твой горб.

— Пощупайте, ваше преподобие, — ответил Уленшпигель.

Сделав это, каноник сказал:

— Он совершенно свеж и еще влажен. Надеюсь однако, что святой Ремакль будет милостив к тебе. Следуй за мной.

Уленшпигель пошел за каноником, и они вошли в церковь. Следом за ними бежали горбатые, крича:

— Вот он, проклятый! Вот богохульник! Сколько весит твой свежий горб? Сделаешь из него ранец, собирать

в него гроши? Всю жизнь ты издевался над нами, потому что был прямой! Теперь наш черед. Слава святому Ремаклю!

Уленшпигель, не произнося ни слова, шел, склонив голову, за каноником. Они вошли в маленькую часовню, в которой стояла мраморная гробница, покрытая большой мраморной плитой. Расстояние между гробницей и стеной часовни было не более двух ладоней. Толпа горбатых богомольцев проходила вереницей между надгробием и стеной, притискивая горбы к мраморной плите. Они верили, что этим способом избавятся от горбов, и те, которым удалось потерять свой горб о мрамор, не пускали следующих. И они дрались, но бесшумно, ибо, из-за святости места, они решались обмениваться тычками лишь исподтишка.

Каноник приказал Уленшпигелю влезть и стать на мраморное надгробие, чтобы его видели все богомольцы. Уленшпигель ответил:

— Я один не сумею.

Каноник подсадил его, стал рядом с ним и приказал ему опуститься на колени, что и сделал Уленшпигель, склонив голову.

Каноник же вдохновился и звучным голосом начал проповедь:

— Дети и братья во Христе! У ног моих вы видите безбожнейшего, гнуснейшего богохульника, которого покарал святой Ремакль своим гневом.

И Уленшпигель, ударив себя в грудь, сказал:

— Confiteor! \*

— Некогда, — продолжал каноник, — он был прям, как древко алебарды, и хвастал этим. Вот он теперь — согбен и согбен под ударом небесного проклятия.

— Confiteor, — сказал Уленшпигель. — Избавь меня от горба!

— Да, — продолжал каноник, — да, великий чудотворец, святой Ремакль, ты, сотворивший со дня твоей преславной кончины тридцать девять чудес, сними с этих плеч бремя, тяготеющее над ними. Дай нам за такое исцеление возгласить тебе хвалу во веки веков, in saecula saeculorum! И мир на земле тем горбатым, которые покорны!

---

\* Confiteor! — Каюсь! (лат.).

И хором возгласили горбуны:

— Да, мир на земле тем горбатым, которые покорны! Мир горбатым, передышку от уродств, свободу от оскорбления! Сними с нас горбы, святитель Ремакль!

Каноник приказал Уленшпигелю спуститься с гробницы и потереть горб о край надгробия.

И Уленшпигель исполнил это, неустанно повторяя:

— *Mea culpa, confiteor \**, избавь меня от горба!

И у всех на глазах он терся горбом.

— Смотрите на горб, он треснул. Смотрите, поддается! Справа он тает!.. Нет, он влезет обратно в грудь. Горбы не тают, они входят обратно во внутренности, из которых вылезли.

— Нет, они втягиваются в желудок и в течение восьмидесяти дней служат там пищей... Это подарок, который святитель жалует исцеленным... А куда деваются старые горбы?

Вдруг все горбатые издали разом страшный крик, ибо Уленшпигель изо всех сил уперся в край надгробия, и пузырь лопнул. Кровь, бывшая в нем, промочила рубашку и большими каплями падала на пол. Выпрямившись и вытянув руку, он кричал:

— Исцелен!

И все горбатые кричали разом: \*

— Святой Ремакль благословил его, к нему он милостив, к нам суров... — О святитель, избавь нас от горбов!.. — Жертвую тебе теленка!.. — А я семь баранов!.. — А я охотничью добычу за целый год!.. — Я шесть окороков... — Я отдаю мой домик церкви... Избавь нас от горбов, святитель Ремакль!

И они смотрели на Уленшпигеля с завистью и почтением.

Один из них хотел пощупать, что у него там под курткой, но каноник сказал:

— Там рана, которую нельзя выставлять на свет.

— Я буду молиться за вас, — сказал Уленшпигель.

— Да, богомolec, — заговорили все горбатые разом, — да, вновь выпрямленный господом, мы насмехались над тобой: прости нас, мы не ведали, что творим. Христос простил на кресте, — прости и ты нас.

— Прощаю, — милостиво сказал Уленшпигель

---

\* *Mea culpa, confiteor* — Мой грех, каюсь (лат.).

— Ну, возьми, вот патар, вот флорин. Примите, ваша прямая милость, вот реал, вот дукат, ваша стройность, не откажитесь принять этот крузат, взять рукой эти червонцы...

— Уберите ваши дукаты, — потихоньку сказал им Уленшпигель, — дабы ваша левая рука не знала, что творит правая.

Он говорил так из-за каноника, который жадными глазами смотрел на деньги горбатых, не разбирая, что там, золото или серебро.

— Благодать над тобой, о благословенный, — говорили горбатые Уленшпигелю.

И он гордо принимал от них подарки, точно чудотворец. А скупые все терли свои горбы о гробницу, не говоря ни слова.

Вечером Уленшпигель отправился в трактир и устроил там хорошую попойку.

Однако, прежде чем лечь спать, он вспомнил, что, наверное, каноник явится забрать свою часть добычи, если не всю ее. Он пересчитал полученное и нашел здесь больше золота, чем серебра, ибо тут было не меньше трехсот червонцев. Заметив в цветочном горшке засохший лавровый куст, он вытащил растение с корнями и землей и положил на дно горшка все свое золото. Полуфлорины же, патары и мелочь он рассыпал перед собой по столу.

Каноник явился в корчму и поднялся наверх к Уленшпигелю. При виде священника тот вскочил:

— Господин каноник, чего ради вы явились к моей недостойной особе?

— Единственно ради твоего добра, сын мой, — ответил каноник.

— Ох, — вздохнул Уленшпигель, — вы о том добре, что лежит на столе?

— Именно, — ответил каноник.

И, протянув руку, он сгреб все деньги со стола в мешок, который принес для этой цели.

Один флорин, однако, он дал Уленшпигелю, который, для видимости, жалостно стонал.

И каноник спросил его, каким способом он устроил чудо.

Уленшпигель показал ему свиной пузырь и кости камбалы. Все это забрал каноник под крики и стоны Улен-

шпигля, молившего его дать ему еще сколько-нибудь, так как путь от Бульона до Дамме очень далек для него, несчастного пешехода, и он, наверное, умрет по дороге с голоду.

Каноник ушел, не сказав ни слова.

Оставшись один, Уленшпигель уснул, поглядев на лавровый куст.

На рассвете он забрал свою добычу и вышел из Бульона, поспешив в лагерь Оранского. Здесь он передал принцу все деньги и рассказал ему свою историю, пояснив, что это естественный способ налагать на врага военную контрибуцию.

Принц дал ему десять флоринов.

Что касается позвоночника камбалы, то он был заключен в хрустальный ларец и прикреплен в середине распятия в алтаре Бульонского собора.

И всякий в городе знает, что в распятии этом заключен горб выпрямленного богохульника.

## XI

Молчаливый, готовясь к переправе через Маас, передвигал свои отряды в окрестностях Льежа, стараясь запутанными переходами обмануть бдительность Альбы.

Уленшпигель исполнял свои воинские обязанности, умело орудовал своей аркебузой и внимательно следил за окружающим.

В лагерь прибыли фламандские и брабантские дворяне, жившие в согласии с офицерами и важными господами из свиты Молчаливого.

Вскоре, однако, в лагере образовались две партии, неустанно враждовавшие друг с другом, ибо одни говорили: «Принц — предатель», другие же отвечали, что кто говорит это, тот клеветник, и что они заткнут его лживую глотку. Недоверие росло, как жирное пятно. Доходило дело до рукопашной, дрались по семь, восемь, двенадцать человек, а иногда брались и за настоящее оружие вплоть до аркебуз.

Однажды на шум явился сам принц и прошел между враждующими сторонами. Пуля сорвала у него шпагу. Он приказал прекратить бой и обошел весь лагерь, чтобы

все его видели и никто не мог говорить: «Убит Молчаливый, убита война!»

На другой день около полуночи, в тумане, когда Уленшпигель только что собрался выйти из одного дома, где он напевал фламандские любезности некоей валлонской девице, он вдруг услышал у двери соседнего домика троекратное карканье ворона. И таким же карканьем ответил кто-то вдалеке. Из домика вышел крестьянин и встал у порога. Уленшпигель услышал на дороге шаги.

Два человека, разговаривавшие по-испански, подошли к крестьянину, который обратился к ним на том же языке:

— Ну, что вы сделали?

— Добрую работу сделали, — ответили они, — врали во имя короля. Благодаря нашей работе теперь офицеры и солдаты в лагере относятся ко всему недоверчиво: «Принц только из низкого честолюбия сопротивляется королю: он добивается того, чтобы его боялись, и тогда в качестве залога он удержит в своих руках города и области; за пятьсот тысяч флоринов он готов покинуть доблестное дворянство, сражающееся за родину. Герцог предложил ему полное помилование и торжественно поклялся и обещал вернуть ему и всем высшим военачальникам их владения, если они вновь покорятся королю. Оранский единолично заключит с ним соглашение».

А приверженцы Молчаливого возражали нам:

«Предложение герцога — предательская ловушка, в которую не даст себя заманить Оранский, памятуя об Эгмонте и Горне. Им хорошо известно, что кардинал Гранвела, когда схватили графов, сказал в Риме: «Пескарей ловят, а щуку отпускают». Пока Оранский на свободе, еще ничего не сделано».

— А велик ли раскол в лагере? — спросил крестьянин.

— Велик и с каждым днем сильнее. Где письма?

Они вошли в домик, где засветился фонарь. В оконце Уленшпигель увидел, как они распечатали два письма, жадно читали их, пили мед и поспешно удалились, сказав на прощанье крестьянину по-испански:

— Если лагерь распадется, — Оранский в наших руках. Будет хорошая пожива.

«Ну, с этими разбойниками надо покончить», — сказал себе Уленшпигель.

Они вышли в густом тумане, и Уленшпигель видел, как крестьянин вынес им фонарь, который они взяли с собой.

Свет мелькал, часто скрывааемый черной тенью, из чего Уленшпигель заключил, что они идут гуськом.

Он зарядил свою аркебузу и выстрелил в черную фигуру. Фонарь стал подыматься и опускаться, и из этого он заключил, что один упал, а другой старается рассмотреть его рану. Он снова зарядил аркебузу. Но фонарь, качаясь, стал быстро удаляться по направлению к лагерю. Уленшпигель выстрелил еще раз. Фонарь покачнулся, упал и погас. Стало темно.

Бросившись к лагерю, Уленшпигель встретил профоса и толпу солдат, разбуженных выстрелом. Уленшпигель обратился к ним:

— Я охотник, пойдите принесите дичь.

— Веселый фламандец, — сказал ему профос, — ты разговариваешь не только языком.

— Слова слетают с языка, как ветер. Слова свинцовые остаются в теле предателей. Пойдемте.

И при свете фонарей он привел их к месту, где лежали оба — один уже мертвый, другой хрипя в агонии; рука его была прижата к груди, и здесь они нашли письмо, которое он скомкал последним усилием воли.

Они понесли трупы, по одежде которых было видно, что это дворяне, и направились, захватив фонарь, прямо к принцу, прервав своим приходом его совещание с Фридрихом Голленгаузенем, маркграфом гессенским, и другими господами.

В сопровождении ландскнехтов и рейтаров в зеленых и желтых камзолах они толпой подошли к палатке Оранского и шумно требовали, чтобы их выслушали.

Он вышел. Профос откашлялся, чтобы начать обвинительную речь против Уленшпигеля, но тот перебил его:

— Ваша светлость, целясь в ворон, я подстрелил двух предателей — дворян из вашей свиты.

И он рассказал, что он видел, слышал и сделал.

Оранский не произнес ни слова. Перед ним, принцем Оранским, Вильгельмом Молчаливым, пред Фридрихом Голленгаузенем, маркграфом гессенским, Дитрихом ван Схоненбергом, графом Людвигом Нассауским, Гоохстра-тенем, Антуаном де Лаленом, губернатором мехеленским, пред солдатами и Ламме Гудзаком, дрожащим всем те-

лом от испуга, были обысканы оба трупа. При убитых нашли письма за печатями Гранвелы и Нуаркарма, которые повелевали им сеять раздоры среди приближенных принца, чтобы таким образом ослабить его силы, принудить к уступкам и выдать его герцогу, который отрубит ему голову. «Следует, — говорилось в письмах, — действовать осторожно, посредством смутных намеков, чтобы в войске укоренилось впечатление, что Оранский ради личной выгоды заключил с герцогом особое соглашение. Тогда его приближенные и солдаты в негодовании сами схватят его. В уплату им переведено через Фуггера в Антверпене по пятисот дукатов на каждого. Они получают без замедления следующую тысячу, как только ожидаемые из Испании четыреста тысяч придут в Зеландию».

Когда предательство, таким образом, стало очевидным, принц молча повернулся к своим приближенным — офицерам и солдатам, — среди которых было много не доверявших ему, и укоризненно поглядел на них, молча указывая на трупы.

В великом смятении все присутствующие воскликнули:

— Да здравствует Оранский! Оранский верен родине!

В доказательство своего презрения они хотели бросить трупы собакам, но принц сказал:

— Не тела надо выбросить собакам, а дух слабости, рождающий недоверие к чистым помыслам.

И солдаты и офицеры кричали:

— Да здравствует принц! Да здравствует Оранский, друг родины!

И голоса их звучали как гром, сметающий несправедливость.

Указывая на трупы, принц сказал:

— Похороните их по-христиански.

— А я? — сказал Уленшпигель. — Что сделают с моим верным скелетом? Если я поступил неправильно, пусть меня высекут; если я сделал как надо, пусть меня наградят.

На это Молчаливый сказал:

— Этот стрелок получит пятьдесят ударов зелеными палками в моем присутствии за то, что, не получив приказа, нарушил дисциплину, убив двух офицеров. Затем

он получит тридцать флоринов за то, что хорошо смотрел и хорошо слушал.

— Ваше высочество, — ответил Уленшпигель, — если бы мне раньше дали тридцать флоринов, я бы терпеливее выдержал палки.

— Да, да, — вздохнул Ламме Гудзак, — дайте ему сперва тридцать флоринов, он покорно вынесет остальное.

— И затем, — продолжал Уленшпигель, — так как душа моя чиста, то нет нужды ни мыть ее дубиной, ни полоскать ее осиною.

— Да, — вздыхал Ламме Гудзак, — не надо мыть Уленшпигеля дубиной или полоскать осиною. У него душа чистая. Не мойте его, господа офицеры, не мойте его.

Когда Уленшпигель получил свои тридцать флоринов, профос приказал «шток-мастеру», то есть палочных дел мастеру, взяться за него.

— Взгляните, господа, какой у него жалостный вид, — кричал Ламме. — Никакого дерева не любит мой друг Уленшпигель.

— Нет, — отвечал Уленшпигель, — я люблю раскидистый ясень, который простирает свою сочную листву навстречу солнцу, но терпеть не могу этих палок, которые влажны от своего пролитого сока; ободранные, без листьев и ветвей, они имеют дикий вид, и соприкосновение с ними производит столь же мерзкое впечатление.

— Ты готов? — спросил профос.

— Готов? — повторил Уленшпигель. — К чему готов? К палкам? Нет, не готов и не собираюсь быть готовым, господин шток-мастер. У вас рыжая борода и грозное лицо, но я убежден, что у вас мягкое сердце и что вы совсем не любите увечить таких бедняг, как я. О себе скажу, что я этого не люблю ни делать, ни видеть. Ибо спина христианина — священный храм, подобный груди, объемлющей легкие, коими мы вдыхаем воздух божий. Какие муки душевные будут терзать вас, если вам случится тяжелым ударом раздробить меня на куски!

— Живей, живей, — сказал шток-мастер.

— Ах, к чему такая спешка, ваше высочество, — обратился Уленшпигель к принцу, — право, ни к чему спешить: сперва надо высушить палку, а то, говорят, сырое дерево, проникая в живое мясо, заражает его смертель-

ным ядом. Неужто вы, ваше высочество, хотите, чтобы я погиб такой гадкой смертью? Верной службой служит вам и так моя спина, ваше высочество. Пусть секут ее розгами, пусть бичуют ремнем, только этими зелеными палками не надо, прошу вас.

— Помилуйте его, принц, — сказали одновременно Гоохстратен и Дитрих ван Схоненберг. И другие сострадательно улыбались.

И Ламме приговаривал:

— Ваше высочество, ваше высочество, помилуйте его; зеленое дерево — чистый яд.

— Прощаю, — сказал принц.

И Уленшпигель, несколько раз высоко подпрыгнув, отхлопал Ламме по животу и тащил его плясать, приговаривая:

— Восхваляй вместе со мной благородного принца, который спас меня от зеленых палок.

Ламме попытался плясать, но из-за брюха не мог.

И Уленшпигель угостил его хорошей выпивкой и закуской.

## ХИ

Уклоняясь от сражения, герцог непрестанно старался истощить Оранского при его передвижениях между Юлихом и Маасом. Повсюду, у Гондта, Мехелена, Эльсена и Меерсена, обследовали, по указанию принца, реку, и везде дно ее было усеяно колышками, которые при переправе причиняли раны людям и лошадям.

У Стокема брод оказался свободным. Принц приказал перейти реку. Кавалерия, перейдя через Маас, сосредоточилась по ту сторону в боевом порядке, прикрывая переправу со стороны епископства Льежского. Затем от берега до берега, поперек реки, выстроились в десять рядов стрелки и аркебузиры, задерживая, таким образом, течение реки. Среди них был Уленшпигель. Вода доходила ему до бедер, и не раз предательская волна поднимала его вверх вместе с лошадыю.

Мимо него шла пехота, привязав пороховницы к шляпам и держа аркебузы высоко в воздухе. За ними двигался обоз, охранные отряды, саперы, фейерверкеры, двойные бомбарды, фальконеты, большие и малые кулеврины, кулеврины-батарды, двойные кулеврины, мортиры,

пушки, простые и двойные, легкие пушки для авангарда, запряженные парой лошадей, которые могли галопом примчаться куда угодно и, таким образом, были подобны так называемым императорским пистолетам. За артиллерией шел арьергард — ландскнехты и фламандская конница.

Уленшпигель искал, где бы хватить глоток согревающего напитка. Лучник Ризенкрафт, немец из Южной Германии, тощий жесткий громадный парень, храпел подле него на коне; от парня разило водкой, и Уленшпигель поискал, где его фляжка, нашел ее, перерезал бечевку, на которой она висела у того на шее, и весело приложился к ней. Соседи-стрелки кричали:

— Дай и нам!

Так он и сделал. Когда фляжка была пуста, он связал бечевку и хотел повесить фляжку на шею солдату. Однако он задел при этом Ризенкрафта, тот проснулся и прежде всего потянулся к своей фляжке, чтобы, как всегда, подоить свою коровушку. Но, не найдя молока, он пришел в ярость и закричал:

— Мерзавец, куда ты дел мою водку?

— Выпил, — отвечал Уленшпигель, — у промокших солдат водка — общее добро, а скаред — дурной товарищ.

— Завтра в поединке изрублю тебя на куски, — сказал Ризенкрафт.

— Валяй. Станем рубить друг другу головы, руки, ноги и все прочее. Да не запор ли у тебя, что рожа такая кислая?

— Да, запор.

— Так чем драться, лучше бы ты слабительное принял.

Они уговорились встретиться на другой день на конях при любом сражении, чтобы срубить друг у друга короткими шпагами лишнее сало.

Уленшпигель просил разрешения заменить шпагу палкой — и получил согласие.

Между тем войско перешло реку, и, по приказанию офицеров, десять шеренг лучников также двинулись к другому берегу.

И принц сказал:

— Вперед, на Льеж!

Объятый радостью, Уленшпигель закричал вместе с фламандцами:

— Да здравствует Оранский, вперед, на Льеж!

Но наемники, особенно немцы, нашли, что они слишком промокли для наступления. Напрасно уверял их принц, что они идут навстречу верной победе, что город на их стороне. Они знать ничего не хотели, разложили большие костры и грелись подле них со своими расседланными лошадьми.

Нападение на город было отложено на другой день. Альба был очень испуган отважной переправой: тут его шпионы донесли ему, что наемники Молчаливого не готовы к нападению.

Поэтому он пригрозил Льежу и его округе, что он уничтожит все огнем, если тамошние сторонники принца шелохнутся. Герард ван Грусбеке, клевет епископа, вооружил своих наемников против принца. А Молчаливый из-за наемников-немцев, испугавшихся сырости в штанах, подошел к городу слишком поздно.

### XIII

Уленшпигель и Ризенкрафт взяли себе секундантов, которые решили, что противники будут драться пешими и, по требованию победителя, вплоть до смертельного исхода; так потребовал Ризенкрафт.

Местом боя была выбрана маленькая поляна.

С утра Ризенкрафт надел свое стрелковое снаряжение. На нем был шлем с нагрудником без забрала и кольчуга без рукавов. Рубаху, разорванную в клочья, он запихал в шлем, чтобы, в случае нужды, употребить лоскутья для перевязки. Он взял свой самострел из доброго арденнского дерева, колчан с тридцатью стрелами и длинный кинжал, но не взял меча о двух рукоятках, какими обычно вооружены лучники. Он прибыл на место поединка на своей кобыле и сидел в боевом седле, прикрытом броней так же, как лоб лошади был закрыт налобником, украшенным перьями.

Вооружение Уленшпигеля было рыцарское. Он восседал на осле, седлом ему служила юбка гулящей девицы, на морду осла была надета ивовая плетенка, над которой развевался пучок стружек. Грудь осла вместо на-

грудника, покрывал кусок сала, так как, объяснял Уленшпигель, железо дорого, к стали не приступиться, а медь в последнее время в таком количестве уходит на пушки, что и для кролика не из чего выковать оружие. Вместо шлема он прикрылся салатным листом, еще не объединенным улитками. В середину он воткнул лебединое перо — эмблема лебединой — последней песни, если плохо придется.

Вместо легкой, тонкой шпаги служила ему длинная, толстая сосновая жердь, к концу которой была привязана метелочка из веточек того же дерева. Слева у седла висел нож, тоже деревянный, справа палица: ветка бузины, воткнутая в брюкву. Панцырь его был весь из лохмотьев. Когда он в этом наряде появился на месте боя, секунданты Ризенкрафта разразились хохотом, но сам он угрюмо хранил кислое выражение лица.

Секунданты Уленшпигеля потребовали, чтобы немец снял свою стальную кольчугу, так как на Уленшпигеле нет ничего, кроме тряпок. Ризенкрафт согласился. Тогда его секунданты спросили, почему Уленшпигель вооружен метлой.

— Палку вы мне сами разрешили: можно же ее украсить зеленью.

— Делай как знаешь, — сказали четыре секунданта.

Ризенкрафт не произнес ни слова и лишь сбивал короткими ударами шпаги тощие стебельки вереска.

Секунданты потребовали, чтобы он заменил свой меч метлой, как у Уленшпигеля.

Он ответил:

— Если этот голодранец по своей воле выбрал столь необычное оружие, то он, очевидно, надеется им защитить свою жизнь.

Уленшпигель, со своей стороны, повторил, что ему довольно его метлы, и секунданты объявили, что все в порядке.

Противники стали друг против друга, — Ризенкрафт, закованный в сталь, на своем коне, Уленшпигель — на осле, прикрытом куском сала.

Выехав на середину поляны, Уленшпигель взял метлу наперевес, как копье, и сказал:

— Гнуснее чумы, проказы и смерти, по-моему, эта смердящая погань, которая в лагере храбрых и добрых товарищей не знает иной заботы, как совать повсюду

свою кислую рожу и от злости слюнооточивую пасть. Где появится такой поганец, немеет смех и смолкает песня. Всегда такой подлец с кем-нибудь дерется или ругается и, таким образом, рядом с честным боем за родину затевает поединки, в которых — разруха армии и радость врагу. В разное время Ризенкрафт, здесь стоящий передо мной, убил двадцать одного человека за пустячные слова, никогда, ни в одном сражении или стычке не дав доказательств своей храбрости, не получив ни единой награды. Поэтому мне очень приятно почесать сегодня эту шелудивую собаку против ее облезшей шерсти.

Ризенкрафт ответил:

— Этот пьяница вообразил, что поединок — это забава; с радостью расколю ему череп, чтобы всякий увидел, что там нет ничего, кроме соломы.

По приказанию секундантов оба спешили, причем с головы Уленшпигеля упал салатный лист, который был немедленно подхвачен его ослом. Один из секундантов помешал ослу доесть его, дав ему пинка ногой и выгнав за изгородь поляны. Таким же образом отвели коня, и они поплелись вдвоем, пощипывая траву.

Затем секунданты с метлой — это были секунданты Уленшпигеля — и секунданты с мечом — секунданты Ризенкрафта — подали свистом знак к бою.

И Ризенкрафт и Уленшпигель яростно бросились друг на друга. Ризенкрафт рубил шпагой. Уленшпигель отбивался метлой. Ризенкрафт клялся всеми дьяволами, Уленшпигель увертывался, бегал по поляне вдоль и поперек, туда и сюда, показывал Ризенкрафту язык, корчил ему рожи, а тот задыхался и, как сумасшедший, махал по воздуху своей шпагой. Вдруг, когда он подбежал совсем близко к Уленшпигелю, тот мигом обернулся и изо всех сил ткнул его своей метлой в нос. Ризенкрафт упал на землю, растопырив руки и ноги, точно издыхающая лягушка.

Уленшпигель бросился к нему и возил без всякого милосердия метлой по его лицу взад и вперед, повторяя:

— Проси пощады, не то всю метлу слопаешь.

Он тер и тер его без устали, к великому смеху присутствующих, и все приговаривал:

— Кайся, не то слопаешь всю метлу.

Но Ризенкрафт не мог ничего ответить, так как от черной ярости умер.

— Господь да упокоит твою душу, озлобленный бедняга! — сказал Уленшпигель.

И ушел, огорченный.

#### XIV

Октябрь приближался к концу. У принца иссякли деньги, и войско его страдало от голода. Солдаты роптали; он двинулся по направлению к Франции и старался вступить в бой с герцогом, но тот уклонялся от боя.

Выступив из Кенуа-ле-Конт по пути к Камбрэзи, он встретил здесь отряд из десяти немецких батальонов, восьми испанских и трех эскадронов легкой конницы под командой дона Руфеле Генридис, сына герцога Альбы. Завязался бой, и дон Руфеле среди схватки воскликнул по-испански:

— Бей, бей! Без пощады! Да здравствует папа!

Оказавшись в это мгновение против отряда стрелков, где Уленшпигель был взводным, он бросился со своими людьми на них. Тогда Уленшпигель сказал своему начальнику:

— Отсеку этому палачу язык!

— Отсеки, — ответил тот.

И Уленшпигель меткой пулей раздробил челюсть и разорвал язык у дона Руфеле, сына герцога.

Затем он выбил из седла сына маркиза Дальмарес.

Все восемнадцать батальонов пехоты и три эскадрона кавалерии были разбиты.

После этой победы Уленшпигель искал в лагере своего друга Ламме, но не нашел его.

— Ах, — говорил он, — скрылся друг мой Ламме, мой добрый толстяк! Видно, полный воинской отваги, он забыл о тяжести своего брюха и вздумал преследовать бегущих испанцев. И, конечно, запыхавшись, он упал, как мешок, на дороге; они его захватили и увели с собой, в надежде на выкуп — выкуп христианского сала. Друг мой Ламме, где ты застрял? Где ты, милый толстячок?

И Уленшпигель искал его повсюду, но нигде не мог найти и был огорчен этим.

## XV

В ноябре, месяце снегопада и метелей, принц вызвал к себе Уленшпигеля. Молчаливый сидел, грызя шнурок своего панцыря.

— Слушай и запомни, — сказал он.

— Мои уши как двери темницы, — ответил Уленшпигель, — через них легко войти, но выйти — дело трудное.

Молчаливый сказал:

— Обойди Фландрию, Геннегау, Северный Брабант, Антверпен, Южный Брабант, Намюр, Гельдерн, Оверэйсел и Северную Голландию и повсюду говори следующее: если судьба изменит нашему святому христианскому делу на суше, то борьба с подлым насилием будет продолжаться на море. Да будет милость господня над нашим великим делом в его удачах и неудачах! Прибыв в Амстердам, отдай отчет во всем, что ты говорил и делал, моему верному другу Паулю Бейсу. Вот три паспорта, подписанные самим Альбой. Их нашли на трупах убитых при Кенуа-ле-Конт. Мой секретарь вписал в них имена. Быть может, ты найдешь по дороге подходящего спутника, которому ты сможешь довериться. Запомни: кто на пение жаворонка ответит боевым криком петуха, тот наш верный союзник. Вот тебе пятьдесят флоринов. Будь мужествен и тверд.

— Пепел стучит в мое сердце, — ответил Уленшпигель.

И он отправился в путь.

## XVI

Пропуск от имени короля и герцога давал ему право носить при себе какое угодно оружие. Он взял свою добрую аркебузу, сухого пороха и пуль. Затем он надел изодранный плащ, истасканный камзол и штаны испанского покроя, нахлобучил шляпчонку с торчащим пером и опоясался саблей. Покинув свое войско у французской границы, он направился в Маастрихт.

Крапивники, предвестники мороза, порхали вокруг жилья и просили приюта. Третьи сутки шел снег.

Уленшпигелю часто приходилось предьявлять свой паспорт. Его пропускали. Так шел он к Льежу.

Вскоре он дошел до большой равнины; ветер хлопьями снега хлестал его в лицо. В ослепительной белизне расстилалась перед ним равнина, и снежная метель вихрем кружилась над нею. Три волка шли по его пятам, но, когда он свалил одного из них выстрелом, прочие набросились на раненого и, разодрав на части, убежали каждый со своим куском мяса в лес.

Избавившись от волков и взглядываясь, не бежит ли по полю еще стая, он увидел позади, далеко на равнине, как будто серые изваяния, которые двигались как пятна в снежной метели; за ними видны были очертания всадников. Он влез на дерево. Ветер донес до него издалека жалобные звуки.

«Быть может, это богомольцы в белых плащах, — подумал он, — ибо лишь с трудом я отличаю их фигуры от снега».

Но тут он увидел, что это бегут голые люди, а за ними два рейтара на высоких конях в черном вооружении гонят эту жалкую толпу неистовыми ударами бича. Он зарядил аркебузу. Среди этих несчастных он видел молодых людей и стариков, — голые, иззябшие, окоченелые, съжившись под бичом солдат, бежали они вперед, чтобы увернуться от их ударов. А рейтары, тепло одетые, красные от водки, сытые, забавлялись тем, что хлестали голых людей, подгоняя их.

— Я мшу за тебя, пепел Клааса, — сказал Уленшпигель и выстрелил в одного рейтара, который упал с коня, пораженный пулей в лицо. Другой, не понимая, откуда принеслась эта нежданная пуля, перепугался и решил, что в лесу засел неприятель. Он вздумал спастись бегством вместе с лошадей своего спутника и схватил ее за узду, но, сойдя с коня, чтоб ограбить мертвеца, получил вторую пулю себе в затылок и упал мертвый.

Голые люди опустили на колени, решив, что ангел с небес явился им на помощь в образе стрелка, бьющего без промаха. Уленшпигель слез с дерева, и его узнали некоторые из несчастных, служившие с ним вместе в армии принца. Они объяснили ему:

— Видишь, Уленшпигель, мы из Франции: за то, что мы не могли заплатить выкупа, нас в этом ужасном виде отправили как мятежников и военнопленных в Маастрихт, куда сейчас прибудет герцог. Мы все уже

заранее обречены на пытки, казни и ссылку на королевские галеры, подобно ворам и преступникам.

Уленшпигель отдал старшему из беглецов свой плащ и сказал:

— Пойдемте, я отведу вас в Мезьер, но раньше надо забрать все, что есть у этих солдат, и поймать их лошадей.

Снятые с солдат камзолы, штаны, сапоги, шапки и панцыри были распределены между самыми слабыми и больными, и Уленшпигель сказал:

— Двинемся в лес, там нет ветра и поэтому теплее. Бегом, братья.

Вдруг один из несчастных упал с криком:

— Холодно! Голодно! Иду к господу сказать, что папа римский — антихрист на земле.

И умер. Все решили нести его с собой, чтобы предать земле по-христиански.

Подвигаясь вперед по большой дороге, они встретили крестьянина, ехавшего в крытой повозке. Он сжалился над голыми людьми и забрал их в свою повозку. Здесь было сено, в которое они зарылись, и пустые мешки, которыми они могли прикрыться. Согревшись, они вознесли благодарность господу. Уленшпигель ехал рядом на добытом коне и вел другого в поводу.

В Мезьере они остановились; здесь им принесли теплый суп, пиво, хлеб, сыр, а старикам и женщинам — мясо. Их приютили и дали им одежду и новое оружие за счет общины. Все благословляли Уленшпигеля и обнимали его, и он радовался этой ласке.

Он продал рейтарских лошадей за сорок восемь флоринов, из коих тридцать отдал французам.

Странствуя далее в одиночестве, он говорил себе:

«Вот я иду сквозь кровь, слезы и бедствия, но не нахожу ничего. Видно, обманули меня дьяволы. Где Ламме? Где Неле? Где Семеро?»

И он услышал голос, подобный дуновению:

— В слезах, в смерти, в огне ищи...

И он пошел дальше.

## XVII

В марте Уленшпигель пришел в Намюр. Здесь он увидел Ламме, который, став большим любителем маасской рыбы, особенно форели, нанял себе лодку и, с разреше-

ния общины, занялся рыбной ловлей. Но гильдии рыбаков он уплатил за это пятьдесят флоринов.

Увидев, как его друг и товарищ бродит по берегу Мааса, ища способа перебраться на ту сторону, в город, обрадованный Ламме причалил к берегу, взобрался, запыхавшись, по откосу и бросился к Уленшпигелю. Заикаясь от радости, он восклицал:

— Вот, наконец, опять ты со мной, сын мой, сын во господе, ибо ковчег моего чрева может вместить двоих таких, как ты. Куда ты теперь? Что тебе нужно? Ты, значит, жив? Не видел ты моей жены? Будешь кушать маасскую рыбу? Это лучшее, что есть в этой юдоли: здесь, брат, готовят такие соусы, что оближешь пальчики. Какой у тебя гордый и славный вид с тех пор, как позолотило тебя пламя сражений. Вот ты здесь теперь, сын мой, дорогой Уленшпигель, веселый бродяга! — И он заговорил тише: — А сколько испанцев ты положил? Не встречал ли ты моей жены в одной из их повозок с потаскушками? И маасского вина выпьешь — оно великолепно действует на страдающих запором. Сын мой, ты ранен? Ты ведь останешься здесь и скоро будешь чувствовать себя свежим, бодрым и здоровым, как молодой орел. И угрей наешься, таких, что без всякого запаха тины! Поцелуй меня, мой мальчик. Слава богу, слава богу! Ух, как я рад!

И Ламме прыгал, плясал, пыхтел, фыркал, тормозил Уленшпигеля.

Затем они отправились в город. У ворот Намюра Уленшпигель предъявил свой паспорт, подписанный герцогом, и Ламме повел его к себе.

Готовя обед, он выслушал рассказ о приключениях Уленшпигеля и рассказал о своих. Он покинул войско, последовав за девушкой, которую принял за свою жену. Так он и ехал за ней, пока не добрался до Намюра. И Ламме спросил:

— Ты ее не видал?

— Видал других, и очень пригожих, — отвечал Уленшпигель, — особенно в этом городе, где все женщины заняты любовью.

— Верно, — сказал Ламме, — меня уж тут завлекали сотни раз, но я остался верен жене. Мое тоскующее сердце переполнено единственным воспоминанием.

— Так же, как твое брюхо всякой едой.

— Когда я тоскую, я должен есть.

— И твое горе не знает отдыха и передышки?

— Увы, — ответил Ламме.

И, вытащив из лохани форель, он продолжал:

— Смотри, какая красивая, какая полная. Мясо розовое, как тело у моей жены. Завтра утром уедем из Намюра; у меня мешочек полон флоринов, — купим себе по ослу и поедем верхом во Фландрию.

— Дорого будет стоять, — сказал Уленшпигель.

— Неважно. Сердце тянет меня в Дамме; там любила она меня так сладко; может быть, она туда вернулась.

— Что ж, если хочешь, выедем завтра утром.

На следующий день они выехали бок о бок, каждый на своем осле.

## ХVIII

Дул резкий ветер. Солнце, ясное с утра, как радостная юность, потускнело, поседело, как человек на склоне лет; пошел дождь с градом.

Когда дождь перестал, Уленшпигель отряхнулся, говоря:

— Небо впитывает так много туманов, что иногда ему приходится облегчаться.

Снова хлынул дождь с градом, хуже прежнего, он безжалостно хлестал путников. Ламме ныл:

— Нас хорошо обмыло, зачем же еще полоскать?

Солнце выглянуло снова, и они весело затрусили вперед.

В третий раз поток проливного дождя и града хлынул с такой убийственной силой, что сухие ветви падали с деревьев, точно подрезанные острым ножом.

Ламме стонал:

— О, под крышу бы! Бедная жена моя! Где вы, жаркий камелек, сладкие поцелуи, жирные супы?

И он плакал, бедный толстяк.

Но Уленшпигель ответил:

— Нечего жаловаться. Виной всех напастей всегда мы сами. Дождь льет на наши плечи, но этот декабрьский дождь даст в мае добрую траву. И коровы замычат от радости. Мы бесприютны, — а почему мы не женимся? То есть я говорю о себе и о маленькой Неле, которая

теперь сварила бы отличную бобовую похлебку с мясом, такую вкусную, такую душистую. Мы страдаем от жажды, несмотря на воду, льющуюся на нас, но почему мы не остались при одном ремесле? Те, которые были терпеливы, стали цеховыми мастерами, теперь они богаты, и погреба их полны пивных бочек.

И пепел Клааса застучал в его сердце, небо прояснилось, солнце засияло, и Уленшпигель сказал:

— Солнышко светлое, спасибо тебе, что ты обогрело нас, и тебе, пепел Клааса, за то, что ты согрел мое сердце и постоянно напоминаешь мне, что благословенны скитающиеся ради освобождения родины.

— Есть хочу, — хныкал Ламме.

## XIX

Они заехали в корчму, где в высокой горнице им дали пообедать. Уленшпигель распахнул окно и выглянул в сад. Здесь гуляла девушка, полненькая, с пышной грудью и золотистыми волосами. Она была в одной юбке, белой полотняной рубашке и черном рваном переднике.

Сорочки и прочее женское белье сушилось на протянутых веревках. Девушка снимала сорочки, вешала их снова, вертелась туда и сюда, улыбалась Уленшпигелю, посматривала на него и, наконец, сев на одну из привязанных веревок, начала на ней качаться, как на качелях.

По соседству кричал петух, и кормилица играла с ребенком, поворачивая его лицом к стоящему перед ней мужчине.

— Боолкин, улыбнись папаше.

Ребенок заревел.

Хорошенькая девушка все ходила по садику, снимая и вешая белье.

— Это шпионка, — сказал Ламме.

Девушка закрыла глаза руками и, смеясь, смотрела сквозь пальцы на Уленшпигеля.

Потом она обеими руками приподняла свой груди и дала им скользнуть вниз и снова стала качаться, не затрагиваясь ногами до земли. Она вертелась на веревках, точно волчок, юбки ее развевались, и Уленшпигель смотрел, как сверкает на солнце белизна ее полных рук, обнаженных до плеч.

Так вертелась она, и смеялась, и посматривала на него. Он вышел, чтобы встретиться с нею.

Ламме шел за ним следом. Уленшпигель искал отверстия в садовом плетне, чтобы пробраться в сад, но не нашел.

Увидев, что они ищут вход в сад, девушка снова, смеясь, поглядывала на них сквозь пальцы.

Уленшпигель пытался пролезть сквозь плетень, но Ламме удерживал его, говоря:

— Не ходи, это шпионка, быть нам на костре.

Девушка все разгуливала по садику, прикрывала личико передником и смотрела сквозь его дырявое кружево, не идет ли к ней ее случайный приятель.

Уленшпигель совсем уж было собрался перескочить через плетень, но Ламме не пускал, схватил его за ногу и стащил, говоря:

— Плаха, топор и виселица. Это шпионка, не ходи туда.

Уленшпигель сидел на земле, отбиваясь от Ламме, а девушка высунула голову из-за плетня и крикнула:

— Прощайте, сударь! Пусть Амур побережет ваши любовные усилия до другого случая.

Из-за плетня доносился ее насмешливый хохот.

— Ах, — сказал Уленшпигель, — точно пучок иголок впился в ухо.

Дверь с шумом захлопнулась.

Уленшпигель был мрачен, а Ламме все удерживал его и говорил:

— Ты перебираешь нежные соблазны ее прелестей, которые не достались тебе, а она шпионка. И хоть печальна эта утрата, а для тебя к лучшему.

Уленшпигель не ответил ни слова, и оба вновь сели на своих ослов и поехали.

## XX

Нога справа, нога слева, — так подвигались они вперед на ослах.

Ламме переваривал свой обед и запивал свежим воздухом. Вдруг, размахнувшись хлыстом, Уленшпигель изо всех сил ударил его по заду, который валом выпячивался над седлом.

— Что ты делаешь? — жалобно закричал Ламме.

— В чем дело?

— Хлыстом ударил!

— Кто ударил?

— Да ты ударил!

— Слева?

— Ну да, слева, по моему заду. Почему ты дерешься, бродяга несчастный?

— По неведению. Я знаю очень хорошо, что такое хлыст, и так же хорошо знаю, что такое стройный зад в седле. Но вот посмотрел я, как выпячивается над седлом эта толстая широкая туша, и сказал себе: «Ущипнуть ее пальцем невозможно, — верно, и хлыст ее не проберет, если хлестнуть». Значит, я ошибся.

Ламме рассмешили эти размышления.

— Но я не единственный человек на этом свете, согрешивший по неведению, — продолжал Уленшпигель. — Примером тому мог бы служить один балбес, выпятивший свое сало над седлом. Если мой хлыст согрешил перед твоим задом, то ты согрешил перед моими ногами, когда помешал мне перескочить к девушке, которая из своего садика зазывала меня.

— Мерзавец, — воскликнул Ламме, — так это была месь?!

— Маленькая, — ответил Уленшпигель.

## XXI

Одиноко и тоскливо жила Неле при Катлине, которая все взывала о своей любви к холодному дьяволу. Но тот не являлся.

— Ах, — вздыхала она, — ты богат, Гансик, любимый мой; ты мог бы вернуть мне семьсот червонцев. Тогда Сооткин вернулась бы живая из чистилища, и Клаас обрадовался бы в небесах. Ты можешь! Уберите огонь, душа рвется наружу; пробейте дыру, душа рвется наружу!

И она показывала на то место на голове, где жгли паклю.

Катлина была очень бедна, но соседи помогали ей богами, хлебом, мясом, кто чем мог. Община помогала небольшими деньгами. Неле шила на богатых горожан и

ходила гладить белье и зарабатывала таким образом флорин в неделю.

И все твердила Катлина:

— Пробейте дыру, выпустите душу! Она стучится, чтоб ей открыли! Он принесет семьсот червонцев.

И Неле плакала, слушая ее.

## XXII

Тем временем Уленшпигель и Ламме, снабженные паспортами, заехали в одну корчму, прислонившуюся к прибрежным скалам Самбра, кое-где поросшим деревьями. Вывеска гласила: «Трактир Марлэра».

Выпив несколько бутылок маасского вина, вкюсом на манер бургонского, и наевшись досыта рыбой, только что вынутой из садка и зажаренной, они разговорились с хозяином, ярым папистом. Хозяин ядовито подмигивал, был болтлив как сорока, так как хватил лишнего. Уленшпигель, заподозрив, что за этим подмигиванием что-то кроется, все подпаивал его. Трактирщик, заливаясь смехом, вскоре пустился в пляс. Потом он опять присел к столу и провозгласил:

— Добрые католики, за ваше здоровье!

— За твое! — ответили Уленшпигель и Ламме.

— За искоренение всякой еретической и бунтовщической чумы!

— Пьем за это! — ответили Уленшпигель и Ламме и всё подливали в стакан хозяину, который не мог равнодушно видеть его полным.

— Вы добрые ребята, — сказал он, — пью за вашу щедрость, ибо ведь я зарабатываю на вине, которое мы пьем вместе. Где ваши паспорта?

— Вот, — сказал Уленшпигель.

— Подписаны герцогом. За здоровье герцога!

— За здоровье герцога! — ответили Ламме и Уленшпигель.

Хозяин продолжал:

— Чем ловят крыс, мышей и кротов? Мышеловками, крысоловками, капканами. Кто этот крот, все подрывающий? Это еретик великий, это Оранский — оранжевый, как огонь в аду. С нами бог! Они придут. Ха-ха! Пить! Налей! Я горю, я сгорел! Пить! Славненькие, миленькие

реформатские проповеднички!.. Славненькие, храбренькие солдатики, крепкие, что твой дубок... Пить! Хотите с ними пробраться в лагерь главного еретика? У меня есть паспорта, им самим подписанные... Там увидите, какие дела творятся...

— Хорошо, пойдем и мы в лагерь, — сказал Уленшпигель.

— Они там управятся как следует. Ночью при случае — стальной ветер помешает нассаускому дрозду распевать свои песни.

И хозяин, присвистывая, провел рукой по горлу, показывая, как будет резать один другого.

— Веселый ты человек, хотя и женат, — сказал Уленшпигель.

— Не женат и не буду женат, — возразил хозяин, — я ведь храню государственные тайны, — выпьем! Ведь жена их у меня в постели выведает, чтобы отправить меня на виселицу и стать вдовой раньше, чем угодно природе. Господи благослови! Они придут... Где мои шовые паспорта? На моем христианском сердце! Выпьем! Вон они, вон, триста шагов отсюда по дороге, у Марш-ле-Дам. Видите их? Выпьем?

— Пей, — говорил Уленшпигель, — пей! Я пью за короля, за герцога, за проповедников, за «стальной ветер». Пью за мое здоровье, за твое здоровье, за вино, за бутылку! Да ты не пьешь совсем?

И при каждой здравице Уленшпигель наполнял стакан хозяина, и тот выпивал залпом.

Некоторое время Уленшпигель пристально смотрел на него, потом встал и сказал:

— Он спит! Идем, Ламме.

Выйдя на дорогу, он сказал:

— У него нет жены, которая может выдать нас... Скоро ночь... Ты слышал, что говорил этот негодяй, и знаешь, что это за три проповедника?

— Да, — ответил Ламме.

— Ты знаешь, что они идут от Марш-ле-Дам по берегу Мааса и что следует перехватить их по пути, прежде чем подует «стальной ветер»?

— Да.

— Надо спасти жизнь принца.

— Да.

— Возьми мою аркебузу и засядь там, в кустах между скал. Заряди двумя пулями и, когда я каркну вo-роном, стреляй.

— Хорошо, — сказал Ламме.

И он исчез в кустах, а Уленшпигель услышал, как щелкнул курок.

— Идут, видишь? — спросил он.

— Да, вижу. Их трое, в ногу идут, как солдаты, один выше других на голову.

Уленшпигель, вытянув ноги, сел у дороги и забормo-тал молитвы, перебирая четки, как это делают нищие. Его шляпа лежала у него промеж колен.

Когда три проповедника проходили мимо, он протянул им шляпу, но они не подали ему ничего.

Тогда он привстал и жалобно сказал:

— Благодетели, подайте грошик рабочему чело-веку, — слетел вот на днях в каменоломню и совсем раз-бился. Здесь народ такой жестокосердный, никто не по-даст милостыню, чтобы смягчить мои страдания. Ах, по-дайте грошик, буду за вас бога молить. Господь дарует вам долгую и радостную жизнь, благодетели!

— Чадо мое, — сказал один из проповедников, высо-кий широкоплечий человек, — не будет нам на этой земле радости, пока властвуют на ней папа и инквизиция.

Уленшпигель тоже вздохнул и сказал:

— О, что вы говорите, благодетель? Молю вас, гово-рите потише! Пожалуйте грошик бедняку.

— Чадо мое, — сказал низенький проповедник с воин-ственным лицом, — мы — бедные подвижники, и денег у нас ровно столько, сколько необходимо на дорогу.

Уленшпигель опустилсЯ на колени.

— Так благословите меня, — сказал он.

Три проповедника простерли руки над головой Улен-шпигеля, без всякого, однако, благочестия.

Тут он заметил, что, несмотря на их худобу, у них об-ширные животы, и, вставая, он как бы оступилсЯ, ткнулсЯ головой в живот высокого проповедника. ПослышалсЯ ве-сельный звон монет.

Тут он выпрямилсЯ, вытащил свою шпагу и сказал:

— Разлюбезные отцы, холодно на дворе; вы одеты хорошо, а я плохо. Пожалуйте-ка мне вашу шерсть, не выкрою ли я из нее плащ. Я ведь нищий, то есть гёз. Да здравствуют гёзы!

— Гёз носатый, ты задираешь нос слишком высоко; придется нам отрубить его тебе, — ответил высокий проповедник.

— Отрубить! — крикнул Уленшпигель и сделал шаг назад. — Смотрите, «стальной ветер» раньше подует на вас, чем на принца. Я гёз, да здравствуют гёзы!

Ошеломленные проповедники заговорили между собой:

— Откуда он знает? Нас выдали? Бей его! Да здравствует папа!

И они вытащили из-под платья блестящие клинки.

Но Уленшпигель не ждал их и отбежал к кустам, где скрывался Ламме, и, когда проповедники приблизились как раз на выстрел, он крикнул:

— Воронье, черное воронье, вот подует свинцовый ветер, а не стальной. Спою вам зауспокойную!

И он каркнул ворсном.

Из кустов раздался выстрел; высокий упал ничком на землю. Второй выстрел положил другого.

Уленшпигель увидел в кустах добродушную рожу Ламме и его поднятую руку, спешно заряжающую аркебузу.

Синеватый дымок вился над черными кустами.

Третий проповедник с мужественной яростью бросился на Уленшпигеля, который сказал:

— Стальной ветер или свинцовый — какой-нибудь уж перенесет тебя на тот свет, подлый заговорщик!

И он бросился на противника.

Стоя один против другого поперек дороги, не отрывая друг от друга глаз, они наносили и отражали удары. Уленшпигель был уже весь в крови, так как противник его был умелый боец и ранил его в ногу и голову. Но он нападал и защищался как лев. Кровь из раны на голове заливала ему глаза и мешала видеть. Большим прыжком Уленшпигель отскочил в сторону, чтобы сделать передышку, и отер левой рукой кровь. Но он чувствовал, что слабеет. Он был бы убит, если бы Ламме новым выстрелом не уложил противника.

И Уленшпигель видел и слышал, как тот изрыгает проклятия, кровь и предсмертную пену.

И в синеватой дымке, которая поднималась над черным кустарником, вновь показалась добродушная рожа Ламме.

— Готово? — спросил он.

— Да, сын мой, — ответил Уленшпигель, — но по-дойди-ка.

Выйдя из засады, Ламме увидел, что Уленшпигель весь в крови. С быстротой оленя бросился он, несмотря на свое брюхо, к Уленшпигелю, сидевшему на земле среди убитых.

— Милый друг мой ранен, ранен этим негодяем, — приговаривал Ламме. Ударом каблука он вышиб зубы ближайшему проповеднику и продолжал: — Ты молчишь, Уленшпигель! Умираешь, сын мой? Где бальзам? Ага, в кошелке, под колбасами. Уленшпигель, ты не слышишь меня? Ах, нет теплой воды обмыть твои раны, и нет возможности добыть ее. Но пригодится и вода из Самбра. Говори, милый друг! Не так же ты тяжело ранен? Водички, так холодной, не правда ли? О, он приходит в себя. Это я, сын мой, твой друг. Все убиты, все. Полотна бы, полотна перевязать ему раны. Нету. Ну, мою рубашку, — и он разделся и потом продолжал: — На куски рубашку. Кровь остановилась. Не умрет мой друг.

Ой, как мерзнет голая спина на этом холоде! Скорее одеться. Не умрет он, нет. Это я, Уленшпигель, твой друг Ламме! Смеется. Оберу убийц. У них животы полны золота. Золотые кишки — червонцы, флорины, дукаты, талеры и — письма. О, теперь мы богаты. Больше трехсот червонцев. И деньги заберем и оружие. «Стальной ветер» не коснется принца.

Уленшпигель встал, дрожа от холода.

— Вот ты и на ногах, — сказал Ламме.

— Бальзам действует, — ответил Уленшпигель.

— Не только бальзам, но и мужество, — ответил Ламме.

И он спихнул трупы трех проповедников, один за другим, в расщелину между скал, вместе с их одеждой, забрав только плащи и оружие.

Вокруг них, чуя добычу, каркали в небе вороны.

И Самбр, словно стальной, тек вдаль под серым небом.

Пошел снег, смывая кровь.

И все же они оба были озабочены.

— Мне легче убить курицу, чем человека, — сказал Ламме.

И они сели на ослов.

Еще у ворот Гюи сочилась кровь из ран Уленшпи-

геля; они разыграли ссору, соскочили с ослов и с притворной яростью дрались шпагами.

Потом, докончив бой, они опять сели на ослов, предъявили у ворот паспорта и въехали в город.

И женщины, видя кровавые раны Уленшпигеля и победоносно возвышавшегося на своем осле Ламме, переполнились состраданием к побежденному и, грозя Ламме кулаками, говорили:

— Этот злодей изранил своего приятеля.

А Ламме только беспокоило искать, нет ли среди них его жены.

Но все было тщетно, и он тосковал.

### XXIII

— Теперь куда? — спросил Ламме.

— В Маастрихт, — ответил Уленшпигель.

— Но там, сын мой, кругом войска Альбы, и сам он, говорят, в городе. наших паспортов будет недостаточно. Если испанские солдаты пропустят, то нас могут задержать в городе и начнут допрашивать. Тут дойдет весть о гибели проповедников, и тогда мы пропали.

— Вороны, сычи и коршуны скоро расклюют их трупы. Лица их, верно, уже неузнаваемы. Паспорта наши хоть и не плохи, но ты, пожалуй, прав: когда узнают об убийстве, возьмутся за нас. И все-таки нам надо пробраться через Ланден и Маастрихт.

— Нас повесят, — сказал Ламме.

— Проберемся, — ответил Уленшпигель.

Так рассуждая, они добрались до корчмы «Сорока», где нашли добрую еду, уют и корм для ослов.

Наутро они выехали в Ланден.

Приблизившись к большой усадьбе под городом, Уленшпигель засвистал жаворонком, и тотчас оттуда ответили боевым петушиным криком. Фермер с добродушным лицом показался у ворот и сказал:

— Так как вы вольные друзья, то да здравствуют гёзы! Заходите.

— Кто это? — спросил Ламме.

— Томас Утенгове, мужественный реформат, — ответил Уленшпигель, — его работники, как и он, борются за свободу совести.

— Вы от принца? — сказал Утенгове. — Поешьте и выпейте.

И ветчина зашипела на сковородке, и колбаса вместе с нею; явилось вино, и наполнились стаканы. И Ламме впитывал в себя вино, как сухой песок, и наедался столь же охотно.

Батраки и служанки усадьбы поочередно совали нос в дверную шелку и глазели на то, как трудятся его челюсти. И работники говорили с завистью, что этак и они не прочь потрудиться.

Накормив гостей, Томас Утенгове сказал:

— На этой неделе из наших краев сто крестьян отправятся будто бы в Брюгге починять плотины. Они разделятся на партии по пять-шесть человек и пойдут разными дорогами. В Брюгге будут их ждать суда, которые перевезут их морем в Эмден.

— Будут у них деньги и оружие? — спросил Уленшпигель.

— По десять флориннов и по большому ножу у каждого.

— Господь и принц вознаградят тебя, — сказал Уленшпигель.

— О награде я не думаю, — ответил Томас Утенгове.

— Как это у вас получается, — перебил Ламме, дожевывая толстую кровяную колбасу, — как это вы делаете, любезный хозяин? Почему эта колбаса у вас такая сочная, душистая и нежная?

— Это оттого, — ответил хозяин, — что мы ее заправляем майораном и корицей.

И обратился к Уленшпигелю с вопросом:

— А что, Эдвард, граф Фрисландский, все еще друг принцу?

— Он не выказывает этого, но укрывает в Эмдене корабли принца, — ответил Уленшпигель и прибавил: — Нам надо проехать в Маастрихт.

— Это невозможно, — сказал хозяин, — войско герцога стоит перед городом и в окрестностях.

Утенгове повел их на чердак и оттуда показал вдали знамена и значки пехоты и конницы, передвигающиеся в поле.

— Я проберусь, — ответил Уленшпигель, — если вы добудете мне разрешение жениться. Невеста должна быть хороша собой, мила и добра и должна выразить же-

лание выйти за меня, — если не совсем, то хотя бы на неделю.

— Не делай этого, сын мой, — сказал, вздохнув, Ламме, — она покинет тебя, и пламя любовное иссушит тебя. Постель, на которой ты так сладко спишь, станет терновым ложем, сняв у тебя твой мирный сон.

— А все-таки я женюсь, — сказал Уленшпигель.

И Ламме, не найдя больше ничего съедобного на столе, приуныл. Однако вскоре он обнаружил в миске какие-то сухари и мрачно стал жевать их.

— Итак, выпьем, — сказал Уленшпигель Томасу Утенгове. — Вы добудете мне жену, богатую или бедную. С нею я пойду к попу в церковь, чтобы он обвенчал нас. Он выдаст мне брачное свидетельство, которое не имеет значения, так как он папский инквизитор. Там будет сказано, что мы оба хорошие христиане, что мы исповедовались и причащались по законам святой матери нашей, римской церкви, сжигающей своих детей живьем, согласно правилам апостольским, и, таким образом, достойны благословения святого отца нашего, папы римского, воинства земного и небесного, каноников, попов, монахов, наемников, шпионов и прочей мрази. С этим свидетельством в руках мы отправимся в наше свадебное путешествие.

— А невеста? — спросил Томас Утенгове.

— Невесту ты мне раздобудешь. Итак, я беру две повозки, украшаю их ельником, остролистником, бумажными цветами и сажаю туда несколько человек, которых ты хотел бы отправить к принцу.

— Но невеста?

— Вероятно, она здесь найдется. Итак, в одну повозку я впрягу пару твоих лошадей, в другую — пару наших ослов. В первой усядемся я, моя жена, мой друг Ламме и свидетели; в другой — дудочники, свирельщики и цимбалисты. Затем под песни и бубны, среди весело развевающихся свадебных флагов, с выпивкой помчимся мы по большой дороге, которая ведет или на Galgen-Veld — поле виселиц, или к свободе.

— Постараюсь помочь тебе, — сказал Томас Утенгове, — но жены и дочери захотят ли ехать с мужчинами?

— Поедем, — вмешалась хорошенькая девушка, просунувшая голову в дверь. — Да хранит нас бог!

— Если нужно, я могу собрать и четыре повозки, — сказал Томас Утенгове, — тогда мы отправим более двадцати пяти человек.

— Альба останется в дураках, — воскликнул Уленшпигель.

— А флот принца получит несколькими добрыми воинами больше, — ответил Томас Утенгове.

И, созвав колоколом своих работников и служанок, он обратился к ним:

— Слушайте, мужчины и женщины, чья родина Зеландия: вы видите перед собой фламандца Уленшпигеля, который хочет проехать вместе с вами, свадебным цугом, сквозь войско герцога.

И зеландцы и зеландки единодушно воскликнули:

— Не боимся опасности... Мы готовы ехать!

И мужчины сговорились между собой:

— Вот радость: мы сменим землю рабства на море свободы. Если бог за нас, то кто против нас?

А женщины и девушки говорили:

— Пойдем за нашими мужьями и милыми. Зеландия — наша родина — даст нам приют.

Уленшпигель заметил одну молоденькую хорошенькую девушку и шутливо обратился к ней:

— Хочешь, женюсь на тебе?

Но она ответила краснея:

— Хочу только в церкви повенчаться.

Женщины говорили смеясь:

— Сердце влечет ее к Гансу Утенгове, сыну хозяина. Верно, и он едет.

— Еду, — сказал Ганс.

— Поезжай, — сказал отец.

И мужчины надели праздничную одежду, бархатные куртки и штаны, а поверх всего длинные плащи и широкополые шляпы, защищающие от солнца и дождя. Женщины надели черные шерстяные чулки и вырезные бархатные туфли с серебряными пряжками, на лбу у них были большие узорные золотые украшения, которые девушки носят слева, замужние женщины — справа; белые брыжи, нагрудники, вышитые золотом и пурпуром, черные суконные юбки с широкими бархатными нашивками того же цвета составляли их наряд.

Затем Томас Утенгове отправился в церковь к приходскому священнику и просил его за два рейксдалера,

тут же врученные ему, незамедлительно обвенчать Тильберта, сына Клааса, — то есть Уленшпигеля, — и Таннекин Питерс, на что священник выразил согласие.

Итак, Уленшпигель, во главе своего свадебного шествия, направился в церковь и обвенчался с Таннекин, изящной, милой, хорошенькой и полненькой Таннекин, в щеки которой он готов был впиться зубами, как в сочное яблоко. И он нашептывал ей, что из преклонения перед ее нежной красотой не решается сделать это. А она, надув губки, отвечала:

— Оставьте меня, Ганс смотрит так, будто готов убить вас.

И одна завистливая девушка шепнула Уленшпигелю:

— Иди к другим: не видишь разве, что она боится своего милого?

Ламме потирал руки и покрикивал:

— Не все же они достанутся тебе, каналья!

И был в восторге.

Уленшпигель покорно снес свою неудачу и возвратился со свадебным шествием в усадьбу. Здесь он пел, бражничал, веселился, пил за здоровье завистливой девушки. Это было очень приятно Гансу, но не Таннекин и не жениху завистливой девушки.

Около полудня, при светлом сиянии солнца и свежем ветерке, с развевающимися флагами, веселой музыкой бубнов, свирелей, волынок и дудок, двинулись в путь в повозках, увитых зеленью и цветами.

В лагере Альбы был другой праздник — разведчики и дозорные трубили тревогу, прибежали один за другим, донося: «Неприятель близко. Мы слышали бой барабанов и свист свирели и видели знамена. Сильный отряд конницы приближается, чтобы заманить нас в ловушку. Главные силы расположены, разумеется, подальше».

Немедленно герцог разослал известие командирам всех частей, приказав построить войско в боевой порядок и разослать отряды разведчиков.

И вдруг прямо на линию стрелков вынеслись четыре повозки. Они были полны мужчин и женщин, которые плясали, размахивая бутылками, дули в дудки, били в бубны, свистели в свирели, гудели в гудки.

Свадебный поезд остановился, сам Альба вышел на шум и в одной из четырех повозок увидел новобрачную; рядом с ней был Уленшпигель, ее супруг, украшенный

цветами. Крестьяне и крестьянки сошли на землю и плясали и угощали солдат вином.

Альба и его свита были изумлены глупостью этого мужичья, которое могло плясать и веселиться, когда все вокруг них ждало боя.

Участники свадебного поезда роздали солдатам все свое вино, и те шумно поздравляли их.

Когда выпивка кончилась, крестьяне и крестьянки опять уселись в повозки и без малейшей задержки унеслись под звуки бубен, дудок и волюнок.

И солдаты весело провожали их, чувствуя новобрачных залпами из аркебуз.

Так прибыли они в Маастрихт, где Уленшпигель снесся с доверенными реформатов о доставке оружия и пушек на корабли Оранского.

То же сделали они в Ландене.

И так разъезжали они повсюду в крестьянских одеждах.

Герцог узнал об их проделке, и обо всем этом сложили и переслали ему песенку с таким припевом:

Дурень Альба-генерал!  
Что, невесту проморгал?

И всякий раз, как он делал какую-нибудь тактическую ошибку, солдаты пели:

Не находит Альба места, —  
Всюду видится невеста...

## XXIV

А король Филипп пребывал в неизменной злобной тоске. В бессильном честолюбии молил он господа даровать ему силу победить Англию, покорить Францию, завоевать Милан, Геную и Венецию, стать владыкой морей и царить над всей Европой.

Но и в мыслях об этом торжестве он не улыбался.

И вечно его знобило: ни вино, ни пламя душистого дерева, непрерывно горевшего в камине, — ничто не согревало его. Он всегда сидел в зале среди такого множества писем, что ими можно было бы наполнить сто бочек. Филипп писал неустанно, все мечтая стать владыкой всего мира, подобно римским императорам. Ревнивая не-

ненависть к своему сыну, дон Карлосу, также точила его сердце. Дон Карлос желал отправиться на смену герцогу Альбе в Нидерланды, конечно, затем, — так думал король, — чтобы захватить там власть. И образ сына, уродливого, отвратительного, безумного, беспощадного, злобного, вставал перед ним, и ненависть Филиппа к нему возрастала. Но он никому не говорил об этом.

Приближенные, служившие королю Филиппу и сыну его дон Карлосу, не знали, кого из них бояться больше: сына ли, ловкого убийцу, который набрасывался на своих слуг, чтобы искровянить им лицо ногтями, или трусливого, коварного отца, который бил только чужими руками и, точно гиена, наслаждался трупами.

Слуги содрогались от страха, видя, как они подкрадываются один к другому, и говорили, что скоро в Эскориале будет покойник.

И вот они узнали, что дон Карлос, обвиненный в государственной измене, посажен в тюрьму.

Узнали они также, что мрачная тоска снedaет его душу, что он изранил себе лицо, когда пытался пролезть между прутьями тюремной решетки, чтобы бежать из тюрьмы, и что мать его, Изабелла Французская, исходит слезами.

Но король Филипп не плакал.

Разнесся слух, будто дон Карлосу подали незрелых винных ягод и будто на следующий день он скончался, точно уснул. Врачи определили, что, после того как он поел этих ягод, сердце его перестало биться, а равно прекратились все жизненные отправления, требуемые природой; он не мог ни выплюнуть, ни вызвать рвоту; живот его вздулся, и он умер.

Король Филипп прослушал мессу за упокой души дон Карлоса, повелел похоронить его в часовне королевского замка и прикрыть плитой его могилу, — но не плакал.

И слуги, насмешливо извращая надгробную надпись на могиле принца, говорили:

Здесь тот покоится, кто фиг зеленых скушал —  
И, не хвоя, богу отдал душу.  
*A qui jaze qui en para desit verdad*  
*Morio sin infirmitad.*

А король Филипп бросал похотливые взоры на принцессу Эболи, у которой был муж; он домогался ее любви, и она уступила.

Королева Изабелла, которая, по слухам, благоприветствовала замыслам дон Карлоса насчет захвата власти в Нидерландах, высохла и зачахла. Волосы стали выпадать у нее целыми прядями. Ее часто рвало, и на руках и ногах у нее выпали ногти. И она умерла.

И Филипп не плакал.

У принца Эболи тоже выпали волосы. Он стал мрачен и слезлив. Потом и у него выпали ногти на руках и на ногах.

И король Филипп повелел похоронить его.

И он утешал вдову в ее печали и не плакал.

## XXV

В эти весенние дни пришли женщины и девушки Дамме к Неле и спросили ее, не хочет ли она стать «майской невестой» и спрятаться в кустах с женихом, которого найдут для нее; и не без зависти они говорили, что во всем Дамме и округе нет молодого человека, который не рад был бы на ней жениться, так она неизменно мила, свежа и умна. Все это, конечно, дар колдуньи.

— Кумушки, — ответила Неле, — скажите молодым людям, которые готовы посвататься ко мне, что сердце Неле не здесь, а с тем, кто скитается вдали ради освобождения родины. А если я, как вы говорите, свежа и молода, то этим я обязана не волшебству, а моему здоровью.

— Все же Катлина на подозрении, — отвечали кумушки.

— Не верьте злым наговорам, — возразила Неле, — Катлина не колдунья. Господа судейские жгли паклю у нее на голове, и господь бог поразил ее безумием.

И Катлина кивала головой из уголка, где она сидела съежившись, и говорила:

— Уберите огонь; вот он скоро вернется, Гансик милый мой.

На вопрос женщин, кто этот Гансик, Неле ответила:

— Это сын Клааса, мой молочный брат; она вообразила, что потеряла его с тех пор, как господь поразил ее.

И женщины по доброте душевной подали Катлине несколько серебряных монет. Она же показывала кому-то, кого никто не видел, новые монетки и приговаривала:

— Я богата, блестит у меня мое серебро. Приди, Гансик, милый мой, я заплачу тебе за твою любовь.

И Неле плакала в одиноком домике, когда ушли ку-мушки. Она думала об Уленшпигеле, который скитается где-то вдали, а она не может быть с ним; и о Катлине, которая все вздыхает и стонет: «Уберите огонь!» — и часто прижимает обе руки к груди, показывая, как бушует во всем ее теле и в голове пламя безумия.

Между тем «майская невеста» и ее жених спрятались в кустах, и кто находил кого-нибудь из них, становился королем или королевой праздника.

Неле слышала радостные возгласы парней и девушек, когда «майская невеста» была найдена в овраге, скрытая зарослями.

И она плакала, вспоминая о той сладостной поре, когда невесту искала она и Уленшпигель, ее милый.

## XXVI

В это время он и Ламме — нога слева, нога справа — ехали верхом на своих ослах.

— Слушай, Ламме, — сказал Уленшпигель, — нидерландское дворянство из зависти к Молчаливому изменило делу союзников, предало священный союз, достославное соглашение, заключенное ради спасения родины. Эгмонт и Горн стали также предателями, но это не принесло им пользы; Бредероде умер, и продолжать эту войну некому, кроме бедного люда Фландрии и Брабанта, ожидающего честных вождей, чтобы двинуться вперед. Да, сын мой, и дальше есть еще острова Зеландии да еще Северная Голландия, правителем которой состоит принц; и еще дальше, на море, Эдвард граф Эмден и Восточная Фрисландия.

— Увы, — сказал Ламме, — я вижу совершенно ясно, что мы вертимся между костром, веревкой и плахой, умираем с голоду, изнываем от жажды и не имеем никакой надежды на покой и отдых.

— Это еще только начало, — ответил Уленшпигель, — прими благосклонно в соображение, что все это ведь пустяки для нас: не мы ли избиваем наших врагов, не мы ли издеваемся над ними, не наши ли кошельки полны ныне золотом, не пресыщены ли мы мясом, пивом, вином и

водкой? Чего тебе еще, утроба ты ненасытная? Не продать ли наших ослов и не купить ли лошадей?

— Сын мой, — ответил Ламме, — лошадиная рысь несколько тряска для человека моего объема.

— Ну и сиди на своем осле, как это делают мужики, и смеяться над тобой никто не будет, пока ты одет мужиком и вооружен не мечом, как я, а палкой с наконечником.

— Сын мой, — сказал Ламме, — уверен ли ты, что наши паспорта будут достаточны в маленьких местечках?

— У меня ведь в запасе еще брачное свидетельство с большой церковной печатью красного сургуча, висящей на двух пергаментных хвостиках, да еще свидетельство об исповеди. С двумя мужами, столь превосходно вооруженными, не сладить солдатам и шпионам герцога. А черные четки, которыми мы торгуем? Оба мы рейтары, — ты фламандец, я немец, — по особому приказу герцога разъезжаем по стране, распространяя священные предметы и привлекая ими еретиков, чтобы вернуть оных к святой католической вере. Таким образом, мы проникнем всюду; и к знатым господам и к жирным аббатам, и везде встретит нас радушное гостеприимство. И мы пронюхаем их тайны. Оближи свои губки, мой нежный друг.

— Сын мой, — сказал Ламме, — мы, стало быть, занимаемся шпионством?

— По законам и обычаям войны, — отвечал Уленшпигель.

— Но если сюда дойдет история о трех проповедниках, нам несдобровать, — сказал Ламме.

В ответ Уленшпигель запел:

«Жить» начертал на знамени я —  
Жить под солнцем, все побеждая!  
Кожа моя — одна броня,  
Из стали броня другая.

Но Ламме стонал:

— О, у меня такая тонкая кожа, что малейшее прикосновение кинжала разом продырявит ее. Лучше было бы заняться каким-нибудь полезным ремеслом, чем таскаться по большим дорогам, служа этим важным господам, которые ходят в бархатных штанах и едят жирных дроздов на золотых блюдах. А нам за все достаются

только пинки, опасность, бои, дождь, град, снег и тощие бродяжки похлебки... А у них — колбасы, жирные каплуны, ароматные жаворонки, сочные пулярки..

— Слюнки у тебя текут, дружище? — спросил Уленшпигель.

— Где вы, свежие булочки, золотистые пирожки, нежные сливочные торты? И где ты, жена моя?

Уленшпигель ответил:

— Пепел стучит в мое сердце и зовет в бой. Ты же, кроткий агнец, ты не должен мстить ни за смерть твоего отца и матери, ни за горе любимых людей, ни за твою бедность; если тебя пугают ужасы войны,пусти меня одного туда, куда я направляюсь.

— Одного? — переспросил Ламме.

И он вдруг остановил своего осла, который тут же сорвал пучок чертополоха, росшего у дороги. Осел Уленшпигеля также остановился и стал кормиться.

— Одного? — повторил Ламме. — Но ты ведь не оставишь меня одного, — иначе это будет страшная жестокость. Я уже потерял мою жену, теперь потерять еще друга — это слишком. Я не буду больше жаловаться, обещаю тебе клятвенно. И, раз уж так приходится, — он гордо поднял голову, — я тоже пойду под град пуль. Да! И в гущу сабельной сечи пойду. Да! Лицом к лицу с проклятыми наемниками, пьющими кровь, точно волки. И если когда-нибудь, смертельно раненный, я упаду, истекая кровью, к твоим ногам, похорони меня, а когда встретишь мою жену, скажи ей, что я не мог жить без любви на этом свете! Нет, так я не могу, сын мой Уленшпигель.

И Ламме заплакал, а Уленшпигель был растроган его кроткой самоотверженностью.

## XXVII

В это время Альба разделил свою армию на две, из которых одну двинул в герцогство Люксембургское, другую — в графство Намюрское.

— Видно, тут есть какой-то стратегический замысел, мне непонятный, — сказал Уленшпигель. — Ну, мне все равно, едем все-таки в Маастрихт.

Когда они приближались к городу по берегу Мааса, Ламме заметил, что Уленшпигель внимательно рассма-

тривает все суда, идущие по реке, и вдруг остановился перед одним, на носу которого была изображена сирена. В руках у сирены был щит, на черном поле которого вырисовывались золотые буквы Г. И. Х., начальные буквы имени нашего господа Иисуса Христа.

Помахав Ламме, чтобы тот остановился, Уленшпигель весело засвистал жаворонком.

На палубе показался человек и крикнул петухом. Тогда Уленшпигель сделал ему какой-то знак и заревел по-ослиному, указывая при этом на толпу народа, кишевшую на берегу. Тот ответил тоже могучим ослиным ревом: «и-а!» И ослы Уленшпигеля и Ламме, насторожив уши, присоединились изо всех сил к этому родному звуку.

Проходили женщины, проезжали мужчины верхом на лошадях, тащивших суда, и Уленшпигель обратился к Ламме:

— Этот судовщик насмехается над нами и нашими ослими. Не отлупить ли нам его на его барке?

— Пусть лучше он сюда придет, — ответил Ламме.

— Если вы, — посоветовала им проходящая женщина, — не хотите вернуться с переломанными ногами и руками и изувеченным лицом, то оставьте этого Стерке Пира\* реветь столько, сколько его душе угодно.

— И-а, и-а, и-а! — ревел судовщик.

— Пусть ревет, — говорила женщина, — на днях он на наших глазах приподнял повозку, нагруженную тяжелыми пивными бочками, и остановил на ходу другую, запряженную здоровенной лошадейю. Вон там, — она указала на корчму «Синяя башня», — он, бросив свой нож на расстояние двадцати шагов, пробил им дубовую доску в двенадцать дюймов толщиной.

— И-а, и-а, и-а! — орал судовщик, и ему вторил мальчишка лет двенадцати, тоже вылезший на палубу.

— Не боимся мы твоего Петра Сильного. Пусть он так зовется, этот Стерке Пир. Мы будем посильнее его — и вот перед тобой мой друг Ламме, который может пару таких слопать без отрыжки.

— Что ты несешь, сын мой? — спросил Ламме.

— То, что есть, — ответил Уленшпигель. — Не противоречь мне из скромности. Да, добрые люди, скоро вы

---

\* Стерке Пир — по-фламандски значит: Сильный Петр.

увидите, как разойдется его рука и как он обработает вашего знаменитого Стерке Пира.

— Да помолчи, — сказал Ламме.

— Твоя сила известна, не к чему ее скрывать, — говорил Уленшпигель.

— И-а! — завывал судовщик.

— И-а! — вторил мальчик.

Вдруг Уленшпигель снова засвистал жаворонком. И мужчины и женщины спрашивали в восхищении, где он научился этому небесному пению жаворонка.

— В раю, — ответил он, — я ведь прямо оттуда.

И, обратившись к судовщику, который не переставая ревел и насмешливо указывал на него пальцем, он закрычал:

— Что же ты сидишь там на своей барке, бездельник? Видно, на земле не смеешь насмеяться над нами и нашими ослами!

— Ага, не смеешь, — повторил Ламме.

— И-а, и-а, — ревел тот. — Пожалуйте-ка сюда, на барку, господа ослы с ослами.

— Делай, как я, — шепнул Уленшпигель Ламме. И он закричал судовщику: — Если ты Стерке Пир, то я Тиль Уленшпигель. А это вот наши ослы Иеф и Ян, которые ревут по-ослиному лучше тебя, ибо это их природный язык. А на твою расхлябанную посудину мы не пойдём. Это старое корыто переворачивается от первой волны, и плавает-то оно бочком, по-крабьи.

— Ну да, по-крабьи, ну да, — кричал Ламме.

— Ты что там ворчишь сквозь зубы, кусок сала! — крикнул судовщик Ламме.

Тут Ламме пришел в ярость.

— Ты плохой христианин, коришь меня моей немощью, — кричал он, — но знай, что это сало — мое сало, от моего доброго питания. А ты, старый ржавый гвоздь, жил всю жизнь прокисшими селедками, свечными фитилями и тресковой кожей, сколько можно судить по твоей худобе, которая видна сквозь дырки в твоих штанах.

— Ну и потасовка будет, — говорили прохожие, полные радостного любопытства.

— И-а, и-а, — кричали с барки.

Ламме хотел сойти с осла, набрать камней и швырять в судовщика.

— Камнями не бросай, — сказал Уленшпигель.

Судовщик что-то пошептал на ухо мальчику, который вместе с ним ревел по-ослиному. Тот отвязал от барки шлюпку и, умело орудуя багром, направился к берегу. Подъехав совсем близко, он гордо выпрямился и сказал:

— Мой хозяин спрашивает вас, решаетесь ли вы переехать на его судно и там померяться с ним силою в бою кулаками и ногами. А эти мужчины и женщины будут свидетелями.

— Мы готовы, — ответил Уленшпигель с достоинством.

— Мы принимаем бой, — гордо повторил Ламме.

Было время обеда. Рабочие с плотин и с верфей, мостовщики, женщины, принесшие горшки с едой для мужей, дети, пришедшие смотреть, как их отцы будут обедать бобами и вареным мясом, все смеялись и били в ладоши при мысли о предстоящем состязании, в приятной надежде, что тот или другой из борцов окажется с разбитой головой или, к общему удовольствию, свалится в реку.

— Сын мой, — сказал Ламме потихоньку, — бросит он нас в воду.

— А ты не давайся, — ответил Уленшпигель.

— Толстяк струсил, — говорили в толпе рабочих.

Ламме, все еще сидевший на своем осле, обернулся и бросил на них сердитый взгляд, но они смеялись над ним.

— Едем на барку, — сказал Ламме, — там видно будет, струсил ли я.

Отвечом на эти слова был новый взрыв насмешек, и Уленшпигель сказал:

— Едем.

Они сошли со своих ослов и бросили поводья мальчику, который ласково потрепал серяков и повел их туда, где виднелся чертополох.

Уленшпигель взял багор, подождал, пока Ламме войдет в шлюпку, направил ее к барке и, вслед за пыхтящим, потным Ламме, влез по веревке на палубу.

Ступив на палубу, Уленшпигель наклонился, как бы для того, чтобы завязать башмак, и прошептал при этом несколько слов судовщику, который весело посмотрел на Ламме. Но затем он осыпал его тысячами оскорблений, называя его бездельником, распухшим от позорного жи-

рения, каторжным отродьем, дармоедом-объедалой и в том же духе.

— Сколько бочек ворвани выйдет из тебя, рыба-жит, если тебе открыть жилу?

Вдруг Ламме, не говоря в ответ ни слова, бросился на судовщика, как бешеный бык, и стал неистово колотить его, нанося удары со всех сторон и изо всех сил; очень больно он не мог сделать ему, так как из-за полноты был довольно слаб. Судовщик, делая вид, что сопротивляется, спокойно подставлял ему свою спину.

Уленшпигель же приговаривал при этом:

— Этот бродяга поставит нам выпивку.

И женщины, дети и рабочие, смотревшие с берега, говорили:

— Кто мог думать, что толстяк такой неистовый!

И они хлопали в ладоши, а Ламме наскакивал, как глухой, между тем как его противник старался только прикрыть свое лицо. Вдруг все увидели, что Ламме упирается коленом в грудь Стерке Пира, одной рукой схватил его за горло, а другую занес для удара.

— Проси пощады, — яростно кричал он, — или ты пролетишь у меня сквозь клепки твоего корыта.

Стерке Пир крикнул, чтобы показать, что он не может говорить, и знаком руки просил о пощаде.

И Ламме великодушно поднял врага. Тот поднялся и, повернувшись к зрителям спиной, высунул Уленшпигелю язык. Уленшпигель хохотал как безумный, смотря, как Ламме, гордо потрясая пером своего берета, победоносно ходит взад и вперед по палубе.

И женщины и мужчины, мальчики и девочки на берегу хлопали в ладоши изо всех сил и кричали:

— Слава победителю Стерке Пира! Это железный человек. Видели вы, как он лупил кулаками и как ударом головы опрокинул его на спину? Теперь они выпьют вместе, чтобы заключить мир. Стерке Пир уже полез в трюм и сейчас принесет оттуда вино и колбасу.

И в самом деле, Стерке Пир принес два кубка и большую кружку белого маасского вина, и Ламме заключил с ним мир. Ламме был в восторге от своей победы, от вина и колбасы и, указав на железную трубу на палубе, из которой валил густой черный дым, спросил Стерке Пира, какое это жаркое жарится в его трюме.

— Боевая закуска, — ответил тот со смехом.

Толпа рабочих, женщин и детей разошлась — кто по домам, кто на работу, и вскоре из уст в уста полетела молва, что тут ездит на осле один толстяк, в сопровождении маленького богомольца тоже на осле, и он сильнее Самссна, так что надо беречься, как бы не задеть его.

Ламме пил и победоносно смотрел на судовщика.

Вдруг тот сказал:

— Ваши ослы соскучились там, на берегу.

И, подтянув барку к берегу, он сошел, взял одного осла за передние и за задние ноги и понес его на палубу, как спаситель нес ягненка. То же сделал он, совершенно не запыхавшись, с другим ослом и тогда сказал:

— Выпьем.

Мальчик прыгнул на палубу.

И они выпили. Ламме был нем и никак не мог сообщить, он ли это, Ламме Гудзак из Дамме, победитель этого силача. Он только украдкой и уже без победоносного вида посматривал на него, не без опасения, что тому вдруг придет в голову взять и его, как осла, поднять этак и бросить в Маас, чтобы отомстить за поражение.

Но Стерке Пир весело угощал его, а Ламме оправился от своего страха и снова смотрел на него с горделивой самоуверенностью.

И Стерке Пир и Уленшпигель смеялись.

Между тем ослы, очень смущенные тем, что стоят на полу, который, однако, ничем не напоминает конюшни, опустили уши и от страха не могли пить. Тогда Стерке Пир принес им два мешка с овсом, который был запасен у него для лошадей, тянущих барку, и который он купил, чтобы с него не содрали за корм погонщики.

Увидев торбы с овсом, ослы пробормотали молитву, тоскливо посмотрели на палубу и, боясь свалиться, не решились сделать ни шага вперед.

— Теперь сойдем в кухню, — сказал судовщик Уленшпигелю и Ламме, — правда, боевую кухню, но ты, мой победитель, можешь спуститься туда без страха.

— Я не боюсь и иду за тобой, — сказал Ламме.

Мальчик стал у руля.

Сойдя вниз, они увидели везде мешки с зерном, бобами, горохом, свеклой и всякими овощами.

Затем судовщик открыл дверь в маленькую кузницу и сказал:

— Так как вы, смелые люди, знаете свист вольного жаворонка, воинственный крик петуха и рев покорного, трудящегося осла, то я вам покажу мою боевую кухню. Такая маленькая кузница имеется почти на всех судах, плавающих по Маасу. Она никому не внушает подозрений, так как нужна на случай починок на судне. Но не на всех судах есть такие прекрасные овощи, какие припасены у меня в трюме.

И, сдвинув несколько камней на полу трюма, он поднял половицу и вытащил из-под нее связку мушкетных стволов, поднял ее вверх как перышко, уложил обратно и стал показывать им наконечники для копий и алебард, клинки мечей, пороховницы, сумки для пуль.

— Да здравствуют гёзы! — воскликнул он. — Вот бобы и подлива к ним. Приклады наши — бараньи бедра, салат — наконечники для алебард, а эти стволы — бычьи ребра для похлебки освобождения. Да здравствуют гёзы! Куда доставить это продовольствие? — спросил он Уленшпигеля.

— В Нимвеген, где ты заберешь еще припасы — настоящие овощи, которые принесут тебе крестьяне в Этсене, Стефансверте и в Руремонде. И они будут свистеть вольными жаворонками, а ты им ответишь боевым петушиным криком. Ты зайдешь к доктору Понтусу, который живет под Ньюве-Ваалем, и скажешь ему, что приехал в город с овощами, но боишься жары. Пока крестьяне пойдут на рынок и будут там продавать твои овощи так дорого, что их никто не купит, он скажет, что тебе делать с твоим оружием. Я все же думаю, что он прикажет тебе, несмотря на опасность, спуститься по Ваалю, Маасу и Рейну и там выменять овощи на сети, чтобы иметь случай теснее связаться с гарлингенскими рыбацкими судами, на которых много моряков, знающих пение жаворонка; дальше придется плыть вдоль берега у отмелей, пока доберешься до залива Лауэрзее, и здесь выменять сети на железо и свинец, переодеть твоих крестьян в другую одежду, чтобы они казались уроженцами островов Маркена, Флиланда, Амеланда, ловить у берегов рыбу и солить ее впрок, но не продавать, ибо «для выпивки — свежее, для войны — соленое» — старое правило.

— Стало быть, выпьем, — сказал судовщик.  
И они опять поднялись на палубу.

Но Ламме был грустен и вдруг сказал:

— В вашей кузнице такой жаркий огонь, отлично можно на нем сварить рагу. Моя глотка облезла от пу-стого супа.

— Сейчас освежу ее, — сказал судовщик.

И он поставил перед ним жирную похлебку, в которой плавал толстый ломоть солонины.

Однако, проглотив несколько ложек, Ламме сказал:

— Моя глотка шелушится, язык горит: это не похоже на рагу из свежего мяса.

— Мы уже говорили: «свежее — для выпивки, соленое — для войны», — утешал его Уленшпигель.

И судовщик снова наполнил стаканы и провозгла-сил:

— Пью за жаворонка, птичку свободы!

— Пью за петуха, боевого трубача! — сказал Уленшпигель.

— Пью за мою жену: пусть она никогда не знает жажды, дорогая моя, — сказал Ламме.

— Ты проедешь через Северное море в Эмден: это наше убежище, — сказал Уленшпигель судовщику.

— Море велико, — ответил тот.

— Велико для боя.

— С нами бог! — сказал судовщик.

— Кто тогда против нас? — подхватил Уленшпигель.

— Когда вы едете? — спросил судовщик.

— Сейчас.

— Доброго пути и попутного ветра. Вот вам порох и пули.

И он расцеловался с ними, снес обоих ослов на спине, как ягнят, на землю и проводил Ламме и Уленшпигеля.

Сев на ослов, они поехали по направлению к Льежу.

— Сын мой, — сказал по пути Ламме, — зачем этот сильный человек позволил, чтобы я так исколотил его?

— А для того, чтобы страх предшествовал тебе повсюду, куда мы придем. Это охранит нас лучше, чем двадцать ландскнехтов. Кто осмелится напасть на могучего, победоносного Ламме — Ламме, который, подобно быку, одним ударом, у всех на виду, опрокинул Стерке Пира, Петра Сильного, который переносит ослов точно барашков и подымает плечом телегу с пивными бочками? Тебя уже знает здесь всякий: ты — Ламме Грозный, ты —

Ламме Непобедимый, и я живу под сенью твоей охраны. Всякий на нашем пути будет нас знать, никто не осмелится косо взглянуть на тебя, и, ввиду великой храбрости рода человеческого, ты повсюду будешь встречать лишь предупредительность и почтение, привет и покорность, приносимые в дань грозной силе твоего страшного кулака.

— Ты говоришь хорошо, — сказал Ламме и выпрямился в седле.

— И говорю истину. Видишь, там любопытные лица выглядывают из первых домов деревни. Показывают на Ламме, грозного победителя. Видишь, как завистливо смотрят на тебя мужчины, и трусишки малодушные снимают перед тобой свои колпаки. Кланяйся в ответ, Ламме, мой дорогой, не презирай слабой толпы. Слышишь, дети знают твое имя и в страхе повторяют его.

И Ламме гордо ехал вперед и кланялся направо и налево, как король. И слух о его доблести переходил из деревни в деревню, из города в город, вплоть до Льежа, Шоке, Невилля, Везна и Намюра. Но они не заехали туда из-за трех проповедников.

Так путешествовали они вдоль рек, каналов и протоков. И повсюду крик петуха отвечал на песню жаворонка. И повсюду ковали, точили, лили оружие для борьбы за свободу и переносили его на суда, плывшие мимо.

А от таможенного дозора его укрывали в бочках, ящиках, корзинах.

И везде оказывались добрые люди, принимавшие оружие на сохранение и прятавшие в надежных местах вместе с порохом и пулями, впредь до часа, назначенного господом.

И Ламме был с Уленшпигелем, и везде ему предшествовала слава о его непобедимости. Так что в конце концов он и сам начал верить в свою могучую силу, стал горд и воинствен и отпустил бороду. Уленшпигель называл его Ламме-Лев.

Но Ламме не утвердился в своем намерении, так как щетина его щекотала, и на четвертый день выбрил у цирюльника свое победоносное лицо. И снова предстал он перед Уленшпигелем с лицом, круглым и сияющим как солнышко, раздобревшее от хорошей пищи.

Так они добрались до Стокема.

С наступлением ночи они оставили ослов в Стокеме и прошли в Антверпен.

Здесь Уленшпигель обратился к Ламме:

— Смотри, вот громадный город, который вселенная сделала средоточием своих сокровищ. Здесь золото, серебро, пряности, золоченая кожа, гобелены, ковры, занавесы, бархат, шерсть и шелк; здесь бобы, горох, зерно, мясо, мука, кожи; здесь вино отовсюду: лувенское, намюрское, люксембургское, льежское, простое вино из Брюсселя и Арсхота, вина из Бюле, виноградники которого подходят к воротам Намюра, вина рейнские, испанские, португальские, арсхотское изюмное вино, которое они там называют «ландолиум»; бургонское, мальвазия и всякие иные вина. И набережные сплошь покрыты товарными складами. Эти богатства земли и человеческого труда привлекают сюда со всего света красивейших гулящих девчонок.

— Ты размечтался, — сказал Ламме.

— Среди них я найду Семерых, — ответил Уленшпигель. — Сказано ведь:

В слезах и в крови  
Ищи Семерых...

А кто же главнейший источник слез, как не гулящие девчонки? Не на них ли тратят распаленные любовью мужчины свои блестящие звонкие червонцы, свои драгоценности, цепи, кольца? Не от них ли возвращаются они в отрепьях, обобранные вплоть до рубашки? Куда девалась алая чистая кровь, струившаяся в их жилах? Обратилась в чесночную похлебку. За обладание этими девицами не дерутся ли беспощадно мечом, кинжалом и ножом? После этих поединков уносят окровавленные и бездыханные трупы — трупы безумцев, потерявших разум от любви. Когда отец сидит мрачно, проклиная кого-то, когда его седые волосы становятся еще белее, когда в сухих глазах его горит тоска о невозвратно погибшем сыне и уже не льются слезы, когда рыдает мать, мертвенно бледная и тихая, как будто она и не видит, сколько еще торя на земле, — кто во всем этом виноват? Всё они же, гулящие девчонки, которые любят только деньги и себя и держат на привязи у своих золотых поясов весь мысля-

ший, действующий и философствующий мир. Да, там Семеро, которых я должен найти. Пойдем к этим женщинам, Ламме. И, может быть, там найдем мы и твою жену. Будет двойной улов.

— Пойдем, — отвечал Ламме.

Было это в конце лета, когда от солнца уже краснеют листья каштана, птички распевают на деревьях и самый маленький жучок жужжит от наслаждения — так тепло ему в траве.

Вместе с Уленшпигелем бродил по антверпенским улицам Ламме, опустив голову и медленно волоча свое тело, точно огромный дом.

— Ламме, — сказал Уленшпигель, — ты все хандрить; разве ты не знаешь, что нет ничего вреднее для твоей шкуры; если будет так продолжаться, она слезет клочьями, и ты получишь прозвище: Ламме Облупленный.

— Я голоден.

— Пойдем закусим.

Они пошли в трактир «На старом спуске», ели там оладьи и пили доббель-кейт \*, сколько влезло.

И Ламме перестал хандрить.

— Благословенно доброе пиво, так развеселившее твою душу. Ты смеешься, и твое пузо колышется. Люблю я, когда внутри у тебя все кишки пляшут от радости, — сказал Уленшпигель.

— Сын мой, они еще не так бы заплясали, если бы мне посчастливилось найти мою жену, — ответил Ламме.

— Что ж, пойдем искать ее.

Так пришли они к части города, расположенной по нижней Шельде.

— Видишь, — сказал Уленшпигель, — этот деревянный домик с красиво застекленными оконцами в рамках с частыми переплетами? Посмотри на эти желтые занавески и красный фонарь. Здесь, сын мой, меж четырех бочек всякого пива и амбуазского вина восседает любезнейшая хозяйка лет пятидесяти с хвостиком; каждый год она обрастает новым слоем жира. На бочке горит свеча, а к стропилу подвешен фонарь. Там темно и светло: темно, когда любят, и светло, когда платят.

— Значит, это обитель чертовых монахинь, а хозяйка ее — игуменья?

---

\* Доббель-кейт — «двойное» пиво.

— Да, во имя господина Вельзевула она ведет по пути порока пятнадцать смазливых и любвеобильных девчонок, которые живут любовью, получая здесь пищу и приют, но спать им здесь уже не приходится.

— Ты уже бывал в этой обители?

— Я хочу поискать там твою жену. Идем же!

— Нет, я уже передумал, я не пойду.

— Неужто ты оставишь своего друга одного пред лицом этих Астар? —

— Пусть и он туда не лезет, — сказал Ламме.

— Но если он должен найти там Семерых и твою жену?

— Я бы лучше поспал, — ответил Ламме.

— Так войди, — сказал Уленшпигель, открыл дверь и втолкнул Ламме. — Смотри, вон сидит хозяйка за своими бочками между двух свечей. Комната велика; на почерневшем дубовом потолке прокопченные балки. По стенам — скамьи, шаткие столы, на них стаканы, кружки, бокалы, рюмки, кубки, чаши, бутылки и прочая посуда. В середине также столы и стулья, на них разбросаны чепчики, золотые пояса, бархатные туфли, волюнки, дудки и свирели. Там, в углу, лестница, ведущая в верхний этаж. Маленький облезлый горбун играет на клавишине, стоящем на стеклянных ножках, отчего дребезжит его звук. Танцуй, толстяк. Вот пред тобой пятнадцать лихих красоток: одни на столах, другие на стульях верхом, стоя, склонившись, облокотившись; третьи валяются на спине или лежат на боку, в белом и красном, с голыми руками и плечами, с грудью, обнаженной до пояса... Здесь есть на всякий вкус: выбирай! У одних отблеск свечей, лаская их светлые волосы, прикрыл тенью темносиние глаза, так что видно лишь влажное их мерцание. Другие, закатив глазки к потолку, мурлычат под звуки лютни какую-нибудь немецкую балладу. Третьи, полные, круглые темно-волосые бесстыдницы, пьют стаканами амбуазское вино, показывая свои голые руки, обнаженные до плеч, и свои открытые платья, из которых выглядывают яблоки их грудей, они орут без стеснения во всю глотку, одна за другой или все вместе. Послушай их.

— К черту деньги сегодня! Сегодня мы хотим любви, любви по нашему выбору; сегодня будем любить юношей, тех, кто нам по душе. И бесплатно. Ради создателя и ради нас, пусть сегодня придут к нам наделенные от

природы мужской силой, им будет отдана наша любовь... Вчера был день заработка, сегодня — день любви... Кто хочет пить с наших уст, еще влажных от вина... Вино и поцелуи — настоящий пир! К черту вдов, которые спят в одиночестве. Сегодня день добрых дел: юным, сильным, красивым открываем мы наши объятия. Выпьем, девочки... Малютка, бьет твое сердце тревогу, предвкушая любовную схватку; точно тамбурин в груди у тебя! Час поцелуев настал. Когда придут к нам эти полные сердца и пустые кошельки? Разве не влечет их сюда чутье на лакомое угощение? Какая разница между юным гёзом-ободранцем и господином маркграфом? Этот платит золотом, а юный гёз поцелуями. Да здравствуют гёзы! Мертвых разбудим в могилах.

Так говорили добрые, пылкие, веселые девушки, отдавшие себя любви.

Но были среди них и другие: с вытянутыми лицами и костлявыми плечами, сделавшие из своего тела мелочную лавчонку, грош за грошом копящие доходы своего тощего мяса. Эти, недовольные, ворчали:

— Вот уж глупо было бы в нашем тяжелом ремесле отказаться от платы ради нелепых выдумок похотливых девчонок. Пусть сходят с ума, мы же не хотим на старости лет валяться, как они, в лохмотьях по канавам. Мы продаемся и хотим платы. К дьяволу даровщину. Все мужчины уроды, обжоры, пьяницы, вонючки, брюзги. Во всех женских пороках они виноваты, только они.

Но те, что помоложе и по красивее, не слушали их и за едой и выпивкой говорили:

— Слышите погребальный звон с соборной колокольни? Мы еще живы. Мертвых в могилах разбудим.

Увидев сразу столько женщин, блондинок и брюнеток, юных и увядающих, Ламме застыдился; он опустил глаза и крикнул:

— Уленшпигель, где ты?

— Твой дружок давным-давно скончался, — ответила одна толстуха, схватив его за руку.

— Когда? — спросил Ламме.

— Да триста лет тому назад, в одной компании с Яковом де Костером ван Маарланд.

— Отстаньте, не дергайте меня. Уленшпигель, где ты? Приди на помощь к другу. Если вы не отстанете, я сейчас уйду.

— Ты не уйдешь, — отвечали они.

— Уленшпигель! — жалобно взывал Ламме. — Где ты, сын мой? Милая, да не дергайте меня так за волосы. Уверяю вас, это не парик. Спасите! Разве, по-вашему, мои уши недостаточно красивы, что вы натираете их до крови? Ну вот, теперь другая мучительница. Мне больно! Ой, чем это мажут мне лицо? Зачем зеркало? Да я черен, весь в саже. Право, я рассержусь, если вы не перестанете. Это же нехорошо так мучить человека. Ну, отстаньте. Что же, разве вы станете жирнее от того, что будете меня со всех сторон дергать за штаны и бросать меня и туда и сюда, как ткацкий челнок. Ну, довольно, право же, я рассержусь.

— Он рассердится, он рассердится, — дразнили они его, — он рассердился, милый толстячок. Ну, не сердись, лучше засмейся или спой любовную песенку.

— Песню о колотушках я спою, если угодно. Только не трогайте меня.

— Кого из нас ты любишь?

— Никого; тебя — нет, и тебя — тоже нет. Я пожалуюсь начальству, и вас высекут.

— Вот как, высекут?! А если мы тебя раньше насильно поцелуем?

— Меня?

— Тебя! — закричали они все и набросились на него разом, красивые и уродливые, свежие и увядшие, блондинки и брюнетки, швырнули его шапку вверх, его плащ в сторону и гладили, ласкали, целовали его взасос в щеки, в нос, в спину. Хозяйка смеялась, сидя между свечей.

— Помогите! — кричал Ламме. — Помогите! Уленшпигель, прогони это проклятое бабье. Отстаньте! Не нужны мне ваши поцелуи. Я женат, слава создателю, и храню себя для моей жены.

— Женат? — закричали они. — Но ты такой толстенький, что жене твоей немало останется. Дай и нам кусочек. Верная жена — это хорошо, но верный муж — это каплун. Не дай бог! Выбери, или мы высечем тебя.

— Не хочу!

— Выбери!

— Нет!

— Меня хочешь? — сказала красивая блондинка. — Смотри, я такая добрая и так люблю тех, кто меня любит.

— Отстань!

— Хочешь меня? — спросила хорошенькая брюнетка, смуглая, темноглазая, точно выточенная по ангельскому образцу.

— Не люблю ржаного пряника.

— И меня не хочешь? — спросила пышная девица с густыми сросшимися бровями, большими глубокими глазами, толстыми, точно угри, яркокрасными губами, красным лицом, красной шеей, красными плечами и лбом, сплошь покрытым волосами.

— Не люблю накаленных кирпичей.

— Возьми меня, — подскочила девочка лет шестнадцати с лицом белочки.

— Не люблю орехоедок.

— Сечь его, сечь! — кричали они. — Чем? Хорошими кнутами, сухими ремнями. Это проберет. Самая толстая шкура не выдержит. Десять штук возьмите хлыстов и кнутов извозчичьих.

— Спаси, Уленшпигель! — вопил Ламме.

Но Уленшпигель не откликнулся.

— Ты злой, — твердил Ламме и искал друга повсюду.

Принесли кнуты. Две девушки начали стаскивать с Ламме камзол.

— Ах, — стонал он, — бедный мой жир, я с таким трудом копил тебя, а они его, конечно, сгонят своими кнутами. Но мой жир вам ни к чему, безжалостные бабы, даже на соус не годится.

— Свечи из него выльем, — кричали они, — бесплатное освещение — это тоже недурно. Когда-нибудь мы вспомним, как кнутом делали свечи, и, наверное, нас примут за сумасшедших. А мы до смерти будем биться об заклад и выиграем. Намочите розги в уксусе! Так, куртку долой! У святого Якова бьют часы. Девять. При последнем ударе, если не выберешь, мы начинаем.

Трепеща от страха, молил Ламме:

— Помилуйте, прошу вас, я поклялся в верности моей жене и сдержу клятву, хотя она, шехорошая, покинула меня. Спаси меня, мой мальчик, помоги, Уленшпигель!

Но Уленшпигель не показывался.

— Вот я у ваших ног, — говорил Ламме гулящим девкам, — видано ли большее смирение? Не говорит ли

Это достаточно, что я почитаю вас, как святых, вас и вашу великую красоту? Счастлив, кто холост и может наслаждаться вашими прелестями. Это подлинно райское блаженство. Но, молю вас, не бейте меня!

Вдруг раздался громкий и грозный голос хозяйки, сидевшей между двух свечей:

— Девушки! Клянусь самим Сатаной, если вы немедленно не приведете лаской и нежностью этого человека к добру, то есть в вашу постель, то я тотчас же позову ночных сторожей, чтоб они тут же вас высекли. Вы не заслуживаете названия веселых девиц, живущих для любви и радости, раз вам понапрасну даны вольный язычок, сладострастные руки и горящие глаза, которые должны привлекать мужчин, как привлекают своих самцов светлячки, у которых нет для этого ничего, кроме их фонарика. Вас сейчас же беспощадно высекут за глупость вашу.

Тут девушки затрепетали, и Ламме повеселел.

— Ну что, кумушки, — сказал он, — как вы теперь запоете о ваших кнутах? Я сам позову сторожей. Они исполнят свой долг, а я буду помогать. И с большим удовольствием.

Но тут хорошенькая девочка лет пятнадцати бросилась пред Ламме на колени, воскликнув:

— Ах, господин, вот и я в покорности пред вами. Если вы не смилуетесь, не выберете одну из нас, меня по вашей вине высекут. И хозяйка бросит меня в грязное подземелье под Шельдой, где вода капает со стен и где меня будут кормить одним черным хлебом.

— Правда, что ее высекут из-за меня, госпожа хозяйка? — спросил Ламме.

— До крови, — ответила та.

Тогда Ламме посмотрел на девушку и сказал:

— Я вижу, что ты свежа и благоуханна, твои плечи выступают из платья, как лепестки белой розы, и я не хочу, чтобы эта прекрасная кожа, под которой струится твоя молодая кровь, была истерзана бичом, не хочу, чтобы твои светлые глазки, горящие огнем юности, плакали от боли под ударами, не хочу, чтобы от холода тюрьмы дрожало твое тело, тело богини любви. Поэтому, чем знать, что тебя бьют, лучше уж пойду с тобой...

И девушка увела его к себе. И так согрешил он, как грешил всю жизнь, — по доброте душевной.

Между тем друг против друга стояли Уленшпигель и высокая красивая девушка с волнистыми черными волосами. Девушка молча и кокетливо посматривала на Уленшпигеля, делая вид, что он ей безразличен.

— Люби меня, — сказал он.

— Тебя любить, друг любезный? Ты ведь любишь по своей прихоти.

— Птица, летящая над твоей головой, сплет свою песенку и улетает. Так и я, милая. Хочешь, споем вместе.

— Песню смеха и слез? Хорошо!

И она бросилась к нему на шею.

Пока оба приятеля в объятиях своих подружек млели от наслаждения, вдруг с дудками и бубнами ворвалась в дом веселая толпа meesevanger'ов: так называются в Антверпене птицеловы. Они теснились и толкались, пели, свистели, орали, пищали, ругались. С ними были их корзины и клетки с пойманными синичками; и совы, которыми они пользуются при ловле, широко раскрывали при свете свои золотистые глаза.

Было их человек десять, этих птицеловов, все с раздутыми от вина и пива лицами, с дрожащими головами, неустойчивыми ногами. Они так орали своими грубыми, надорванными голосами, что ошеломленным девушкам казалось, что они находятся сейчас не в своем доме, а в лесу среди диких зверей.

Но девушки все так же упорно твердили друг другу: «Я возьму только того, кто мне по душе... Кого полюбим, тому отдадимся... Завтра — богатым деньгами, сегодня — богатым любовью». Птицеловы стали буянить:

— У нас деньги, у нас и любовь. Значит, вы наши, веселые девушки! Кто отступит, тот каплун! Вот птички, вот охотники. Ура! Вперед! Да здравствует Бранант, земля доброго герцога!

Но женщины насмешливо переговаривались:

— Эти противные рожи вздумали нами полакомиться. Но свиней не кормят вареньем. Мы возьмем тех, кто нам по сердцу: вас не хотим. Бочки жира, мешки сала, гнутые гвозди, ржавые клинки! От вас несет потом и грязью! Убирайтесь отсюда; все равно в ад и без нашей помощи попадете.

Но те отвечали:

— Сегодня француженки разборчивы. Эй вы, пресыщенные дамы, можете же вы нам предоставить то, что каждый день продаете первому встречному.

— Нет, — возражали девушки, — завтра мы будем низкими рабынями служить вам по-собачьи, сегодня мы свободные женщины; проваливайте, и все тут!

— Довольно болтать! — кричали те. — Кто проголодался — рви яблочки.

И они бросились на девушек, не разбирая ни возраста, ни лица. Но те стояли твердо на своем и швыряли им в голову стулья, кружки, стаканы, бутылки, ковши, чашки, которые градом летели в них, ранили, увечили, выбивали им глаза.

На шум прибежали Ламме и Уленшпигель, оставив наверху лестницы своих трепещущих возлюбленных. Увидев, как гости дерутся с девушками, Уленшпигель схватил во дворе метлу, сорвал с нее прутья, дал Ламме другую, и они немилосердно отколотили птицеловов.

Игра показалась не слишком веселой побитым пьяницам, и этим воспользовались худые девушки, которые и в этот день великого праздника вольной любви, установленного природой, хотели продавать, а не давать даром. Ужами скользили они между ранеными, ласкали их, перевязывали им раны, пили с ними амбуазское вино и в конце концов так наполнили флоринами и иными монетами свои кошельки, что у тех не осталось ни ломаного гроша. А когда прозвонил ночной колокол, они выбросили их за дверь. Уленшпигель и Ламме давно ушли тем же путем.

## XXIX

Они направились в Гент и на рассвете приехали в Локарен. Кругом земля была покрыта росой; белый, свежий туман несся над полями. Проходя мимо какой-то кузницы, Уленшпигель запел жаворонком, и тотчас седая косматая голова показалась у дверей кузницы, и слабый голос воспроизвел боевой крик петуха.

— Это Смитте Вастеле, кузнец, — сказал Уленшпигель Ламме, — он по целым дням кует лопаты, лемехи, отвалы, а то и прекрасные церковные решетки, ночью же иногда изготавливает оружие для бойцов за свободу совести. Крепкого здоровья он этим не нажил, ибо он бле-

ден, как привидение, мрачен, как осужденный, и худ так, что кости продырявливают ему кожу. Еще не спит — верно, всю ночь напролет работал.

— Войдите, — сказал Смитте Вастеле, — а ослов отведите на лужайку за домом.

Когда, исполнив это, Уленшпигель и Ламме вошли в кузницу, Смитте Вастеле перенес в свой погреб все мечи, которые он наковал, и наконечники, которые отлил за ночь, потом приготовил дневную работу для своих подмастерьев.

Смотря выцветшими глазами на Уленшпигеля, он спрашивал его:

— Какие принес ты известия от принца?

— Принц со своим войском вытеснен из Нидерландов из-за подлости его наемников, которые кричат: «Geld! Geld!» — «деньги! деньги!» — когда приходит время сражаться. Вместе со своими верными солдатами, своим братом графом Людвигом и герцогом Цвейбрюкенским он поспешил во Францию на помощь гугенотам и королю Наваррскому. Оттуда он прошел в Германию, где у Диленбурга войско его усилилось многочисленными беженцами из Нидерландов. Ты перешлешь ему оружие и деньги, собранные тобой, а мы будем бороться на море за дело свободы.

— Я сделаю все, что надо, — сказал Смитте Вастеле, — у меня есть оружие и девять тысяч флоринов. Однако вы ведь приехали на ослах?

— Да.

— А не слышали вы ничего по пути о трех проповедниках, которые убиты, ограблены и брошены в расщелину скалы у Мааса?

— Да, — с чрезвычайным спокойствием сказал Уленшпигель, — эти три проповедника были герцогские шпионы и наемные убийцы, которые должны были отправить на тот свет принца. Мы вдвоем, я и Ламме, покончили с ними. Их деньги у нас и их бумаги тоже. Мы возьмем из них столько, сколько надо на дорогу, остальное пойдет принцу.

И Уленшпигель распахнул куртки, свою и Ламме, и достал оттуда бумаги и пергаменты. Прочитав их, Смитте Вастеле сказал:

— Здесь планы сражений и заговоров. Я перешлю их принцу, и он узнает, что Уленшпигель и Ламме Гудзак,

верные бродяги его величества, спасли его благородную жизнь. Я продам ослов, чтобы по ним не узнали вас.

— Разве намюрские власти напали на след и послали сыщиков? — спросил Уленшпигель.

— Я расскажу вам все, что знаю, — ответил Вастеле. — Недавно из Намюра приезжал сюда один кузнец, добрый реформат, под предлогом дать мне заказ на решетки, флюгера и прочие кузнечные работы для небольшой крепости, которую строят подле Планта. Ему рассказывал писец из суда старшин, что там уже собирались по этому делу и допрашивали одного трактирщика, который живет неподалеку от места убийства. На вопрос, видел ли он убийц или людей, которые показались ему подозрительными, он ответил: «Я видел проезжавших на ослах крестьян и крестьянок, которые останавливались у меня напиться, не слезая при этом со своих ослов; другие сходили и пили в комнате: мужчины — пиво, женщины и девушки — мед. Как-то заехали два крестьянина, — порядочные, видно, люди, — и говорили о том, что хорошо бы укоротить на локоть господина Оранского». При этих словах трактирщик свистнул и сделал движение, как будто втыкает кому-то нож в горло. «Насчет «стального ветра», — продолжал он, — я расскажу вам по секрету, ибо я кое-что тут знаю». Допросив, его отпустили. После этого судьи, разумеется, разослали своим подчиненным приказы. Трактирщик сказал, что видел только крестьян и крестьянок верхом на ослах. Из этого следует, что хватать будут того, кого увидят верхом на осле. А вы нужны принцу, дети мои.

— Продай ослов, — сказал Уленшпигель, — а деньги сохрани для военной казны принца.

Ослы были проданы.

— Теперь, — сказал Вастеле, — каждый из вас должен быть вольным, не цеховым мастером: умеешь ты делать птичьи клетки и мышеловки?

— Делал когда-то, — ответил Уленшпигель.

— А ты? — обратился Вастеле к Ламме.

— Я буду продавать eete-koecken и olie-koecken. Это блинчики и оладьи, жаренные в масле.

— Пойдемте, вот здесь готовые клетки и мышеловки, инструменты и медная проволока; возьмите сколько надо материала, чтобы чинить старые и делать новые. Мне принес все это один из моих сыщиков. Вот на твою долю,

Уленшпигель. Что до тебя, Ламме, ты возьми вот эту маленькую жаровню и мех; я дам и муки и масла, чтобы ты мог жарить твои оладьи.

— Он сам все слопает, — сказал Уленшпигель.

— Когда начнем? — спросил Ламме.

Вастеле ответил:

— Сначала, ночь или две, вы мне будете помогать — мне одному не справиться с большой работой.

— Я голоден, — сказал Ламме, — здесь можно поесть?

— Есть хлеб и сыр, — ответил Вастеле.

— Без масла? — спросил Ламме.

— Без масла, — ответил Вастеле.

— Есть у тебя пиво или вино? — спросил Уленшпигель.

— Я не употребляю, — ответил он, — но я пойду в трактир «Пеликан» и принесу вам, если хотите.

— Да, и ветчины тоже, — сказал Ламме.

— Как вам будет угодно, — сказал Вастеле и взглянул на Ламме с великим презрением.

Однако он принес пива и ветчины. И Ламме радостно ел за пятерых.

— Когда же приступим к работе? — спросил он.

— Сегодня же ночью, — сказал Вастеле, — но ты оставайся в кузнице и не бойся моих рабочих. Они такие же реформаты, как и ты.

— Это хорошо, — ответил Ламме.

Ночью, после вечернего колокола, когда двери были заперты, Вастеле, при помощи Уленшпигеля и Ламме, перетасил из погреба в кузницу большие связки оружия и сказал:

— Надо починить двадцать аркебуз, перековать тридцать наконечников для копий, отлить полторы тысячи пуль. Вот и помогайте.

— Обеими руками, — ответил Уленшпигель. — И зачем их не четыре у меня?

— А Ламме на что? — сказал Вастеле.

— Разумеется, — ответил жалобно Ламме, осоветший от чрезмерной еды и питья.

— Ты будешь лить пули, — сказал Уленшпигель.

— Буду лить пули, — повторил Ламме.

И Ламме плавил свинец и лил пули и злыми глазами смотрел на кузнеца Вастеле, который заставил его бодрствовать, когда он чуть не падал от усталости. И он лил

пули с безмолвным бешенством, хотя ему очень хотелось вылить жидкий свинец на голову Вастеле. Но он сдержался. К полуночи однако, пока Вастеле и Уленшпигель терпеливо чистили стволы и наконечники, ярость Ламме вместе с невыносимой усталостью возросла до последней степени, и он шипящим голосом стал держать такую речь:

— Вот ты теперь и хил, и худ, и бледен, потому что веришь в благие намерения князей и великих мира сего и, в чрезмерной ревности пренебрегая своим телом, даешь этому благородному телу чахнуть в нищете и презрении. А ведь не для этого создал его господь бог с господской Природой. Знаешь ли ты, что душе нашей, — она же есть дух нашей жизни, — нужны для дыхания и мясо, и пиво, и бобы, и ветчина, и вино, и колбасы, и сосиски, и покой, — а ты, ты живешь хлебом, водой и бессонницей.

— Откуда в тебе это пышное красноречие? — спросил Уленшпигель.

— Сам не знает, что говорит, — грустно ответил Вастеле.

Но Ламме вскипел:

— Знаю лучше твоего. Я говорю, что мы дураки, и я, и ты, и Уленшпигель тоже, дураки, что мы слепим себе глаза ради всех этих знатных господ и князей мира сего, для тех, кто смеется, когда мы на их глазах дождем и чахнем от усталости, потому что ковали для них ружья и лили пули. Они в это время попивают из золотых бокалов французское вино и едят на английских оловянных тарелках немецких каплунов и знать не знают и знать не хотят о том, что их враги рубят нам ноги своими косами и бросают нас в могилы, пока мы ищем в воздухе бога, милостью которого они сильны. И в это время сами они не реформаты и не кальвинисты, не лютеране и не католики, им все это безразлично или внушает только сомнения, — они покупают за хорошие деньги или отвоевывают себе государства, съедают владения монахов, аббатов и монастырей и забирают себе все — и женщин, и девушек, и девок. И из своих золотых кубков пьют они за свое неисчерпаемое веселье, за нашу непроходимую глупость, тупость и шелепость и за все семь смертных грехов, которые они, о кузнец Вастеле, совершают перед длинным носом твоего возвышенного на-

строения. Смотри, вот на лугах и полях жатва хлебная, фруктовые сады, скот, золото, растущее из земли; в лесу — дикие звери, птицы в поднебесье, жирные жаворонки, нежные дрозды, кабаньи головы, оленьи окорока — все им; охота, рыбная ловля, земля и море — все им. А ты сидишь на хлебе и воде, и мы здесь надрываемся на работе без сна, без еды, без питья. И когда мы умрем, они дадут пинка нашему праху, словно падали, и скажут нашим матерям: «Наделайте новых, эти уже не годятся».

Уленшпигель смеялся, не говоря ни слова; Ламме пыхтел от негодования. Но Вастеле сказал кратко:

— Легкомысленны твои слова. Я живу не ради ветчины, пива и дроздов, но ради торжества свободы совести. Принц живет ради того же. Он жертвует своим достоинством, своим покоем, своим счастьем, чтобы изгнать из Нидерландов палачей и тиранов. Делай как он и старайся спустить с себя жир. Не толстым брюхом спасают родину, а гордым мужеством и тем, что без ропота несут тяготы вплоть до самой смерти. А теперь, если ты устал, иди спать.

Но Ламме не хотел уходить, так как ему было стыдно.

И они ковали оружие и лили пули до рассвета. И так три дня подряд.

Затем они ночью проехали в Гент, продавая по пути клетки, мышеловки и olie-koekjes.

Они поселились в Мэлестее, «городке мельниц», красные крыши которого видны отовсюду, и сговорились весь день отдельно торговать своим товаром, а вечером, перед вечерним колоколом, сходитьсь «In den Zwaen» — в трактире «Лебедь».

Ламме, увлеченный своим промыслом, ходил по гентским улицам, продавал оладьи, разыскивая свою жену, осушая множество кружек, и ел не переставая. Уленшпигель доставил письма принца лиценциату медицины Якову Сколапу, портному Ливену Смету, затем Яну Вульфсхагеру, красильщику Жилю Коорну, кровельщику Яну де Роозе, и все они передали ему деньги, собранные для принца, и просили побыть еще несколько дней в Генте и окрестностях — тогда они дадут ему еще денег.

Впоследствии все эти люди были повешены за ересь, и тела их были погребены за городом у Брюггских ворот на поле висельников.

Между тем рыжий профос Спелле с красным судейским жезлом разъезжал на своем тощем коне из города в город, повсюду воздвигая эшафоты, зажигая костры, роя ямы, в которых живыми закапывали несчастных женщин и девушек. И наследство получал король.

Сидя как-то с Ламме в Мэлестее под деревом, Уленшпигель вдруг почувствовал глубокую тоску. Хотя на дворе стоял июнь, было холодно. Со свинцового неба падал мелкий град.

— Сын мой, — начал Ламме, — вот уже четыре ночи ты бесстыдно мотаешься повсюду, сидишь у веселых девиц, ночуешь «In de Zoeten Inval» — в доме «Сладкого грехопадения» и вообще поступаешь как тот человек на вывеске, который падает головой вперед прямо в пчелиный рой. Напрасно ожидаю я тебя в «Лебеде». Друг мой, я предвещаю тебе, что такой распутный образ жизни к добру не приведет. Почему ты не возьмешь себе жену?

— Ламме, — сказал Уленшпигель, — тот, для кого в этой приятной схватке, которую зовут любовью, одна — это все и все — это одна, не должен легкомысленно торопиться при выборе.

— А о Неле ты и не думаешь?

— Неле далеко, в Дамме.

Так они сидели, а град становился все сильнее. В это время поспешно пробежала мимо них молодая смазливая бабенка, прикрывая голову юбкой.

— Эй, мечтатель, — крикнула она, — что ты там делаешь под деревом?

— Мечтаю о женщине, которая укрыла бы меня под своей юбкой от града.

— Нашлась, — сказала женщина, — вставай!

Уленшпигель встал и подошел к ней, но Ламме закричал:

— Что же ты, опять меня одного оставишь?

— Ну да, — ответил Уленшпигель, — отправляйся в трактир, съешь одну или две бараньи лопатки, выпей двенадцать кружек пива, завались спать — скука пройдет.

— Так и сделаю, — сказал Ламме.

Уленшпигель приблизился к женщине.

— Ты возьми мою юбку с одной стороны, а я возьму с другой, так рядом и побежим.

— Зачем же бежать? — спросил Уленшпигель.

— Потому что я убегаю из города: явился профос Спелле с двумя сыщиками и поклялся высечь всех гуляющих девчонок, которые не уплатят ему по пять флоринов. Вот я и бегу; беги и ты со мной и оставайся подле меня, чтобы за меня заступиться.

— Ламме, — крикнул Уленшпигель, — Спелле в Мэ-лестее! Беги в Дестельберг, в «Звезду трех волхвов».

И Ламме вскочил в ужасе, обхватил свой живот обеими руками и бросился бежать.

— Куда бежит этот толстый заяц? — спросила девушка.

— В нору, где я его потом найду.

— Бежим, — сказала она и топнула ногой, словно нетерпеливая кобылка.

— Я бы предпочел остаться добродетельным и не бежать.

— Что это значит? — спросила она.

— Этот толстый заяц, — ответил Уленшпигель, — требует, чтобы я отказался от доброго вина, пива и от свежей кожи красивых женщин.

Девушка бросила на него недовольный взгляд.

— У тебя одышка, — сказала она, — тебе надо отдохнуть.

— Отдохнуть, — ответил Уленшпигель, — но я не вижу приюта.

— Твоя добродетель будет тебе убежищем.

— Я предпочел бы твою юбку.

— Моя юбка недостойна быть покровом святого, каким ты хочешь стать. Сбрось ее, я побегу одна.

— Разве ты не знаешь, что собака на четырех лапах бежит быстрее, чем человек на двух? Потому и мы в четыре ноги понесемся быстрее.

— Для столь высокой добродетели ты говоришь довольно свободно.

— Конечно, — ответил он.

— Мне же всегда, — сказала она, — добродетель представлялась скучной, вялой, холодной маской для прикрытия брызгливого лица или плащом для бескровного тела. Мне больше по душе те, у кого в груди ярким, все обжигающим пламенем горит пылкая мужествен-

ность, побуждающая нас к достойным и сладостным подвигам.

— Такими словами прекрасная дьяволица соблазняла преславного святого Антония, — отвечал Уленшпигель.

В двадцати шагах впереди показалась корчма.

— Ты говорила хорошо, а теперь надо хорошенько выпить, — сказал Уленшпигель.

— У меня во рту не пересохло, — ответила она.

Они вошли. На сундуке дремал громадный жбан, называемый людьми «брюханом» за огромную вместительность.

— Видишь этот флорин? — сказал Уленшпигель хозяину.

— Вижу, — ответил тот.

— Сколько патаров отсосешь ты из него, чтобы наполнить этот брюхан «двойным» пивом?

— «Negen mappekens» (девять человечков) — и мы в расчете, — сказал хозяин.

— То есть шесть фландрских грошей, — стало быть, два лишних. Ну, куда ни шло, — наливай!

И Уленшпигель налил девушке полную кружку, потом гордо встал, приподнял жбан и, запрокинув голову, вылил его себе в глотку до дна. Это звучало как водопад.

Девушка изумленно спросила:

— Как ты можешь вместить в твоём тощем теле такую махину?

Не отвечая ей, Уленшпигель обратился к хозяину:

— Подай хлеба и ветчинки и еще один «брюхан». Закусим и выпьем.

Так и было сделано.

В то время как девушка справлялась с кожицей окорока, Уленшпигель обнял ее так нежно, что она почувствовала себя сразу растроганной, восхищенной и покорной.

И спросила его:

— Почему это, сударь, ваша добродетель вдруг сменилась неутолимой жаждой, волчьим голодом и этой любовной отвагой?

— Видишь ли, — ответил Уленшпигель, — так как я грешил на сотни ладов, то я, как ты знаешь, поклялся покаяться. Покаяние длилось ровно один час. Когда во время этого часа я подумал о моей дальнейшей жизни, я

увидел, что питаться я должен скудно, одним хлебом, пить только воду, — а это освежает очень плохо, любви же должен избегать; значит, не смей ни шевельнуться, ни чихнуть из страха совершить что-нибудь дурное; все будут избегать меня, все будут бояться; точно прокаженный, буду я жить, хмурый, как собака, потерявшая хозяина, и после пятидесяти лет этого непрестанного мученичества я издохну в нищете и, таким образом, в тоске закончу мою жизнь. Поэтому я решил, что срок смирения и покаяния уже прошел; значит, поцелуй меня, моя милая, и бежим вдвоем из чистилища.

— Ах, — сказала она, охотно повинуюсь ему, — что за чудная вывеска о добродетели, так бы ее на шесте и носить!

И бежало время в любовных забавах; но в конце концов надо было подняться и уходить, так как девушка опасалась, что среди этих радостей вдруг появится профос Спелле с его сыщиками.

— Ну, подбери юбку, — сказал Уленшпигель.

И быстро, как пара оленей, помчались они в Дестельберг и застали Ламме в «Звезде трех волхвов» за едой.

### XXXI

Уленшпигель часто виделся в Генде с Яковом Сколапом, Ливеном Сметом и Яном Вульфсхагером, которые делились с ним известиями об удачах и неудачах Молчаливого.

И всякий раз, когда Уленшпигель возвращался в Дестельберг, Ламме спрашивал его:

— Что ты принес? Счастье или несчастье?

— Ах, — рассказывал Уленшпигель, — принц, его брат Людвиг, прочие вожди и французы решили двинуться дальше во Францию, на соединение с принцем Конде. Так они спасли бы бедную землю Бельгийскую и свободу совести. Но господь не захотел этого. Немецкие рейтары и ландскнехты отказались идти дальше и заявили, что присягали воевать с герцогом Альбой, а не с Францией. Тщетно Оранский заклинал их исполнить свой долг. Ему пришлось отвести наемников через Шампань и Лотарингию в Страсбург, откуда они вернулись в Германию. Это внезапное и упорное сопротивление меняло все: король

французский, вопреки договору с принцем, отказался дать условленные деньги; королева английская обещала принцу прислать помощь, надеясь, что он отвоеует Кале с округой; ее письма перехватили, передали кардиналу лотарингскому, а тот от имени принца ответил ей отказом.

Точно привидение при крике петуха, исчезает на глазах наших прекрасное войско. Но господь с нами, и если земля отречется от нас, то вода сделает свое дело. Да здравствуют гёзы!

### XXXII

Однажды вся в слезах прибежала девушка к Ламме и Уленшпигелю.

— В Мэлестее профос Спелле, — рассказывала она, — выпускает за деньги разбойников и воров, а людей невинных обрекает смерти. Среди последних — мой брат, Михиелькин. О, выслушайте, что я вам скажу: вы мужчины и отомстите за него. Один грязный, поганый развратник Питер де Роозе, известный растлитель детей, повинен в этом несчастье. Как-то вечером мой бедный брат и Питер де Роозе были в трактире «Valck» — «Сокол», но сидели они за разными столами: от Питера де Роозе все бегут, как от чумы. Мой брат не хотел быть с ним в одной комнате, поэтому он назвал его распутной скотиной и приказал ему очистить зал. Питер де Роозе ответил: «Брату гулящей девки не годится так задира́ть нос». Это он солгал, потому что я не гулящая, а схожусь только с теми, кто мне нравится.

Тогда Михиелькин схватил свою кружку с пивом и запустил ему в нос и сказал, что он врет, как гнусный развратник, и пригрозил, что если тот не уберется, то он заткнет ему в хайло кулак по локоть.

Так как Питер не уговорился и стал кусаться, то брат исполнил свое обещание: треснул его хорошенько два раза по челюсти и выкинул на улицу. Там он без сожаления оставил его полумертвым.

Выздоровев и не вынося одинокой жизни, Питер де Роозе отправился «In't Vagevuur» — настоящее «Чистилище», — дрянной каба́к, куда заходят только оборванцы. И там его избегали все, даже нищие сторонились его. Никто с ним не разговаривал, кроме приезжих мужиков,

которые его не знали, да нескольких мелких воришек и дезертиров. Так как он вообще забияка, то и здесь его не раз колотили.

Когда профос Спелле со своими двумя сыщиками явился в Мэлестее, Питер де Роозе бегал за ним повсюду, как собака, и угощал вином, мясом и всем вообще, что можно купить за деньги. Так стал он их другом и товарищем и стал поступать, как подсказывала ему злоба, чтобы вредить тем, кого ненавидел: это были все наши горожане и особенно мой бедный брат.

Прежде всего он принялся за Михиелькина. Корыстолюбивые висельники, подкупленные де Роозе, не затруднились лжесвидетельствовать, что он еретик, что он изрыгал кощунственные слова против святой девы и не раз в трактуре «Сокол» хулил имя божие и святых угодников и что, кроме того, у него в шкапулке спрятано по меньшей мере триста флоринов.

Хотя о самих свидетелях ходила дурная слава, Михиелкин был брошен в тюрьму. Спелле и сыщики объявили улики достаточными для испытания пыткой, и вот Михиелькина подвесили на блоке к потолку, привязав к его ногам груз по пятьдесят фунтов к каждой.

Он отрицал свою вину и говорил, что если есть в Мэлестее проходимец, распутник, негодяй и святотатец, то это именно Питер де Роозе, а не он.

Но Спелле ничего не хотел слушать и приказал своим палачам подтянуть брата к потолку и разом бросить его оттуда с гирями на ногах. Они исполнили это, и с такой жестокостью, что у него на суставах лопнула кожа и мышцы и ступни чуть не оторвались.

Михиелкин настаивал, что он невиновен, и Спелле приказал возобновить пытку, дав при этом ему понять, что за сто флоринов он предоставит ему свободу и покой.

Михиелкин ответил, что лучше умрет.

Услышав, что он схвачен и подвергнут пытке, горожане явились толпами засвидетельствовать его невиновность, что и есть «оправдательное показание всех добрых граждан общины». Здесь они единогласно утверждали, что Михиелкин ни в малой степени не повинен в ереси, что он каждое воскресенье бывает у мессы и причащается, что он упоминал имя пресвятой девы лишь тогда, когда в тяжелую минуту молил ее о помощи, и что никогда не порочил никакой женщины на земле, не говоря

уже о богородице на небесах. Богохульства, которые якобы слышали от него лжесвидетели в «Соколе», — ложь и клевета.

Михиелькин был выпущен на свободу, лжесвидетели наказаны, и Спелле привлек к суду также Питера де Роозе, но, получив от него сто флоринов, выпустил, не подвергнув его ни допросу, ни пыткам.

Испугавшись, как бы оставшиеся у него деньги не привлекли вторично внимания Спелле, Питер де Роозе бежал из Мэлестее. Между тем бедный мой брат Михиелькин умирал от гангрены в ногах.

Хотя он раньше не хотел видетъся со мной, но тут он приказал позвать меня и сказал мне, чтобы я боялась огня, горящего в моем теле, ибо он приведет меня в огонь адский. А я только плакала, ибо действительно есть во мне этот огонь. И он испустил дух на руках моих.

— Ах! — воскликнула она. — Кто отомстит за смерть моего дорогого, доброго брата палачу Спелле, тот навеки станет моим господином, и я буду служить ему, как собака.

И пепел Клааса застучал в сердце Уленшпигеля, и он решил привести убийцу Спелле на виселицу.

Боолкин — так звали девушку — вернулась в Мэлестее, так как теперь она не боялась мести Питера де Роозе; погонщик, гнавший скот через Дестельберг, рассказал ей, что священник и горожане объявили следующее: если Спелле тронет сестру Михиелькина, они предстанут его на расправу к герцогу.

Уленшпигель пошел с ней в Мэлестее. Войдя в дом Михиелькина, где у нее была комната в нижнем этаже, он увидел здесь изображение бедного покойника.

А Боолкин сказала:

— Это мой брат.

Уленшпигель взял портрет и сказал:

— Спелле будет на виселице.

— Как же ты это сделаешь? — спросила она.

— Если ты узнаешь, как я это сделаю, то тебе не будет так приятно видеть, когда это сбудется.

Боолкин покачала головой и сказала печально:

— Ты мне совсем не доверяешь.

— Как же не доверяю, если я тебе говорю: «Спелле будет повешен». Ведь за одни эти слова ты можешь привести меня к виселице раньше, чем я приведу его.

— И правда:

— Вот видишь. Итак, добудь мне хорошей глины, двойную кружку *bruinbier*, чистой воды и несколько кусков говядины. Говядина будет для меня, пиво для говядины, вода для глины, глина для изваяния.

За едой и выпивкой Уленшпигель все время мял глину, причем иногда даже отправлял куски ее в рот, не замечая этого, так как, не отрываясь, смотрел все время на портрет Михиелькина. Размяв как следует глину, он вылепил из нее маску, на которой рот, уши, нос, глаза — все было так похоже на портрет Михиелькина, что Боолкин остолбенела.

Затем он положил маску в печь и, когда она высохла, раскрасил ее под мертвеца, дав глазам неподвижное, а всему лицу мрачное и искаженное выражение лица умирающего. Тут девушка, перестав изумляться, как прикованная смотрела на маску, побледнела, почти лишившись сознания, закрыла лицо руками и восклицала, содрогаясь в ужасе:

— Это он, это мой бедный Михиелькин!

Затем Уленшпигель вылепил и размалевал две окровавленные ноги.

Совладав со своим ужасом, Боолкин сказала:

— Благословен, кто предаст убийцу смерти.

Взяв маску и ноги, Уленшпигель сказал:

— Мне нужен помощник.

— Пойди в «*Blauwe gans*» — трактир «Синий гусь» и обратись к его хозяину Иоосу Лансаму из Ипра. Это был лучший друг и товарищ моего брата. Скажи ему, что ты от Боолкин.

Так Уленшпигель и сделал.

Покончив со своими кровавыми делами, профос Спелле шел в трактир «Сокол» и пил здесь горячую смесь из *dobbele-clauwaert*, корицы и сахара. Ему ни в чем не было здесь отказа из страха перед веревкой.

Питер де Роозе опять осмелел и вернулся в Мэлестее. Повсюду он ходил следом за Спелле и его сыщиками, чтобы всегда быть под их охраной. Иногда Спелле угощал его. И они вместе весело пропивали деньги своих жертв.

Теперь «Сокол» посещался далеко не так, как в доброе старое время, когда городок жил спокойной жизнью, почитал господа бога по католическому вероучению и не

подвергался преследованиям за веру. Теперь он был точно в трауре, и это видно было по множеству пустых или запертых домов и по безлюдным улицам, по которым бродили тощие собаки, отыскивая себе пищу в навозных кучах.

Лишь двум злодеям было еще здесь раздолье. Напуганные горожане видели каждый день, как они нагло обходят город, намечают дома своих будущих жертв, составляя списки обреченных, а вечером, возвращаясь из «Сокола», поют похабные песни. За ними, как телохранители, всегда шли два сыщика, вооруженные с головы до ног и тоже очень пьяные.

Зайдя в «Синий гусь» к Иоосу Лансаму, Уленшпигель нашел трактирщика за стойкой.

Уленшпигель вынул из кармана бутылочку водки и обратился к нему:

— Боолкин продает две бочки этой водки.

— Пойдем в кухню, — сказал трактирщик.

Он запер за собой кухонную дверь, пристально посмотрел на Уленшпигеля и сказал:

— Ты не торгуешь водкой; что значит твое подмигиванье? Кто ты такой?

— Я сын Клааса, сожженного в Дамме, — ответил Уленшпигель, — пепел его стучит в мое сердце; я хочу убить Спелле, убийцу.

— Ты от Боолкина?

— Я от Боолкина. Я убью Спелле, а ты мне поможешь.

— Я готов. Что надо делать?

Уленшпигель ответил:

— Пойди к священнику, доброму пастырю, врагу Спелле. Собери своих друзей и будь с ними завтра после вечерни на дороге в Эвергем, неподалеку от дома Спелле, между «Соколом» и его домом. Скройтесь там в тени и будьте все в темной одежде. Ровно в десять часов ты увидишь, как Спелле выйдет из трактира, а с другой стороны подъедет повозка. Сегодня вечером ничего не говори своим друзьям: они спят слишком близко от уха своих жен. Сговорись с ними завтра. Соберитесь, прислушивайтесь и всё запоминайте.

— Всё будем помнить, — сказал Иоос. И он поднял стакан: — Пью за веревку для Спелле.

— За веревку, — ответил Уленшпигель.

Затем они вернулись в общую комнату трактира, где кутила компания гентских старьевщиков, возвращавшихся с субботнего базара в Брюгге. Там они продали по дорогой цене парчовые камзолы и плащи, скупленные за гроши у промотавшихся дворян, которые пытались подражать пышности испанцев.

По случаю громадного барыша старьевщики бражничали и кутили.

Усевшись в уголок, Уленшпигель и трактирщик потихоньку сговорились здесь за выпивкой, что Иоос сперва пойдет к священнику, доброму пастырю, ненавидевшему Спелле, убийцу невинных, а потом к своим друзьям.

На следующий день Иоос Лансам и друзья Михиелькина вышли из «Синего гуся», где они по обыкновению сидели за кружкой. Чтобы скрыть свои намерения, они после вечернего колокола пошли разными путями и сошлись на дороге в Эвергем. Было их семнадцать человек.

В десять часов Спелле вышел из «Сокола» и с ним оба его сыщика и Питер де Роозе. Лансам со своими спрятался в амбаре Самсона Бооне, который также был другом Михиелькина. Дверь амбара была открыта настежь, но Спелле их не видел.

Они же видели, как он и с ним Питер де Роозе и оба сыщика шли пьяные, еле держась на ногах. И он говорил сонным голосом, поминутно икая:

— Профосы! Профосы! Сладко им живется на этом свете. Поддерживайте же меня, висельники, не даром живете вы моими объедками!

С поля послышался рев осла и шелканье бича.

— Ага, — сказал Спелле, — упрямый осел не слушается вежливого приглашения и ни с места!

Вдруг раздался громкий стук колес и дребезжание повозки, спускающейся по дороге.

— Остановить! — крикнул Спелле.

Когда повозка приблизилась к ним, Спелле с помощниками бросились и схватили осла за морду.

— Повозка пуста, — сказал один из сыщиков.

— Болван, — возразил Спелле, — с каких это пор пустые повозки сами шатаются ночью по дорогам. Кто-нибудь, наверное, спрятался в ней. Зажгите фонари. Да поднимите выше, я ничего не вижу.

Фонари были зажжены, и Спелле со своим фонарем полез на повозку. Но, едва заглянув в нее, он издал страшный крик и упал навзничь со стоном:

— Михиелькин, Михиелькин! Помилуй, господи Иисусе!

И из глубины повозки показался человек, весь в белом, как мельник, держа в руках две окровавленные ноги.

И Питер де Роозе, увидев при свете фонарей этого человека, тоже закричал, и сыщики вместе с ним:

— Михиелькин! Мертвый Михиелькин! Помилуй нас, господи!

На шум сбежались все бывшие в засаде, чтобы рассмотреть, что там делается, и с ужасом смотрели на этот поразительно похожий образ их покойного друга Михиелькина.

Призрак размахивал окровавленными ногами, лицо его было то самое круглое, полное лицо Михиелькина, но мертвенно-бледное, грозное, желто-зеленое и у подбородка разъеденное червями.

Все размахивая кровавыми ногами, призрак обратился к стонушему Спелле, лежавшему на спине:

— Спелле! Профос Спелле! Очнись!

Но Спелле был неподвижен.

— Спелле! — повторил призрак. — Профос Спелле! Очнись, или я стащу тебя в преисподнюю.

Спелле поднялся; его волосы от ужаса стояли дыбом, и он жалобно молил:

— Михиелькин! Михиелькин! Помилуй меня!

Между тем собрались горожане; но Спелле видел перед собой только фонари, которые он, как сам рассказал потом, принял за глаза дьяволов.

— Спелле! — сказал призрак Михиелькина. — Готов ты к смерти?

— Нет, — кричал профос, — нет, господин Михиелькин, я не готов к смерти; я не хочу предстать пред господом, пока душа моя черна от прегрешений.

— Узнаешь ты меня? — спросил призрак.

— Поддержи меня, господи! Да, я узнаю вас. Вы дух Михиелькина, пирожника, умершего невинно в своей постели от последствий пытки, и эти две кровавые ноги — те самые, к которым я приказал привесить по пятидесяти фунтов к каждой. Ах, Михиелькин, простите меня, этот

Питер де Роозе такой соблазнитель: он обещал мне, и я в самом деле от него получил пятьдесят флоринов за то, что вы будете внесены в список.

— Ты хочешь покаяться? — спросил призрак.

— Да, господин, я во всем сознаюсь, во всем покаюсь и принесу повинную. Но, ради бога, удалите раньше чертей, которые хотят проглотить меня. Я все скажу. Уберите эти горящие глаза! Я то же самое проделал в Турне с пятью горожанами, в Брюгге с четырьмя. Я теперь не помню их имен, но если вы потребуете, я назову их. И в других местах я так же грешил, и по вине моей шестьдесят девять невинных человек лежат в могиле. Господин Михиелькин, королю нужны деньги — так мне сказали. Но и мне они тоже нужны. Часть их закопана в Генте в погребке у старухи Гровельс, моей настоящей матери. Я все сказал, все. Молю о милости и прощении! Уберите чертей! Господи боже, пресвятая дева, Христос спаситель, вступитесь за меня! Погасите эти адские огни, я все продам, все раздам бедным и покаюсь.

Увидев, что толпа горожан готова поддержать его, Уленшпигель спрыгнул с повозки, схватил Спелле за горло и хотел задушить его.

Но тут вмешался священник.

— Оставь его, — сказал он, — пусть лучше умрет на виселице, чем от руки привидения.

— Что же вы хотите с ним сделать? — спросил Уленшпигель.

— Принести жалобу герцогу, и его повесят, — ответил священник, — но кто ты такой?

— Я в маске Михиелькина бедная фламандская лисичка, которая из страха пред испанскими охотниками снова скроется в своей норе.

Между тем Питер де Роозе убежал со всех ног.

И Спелле был повешен, а имущество его конфисковано.

И наследство получил король.

### XXXIII

На другой день Уленшпигель шел вдоль светлой речки Лис по направлению к Куртре.

Ламме со стенаниями тащился за ним.

— Что ты все стонешь, тряпичная ты душа, о твоей жене, которая украсила тебя рогами? — сказал ему Уленшпигель.

— Сын мой, она всегда была мне верна и любила меня как должно, а уж я ее любил без меры, о господи Иисусе. И вдруг однажды она отправилась в Брюгге и вернулась оттуда другая. С тех пор на все мои просьбы о любви она отвечала:

«Я должна жить с тобой только как друг, не иначе». Я затосковал в сердце моем и говорю ей:

«Радость моя, дорогая моя, господь бог соединил нас браком. Разве я не делал для тебя всего, что ты хочешь? Не одевался ли я не раз в камзол из черного рядна и в плащ из дерюги, лишь бы наряжать тебя — вопреки королевским указам — в шелк и парчу? Дорогая моя, неужто ты уж никогда не будешь любить меня?»

«Я люблю тебя так, — отвечала она, — как указано господом богом и законами, святыми заповедями и покаянными канонами. И все же отныне я буду тебе лишь добродетельной спутницей».

«Что мне в твоей добродетели, — отвечал я, — ты моя жена, мне ты нужна, а не твоя добродетель».

Тут она покачала головой и сказала:

«Я знаю, ты добрый. Ты был у нас поваром, чтобы не допустить меня к стряпне. Ты гладил наше белье, простыни и рубахи, так как утюги тяжелы для меня. Ты стирал наше белье, подметал комнаты и улицу перед домом, чтобы я не знала труда и усталости. Теперь все это буду делать вместо тебя я сама, но больше ничего, милый мой муж».

«Мне это не нужно. Я, как раньше, буду твоей служанкой, твоей прачкой, кухаркой, твоим верным рабом. Но, жена, не разделяй эти сердца и тела, бывшие единой плотью, не разрывай уз любви, так нежно связывавших нас».

«Так надо», — сказала она.

«Ах, — вскричал я, — это ты в Брюгге пришла к этому жестокому решению».

«Я поклялась перед господом богом и его святыми угодниками», — отвечала она.

«Кто же принудил тебя принести этот обет не исполнять никогда своих супружеских обязанностей?»

«Тот, на ком почил дух божий, удостоил меня покаяния».

С тех пор она перестала быть моей и как будто сделалась верной женой кого-то другого. Я умолял ее, мучил ее, грозил, плакал, просил — все напрасно. Вернувшись однажды вечером из Бланкенберга, где я получил аренду за одну мою ферму, я нашел дом пустым. Очевидно, моя жена устала от моих просьб, или рассердилась, или опечалилась, глядя на мою печаль, и бежала. Где-то она теперь?

И Ламме уселся на берегу Лиса и, опустив голову, смотрел на воду.

— Ах, — вздыхал он, — подружка моя, какая нежненькая ты была, какая стройненькая, какая пухленькая. Уж не найти мне такого цыпленочка. Неужто никогда уж не отведаю я любовного блюда, поданного тобой? Где твои упоительные поцелуи ароматнее тмина, твои сладкие уста, которыми я лакомился, как пчелка медом розы? Где твои белые руки, с лаской обнимавшие меня? Где твое бьющееся сердце, твоя пышная грудь, твое трепещущее в любви, наслаждением дышащее нежное тело? Да, где прежние волны твоей реки, весело несущей свои новые воды под солнечными лучами?

#### XXXIV

Дойдя до опушки Петегемского леса, Ламме обратился к Уленшпигелю:

— Я изнемогаю от жары, отдохнем в тени.

— Хорошо, — ответил Уленшпигель.

Они уселись на траву под деревьями и увидели стадо оленей, которое промчалось мимо них.

— Будь настороже, Ламме, — сказал Уленшпигель и зарядил свою немецкую аркебузу. — Вон старые самцы, еще сохранившие свои рога и гордо несущие их — свою девятиконечную красу; стройные двухлетки, точно оруженосцы, бегут рядом с ними, готовые поддержать их своими острыми рожками. Они спешат к своему становищу. Так, теперь взведи курок, как я. Пли! Ранен старый олень. Молодому попало в бедро! За ним, за ним, пока не свалится! Беги со мной, прыгай, несись, лети!

— Вот еще одна безумная выдумка моего друга, — бормотал Ламме, — гнаться за оленями. Не имея крыльев, их не догонишь, это бесполезные усилия. Ах, какой ты жестокий товарищ! Я ведь не так подвижен, как ты. Я весь вспотел, сын мой, я весь вспотел и сейчас упаду. Если лесник тебя поймает, быть тебе на виселице. Олени — королевская дичь; пусть бегут, сын мой, — тебе их не поймать.

— Идем, — говорил Уленшпигель, — слышишь, как шуршат его рога в листве? Шумит, как вихрь: видишь сломанные побеги и усеявшие землю листья? У него еще одна пуля в бедре. Мы съедем его.

— Не хвались, пока он не зажарен, — возразил Ламме, — пусть бегут бедные звери. Ой, как жарко! Вот я упаду и не встану!

Внезапно со всех сторон выскочили оборванные и вооруженные люди. Собаки залаяли и понеслись по оленьему следу. Четверо мужчин дикого вида окружили Уленшпигеля и Ламме и повели их на поляну, совершенно скрытую в густой чаще; здесь среди женщин и детей они увидели множество мужчин, вооруженных разнообразнейшими шпагами, дротиками, рейтарскими пистолетами.

При виде их Уленшпигель спросил:

— Кто вы? Может быть, вы «лесные братья»? Вы живете здесь общиной и укрываетесь от преследований?

— Мы «лесные братья», — ответил старик, сидевший у огня и жаривший на сковороде птицу, — а ты кто?

— Я родом из прекрасной Фландрии, — ответил Уленшпигель, — я живописец, крестьянин, дворянин, ваятель, все вместе. Я брожу по свету, восхваляю все высокое и прекрасное и насмехаюсь во всю глотку над глупостью.

— Если ты видел так много стран, — сказал старик, — то ты, конечно, сумеешь сказать Schild ende Vriendt — «щит и друг» — так, как это говорят гентские уроженцы. Если нет, то ты поддельный фламандец и будешь убит.

— Schild ende Vriendt, — сказал Уленшпигель.

— А ты, толстопузый, — обратился старик к Ламме, — ты чем промышляешь?

— Я пропиваю и проедаю мои земли, усадьбы, фермы, хутора, разыскиваю мою жену и повсюду следую за другим моим Уленшпигелем.

— Если ты так много странствуешь, то ты, конечно, знаешь, какое прозвище уроженцев Веерта в Лимбурге.

— Этого я не знаю, — ответил Ламме, — но не можете ли вы мне сказать, как прозывается тот подлый негодяй, который выгнал мою жену из моего дома. Скажите мне его имя, и я убью его на месте.

— Есть на этом свете, — ответил старик, — две вещи, которые никогда не возвращаются: истраченные деньги и сбежавшие жены, которым надоели их мужья.

И он обратился к Уленшпигелю:

— А знаешь ты, какое прозвище у уроженцев Веерта в Лимбурге?

— «De gaekstekers» (заклинатели скатов), — ответил Уленшпигель, — ибо, когда однажды живой скат свалился там с телеги рыбака, некая старуха, видя его прыжки, приняла рыбу за дьявола. «Идем за священником, пусть выгонит беса из ската», — говорили люди. Священник смирил ската заклинанием, взял его с собой и отменно закусил им в честь веертских обывателей. Да поступит так господь и с кровавым королем.

Между тем в лесу раздавался лай собак. Среди деревьев бежали вооруженные люди и кричали, чтобы запугать зверя.

— Это олени, в которых я стрелял, — сказал Уленшпигель.

— Мы съедем их, — сказал старик. — А как прозываются уроженцы Эндховена в Лимбурге?

— «De rijnmakers» (засовщики), — ответил Уленшпигель. — Однажды, когда неприятель стоял перед их городом, они заперли городские ворота засовом из моркови. Пришли пуси и, жадно стуча клювом, расклевали морковь, и враги вторглись в Эндховен. Железные клювы понадобятся и для того, чтобы расклевать тюремные засовы, за которыми хотят спноить в неволе свободу совести.

— Если господь с нами, то кто против нас? — ответил старик.

— Этот лай собак, крики людей, треск ветвей: настоящая буря в лесу, — сказал Уленшпигель.

— Оленина вкусна ли? — спросил Ламме, смотря на сковородку.

— Приближаются крики загонщиков, — говорил Уленшпигель Ламме. — Собаки уже совсем близко. Ка-

кой шум! Олень, олень! Берегись, сын мой! Ой, ой, подлый зверь: он опрокинул на землю моего толстого друга среди сквород, горшков, котелков, кастрюль, кусков мяса. Вон женщины и девушки убегают, обезумев от страха. Ты в крови, сын мой.

— Ты насмехаешься, бездельник, — ответил Ламме, — да, я весь в крови: он ударил меня рогами в зад. Смотри, как изодраны мои штаны и моя говядина. А там на земле — это прекрасное жаркое. Ах, вся кровь вытечет из меня через зад.

— О, этот олень предусмотрительный лекарь, — сказал Уленшпигель, — он спас тебя от апоплексического удара.

— Как тебе не стыдно, бессердечный ты негодяй! — сказал Ламме. — Я не буду больше странствовать с тобой. Останусь здесь, среди этих добрых людей. Как можешь ты быть таким безжалостным к моим страданиям? А я, как собака, таскался за тобой в метель и мороз, дождь, град и ветер, и в жару тоже, когда душа выходила из меня струйками пота.

— Твоя рана пустячная, — ответил Уленшпигель, — приложи к ране оладью, сразу будет тебе и пластырь и жаркое. А знаешь, как называют лувенцев? Вот видишь, ты не знаешь, бедный мой друг. Ну, я тебе скажу, чтобы ты не скулил. Их называют «de коеуе-сchieeres» — стрелки по коровам, так как в один прекрасный день они были так глупы, что приняли коров за неприятельских солдат и стали палить по ним. Мы же стреляем по испанским козлам, у которых, правда, вонючее мясо, но кожа годится на барабаны. А тирлемонцев, знаешь, как кличут? Тоже нет? Они носят достославное прозвище «kirekers», ибо в троицын день у них в большой церкви утка пролетела с хоров к алтарю, и они ее приняли за святого духа. Положи еще коеке-бакке (лепешку) на твою рану. Ты молча собираешь миски и куски жаркого, разбросанные оленем. Вот это называется кухонным пылом! Ты опять разводишь огонь, подвешиваешь над ним котелок с супом к треножнику. Ты деятельно углубился встряпню. Знаешь ты, почему в Лувене насчитывают четыре чуда? Нет? Ну, я тебе скажу. Во-первых, потому, что там живые проходят под мертвецами: ибо церковь святого Михаила расположена у городских ворот, так что ее кладбище находится на крепостном валу, над воротами. Во-вторых, там колокола вне колоколен:

в церкви святого Якова висит один большой колокол на колокольне, а маленькому не хватило там места, его и повесили снаружи. В-третьих, там алтарь вне церкви: ибо портал этого самого храма подобен алтарю. В-четвертых, там есть «Башня без гвоздей»: шпиль колокольни церкви святой Гертруды выстроен не из дерева, а из камня, камней же гвоздями не прибивают, кроме, впрочем, каменного сердца кровавого короля, которое я охотно прибил бы к Большим воротам города Брюсселя. Но ты не слушаешь меня. Не солон ли подлива? А знаешь, почему жители Тирлемона называют себя «грелками» — *de viergrappen*? Потому что однажды зимой один молодой принц хотел переночевать в гостинице «Герб Фландрии», а хозяин не знал, как ему согреть простыни — грелки у него не было. И вот, чтобы нагреть постель, он уложил туда свою молоденькую дочку, а она, как услышала, что принц подходит, убежала со всех ног. И принц спрашивал, почему не оставили грелку у него в постели. Дай господи, чтобы Филипп, запертый в раскаленном докрасна железном сундуке, был грелкой в постели Астарты.

— Оставь меня в покое, — сказал Ламме, — плюю я на твои грелки, твои колокольни без гвоздей и прочие твои рассказы: оставь меня с моей подливой.

— Поберегись, — ответил Уленшпигель, — лай не прекращается; напротив, он все усиливается, собаки заливаются, рог трубит, берегись оленя. Бежит! Рог трубит!

— Это сзывают на добычу, — сказал старик. — Олень убит, Ламме, кончай стряпню.

— О, это будет великолепный обед, — заметил Ламме, — и вы пригласите меня на пиршество, — недаром я так потрудился ради вас: птица в соку удалась отлично. Хрустит только на зубах немножко — в этом виноват песок, в который все попадало, когда этот проклятый олень разорвал мне камзол и ляжку. А лесничих вы не боитесь?

— Для этого нас слишком много, — ответил старик, — они нас боятся и не смеют тронуть. Сыщики и судьи тоже. А население нас любит, потому что мы никому зла не причиняем. Мы проживем еще некоторое время в мире, пока нас не окружит испанское войско. А если этому суждено быть, то все мы, мужчины и женщины, девушки и мальчики, старики и дети, дорого про-

дадим нашу жизнь и скорее перебьем друг друга, чем сдадимся, чтобы терпеть тысячи мучений в руках кровавого герцога.

Уленшпигель сказал:

— Теперь не время биться с палачом на суше. Надо уничтожать его силу на море. Двиньтесь на Зеландские острова через Брюгге, Гейст и Кнокке.

— У нас нет денег, — ответили они.

— Вот вам тысяча червонцев от принца, — сказал Уленшпигель, — пробирайтесь вдоль водных путей — протоков, каналов, рек. Вы увидите корабли с надписью «Г. И. Х.»; тогда пусть кто-нибудь из вас засвистит жаворонком. Крик петуха ответит ему, — значит, вы среди друзей.

— Мы так и сделаем, — ответили «лесные братья».

Явились охотники с собаками, таща за собой на веревках убитого оленя.

Затем все уселись вокруг костра. Всех их, мужчин, женщин и детей, было человек шестьдесят. Они вытащили хлеб из своих мешков, а из ножен ножи. Оленя освежевали, разрубили на куски и вместе с мелкой дичью надели на вертел. К концу трапезы можно было видеть, как Ламме, прислонившись к дереву, храпел в глубоком сне, опустив голову на грудь.

С наступлением вечера «лесные братья» укрылись в землянках; то же сделали и Ламме с Уленшпигелем.

Вооруженная стража осталась стеречь лагерь. Уленшпигель слышал, как хрустит сухая листва под шагами дозорных.

На другой день он собрался в путь вместе с Ламме.

Оставшиеся в лагере говорили ему:

— Будь благословен; мы двинемся к морю.

### XXXV

В Гарлебеке Ламме обновил свой запас *olie-koeckjes* — оладий, двадцать семь штук он съел тут же, а тридцать положил в свою корзину. Уленшпигель нес свои клетки. Вечером они добрались до Куртре и остановились в гостинице «*In den Bie*» — «Пчела» — у Жилиса ван ден Энде, который бросился к двери, услышав пение жаворонка.

Там друзья как сыр в масле катались. Прочитав письма, хозяин вручил Уленшпигелю пятьсот червонцев для принца и не хотел взять ничего ни за индейку, которой он их угостил, ни за *dobbele-clauwaert*, оросившее ее. И он предупредил их, что в Куртре сидят сыщики Кровавого Судилища и что поэтому надо держать язык на привязи.

— Мы их распознаем, — сказали Уленшпигель и Ламме.

И они вышли из «Пчелы».

Заходящее солнце золотило крыши домов; птицы заливались на липах; женщины болтали, стоя на пороге своих домов; ребятишки возились в пыли; Уленшпигель с Ламме бродили бесцельно по улицам.

— Я спрашивал Жилиса ван ден Энде, — вдруг сказал Ламме, — не видел ли он женщины, похожей на мою жену, и нарисовал ему ее милый образ. На это он сказал, что у Стевенихи в «Радуге», за городом, по дороге в Брюгге, собирается по вечерам много женщин. Я иду туда.

— Я тоже приду, — сказал Уленшпигель, — и мы встретимся. Хочу осмотреть город. Если я где-нибудь встречу твою жену, тотчас же пришлю ее тебе. Ты слышал, трактирщик посоветовал молчать, если тебе дорога твоя шкура.

— Я буду молчать, — ответил Ламме.

Уленшпигель весело бродил по городу. Солнце зашло, и быстро стемнело. Так он добрался до Горшечной улицы — *Pierpot-straatje*, откуда доносились певучие звуки лютни. Подойдя ближе, он увидел белую фигуру, которая манила его за собой, но все удалялась, наигрывая на своей лютне. Точно пение серафима, лился протяжный и влекущий мотив. Женщина напевала, останавливалась, оборачивалась, манила его и вновь скользила дальше.

Но Уленшпигель бежал быстро. Он догнал ее и хотел заговорить с ней, но она положила надушенную бензоем руку на его уста.

— Ты из простых или дворянин? — спросила она.

— Я Уленшпигель.

— Ты богат?

— Достаточно богат, чтобы заплатить за большое удовольствие, слишком беден, чтобы выкупить мою душу.

— У тебя нет лошадей, что ты ходишь пешком?  
— У меня был осел, но он остался в конюшне.  
— Почему это ты бродишь один по чужому городу, без друга?

— Мой друг идет своим путем, я — своим, любопытная красотка.

— Я не любопытна. Твой друг богат?

— Богат салом. Скоро ты кончишь допрос?

— Кончила. Теперь пусти меня.

— Отпустить тебя? Это все равно, что потребовать от голодного Ламме отказаться от миски, полной дроздов. Я хочу попробовать тебя.

— Ты меня не видел, — сказала она и открыла фонарь, разом озаривший ее лицо.

— Ты красавица, — вскричал он, — о, эта золотистая кожа, эти нежные глаза, эти красные губы, эта гибкая талия — все будет мое...

— Все, — ответила она.

Она повела его по дороге в Брюгге, к Стевенихе в «Радугу» — «In den Reghen boogh». Здесь собралось много гуляющих девиц, на рукаве у каждой из них был нашит кружок, отличающийся по цвету от ситцевого платья.

У той, которая привела Уленшпигеля, тоже был на парчовом золотистом платье кружок из серебристой ткани. Все девушки с завистью смотрели на нее. Войдя, она сделала знак хозяйке, но Уленшпигель не заметил этого. Они сели и пили вдвоем.

— Знаешь ты, — сказала она, — что тот, кто однажды любил меня, принадлежит мне навеки?

— Благоуханная красотка, — ответил он, — какое чудное пиршество — вечно кормиться твоим мясом.

Вдруг он увидел Ламме, который, сидя в уголке за столиком пред окороком и кружкой пива, тщетно старался защитить свой ужин от двух девчонок, хотевших во что бы то ни стало поесть и выпить за его счет.

Увидев Уленшпигеля, Ламме встал, подпрыгнул на три локтя вверх и крикнул:

— Слава богу, что возвращен мне мой друг Уленшпигель. Хозяйка, пить!

Уленшпигель вытащил кошелек и закричал:

— Пить, пока здесь не станет пусто.

И зазвенел червонцами.

— Слава богу! — вскричал Ламме и ловко выхватил кошелек из его рук. — Я плачу, а не ты: это мой кошелек.

Уленшпигель старался вырвать у него кошелек, но Ламме держал его крепко и, пока боролись, стал отрывисто шептать Уленшпигелю:

— Слушай... слушай... сыщики в доме... Четверо... Маленькая каморка с тремя девками... Снаружи двое для тебя... для меня... Я хотел выбраться... не удалось... Девка в парче — шпионка... Стевениха — шпионка...

Уленшпигель, внимательно слушая его, продолжал бороться и кричал:

— Отдай кошелек, негодяй!

— Не получишь, — ответил Ламме.

И они обхватили друг друга, свалились и покатались по полу, тем временем Ламме шептал Уленшпигелю свои сообщения. Вдруг в кабачок вошел хозяин «Пчелы» и с ним компания из семи человек, причем он делал вид, что не знает их. Он закричал петухом, а Уленшпигель запел в ответ жаворонком.

— Кто такие? — спросил хозяин «Пчелы» у Стевенихи, указывая на дерущихся.

— Два бездельника, которых лучше бы разнять, чем позволять им безобразничать здесь, пока они не попали на виселицу.

— Пусть кто-нибудь посмеет разнять нас, — заорал Уленшпигель, — он у меня булыжник с мостовой жрать будет!

— Да, он у нас булыжник с мостовой жрать будет! — повторил Ламме.

— Трактирщик спасет нас, — шепнул Уленшпигель Ламме на ухо.

Трактирщик смекнул, что это не простая потасовка, и мигом ввязался в драку. Ламме успел только шепотом спросить его:

— Ты наш спаситель?.. Как...

Трактирщик тряс Уленшпигеля за шиворот и потихоньку говорил при этом:

— Семерка — в помощь тебе... Народ здоровенный... мясники... Я ухожу... я слишком известен в городе. Когда я уйду, скажи громко: «'t is van te beven de klinkaert» (время звенеть бокалами) — все разгромить...

— Так, — сказал Уленшпигель и, поднявшись, ударил его ногой. Трактирщик ответил тем же,

— Крепко бьешь, толстяк, — сказал Уленшпигель.

— Как град, — ответил трактирщик и, выхватив кошелек у Ламме, передал его Уленшпигелю.

— Мошенник, — завопил Ламме, — заплати же за мою выпивку: твои деньги теперь у тебя.

— Будет тебе выпивка, негодяй ты этакий, — ответил Уленшпигель.

— Что это за буян! — вмешалась Стевениха.

— Если я буян, то ты — красавица, — ответил Уленшпигель.

Стевенихе было уже за шестьдесят, лицо ее сморщилось, как печеное яблоко, и пожелтело от злобы. Посредине лица торчал нос, как совиный клюв. В глазах застыла холодная жадность. Два длинных клыка торчали из высохшего рта. На левой щеке расплзлось громадное багровое родимое пятно.

Девушки хохотали, издевались над старухой и кричали:

— Красотка, красотка, дай ему вина! — Он за то поцелует тебя. — Сколько лет прошло с твоей первой свадьбы? — Берегись, Уленшпигель, она тебя слопает. — Смотри-ка, ее глаза сверкают не злобой, а любовью! — Чего доброго, она тебя искушает до смерти. — Ничего, не бойся, это делают все влюбленные женщины. — Только о твоём добре она помышляет. — Смотри, как она весела, как смешлива.

И в самом деле, старуха смеялась и подмигивала Жиллине, распутнице в парчовом платье.

Хозяин «Пчелы» выпил, расплатился и вышел. Мясики корчили Стевенихе и ее сыщикам рожи в знак согласия.

Один из них жестом показал, что он считает Уленшпигеля дураком и разыграет его как следует. Он высунул Стевенихе язык, она расхохоталась, показав при этом свои клыки. Но в это время он шепнул Уленшпигелю на ухо: «'t is van te beven de klinkaert!» И, указывая на сыщиков, он продолжал громко:

— Любезный реформат, все мы на твоей стороне, угости нас закуской и выпивкой.

А старуха хохотала и, когда Уленшпигель поворачивался к ней спиной, показывала ему язык. То же делала и Жиллина.

Девушки шептались меж собой:

— Посмотри-ка на шпионку. Своей красотой она заманила более двадцати семи реформатов, предала их жестокой пытке и еще более жестокой смерти. Жиллина млеет от радости при мысли о плате, которую она получит за донос, — о первых ста флоридах из наследства ее жертв. Но она не смеется, так как знает, что придется делиться со старухой.

Все сыщики, мясники и гулящие красотки показывали Уленшпигелю язык, насмехаясь над ним. С Ламме, красного от гнева, как петушиный гребень, градом капался пот, но он молчал.

— Угощай же нас выпивкой и закуской, — говорили мясники и сыщики.

— Что же, — обратился Уленшпигель к старухе, снова позванивая червонцами, — красавица Стевениха, подай нам вина и закуски. Для вина поставь-ка бокалы, чтоб они звенели.

И снова расхохотались девушки, и снова показала свои клычки старуха.

Однако она спустилась в погреб и в кухню и принесла оттуда ветчины, сосисок, яичницу с кровяной колбасой и звенящие бокалы: они назывались так потому, что стояли на ножках и при толчке звенели, точно колокольчики.

И Уленшпигель сказал:

— Ешьте, кто голоден; у кого жажда — пейте.

Сыщики, девушки, мясники, Жиллина и Стевениха ответили на эту речь одобрительным шепотом и рукоплесканиями. Потом все расселись: Уленшпигель, Ламме и семь мясников вокруг большого почетного стола, девушки и сыщики за двумя столами поменьше. С громким чмоканьем ела и пила компания; обоих сыщиков с улицы тоже пригласили их товарищи принять участие в попойке. Видно было, как из их сумок торчат веревки и цепи.

Стевениха высунула язык и сказала с усмешкой:

— Не уплатив, никто отсюда не уйдет.

И она заперла все двери и положила ключи в карман. Жиллина подняла бокал и провозгласила:

— Птичка в клетке! Выпьем!

— Ты опять собралась кого-то предать смерти, злая женщина? — спросили две девушки, Гена и Марго.

— Не знаю, — ответила Жиллина, — выпьем!

Но три девушки не захотели пить с нею.  
Жиллина взяла лютию и запела:

Бренча на лютне звонкой,  
Я день и ночь пою.  
Я шалая девчонка,  
Любовь я продаю.

Мне тело дивной властью  
Астарта облекла:  
Сжигают бедра страстью,  
А грудь, как снег, бела!

Так лей поток блестящий  
Монеток золотых,  
Пускай волной звенящей  
Текут у ног моих!

Золотокудрой Евы  
И Сатаны я дочь.  
В рай попадете все вы,  
Со мной проведши ночь.

Я буду страстной, нежной,  
Холодной, жгучей, злой  
И ласково-небрежной —  
Как хочешь, милый мой!

Продам я душу, слезы,  
И чары красоты,  
И поцелуев розы,  
И смерть, коль хочешь ты.

Бренча на лютне звонкой,  
Я день и ночь пою.  
Я шалая девчонка,  
Любовь я продаю.

Она была так прелестна, так обворожительна во время пения, что все мужчины — сыщики, мясники, Ламме и Уленшпигель — сидели растроганные, безмолвно улыбаясь, околдованные ее чарами.

Вдруг Жиллина расхохоталась и, бросив взгляд на Уленшпигеля, крикнула:

— Вот как заманивают птичек в клетку!

Чары ее мгновенно рассеялись.

Уленшпигель, Ламме и мясники переглянулись.

— Что же, — спросила Стевениха, — теперь запла-тите мне, господин Уленшпигель, добывающий добрый жирок из мяса проповедников?

Ламме хотел было ответить, но Уленшпигель, знаком приказав ему молчать, ответил старухе:

— Вперед мы не платим.

— Я получу из твоего наследства.

— Гиены питаются трупами, — заметил Уленшпигель.

— Да, — воскричал один из сыщиков, — эта парочка ограбила проповедников и забрала больше трехсот флоринов. Недурная пожива для Жиллины.

Она запела:

Найди красу такую —  
Всё — смех и блеск очей,  
И смерть продам, целуя,  
По прихоти твоей.

И со смехом прибавила:

— Выпьем?

— Выпьем! — ответили сыщики.

— Во славу господню, выпьем! — сказала старуха. — Двери на замке, окна на запоре, птичка в клетке, — выпьем.

— Выпьем! — сказал Уленшпигель.

— Выпьем! — сказал Ламме.

— Выпьем! — сказали семеро.

— Выпьем! — сказали сыщики.

— Выпьем! — сказала Жиллина, и лютня запела под ее рукой. — Выпьем, я прекрасна. Я сумела бы своим пением заманить в западню самого архангела Гавриила.

— Выпьем, стало быть, — закричал Уленшпигель. — И чтобы завершить наш пир, дайте лучшего вина. Хочу почувствовать каплю жидкого огня в каждом волоске наших жаждущих тел.

— Выпьем, — сказала Жиллина. — Еще двадцать таких пескарей, как ты, и шукам несдобровать.

Старуха вновь принесла вина. Сыщики и девушки сидели, пили и хохотали. Уленшпигель, Ламме и мясники сидели за своим столом, бросали девушкам ветчину, колбасу, яйца и бутылки, а те ловили всё на лету, как карпы в пруду хватают пролетающих мошек. И старуха смеялась, обнажая свои клыки и указывая на сальные свечи, фунтовыми связками по пяти штук висевшие над стойкой. Это были свечи для девушек.

— Когда идут на костер, в руках несут сальную све-

чу, — сказала она Уленшпигелю. — Хочешь одну сейчас в подарок?

— Выпьем! — сказал Уленшпигель.

— Выпьем! — сказали семеро.

— Глаза у Уленшпигеля светятся, как у умирающего лебедя, — заметила Жиллина.

— Не кинуть ли их свиньям в жратву? — сказала старуха.

— Будет свет во откровение свиньям, — сказал Уленшпигель. — Выпьем!

— Понравится ли тебе, если б на эшафоте просверлили тебе язык раскаленным железом? — сказала старуха.

— Лучше свистеть будет. Выпьем!

— Ты бы меньше болтал, если бы уже висел на веревке и твоя любезная пришла бы посмотреть на тебя.

— Да, но я стал бы тяжелее и свалился бы на твою рожу, красотка. Выпьем!

— Что-то ты скажешь, если тебя будут бить палками и раскаленным железом выжгут тебе клеймо на лбу и плечах?

— Скажу, что ошиблись мясом: вместо того чтобы поджарить свинью Стевениху, сожгли поросенка Уленшпигеля. Выпьем!

— Так как тебе все это не по вкусу, то тебя отправят на королевские корабли и, привязав к четырем галерам, разорвут на куски, — продолжала Стевениха.

— Акулы сожрут мои четыре конечности, а что они выплюнут, то ты слопаешь. Выпьем!

— Почему бы тебе не съесть одну такую свечку? Она бы в аду осветила тебе место твоих вечных мучений.

— Я вижу достаточно ясно, чтобы разглядеть твое грязное рыло, свинья ты недорезанная! Выпьем! — крикнул Уленшпигель. Вдруг он постучал ножкой своего бокала и ударил рукой по столу, как делает тюфячник, мерно разбивая войлок для тюфяка на деревянной решетке, и тихо сказал:

— 'T is (tjidi) van te beven de klinkaert! — Время звенеть бокалами!

Так во Фландрии кричат гуляки, когда недовольны и начинают громить дома с красными фонарями.

И Уленшпигель выпил, звякнул своим бокалом о стол и сказал:

— 'T is van te beven de klinkaert!

То же сделали за ним и мясники.

И все притихло: Жиллина побледнела, старуха Стевениха увидела, что ошиблась. Сыщики говорили:

— Разве эти семеро на их стороне?

Но мясники, подмигивая, успокаивали их и все громче и громче твердили за Уленшпигелем:

— 'T is van te beven de klinkaert, 't is van te beven de klinkaert!

Старуха пила вино, чтобы придать себе храбрости.

И Уленшпигель начал опять равномерно бить кулаком по столу, как тюфячник, разбивающий тюфяк. И мясники делали то же. Стаканы, кружки, тарелки, бутылки, бокалы начали медленно плясать по столу, падали, разбивались, подскакивали, чтобы вновь упасть с одного бока на другой, и все грознее, мрачнее, наступательнее и равномернее звучало:

— 'T is van te beven de klinkaert!

— Ой, — закричала старуха, — этак они всё здесь перебьют.

И от страха оба ее клыка еще дальше вылезли из рта.

И бешеной яростью загорелась кровь в душе семерых, Уленшпигеля и Ламме.

Не прекращая своего однообразного угрожающего напева, они ударяли равномерно своими бокалами по столу, пока не разбили их, сели верхом на стулья и вытащили свои длинные ножи. И от их песен и шума дрожали все окна в доме. Как разъяренные дьяволы, носились они вокруг столов и вокруг всей комнаты, твердя беспрерывно:

— 'T is van te beven de klinkaert!

Тут, дрожа от страха, встали сыщики и схватились за свои веревки и цепи. Но мясники, Уленшпигель и Ламме вновь спрятали свои ножи, схватили стулья, размахивали ими, как дубинами, носились по комнате, били направо и налево, шадя только девушек. И они разбили всё: мебель, стекла, шкафы, кружки, тарелки, стаканы, бокалы, бутылки, без сожаления отколотили сыщиков и всё пели в такт, мерно стуча, как тюфячники, разбивающие войлок для тюфяка:

— 'T is van te beven de klinkaert!

Между тем Уленшпигель ударил Стевениху кулаком прямо по роже, вынул у нее из кармана ключи и, стоя над ней, насильно заставил ее есть сальную свечу.

Красавица Жиллина, точно испуганная кошка, скреблась ногтями в двери, окна, занавески, стекла, как будто хотела пролезть сквозь все разом. Потом, мертвенно-бледная, она съежилась на корточках в уголке; глаза ее блуждали, зубы оскಾಲились, она держала свою лютню, как бы обороняясь ею.

Мясники и Ламме говорили девушкам: «Мы вас не тронем», и при их помощи связали дрожащих сыщиков веревками и цепями. И те не осмелились оказать ни малейшего сопротивления, так как видели, что мясники — самые сильные, каких мог отобрать хозяин «Пчелы», — изрубили бы их на куски своими ножами.

При каждой свече, которую Уленшпигель заставлял проглотить Стевениху, он приговаривал:

— Вот эту съешь за виселицу; эту за палки; эту за клейма; эту, четвертую, за мой продырявленный язык; эту пару, жирную, отличную, за королевские корабли и четыре галеры, разорвавшие меня на куски; эту за твой шпионский вертеп; эту за твою стерву в парче, а эти остальные для моего удовольствия.

И девушки хохотали, видя, как фыркала от ярости старуха и старалась выплюнуть свечи. Но все было напрасно: слишком был набит ее рот.

Уленшпигель, Ламме и семеро непрерывно напевали все с той же мерностью:

— 'T is van te beven de klinkaert!

Затем Уленшпигель сделал им знак, чтобы тихо повторять напев, и под звуки его заявил сыщикам и девушкам:

— Если кто-нибудь закричит о помощи, он будет тотчас же изрублен.

— Изрублен! — повторили мясники.

— Мы будем немые, — говорили девушки, — не трогай нас, Уленшпигель.

Жиллина же все сидела, скорчившись, в своем уголке, с выпученными глазами и с оскаленными зубами; она не знала, что ей сказать, и только прижимала к себе свою лютню.

Мясники тихо и мерно повторяли:

— 'T is van te beven de klinkaert!

Старуха, указывая на свечи во рту, знаком уверяла, что тоже будет молчать. То же обещали и сыщики.

Уленшпигель продолжал:

— Вы в нашей власти. Ночь темна, близко река, где нетрудно и утонуть, если вас туда бросят. Ворота Куртре заперты. Если ночная стража и слышала шум, она не двинется с места — для этого она слишком ленива — и решит, что собрались добрые фламандцы, распеваящие за удалой выпивкой под веселые звуки стаканов и бутылок. Поэтому не смейте пикнуть и молчите пред вашими повелителями.

Затем он обратился к мясникам:

— Вы собираетесь в Петегем на соединение с гёзами?

— Узнав, что ты явился, мы собрались в путь.

— Оттуда вы двинетесь к морю?

— Да.

— Нет ли среди сыщиков таких, которых можно выпустить, чтобы они служили нам?

— Двое из них, Никлас и Иоос, никогда не преследовали бедных реформатов.

— Мы люди верные, — заявили Никлас и Иоос.

— Вот вам двадцать флоринов, — сказал Уленшпигель, — вдвое больше, чем вы получили бы иудиными сребрениками за донос.

— Двадцать флоринов! — закричали остадные пять сыщиков. — За двадцать флоринов мы готовы служить принцу. Король платит скупое. Дай каждому из нас половину, и мы покажем судье все, что ты хочешь.

Мясники и Ламме глухо бормотали:

— 'T is van te beven de klinkaert!

— 'T is van te beven de klinkaert!

— Чтобы вы не болтали слишком много, вас связанными доставят в Петегем к гёзам. Вы получите по десять флоринов, когда будете в море; а до тех пор, мы в этом уверены, походная кухня удержит вас в верности хлебу и похлебке. Если вы окажетесь достойными, вы получите долю в добыче. При попытке бежать вы будете повешены. Если вам удастся убежать, вы избегнете веревки, но не уйдете от ножа.

— Мы служим тому, кто нам платит, — ответили они.

— 'T is van te beven de klinkaert! — повторяли Ламме и мясники, постукивая по столу осколками бокалов и черепками тарелок.

— Вы заберете с собой также Жиллину, старуху и трех девок, — продолжал Уленшпигель. — Если кто-ни-

будь из них вздумает бежать, зашейте в мешок и бросьте в реку.

— Он не убил меня! — закричала Жиллина, выскочив из своего угла, заиграла на лютне и запела:

И кровь и ад кромешный  
Мне снятся в эту ночь...  
Недаром Евы грешной  
И Сатаны я дочь!

Старуха Стевениха и прочие чуть не ревели.

— Не бойтесь, красотки, — сказал Уленшпигель, — вы так милы и нежны, что вас повсюду будут любить, ласкать и баловать. Будете иметь долю и в военной добыче.

— Я ничего не получу, — плакала Стевениха, — я уже стара.

— Грош в день получишь и ты, крокодил, — сказал Уленшпигель, — за эту награду ты будешь служанкой у этих четырех девушек и станешь стирать им юбки и рубахи.

— О господи! — простонала она.

— Ты долго властвовала над ними, — сказал Уленшпигель, — ты жила доходами с их тела, а они бедствовали и голодали. Реви и стони сколько угодно, все будет так, как я сказал.

Тут все четыре девки, смеясь и издеваясь над ней, показывали ей язык и говорили:

— Каждому свой черед на этом свете. Кто бы подумал это о скупой Стевенихе. Она будет работать на нас, как раба! Боже, благослови господина Уленшпигеля!

— Очистите винный погреб, заберите деньги, — приказал Уленшпигель мясникам и Ламме, — это пойдет на содержание старухи и четырех девушек.

— Зубами скрежещет скупая Стевениха, — говорили девушки. — Ты была жестока с нами, мы будем жестоки с тобой. Боже, благослови господина Уленшпигеля!

И, обратившись к Жиллине, они говорили:

— Ты была её дочерью и добытчицей. Ты делила с ней плату за подлое шпионство. Посмеешь ты теперь бить и ругать нас, ты, в парчовом твоём наряде? Ты презирала нас потому, что мы ходили в простых ситцевых платьях; кровь твоих жертв — вот что такое твой пышный наряд. Разденьте её — пусть она сравняется с нами.

— Не позволю, — ответил Уленшпигель.

И Жиллина бросилась ему на шею со словами:

— Будь благословен за то, что ты не убил меня и не позволил меня обезобразить.

И девушки ревниво смотрели на Уленшпигеля и говорили:

— И он без ума от нее, как и все прочие.

Жиллина пела под свою лютню.

Мясники пошли в Петегем, ведя за собой сыщиков и девушек, вдоль по течению Лиса и всё твердили по дороге:

— 'T is van te beven de klinkaert! 'T is van te beven de klinkaert!

На рассвете они подошли к лагерю, засвистали жаворонком, и крик петуха был им ответом. Девушек и сыщиков взяли под строгий надзор. Тем не менее на третий день около полудня Жиллину нашли мертвой: сердце ее было проткнуто длинной иглой. Три девушки обвинили в этом Стевениху, и она предстала пред судом, состоявшим из капитана, его фельдфебелей и сержантов. Здесь она без пытки созналась в том, что убила Жиллину из зависти к ее красоте и разъяренная тем, что девка безжалостно обращалась с ней, как со служанкой. И старуха была повешена и зарыта в лесу.

И Жиллину похоронили, и над ее прекрасным телом читали заупокойные молитвы.

Между тем оба сыщика, наставленные как должно Уленшпигелем, отправились к владельцу Куртрейского замка, ибо бесчинства и разгром в доме Стевенихи, расположенном на земле Куртре, подлежали его суду и были вне городской подсудности. Рассказав вельможе все, что произошло, они с глубочайшей убежденностью и смиренной искренностью заявили ему:

— Убийцами проповедников ни в коем случае не могут быть Уленшпигель и его верный друг Ламме Гудзак, заходившие для отдыха в «Радугу». У них паспорта от самого герцога, которые мы видели своими глазами. Настоящие виновники — два гентских купца, один худощавый, другой очень толстый, бежавшие во Францию, после того как они разгромили дом старухи Стевенихи, захватив с собой для развлечения четырех девок. Мы схватили их, если бы на их сторону не стали семь сильных мясников из их города. Они связали нас и отпустили лишь тогда, когда были уже далеко за французской границей. Вот и следы веревок. Четыре сыщика следуют за ними по пятам и ожидают подкрепления, чтобы схватить их.

Владелец замка дал каждому из них по два дуката на новую одежду в награду за их честную службу.

Затем он написал в верховный трибунал Фландрии, суду старшин в Куртре и прочим судам, уведомляя, что настоящие убийцы найдены.

И он сообщил им подробности.

Это привело в трепет судей верховного трибунала и прочих судов.

И высокую хвалу воздали куртрейскому вельможе за его проникательность.

А Уленшпигель с Ламме мирно подвигались вперед из Петегема в Гент вдоль по течению Лиса. Они направлялись в Брюгге, где Ламме надеялся найти свою жену, и в Дамме, куда Уленшпигель стремился в блаженной мечте увидеть Неле, которая жила печальной жизнью подле безумной Катлины.

### XXXVI

Давно уже в Дамме и его окрестностях стали совершаться многочисленные и чудовищные злодеяния. Стоило девушке или старику отправиться в Брюгге, Гент или в другой город или местечко Фландрии, имея при себе деньги, и это было кому-нибудь известно, как несчастных путников непременно находили убитыми. Трупы были раздеты догола, и шея их была прокушена столь длинными и острыми зубами, что у всех были раздроблены шейные позвонки.

Лекари и цирюльники определили, что раны эти нанесены зубами громадного волка. «Разумеется, — говорили они, — потом явились воры и ограбили жертву волка».

Однако, несмотря на все розыски, невозможно было поймать воров, и волк был вскоре забыт.

Некоторые именитые горожане, самонадеянно выехавшие в дорогу без охраны, исчезли, так что невозможно было доискаться, что с ними случилось; но бывало не раз, что крестьянин, спозаранку выезжая на работу, замечал волчьи следы на своем поле, и его собака, копаясь в земле, откапывала труп, носивший на шее или за ухом; а иногда на ноге, и всегда сзади, следы волчьих зубов. И всегда шейные позвонки и ноги были перебиты.

Крестьянин в ужасе бежал к коменданту со страшным известием, тот выезжал с судебным писарем, двумя стар-

пинами и двумя лекарями на место, где найдено было тело убитого. Тщательно и внимательно исследовав его, а иногда — если лицо еще не было изъедено червями — узнав также, какого убитый звания, а то и его имя и прозвище, они приходили в изумление, отчего волк, загрызающий людей с голоду, не съедал ни кусочка мяса убитого.

Обыватели Дамме были страшно напуганы, и никто из них не решался выходить ночью в одиночку.

Наконец нескольких бесстрашных солдат послали искать волка днем и ночью в дюнах и на морском берегу.

Как-то ночью они были на больших дюнах неподалеку от Гейста. Один из солдат, рассчитывая на свою силу, решил отделиться от прочих и с аркебузой, в одиночку, пойти на розыски. Другие не противились, так как были уверены, что он, человек смелый и хорошо вооруженный, конечно убьет волка, если встретит его.

Когда товарищ их удалился, они разложили костер, играли в кости и пили из фляжек водку.

Время от времени они покрикивали ему:

— Вернись! Волк испугался! Иди, выпьем!

Но он не откликался.

Вдруг они услышали страшный, как бы предсмертный, крик человека и бросились туда, откуда он доносился, со словами:

— Держись! Мы бежим на помощь!

Но они не так скоро нашли товарища, так как одни говорили, что крик слышался с поля, другие — что с вершины самой высокой дюны.

Наконец, обыскав все поля и дюны с фонарями, они нашли тело товарища; сзади у него были искусаны руки и ноги, а шея переломана, как и у прочих жертв.

Он лежал на спине и в судорожно сжатой руке держал свою шпагу. Аркебуза лежала на песке. Подле него нашли три отрубленных пальца, не принадлежащих солдату; они взяли их с собой. Сумка была похищена.

Взвалив труп товарища на плечи, забрав его доблестную шпагу и честную аркебузу, они скорбно и гневно понесли тело к городскому замку. Здесь принял их комендант с писарем, двумя старшинами и двумя лекарями.

Пальцы были исследованы и признаны принадлежащими старику, который никогда не занимался ручным трудом, ибо они были гладки и ногти на них были длинные, точно они с руки судейского или духовного лица.

На другой день комендант, старшины, писарь, хирург и солдаты отправились на то место, где был искусан покойный бедняга, и увидели капли крови на траве и следы, которые вели к морю и там исчезали.

### XXXVII

Пришло время зрелого винограда и с ним четвертый день сентября, день, когда в Брюсселе с колокольной св. Николая после праздничной обедни бросают народу целыми мешками орехи.

Ночью Неле проснулась от криков, доносившихся с улицы. Она осмотрелась — в комнате Катлины не было.

Сойдя вниз, Неле распахнула дверь, в которую опрометью вбежала Катлина с криком:

— Спаси меня! Спаси меня! Волк! Волк!

И Неле услышала завыванье вдали, в поле. Дрожа от страха, она зажгла все, какие были, свечи — сальные, восковые, все светильники.

— Что случилось, Катлина? — спросила она, обнимая мать.

Та села и вытаращенными от страха глазами уставилась на свечи, говоря:

— Вот солнце и прогнало злых духов. Волк, волк воет в поле.

— Но зачем же ты встала со своей теплой постели и вышла, чтобы простудиться в сырую сентябрьскую ночь? — спросила Неле.

И Катлина стала рассказывать:

— Гансик этой ночью кричал орланом; я открыла ему дверь. Он сказал: «Выпей волшебного питья». Я выпила. Он красавец, Гансик. Уберите огонь. Потом повел он меня к каналу и сказал: «Катлина, я верну тебе семьсот червонцев, ты их отдашь Уленшпигелю, сыну Клааса. Вот тебе два на платье. Скоро получишь тысячу». — «Тысячу? — говорю я. — Дорогой мой, тогда я буду богатая». — «Да, получишь, — говорит, — а нет ли в Дамме женщин или девушек, которые теперь так богаты, как ты будешь?» — «Я не знаю», — говорю. Но я не хотела назвать их имена, а то он их будет любить. И тогда он сказал: «Разузнай, скажешь мне, кто они, когда я в другой раз приду».

Стало так холодно, туман скользит по полю, сухие ветки с деревьев на дорогу падают. И месяц блеснит, а по каналу на воде огоньки светятся. Гансик говорит: «Это ночь оборотней. Все грешные души выходят из ада. Надо три раза левой рукой перекреститься и сказать: «Соль, соль, соль!» — это знак бессмертия. Тогда они тебя не тронут».

Я говорю: «Я все сделаю, как ты хочешь, Гансик, дорогой мой». Он поцеловал меня и говорит: «Ты моя жена». Я говорю: «Да». И от этих нежных его слов по всему моему телу разлилась такая небесная сладость, точно бальзам. Он возложил на меня венок из роз и говорит: «Ты красавица». И я сказала: «Ты тоже красивый, Гансик, дорогой мой, в твоём барском наряде, в зеленом бархате с золотой вышивкой, с твоим длинным страусовым пером на шляпе и твоим бледным лицом, светящимся, как волны морские. О, наши девушки в Дамме, как увидят тебя, побегут за тобой, моля о любви. Но ты ее дашь только мне, Гансик». Он ответил: «Ты разужнай, какие самые богатые: их деньги достанутся тебе». Потом он ушел и не велел мне идти за ним.

Вот я осталась там и брэнчала золотыми, — он мне дал две монеты, — и дрожала я, и знобило меня от тумана. Тут, вижу, вылез на крутой берег реки и идет по откосу волк, морда зеленая, и в белой шерсти торчат длинные камышинки. Я крикнула: «Соль, соль, соль!» — и перекрестилась, но он как будто совсем не испугался. Я бросилась бежать что есть духу и кричала, а он ревел, и я слышала за собой, как он громко щелкает зубами, и один раз уж так близко, — думаю: вот-вот схватит меня за плечи. Но я бежала скорее его. На счастье, тут на углу Цапфиной улицы встретился ночной сторож с фонарем. «Волк, волк!» — кричу ему. А он отвечает: «Не бойся, дурочка Катлина, я тебя отведу домой». И он взял меня за руку, а я чувствую — его рука дрожит. И он тоже испугался.

— Но вот он уже не боится, — сказала Неле, — слышишь, как он протяжно поет: «De clock is tien, tien aep de clock»: «Десять часов, десять пробило!» И колодушкой стучит.

— Уберите огонь! — сказала Катлина. — Горит моя голова. Приди ко мне опять, Гансик, любовь моя!

И Неле смотрела на Катлину, и молила пресвятую богородицу освободить голову матери от огня безумия, и плакала над ней.

В Беллеме на берегу Брюггского канала Уленшпигель и Ламме встретили всадника с тремя петушьими перьями на мягкой шляпе, несущегося во весь опор по направлению к Генту. Уленшпигель запел жаворонком; всадник остановился и ответил петушиным криком.

— Ты с известиями, стремительный всадник? — спросил Уленшпигель.

— С важными известиями, — ответил всадник. — По совету французского адмирала де Шатильона, принц приказал: кроме тех судов, которые стоят вооруженными в Эмдене и Восточной Фрисландии, готовить еще военные корабли. Достойные мужи, получившие этот приказ: Адриан де Берг, владетель Долэна; его брат Людвиг Геннегауский; барон Монфокон; Людвиг Бредероде; Альберт Эгмонт, сын казненного, не изменник, как его брат; Бертель Энтенс де Мантеда, фрисландец; Адриан Менинг Хембейзе, гордый и неукротимый гентец, и Ян Брок. Принц отдал на это дело все свои деньги, более пятидесяти тысяч флоринов.

— Еще пятьсот у меня для него, — сказал Уленшпигель.

— Неси их к морю, — ответил всадник.

И он поскакал.

— Он отдал все свое достояние, — сказал Уленшпигель, — мы можем отдать только нашу шкуру.

— Что ж, разве этого мало? — спросил Ламме. — И когда же услышим мы о чем-нибудь другом, кроме разгромов и убийств? Оранский повергнут во прах.

— Да, повергнут, — ответил Уленшпигель, — повергнут, как дуб; но из этого дуба строят корабли свободы.

— К его выгоде, — сказал Ламме. — Ну, так как теперь в этом нет опасности, то купим-ка себе ослов. Я предпочитаю путешествовать сидя и без колокольного звона у щиколоток.

— Хорошо, купим ослов, — ответил Уленшпигель, — эту животину сбуть не трудно.

Они отправились на рынок, выбрали и купили пару отличных ослов со сбруей.

Так, верхом, нога справа, нога слева, они доехали до деревни Обст-Камп, расположенной у большого леса, примыкающего к каналу. В поисках тени и свежего воздуха они вошли сюда и видели пред собой лишь длинные просеки путей, тянущихся по всем направлениям: в Брюгге, Гент, в Южную и Северную Фландрию.

Вдруг Уленшпигель прыгнул с осла:

— Не видишь там ничего?

— Вижу, — ответил Ламме. И вдруг закричал с дрожью в голосе: — Моя жена! Моя милая жена! Это она, сын мой! Ах, я не могу подойти к ней! Так найди ее!

— Чего ты стонешь? — сказал Уленшпигель. — Она ведь недурна в этом виде, полуголая, в кисейном платье с разрезами, сквозь которые видно ее нежное тело. Но она слишком молода, это не твоя жена.

— Сын мой, — говорил Ламме, — это она, сын мой! Я узнал ее. Поддержи меня, я не в силах шагу ступить. Кто бы мог о ней это подумать! Так бесстыдно плясать в цыганском наряде! Да, это она; смотри, эти стройные, изящные ноги, ее руки, обнаженные до плеч, ее круглые золотистые груди, до половины выглянувшие из ее прозрачного платья; смотри, как она дразнит красным платком большую собаку, которая прыгает за ним.

— Это египетская собака, — сказал Уленшпигель, — в Нидерландах нет такой породы.

— Египетская... не знаю... но это она... Ах, сын мой, я ничего не вижу. Вот она подобрала юбку повыше, чтобы еще больше обнажить свои кругленькие икры. И она смеется, чтобы мы видели ее белые зубки и слышали ясный звон ее нежного голоса. И сверху распахнула платье и откинулась назад. О, эта шея влюбленного лебедя, эти голые плечи, эти смелые, ясные глаза! Бегу к ней!

И он прыгнул с осла.

Но Уленшпигель удержал его, говоря:

— Эта девочка вовсе не твоя жена; мы подле цыганского табора, берегись! Видишь там дым за деревьями? Слышишь собачий лай? Смотри, уже бежит на нас стая, смотри и, чего доброго, набросится. Спрячемся лучше в кустах.

— Не стану прятаться, — ответил Ламме, — это моя жена, такая же фламандка, как и мы с тобой.

— Ты слепой дурак, — сказал Уленшпигель.

— Слепой? Нет! Я отлично вижу, как она там полуговая пляшет, смеется и дразнит большую собаку. Она притворяется, будто не видит нас, но, уверяю тебя, она нас видит. Тиль, Тиль, смотри же! Собака бросилась на нее и повалила ее на землю, чтобы вырвать красный платок. Она упала, кричит жалобно.

И Ламме стремительно бросился к ней с криком:

— Милая моя, дорогая жена моя! Где ты ушиблась, красавица моя? Что ты как хохочешь! Твои глаза выпучены от страха.

Он целовал ее, ласкал и говорил:

— Но где же твоя родинка, что была под левой грудью? Я ее не вижу, где она? Ой, ой, ты не жена моя! Господи создатель!

А она хохотала неудержимо.

Вдруг Уленшпигель крикнул:

— Берегись, Ламме!

И Ламме, обернувшись, увидел пред собой долговязого цыгана с тощим смуглым лицом, напоминающим ререг-коек — ржаной пряник.

Ламме схватился за свою рогатку, принял оборонительное положение и закричал:

— На помощь, Уленшпигель!

И Уленшпигель оказался тут как тут со своей верной шпагой в руке.

Но цыган сказал на грубом немецком наречии:

— Gibt mi ghelt, ein richsthaller auf tsein (дай мне денег, рейхсталер или десять).

— Видишь, — сказал Уленшпигель, — девочка с хохотом убежала и все оборачивается, смотрит, не идет ли кто за ней следом.

— Gibt mi ghelt, — повторил цыган, — заплати за любовное удовольствие. Мы народ бедный и ничего дурного вам не сделаем.

Ламме дал ему дукат.

— Чем ты занимаешься? — спросил Уленшпигель.

— Всем на свете, — ответил цыган. — Мы, мастера гибкости и ловкости, показываем чудеса нашего искусства. Мы также пляшем под бубен венгерские танцы. Многие из нас изготовляют клетки и жаровни, на которых можно жарить отличное жаркое. Но вы все, и фламандцы и валлоны, боитесь нас и гоните нас. И так как поэтому мы не можем питаться трудом рук своих, приходится нам

жить воровством: крадем у крестьян овощи, мясо, птицу, которых они нам не продают и даром не дают.

— Что это за девушка, которая так похожа на мою жену? — спросил Ламме.

— Это дочь нашего старшины, — ответил цыган.

И он продолжал потихоньку, как бы со страхом:

— Господь поразил ее любовным безумием, и она не знает женской стыдливости. Едва она увидит мужчину, как бессмысленное веселье овладевает ею, и она смеется без удержу. Она почти не говорит, и долгое время ее считали совсем немой. По ночам она сидит, хныча, у костра, иногда плачет или смеется без всякой причины, показывает на живот, говорит, что там болит. Летом, к полудню, после еды у нее припадки самого дикого безумия. Она раздевается почти догола подле нашего табора и пляшет. И никакого другого платья, кроме прозрачного тюля или кисеи, она носить не хочет, зимой лишь с величайшими усилиями нам удастся закутать ее в плащ из овечьей шерсти.

— Что же, — спросил Ламме, — неужто у нее нет любовника, который помешал бы ей так отдаваться первому встречному?

— Нет, — ответил цыган, — ведь когда путники подходят к ней ближе и видят ее безумные глаза, они испытывают скорее страх, чем любовь. Этот толстяк был смел, — прибавил он, показывая на Ламме.

— Пусть болтает, сын мой, — сказал Уленшпигель своему другу, — это треска, что клеветает на кита.

— У тебя сегодня злой язык, — сказал Ламме.

Но Уленшпигель, не слушая его, спросил цыгана:

— Однако что же она делает, если другие оказываются такими же смелыми, как и Ламме?

— Получает свое удовольствие и свой заработок, — мрачно ответил цыган. — Кто пользовался ею, платит за развлечение, и эти деньги идут на ее наряды и на нужды стариков и женщин.

— Значит, она никого не слушается? — спросил Ламме.

— Не мешайте тем, кого поразил господь, жить по своей прихоти, — ответил цыган, — ибо тем выразил господь свою волю. Таков наш закон.

Уленшпигель и Ламме отправились дальше. И цыган важно и величаво возвратился в табор. А девушка хохотала и плясала на поляне.

По пути в Брюгге Уленшпигель сказал Ламме:

— Много денег мы издержали: на вербовку солдат, на уплату сыщикам, на подарок цыганке, не говоря уже о многочисленных *olie-koeckjes* — оладьях, которые ты с радостью готов съесть хоть сотню, лишь бы не продать ни одной. Придется, невзирая на твое обжорство, жить благоразумнее. Давай сюда твои деньги, я буду вести общее хозяйство.

— Согласен, — сказал Ламме и отдал ему кошелек. — Только не умори меня голодом. Ибо не забывай, что, как я ни толст и ни объемист, мне потребно сытное и обильное питание. Ты тощий и дохлый, так тебе, может, и полезно целый день питаться воздухом и дождем, подобно дощатой мостовой на набережной. Во мне же воздух опустошает желудок, а дождь возбуждает жажду: мне нужна другая трапеза.

— Получишь добродетельную постную еду. Ей и самое упитанное брюхо противостоять не может: оно понемногу съезживается, так что какой угодно толстяк становится сухопарым. И скоро мой дражайший Ламме, освобожденный от жира, будет бегать как олень.

— О горе, — вскричал Ламме, — куда еще приведет меня моя тощая судьба! Я голоден, сын мой, пора ужинать.

Вечерело. Предъявив у Гентских ворот свои паспорта, они въехали в Брюгге, причем должны были уплатить по полсу за себя и по два — за своих ослов. Ламме впал в грустное раздумье по поводу слов Уленшпигеля и сказал:

— Ужинать скоро будем?

— Да, — ответил Уленшпигель.

Они остановились «*In de Meertin*», в заезжем доме «Сирена», каковая и красовалась в виде вызолоченного флюгера на шпиле крыши.

Они поместили своих ослов в конюшне, и Уленшпигель заказал на ужин для себя и для Ламме хлеб, пиво и сыр.

Подавая это скудное угощение, трактирщик насмешливо улыбнулся. Ламме ел вяло и тоскливо смотрел на Уленшпигеля, который так обрабатывал слишком черствый хлеб и слишком молодой сыр своими челюстями, точно это были дрозды. И Ламме выпил свой стаканчик

пива без удовольствия. Уленшпигель смеялся, видя его таким печальным. И еще кто-то смеялся, кто был во дворе корчмы и иногда заглядывал в окно. Уленшпигель заметил, что это женщина, прячущая свое лицо. Он решил, что это, верно, какая-нибудь игривая служанка, и не думал больше об этом. Он смотрел на Ламме, такого бледного, жалкого и понурого от неудовлетворенных вожделений своего желудка, что жалость овладела им, и он уж хотел заказать для товарища яичницу с колбасой, или тушеное мясо с бобами, или какое-нибудь другое блюдо, как вдруг в комнату вошел трактирщик и, сняв шляпу, сказал:

— Если господам приедем угодно получить лучший ужин, то прошу заказать, что им угодно.

Ламме широко раскрыл глаза, еще шире разинул рот и смотрел на Уленшпигеля с трепетным волнением.

Тот ответил:

— Странствующие подмастерья не богаты.

— Бывает, однако, иногда, — сказал хозяин, — что они и сами не знают своего богатства. — И, указывая на Ламме, он прибавил: — Одно такое добродушное лицо стоит двух иных. Итак, что угодно господам приказать по части еды и выпивки? Яичницу с салом и ветчиной, *choesels* — *рагу* — сегодня как раз свежее сварили, — или сластей, или каплуна, который тает во рту, или жареного мяса с пряной подливкой? И пивца какого — антверпенского *dobbel-kno1*, или брюггского *dobbel-kuyt*, или, может быть, вина лувенского на манер бургонского? Платить не придется.

— Подай все разом, — заторопился Ламме.

Стол немедленно был весь уставлен едой, и Уленшпигель с удовольствием смотрел, как бедный Ламме, изголодавшийся более чем когда-либо, набросился на яичницу, на *choesels*, каплуна, ветчину, ломтики мяса и литрами лил в свою глотку *dobbel-kno1*, *dobbel-kuyt* и лувенское на манер бургонского.

Наевшись до отвала, он блаженно пыхтел и отдувался, как кит, и все осматривался, не осталось ли еще на столе чего подходящего для его зубов. И он дожевывал крошки оставшихся лакомств.

Ни он, ни Уленшпигель не видели прехорошенькой мордочки, которая, улыбаясь, поглядывала на них в окна и мелькала там и сям во дворе. Трактирщик принес го-

рячего вина с корицей и сахаром, и они продолжали пить. И пели песни.

После вчернего колокола хозяин спросил их, не угодно ли каждому подняться в его большую превосходную комнату. Уленшпигель заметил было, что им довольно и одной каморки на двоих. Но хозяин ответил:

— Каморок у меня нет. Вам отведены две барские комнаты, бесплатно.

И в самом деле, он проводил их в покои, роскошно убранные мебелью и коврами. В комнате Ламме стояла двуспальная кровать.

Уленшпигель выпил порядочно и еле держался на ногах от усталости; поэтому он охотно отправил Ламме спать и сам поспешил улечься.

Войдя на другой день в полдень в комнату Ламме, он застал его еще храпящим в глубоком сне. Подле него лежала изящная сумочка, полная денег. Раскрыв ее, Уленшпигель увидел, что она набита червонцами и патарами.

Он встряхнул Ламме, чтобы разбудить его; тот медленно пришел в себя, протер глаза, беспокойно осмотрелся вокруг и сказал:

— Жена моя? Где моя жена?

И, указывая на пустое место в постели подле себя, он прибавил:

— Только что она была здесь.

Затем он спрыгнул с постели, снова осмотрелся, тщательно обшарил все уголки и закоулки комнаты, нишу и шкафы, затопал ногами и закричал:

— Моя жена? Где моя жена?

На шум прибежал хозяин, Ламме набросился на него и схватил его за горло с криком:

— Мерзавец, где моя жена? Куда ты дел мою жену?

— Беспокойный путешественник, — сказал хозяин, — твоя жена? Какая жена? Ты ведь приехал без жены. Ничего не знаю.

— А! — закричал Ламме и снова стал шарить по всем углам и закоулкам комнаты. — А, он ничего не знает! Она была этой ночью здесь, в моей постели, как в лучшие времена нашего супружества. О горе! Где ты, моя дорогая?

И он бросил сумочку на землю:

— Не деньги твои нужны мне, но ты сама, твое нежное тело, твое доброе сердце, о возлюбленная моя. О не-

бесные наслаждения, вы не вернетесь больше. Я уже привык было не видеть тебя, жить без твоей любви, моя радость, мое сокровище. И вот ты опять покинула меня, едва на миг вернувшись. Лучше мне умереть! Ах, жена моя! Где моя жена?

И он упал на пол, обливаясь горячими слезами. Затем он вскочил, распахнул двери и в одной рубашке побежал через трактир на улицу с криком:

— Моя жена! Где моя жена?

Но он не замедлил вернуться, так как озорные мальчишки издевались над ним и бросали в него камнями.

Тогда Уленшпигель заставил его одеться и сказал:

— Не будь так безутешен: увидел ты ее раз, увидишь и в другой раз. Она явно любит тебя еще, потому что вот вернулась к тебе, и, конечно, это она заплатила за наш ужин и за наши барские комнаты и положила этот набитый кошелек в твою постель. Пепел на моей груди говорит мне, что неверная жена так не поступает. Не плачь, и вперед — в бой за землю наших отцов.

— Останемся еще в Брюгге, — сказал Ламме, — я обойду весь город и найду ее.

— Ты не найдешь ее, потому что она прячется от тебя, — сказал Уленшпигель.

Ламме требовал объяснений от трактирщика, но тот ничего не хотел сказать.

И они направились в Дамме.

По дороге Уленшпигель сказал Ламме:

— Почему ты не рассказываешь мне, как она очутилась подле тебя этой ночью и как ушла от тебя?

— Сын мой, — ответил Ламме, — ты знаешь, что мы поглотили множество мяса, вина и пива и что я еле мог дышать, когда мы отправились спать. Точно важный господин, нес я для освещения моей комнаты восковую свечу и поставил подсвечник на сундук. Дверь была полуоткрыта, и сундук стоял близко от нее. Раздеваясь, я сонно и любовно смотрел на мою кровать. Вдруг свеча погасла. Я услышал как бы дыхание и шум легких шагов по комнате, но я чувствовал больше сонливости, чем страха, и камнем шлепнулся в постель. И тут, засыпая, я услышал ее голос, — о милая моя жена, моя бедная жена, — ее голос, говорящий мне: «Ты хорошо поужинал, Ламме?» И голос ее звучал подле меня, и ее лицо и ее нежное тело были возле меня.

В этот день король Филипп объелся пирожным и потому был еще более мрачен, чем обыкновенно. Он играл на своем живом клавесине — ящике, где были заперты кошки, головы которых торчали из круглых дыр над клавишами. Когда король ударял по клавише, она, в свою очередь, ударяла иглой по кошке, а животное мяукало и визжало от боли.

Но Филипп не смеялся.

Неустанно выискивал он в своем уме способы, как бы осилить великую королеву Елизавету и посадить вместо нее на престол Англии Марию Стюарт. Он писал об этом обнищавшему и задолжавшему папе римскому, и папа отвечал ему, что для этого великого дела он охотно продал бы священные сосуды храмов и сокровища Ватикана.

Но Филипп не смеялся.

Ридольфи, любовник королевы Марии, надеявшийся, что, освободив ее, он станет ее супругом и королем Англии, приехал к Филиппу, чтобы совместными усилиями организовать заговор против Елизаветы. Но он был таким «пустомелей», — как назвал его в письме сам король, — что его болтовня громко обсуждалась на Антверпенской бирже. И заговор не удался.

И Филипп не смеялся.

Тогда, по приказанию короля, кровавый герцог послал в Англию две пары убийц. И им удалось попасть на виселицу.

И Филипп не смеялся.

Так обманывал господь честолюбие этого вампира, который воображал, что будет вместе с папой властвовать над Англией, похитив у Марии Стюарт ее сына — наследника престола. Но видя, как растет могущество благородной страны, король-убийца распался гневом. Без устали обращал он свои выцветшие глаза к этой стране и все думал, как бы уничтожить ее, чтобы затем властвовать над всем миром, истреблять реформатов, особенно богатых, и наследовать достояние своих жертв.

Но он не смеялся.

И перед ним ставили железный ящик с высокими стенками, одна сторона которого была открыта: в ящике были мыши и крысы. Он разводил под ящиком большой огонь

и наслаждался, слушая и смотря, как несчастные животные мечутся, визжат, стонут и издыхают.

Но он не смеялся.

И потом, бледный, с дрожащими руками, он шел в объятия принцессы Эболи и дарил ее пламенем своего сладострастия, зажженного факелом жестокости.

И он не смеялся.

И принцесса Эболи принимала его только из страха, но не из любви.

### XLII

Стояли жаркие дни, со спокойного моря не доносилось дуновения ветерка, едва шевелились листочки деревьев вдоль канала в Дамме, стрекозы летали над лугами, а в полях слуги церкви и аббатства собирали тринадцатую долю урожая в пользу патеров и аббатов. С темносиней лазури раскаленного неба солнце посылало земле пламенный жар, и природа под его лучами дремала, точно нагая красавица в объятиях возлюбленного. Карпы кувыркались над водой канала, ловя комаров, которые пудели, как котелок с кипятком; и длиннокрылые быстролетные ласточки оспаривали у них добычу. С земли подымался теплый пар, переливаясь и трепеща в лучах света. Педель собора в Дамме с высоты колокольни, ударом в колокол, дребезжащий, как надтреснутая кастрюля, возвещал, что настал полдень и, значит, пора обедать крестьянам, трудящимся над жатвой. Женщины, приложив воронкой руки ко рту, звали мужей, братьев, сыновей, выкликая их имена: Ганс, Питер, Иоос; и над плечнями мелькали их красные повязки.

Издали увидели Ламме и Уленшпигель высокую и могучую четырехугольную башню собора Богоматери, и Ламме сказал:

— Там, сын мой, твои горести и твоя любовь.

Но Уленшпигель ничего не ответил.

— Скорее, — продолжал Ламме, — я увижу мое старое жилье, а может быть, и мою жену.

Но Уленшпигель ничего не ответил.

— Ты деревянный человек! — закричал Ламме. — Ты каменное сердце, неужто ко всему на свете ты бесчувствен, неужто не трогают тебя ни близость мест, где ты провел юность, ни дорогие тени бедного Клааса и несчаст-

ной Сооткин, этих двух мучеников! Как? Ты не радуешься, не печалишься? Кто же так иссушил твое сердце? Взгляни на меня, как я тревожен и беспокоен, как дрожит мой живот, взгляни на меня...

Тут Ламме посмотрел на Уленшпигеля и увидел, что лицо его бледно, голова опустилась на грудь, губы дрожат и что он плачет.

И Ламме умолк.

Так молча дошли они до Дамме и пошли по Цаплиной улице, но по случаю жары никого не было видно. Собаки зевали, лежа на боку у порогов и высунув язык. Ламме и Уленшпигель шли мимо городской ратуши, против которой сожжен был Клаас, и губы Уленшпигеля дрожали еще сильнее, и слезы его иссякли. И, подойдя к дому Клааса, теперь принадлежащему какому-то угольщику, он вошел и спросил:

— Узнаешь ты меня? Я хочу побыть здесь.

— Я узнал тебя, — ответил угольщик. — Ты сын мученика. Войди в дом и побудь, сколько хочешь.

Уленшпигель вошел в кухню, потом в комнату Клааса и Сооткин и долго плакал здесь.

Когда он спустился вниз, угольщик обратился к нему:

— Вот хлеб, сыр и пиво. Поешь, если ты голоден; напейся, если хочешь пить.

Уленшпигель сделал жест рукой, что не чувствует ни голода, ни жажды.

И пошел дальше с Ламме, который ехал верхом на осле, между тем как Уленшпигель вел своего за поводья.

Так пришли они к домику Катлины, привязали своих ослов и вошли. Был час обеда. На столе стояло блюдо вареного гороха в стручках и белых бобов. Катлина ела; Неле стояла подле нее и собиралась полить еду на тарелке Катлины уксусной подливой, которую она только что сняла с очага.

Когда Уленшпигель вошел, Неле пришла в такое волнение, что поставила в тарелку Катлины горшок с подливой, а Катлина трясла головой, выбирая ложкой бобы вокруг соусника, ударяла себя по лбу и бормотала как безумная:

— Уберите огонь! Голова горит!

От запаха уксуса Ламме почувствовал голод.

Уленшпигель стоял и смотрел на Неле с нежной улыбкой, пробившейся сквозь его великую печаль.

И Неле, не говоря ни слова, бросилась к нему на шею. Она как будто тоже обезумела, она смеялась, плакала и, раскрасневшись от нахлынувшей радости, повторяла:

— Тиль! Тиль!..

Уленшпигель, счастливый, смотрел на нее.

Потом она разняла руки, откинулась назад, бросила на него ликующий взгляд, снова припала к нему и обвила руками его шею. И так — много раз подряд. И он, сияя радостью, держал ее в объятиях и не мог оторваться от нее, пока она, истомленная и как бы обезумевшая, не опустила на скамью. И, не стыдясь, твердила она:

— Тиль! Тиль! Мой возлюбленный! Наконец ты вернулся.

Ламме стоял у дверей. Успокоившись, Неле указала на него и спросила:

— Где я видела этого толстяка?

— Это мой друг, — ответил Уленшпигель, — он сопровождает меня и разыскивает свою жену.

— Я знаю тебя, — обратилась Неле к Ламме: — ты жил на Цапфиной улице. Ты ищешь свою жену, а я видела ее в Брюгге, где она живет благочестиво и набожно. Когда я спросила, почему она так жестоко покинула своего мужа, она ответила: «Такова была святая воля господня и святой обет покаяния, но я уже никогда не вернусь к нему».

При этом сообщении Ламме опечалился. Он смотрел на бобы и уксус. А жаворонки с пением поднялись ввысь, и природа отдалась ласкам солнца. И Катлина, тыкая ложкой вокруг горшка, подбирала белые бобы, зеленые горошины и подливу.

### XLIII

Между тем среди бела дня пятнадцатилетняя девочка шла через дюны из Гейста в Кнокке. Никто не боялся за нее, так как все знали, что оборотни и души осужденных на муку адскую нападают только по ночам. Она несла в кошельке сорок восемь серебряных су, всего на четыре золотых флорина, которые ее мать, Тория Питерсон, проживавшая в Гейсте, задолжала за одну покупку ее дяде, Яну Рапену, проживающему в Кнокке. Девочка — по имени Беткин — надела свое лучшее платье и весело пошла в путь.

Когда она не вернулась к вечеру, мать встревожилась, но, решив, что девочка осталась переночевать у дяди, она успокоилась.

На другой день рыбаки, возвратившиеся с уловом с моря, вытащили на берег и перегрузили здесь свою рыбу на повозки, чтобы продать ее гуртом с торгов на рынке в Гейсте. Подымаясь по дороге, покрытой ракушками, они нашли на дюне раздетый — даже без рубашки — окровавленный и ограбленный труп девочки. Подойдя ближе, они увидели на ее прокушенной шее следы длинных острых зубов. Она лежала на спине; глаза ее были широко раскрыты и устремлены в небо, изо рта, тоже раскрытого, как будто хотел вырваться предсмертный крик.

Покрыв тело девочки плащом, они понесли его в Гейст в общинный дом. Здесь собрались старшины и хирург, он же и цирюльник, который объявил, что это не просто волчьи зубы, а зубы weeg-wolf'a, злого оборотня, принявшего вид волка, и что надо молить господу, чтобы он избавил землю Фландрскую от этой напасти.

Во всем графстве, особенно в Дамме, Гейсте и Кнокке, были заказаны по сему случаю церковные службы и заупокойные молитвы.

И народ со стенаниями наполнял церкви.

И тело девушки было выставлено в гейстской церкви, и мужчины и женщины рыдали при виде этой бедной окровавленной и истерзанной шейки. И мать кричала в церкви:

— Я пойду на этого оборотня и загрызу его своими зубами.

И женщины плакали и подбивали ее сделать это; но некоторые говорили:

— Ты не вернешься домой.

И она отправилась с мужем и двумя своими братьями. Все были хорошо вооружены и разыскивали волка на берегу, на дюнах и в долине. Но они не нашли его. И мужу пришлось отвести Торию домой, так как в холодные ночи она простудилась; они ухаживали за ней и чинили сети для ближайшей ловли.

Комендант города Дамме, рассудив, что оборотень в образе волка — это зверь, живущий кровью, но не грабящий мертвецов, заявил, что он, очевидно, привлекает по своим следам бродяг, которые рыщут по дюнам, чтобы

воспользоваться гнусной добычей. Поэтому он созвал колоколом все население и повелел всем и каждому за-  
пасться оружием и палками, преследовать всех нищих и  
бродяг, забирать их и обыскивать, нет ли в их карманах зо-  
лотых дукатов или чего-нибудь из платья убитых. А затем  
здоровых нищих и бродяг надлежит отправлять на коро-  
левские галеры, старых же и больных отпускать на волю.

Но из поисков ничего не вышло.

Уленшпигель отправился к коменданту и заявил ему:

— Я убью оборотня.

— Откуда у тебя такая уверенность? — спросил тот.

— Пепел Клааса стучит в мое сердце, — ответил Улен-  
шпигель. — Дайте мне разрешение работать в общинной  
кузнице.

— Изволь, — сказал комендант.

Уленшпигель отправился в кузницу и, ни слова не го-  
воря никому, ни мужчине, ни женщине, о своем намере-  
нии, тайно выковал там отличный большой капкан для  
ловли диких зверей.

Следующий день, суббота, был излюбленным днем обо-  
ротня. Уленшпигель вышел из Дамме. У него было с со-  
бой письмо коменданта к священнику в Гейсте, а под  
плащом он нес капкан; кроме того, он захватил с собой  
хороший самострел и острый нож. В Дамме он сказал:

— Пойду настреляю чаек и из пуха их сделаю по-  
душку для госпожи комендантши.

По пути в Гейст он вышел к берегу, где море грохо-  
тало, как гром, ударяясь волнами о землю, и ветер, не-  
сясь из Англии, завывал в снастях прибитых к берегу  
судов. И один рыбак сказал ему:

— Погибель наша — этот скверный ветер. Еще ночью  
море было совершенно спокойно, но с рассвета вдруг раз-  
бушевалось. Нельзя идти в море на ловлю.

Уленшпигель был доволен, так как теперь был уве-  
рен, что ночью есть кому прийти к нему на помощь, если  
понадобится.

В Гейсте он направился к священнику и передал ему  
письмо. Кюре сказал ему:

— Ты молодец; но знай, что, кто бы ни ходил в суб-  
боту ночью в дюны, его находят на песке мертвым. Рабо-  
чие, починяющие плотины, и прочие ходят по несколько  
человек. Уже темнеет. Слышишь, как воет weeg-wolf  
в своем углу? Неужто он, как и накануне, всю эту ночь

будет выть так ужасно на кладбище? Да благословит тебя господь, сын мой, но лучше не ходи.

И священник перекрестился.

— Пепел Клааса стучит в мое сердце, — ответил Уленшпигель.

— Ну, если ты так отважен, я помогу тебе.

— Отец, — сказал Уленшпигель, — вы бы сотворили благое дело и для меня и для бедной округи, доведенной до отчаяния, если бы вы отправились к Тории, матери убитой девушки, и к ее обоим братьям и сообщили им, что волк поблизости и что я решил подстеречь и убить его.

Священник ответил:

— Если ты еще не знаешь, на какой дороге тебе его ждать, то стань на той, которая ведет к кладбищу. Она проходит меж двух живых изгородей. Два человека не могут на ней разойтись.

— Там и буду поджидать, — сказал Уленшпигель, — а вы, отец, благородный сотрудник в деле освобождения, прикажите и повелите матери девушки, ее мужу и братьям быть в церкви хорошо вооруженными, прежде чем пробьет вечерний колокол. Если они услышат, что я закричал чайкой, значит, я видел оборотня. Тогда пусть они ударят в набат и прибегут ко мне на помощь. Есть еще смелые люди?

— Нет, не найдутся, сын мой, — сказал священник. — Рыбаки боятся оборотня больше, чем чумы и смерти. Ах, не ходи туда.

Уленшпигель ответил:

— Пепел Клааса стучит в мое сердце.

— Я сделаю по-твоему, будь благословен, — сказал священник. — Хочешь пить или есть?

— И пить и есть, — ответил Уленшпигель.

Священник дал ему пива, хлеба и сыра. И Уленшпигель поел, выпил и пошел.

И, идя своей дорогой и подняв глаза, он видел, как сидит его отец Клаас в сиянии подле господа бога в небесах, озаренных блеском месяца; он смотрел на море и тучи и слушал завывания ветра, дувшего со стороны Англии, и говорил:

— О черные тучи, так стремительно несущиеся, повисните, как мечь, на ногах убийцы. Ты, грохочущее море, ты, небо, омрачившееся, как пасть преисподней, вы, волны, скользящие своими пенистыми гребнями по мрачным водам и яростными, нетерпеливыми толчками сотря-

сающие друг друга; вы, бесчисленные огненные звери, быки, барашки, кони, змеи, несущиеся по течению или, поднявшись, изрыгающие огненный дождь; ты, черное-пречерное море, ты, скорбью омраченное небо, придите все и помогите мне справиться с оборотнем, злым убийцей молодых девушек. И ты, ветер, жалобно завывающий в зарослях дюн и в корабельных снастях, ты — голос жертв, взывающих к господу о мести, о том, чтобы он был мне помощником в моем замысле.

И он спустился в долину, покачиваясь, точно голова его отяжелела от излишней выпивки, а желудок раздулся от капусты.

Он напевал, икал, зевал, плевался, иногда останавливался, делая вид, будто его рвет, но в действительности он и минуты не переставал зорко следить за окружающим; и, услышав вдруг дикое завывание, он остановился и начал блевать, притворяясь мертвецки пьяным.

При ярком свете луны он отчетливо увидел длинную тень волка, направляющуюся к кладбищу.

Он снова закачался и пошел по тропинке меж зарослей. Здесь он как будто споткнулся, а сам поставил капкан навстречу оборотню. Затем зарядил самострел, прошел десять шагов дальше и остановился, все качаясь, как пьяный, икая, крякая, — но на самом деле дух его был ясен и глаза и уши напряженно внимательны.

И он не видел ничего, кроме черных туч, с безумной быстротой мчавшихся по небу, и приземистой, короткой коренастой черной фигуры, приближавшейся к нему, и не слышал ничего, кроме жалобного завывания ветра и бушующего моря и скрипа усеянной ракушками тропинки под тяжелыми неровными шагами.

Он притворился, будто хочет сесть, и тяжело упал, словно пьяный, на дорогу и стал блевать на нее.

И тут в двух шагах он услышал лязг железа, потом удар капкана, который захлопнулся, и крик человека.

«Оборотень попал передними лапами в ловушку, — размышлял он, — вот он подымается, старается сбросить капкан и убежать, но уйти ему от меня не удастся».

И он выстрелил из самострела и попал ему в ногу.

— Он ранен, — сказал Уленшпигель и закричал чайкой.

Тотчас с колокольни понеслись звуки набата, и пронзительный голос мальчика закричал на все местечко:

— Вставайте, люди спящие, оборотень пойман!

— Слава богу! — сказал Уленшпигель.

Первые прибежали с фонарями Тория, мать убитой Беткин, муж ее Лансам, ее братья Иоост и Михиель.

— Пойман? — спрашивали они.

— Вон он на дороге, — сказал Уленшпигель.

— Слава богу! — вскричали они и перекрестились.

— Кто там звонит? — спросил Уленшпигель.

— Это мой старший сын, — ответил Лансам, — младший бегаёт по городу, стучится в дома и объявляет, что оборотень пойман. Спасибо тебе!

— Пепел Клааса стучит в мое сердце, — отвечал Уленшпигель.

Вдруг оборотень заговорил:

— Сжалюсь надо мной, Уленшпигель.

— Волк заговорил, — изумились все и перекрестились.

— Это дьявол, он уже знает имя Уленшпигеля.

— Пожалейте, — продолжал голос, — помилуйте меня.

Пусть смолкнет колокол: он звонит за упокой души усопших, — я не волк. Мои руки перебиты капканом, я стар и истекаю кровью. Сжальтесь! Что это за пронзительный детский голос, будящий весь город? Сжальтесь!

— Я слышал когда-то твой голос! — крикнул Уленшпигель. — Ты рыбник, убийца Клааса, вампир, загрызший девочку. Земляки и землячки, не бойтесь. Это старшина рыбников, по вине которого умерла в горе Сооткин.

И одной рукой он схватил его за горло, другой вытащил свой нож.

Но Тория, мать убитой Беткин, удержала его.

— Его надо взять живьем, — кричала она, и рвала ключьями его седые волосы, и царапала ему ногтями лицо.

И она выла от горя и ярости.

И оборотень, руки которого были защемлены в капкане, бился на земле от нестерпимой боли, крича:

— Сжальтесь, сжальтесь! Уберите эту женщину. Дам два червонца. Разбейте колокола! Где эти дети, которые кричат так невыносимо?

— Возьмите его живьем, — кричала Тория, — пусть заплатит! А, колокола! По тебе это погребальный звон, убийца! На медленном огне! Раскаленными клещами! Пусть заплатит за все!

И она подняла лежавшую на дороге вафельницу с длинными ручками. Взглянув на нее при свете факелов,

она увидела, что внутри пластинок, изрезанных по брабантскому образцу глубокими бороздами, приделаны еще длинные острые зубья, так что в целом эта вафельница напоминала железную пасть; когда ее раскрывали, она имела вид разинутой пасти охотничьей собаки.

Тория держала вафельницу, открывала, захлопывала и, точно в припадке бешенства, звякала железом. Она скрежетала зубами, хрипела, как умирающая, стонала от невыносимых страданий неутоленной мести, кусала рыбнику вафельницей руки, ноги, все тело и особенно старалась захватить горло. И при каждом укусе она приговаривала:

— Так он кусал мою Беткин этими зубами. Теперь он платит. А, кровь течет, убийца! Господь справедлив. Погребальный звон. Беткин зовет меня отомстить. Чувствуешь зубы? Это господня пасть.

И она непрерывно и безжалостно кусала его и, когда не удавалось укусить, била его железом. Но так велика была ее жажда мести, что она не убила его.

— Пощадите! — кричал рыбак. — Уленшпигель, ткни ножом, я скорее умру! Убери эту бабу! Разбей погребальные колокола, убей этих кричащих детей!

А Тория все кусала его вафельницей, пока один старик, сжалившись, не отобрал ее у Тории.

Тогда Тория стала плевать ему в лицо, вырывала у него волосы и говорила:

— Медленным огнем и раскаленными клещами — вот как ты расплатишься. Я своими ногтями выцарапаю тебе глаза!

Между тем, услышав, что оборотень не дьявол, а человек, подошли из Гейста все рыбаки, мужчины и женщины. Некоторые были с фонарями и с горящими факелами. Все кричали:

— Подлый убийца! Где ты спрятал золото, которое награбил у своих несчастных жертв? Пусть все отдаст назад.

— У меня ничего нет! Пощадите! — отвечал рыбак.

И женщины бросали в него камнями и песком.

— Вот расплата, вот расплата! — кричала Тория.

— Помилуйте! — взывал он. — Я истекаю кровью! Пощадите!

— Твоя кровь! — кричала Тория. — Еще хватит ее у тебя, чтобы ты мог расплатиться ею. Смажьте бальза-

мом его раны. На медленном огне — вот твоя расплата; а руки ему оторвут раскаленными клещами. Он заплатит.

И она бросилась бить его, но упала на землю без сознания, как мертвая; и так оставили ее, пока она не пришла в себя.

А Уленшпигель, высвободив между тем руки рыбака из капкана, увидел, что на правой руке у него не хватает трех пальцев.

Он приказал крепче связать его и положить в корзину для рыбы. И мужчины, женщины и дети двинулись в Дамме, чтобы искать там суда и расправы, и поочередно несли корзину. И они несли также фонари и факелы.

И рыбак, не умолкая, повторял:

— Разбейте колокола! Убейте кричащих детей!

И Тория говорила:

— Пусть заплатит. Медленный огонь, раскаленные клещи — вот плата!

Затем все умолкли. И Уленшпигель слышал только порывистое дыхание Тории, тяжелые шаги мужчин по песку и громовый шум бушующего моря.

С тоской в душе смотрел он на яростно несущиеся по небу тучи, на море, где сталкивались огненные барашки, и на озаренное светом фонарей и факелов бледное лицо рыбака, который не отрывал от него своего злобного взгляда.

И пепел стучал в его сердце.

Четыре часа шли они таким образом, пока пришли в Дамме, где встретила их толпа народа, уже знавшего о том, что произошло. Все хотели видеть рыбака, и толпы шли за рыбаками с пением, пляской и криками: «Поймали оборотня. Поймали убийцу. Слава Уленшпигелю! Да здравствует наш брат Уленшпигель! — *Lange leven onsen broeder Ulenspiegell!*»

Это было точно народное восстание.

Когда они проходили мимо дома коменданта, тот вышел на шум и сказал:

— Ты победитель! Слава Уленшпигелю!

— Пепел Клааса стучал в мое сердце, — ответил Уленшпигель.

— Ты получишь половину достояния убийцы, — сказал комендант.

— Раздайте пострадавшим, — ответил Уленшпигель.

Явились Неле и Ламме. Неле смеялась и плакала от радости и целовала своего милого Уленшпигеля, а Ламме

грустно плясал вокруг него, шлепая его по животу, и говорил:

— Вот кто смел, и тверд, и верен: это мой разлюбленный товарищ! У вас нет таких, вы, люди с равнины.

Но рыбаки зубоскалили и смеялись над ним.

#### XLIV

Колокол, именуемый *borgstorm*, зазвучал на другой день, созывая судей, старшин и судебных писарей к Фирсхаре, на заседание суда, под «липу правосудия». Кругом стоял народ. На допросе рыбник не хотел сознаться ни в чем даже тогда, когда ему показали три пальца, недостающие у него на правой руке и отрубленные солдатом. Он твердил только:

— Я беден и стар... сжальтесь!

Но народ ревел и кричал:

— Ты старый волк, детоубийца. Не щадите его, господа судьи.

Женщины кричали:

— Что уставился на нас своими ледяными глазами? Ты человек, а не дьявол: мы тебя не боимся. Жестокая ты тварь, трусливее кошки, которая грызет птенцов в гнезде; ты убивал бедных девочек, которые хотели только честно прожить свою жизнь!

— На медленном огне, раскаленными клещами — вот его расплата! — кричала Тория.

И, невзирая на стражу, матери подбивали своих малышей бросать камнями в рыбника. И те охотно делали это, свистели, когда он смотрел на них, и непрерывно кричали:

— *Bloed-zuyger*, кровопийца! *Sla dood*, убей его!

И Тория неустанно повторяла:

— На медленный огонь! Раскаленными клещами — вот его расплата!

И народ роптал.

— Посмотрите, — говорили женщины, — как под яркими лучами солнца его знобит, как он старается подставить теплу свои седые волосы и лицо, исцарапанное Торией.

— Он дрожит от боли.

— Это суд божий!

— Какой у него жалкий вид!

— Посмотрите на руки злодея. Они связаны впереди, и из ран от капкана течет кровь.

— Пусть расплатится, пусть расплатится! — кричала Тория.

А он хныкал:

— Я беден, отпустите меня.

Но все, даже судьи, смеялись над ним, слыша это: «Он проливает лицемерные слезы, чтобы растрогать людей». И женщины смеялись.

Так как основания для пытки были очевидны, то было постановлено предать его пытке и пытаться до тех пор, пока он не сознается, как он совершал убийства, откуда явился, где добыча, награбленная им, и где спрятано золото.

В застенке на него надели тесные башмаки из сырой кожи, и судья спросил, как дьявол внушил ему эти злодейские замыслы и чудовищные преступления. Он ответил:

— Я сам дьявол: таково мое естество. Ребенком я был уродлив и неспособен к телесным упражнениям. Я считался дурачком, и всякий бил меня. Ни мальчики, ни девочки не имели ко мне сострадания. Когда я подрос, ни одна женщина знать меня не хотела, даже за деньги. И холодная ненависть ко всему, что рождено женщиной, обуяла меня. Оттого и на Клааса я донес, что его все любили. Я же любил только деньги; это была моя светлая, золотистая подруга. Смерть Клааса принесла мне радость и барыш. Потом чем дальше, тем больше я чувствовал желание жить волком, моей мечтой было кусаться. Будучи в Брабанте, я увидел тамошние щипцы для вафель и подумал, что из них вышла бы хорошая железная пасть. О, почему я не могу схватить вас за горло, жестокие тигры, злорадствующие, когда пытаются старика! С большей радостью кусал бы я вас, чем девочку или солдата. Ибо, когда я увидел, как лежит и спит она, миленькая, под солнышком, на песочке, и в руках свой кошелечек держит, такая жалость и любовь к ней во мне разгорелись. Но так как я чувствовал себя бессильным и не мог уже обладать ею, то укусил ее...

На вопрос судьи, где он живет, рыбник ответил:

— В Рамскапеле. Оттуда я хожу в Бланкенберг, Гейст и даже Кнокке. По воскресеньям и праздникам я в

этой самой вафельнице пеку вафли по-брабантски. Чистенько и жирно. И спрос на эту иноземную новинку был хороший. Если вам еще угодно спросить, почему никто меня не мог узнать, то знайте, что днем я чернил лицо и окрашивал волосы в рыжий цвет. Волчья шкура, в которую вы тычете вашим свирепым перстом, чтобы дознаться, откуда она, — я скажу, потому что презираю вас, — она от двух волков, которых я убил в Равенсхоольском и Малдегемском лесах. Сшил только обе шкуры в одну, вот они меня всего и закрыли. Я прятал их в ящике в гейстских дюнах. Там и одежда, которую я нагребил. Я рассчитывал как-нибудь продать ее по хорошей цене.

— Пододвиньте его к огню, — сказал судья.

Палач исполнил приказание.

— А где твои деньги? — спросил судья.

— Этого король не узнает, — ответил рыбник.

— Жгите его свечами, — сказал судья, — еще ближе к огню, вот так.

Палач исполнил приказание, и рыбник закричал:

— Я ничего не скажу! Я и так уже сказал слишком много: вы сожжете меня. Я не колдун, зачем вы пододвигаете меня к огню? Мои ноги кровоточат от ожогов. Я ничего не скажу. Зачем еще ближе? Кровь течет, говорю вам, эти сапоги из раскаленного железа. Мое золото! Ну, да, это мой единственный друг на этом свете... отодвиньте от огня... оно лежит в моем погребке в Рамскапеле в ящике... оставьте его мне. Смилюйтесь и пощадите, господа судьи; проклятый палач, убери свечи.. Он жжет еще сильнее. Оно в ящике, в двойном дне, завернуто в войлок, чтобы не слышно было звяканья, если двинуть сундук. Ну, вот теперь я все сказал. Отодвиньте меня!

Когда его отодвинули от огня, он злобно засмеялся.

Судья спросил его, чему он смеется.

— Стало легче, когда отодвинули, — сказал он.

Судья спросил:

— А не просил тебя никто показать твою вафельницу с зубьями?

— У других такие же, — ответил рыбник, — только в моей дырочки, в которые я ввинчивал железные зубья. Мужики предпочитают мои вафли прочим. Они называют их *waefels met brabantse knorpen* — вафли с брабантскими пуговичками. Потому, что когда зубьев нет, то от дырочек выдавливаются в вафлях лупышки вроде пуговичек.

— Когда нападали ты на свои бедные жертвы? — спросил судья.

— Днем и ночью. Днем я бродил по дюнам и большим дорогам, нося с собой мое оружие, высматривал, особенно по субботам, когда в Брюгге большой базар. Если проходил мимо меня крестьянин в мрачном настроении, я его не трогал: я знал, что его печаль означает отлив в его кошелек. Если же он шел весело, я следовал за ним и, неожиданно набросившись, прокусывал ему затылок и отбирал у него кошелек. И так я делал не только на дюнах, но и на равнине по тропинкам и дорогам.

Судья сказал тогда:

— Покайся и молись господу богу.

Но рыбак богохульствовал:

— Господь бог хотел, чтоб я был такой, как я есть. Я делал все против моей воли, воля природы меня толкала. Вы, злые тигры, несправедливо наказываете меня. Не жгите меня... Я все делал против воли. Сжальтесь, я бедный старик. Я умру от моих ран. Не жгите меня.

Затем его отвели под «липу правосудия», чтобы выслушать приговор перед народом.

И он был присужден, как злодей, убийца, грабитель и богохульник, к тому, что язык его будет прободен раскаленным железом, правая рука отрублена, а сам он изжарен на медленном огне. И казнь произойдет перед воротами ратуши.

И Тория кричала:

— Вот правосудие! Вот расплата!

И народ кричал:

— *Lang leven de Heeren van de wet!* — Да здравствуют господа судьи!

Затем осужденный был отведен в тюрьму и получил здесь мясо и вино. Тут он повеселел и сказал, что в жизни не ел и не пил ничего такого вкусного и что король, его наследник, может угостить его таким обедом.

И он горько смеялся.

На другой день, едва забрезжил рассвет, его повели на казнь. Увидев у костра Уленшпигеля, он указал на него пальцем и закричал:

— Вот этот — убийца старика, он тоже подлежит казни. Десять лет тому назад он в Дамме бросил меня в канал за то, что я донес на его отца. Но это была моя верная служба его католическому величеству.

С колокольни собора Богоматери неся погребальный перезвон.

— И по тебе этот звон, — кричал рыбак Уленшпигелю, — и тебя повесят, потому что ты убийца.

— Рыбак лжет, — кричал весь народ, — лжет он, подлый злодей.

И Тория, как безумная, бросала в него камнями, поранила ему лоб и кричала:

— Если бы он утопил тебя, то ты бы не жил больше и не загрыз бы мою бедную девочку, как проклятый кровопийца.

Уленшпигель не сказал ни слова.

— Разве кто-нибудь видел, как он бросал рыбака в канал? — спросил Ламме.

Уленшпигель молчал, а народ кричал:

— Нет, нет, он лжет, этот злодей.

— Я не лгу, — кричал рыбак. — Он бросил меня в канал, когда я молил его пощадить меня, и я едва выбрался оттуда, уцепившись за челнок, привязанный к берегу. Я промок насквозь и весь дрожал, так что едва добрался до своего мрачного жилища. Там я лежал в горячке, никто за мной не ходил, и я чуть не умер.

— Врешь, — сказал Ламме, — никто этого не видел.

— Никто, никто этого не видел, — кричала Тория. — В огонь злодея! Ему перед смертью нужна еще одна невинная жертва. Пусть платит. Он врет! Если ты и сделал это, не сознавайся, Уленшпигель. У него нет свидетелей. На медленном огне, под клещами он за все заплатит.

— Ты покушался на его жизнь? — спросил судья Уленшпигеля.

Уленшпигель ответил:

— Я бросил в воду предателя, убийцу Клааса. Пепел отца стучал в мое сердце.

— Он сознался! — закричал рыбак. — Он тоже умрет. Где виселица? Хочу взглянуть на нее. Где палач с мечом правосудия? И по тебе звонят колокола, мерзавец ты, убийца старика.

Уленшпигель сказал:

— Я бросил тебя в воду, чтобы убить тебя: пепел стучал в мое сердце.

Женщины из толпы говорили:

— Зачем ты сознаешься, Уленшпигель? Никто не видел. Теперь ты умрешь.

И рыбник хохотал, подпрыгивая от злорадства, и потрясал связанными руками, прикрытыми окровавленным бельем.

— Он умрет, мерзавец, — говорил он, — он пойдет с земли в ад с веревкой на шее, как вор или бродяга. Он умрет: бог правду видит.

— Нет, он не умрет, — сказал судья. — По истечении десяти лет убийство во Фландрии не наказуемо. Уленшпигель совершил преступление, но по сыновней любви: Уленшпигель не подлежит за это наказанию.

— Да здравствует закон! — закричала толпа. — *Lang leve de wet!*

Колокола собора Богоматери звонили по покойнику. И рыбник скрежетал зубами, опустил голову и уронил первую свою слезу.

Ему отсекали руку и язык проткнули раскаленным железом. И он был сожжен на медленном огне перед ратушей.

Уже умирая, он закричал:

— Король не получит моего золота: я солгал. Я еще вернусь к вам, тигры вы злые, и буду кусать вас!

И Тория кричала:

— Вот расплата! Корчатся его руки и ноги, спешившие к убийству. Дымится тело убийцы. Горит его белая шерсть, шерсть гиены горит на его зеленой морде. Он расплачивается.

И рыбник умер, воя по-волчьи.

И колокола собора Богоматери звонили по покойнику. Ламме и Уленшпигель снова сели на своих ослов.

А Неле-страдалица осталась подле Катлины, которая, не умолкая, твердила:

— Уберите огонь! Голова горит! Вернись ко мне, Гансик, любовь моя.

Книга четвертая







I



**ГЕЙСТЕ** Ламме и Уленшпигель смотрели с дюн на рыбацьи суда, которые шли из Остенде, Бланкенберга и Кнокке; эти суда, полные вооруженных людей, направлялись вслед за зеландскими гёзами, на шляпах которых был вышит серебряный полумесяц с надписью: «Лучше служить султану, чем папе».

Уленшпигель весел и свистит жаворонком. Со всех сторон отвечает ему воинственный крик петуха.

Суда плывут, ловят рыбу и продают ее и друг за другом пристают в Эмдене, где задержан Гильом де Блуа, снаряжавший по поручению принца Оранского корабль.

Уленшпигель и Ламме явились в Эмден, в то время как корабли гёзов, по приказу Трелона, ушли в море.

Трелон, сидя одиннадцать недель в Эмдене, невыносимо тосковал. Он сходил с корабля на берег и возвращался с берега на корабль, точно медведь на цепи.

Уленшпигель и Ламме, шатаясь по набережным, встретили важного офицера с добродушным лицом, который старался расковырять камни мостовой своей палкой с железным наконечником. Его старания были мало успешны, но он все-таки стремился довести до конца свой замысел, между тем как позади него собака грызла кость.

Уленшпигель приблизился к собаке и сделал вид, что хочет отнять у нее кость. Собака заворчала. Уленшпигель не отстал, собака подняла бешеный лай.

Обернувшись на шум, офицер спросил Уленшпигеля: — Чего ты допекаешь собаку?

— А чего вы, ваша милость, допекаете мостовую?

— Это не то же самое, — говорит тот.

— Разница не велика, — отвечает Уленшпигель. — Если собака цепляется за кость и не хочет расстаться с нею, то и камень мостовой держится за набережную и хочет на ней остаться. Какая важность, что люди вроде нас возьмется с собакой, если такой человек, как вы, возьмется с мостовой!

Ламме стоял за Уленшпигелем, не смея сказать ни слова.

— Кто ты такой? — спросил господин.

— Я Тиль Уленшпигель, сын Клааса, умершего на костре за веру.

И он засвистал жаворонком, а офицер запел петухом.

— Я адмирал Трелон, — сказал он. — Чего тебе от меня надо?

Уленшпигель рассказал ему о своих приключениях и передал ему пятьсот червонцев.

— Кто этот толстяк? — спросил Трелон, указывая пальцем на Ламме.

— Мой друг и товарищ, — ответил Уленшпигель, — он хочет, так же как и я, быть на твоём корабле и петь прекрасным ружейным голосом песню освобождения родины.

— Вы оба молодцы, — сказал Трелон, — я вас возьму на свой корабль.

Наступил февраль; дул пронзительный ветер, и был крепкий мороз. Наконец, после трех недель тягостного

ожидания, Трелон неохотно покинул Эмден. В расчете попасть на остров Тессель, он вышел из Фли, но, вынужденный пойти на Виринген, застрял во льдах.

Вокруг корабля быстро развернулась веселая картина: катающиеся на санях; конькобежцы в бархатных костюмах; девушки на коньках, в отделанных парчой и бисером, сверкающих пурпуром и лазурью юбках и «баскинах»; прибежали, убежали, хохотали, скользили, гуськом, парочками, напевая песни любви на льду или заходя выпить и закусить в пивные, украшенные флагами, угоститься водочкой, апельсинами, фигами, ререг-коек'ом, камбалой, яйцами, вареными овощами и еете-коек'ами — блинками с подливкой из овощей в уксусе. Шум веселья раздавался вместе со скрипом льда под полозьями салазок и несущихся парусных саней.

Ламме, разыскивая свою жену, бегал на коньках среди этой веселой гурьбы, но часто падал.

Уленшпигель заходил выпить и поесть в недорогой трактирчик на набережной; здесь он охотно болтал со старой хозяйкой.

Как-то в воскресенье около десяти часов он зашел туда пообедать.

— Однако, — сказал он хорошенькой женщине, подошедшей, чтобы прислужить ему, — помолодевшая хозяюшка, куда делись твои морщины? В твоем рту все твои белые и юные зубки, и твои губы красны, как вишни. Это мне предназначается эта сладостная и шаловливая улыбка?

— Ни-ни, — ответила она, — а что тебе подать?

— Тебя, — сказал он.

— Слишком жирно для такой спички, как ты; не угодно ли другого мяса? — И так как Уленшпигель промолчал, она продолжала: — А куда ты дел этого красивого, видного и полного товарища, которого я часто видела с тобой?

— Ламме? — сказал он.

— Куда ты девал его? — повторила она.

— Он ест в лавчонках крутые яйца, копченых угрей, соленую рыбу (zuertjes) и все, что можно положить себе на зуб; и все это он делает для того, чтобы найти свою жену. Ах, зачем ты не моя жена, красотка! Хочешь пятьдесят флоринов? Хочешь золотое ожерелье?

Но она перекрестилась.

— Меня нельзя ни купить, ни взять, — сказала она.

— Ты никого не любишь? — спросил он.

— Я люблю тебя как моего ближнего, но прежде всего я люблю господа нашего Иисуса Христа и пресвятую деву, которые повелили мне вести жизнь в чистоте. Тягостны и трудны обязанности этой жизни, но господь поддерживает нас, бедных женщин. Некоторые все же грешат. Твой толстый друг весельчак?

— Он весел, когда ест, печален, когда постится, и всегда мечтает. А ты весела или грустна?

— Мы, женщины, — ответила она, — рабыни тех, кто паствует над нами.

— Луны? — спросил он.

— Да, — ответила она.

— Я скажу Ламме, чтобы он пришел к тебе.

— Не надо, — сказала она, — он будет плакать, и я тоже.

— Видела ты когда-нибудь его жену? — спросил Уленшпигель.

— Она грешила с ним и потому присуждена к суровому покаянию, — отвечала она со вздохом. — Она знает, что он уходит в море ради торжества ереси. Тяжело помыслить об этом сердцу христианскому. Охраняй его, когда на него нападут, ухаживай за ним, если он будет ранен: его жена поручила мне просить тебя об этом.

— Ламме — мой брат и друг, — сказал Уленшпигель.

— Ах, — сказала она, — почему бы вам не возвратиться в лоно нашей матери святой католической церкви?

— Она пожирает своих детей, — ответил Уленшпигель, уходя.

Как-то в мартовское утро, когда дул резкий ветер и лед становился все толще вокруг корабля Трелона, не позволяя ему выйти в море, его моряки и солдаты развлекались при всяком удобном случае лихим катаньем на санях и коньках.

Уленшпигель зашел в трактир, и хорошенькая прислужница, видимо удрученная и как бы не владея собой, вдруг проговорила:

— Бедный Ламме! Бедный Уленшпигель!

— Почему так жалостно? — спросил он.

— О горе, горе! — сказала она. — Зачем вы не веруете в святость мессы? Вы бы, конечно, попали в рай, и в этой жизни я тоже могла бы спасти вас.

Видя, что она, насторожившись, слушает у дверей, Уленшпигель сказал ей:

— К чему ты прислушиваешься? Как падает снег?

— Нет.

— Ты слушаешь, как завывает ветер?

— Нет, — повторила она.

— Прислушиваешься к веселому шуму наших смелых моряков в соседнем кабаке?

— Смерть приходит тихо, как вор, — промолвила она.

— Смерть? — вскричал Уленшпигель. — Я не понимаю тебя: подойди и скажи.

— Они там! — сказала она.

— Кто они?

— Кто? — ответила она. — Солдаты Симонен-Боля, которые вот-вот бросятся на вас во имя герцога. За вами здесь ухаживают, как за быками, которых готовят на убой! Ах! — вскричала она, заливаясь слезами. — Зачем я не узнала об этом раньше?

— Не плачь и не кричи, — сказал Уленшпигель. — Но оставайся здесь.

— Не выдавай меня, — сказала она.

Уленшпигель быстро вышел, побежал по всем кабакам и трактирам, оповещая на ухо моряков и солдат:

— Испанцы подходят.

Все бросились к кораблю и, наскоро приготовившись к бою, ждали врага. Уленшпигель сказал Ламме:

— Видишь, там на набережной стоит стройная бабенка в черной юбке с красной вышивкой, спрятавшая свое лицо под белой накидкой?

— Это мне все равно, — ответил Ламме, — мне холодно, и я хочу спать.

И, завернувшись с головой в плащ, он точно оглох.

Уленшпигель узнал женщину и крикнул ей с корабля:

— Хочешь с нами?

— С вами хоть в могилу, — ответила она, — но я не могу.

— А хорошо бы сделала, — сказал Уленшпигель, — но подумай: соловей в лесу счастлив и распевает там свои песни; но когда он покидает лес и летит навстречу опасностям открытого моря, навстречу урагану, он ломает свои маленькие крылышки и гибнет.

— Я пела дома и пела бы вне дома, если бы могла. — И, приблизившись к кораблю, она сказала: — Возьми это

снадобье для тебя и твоего друга, который спит тогда, когда надо быть на ногах.

И она убежала, крича:

— Ламме, Ламме! Сохрани тебя бог от всего дурного, вернись цел и невредим!

И она открыла лицо.

— Моя жена, моя жена! — закричал Ламме и хотел спрыгнуть на лед.

— Твоя верная жена, — ответила она.

И побежала со всех ног.

Ламме чуть было уже не спрыгнул с палубы на лед, но один солдат удержал его, схватив за плащ. Он кричал, плакал, умолял, чтобы ему позволили уйти. Но профос сказал ему:

— Если ты уйдешь с корабля, тебя повесят.

Ламме все-таки хотел броситься на лед, но один старый гёз удержал его, говоря:

— Сходни мокры, ты промочишь себе ноги.

И Ламме упал на свой зад, безутешно плача и твердя:

— Моя жена, моя жена! Пустите меня к моей жене!

— Еще увидишься с ней, — сказал Уленшпигель, — она любит тебя, но бога любит больше, чем тебя.

— Чертовка упрямая! — кричал Ламме. — Если она любит бога больше, чем мужа, зачем она является мне такой прелестной и вожденной? А если она меня любит, то зачем покидает?

— Можешь ты видеть дно в глубоком колодце? — спросил Уленшпигель.

— Горе мне, — стонал Ламме, — я скоро умру.

И, бледный, возмущенный, он остался на палубе.

Между тем приблизились люди Симонен-Боля с сильной артиллерией.

Они обстреливали корабль, который отвечал им. И ядра их разбили весь лед кругом. Вечером пошел теплый дождь.

Ветер дул с запада, море бурлило подо льдом и поднимало здоровенные льдины, которые сталкивались, поднимались, падали, грозились друг на друга и это было небезопасно для корабля, который, едва заря разогнала ночные тучи, поднял свои полотняные крылья, как вольная птица, и поплыл навстречу открытому морю.

Здесь они присоединились к флоту господина де Люмэ де ла Марк, адмирала Голландии и Зеландии, в качестве главнокомандующего имевшего фонарь на мачте своего корабля.

— Посмотри на него хорошенько, сын мой, — сказал Уленшпигель, — этот тебя не пощадит, если ты вздумаешь, вопреки приказу, уйти с корабля. Слышишь, точно гром гремит его голос. Смотри, какой он громадный, широкоплечий. Обрати внимание на его длинные руки с крючковатыми ногтями. Посмотри на его глаза, круглые, холодные орлиные глаза, посмотри на его длинную остроконечную бороду, которую он не будет стричь до тех пор, пока не перевешает всех попов и монахов, чтобы отомстить за обоих казненных графов. Смотри, — он страшен и жесток; он без долгих слов повесит тебя, если ты будешь вечно ныть и визжать: «жена моя».

— Сын мой, — сказал Ламме, — бывает, что о веревке для ближнего говорит тот, у кого шея уже обвита пеньковым воротником.

— Ты первый его наденешь: таково мое дружеское пожелание, — сказал Уленшпигель.

— Я увижу, как ты, вися на веревке, высунешь на локоть из пасти твой ядовитый язык.

И им обоим казалось, что они шутят.

В этот день корабль Трелона захватил бискайское судно, нагруженное ртутью, золотым песком, винами и пряностями. И оно было вышелушено и очищено от экипажа и груза, как бычья кость зубами льва.

В это же время герцог Альба наложил на Нидерланды гнусные и жестокие налоги, обязав всех обывателей, продающих свое движимое и недвижимое имущество, платить тысячу флоринов с десяти тысяч. И налог этот стал постоянным. Все продавцы и покупатели чего бы то ни было вынуждены были платить королю десятую долю продажной цены. И в народе говорили, что товар, перепроданный десять раз в течение недели, целиком достается королю.

Так шли к гибели и разрушению торговля и промышленность.

И гёзы взяли Бриль, морскую крепость, которая была названа рассадником свободы.

## II

В первые дни мая под ясным небом гордо несся ко рабль по волнам. Уленшпигель пел:

Пепел Клааса стучит в мое сердце...  
В нашу страну ворвались палачи.  
Силу, меч и огонь против нас обратили  
Подлых шпионов купили они.  
Там, где царили мир и любовь,  
Сеют доносы они, подозренье...  
Смерть живодерам! Бей, барабан,  
Бей, барабан войны!  
Да здравствуют гёзы! Бей, барабан!  
Крепость Бриль — в наших руках!  
Взят нами Флиссинген, к Шельде ключ!  
Милостив бог, — и Камп-Вере наш!  
Что ж молчали зеландские пушки?..  
Есть у нас ядра, порох и пули,  
Шары из железа и чугуна...  
С нами господь! Кто ж устоит против нас?  
Бей, барабан войны и победы!

Да здравствуют гёзы! Бей, барабан!  
Меч обнажен. Будь, сердце, бесстрашно,  
Рука тверда! Меч обнажен.  
Долой десятину — разоренье народа!  
Смерть палачу! Петлю ворам!  
Клятвопреступному королю — мятеж!  
Мы подняли меч за наши права.  
За очаг наш, за жен и детей  
Меч обнажен... Бей, барабан!

Сердце бесстрашно, рука тверда.  
Долой десятину! Долой позорную милость!  
Бей, барабан войны! Бей, барабан, бей!

— Да, друзья и братцы, — говорил Уленшпигель, — да, в Антверпене перед ратушей они соорудили великолепный помост, покрытый красным сукном; на нем, точно король, восседает герцог Альба на троне, окруженный своими солдатами и стражей. Когда он хочет благосклонно улыбнуться, он делает кислую гримасу. Бей в барабан, зови на войну!

Вот он дарует милость и прощение. Молчите и слушайте. Его золоченый панцырь сверкает на солнце, главный профос верхом на коне рядом с балдахином; вот глашатай со своими литавриками; он читает: прощение всем, за кем нет греха, прочие будут наказаны без пощады.

Слушайте, братцы: он читает указ, коим предписывается, под страхом обвинения в мятеже, уплата десятины и двадцатины.

И Уленшпигель запел:

Герцог! Слышишь ли голос народа,  
Грозный ропот его? Он растет, как прибой  
В час, когда надвигается буря.  
Довольно денег, довольно крови!  
Довольно поборов!.. Бей, барабан!  
Меч обнажен. Бей, барабан погребальный!

Ты вонзаешь свой коготь в кровоточащую рану,  
Грабишь убитых тобой... Иль, чтоб кровь нашу пить,  
Надо тебе растворить в ней все золото наше?!

Шли мы правой стезею: верность хранили  
Мы королю. Но клятву король преступил,  
Так свободны и мы от присяги!.. Бей, барабан войны!

Герцог Альба, герцог кровавый!  
Посмотри: на замке все харчевни, ларьки.  
Посмотри: пивовар, бакалейщик и пекарь  
Торговать перестали, платить не желая налогов.  
Ты идешь — поклонился тебе по дороге  
Хоть один человек?.. Видишь сам — как дыханье чумы,  
Гнев и презренье народа тебя окружают...

Земли цветущие Фландрии,  
Полный веселья и жизни Брабант  
Стали унылыми, словно кладбище.  
Где недавно еще, в дни свободы,  
Лютня звенела и свиристела свирель —  
Там теперь молчанье и смерть.

Вместо веселых гуляк  
И распевающих песни влюбленных  
Видишь повсюду бледные лица людей,  
Ожидających молча, когда их сразит  
Неправосудия меч... Бей, барабан войны!

Да, нынче у нас не услышишь  
Ни звяканья кружек в трактирах,  
Ни звонкого голоса девушек,  
С песней идущих по улицам.  
Брабант и Фландрия, радости страны,  
Стали юдолью печали и слез...  
Бей, барабан погребальный!

Край мой родимый, истерзанный муками край!  
Не склоняй головы перед подлым убийцей!  
Трудолюбивые пчелы! Густыми роями  
Налетайте на трутней Испании!  
Трупы в землю живыми зарытых жен и сестер,  
Взывайте к Христу: «Отмщенье!»

Ночью, блуждая в полях, о несчастные души,  
Взывайте к богу!.. Рука поднялась для удара,  
Меч обнажен. Герцог Альба! Мы вырвем кишки у тебя  
И отхлещем тебя по морде кишками!..  
Бей, барабан! Меч обнажен.  
Бей, барабан! Да здравствуют гёзы!

И все солдаты и моряки с корабля Уленшпигеля и прочих кораблей подхватили:

Меч обнажен! Да здравствуют гёзы!

И голоса их гремели, как гром освобождения.

### III

На дворе стоял январь, жестокий месяц; он может заморозить теленка во чреве коровы. Шел снег и тут же смерзался. Мальчишки ловили на клей воробьев, искавших под мерзлой корой снега какой-нибудь жалкой поживы, и таскали эту дичь домой. На сером и ясном небосклоне четко выделялись неподвижные остовы деревьев, ветки которых были покрыты точно снежными пуховиками. Снег лежал также на хижинах и на верхушках заборов, где виднелись следы кошачьих лап, ибо и кошки тоже охотились по снегу на воробьев. Вдали луга также были покрыты этим чудным мехом, оберегающим землю от резкого холода зимней поры. Черным столбом поднимался к небу дым над домами и хижинами, и не было слышно ни малейшего шума.

И Катлина с Неле сидели в своем жилище, и Катлина, тряся головой, говорила:

— Ганс, мое сердце рвется к тебе. Ты должен отдать семьсот червонцев Уленшпигелю, сыну Сооткин. Если ты в нужде, то все-таки приди, чтоб я могла видеть твое светлое лицо. Убери огонь, голова горит! О, где твои снежные поцелуи? Где твое ледяное тело, Ганс, мой возлюбленный?

Она стояла у окна. Вдруг мимо быстрым шагом пробежал воет-лоорег, скороход с колокольчиками на поясе, крича:

— Едет господин комендант города Дамме!

И так он бежал к ратуше, чтобы собрать там бургомистров и старшин.

И тогда среди глубокой тишины Неле услышала звук двух рожков. Обыватели Дамме бросились к дверям, полагая, что эти трубные звуки возвещают прибытие его королевского величества.

И Катлина тоже вышла на порог с Неле. Издали они увидели отряд блестящих кавалеров верхом на конях, а перед ними, также на коне, человека в плаще из черного бархата с куньей оторочкой, в бархатном камзоле с золотой вышивкой и в опойковых сапогах на куньем меху. И они узнали господина коменданта.

За ними гарцевали молодые всадники, бархатная одежда которых, несмотря на повеление его величества, покойного императора, была отделана вышивкой, кружевами, лентами, золотым и серебряным позументом и шелковой тесьмой. И плащи, накинутаые на их камзолы, также, как у начальника, были оторочены мехом. Они ехали весело, и весело развевались по ветру длинные страусовые перья, украшавшие их шляпы с золотыми шнурами и пуговицами.

Все они казались друзьями и товарищами коменданта, особенно один, с брюзгливым лицом, в зеленом бархатном камзоле с золотой вышивкой, в черном бархатном плаще и черной шляпе с длинными перьями. У него был нос крючковатый, как клюв коршуна, тонкие губы, рыжие волосы, бледное лицо, гордая осанка.

Вдруг, в то время как толпа этих господ следовала мимо домика Катлины, она схватила за узду коня бледного кавалера и в безумном восторге закричала:

— Ганс, возлюбленный мой, я знала, что ты вернешься! Какой ты красавец, весь в бархате и золоте, точно солнце на снегу. Ты принес мне семьсот червонцев? Услышу я опять твой орланий крик?

Комендант остановил свою свиту, и бледный господин сказал:

— Что от меня нужно этой нищенке?

Но Катлина крепко держала его коня за узду.

— Не уходи, не уходи! — твердила она. — Я так долго плакала по тебе! Сладкие ночи, дорогой мой, снежные поцелуи, ледяное тело... Вот и дитя!

И она показала ему на Неле, которая сердито смотрела на него, так как он поднял свой хлыст над Катлиной. Но Катлина всхлипывала;

— Ах, неужто ты забыл? Сжался над твоей рабыней! Увези меня с собой, куда хочешь! Убери огонь, Ганс, сжался!

— Прочь! — крикнул он.

И он пришпорил свою лошадь так сильно, что Катлина выпустила из рук узду и упала на землю; и лошадь наступила на нее, оставив на ее лбу кровавую рану.

Тогда комендант обратился к бледному всаднику:

— Сударь, вам эта женщина известна?

— Первый раз в жизни вижу ее, — ответил тот, — это, очевидно, сумасшедшая.

Но Неле, подняв с земли Катлину, выступила вперед:

— Если она сумасшедшая, то я не сумасшедшая, ваша милость, и пусть я здесь умру от этого снега, который я ем, — она взяла с земли горсточку снега, — если этот человек не знал моей матери, если он не взял у нее всех ее денег, если он не убил собаку Клааса, чтобы захватить спрятанные в стене колодца в нашем доме семьсот червонцев, принадлежавших покойному мученику.

— Ганс, голубчик мой, — плакала окровавленная Катлина, стоя на коленях, — поцелуй меня в знак примирения; посмотри, вот кровь течет; душа сделала себе дырочку и хочет выйти наружу; я умру сейчас, не покидай меня. — И она прибавила потихоньку: — Помнишь, ты убил из ревности твоего товарища, там, на плотине. — И она показала пальцем в сторону Дюдзееле. — Ты крепко любил меня тогда.

И она обхватила колени всадника и прильнула с поцелуем к его сапогу.

— Кто этот убитый? — спросил комендант.

— Не знаю, — ответил тот, — не стоит обращать внимания на болтовню этой несчастной, едем.

Народ собрался вокруг. Горожане, именитые и простые, ремесленники и крестьяне, заступаясь за Катлину, кричали:

— Правосудие, господин комендант, правосудие!

И комендант обратился к Неле:

— Что это за убитый? Говори, как указывает господь и истина.

— Вот он, — ответила Неле, указывая на бледного всадника, — приходил каждую субботу в keet \*, чтобы ви-

---

\* Keet — прачечная (флам.).

даться с моей матерью и отбирать у нее деньги. Он убил одного своего приятеля, по имени Гильберт, на поле Серваса ван дер Вихте, но не из любви к ней, как думает эта невинная безумная страдалница, а чтобы присвоить себе одному семьсот червонцев.

И Неле рассказала о любовных делах Катлины и о том, что ее мать слышала в ту ночь, скрывшись за плотиной, пересекающей поле Серваса ван дер Вихте.

— Неле злая, — сказала Катлина, — она непочтительно разговаривает с Гансом, со своим отцом.

— Клянусь, — сказала Неле, — что он кричал орланом, чтобы известить ее о своем приходе.

— Ты лжешь! — сказал всадник.

— О нет, — ответила Неле, — и господин комендант и все эти знатные господа видят хорошо, что ты бледен не от холода, но от страха. Почему это уже не светится твое лицо? Ты, значит, потерял свое волшебное снадобье, которым мазался, чтобы оно казалось сверкающим, как волны летом, когда гремит гром. Но, проклятый колдун, ты будешь сожжен пред воротами ратуши! Это из-за тебя умерла Сооткин, ты поверг ее осиротевшего сына в нищету; ты, знатный барин, приходил к нам, простым обывателям, и один раз принес денег моей матери, чтобы отобрать у нее все, что у нее было.

— Ганс, — сказала Катлина, — ты опять возьмешь меня на шабаш и опять смажешь своим снадобьем; не слушай Неле, она злая; видишь, вот кровь, — душа пробила дыру, хочет наружу; я скоро умру и попаду на тот свет, где не жжет.

— Молчи, сумасшедшая ведьма, — сказал всадник, — я тебя не знаю и не знаю, о чем ты говоришь.

— И однако, — сказала Неле, — это ты приходил к нам с товарищем и хотел дать мне его в мужья; ты знаешь, что я его не хотела. Что случилось с глазами твоего друга Гильберта после того, как я вцепилась в них ногтями?

— Неле злая, — сказала Катлина, — не верь ей, Ганс, дорогой мой. Она сердится на Гильберта за то, что он хотел изнасиловать ее; но Гильберта уже нет теперь, черви его съели; и Гильберт был противный; только ты красавец, Ганс, дорогой мой, а Неле злая.

После этого комендант сказал:

— Женщины, идите с миром.

Но Катлина не хотела уйти с места, где стоял ее возлюбленный. Пришлось силой отвести ее в жилище.

И весь собравшийся народ кричал:

— Правосудие, ваша милость, правосудие!

На шум явились городские стражники; но комендант приказал им остаться на месте и обратился к знатым господам и дворянам:

— Государи мои! Невзирая на все права и вольности, охраняющие славное сословие дворянства Фландрии, я вынужден в силу обвинений, — особенно в колдовстве, — направленных против господина Иооса Даммана, подвергнуть его личному задержанию впредь до суда, согласно законам и указам империи. Господин Иоос, вручите мне вашу шпагу.

— Господин комендант, — с большим высокомерием и барской надменностью сказал Иоос Дамман. — Подвергая меня личному задержанию, вы нарушаете законы Фландрии, ибо вы ведь сами не судья. А вам известно, что без судебного решения можно подвергать задержанию только фальшивомонетчиков, разбойников и грабителей, поджигателей и насильственников женщин, солдат, покинувших своего офицера, колдунов, отравляющих ядом источники, монахов или монахинь, отвергнувших свою веру, и, наконец, изгнанных из страны. Посему, господа дворяне, защитите меня.

Так как некоторые готовы были послушаться его, то комендант обратился к ним:

— Государи мои! Будучи здесь представителем нашего короля, графа и господина и обладая правом разрешать сомнительные случаи, я приказываю и повелеваю вам, под страхом обвинения в мятеже, вложить ваши шпаги в ножны.

В то время как дворяне повиновались, а господин Иоос Дамман колебался это сделать, народ закричал:

— Правосудие, господин комендант, правосудие! Пусть отдаст шпагу!

И он покорился против воли и, сойдя с коня, был препровожден двумя стражниками в городскую тюрьму.

Здесь, однако, он не был брошен в подземелье, но заключен в комнату с решетками, где за плату получил теплую печь, добрую постель и хорошую еду, половину которой съедал тюремщик.

На другой день комендант, два судебных писца, двое старшин и подлекарь пошли по направлению к Дюдзееле поискать, не найдут ли они на участке Серваса ван дер Вихте тела у плотины, пересекающей поле.

Неле сказала Катлине:

— Ганс, твой возлюбленный, просит принести ему отрезанную руку Гильберта; сегодня вечером он закричит орланом, войдет в нашу хижину и принесет семьсот червонцев.

Катлина ответила:

— Я ее отрежу.

И в самом деле, она взяла нож и побежала; за ней следовали Неле и судейские.

Она шла быстро и уверенно вместе с Неле, милое лицо которой покраснелось от свежего воздуха.

Судейские, люди пожилые и с одышкой, следовали за ними, дрожа от холода; и все они на белой равнине были похожи на черные тени; и Неле несла лопату.

Когда они добрались до поля Серваса ван дер Вихте, Катлина взобралась на середину плотины и, показав на правую сторону луга, сказала:

— Ганс, ты не знал, что я спряталась там, содрогаясь при звуке мечей. И Гильберт кричал: «Эта сталь холодна!» Гильберт был противный, Ганс — красавчик. Ты получишь его руку, оставь меня одну.

Потом она спустилась налево, стала в снег по колени и трижды закричала, призывая духа.

Тогда Неле дала ей лопату, которую Катлина трижды перекрестила, потом начертила на льду изображение гроба и три перевернутых креста, один на восток, другой на север, третий на запад; она сказала:

— Три — это Марс подле Сатурна, и три — это обречение под знаком Венеры, ясной звезды. — Затем она очертила гроб большим кругом, говоря: — Уходи, злой дух, стерегущий тело. — Затем, став на колени, она молилась: — Друг-дьявол Гильберт, — сказала она, — Ганс, мой господин и повелитель, приказал мне прийти сюда отрезать тебе руку и принести ему; я должна ему повиноваться. Не обожги меня огнем подземным за то, что я нарушаю благородный покой твоей могилы. И прости меня ради господ бога и святых угодников.

Затем она разбила лед по очертаниям гроба, разрыла сырой дерн, затем песок, и господин комендант, и его подчиненные, и Неле, и Катлина увидели тело молодого человека, белое как гашеная известь, не разложившееся, потому что оно покоилось в песке. Он был в сером суконном камзоле и в таком же плаще; его шпага лежала рядом с ним. На поясе у него висела вязаная сумка, и широкий кинжал торчал в его груди под сердцем. На камзоле была кровь, и кровь протекла за спину. И он был молод.

Катлина отрезала у него руку и положила в свою кошелку. И комендант позволил ей проделать все это; затем он приказал снять с трупа всю его одежду и знаки достоинства. Катлина спросила, делается ли это по повелению Ганса, и комендант ответил, что он действует только по его приказаниям; Катлина стала делать все, что он требовал.

Когда труп был раздет, они увидели, что он высох, как дерево, но не сгнил. Затем, засыпав его песком, комендант и судейские ушли. И стражники несли одежду.

Когда они подошли к тюрьме, комендант сказал Катлине, что Ганс ждет ее; и она радостно вошла туда.

Неле не хотела отпустить ее, но Катлина только ответила:

— Я хочу к Гансу, моему господину.

И Неле рыдала, сидя на пороге тюрьмы, ибо знала, что Катлина взята под стражу как колдунья, за заклинания и чертежи, которые она делала на снегу.

И в Дамме говорили, что ей нет прощения.

И Катлина была заперта в западном подземелье тюрьмы.

## V

На другой день подул ветер со стороны Брабанта, снег растаял, и луга были залиты водой.

И колокол, называемый *borgstorm*, созвал судей на заседание суда под навесом, так как дерновые сиденья под «липой правосудия» были мокры.

И народ стоял толпой вокруг суда.

Иоос Дамман был приведен не связанный и в своем дворянском платье; Катлина также была приведена, но

со связанными впереди руками и в серой посконной одежде, какую носят заключенные в тюрьме.

Иоос Дамман, на вопросы суда, признался, что убил своего друга Гильберта мечом в поединке. Когда ему сказали: «Он заколот кинжалом», — Иоос Дамман ответил: «Я заколол его, когда он лежал уже на земле, так как он не умирал достаточно быстро. Я свободно признаюсь в этом убийстве, так как нахожусь под охраной законов Фландрии, запрещающих преследовать убийцу по истечении десяти лет».

Судья спросил его:

— Ты не колдун?

— Нет, — ответил Дамман.

— Докажи это.

— Докажу в свое время, — ответил Иоос Дамман, — теперь же мне не угодно это сделать.

Тогда судья приступил к допросу Катлины; но она ничего не слышала и не отрывала взгляда от Ганса.

— Ты мой зеленый повелитель, прекрасный как солнце. Убери огонь, дорогой мой!

Тут Неле выступила вместо Катлины.

— Она не может сознаться ни в чем, чего бы не знали ваша милость и вы, господа судьи, — сказала Неле, — она не колдунья, а только сумасшедшая.

В ответ на это судья сказал:

— Колдун — это тот, кто добивается какой-либо цели сознательно употребленными дьявольскими средствами. Стало быть, оба они, и мужчина и женщина, — и по их замыслам и по деяниям, — виновны в колдовстве. Ибо он давал снадобье для участия в шабаше и делал свое лицо светящимся, как Люцифер, с целью получить деньги и удовлетворить свою похоть; она же подчинялась ему, принимая его за дьявола и отдаваясь его воле; один был злоумышленником, другая — явная сообщница. Здесь поэтому нет места никакому состраданию, и я должен настоять на этом, так как вижу, что старшины и народ слишком снисходительны к женщине. Правда, она никогда не убивала, не воровала, не портила сглазом людей или животных, не лечила больных непоказанными снадобьями, а врачевала простыми, известными средствами, целением честным и христианским; но она хотела предать свою дочь дьяволу, и если бы последняя, несмотря на свой юный возраст, не воспротивилась этому с му-

жеством столь открытым и доблестным, она поддалась бы Гильберту и тоже стала бы ведьмой, как и мать. Поэтому я спрашиваю господ судей, не полагают ли они, что оба обвиняемые должны быть подвергнуты пытке?

Старшины молчали в ответ, показывая этим, что по отношению к Катлине они думают иначе.

Тогда судья, настаивая на своем, сказал:

— Как и вы, я проникся жалостью и состраданием к ней, но подумайте: разве эта безумная колдунья, столь покорная дьяволу, в случае, если бы ее распутный соучастник потребовал этого, не могла отрубить голову своей дочери серпом, как сделала во Франции со своими двумя дочерьми Катерина Дарю по указанию дьявола? Разве не могла она, по повелению своего черного сожителя, нагонять смерть на животных, портить посредством сахара масло в маслобойне, участвовать телесно во всех служениях дьяволу, колдовских плясаниях, мерзостях и непотребствах? Разве не могла она есть человеческое мясо, убивать детей, чтобы делать из них пироги и продавать их, как делал это один пирожник в Париже; срезать ляжки у повешенных, уносить их с собой, вливаться в них зубами, совершая таким образом гнусное воровство и святотатство? И я требую у суда, чтобы, вплоть до выяснения того, не совершали ли Катлина и Иоос Дамман иных преступлений, кроме уже известных, они были подвергнуты пытке. Так как Иоос Дамман отказался сознаться в чем-либо, кроме убийства, а Катлина не рассказала всего, законы имперские повелевают нам поступить так, как я сказал.

И суд постановил произвести пытку в пятницу, то есть послезавтра.

И Неле кричала:

— Смилостивьтесь, господа судьи!

И народ кричал вместе с нею. Но все было напрасно.

И Катлина, глядя на Иооса Даммана, говорила:

— У меня рука Гильберта, приди за ней сегодня ночью, дорогой мой.

Их увели обратно в тюрьму.

Здесь, по распоряжению суда, тюремщик приставил к каждому двух сторожей, которые должны были бить их каждый раз, когда они станут засыпать; но сторожа Катлины не мешали ей спать всю ночь, а сторожа Иооса

Даммана жестоко колотили его, едва он закрывал глаза или опускал голову.

Они голодали всю среду, ночь и весь четверг вплоть до вечера, когда им дали пить и есть: просоленную говядину с селитрой и соленую воду с селитрой. Это было начало пытки. И утром, когда они кричали от жажды, стражники привели их в застенки.

Здесь они были посажены друг против друга и привязаны к скамьям, обвитым узловатыми веревками, что причиняло тяжкие страдания.

И каждый должен был выпить стакан воды с солью и селитрой.

Так как Иоос Дамман начал засыпать, стражники растолкали его ударами.

И Катлина говорила:

— Не бейте его, господа, вы разобьете его бедное тело. Он совершил только одно преступление, по любви, когда он убил Гильберта. Я хочу пить, и ты тоже, Ганс, дорогой мой. Дайте ему напиться первому. Воды, воды! Мое тело горит! Не трогайте его, я умру за него. Пить!

— Умри и издохни, как сука, проклятая ведьма, — сказал Иоос, — бросьте ее в огонь, господа судьи. Пить! Писцы записывали каждое его слово.

— Ни в чем не сознаешься? — спросил его судья.

— Мне нечего сказать, вы все знаете.

— Так как он упорствует в заперательстве, то он останется на этой скамье и в этих веревках вплоть до нового и полного признания, и будет терпеть жажду, и будет лишен сна.

— Я останусь, — сказал Иоос Дамман, — и буду наслаждаться видом страданий этой ведьмы и на скамье. По душе ли тебе брачное ложе, голубушка?

— Холодные руки, горячее сердце, Ганс, дорогой мой, — ответила Катлина. — Я хочу пить! Голова горит!

— А ты, женщина, — спросил ее судья, — ты ничего не можешь сказать?

— Я слышу колесницу смерти и слышу сухой стук костей. Пить! Она везет меня по широкой реке, полной воды, свежей, светлой воды: но эта вода — огонь. Ганс, мой милый, развяжи мои веревки! Да, я в чистилище и вижу вверху господина Иисуса в его раю и пресвятую деву, такую сострадательную. О дорогая богородица,

дайте мне капельку воды! Не ешьте одна эти прекрасные плоды.

— Эта женщина явно сумасшедшая, — сказал один из старшин, — следует освободить ее от пытки.

— Она не более безумна, чем я, — сказал Иоос Дамман, — все это игра и притворство. — И он прибавил с угрозой в голосе: — Сколько ни прикидывайся сумасшедшей, увижу тебя на костре.

И, заскрежетав зубами, он засмеялся своей злодейской лжи.

— Пить! — заговорила Катлина. — Сжальтесь, хочу пить. Позвольте мне подойти к нему, господа судьи. — И, раскрыв рот, она кричала: — Да, да, теперь они вложили огонь в мою грудь, и дьяволы привязали меня к этой злой скамье. Ганс, возьми шпагу и убей их, ты такой сильный. Воды! Пить! Пить!

— Издохни, ведьма, — сказал Иоос Дамман. — Надо заткнуть ей глотку кляпом, чтобы эта мужичка не смела так обращаться к дворянину.

Один из старшин, враг знати, возразил на это:

— Господин начальник, затыкать кляпом рот тем, кто подвергается допросу, противно законам и обычаям имперским, ибо допрашиваемые здесь для того, чтобы они говорили истину, а мы судили сообразно их показаниям. Затыкать рот кляпом разрешается лишь в том случае, когда обвиняемый, будучи уже осужденным, может на месте казни обратиться к толпе, разжалобить ее и таким образом вызвать народные волнения.

— Хочу пить, — говорила Катлина, — дай мне напиться, Гансик, дорогой мой!

— А, ты мучаешься, ведьма проклятая, единственная причина всех моих страданий, — сказал он. — Но в этом застенке ты еще не то прегерпишь: будут тебя жечь свечами, бичевать, вгонять клинья под ногти рук и ног. Тебя посадят верхом на гроб, верхнее ребро которого остро как нож, и ты сознаешься, что ты не сумасшедшая, а подлая ведьма, которую дьявол отрядил пакостить благородным людям. Пить!

— Ганс, возлюбленный мой, — говорила Катлина, — не сердись на свою рабу. Тысячи мучений я терплю ради тебя, мой повелитель. Сжальтесь над ним, господа судьи: дайте ему полную кружку, а с меня довольно одной капельки. Ганс, не пора ли кричать орлану?

— Из-за чего ты убил Гильберта? — спросил судья у Даммана.

— Мы повздорили из-за одной девчонки из Гейста, — ответил Иоос.

— Девчонка из Гейста! — закричала Катлина, изо всех сил пытаясь сорваться со своей скамьи. — А, так ты меня обманывал с другой, подлый дьявол! А знал ты, что я сижу за плотиной и слушаю, когда ты говорил, что хочешь забрать все деньги, принадлежащие Клаасу? Ты их, значит, хотел истратить с ней в кутеже и распутстве! О, а я, я, которая отдала бы ему свою кровь, если бы он мог сделать из нее деньги! И все для другой! Будь проклят!

Но вдруг она разрыдалась и, стараясь подвинуться на своей скамье, говорила:

— Нет, Ганс, скажи, что ты опять будешь любить твою бедную рабу, и я землю буду рыть ногтями и добуду клад оттуда. Да, там есть клад. Я буду ходить с веточкой орешника, которая наклоняется в ту сторону, где спрятаны металлы, и я найду их и принесу тебе. Поцелуй меня, миленький и ты будешь богат: и мы будем каждый день есть мясо и пить пиво; да, да, вон те, что сидят, тоже пьют пиво, свежее, пенистое пиво. О господи, дайте хоть глоточек, я вся горю. Ганс, я знаю, где растет орешник для волшебной палочки, но надо подождать, пока придет весна.

— Молчи, ведьма, — отвечал Иоос Дамман, — я тебя не знаю. Ты принимала Гильберта за меня; это он приходил к тебе, а ты в своей скверности называла его Ганс. А ведь меня зовут не Ганс, а Иоос, так и знай; мы были одного роста, Гильберт и я. Я тебя не знаю: это верно, Гильберт украл семьсот червонцев. Дайте пить. Мой отец заплатит сто флоринов за стаканчик воды. Но я не знаю этой бабы.

— Господин комендант, господа старшины, — воскликнула Катлина, — он говорит, что не знает меня, а я его знаю хорошо и знаю, что у него на спине темная мохнатая родинка величиной с боб. А, ты любил девку из Гейста! Хороший любовник разве стыдится своей милой! Ганс, ведь я еще красива.

— Красива! — крикнул он. — У тебя не лицо, а гнилое яблоко, а тело — связка хвороста; посмотрите на эту паскуду, которая лезет к дворянам в любовницы. Пить!

— Ты не так говорил, Ганс, мой нежный повелитель, когда я была на шестнадцать лет моложе. — И, ударяя себя по голове и груди, Катлина заговорила: — Здесь огонь горит и сушит мне сердце и лицо. Не кори меня этим! Помнишь, как мы ели соленое, ты говорил: это для того, чтобы больше пить. Теперь соль в нас, дорогой мой, а господин комендант льет бургонское вино. Не надо нам вина: воды дайте. Бежит в траве ручеек: студена вода. — И Катлина зарыдала, говоря: — Я никому зла не делала, а меня всё бросают в огонь. Пить! Я христианка, дайте мне пить. Дают же пить бродячим собакам. Я никому зла не делала. Пить!

Один из старшин сказал:

— Эта колдунья безумна только в разговорах об огне, который, как она говорит, жжет ей голову, но она совсем не безумна в других вещах: ведь в том, что она помогла нам найти останки убитого, был виден совершенно ясный ум. Если на теле у Иооса Даммана есть мохнатое пятно, то этого знака достаточно, чтобы видеть его тождество с дьяволом Гансом, от которого обезумела Катлина. Палач, покажи нам пятно.

Палач, обнажив шею и плечи Даммана, показал темное мохнатое пятно.

— О, какая у тебя белая кожа, — говорила Катлина, — совсем как плечи девочки; ты красавец, Ганс, миленький мой. Пить!

Палач воткнул длинную иглу в пятно. Крови не было. Старшины переговаривались:

— Конечно, дьявол; он убил Иооса Даммана и принял его образ, чтобы вернее обходить несчастных людей.

И все судьи — комендант и старшины — испугались:

— Он дьявол, и это чародейство нечистого.

И Иоос Дамман возразил:

— Вы знаете, что нет никакого чародейства и что бывают такие наросты на теле, которые можно колоть, и крови не будет. Если Гильберт взял деньги у этой ведьмы, — ибо она ведьма, раз сама созналась, что спала с дьяволом, — то он мог их взять, ибо такова была добрая воля этой твари; и, значит, он, знатный барин, получал плату за свои ласки, как это каждый день делают продажные девки. Разве нет на этом свете подобных этим девкам беспутных парней, которым женщины платят за их силу и красоту?

Старшины переговаривались:

— Какая дьявольская самоуверенность! Его родимое пятно не дало крови; убийца, дьявол, колдун, он хочет сойти за простого дуэлиста, сваливая все прочие свои преступления на дьявола-приятеля, тело которого он убил, но не душу... И посмотрите, как бледно его лицо... Такой вид у всех дьяволов: они багровы в аду и бледны на земле, ибо в них нет жизненного огня, дающего румянец лицу, и внутри они из пепла... Надо опять вернуть его в огонь, чтобы он побагровел и сгорел.

Катлина говорила:

— Да, он дьявол, но добрый дьявол, кроткий дьявол. И святой Яков, его покровитель, позволил ему уйти из ада. Он просит за него ежедневно господа Иисуса Христа. Он только семь тысяч лет будет в чистилище: пресвятая дева так хочет, а господин сатана противится. Но богородица все-таки сделает так, как ей угодно. Пойдете вы против нее? Посмотрите на него хорошенько, вы увидите, что от своего дьявольского естества он не сохранил ничего, кроме лишь холодного тела да еще лица, сверкающего как волны морские в августе перед ударом грома.

— Молчи, ведьма, ты тащишь меня на костер, — рычал Иоос Дамман и, обратившись к судьям, продолжал: — Посмотрите на меня, я совсем не дьявол, я из мяса, костей, крови и воды. Я ем и пью, перевариваю и извергаю, как вы; у меня такая же кожа, как у вас. Палач, сними с меня сапоги, я не могу двинуть связанными ногами.

Палач исполнил это не без страха.

— Посмотрите, — говорил Иоос, показывая свои белые ноги, — разве это раздвоенные копыта, как бывает у дьявола? Что до моей бледности, то разве среди вас нет таких же бледных, как я? Я вижу троих таких. Не я грешник, а эта подлая ведьма и ее дочка, злая клеветница. Откуда деньги, которые она дала Гильберту, откуда эти червонцы? Не дьявол ли платил ей за то, что она обвиняет и предает смерти знатных и невинных людей? Это у них обеих надо спросить, кто задушил во дворе собаку, кто достал в стене колодца деньги, а потом бежал, оставив пустой дыру, конечно, чтоб скрыть где-нибудь в другом месте украденное золото. Вдова Сооткин мне не доверялась и не знала меня совсем, а им она верила и

видела их каждый день. Это они похитили достояние императора.

Писарь записал, и судья сказал Катлине:

— Женщина, можешь ты что-нибудь сказать в свою защиту?

Катлина, смотря на Иооса Даммана, нежно сказала:

— Пора кричать орлану! У меня рука Гильберта, Ганс, дорогой мой. Они говорят, что ты вернешь мне семьсот червонцев. Уберите огонь, уберите огонь! — закричала она. — Пить! Пить! Голова горит. Господь с ангелами едят на небесах яблочки.

И она лишилась чувств.

— Отвяжите ее, — сказал судья.

Палач с подручным развязали Катлину. И все видели, как она шатается на своих ногах, раздувшихся оттого, что палач слишком сильно стянул их.

— Дайте ей напиться, — сказал судья.

Ей подали холодной воды, которую она жадно проглотила, стиснув стакан зубами, как держит кость собака, не выпуская ее. Затем ей дали еще воды, и она хотела было поднести ее Иоосу Дамману, но палач вырвал у нее из рук стакан. И она упала, уснув свинцовым сном.

— Я тоже хочу пить и спать! — яростно закричал Иоос Дамман. — Почему вы даете ей пить? Почему вы ей разрешаете спать?

— Она слаба, она женщина, она безумна, — ответил судья.

— Ее безумие — притворство, — сказал Иоос Дамман, — она ведьма. Я хочу пить, я хочу спать!

И он закрыл глаза, но подручные палача стали бить его по лицу.

— Дайте мне нож, — кричал он, — и я искрошу это мужичье; я дворянин, и меня никто не бил по лицу. Воды! Хочу спать, я невинен. Я не брал семисот червонцев, это Гильберт. Пить! Я никогда не занимался колдовством и заклинаниями. Я невинен, не троньте меня! Пить!

Судья спросил тогда:

— Чем ты занимался с тех пор, как расстался с Катлиной?

— Я не знаю никакой Катлины, я не расставался с нею. Вы спрашиваете меня о вещах посторонних. Я не

обязан вам отвечать! Пить, я хочу спать! Говорю вам, что все сделал Гильберт.

— Развяжите его, — сказал судья, — отведите его в тюрьму. Но не давать ему ни пить, ни спать, пока он не признается в своих чародействах и заклинаниях.

И чудовищна была эта пытка для Даммана. Он кричал в своей тюрьме: «Пить, пить!» — так громко, что народ слышал это снаружи, но без всякого сострадания. И когда он падал от сна и сторожа били его по лицу, он приходил в ярость, точно тигр, и кричал:

— Я дворянин, я уничтожу вас, мужичье! Пойду к королю, повелителю нашему. Пить!

Но, несмотря на все пытки, он не сознавался.

## VI

Наступил май, зазеленела «липа правосудия», зелены были также дерновые скамьи, на которых воссели судьи. Неле была вызвана как свидетельница. В этот день должен был быть вынесен приговор.

И народ — мужчины, женщины, горожане, работники столпились вокруг. И солнце сияло ярко.

Катлина и Иоос Дамман предстали перед судом. Дамман казался еще бледнее от мучительной жажды и бессонных ночей.

Катлина не могла держаться на своих слабых ногах; она показывала на солнце и говорила:

— Уберите огонь, голова горит.

И с нежной любовью смотрела на Иооса Даммана.

А он смотрел на нее с презрением и ненавистью.

И его друзья, господа и дворяне, призванные в Дамме, предстали пред судом как свидетели.

— Девушка Неле, защищающая свою мать Катлину с такой великой и мужественной любовью, — сказал комендант и председатель суда, — нашла в кармане праздничного платья матери письмо, подписанное: *Иоос Дамман*. В вещах умершего Гильберта Рейвиша я нашел в сумке другое письмо, написанное ему вышеназванным Иоосом Дамманом, представшим перед вами в качестве обвиняемого. Я сохранил у себя оба письма, дабы в подходящее время, каково и есть нынешнее, вы могли судить об упорстве этого человека и оправдать его или обвинить,

согласно праву и справедливости. Вот пергамент, найденный в сумке; я не дотрагивался до него и не знаю, можно ли его прочитать или нет.

Судьи пришли в чрезвычайное затруднение. Председатель попытался развернуть пергаментный комок, но это ему не удавалось, и Иоос Дамман смеялся.

Один из старшин сказал:

— Положим комок в воду и нагреем его на огне. Если он слипся от тайного средства, то огонь и вода раскроют все.

Принесли воду; палач развел на воздухе большой костер; синий дым подымался к ясному небу сквозь зеленющие ветви «липы правосудия».

— Не опускайте письма в таз, — сказал другой старшина, — ибо, если оно написано нашатырем, разведочным в воде, то вы смоете буквы.

— Нет, — сказал присутствовавший при этом хирург, — буквы не смоятся, вода размягчит только то место, которое склеилось и мешает раскрыть этот чародейский шарик.

Пергамент, опущенный в воду, размяк и был развернут.

— Теперь, — сказал хирург, — подержите его на огне.

— Да, да, — подтвердила Неле, — подержите его на огне: господин лекарь на пути к истине, так как убийца побледнел и его ноги задрожали.

На это Иоос Дамман возразил:

— Я не бледнею и не дрожу, ты, маленькая мужицкая ведьма, которой хочется погубить дворянина; это тебе не удастся: пергамент, верно, сгнил после шестнадцатилетнего пребывания в земле.

— Нет, он не сгнил, — сказал председатель, — сумка была на шелковой подкладке, а шелк не гниет в земле, и черви не тронули пергамента.

Начали подогрывать пергамент на огне.

— Господин комендант, господин комендант, — говорила Неле, — вот на огне проступили чернила; прикажите прочитать, что написано.

Когда хирург хотел было читать, Иоос Дамман протянул руку, чтобы вырвать пергамент, но Неле с быстротой ветра отстранила его руку и сказала:

— Ты не коснешься письма, ибо в нем твой смертный приговор или приговор Катлины. Если теперь сочтется

кровью твое сердце, убийца, то вот уж пятнадцать лет, как исходят кровью наши сердца; пятнадцать лет, как страдает Катлина; пятнадцать лет, как горит мозг в ее голове из-за тебя; пятнадцать лет, как умерла Сооткин от пытки; пятнадцать лет, как мы разорены, обобраны и живем в нищете, но честно. Читайте, читайте! Судья — это господь на земле, ибо он — справедливость. Читайте!

— Читайте! — кричали, плача, женщины и мужчины. — Неле права! Читайте! Катлина совсем не ведьма! И писарь прочел:

*«Гильберту, сыну Виллема Рейвиша, рыцарю, Иоос Дамман, рыцарь, шлет привет.»*

Благословенный друг, не проигрывай своих денег в карты, кости и иные великие пагубы. Я скажу тебе, как выигрывают наверняка. Станем с тобой чертями, черными красавцами, возлюбленными женщин и девушек. Будем брать красивых и богатых — нищих и рож нам не надо — пусть платят за удовольствие. В Германии я этим ремеслом в шесть месяцев заработал пять тысяч талеров. Женщины, когда полюбят, готовы отдать мужчине все до последней рубахи. Избегай скряг с поджатыми губами, — они не торопятся платить. Что до тебя, то для того, чтобы из тебя вышел подлинный «инкуб» и дьявол-красавец, ты, когда они тебя пригласят на ночь, возвещай о своем приходе криком ночной птицы. А чтобы приобрести настоящий вид дьявола, ужасающего дьявола, натри лицо фосфором, который светится, когда влажен. Запах от него скверный, но они будут думать, что это запах ада. Убивай всякого, кто тебе помешает, мужчину, женщину или животное.

Скоро мы вместе отправимся к Катлине: это баба смазливая и ласковая; дочка ее Неле — мое создание, если, впрочем, Катлина была мне верна; девочка миленькая и приветливая. Ты возьмешь ее без труда; предоставляю ее тебе... Что мне от этого отродья, которое ведь никогда нельзя с уверенностью признать своим порождением. От ее матери я уже добыл двадцать три золотых с лишним — все, что у нее было. Но она скрывает клад, который, если я не дурак, представляет собой наследство, оставшееся от Клааса, еретика, сожженного в Дамме: семьсот червонцев, подлежащих конфискации. Но добрый король Филипп, который сжег столько своих подданных,

чтобы стать их наследником, не сумел наложить лапу на это соблазнительное сокровище. В моем кошельке оно будет иметь больше веса, чем в его казне. Катлина мне скажет, где оно; мы поделимся. Только мне ты отдашь большую часть, так как я его открыл.

А женщин, наших покорных служанок и влюбленных рабынь, мы возьмем с собой в Германию. Здесь мы научим их быть «суккубами» и дьяволицами: они будут влюблять в себя богатых купцов и знатных дворян; мы будем там жить с ними за счет любви, оплачиваемой прекрасными талерами, бархатом, шелком, золотом, жемчугом и драгоценностями; таким образом, без всяких трудов мы будем богаты и — без ведома наших дьявольских «суккубов» — любимы красотками, которых, впрочем, тоже заставим платить нам за любовь. Все женщины дуры; они теряют всякий разум перед человеком, сумевшим зажечь вложенный в них любовный огонь. Катлина и Неле еще глупее других и, считая нас дьяволами, будут покоряться нам во всем. Ты оставайся при своем имени, но не выдавай никогда твоей знатной фамилии Рейвиш. Если судья схватит женщину, мы скроемся, а они, не зная нас, не смогут на нас донести. За дело, друг мой! Счастье улыбается только молодым, как говорил почивший император Карл V, этот великий учитель в делах любовных и ратных».

И писец, закончив чтение, сказал:

— Вот все письмо, и подписано оно: *«Иоос Дамман, рыцарь»*.

И народ кричал:

— Смерть убийце! Смерть колдуну! В огонь соблазнителя! На виселицу разбойника!

— Тише, народ, — сказал председатель суда, — не мешайте нам свободно судить этого человека. — И он обратился к старшинам:

— Я прочту вам другое письмо, найденное Неле в кармане праздничного платья Катлины:

«Прелестная ведьмочка, вот состав моего снадобья, указанный мне самой супругой Люцифера; при помощи этого снадобья ты можешь взлететь на солнце, луну и звезды, разговаривать со стихийными духами, передающими богу молитвы людские, и носиться по городам,

местечкам, рекам, лугам всего мира. Свари в равных долях: stramonium, solanum somniferum, белену, опий, свежие головки конопли, белладонну и дурман.

Если хочешь, мы вечером полетим на бесовский шабаш, только надо любить меня сильнее и не быть такой скаредной, как прошлый вечер, когда ты не хотела дать мне десять флоринов, сказав, что у тебя их нет. Я знаю, что ты скрываешь клад и не хочешь мне сказать об этом. Или ты больше меня не любишь, мое сердечко?

Гансик».

— Смерть колдуну! — кричала толпа.

— Надо сличить оба почерка, — сказал председатель суда.

По сличении почерки были признаны сходными.

Тогда председатель обратился к присутствующим дворянам:

— Признаете ли вы этого человека за господина Юоса Даммана, сына эшевена\*?

— Да, — ответили они.

— Знали вы, — продолжал он, — господина Гильберта, сына кавалера Виллема Рейвиша?

Выступил один из дворян, по имени ван дер Зикелен, и заявил:

— Я из Гента; мой steen\*\* находится на площади святого Михаила; я знаю Виллема Рейвиша, дворянина, гентского эшевена. Пятнадцать лет тому назад у него пропал сын. Это был молодой человек двадцати трех лет, кутила, игрок, бездельник; ему это прощали из-за его молодости. С тех пор никто ничего о нем не слышал. Я хотел бы видеть шпагу, кинжал и сумку покойного.

Рассмотрев их, он сказал:

— На рукоятях шпаги и кинжала герб рода Рейвиш: три серебряные рыбы на лазурном поле. Тот же герб вычеканен на золотом замочке сумки. А это что за кинжал?

— Этот, — ответил председатель, — был воткнут в тело Гильберта Рейвиша, сына Виллема.

— Я вижу на нем герб Даммана, — сказал дворянин, — зубчатая башня на серебряном поле. Свидетель мне бог и все святые.

\* Эшевен — старшина.

\*\* Steen — городская усадьба (флам.).

Другие дворяне подтвердили:

— Мы признаем, что это гербы Рейвиша и Даммача. Так да поможет нам бог и все святые.

— В силу выслушанных и прочитанных пред судом доказательств, — сказал председатель суда, — Иоос Дамман есть колдун, убийца, соблазнитель женщин, похититель королевского имущества и, как таковой, повинен в оскорблении величества, божеского и человеческого.

— Вы можете толковать об этом, господин комендант, — возразил Иоос, — но вы не смеее осудить меня за отсутствием достаточных улик. Я не колдун и никогда не был колдуном: я только прикинулся дьяволом. Что касается моего светящегося лица, то вам известна его тайна, а состав мази, не считая белены, растения ядовитого, исключительно снотворный. Когда эта женщина, подлинная колдунья, применяла снадобье, она погружалась в сон, и тут ей виделось, что она летит на шабаш, кружится там спиною к середине вращения и поклоняется дьяволу в образе козла, стоящего на алтаре. По окончании хоровода — так ей казалось — она, как делают все колдуны, целовала его под хвост, чтобы затем предаться со мною, ее возлюбленным, противоестественным наслаждениям, пленявшим ее извращенный дух. Если у меня были, как она говорит, холодные руки и свежее тело, то это признак молодости, а не колдовства. При любовной работе холод не долог. Но Катлина хотела верить в свои вождедения и принимать меня за дьявола, хотя я человек во плоти, как вы меня видите. Только она одна и виновна: принимая меня за дьявола и, однако, разделяя со мной ложе, она намеренно и действительно грешила против господа бога и духа святого. Стало быть, это она, а не я, совершала преступление колдовства, она заслуживает костер, как упорная и злобная ведьма, которая притворяется сумасшедшей, чтобы скрыть свое злоумышление.

— Вы слушаете этого убийцу? — вскричала Неле. — Он ведь, как гулящая девка с цветным кружком на рукаве, промышлял продажной любовью. Вы его слушаете? Ради своего спасения он добивается, чтобы сожгли ту, которая ему отдавала все, что могла.

— Неле злая, — сказала Катлина, — не слушай ее, Ганс, дорогой мой.

— Нет, — сказала Неле, — нет, ты не человек, ты трусливый злобный дьявол. — И, охватив Катлину ру-

ками, она умоляла: — Господа судьи, не слушайте этого бледнолицего злодея; у него одно желание: видеть на костре мою мать, за которой нет никакой вины, кроме того, что господь поразил ее безумием и что она считает действительными призраки своих видений. Слишком много она уже выстрадала и телом и душою. Не предавайте ее смерти, господа судьи. Дайте невинной жертве дожить в мире ее печальную жизнь.

И Катлина говорила:

— Неле злая, не верь ей, Ганс, мой повелитель.

И в толпе женщины плакали, и мужчины говорили:

— Помилуйте Катлину!

Судьи вынесли приговор Иоосу Дамману, который после новых пыток сознался во всем. Он был приговорен к лишению дворянства и сожжению на медленном огне, каковое мучение он и претерпел на следующий день на площади перед ратушей, причем все время твердил:

— Казните ведьму, только она преступница. Проклинаю господа бога! Мой отец убьет всех судей! — и с этими словами испустил дух.

И народ говорил:

— Смотрите, он и сейчас еще кощунствует, богохульник! Издыхает, как собака.

На следующий день судьи вынесли приговор относительно Катлины. Ее решили подвергнуть испытанию водой в Брюггском канале. Если она не будет тонуть, она будет сожжена как ведьма; если пойдет ко дну и утонет, то кончина ее будет признана христианской, и посему тело ее будет погребено в пределах церковной ограды, то есть на кладбище.

На следующий день Катлина с восковой свечой в руках, босая, в черной рубашке, была с торжественным крестным ходом проведена вдоль деревьев к берегу канала. Впереди же с лением заупокойных молитв шествовали каноник собора Богоматери, его викарий, причетник, несший крест, а позади — комендант города Дамме, старшины, писцы, городская стража, профос, палач с двумя своими подручными. На берегу канала уже собралась громадная толпа. Женщины плакали, мужчины роптали, и все были преисполнены глубокой жалости к Катлине, а она шла как ягненок, покорно и не понимая, куда идет, и все время твердила:

— Уберите огонь, голова горит! Ганс, где ты?

Неле, стоя в толпе женщин, кричала:

— Пусть меня бросят вместе с нею!

И женщины не пускали ее к Катлине.

Резкий ветер дул с моря; с серого неба падал в воду канала мелкий град; у берега стояла барка, которую палач и его подручные заняли от имени его королевского величества. По их приказанию Катлина спустилась туда. И все видели, как палач, стоявший на барке, по знаку «жезла правосудия», данному профосом, взял Катлину на руки и бросил ее в воду. Она барахталась, но недолго, и пошла ко дну с криком:

— Ганс, Ганс! Спаси!

И народ говорил:

— Эта женщина не ведьма.

Несколько человек бросились в канал и вытащили Катлину, лишившуюся чувств и окоченевшую, как мертвец. Ее отнесли в харчевню и положили у ярко пылающего очага. Неле сняла с нее платье и мокрое белье, чтобы переодеть ее. Придя в себя, она, содрогаясь и стуча зубами, проговорила:

— Ганс, дай мне шерстяной плащ.

Но Катлина уже не могла согреться и умерла на третий день и была погребена в церковной ограде.

И Неле, осиротев, перебралась в Голландию к Розе ван Аувегем.

## VII

На зеландских шхунах, на бригах и корветах носится Тиль Клаас Уленшпигель.

По свободному морю летят доблестные суда: на них по восьми, десяти, двадцати чугунных пушек, извергающих смерть и гибель на испанских палачей.

Стал умелым пушкарем Тиль Уленшпигель, сын Клааса. Надо видеть, как он наводит, как целится, как пронизывает борты злодейских кораблей, точно они из коровьего масла.

На шляпе у него серебряный полумесяц с надписью: «Liever den Turc als den Paps» — «Лучше служить султану, чем папе».

Моряки, видя, как он взбегаёт на их корабль, легкий, как кошка, проворный, как белка, всегда с песенкой или с шуточками, спрашивают его:

— Почему это, молодец, у тебя такой юный вид — ведь, говорят, много времени прошло с тех пор, как ты родился в Дамме?

— Я не тело, я дух, — отвечает он, — а Неле моя возлюбленная. Дух Фландрии, Любовь Фландрии — мы не умрем никогда.

— Однако кровь льется из тебя, когда тебя ранят.

— Это одна видимость, — отвечает Уленшпигель, — это вино, а не кровь.

— Ну, мы проткнем тебе живот вертелом.

— Я из себя вылью, что надо.

— Ты смеешься над нами.

— Тот слышит бой барабана, кто бьет в барабан.

И вышитые хоругви католических церквей развеваются на мачтах кораблей. И одетые в бархат, парчу, шелк, золотые и серебряные материи, в какие облачаются аббаты при торжественных богослужениях, в митре и с посохом, распивая вино из монастырских погребов, — вот в каком виде стоят на часах гёзы на кораблях.

И странно было видеть, как из этих богатых одеяний вдруг высунется грубая рука, привыкшая носить аркебузу или самострел, алебарду или пику; странны эти люди с суровыми лицами, со сверкающими на солнце пистолетами и ножами за поясом, распивающие из золотых чаш аббатское вино, ставшее вином свободы.

С пением и возгласами: «Да здравствуют гёзы!» носились они по океану и Шельде.

## VIII

Гёзы — среди которых были Ламме и Уленшпигель — взяли в эти дни Хоркум. Начальником отряда был капитан Марин; в свое время этот Марин был мостовщиком на плотине; теперь же, высокомерный и самодовольный, он подписал с Гаспаром Тюрком, защитником Хоркума, капитуляцию, по которой Тюрк, монахи, горожане и солдаты, которые заперлись в крепости, получили право свободного выхода, с мушкетом на плече и с пулей в стволе, со всем, что они могут нести на себе; только церковное имущество переходит к победителям.

Но капитан Марин, по приказу господина де Люмэ,

выпустив солдат и горожан, задержал в плену девятнадцать монахов.

И Уленшпигель сказал:

— Слово солдата должно быть золотым словом. Почему же он не держит своего слова?

Старый гёз ответил Уленшпигелю:

— Монахи — дети Сатаны, проказа народов, позор страны. Сейчас, с приближением герцога Альбы, они заважничали в Хоркуме. Есть среди них один, брат Николай, более чванный, чем павлин, и более свирепый, чем тигр. Всякий раз, проходя по улице со святыми дарами, он с испуганием смотрел на дома, откуда женщины не вышли преклонить колени, и доносил судье на всякого, кто не склонялся пред его идолищем из вызолоченной меди и глины. Прочие монахи подражали ему. Из этого проистекали многие великие бедствия, казни и жестокие расправы в Хоркуме. Капитан Марин хорошо сделал, задержав в плену монахов, которые в противном случае отправились бы с им подобными по деревням, замкам, городам и местечкам проповедовать против нас, возмущая народ и подстрекая сжигать несчастных реформатов. Псов держат на цепи, пока они не издохнут. На цепь монахов, на цепь этих blood-honden, кровожадных ищеек, — псов герцога! В клетку палачей!! Да здравствуют гёзы!

— Но принц Оранский, принц свободы, — сказал Уленшпигель, — требует уважения к личному достоинству и свободной совести сдавшихся.

— Адмирал этого не применяет к монахам, — отвечали старые гёзы, — он сам господин: он взял Бриль. В клетку длиннополых!

— Слово солдата — золотое слово: почему он его не держит? — возразил Уленшпигель. — Монахи в тюрьме терпят тысячи оскорблений.

— Пепел не стучит больше в твоё сердце, — отвечали они, — сто тысяч семейств вследствие королевских указов понесли на северо-запад, в Англию, ремесла, промышленность, богатство нашей родины. А ты жалеешь тех, кто виновен в нашей гибели. Со времен императора Карла Пятого — Палача Первого, под властью Филиппа Кровавого — Палача Второго, сто восемнадцать тысяч человек погибли в мучениях. Кто нес погребальный факел в этих убийствах и горестях? Монахи и испанские солдаты. Неужто ты не слышишь стенаний душ усопших?

— Пепел стучит в мое сердце, — отвечал Уленшпигель. — Слово солдата — золотое слово!

— Кто посредством отлучений от церкви хотел извергнуть нашу родину из среды народов? Кто готов был, если бы мог, вооружить против нас небо и землю, господа и дьявола и их полчища святых? Кто окровавил бычьей кровью хлеб причастия? У кого слезами плакали деревянные статуи? Кто, как не эти проклятые попы и орды бездельников-монахов, всю нашу родину заставил петь «De profundis»\*? И все для того, чтобы сохранить свое богатство, свою власть над идолопоклонниками, чтобы царить над несчастной страной посредством крови, огня и разрушения. В клетку волков, нападающих на народ, в клетку гиен! Да здравствуют гёзы!

— Слово солдата — золотое слово, — возразил Уленшпигель

На другой день прибыл гонец от господина де Люмэ с приказом перевезти всех пленных монахов из Хоркума в Бриль, где находился адмирал.

— Они будут повешены, — сказал капитан Марин Уленшпигелю.

— Нет, пока я жив, — ответил тот.

— Сын мой, — говорил Ламме, — не разговаривай так с господином де Люмэ. Он человек необузданного нрава и без пощады повесит тебя вместе с монахами.

— Я буду ему говорить правду, — ответил Уленшпигель. — Слово солдата — золотое слово.

— Если ты можешь спасти их, — сказал Марин, — проводи барку с ними в Бриль. Возьми с собой, если хочешь, рулевым Рохуса и твоего друга Ламме.

— Хорошо, — ответил Уленшпигель.

Барка причалила к Зеленой набережной; девятнадцать монахов были посажены на нее. Рохус, по прозвищу Трусливый, взялся за руль. Уленшпигель и Ламме, вооруженные, расположились на носу. Некоторые негодяи из солдат, вкравшиеся в среду гёзов ради грабежа, стояли вокруг монахов, которые изнемогали от голода. Уленшпигель напоил и накормил их.

— Этот изменит! — говорили негодяи из солдат.

Девятнадцать монахов, сидевшие посредине, хранили

---

\* «De profundis» — заупокойная молитва у католиков (лат.).

благочестивый вид и дрожали всем телом, хотя был июль; солнце сияло ярко и тепло, и мягкий ветерок вздувал паруса барки, грузно и тяжело прорезавшей зеленые волны.

Тогда монах Николай обратился к рулевому с вопросом:

— Рохус, неужто нас везут на поле виселиц? — И, встав и протянув руки по направлению к Хоркуму, он воззвал: — О город Хоркум! Сколько бедствий суждено тебе вытерпеть? Проклят будешь ты среди городов, ибо ты дал взрасти в стенах твоих семенам ереси. О город Хоркум! Уже не будет ангел господень стоять стражем у врат твоих. Он отложит попечение о целомудрии твоих дев, о мужестве твоих мужей, о богатстве твоих купцов. О город Хоркум! Проклят ты, злополучный.

— Проклят, проклят, — ответил Уленшпигель, — проклят, как гребень, вычесавший испанских вшей; проклят, как пес, порвавший свою цепь; как гордый конь, сбросивший с себя жестокого всадника. Сам ты будь проклят, пустоголовый болтун, которому не по душе, когда ломают палку, — пусть хоть железную, — о спину тирана.

Монах умолк и, опустив глаза, как будто погрузился в свое благочестивое озлобление.

Бездельники, вкравшиеся в среду гёзов ради грабежа, окружали монахов, снова почувствовавших голод. Уленшпигель попросил для них у хозяина барки сухарей и селедок.

Тот ответил:

— Пусть их бросят в Маас: там покушают свежих селедок.

Тогда Уленшпигель отдал монахам весь запас хлеба и колбас, который был у него и Ламме. Хозяин барки и негодяи-гёзы говорили между собой:

— Вот предатель, кормит попов; надо донести на него.

В Дордрехте барка остановилась в порту у Влоетен Кеу — Цветочной набережной; женщины, мужчины, мальчишки, девочки сбежались толпой поглазеть на монахов и, показывая на них пальцами или грозя им кулаками, говорили:

— Посмотрите на этих прохвостов, которые корчили из себя святых и тащили людей на костер, а их души в вечный огонь; посмотрите на этих ожиревших тигров и пузатых шакалов.

Монахи, опустив головы, не смели сказать ни слова. Уленшпигель видел, что они дрожат всем телом.

— Мы голодны, милосердный солдатик, — говорили они.

Но хозяин барки кричал:

— Кто всегда жаден? Сухой песок. Кто всегда голоден? Монах.

Уленшпигель отправился в город и принес оттуда хлеба, ветчины и большой жбан пива.

— Ешьте и пейте, — сказал он, — вы наши пленники, но я спасу вас, если удастся. Слово солдата — золотое слово.

— Почему ты кормишь их? — говорили негодягёзы. — Они не заплатят тебе. — И потихоньку переговаривались: — Он обещал спасти их; надо смотреть за ним.

На рассвете они прибыли в Бриль. Ворота были открыты перед ними, и voet-looper — скороход — побежал сообщить господину де Люмэ об их прибытии.

Получив известие, он тотчас прискакал верхом, едва успев одеться, окруженный несколькими всадниками и вооруженными пехотинцами.

И Уленшпигель снова увидел свирепого адмирала, величавого, как знатный вельможа.

— Здравствуйте, господа монахи, — сказал де Люмэ, — поднимите-ка руки. Где же кровь графов Эгмонта и Горна? Что вы мне суете белые лапы? Она ведь на вас.

Один монах, по имени Леонард, ответил:

— Делай с нами что хочешь. Мы монахи, никто за нас не заступится.

— Верно сказано, — вмешался Уленшпигель, — ибо монах порвал со всем миром — с отцом и матерью, братом и сестрой, женой и возлюбленной — и в последний час действительно не имеет никого, кто бы за него вступился. Все-таки я попробую сделать это, ваша милость. Капитан Марин, подписывая капитуляцию Хоркума, дал в ней обещание, что монахи получают свободу, подобно всем, взятым в крепости, и будут выпущены из нее. Между тем они без всякой причины были задержаны в плену; я слышал, что их собираются повесить. Ваша милость, почтительнейше обращаюсь к вам, вступаясь за них, так как знаю, что слово солдата — золотое слово.

— Кто ты такой? — спросил господин де Люмэ.

— Ваша милость, — ответил Уленшпигель, — я фламандец, родом из прекрасной Фландрии, крестьянин, дворянин, всё вместе; брожу по свету, восхваляя все прекрасное и издеваясь над глупостью во всю глотку. И вас я буду прославлять, если вы сдержите обещание, данное капитаном: слово солдата — золотое слово.

Но негодяи-гёзы, бывшие на барке, заговорили:

— Ваша милость, это предатель: он обещал спасти их, он давал им хлеб, ветчину, колбасы, пиво, а нам ничего.

Тогда господин де Люмэ сказал Уленшпигелю:

— Фламандский бродяга, кормилец монахов, ты будешь вздернут вместе с ними.

— Не испугаюсь, — ответил Уленшпигель, — слово солдата — золотое слово.

— Поговори еще! — сказал де Люмэ.

— Пепел стучит в мое сердце, — ответил Уленшпигель.

Монахи были заперты в сарае, и Уленшпигель вместе с ними; здесь они пытались богословскими доводами обратить его на путь истины, но он заснул, слушая их.

Господин де Люмэ сидел за столом, уставленным вином и яствами, когда из Хоркума от капитана Марина прибыл курьер с копией письма Молчаливого, принца Оранского, «повелевающего всем губернаторам городов и иных местностей предоставить духовенству такие же права, охрану и безопасность, как и прочему населению».

Курьер пожелал видеть самого адмирала де Люмэ, чтобы передать ему в собственные руки копию письма.

— Где подлинник? — спросил де Люмэ.

— У моего господина, — ответил курьер.

— И этот мужик посылает мне копию? — вскричал де Люмэ. — Где твой паспорт?

— Вот, ваша милость.

Господин де Люмэ начал громко читать:

— «Его милость господин Марин Бранд сим приказывает всем губернаторам, начальствующим и должностным лицам республики чинить свободный пропуск...»

Де Люмэ стукнул кулаком по столу и разорвал паспорт на куски.

— Кровь господня! — закричал он. — Чего тут мешается этот босяк, который до взятия Брили рад был селедочной головке! Он именуется себя господином и

командиром и посылает мне, *мне* посылает свои приказы. Он повелевает, он приказывает! Скажи его милости, твоему важному господину и повелителю, что именно потому, что он такой важный господин и повелитель, монахи будут сейчас повешены и ты вместе с ними, если не уберешься сию же минуту.

И пинком ноги он вышвырнул его из комнаты.

— Пить! — закричал он. — Какова наглость этого Марина? Я чуть не подавился от злости. Повесить сейчас этих монахов в их сарае и привести ко мне этого фламандского бродягу, после того как он побывает при казни. Посмотрим, как он посмеет сказать мне, что я поступил дурно. Кровь господня! На какого черта здесь все эти горшки и бутылки?

И он с треском перебил всю посуду, тарелки и бокалы, и никто не смел ему сказать ни слова. Слуги хотели подобрать осколки, но он не позволил, и, вливая в себя одну бутылку за другой, он расхаживал большими шагами по осколкам, бешено топая и дробя их.

Ввели Уленшпигеля.

— Ну, — сказал де Люмэ, — что слышно новенького о твоих друзьях монахах?

— Они повешены, — ответил Уленшпигель, — и подлый палач, убивший их ради корысти, распорол одному из них, после смерти, точно заколотой свинье, живот и бока, чтобы продать сало аптекарю. Слово солдата уже больше не золотое слово.

Де Люмэ затопал ногами по осколкам посуды.

— Ты дерзишь мне, червяк негодный! — закричал он. — Но ты тоже будешь повешен, только не в сарае, а на площади, позорно, перед всем миром.

— Позор вам, — сказал Уленшпигель, — позор нам: слово солдата уже не золотое слово.

— Замолчишь ты, медный лоб? — крикнул де Люмэ.

— Позор тебе, — ответил Уленшпигель: — слово солдата уже не золотое слово. Прикажи повесить лучше негодяев, торгующих человеческим салом.

Де Люмэ бросился к нему, подняв руку, чтобы ударить.

— Бей, — вымолвил Уленшпигель, — я твой пленник, но я не боюсь тебя: слово солдата уже не золотое слово.

Де Люмэ выхватил шпагу и, наверное, убил бы Уленшпигеля, если бы господин Трелон, схватив его за руку, не сказал:

— Помилуй его. Он храбрый молодец и не совершил никакого преступления.

Де Люмэ опомнился и сказал:

— Пусть просит прощения!

Но Уленшпигель, выпрямившись, ответил:

— Не стану!

— Пусть по крайней мере скажет, что я поступил справедливо, — яростно заорал де Люмэ.

— Я не из тех, кто лижет начальнику сапоги, — сказал Уленшпигель. — Слово солдата уже не золотое слово.

— Поставьте виселицу и отведите его: пусть он там услышит пеньковое слово! — вскричал де Люмэ.

— Хорошо, — ответил Уленшпигель, — я перед всем народом буду тебе кричать: «Слово солдата уже не золотое слово».

Виселица была воздвигнута на Большом рынке. Тотчас же весь город обежала весть, что будут вешать Уленшпигеля, храброго гёза. И народ, исполненный жалости и сострадания, сбежался толпой на Большой рынок; господин де Люмэ также прибыл сюда верхом на лошади, желая лично подать знак к исполнению казни.

Он сурово смотрел на стоящего на лестнице Уленшпигеля, раздетого для казни, в одной рубашке, с привязанными к телу руками и веревкой на шее, и на палача, готового приступить к делу. Трелон обратился к нему:

— Адмирал, пожалейте его; он не предатель, и никто не видел еще, чтобы вешали человека за то, что он прямодушен и жалостлив.

И народ — мужчины и женщины, — услышав слова Трелона, кричал:

— Сжальтесь, ваша милость, помилуйте Уленшпигеля!

— Этот медный лоб был дерзок со мной, — сказал де Люмэ, — пусть покается и скажет, что я был прав.

— Согласен ты покаяться и сказать, что он был прав? — спросил Трелон Уленшпигеля.

— Слово солдата уже не золотое слово, — ответил Уленшпигель.

— Тяни веревку, — сказал де Люмэ.

Палач чуть было не исполнил приказания, как вдруг молодая девушка, вся в белом и с венком на голове, взбежала, как безумная, по ступенькам эшафота, бросилась Уленшпигелю на шею и крикнула:

— Этот человек мой; я беру его в мужья!

И народ рукоплескал ей, и женщины кричали:

— Хвала девушке, она спасла Уленшпигеля!

— Это еще что такое? — спросил де Люмэ.

— По нравам и обычаям этой страны, — ответил Трелон, — установлено, как закон и право, что невинная или незамужняя девушка спасает человека от петли, если у подножия виселицы берет его себе в мужья.

— Бог за него, — сказал де Люмэ, — развяжите его.

Проезжая затем мимо эшафота, он увидел, что палач не дает девушке разрезать веревки Уленшпигеля и борется с ней, говоря:

— Если вы их разрежете, кто за них заплатит?

Но девушка не слушала его.

Увидя ее миловидность, проворство и нежность, де Люмэ смягчился.

— Кто ты? — спросил он.

— Я Неле, его невеста, я приехала за ним из Фландрии.

— Хорошо сделала, — надменно сказал он, удаляясь.

К ним подошел Трелон.

— Маленький фламандец, — спросил он, — ты и женившись останешься солдатом на наших кораблях?

— Да, ваша милость, — ответил Уленшпигель.

— А ты, девочка, что будешь делать без твоего мужа?

— Если позволит ваша милость, я буду флейтщиком на его корабле.

— Согласен, — сказал Трелон.

И он дал ей два флорина на свадьбу.

И Ламме, плача и смеясь от радости, говорил:

— Вот еще три флорина. Всё проедем: я плачу за все. Идем в «Золотой гребешок». Ах, он жив остался, мой друг. Да здравствуют гёзы!

И народ бил в ладоши, и они отправились в «Золотой гребешок», где было устроено великое пиршество, и Ламме бросал из окна мелкие деньги народу.

А Уленшпигель говорил Неле:

— Красавица моя дорогая, вот ты со мной. О радости! Она здесь телом, душой и сердцем, моя милая подружка.

О кроткие глазки, о пурпурные уста, говорящие только одни добрые слова. Она спасла мне жизнь, моя нежная, моя любимая! Ты будешь играть на наших кораблях песню освобождения. Помнишь... Нет, не надо... Наш этот сладостный час, мое это личико нежное, как июньский цветок. Я в раю... Но ты плачешь...

— Они убили ее, — сказала Неле. И она рассказала ему о своей утрате.

И, глядя друг другу в глаза, они плакали от любви и скорби.

И на пиру они ели и пили, и Ламме грустно смотрел на них, приговаривая:

— О жена моя, где ты?

И явился священник и обвенчал Неле и Уленшпигеля.

И утреннее солнце застало их рядом в их брачной постели.

Голова Неле лежала на плече Уленшпигеля. И, когда луч солнца разбудил ее, он сказал:

— Свежее личико и нежное сердечко, мы будем мстителями за Фландрию.

И она, поцеловав его в губы, сказала:

— Отчаянная голова и могучая рука, господь благословит союз флейты и шпаги.

— Я тебе закажу солдатскую одежду.

— Сейчас? — сказала она.

— Сейчас, — ответил Уленшпигель. — Но кто это сказал, что земляника всего вкуснее по утрам? Твои губы много слаще.

## IX

Уленшпигель, Ламме и Неле, так же как их друзья и товарищи, отбирали у монастырей то, что монахи выманивали у народа крестным ходом, ложными чудесами и прочими римскими фокусами. Делали это гёзы против повеления Молчаливого, принца свободы, но деньги шли на военные расходы. Ламме Гудзак не довольствовался деньгами: он забирал в монастырях окорока, колбасы, бутылки пива и вина и возвращался с похода обвешанный птицей: гусями, индейками, каплунами, курами и цыплятами, ведя на веревке еще нескольких монастырских телят и свиней.

— Это принадлежит нам по праву войны, — говорил он.

В восторге от каждого такого захвата, он приносил добычу на корабль для пиршества и угощения, но жаловался всегда, что корабельный повар — невежда в высокой науке соусов и жарких.

Как-то гэзы, победоносно налившись вином, обратились к Уленшпигелю:

— У тебя хороший нюх на то, что творится на суше; ты знаешь все военные походы. Спой нам о них, Ламме будет бить в барабан, а смазливый флейтщик посвистит в такт твоей песне.

И Уленшпигель начал:

— В ясный, свежий майский день Людвиг Нассауский, рассчитывая войти в Монс, не нашел, однако, ни своей пехоты, ни конницы. Несколько его приверженцев уже открыли ворота и опустили подъемный мост, чтобы он мог взять город. Но горожане овладели воротами и мостом. Где же солдаты графа Людвига? Горожане вот-вот подымут мост. Граф Людвиг трубит в рог!

И Уленшпигель запел:

Где твои всадники, где пехотинцы?  
По лесу бродят, мнут под ногой  
Ландыш в цвету и валежник сухой...  
На их суровых, обветренных лицах  
Луч солнца играет, и спины коней  
Блестят под навесом зеленых ветвей.  
Чу! Звуки рога... Граф Людвиг зовет...  
Слышат они — и тихо сбор барабанщик бьет.

Все на коней! Алжур боевой!  
Закусив удила, скакуны летят.  
Всадник за всадником мчатся стрелой,  
Грозно доспехи на них гремят.  
Мчитесь на помощь! Скорей, скорей!  
Уж мост поднимают... Гоните коней!  
Вонзайте в бока разъяренные шпоры!  
Уж мост поднимают... Потерян город!

Вот он перед ними. Поспеют иль нет?..  
Земли не касаясь, отряд несется,  
Впереди граф Шомон на своем скакуне,  
Смелый скачок, — и мост поддается...  
Наш город Монс! По его мостовой —  
Слышите? — всадники мчатся стрелой,  
Мчатся, как грозный, железный вихрь, —  
Только доспехи гремят на них.

Слава Шомону и коню его — слава!  
Бей, барабан, веселее! Трубите, горнисты!  
Скоро косьба, ароматом дышат цветы и травы,  
Птички носятся с пеньем в небе лазурном, чистом.  
Слава свободным птицам! Бей, барабан, бей!  
Мы победили. Графу Шомону и коню его — слава!  
За здоровье Шомона — чокнемся, пей!  
Взят город Монс!.. Да здравствуют гёзы!

И гёзы пели на кораблях: «Христос, возри на войско твое! Господь, наточи мечи! Да здравствуют гёзы!»

И Неле, смеясь, дудела на своей флейте, и Ламме бил в барабан, и вверх к небесам, храму господнему, вздымались золотые чаши и песни свободы. И волны, ясные и свежие, точно сирены, мерно плескались вокруг корабля.

## Х

Был жаркий и душный августовский день; Ламме тосковал. Молчал и спал его веселый барабан, и палочки его торчали из отверстия сумки. Уленшпигель и Неле, любовно улыбаясь от удовольствия, грелись на солнце. Дозорные, сидя на верхушке мачты, свистели или пели, рыская глазами по морскому простору, не увидят ли на горизонте какой добычи. Трелон спрашивал их, но они отвечали только:

— Niets — ничего.

И Ламме жалобно вздыхал, бледный и усталый. И Неле спросила его:

— Отчего это, Ламме, ты такой грустный?

— Ты хуdeerшь, сын мой, — сказал Уленшпигель.

— Да, — ответил Ламме, — я тоскую и хуdeerю. Сердце мое теряет свою веселость, а моя добродушная рожа — свою свежесть. Да, смеяться надо мной вы, нашедшие друг друга, несмотря на тысячи опасностей. Насмехайтесь над бедным Ламме, который живет вдовцом, будучи женат, тогда как вот она, — он указал на Неле, — спасла своего мужа от лобзаний веревки и будет его последней возлюбленной. Неле хорошо поступила, да благословит ее господь. Но пусть она не смеется надо мной. Да, ты не должна смеяться над бедным Ламме, друг мой Неле. Моя жена смеется за десятерых. О женщины, как вы жестоки к чужим страданиям! Да, тоскует мое сердце,

пораженное мечом разлуки, и ничто не исцелит его, кроме нее.

— Или куска доброго жаркого! — сказал Уленшпигель.

— Да, — ответил Ламме, — а где же мясо на этом гунылом корабле? На королевских судах в мясоед получают четыре раза в неделю говядину и три раза рыбу. Что до рыбы, — да покарает меня господь, если эта мочала — я говорю о рыбьем мясе — производит что-нибудь, кроме бесплодного пожара в моей крови, моей бедной крови, которая скоро уйдет с водою. У них там есть и пиво, и сыр, и суп, и выпивка. Да, у них все для радостей желудка: сухари, ржаной хлеб, пиво, масло, солонина; да, все: копченая рыба, сыр, горчица, соль, бобы, горох, крупа, уксус, оливковое масло, сало, дрова, уголь. А нам только что запретили забирать скот чей бы то ни было — дворянский, мещанский или поповский. Едим селедку и пьем жиденькое пиво. Ох-ох, всего-всего я лишен, ни *dobbel-bruinbier* \*, ни порядочной еды. В чем здесь наши радости?

— Я сейчас скажу тебе, Ламме, — ответил Уленшпигель, — око за око, зуб за зуб; в Париже в ночь святого Варфоломея они убили десять тысяч человек, десять тысяч свободных сердец в одном только Париже. Сам король стрелял в свой народ. Проснись, фламандец, схватись за свой топор, не зная жалости: вот наши радости. Бей врага — испанца и католика — везде, где он попадется тебе. Забудь о своей жратве. Они отвозили живыми и мертвыми свои жертвы к рекам и целыми повозками выбрасывали их в воду. Мертвых и живых! — слышишь ты, Ламме. Девять дней была красна Сена, и вороны тучами слетались над городом. И в Ла Шарите, Руане, Тулузе, Лионе, Бордо, Бурже, Мо избиение было чудовищно. Видишь стан пресыщенных собак, лежащих подле трупов? Их зубы устали. Полет ворон тяжел, потому что брюхо их переполнено мясом жертв. Слышишь, Ламме, голос жертв, вопиющих о мести и жалости? Проснись, фламандец! Ты говоришь о твоей жене. Я не думаю, чтобы она тебе изменила: она влюблена в тебя, бедный мой друг. И она не была среди этих придворных дам,

---

\* *Dobbel-bruinbier* — темное пиво двойной крепости (флам.).

которые в самую ночь убийств своими нежными ручками раздевали трупы, чтобы удостовериться в размерах их мужской плоти. И они хохотали, эти дамы, великие в распутстве. Воспрянь духом, сын мой, несмотря на твою рыбу и жидкое пиво. Если скверно во рту после селедки, то много сквернее запах этих гнусностей. Вот пируют убийцы и плохо вымытыми руками режут жареных гусей, угощая знатных красавиц парижских, поднося им лапки, крылышки и гузку. А ведь только что они трогали руками другое мясо, холодное мясо.

— Больше не буду жаловаться, сын мой, — сказал Ламме, вставая. — Для свободных сердец селедка — тот же дрозд, жидкое пиво — мальвазия.

И Уленшпигель возгласил:

Да здравствуют гёзы!  
Братья! Плакать не время сейчас.  
На крови, из развалин,  
Расцветает роза свободы.  
С нами господь! — Кто устоит против нас?  
Пусть торжествует сегодня гиена,  
Час пробьет — и лев победит:  
Лапой он хватит гиену и ее опрокинет.  
Око за око! Зуб за зуб! Да здравствуют гёзы!

И гёзы на кораблях подхватили:

Сам себе участь жестокою Альба готовит:  
Раной отплатим за рану! Зуб за зуб!  
Око за око! Да здравствуют гёзы!

## XI

Черной ночью грохотал гром в недрах грозových туч. Уленшпигель сидел с Неле на палубе.

— Все наши огни погашены, — сказал он. — Мы лисы, подстерегающие испанскую дичь: двадцать два богатых испанских корабля, на которых мерцают фонари, — это их несчастные звезды. И мы мчимся на них.

— Это колдовская ночь, — сказала Неле, — небо черно, как пасть ада, зарницы вспыхивают, как улыбка Сатаны, глухо грохочет вдали буря; с резкими криками носятся вокруг чайки; море катит свои светящиеся волны, и кажется, что на гребнях их выются серебряные ужи.

Тиль, дорогой мой, унесемся в царство духов. Прими порошок сновидений.

— Я увижу Семерых, дорогая?

И они приняли порошок, вызывающий видения.

И Неле закрыла глаза Уленшпигелю, и Уленшпигель закрыл глаза Неле. И страшное зрелище предстало пред ними.

Небо, земля, море были заполнены толпами людей: мужчины, женщины, дети работали, бродили,плыли, мечтали. Их баюкало море, их несла земля. Они копошились, точно угри в корзине.

Семь венценосцев, мужчин и женщин, посредине неба сидели на престолах. На лбу у каждого сверкала блестящая звезда, но образ их был так смутен, что Неле и Уленшпигель не различали ничего, кроме их звезд.

Море вздымалось под небеса, неся на своих волнах бесчисленное множество кораблей, мачты и снасти которых сталкивались, скрещивались, ломались, разбивались, следуя порывистым движениям воды. И вот появился один корабль среди прочих. Борта его были из пламенеющего железа. Его стальной киль был острее ножа. Вода болезненно вскрикивала, когда он прорезал ее. На корме корабля, оскалив зубы, сидела Смерть, держа в одной руке косу, а в другой бич, которым она, издеваясь, хлестала семерых путников. Первым из них был сухопарый, мрачный, надменный, безмолвный человек. В одной руке он держал скипетр, в другой меч. Подле него сидела верхом на козе девушка в расстегнутом платье, с голыми грудями, с дерзким взглядом, с багровым румянцем на щеках. Она похотливо тянулась к старому еврею, собиравшему гвозди, и к надутому толстяку, который падал всякий раз, как она ставила его на ноги, между тем как тощая женщина яростно колотила их обоих. Толстяк не защищался, равно как его краснолицая подруга. Монах, сидя посредине, уплетал колбасу. Другая женщина, ползая по земле, скользила между ними, как змея. Она кусала старого еврея за то, что у него ржавые гвозди, толстяка — за его благодушие, краснолицую девушку — за влажный блеск ее глаз, монаха — за колбасы и надменного человека — за его скипетр. И все передрались между собой.

Когда они промелькнули, бой на море, на небе и на земле стал ужасен. Лил кровавый дождь. Корабли были

изрублены топорами, разбиты выстрелами из пушек и ружей. Обломки их носились по воздуху среди порохового дыма. На земле сталкивались армии, подобно медным стенам. Города, деревни, поля горели среди криков и слез. Высокие колокольни гордыми очертаниями вздымали свое каменное кружево среди огня, потом рушились с грохотом, точно срубленные дубы. Многочисленные черные всадники, словно муравьи, разбившись на тесные отряды, с мечом в одной руке и пистолетом в другой, избивали мужчин, женщин, детей. Пробив проруби, одни топили в них живыми стариков, другие отрезали груди у женщин и посыпали раны перцем, третьи в печных трубах вешали детей. Устав убивать, они насильовали девушек и женщин, пьянствовали, играли в кости и, засунув руки в груди золота — плод грабежа, — копались в них окровавленными пальцами.

Семеро, увенчанные звездами, возглашали:

— Жалость к несчастному миру!

И призраки хохотали. И голоса их были подобны крику тысячи морских орлов.

И Смерть грозила своей косой.

— Слышишь? — говорил Уленшпигель. — Это хищные птицы, слетевшиеся на трупы людские. Они питаются маленькими птичками: теми, кто прост и добр.

И Семеро, увенчанные звездами, возглашали:

— Любовь, справедливость, сострадание!

И семь призраков хохотали. И голоса их были подобны крику тысячи морских орлов. И Смерть хлестала их своим бичом.

И корабль мчался по волнам, разрезая пополам суда, ладьи, мужчин, женщин, детей. И над морем оглушительно несся жалобный стон жертв, моливших: «Сжальтесь!»

И красный корабль прошел через них, между тем как призраки кричали, как морские орлы.

И Смерть с хохотом пила воду, густо окрашенную кровью.

И корабль исчез в тумане, стихла битва, и исчезли семь звездных венцов.

И Уленшпигель и Неле видели пред собой только черное небо, бурное море, мрачные тучи, спускающиеся на светящиеся волны, и — совсем близко — красные звезды.

Это были фонари двадцати двух кораблей. Глухо шумело море, и раздавались раскаты грома.

И Уленшпигель тихо ударил wasaght (тревогу) в колокол и крикнул:

— Испанцы, испанцы! Держать на Флиссинген!

И крик этот был подхвачен всем флотом.

— Серый туман покрыл небо и море, — говорит Уленшпигель. — Тускло мерцают фонари, встает заря, свежеет ветер, валы взметают свою пену выше палубы, льет дождь и стихает, восходит лучезарное солнце, золотя гребни волн: это твоя улыбка, Неле, свежая, как утро, кроткая, как солнечный луч.

Проходят двадцать два корабля с богатым грузом; на судах гёзов бьют барабаны, свистят флейты, де Люмэ кричит: «Во имя принца, в погоню!» Эвонт Питерсен Ворт, вице-адмирал, кричит: «Во имя принца Оранского и господина адмирала, в погоню!» И на всех кораблях, на «Иоганне», «Лебеде», «Анне-Марии», «Гёзе», «Компромиссе», «Эгмонте», «Горне», «Вильгельме Молчаливом» кричат капитаны: «Во имя принца Оранского и господина адмирала!»

— В погоню, да здравствуют гёзы! — кричат солдаты и моряки.

Корвет Трелона «Бриль», на котором находятся Ламме и Уленшпигель, вместе с «Иоганной», «Лебедем» и «Гёзом» захватили четыре корабля. Гёзы бросают в воду все, что носит имя испанца, берут в плен уроженцев Голландии, очищают корабли, точно яичную скорлупу, от всякого груза и бросают их на произвол волн без мачт и парусов. Затем они пускаются в погоню за остальными восемнадцатью судами. Порывистый ветер дует со стороны Антверпена, борта быстроходных кораблей склоняются к воде под тяжестью парусов, надутых как щеки монаха, когда дует из кухни; преследуемые корабли несутся к Мидделбургу; гёзы под огнем укреплений гонят их. Завязывается кровопролитный бой; гёзы с топорами в руках бросаются на палубы вражеских кораблей; вот все они покрыты отрубленными руками и ногами, которые после боя приходится корзинами выбрасывать в воду. Береговые укрепления осыпают гёзов снарядами; не обращая на это внимания, они под крики: «Да здравствуют гёзы!» забирают порох, пушки, свинец и пули с кораблей;

опустошив, сжигают их и уносятся во Флиссинген, оставив вражеские суда тлеть и догорать в гавани.

Из Флиссингена гёзы направляют отряды в Зеландию и Голландию разрушать плотины, а другие отряды помогают на верфи строить новые суда, особенно шхуны в сто сорок тонн, способные поднять до двадцати чугунных орудий.

## ХИ

Над кораблями идет снег. Вся воздушная даль бела, и снежинки неустанно падают, падают мягко в черную воду и там быстро тают.

Снег идет на земле; белы дороги, белы черные остовы оголенных деревьев. Ни звука; только далеко в Гарлеме колокола отбивают часы, и этот веселый перезвон разносится в снежной дали.

Не звоните, колокола, не наигрывайте своих напевов, простых и мирных: приближается дон Фадрике, отродье кровавого Альбы. Он идет на тебя с тридцатью пятью батальонами испанцев, твоих смертельных врагов, о Гарлем, город свободы: двадцать два батальона валлонов, восемнадцать батальонов немцев, восемьсот лошадей, могучая артиллерия следуют за ним. Слышишь ли ты лязг этих смертоносных орудий на колесах? Фальконеты, кулеврины, широкогорлые мортиры — это все для тебя, Гарлем. Не звоните, колокола, не разносите веселого перезвона своих напевов, простых и мирных, в снежной пелене воздуха!

Будем звонить мы, колокола; я, перезвон, буду звенеть, бросая мои смелые напевы в снежную пелену воздуха. Гарлем — город отважных сердец и мужественных женщин. Без страха с высоты своих колоколен смотрит он, как копошатся, подобно адским муравейникам, черные орды палачей; Уленшпигель, Ламме и сто морских гёзов в его стенах. Их корабли крейсируют в Гарлемском озере.

— Пусть придут! — говорят горожане. — Мы ведь только простые обыватели, рыбаки, моряки и женщины. Сын герцога Альбы заявил, что для входа в наш город не хочет иных ключей, кроме своих пушек. Пусть откроет, если может, эти хрупкие ворота: он найдет за ними му-

жей. Звоните, колокола, несите свои веселые напевы в снежный простор!

У нас слабые стены и устарелые рвы — больше ничего. Четырнадцать орудий извергают свои сорокашести-фунтовые ядра в Gruys-poort. Поставьте людей там, где не хватает камней. Пришла ночь, все на работе, — и словно никогда здесь не было пушек. В Gruys-poort он выпустил шестьсот восемьдесят ядер, в ворота святого Яна — шестьсот семьдесят пять. Эти ключи не открывают, ибо вот за стенами вырос новый вал. Звоните, колокола, бросай, перезвон, свои веселые напевы!

Пушки неустанно громят и громят крепость, разлетаются камни, рушится стена. Брешь достаточно широка для прохождения фронта целого батальона. Приступ! «Бей, бей!» — кричат они. Они карабкаются, их десять тысяч; дайте им перебраться через рвы с их мостами, с их лестницами. Наши орудия готовы! Вот знамя тех, кто идет на смерть. Отдайте им честь, пушки свободы! Они салютуют: цепные ядра, смоляные обручи, пылая, летят, свистят, разят, пробивают, зажигают, ослепляют строй наступающих, который ослаб и бежит в беспорядке. Полторы тысячи трупов переполнили ров. Звоните, колокола, неси, перезвон, свои бодрые напевы!

Еще раз на приступ! Не смеют! Принялись за обстрел, ведут подкопы. Ну, мы тоже знаем минное дело. Под ними, под ними зажгите фитиль. Сюда, народ, будет, на что посмотреть. Четыреста испанцев взлетели на воздух! Это им путь к вечному огню. О чудная пляска под серебряный напев наших колоколов, под веселый их перезвон.

Они и не думают, что принц заботится о нас, что каждый день по прекрасно охраняемым путям к нам прибывают вереницы саней с грузом хлеба и пороха: хлеб для нас, порох для них. Где шестьсот немцев, которых мы утопили и перебили в гарлемском лесу? Где одиннадцать знамен, которые мы взяли у них, шесть орудий и пятьдесят быков? Прежде у нас была одна крепостная стена, теперь — две. Даже женщины дерутся, и Кенан стоит во главе их отважного отряда. Придите, придите, палачи, вступите в наши улицы, наши дети подрежут вам поджилки своими маленькими ножами! Звоните, колокола, и ты, перезвон, бросай вдаль свои веселые напевы!

Но судьба против нас. Эскадра гёзов разбита на Гарлемском озере. Разбито войско Оранского, посланное

нам на помощь. Все мерзнет, все мерзнет. Нет помощи ниоткуда. И вот уже пять месяцев мы держимся, тысяча против десяти тысяч. Надо как-нибудь сговориться с палачами. Но захочет ли слушать о каком бы то ни было договоре отродье Альбы, после того как он поклялся уничтожить нас! Пусть выйдут с оружием все солдаты; они прорвутся через неприятельские ряды. Но женщины у ворот; они боятся, что их оставят одних охранять город. Не звоните, колокола, не бросай своих напевов, веселый перезвон!

Вот июнь на дворе, пахнет сеном, рожь золотистая блестит на солнце, поют птички. Мы голодали пять месяцев, город в отчаянии. Мы выйдем все из города: впереди стрелки, чтобы открыть путь, потом женщины, дети, должностные лица под охраной пехоты, стерегущей брешь. И вдруг письмо! Письмо от кровавого отродья Альбы. Что возвещает оно — смерть? Нет, жизнь всем, кто находится в городе. О неожиданная милость! Но, может быть, это ложь? Запоешь ли ты еще, веселый перезвон колоколов? Они вступают в город!

Уленшпигель, Ламме и Неле переоделись немецкими наемниками и вместе с ними — всего шестьсот человек — заперлись в августинском монастыре.

— Мы умрем сегодня, — шепнул Уленшпигель Ламме.

И он прижал к груди нежное тельце Неле, дрожащее от страха.

— О жена моя, я не увижу ее, — вздохнул Ламме, — но, может быть, одежда немецких солдат спасет нам жизнь.

Уленшпигель покачал головой, чтобы показать, что он не верит в пощаду.

— Я не слышу шума разгрома, — сказал Ламме.

— По договору, — ответил Уленшпигель, — горожане откупились от грабежа и резни за взнос в двести сорок тысяч флоринов. Они должны уплатить в течение двенадцати дней наличными сто тысяч, а остальные через три месяца. Женщинам приказано укрыться в церквах. Убийства начнутся несомненно. Слышишь, как сколачивают эшафоты и строят виселицы?

— Ах, пришел нам конец, — сказала Неле. — Я голодна!

— Да, — сказал потихоньку Ламме Уленшпигелю, — кровавый выродок герцогский сказал, что, изголодавшись, мы будем покорны, когда нас поведут на казнь.

— Я так голодна! — сказала Неле.

Вечером пришли солдаты и принесли по одному хлебу на шестерых.

— Триста валлонских солдат повешены на рынке, — рассказывали они. — Скоро ваша очередь. Всегда так было, что гёз венчался с виселицей.

На другой день они опять принесли по хлебу на шесть человек.

— Четырём почтенным горожанам отрубили головы, — рассказывали они, — двести сорок восемь солдат связаны по двое и брошены в море. Жирны будут раки в этом году. Да, вы не потолстели с седьмого июля, когда вас здесь заперли. Обжоры и пьяницы все эти нидерландцы; нам вот, испанцам, довольно двух фиг на ужин.

— Вот почему, — ответил Уленшпигель, — вы повсюду требуете от обывателей, чтобы вас кормили четыре раза в день мясом, птицей, сливками, вином и вареньем; вам нужно молоко для омовения ваших *mustachos* \* и вино, чтобы мыть копыта ваших лошадей.

Восемнадцатого июля Неле сказала:

— У меня мокро под ногами. Что это такое?

— Кровь, — ответил Уленшпигель.

Вечером солдаты опять принесли по хлебу на шестерых.

— Где недостаточно веревки, там справляется топор, — рассказывали они: — триста солдат и двадцать семь горожан, которые вздумали убежать, шествуют теперь в ад, неся свои головы в руках.

На другой день кровь опять потекла в монастырь; солдаты пришли, но не принесли хлеба, а только смотрели на заключенных и говорили:

— Пятьсот валлонов, англичан и шотландцев, которым вчера отрубили головы, выглядели лучше; эти изголодались, конечно, но кому же и умирать с голоду, как не гёзу: гёз ведь значит «нищий».

И в самом деле, бледные, изможденные, дрожащие от озноба, они были похожи на призраки.

---

\* *Mustachos* — усы (исп.).

Шестнадцатого августа в пять часов вечера пришли солдаты и со смехом роздали узникам хлеб, сыр, пиво.

— Это предсмертный пир, — сказал Ламме.

В десять часов пришли четыре батальона: командиры приказали открыть ворота монастыря и, поставив заключенных по четыре человека в ряд, приказали им идти за барабанами и флейтами вплоть до места, где им сказано будет остановиться. Некоторые улицы были красны от крови; и так они шли по направлению к полю виселиц.

Здесь и там на лугах краснели лужи крови; кровь была кругом под стенами. Тучами носились всюду вороны; солнце заходило в тумане, небо было еще ясно, и в глубине его робко зажигались звездочки. Вдруг послышались жалобные завывания.

— Это кричат гёзы, запертые в форте Фейке, за городом, — сказали солдаты, — их приказано уморить голодом.

— И наш час пришел, — сказала Неле. И она заплакала.

— Пепел стучит в мое сердце, — сказал Уленшпигель.

— Ах, — сказал Ламме (он говорил по-фламандски, и конвойные солдаты не понимали этого гордого языка). — Ах, если бы я мог захватить кровавого герцога и заставить его глотать все эти веревки, виселицы, плахи, гири, дыбы, тиски, глотать до тех пор, пока он не лопнул бы; если бы я мог поить и поить его пролитой им кровью, чтобы из его продырявленной шкуры и разодранных кишков вылезли все эти деревянные щепки и куски железа и чтобы он еще не издох от этого, а я бы вырвал у него из груди сердце и заставил его сырьем сожрать это ядовитое сердце. Тогда уже наверное, уйдя из этой жизни, он попадет в серное пекло, где дьявол заставит его жевать и пережевывать эту закуску, и так во веки веков!

— Аминь! — сказали Уленшпигель и Неле.

— Но ты ничего не видишь? — спросила она.

— Нет.

— Я вижу на западе пять мужчин и двух женщин, — сказала она, — они сидят кружком. Один в пурпуре и в золотой короне. Он кажется главою прочих; они все в лохмотьях и отрепьях. И на востоке, я вижу, тоже явились Семеро; один во главе их; он тоже в пурпуре, но без короны. И они несутся к тем, что на западе, к тем

женщинам и мужчинам. Они борются с ними в облаках, но больше я ничего не вижу.

— Семеро, — сказал Уленшпигель.

— Я слышу, подле нас, — сказала Неле, — в листве голос, точно дуновение ветра, говорит:

Средь развалин, в огне,

И мечом на войне —

Ищи!

Там, где смерть, боль и страх,

И в крови и в слезах —

Найди!

— Не мы — другие освободят землю Фландрскую, — сказал Уленшпигель. — Ночь темнеет, солдаты зажигают факелы. Мы уже подле поля виселиц. О милая моя подруга, зачем ты пошла за мной? Больше ничего не слышишь, Неле?

— Слышу, — ответила она, — в хлебах звякнуло оружие. И там, над этим склоном, повыше дороги, по которой мы идем, видишь, блеснул на стали багровый отсвет факелов. Я вижу огненные кончики фитилей аркебуз. Спят наши конвойные или ослепли? Слышишь громовый залп? Видишь, как падают испанцы под пулями? Слышишь: «Да здравствуют гёзы!»? Бегом вверх по тропинке они подымаются с копьями наперевес; они сбегают по склону с топором в руке. Да здравствуют гёзы!

— Да здравствуют гёзы! — кричали Ламме и Уленшпигель.

— Вот солдаты дают нам оружие, — говорила Неле, — бери, Ламме, бери, дорогой! Да здравствуют гёзы!

— Да здравствуют гёзы! — кричит толпа пленников.

— Непрестанно палят аркебузы, — говорит Неле, — испанцы падают как мухи, потому что освещены факелами. Да здравствуют гёзы!

— Да здравствуют гёзы! — кричит отряд спасителей.

— Да здравствуют гёзы! — кричат Уленшпигель и пленники. — Испанцы в железном кольце! Бей, бей! Уж нет ни одного на ногах. Бей без пощады, война без жалости! А теперь собирай пожитки и бегом в Энкгейзен. Кому суконное и шелковое платье палачей? Кому их оружие?

— Всем, всем! — кричат они. — Да здравствуют гёзы!

И в самом деле, гёзы возвращаются на судно в Энкгейзен.

И Ламме, Неле и Уленшпигель вновь на своих кораблях. И снова поют они в открытом море: «Да здравствуют гёзы!»

И крейсируют перед Флиссингеном.

### ХIII

Здесь Ламме снова повеселел. Он охотно сходил с корабля на землю и, точно на зайцев, оленей и дроздов, охотился на быков, баранов и домашнюю птицу.

И не в одиночестве занимался он этой питательной охотой. Приятно было смотреть, как возвращаются с добычей охотники с Ламме во главе, как они ведут за рога крупный скот и гонят перед собой мелкий, хворостиной подгоняют стада гусей и на баграх с лодок тащат кур, цыплят и каплунов, невзирая на запрет.

Тогда на кораблях шел пир горой, и Ламме приговаривал:

— Запах подливы вздымается к небесам, услаждая господ ангелов, которые говорят: «Какое чудесное мясо».

Так разъезжая, они наткнулись на торговую эскадру из Лиссабона, командир которой не знал, что Флиссинген уже в руках гёзов. Эскадру окружили, приказали бросить якорь. Да здравствуют гёзы! Барабаны и флейты зовут на абордаж. У купцов есть пушки, пики, топоры, аркебузы.

Ядра и пули сыплются с кораблей гёзов. Их стрелки, сгрудившись за деревянными прикрытиями у грот-мачты, стреляют наверняка, не подвергаясь опасности. Купцы падают как мухи.

— На помощь! — кричит Уленшпигель, обращаясь к Ламме и Неле. — Вперед! Вот пряности, драгоценности, дорогие товары, сахар, мускат, гвоздика, имбирь, реалы, дукаты, блестящие золотые барашки: их более пятисот тысяч штук. Выпьем! Отслужим мессу гёзов: эта месса — битва.

И Уленшпигель с Ламме носятся повсюду точно львы, Неле играет на флейте, прячась за деревянным прикрытием. Вся флотилия захвачена.

По подсчету убитых оказалось: у испанцев тысяча человек, у гёзов — триста; среди последних был повар корвета «Бриль».

Уленшпигель попросил позволения обратиться со словом к Трелону и морякам, на что Трелон согласился очень охотно. И Уленшпигель держал такую речь:

— Господин капитан и вы, братцы, мы получили в наследство множество пряностей, а вот пред вами толстячок Ламме, который находит, что наш бедный покойник — да возвеселит господь его душу! — был не великий ученый по части соусов. Так вот, поставим Ламме на его место, он будет кормить вас небесными жаркими и райскими супами.

— Отлично, — ответил Трелон и прочие. — Ламме будет корабельным коком (поваром). Он будет носить у пояса большую деревянную шумовку, чтобы снимать пену со своих соусов и отгонять от них корабельных юнг\*.

— Господин командир, друзья и товарищи, — сказал Ламме, — вы видите, что я плачу от радости, так как я совсем не заслуживаю столь великой чести. Во всяком случае, раз уж вы достаиваете прибегнуть к моему ничтожеству, я принимаю высокие обязанности мастера кухонного искусства на славном корабле «Бриль», но покорнейше прошу вас при этом даровать мне высшие права верховного начальства над кухней, дабы ваш главный повар — это буду я — мог по закону, праву и силе воспрепятствовать кому бы то ни было забирать и есть долю другого.

Трелон и прочие кричали:

— Молодец, Ламме! У тебя будет и право, и сила, и закон.

— Но я, — продолжал он, — приношу вам еще одно покорнейшее прошение: человек я жирный, крупный и увесистый, глубоко мое чрево, вместителен желудок; моя бедная жена — да возвратит мне ее господь! — всегда давала мне две порции вместо одной; соблаговолите и вы мне даровать то же предпочтение.

Трелон, Уленшпигель и матросы ответили:

— Хорошо, Ламме, ты будешь получать два пайка.

И Ламме вдруг впал вновь в грусть и сказал:

— Жена моя, кроткая моя красавица, если что-нибудь может меня утешить в твоём отсутствии, то разве только деятельное воспоминание о твоей небесной кухне в нашем сладостном уголке.

---

\* Каламбур: mousse — по-французски значит и «пена» и «корабельный юнга».

— Полагается принести присягу, сын мой, — сказал Уленшпигель. — Принесите большую деревянную ложку и большой медный котел.

— Клянусь, — провозгласил Ламме, — клянусь господом, помощь которого призываю, клянусь хранить верность господину принцу Оранскому, по прозвищу Молчаливый, правящему за короля областями Голландии и Зеландии; клянусь соблюдать верность господину де Люмэ, адмиралу, командующему нашим доблестным флотом, и господину Трелону, вице-адмиралу и командиру корабля «Бриль». Клянусь, по мере моих слабых сил, согласно нравам и обычаям великих древних поваров, оставивших после себя превосходные иллюстрированные труды о великом искусстве стряпни, изготавливать мясо и птицу, какие нам пошлет судьба, и питать этими яствами вышереченного господина Трелона, командира, его помощника, в должности которого состоит друг мой Уленшпигель, и всех вас, боцманы, лоцманы, рулевые, юнги, солдаты, пушкари, камбузные, вестовые командира, лекарь, трубач, матросы и все прочие. Если жаркое будет недожарено, а птица не подрумянится как должно; если от супа будет идти тошнотворный дух, пагубный для доброго пищеварения; если запах подливки не заставит вас всех ринуться — с моего соизволения, конечно, — в кухню; если я не сделаю вас веселыми, а лица ваши благодушными, — я откажусь от моих высоких обязанностей, считая себя отныне не способным занимать престол кухонный. Так да поможет мне господь в этой жизни и в будущей!

— Да здравствует наш кок! — кричали все. — Король кухни, император жарких! По воскресеньям он будет получать три пайка вместо двух.

И Ламме сделался поваром на корабле «Бриль». И между тем как душистые супы кипели в кастрюлях, он стоял у кухонной двери, гордо, точно скипетр, держа свою большую деревянную шумовку.

И по воскресеньям он получал тройной паек.

Когда гёзам случалось ввязаться в схватку с врагом, он охотно оставался в своей соусной лаборатории, однако иногда выходил на палубу, чтобы сделать несколько выстрелов, потом поспешно спускался к себе — присмотреть за своими соусами.

Будучи, таким образом, исправным поваром и доблестным воином, он стал общим любимцем.

Но никто не имел права проникнуть в его кухню. Ибо тут он приходил в ярость и, фехтуя своей деревянной шумовкой, колотил без пощады ослушников.

И с тех пор он был прозван Ламме-Лев.

#### XIV

По океану, по Шельде, под солнцем, дождем, снегом, градом — зимою и летом носятся корабли гёзов.

Подняты все паруса, точно лебеди, лебеди белой свободы.

Белый цвет — свобода, синий — величие, оранжевый — принц Оранский: вот трехцветный флаг гордых кораблей.

Вперед на всех парусах! Вперед на всех парусах, славные корабли; струи бьются о них, волны обдают их пеной.

Они несутся, они скользят, они летят по реке, накрыв паруса до воды, быстрые, как облака под северным ветром, корабли гёзов. Слышите, как нос их рассекает волны! Бог свободных людей! Да здравствуют гёзы!

Шхуны, корветы, бриги и барки, быстрые, подобно ветру, чреватому бурей, подобно туче, чреватой молниями.

Шхуны, корветы, бриги несутся по реке. Волны, разрезанные пополам, стонут, пропуская смертоубийственное жерло длинной кулеврины на носу какого-нибудь судна. Да здравствуют гёзы!

На всех парусах! На всех парусах, доблестные корабли! Волны бьются об их борта, обливая их пеной.

Христос улыбается им в облаках, в солнце, в звезде. Да здравствуют гёзы!

#### XV

Кровавый король получил известие об их победах.

Смерть уже глодала палача, и тело его было полно червей. Жалкий и свирепый, скитался он по переходам замка Вальядолида, влача свои распухшие ступни и свинцом налитые икры. Он не пел никогда, жестокий тиран; когда вставала заря, он не смеялся, и когда солнце

заливало его владения как бы улыбкой самого господина, он не ощущал в своем сердце ни малейшей радости.

Уленшпигель, Ламме и Неле, ежечасно, ежеминутно рискуя своей шкурой — если речь идет о Ламме и Уленшпигеле, нежной кожей, если говорить о Неле, — распевали как птицы; каждый погашенный гёзами костер радовал их больше, чем черного короля пожар целого города.

В эти дни Вильгельм Молчаливый, принц Оранский, лишил адмиральского чина господина Люмэ де ла Марка за его непомерную жестокость и назначил на его место господина Баувена Эваутсена Ворста. Вместе с тем он изыскивал возможность уплатить крестьянам за хлеб, взятый у них гёзами, возместить населению убытки от наложенных на них контрибуций и предоставить римским католикам, равно как всем прочим, свободное исповедание их веры без преследований и насилия.

## XVI

Под сверкающим небом, на светлых волнах свистят на кораблях гёзов флейты, гнут волынки, булькают бутылки, звенят бокалы, блестит сталь оружия.

— Ну вот, — говорит Уленшпигель, — бей в барабан славы, бей в литавры радости! Да здравствуют гёзы! Побеждена Испания, скручен упырь проклятый! Море — наше, Бриль взята. Весь берег Ньюпора наш, дальше через Остенде, Бланкенберг, острова Зеландские, устье Шельды, устье Мааса, устье Рейна вплоть до Гельдерна — все наше. Тессель, Флиланд, Терсхеллинг, Амеланд, Роттум, Боркум — наши. Да здравствуют гёзы!

Наши Делфт и Дордрехт. Это пороховая дорожка. Господь держит запал от пушки. Палачи оставили Роттердам. Свобода совести, точно лев, вооруженный зубами и когтями правосудия, захватила графство Зютфенское, города Дейтихем, Досбург, Гоор, Ольденцель и на Вельнюйре Гаттем, Эльбург и Гердервейк. Да здравствуют гёзы!

Гром и молния; уже в наших руках Кампен, Сволле, Гассель, Стенвейк, за ними Аудеватер, Гоуда, Лейден. Да здравствуют гёзы!

Наш Бюрэн, наш Энкгейзен. Мы не взяли еще Амстердама, Схоонговена и Мидделбурга. Но все достанется во-время терпеливым клинкам. Да здравствуют гёзы!

Выпьем испанского вина! Выпьем из тех самых чаш, из которых они пили кровь своих жертв. Мы двинемся через Зейдерзее по рекам, протокам и каналам. Наши Голландия, северная и южная, и Зеландия; мы возьмем Фрисландию, восточную и западную. Бриль будет убежищем для наших кораблей, гнездом, где созреет свобода. Да здравствуют гёзы!

Слушайте, как во Фландрии, на дорогой родине, разносится крик мести. Куют оружие, точат мечи. Все движется, все трепещет, как струны арфы под теплым ветром, под вздохами душ, исходящими из могил, из костров, из окровавленных трупов мучеников. Все кипит — Геннегау, Брабант, Люксембург, Лимбург, Намюр, Льеж, свободный город. Все кипит! Кровь бродит и оплодотворяет. Жатва созрела для серпа. Да здравствуют гёзы!

В нашей власти Noordzee, широкое Северное море. У нас — отличные пушки, гордые корабли, смелые отряды грозных моряков: нищие, бродяги, попы-солдаты, дворяне, горожане, ремесленники, бегущие от преследований. С нами все, кто за свободу. Да здравствуют гёзы!

Филипп, кровавый король, где ты? Альба, где ты? Ты кричишь и богохульствуешь, покрываясь святой шляпой, пожалованной святым отцом. Бей в барабан радости! Да здравствуют гёзы! Выпьем!

Вино струится в золотые чаши. Весело пейте эту влагу. Жреческие облачения, одевшие простых людей, залиты красным напитком. Римские церковные хоругви развеваются по ветру. Музыка без конца. Пойте, свистящие флейты, гнущие волынки, барабаны, гремящие о славе. Да здравствуют гёзы!

## XVII

На дворе стоял декабрь — волчий месяц. Лил дождь, колющий, точно иглы. Гёзы крейсировали в Зейдерзее. Адмирал звуками трубы созвал на свой корабль командиров шхун и корветов и вместе с ними Уленшпигеля.

Обращаясь прежде всего к Уленшпигелю, он сказал:  
— В награду за твою верную службу и важные заслуги принц назначает тебя капитаном корабля «Бриль». Вручаю тебе твое назначение, оно написано на этом пергаменте.

— Примите мою благодарность, господин адмирал, — ответил Уленшпигель, — буду капитаном по мере моих слабых сил и твердо надеюсь, что, если бог поможет, мне удастся обезглавить Испанию и отделить от нее Фландрию и Голландию, то есть Zuid и Noord Neerlande\*.

— Прекрасно, — сказал адмирал. — А теперь, — прибавил он, обращаясь ко всем, — я сообщаю вам, что католический Амстердам собирается осадить Энкгейзен; амстердамцы еще не вышли из Ийского канала; будем крейсировать перед ним, чтобы запереть их там, и бейте по каждому их кораблю, который посмеет показать в Зейдерзее свой тиранский остов.

— Продырявим его! — ответили они. — Да здравствуют гёзы!

Возвратившись на свой корабль, Уленшпигель приказал матросам и солдатам собраться на палубе и сообщил им приказ адмирала.

— У нас есть крылья — это наши паруса, — ответили они. — Есть коньки — киль нашего корабля; есть руки великанов — наши абордажные крючья. Да здравствуют гёзы!

Флот вышел и разгуливал в море, в миле от Амстердама, так что без их соизволения никто не мог ни войти, ни выйти.

На пятый день дождь стих; при ясном небе ветер дул еще резче; со стороны Амстердама не заметно было ни малейшего движения.

Вдруг Уленшпигель увидел, что на палубу выбегает Ламме, гоня перед собой размашистыми ударами своей деревянной шумовки корабельного «труксмана» — переводчика, молодого парня, бойкого во французской и фламандской речи, но еще более бойкого в науке обжорства.

— Негодяй! — говорил Ламме, колотя его. — Так ты думал, что можешь безнаказанно лакомиться до времени моим жарким! Полезай-ка на верхушку мачты и по-

---

\* Южные и Северные Нидерланды.

смотри, не копошится ли что на амстердамских судах. Лезь, по крайней мере сделаешь хоть одно хорошее дело.

— А что ты за это дашь? — ответил труксман.

— Еще ничего не сделав, уже хочешь платы! — вскричал Ламме. — Ах ты, мерзавец, если ты не полезешь сейчас, я прикажу тебя высечь. И твои французские разговоры не спасут тебя!

— Чудесный язык французский — это язык любви и войны. — И полез наверх.

— Эй, лентяй, что ты там видишь? — спросил Ламме.

— Ничего не вижу ни в городе, ни на кораблях. — И прибавил, спустившись: — Теперь плати.

— Оставь себе то, что стащил, — ответил Ламме, — но такое добро впрок не идет: наверное, извергнешь его со рвотой.

Взобравшись опять на верхушку мачты, труксман вдруг закричал:

— Ламме, Ламме! Вор залез в кухню.

— Ключ от кухни в моем кармане, — ответил Ламме.

Уленшпигель, отведя Ламме в сторону, сказал ему:

— Знаешь, сын мой, это чрезвычайное спокойствие Амстердама меня пугает. Они что-то замышляют.

— Я уже думал об этом, — ответил Ламме, — вода замерзла в кувшинах, битая птица точно деревянная, колбасы покрыты инеем, коровье масло твердо, как камень, растительное масло побелело, соль суха, как песок на солнце.

— Замерзнет и море, — сказал Уленшпигель, — они придут по льду и нападут на нас с артиллерией.

И он отправился на адмиральский корабль и рассказал о своих опасениях адмиралу, который ответил:

— Ветер со стороны Англии; будет снег, но не мороз, вернись на свой корабль.

И Уленшпигель вернулся.

Ночью пошел сильный снег, но тотчас же задул ветер со стороны Норвегии, море замерзло и стало гладким, как пол. Адмирал видел все это.

Опасаясь, как бы амстердамцы не пришли по льду поджечь корабли, он приказал солдатам приготовить коньки — на случай, если им придется сражаться вне и вокруг судов, а пушкарям при орудиях — железных и чугунных — держать наготове кучи ядер подле лафетов,

зарядить пушки и иметь наготове зажженные фитили, как огненные стрелы.

Но амстердамцы не явились. И так тянулось семь дней.

К вечеру восьмого дня Уленшпигель приказал устроить для матросов и солдат добрую пирушку для их согревания от резкого ветра, дующего с моря.

Но Ламме ответил:

— Ничего не осталось, кроме сухарей и жидкого пива.

— Да здравствуют гёзы! — крикнули они. — Это будет постный кутеж в ожидании часа битвы.

— Который не скоро пробьет, — сказал Ламме. — Амстердамцы придут поджечь наши корабли, но не в эту ночь. Им надо еще предварительно собраться у очага да выпить по несколько кружек горячего винца с мадерским сахаром, — пошли его и нам, господи! — потом, поболтавши до полуночи рассудительно, успокоительно и уповательно, они скажут, что можно завтра решить, нападут они на нас на будущей неделе или нет? Завтра, снова выпив горячего вина с мадерским сахаром, — пошли и нам его, господи! — они опять будут спокойно, рассудительно, за полными кружками решать, не следует ли им собраться на другой день, дабы решить, выдержит лед или нет тяжесть большого отряда. И они произведут испытание льда при содействии ученых людей, которые изложат свои заключения на пергаменте. Приняв их к сведению, они будут знать, что толщина льда две четверти и что, стало быть, он достаточно крепок, чтобы выдержать несколько сот человек с пушками и полевыми орудиями. Затем они соберутся на совещание еще раз, чтобы спокойно, рассудительно, со многими кружками горячего вина, обсудить, уместно или нет напасть на наши корабли, а то и сжечь их за лиссабонские сокровища, отнятые нами. Не без колебаний, но во благовремени они решат однако, что представлялось бы уместным захватить наши корабли, но не сжигать их, невзирая на значительную несправедливость, причиняемую ими таким образом нам.

— Ты говоришь недурно, — сказал Уленшпигель, — но не видишь ли ты, что вон в городе зажигаются огни и люди с фонарями так суетливо забегали?

— Это от холода, — ответил Ламме.

И, вздыхая, прибавил:

— Все съедено. Ни мяса, ни птицы, ни вина, увы, ни доброго *dobbel-bier*, — ничего, кроме сухарей и жидкого пива. Кто меня любит, за мной!

— Куда ты? — спросил Уленшпигель. — Никто не смеет отлучаться с корабля.

— Сын мой, — ответил Ламме, — ты теперь капитан и господин на корабле. Если ты не позволяешь, я не пойду. Но соблаговоли подумать, что третьего дня мы съели последнюю колбасу и что в это суровое время кухонный очаг есть солнце для добрых товарищей. Кто не хотел бы вдыхать запах подливы, упиваться сладостным благоуханием божественной влаги, созданной из цветов смеха, веселья и радости? Посему, господин капитан и верный друг, я решаюсь сказать: я истосковался душой сттого, что ничего не ем; оттого, что я, любящий только покой, охотно убивающий разве только нежную гусыню, жирную курочку, сочную индейку, следую за тобой среди тягот и сражений. Посмотри на огоньки на том богатом хуторе, где столько крупного и мелкого скота. Знаешь, кто его хозяин? Один фрисландский судовщик, который предал господина д'Андло и привел в Энкгейзен, тогда еще занятый Альбой, восемнадцать несчастных дворян, наших друзей; он повинен в том, что они казнены на Конском рынке в Брюсселе. Подлый предатель, по имени Дирик Слюссе, получил от герцога за предательство две тысячи флоринов. На эти кровавые деньги этот иуда купил хутор, который ты видишь перед собой, с крупным скотом и окрестными землями, каковые, расширяясь и принося плоды, — я говорю о землях и скоте; — сделали его богачом.

— Пепел стучит в мое сердце, — сказал Уленшпигель, — ты пробил, час господень.

— И час кормежки равным образом, — сказал Ламме. — Дай мне два десятка парней, добрых солдат и матросов, я пойду и захвачу предателя.

— Я сам поведу их, — ответил Уленшпигель. — Кто любит правду, пусть идет со мной. Все не идите, верные и дорогие мои: достаточно двадцати человек, а то кто же будет охранять корабль? Бросьте жребий. Вас двадцать. Ну, вперед! Кости показывают правильно. Привяжите коньки и бегите по направлению к Венере, звезде, сверкающей над хутором предателя.

Идите по звезде, конькобежцы, все двадцать, скользя по льду с топором на плече.

Ветер свистит и гонит перед собой по льду белые вихри снега. Неситесь, смельчаки!

Не пойте, не говорите; вы прямо, беззвучно неситесь к звезде; пусть только лед поскрипывает под вашими коньками.

Кто упал, вскакивай тотчас. Мы подходим к берегу: ни одного человека на белом снегу, ни птицы в морозном воздухе. Скиньте коньки!

Вот мы на земле, вот луга; опять наденьте коньки. За- таив дыхание, мы окружаем хутор.

Уленшпигель стучит в дверь, собаки лают. Он стучит вторично; открывается окно, и хозяин, высунув голову, спрашивает:

— Кто ты такой?

Он видит одного только Уленшпигеля; остальные спрятались за keet'ом, то есть прачечной.

Уленшпигель отвечает:

— Господин де Буссю приказал, чтобы ты сейчас явился к нему в Амстердам.

— Где твой пропуск? — спросил тот, спускаясь и отворяя дверь.

— Здесь, — ответил Уленшпигель, указывая ему на двадцать гёзов, которые бросились за ним в дверь.

И Уленшпигель сказал:

— Ты, судовщик Слоссе, предатель, заманивший в засаду господ д'Андло, Баттенбурга и других. Где деньги, полученные тобой за чужую кровь?

— Вы гёзы, — ответил тот дрожа, — помилуйте меня; я не знал, что делаю. Теперь у меня нет денег; я все отдам.

— Темно, — сказал Ламме, — дай нам свечей, сальных или восковых.

— Вон там висят сальные свечи, — сказал хозяин.

Зажгли свечу, и один из гёзов, стоявший у очага, сказал:

— Холодно, разведем огонь. Вот хорошее топливо.

И он указал на стоящие на полке цветочные горшки с засохшими растениями. Взяв одно из них за стебель, он потрянул его; горшок упал, и на полу рассыпались дукаты, флорины и реалы.

— Вот где деньги, — сказал он, указывая на прочие цветочные горшки.

И действительно, вытряхнув из них землю, они нашли в них десять тысяч флоринов.

А хозяин кричал и плакал при виде всего этого.

На крики сбежались хуторские батраки и служанки в одних рубахах. Мужчин, вздумавших было вступить за своего хозяина, связали. Женщины, особенно молодые, стыдливо прятались за мужчин.

Тут выступил Ламме.

— Предатель, — сказал он, — где ключи от кладовых, конюшни, хлева и овчарни?

— Подлые грабители, — ответил хозяин, — вы издохнете на виселице.

— Пришел час божий, — сказал Уленшпигель, — давай ключи.

— Господь отомстит за меня, — сказал хозяин, отдавая ключи.

Очистив хутор, гёзы двинулись в обратный путь, летя на коньках к кораблям, легким убежищам свободы.

— Я корабельный кок, — говорил Ламме, направляя их, — я корабельный кок. Толкайте ваши добрые салазки, нагруженные вином и пивом; гоните, тащите быков, лошадей, свиней, баранов — все стадо, поющее природную песнь. Голуби воркуют в корзинах; каплуны, раскормленные мякишем, не могут повернуться в своих деревянных клетках. Я корабельный кок. Лед скрипит под сталью коньков. Мы на судах. Завтра взиграет кухонная музыка. Подавай блоки, подвяжите лошадей, коров, быков под брюхом. Что за прекрасное зрелище — смотреть, как они висят на подпругах; завтра мы отведаем сочного жаркого. На лебедках его поднимают на суда. Вот так мясо! Бросайте в трюм как попало кур, гусей, уток, каплунов. Кто свернет им шею? Господин корабельный кок. Дверь заперта, ключ в моем кармане. Хвала господу на кухне! Да здравствуют гёзы!

Тут же Уленшпигель отправился на адмиральский корабль, уведя с собой Дирика Слоссе и прочих пленников, стонавших и рыдавших из страха перед веревкой.

На шум вышел адмирал Ворст; увидев Уленшпигеля и его слутников, озаренных красным пламенем факелов, он спросил:

— Чего тебе от нас надо?

— Этой ночью, — ответил Уленшпигель, — мы захватили Дирика Слоссе, заманившего в засаду восемнадцать наших. Вот он. Прочие — его батраки и невинные служанки.

Затем, передавая адмиралу сумку с деньгами, он прибавил:

— Эти червонцы цвели в цветочных горшках в доме предателя; всего десять тысяч.

— Вы поступили неправильно, отлучившись с корабля, — сказал адмирал Ворст, — но ввиду успеха прощаю вас. И пленники и мешок с червонцами нам очень кстати, а вы, молодцы, согласно законам и обычаям морским, получите треть добычи. Другая треть пойдет флоту, а третья — его высочеству принцу Оранскому. Немедленно повесьте предателя.

Исполнив это, гёзы прорубили во льду прорубь и бросили туда тело Дирика Слоссе.

— Трава, что ли, выросла вокруг кораблей, — спросил адмирал, — что я слышу кудахтанье кур, бляенье овец, мычанье быков и коров?

— Это военнопленные кухни, для глотки, — ответил Уленшпигель. — Они заплатят выкуп в виде жарких. Самое вкусное получите вы, господин адмирал. Что касается прочих слуг и служанок, среди которых есть девчонки бойкие и смазливые, я их заберу на свой корабль.

Так он и сделал и обратился к ним со следующей речью:

— Вот, парни и девушки, теперь вы на лучшем корабле, какой есть на свете. Мы проводим здесь время в непрестанном веселье, попойках и пирушках. Если вам угодно уйти отсюда, уплатите выкуп; если хотите остаться, вы будете жить как мы — работать и хорошо есть. Что касается этих разлюбезных красоток, я предоставляю им моей капитанской властью всю телесную свободу; да будет им ведомо, что мне совершенно все равно, сохранят ли они своих возлюбленных, пришедших с ними на корабль, или выберут кого-нибудь из здесь присутствующих доблестных гёзов, чтобы вступить с ними в брачный союз.

Но все разлюбезные красотки оказались верными своим возлюбленным, кроме, впрочем, одной, которая, улыбаясь Ламме, спросила его, не подходит ли она ему.

— Глубоко тронут, красавица, — сказал он, — но я занят в другом месте.

— Толстячок женат, — говорили гёзы, видя огорчение девушки.

Но она, повернув спину, уже выбрала другого с таким же добрым брюшком и добродушной рожей, как у Ламме.

В этот день и в следующие шли на кораблях пиры и попойки с истреблением вина, птицы и мяса. И Уленшпигель говорил:

— Да здравствуют гёзы! Дуйте, злые ветры, мы согреем воздух нашим дыханием. Наше сердце пламенеет страстью к свободе совести; наш желудок пламенеет страстью к мясу из вражеских запасов. Будем пить вино, молоко мужей. Да здравствуют гёзы!

Неле тоже пила из золотого кубка и, раскрасневшись от ветра, свистела на своей флейте. И, несмотря на холод, гёзы весело ели и пили, сидя на палубе.

## ХVIII

Вдруг весь флот увидел на берегу черную толпу, среди которой блестели факелы и сверкало оружие; потом факелы погасли, и воцарился совершенный мрак.

По приказу адмирала по флоту был дан сигнал тревоги; были погашены все огни; матросы и солдаты легли ничком на палубе, держа наготове топоры. Отважные пушкарки с фитилями в руках стояли подле пушек, заряженных гранатами и двойными ядрами. Как только адмирал и капитаны крикнут: «Сто шагов!» — что означает расположение неприятеля, — они должны палить с кормы, борта или носа.

И слышен был голос адмирала Ворста:

— Смерть тому, кто громко скажет слово.

И капитаны повторили за ним:

— Смерть тому, кто громко скажет слово.

Ночь была звездная, без луны.

— Слышишь, — тихо, точно дуновение призрака, говорил Уленшпигель Ламме, — слышишь голоса амстердамцев и потрескиванье льда под их коньками? Они быстро приближаются, слышен их разговор. Они говорят: «Бездельники гёзы спят. Наши теперь лиссабонские сокровища». Зажигают факелы. Видишь их осадные лест-

ницы, и гнусные рожи, и длинную полосу наступающего отряда? Человек с тысячу, а то и больше.

— Сто шагов! — крикнул адмирал Ворст.

— Сто шагов! — крикнули капитаны.

Раздался грохот, точно гром с небес, и жалобные вопли на льду.

— Залп из всех восьмидесяти орудий, — сказал Уленшпигель, — они бегут. Видишь, факелы удаляются.

— В погоню! — приказал адмирал.

— В погоню! — приказали капитаны.

Но погоня длилась недолго, так как беглецы имели сто шагов в запасе и ноги перепуганных зайцев.

И на людях, кричащих и умирающих на льду, были найдены драгоценности, золото и веревки, приготовленные для того, чтобы вязать гёзов.

И после этой победы гёзы говорили:

— Als Got met ons is, wie tegen ons zal zijn? — Если бог с нами, то кто против нас? Да здравствуют гёзы!

Между тем через день наутро адмирал Ворст спокойно ждал нового нападения. Ламме выскочил на палубу и сказал Уленшпигелю:

— Отведи меня к этому адмиралу, который не хотел тебя слушать, когда ты предсказывал мороз.

— Иди без проводника, — сказал Уленшпигель.

Ламме отправился, заперев кухню на ключ. Адмирал стоял на палубе, высматривая, не заметит ли он какого движения со стороны города. Ламме приблизился к нему.

— Господин адмирал, — сказал он, — смеет ли скромный корабельный кок высказать свое мнение?

— Говори, сын мой, — сказал адмирал.

— Ваша милость, — сказал Ламме, — вода тает в кувшинах, птица стала нежнее, с колбас сошел иней, коровье масло размякло, растительное стало жидко, соль слезится. Дело к дождю, и мы будем спасены, ваша милость.

— Кто ты такой? — спросил адмирал Ворст.

— Я Ламме Гудзак, повар на «Брили», — ответил он, — и если великие ученые, объявляющие себя астрономами, читают в звездах так же хорошо, как я в моих соусах, то они могли бы сказать, что в эту ночь будет оттепель с бурей и градом. Но оттепель продлится недолго.

И Ламме вернулся к Уленшпигелю, которому он сказал около полудня:

— Я опять пророк: небо чернеет, ветер бушует, льет теплый дождь; уже на фут вода поднялась надо льдом.

Вечером он радостно кричал:

— Северное море поднялось: час прилива настал, высокие волны, войдя в Зейдерзее, ломают лед, который трескается и большими кусками падает на корабль; искры брызжут от него: вот и град. Адмирал приказывает нам отойти от Амстердама, а воды столько, что самый большой из наших кораблей уже поплыл. Вот мы у входа в Энкгейзен. Снова замерзает море. Я — пророк, и это чудо господне.

И Уленшпигель сказал:

— Выпьем за господу, благословляя имя его. Прошла зима, и наступило лето.

## ХІХ

В половине августа, когда куры, пресыщенные кормом, глухи к призывам петуха, трубящего им о своей любви, Уленшпигель сказал солдатам и морякам:

— Кровавый герцог, будучи в Утрехте, осмелился издать там благодетельный указ, милостиво обещающий, среди прочих даров, голод, смерть, разорение тем жителям Нидерландов, которые не хотят покориться. «Все, что еще держится, будет уничтожено, — говорит он, — и его королевское величество населит страну иностранцами». Кусай, герцог, кусай! О напильник ломаются зубы ехидны: мы этот напильник. Да здравствуют гёзы!

Альба, ты пьян от крови. Неужто ты думаешь, что мы боимся твоих угроз или верим в твое милосердие? Твои знаменитые полки, которые ты прославлял во всем мире, твои «Непобедимые», твои «Бессмертные» вот уже семь месяцев бомбардируют Гарлем, слабый город, защищаемый горожанами. Пришлось и им, как всем простым смертным, плясать в воздухе при взрывах подкопов. Горожане облили их смолой; эти полки в конце концов перешли к победоносным убийствам безоружных людей. Слышишь, палач, час божьего суда пробил!

Гарлем потерял своих лучших защитников, камни его слезятся кровью. Он потерял и истратил за время

осады миллион двести восемьдесят тысяч флоринов. Власть епископа восстановлена там. Радостной рукой и с веселым лицом он благословляет церкви; дон Фадрике присутствует при этих благословениях. Епископ моет руки, видит бог, обогранные в крови, и он причащается под двумя водами, что не дозволено простым смертным. А колокола звонят, и перезвон бросает в воздух свои спокойные, певучие напевы, точно пение ангелов на кладбище. Око за око. зуб за зуб. Да здравствуют гёзы!

## XX

Гёзы были во Флиссингене, когда Неле вдруг заболела горячкой. Вынужденная покинуть корабль, она лежала у реформата Питерса на Турвен-Кэ.

Уленшпигель, очень удрученный, все-таки был доволен, думая о том, что в постели, где она, конечно, выздоровеет, испанские пули не тронут ее. И он постоянно сидел подле нее вместе с Ламме, ухаживая за ней хорошо и любя ее еще больше. И они болтали.

— Друг и товарищ, — сказал однажды Уленшпигель, — знаешь новость?

— Нет, сын мой, — ответил Ламме.

— Видел ты корабль, который недавно присоединился к нашему флоту, и знаешь, кто там каждый день играет на лютне?

— Вследствие недавних холодов я точно оглох на оба уха, — ответил Ламме. — Почему ты смеешься, сын мой?

Но Уленшпигель продолжал:

— Однажды я слышал оттуда фламандскую песенку, и голосок показался мне таким нежным.

— Увы! — сказал Ламме. — Она тоже пела и играла на лютне.

— А знаешь другую новость? — продолжал Уленшпигель.

— Ничего не знаю, сын мой, — отвечал Ламме.

— Мы получили приказ подняться с нашими кораблями по Шельде до Антверпена и там захватить или сжечь неприятельские суда, а людям не давать пощады. Что ты думаешь об этом, толстячок?

— Увы, — сказал Ламме, — неужто никогда в этой злосчастной стране мы не услышим ничего, кроме разго-

воров о сожжениях, повешениях, утоплениях и прочих искоренениях рода человеческого! Когда, наконец, придет вождеденный мир, чтобы можно было без помехи жарить куропаток, тушить цыплят и слушать пение колбасы среди яиц в печи. По мне, кровавая лучше: белая слишком жирна.

— Это сладостное время вернется, — ответил Уленшпигель, — когда на яблонях, сливах и вишнях Фландрии будет вместо яблок, слив и вишен на каждой ветке висеть по испанцу.

— Ах, — говорил Ламме, — найти бы уж мне мою жену, мою дорогую жену, мою дорогую, милую, любимую, прелестную, кроткую, верную жену. Ибо знай, сын мой, рогат я не был и вовеки не буду; для этого она была слишком неприступна и спокойна в обращении; она избегала общества других мужчин; если она любила наряды, то это ведь женская потребность. Я был ее поваром, стряпухой, судомойкой, говорю это прямо, с радостью был бы и дальше тем же. Но я был также ее супругом и повелителем.

— Оставим эти разговоры, — сказал Уленшпигель, — слышишь, адмирал кричит: «Поднять якоря!» — и капитаны кричат за ним то же. Надо сниматься.

— Почему ты уходишь так скоро? — сказала Неле Уленшпигелю.

— Идем на корабль, — ответил он.

— Без меня? — сказала она.

— Да, — ответил Уленшпигель.

— А ты не думаешь, что теперь я буду очень беспокоиться о тебе?

— Милая, — сказал Уленшпигель, — у меня шкура железная.

— Ты смеешься надо мной, — ответила она, — я вижу на тебе твой камзол, он суконный, а не железный; под ним твое тело, состоящее из костей, мяса, как и мое. Если тебя ранят, кто будет ходить за тобой? Нет, ты умрешь один среди бойцов! Я иду с тобой.

— О, — сказал он, — если копья, пули, мечи, топоры, молоты, пощадив меня, обрушатся на твое нежное тело, что буду делать я, негодный, в этом мире без тебя?

— Я хочу быть с тобой, ведь нет никакой опасности, — говорила Неле. — Я спрячусь за деревянным прикрытием, где сидят стрелки.

— Если ты идешь, я остаюсь. И твоего любезного Уленшпигеля назовут трусом и предателем; лучше послушай мою песенку:

Сама природа в бой меня,  
Как оружейник, снаряжает,  
Кожа моя — одна броня,  
Из стали броня другая.

Злой ведьмы, Смерти, западня  
Пускай меня подстерегает!  
Кожа моя — одна броня,  
Из стали броня другая.

«Жить» — начертал на знамени я, —  
Жить под солнцем, все побеждая!  
Кожа моя — одна броня,  
Из стали броня другая.

И, напевая, он убежал, не забыв, однако, поцеловать трепещущие губы и милые глазки Неле, которая дрожала от лихорадки, смеялась, плакала — все вместе.

Гёзы в Антверпене: они захватили все суда Альбы, вплоть до стоявших в порту. Войдя в город среди бела дня, они освобождают пленных и берут других, чтобы получить за них выкуп. Они хватают горожан и без разговоров, под страхом смертной казни, принуждают некоторых следовать за ними.

— Сын адмирала задержан у каноника, — сказал Уленшпигель Ламме, — надо освободить его.

Войдя в дом каноника, они нашли здесь этого сына, разыскиваемого ими, в обществе толстопузого монаха, который яростно увещевал его, стараясь возвратить в лоно матери нашей, святой римско-католической церкви. Но молодой человек никак не хотел и ушел вместе с Уленшпигелем. Тем временем Ламме, схватив монаха за капюшон, гнал его перед собой по улицам Антверпена, приговаривая:

— Сто флоринов — вот цена за твой выкуп. Подбери ноги и марш вперед. Живей, живей! Что у тебя, свинец, что ли, в сандалиях? Вперед, кусок сала, мешок жратвы, раздутое супом пузо, пошевеливайся!

— Я ведь иду, господин гёз, я иду, но, с разрешения вашей почтенной аркебузы, позвольте сказать: вы такой же толстый, грузный, пузатый человек, как и я.

— Что? — закричал Ламме, толкая его. — Как ты смеешь, гнусная монашеская образина, сравнивать твой

тунеядский, лентяйский, бесполезный монастырский жир с жиром фламандца, честно накопленным в трудах, испытаниях и сражениях? Беги, или я тебя, как собаку, пришпорю пинком ноги.

Но монах не мог бежать и задыхался, да и Ламме тоже. И так они добрались до корабля.

## XXI

Взяв Раммекенс, Гертруйденбург, Алькмаар, гёзы возвратились во Флиссинген. Выздоровевшая Неле ожидала Уленшпигеля в порту.

— Тиль, — говорила она, увидев его, — Тиль, дорогой мой, ты не ранен?

В ответ Уленшпигель запел:

«Жить» — начертал на знамени я, —  
Жить под солнцем, все побеждая!  
Кожа моя — одна броня,  
Из стали броня другая.

— Ох, — стонал Ламме, волоча ногу, — пули, гранаты, пушечные ядра дождем сыплются вокруг него, а он чувствует только ветер. Ты, видно, дух, Уленшпигель; и ты, Неле, тоже, ибо, как на вас посмотришь, вы всегда такие юные и легкие.

— Почему ты волочишь ногу? — спросила Неле.

— А потому, что я не дух и никогда не буду духом, — вот и получил топором в бедро... ах, какие белые и полные бедра были у моей жены. Смотри, кровь льется. Ох, горе. Почему некому здесь ухаживать за мной?

— На что тебе жена, изменившая обету? — сказала, рассердившись, Неле.

— Не говори дурно о ней, — сказал Ламме.

— На вот тебе бальзам, — сказала Неле, — я берегла его для Уленшпигеля: приложи к ране.

Перевязав свою рану, Ламме повеселел, так как от бальзама исчезла мучительная боль; и они поднялись втроем на корабль.

— Кто это такой? — спросила Неле, увидев монаха, ходившего по палубе со связанными руками. — Я его где-то видела и как будто узнаю.

— Его цена — сто флоринов выкупа, — ответил Ламме.

В этот день флот пировал. Несмотря на резкий декабрьский ветер, несмотря на снег и дождь, все гёзы флота были на палубе. Серебряные полумесяцы тускло светились на зеландских шляпах. И Уленшпигель пел:

Лейден свободен, из Нидерландов кровавый герцог бежит.  
Громче звоните, колокола!  
Пусть перезвон веселый по воздуху льется,  
Пусть вторит ему бутылок и кружек звон!

От побоев шкуру спасая, пес  
Хвост поджимает  
И глазом, залитым кровью,  
На палку косится...  
Пастью разодранной тяжело дыша,  
Он дрожит от бессильного гнева...  
Из Нидерландов герцог кровавый бежал...  
Звените, бутылки и кружки! Да здравствуют гёзы!

Пес бы рад хоть себя со злости куснуть, только нечем:  
Все повышибли зубы ему...  
Морду понурия, он вспоминает  
Дни насилья, разгула, убийств...  
Из Нидерландов герцог кровавый бежал...  
Бей, барабан победы!  
Бей, барабан войны!  
Да здравствуют гёзы!

«Я продам тебе душу! — он черту кричит, —  
Песью душу мою — за час один власти!» —  
«А на что мне душа твоя? — черт отвечает. —  
Толку в ней — что в засохшей селедке!»  
Пес решил удирать — не по зубам  
Пришлось ему мясо...  
Он бежал от нас, герцог кровавый, —  
Да здравствуют гёзы!

Собачонки-дворняги — хромые, паршивые, жалкие, —  
Что живут или дохнут в грязи, на отбросах зловонных,  
Поднимают одна за другой нынче лапу  
И льют на того, кто убийствами тешил себя.  
Да здравствуют гёзы!

Ни друзей, ни женщин он не любил,  
Ни смеха, ни солнца, ни государя.  
Он любил только Смерть, невесту свою,  
А она, в залог обрученья,  
Перешибла руки ему —  
Невредимых Смерть ненавидит...  
Так сей веселей, барабан!  
Да здравствуют гёзы!

Псы-дворяги бездомные —  
Хромые, паршивые, грязные —  
Лапу снова свою поднимают,  
Благой жарко-соленой его обдают...  
А за ними овчарки и гончие,  
Псы из Венгрии, из Брананта,  
Из Намюра, из Люксембурга...  
Да здравствуют гэзы!

И унылый, морда в пене,  
Пес к хозяину поплелся издыхать.  
Дал пинка ему хозяин:  
Дескать, что кусался мало?  
Обвенчался Альба-пес в аду со смертью.  
Называет Смерть его «Мой герцог»,  
«Инквизиция моя» — зовет он Смерть.  
Да здравствуют гэзы!

Громче звоните в колокола!  
Пусть перезвон их к небу, ликуя, несется,  
Пусть ему вторит бутылок и кружек звон!  
Да здравствуют гэзы!



Книга пятая







I



ОНАХ, взятый Ламме, увидев, что гёзы совсем не собираются его убивать, а только хотят получить выкуп, начал задирать нос.

— Смотри, пожалуйста, — говорил он, расхаживая и яростно мотая головой, — смотри, в какую бездну подлых, черных, поганных гнусностей попал я, ступив ногой в эту лохань.

Если бы господь не помазал меня...

— Собачьим салом? — спрашивали гёзы.

— Сами вы собаки! — отвечал монах, продолжая свои разглагольствования. — Да, паршивые, бродячие, вонючие, дохлые собаки, сбежавшие с тучного пути нашей матери, святой римско-католической церкви, чтобы

бегать по тощим тропинкам вашей ободранки — реформатской церкви. Да, если бы я не сидел здесь, на этой деревяшке, в этом корыте, господь давным-давно уже поглотил бы в глубочайших безднах морских вместе с вами все ваше проклятое вооружение, ваши бесовы пушки, вашего горлодера-капитана, ваши богохульные полумесяцы — да! — все это было бы в глубинах глубин царства Сатаны, где вы не будете гореть в огне, о нет, — а мерзнуть, дрожать, издыхать от голода в течение всей долгой, долгой вечности. Да! И господь с небес угасит вашу безбожную ненависть к кротчайшей матери нашей, римско-католической церкви, к святым угодникам, к их пресвященствам господам епископам и к благословенным указам, столь мягкосердечно и здравомысленно составленным, да! И я с высот райских увидел бы вас замерзшими, синими, как свекла, или белыми от холода, как репа. 'T sy! 't sy! 't sy! Так да будет, да будет, да будет!

Матросы, солдаты и юнги издевались над ним и стреляли в него сухим горохом из трубочек. И он закрывал лицо руками, защищаясь от этого обстрела.

## II

По отъезде кровавого герцога, уже с меньшей жестокостью страной правили господа Медина-Сели и Реке-сенс. Затем Генеральные штаты управляли страной от имени короля.

Тем временем жители Зеландии и Голландии, благоприятствуемые морем и плотинами, их природными крепостями и окопами, воздвигли богу от свободных людей свободные храмы; и папские палачи могли невозбранно распевать рядом с ними свои гимны; и Вильгельм Оранский Молчаливый воздержался от основания штатгалтерской и королевской династии.

Страна бельгийская была разгромлена валлонами, недовольными гентской «пацификацией», которая, предполагалось, должна была искоренить всякую вражду. И эти валлоны, Pater-poster-knechten\* с черными четками на шее, которых две тысячи связок было потом найдено в Спненне, в Геннегау, грабили, захватывали быков и ло-

\* Pater-poster-knechten — буквально: «Рабы «Отче наш», святоши.

шадей сразу тысячами, выбирая лучших в полях и лугах, уводили женщин и девушек, ели, не платя, сжигали в амбарах крестьян, которые ходили вооруженными, ссылаясь на то, что не позволят отнимать у них плоды их тяжелых трудов.

И в народе говорили: «Дон Хуан явится со своими испанцами, и его высочество пожалует со своими французами, — не с гугенотами, а с папистами. И Молчаливый, желая мирно править Голландией, Зеландией, Гельдерном, Утрехтом, Оверэйселом, по тайному договору уступил бельгийские области с тем, что королем их будет принц Анжуйский».

Кое-кто в народе не терял все же надежды. «Господа из Генеральных штатов, — говорили они, — имеют в своем распоряжении двадцать тысяч человек, хорошо вооруженных, множество пушек и хорошую конницу. Они справятся со всеми иноземными солдатами».

Но более осмотрительные возражали: «Генеральные штаты имеют двадцать тысяч человек, но не в поле, а на бумаге. Конницы у них мало, так что Pater-noster-knechten всего в миле от их лагерей захватывают их лошадей. Артиллерии у них совсем нет, ибо, нуждаясь в ней, они все-таки решили отправить сто пушек с порохом и снарядами дону Себастиану Португальскому. И неизвестно, куда делись два миллиона экю, внесенные нами в четыре срока в виде налогов и контрибуций. Граждане Гента и Брюсселя вооружаются, Гент — за реформацию, и Брюссель за Гентом. В Брюсселе женщины играют на тамбуринах, в то время как их мужья строят городские укрепления. И Гент Отважный посылает Брюсселю Радостному порох и пушки, которых маловато у Брюсселя для защиты от «недовольных» и испанцев.

И всякий, в городах и на равнине, in't plat landt, видит, что не следует верить ни в важных господ, ни в кого иного. И мы, горожане и простонародье, удручены в сердце нашем, ибо, отдавая наши деньги и готовые отдать нашу кровь, мы видим, что до благоденствия родины все так же далеко. И страна Бельгийская робка и раздражена, не находя верных вождей, которые дали бы ей возможность сразиться и одержать победу, между тем как все напряженно готовы бороться с врагом свободы».

Но более осмотрительные говорили: «В гентской пачификации дворяне голландские и бельгийские поклялись

искоренить вражду, оказывать взаимную поддержку областям бельгийским и областям нидерландским; они провозгласили недействительность указов, отмену конфискации, мир между обеими религиями; они обещали уничтожить все колонны, трофеи, надписи и статуи, воздвигнутые Альбою для нашего унижения. Но в сердцах вождей жива вражда: дворяне и духовенство стараются разъединить области, слившиеся в союз. Получая деньги на уплату солдатам, они тратят их на обжорство; пятнадцать тысяч процессов о возвращении конфискованных имуществ не получают разрешения; лютеране и католики соединяются против кальвинистов; законные наследники не могут добиться того, чтобы из их владений были изгнаны грабители; статуя герцога повергнута во прах, но образ инквизиции нерушим в их сердцах».

И горемычные простолоудины и измученные горожане все пребывали в ожидании отважного и верного вождя, который повел бы их в бой за свободу.

И они говорили друг другу: «Где же это достославные участники *Компромисса*, объединившиеся, — так говорили они, — ради блага отечества? Чего ради эти лицемеры заключали столь «священный союз», если тотчас же понадобилось расторгнуть его? Зачем было соединяться с таким шумом, возбуждать гнев короля, чтобы затем распастся с кличкой «трусов» и «предателей»? Будь они в братском союзе, эти господа, — их ведь было пятьсот человек, знатных и мелкопоместных, — наверное, спасли бы нас от испанских неистовств. Но они пожертвовали благом Бельгии ради своего личного блага: так же, как сделали Эгмонт и Горн».

«О горе, — говорили они, — вот, смотрите, теперь явился дон Хуан, честолюбивый красавец, враг Филиппа, но еще более враг своей родины. Он явился от папы и ради себя. Дворянство и духовенство предали нас».

И они затевают видимость войны. На стенах домов вдоль улиц и переулков Гента и Брюсселя, а то и на мачтах гёзских кораблей выставлены имена изменников, высших военачальников и комендантов крепостей: имя графа Лидекерке, который не оборонял своего замка от дон Хуана; профоса Льежа, который собирался продать город дон Хуану; господ Арсхота, Мансфельда, Берлеймона, Россангиена; имена членов государственного совета, Жоржа де Лалена, губернатора Фрисландии, глав-

нокомандующего господина де Россиньяля, тайного лазутчика дон Хуана, посредника между Филиппом и Хауреги в деле покушения на принца Оранского, которое не удалось. Имя архиепископа города Камбрэ, намеревавшегося пустить испанцев в город, имена иезуитов антверпенских, предложивших три бочки золота — это составляет два миллиона флоринов — Генеральным штатам за то, чтобы крепость не была разрушена и сохранена для дон Хуана; имя епископа Льежского, имена католических проповедников, клеветавших на патриотов; епископа Утрехтского, которого горожане послали подальше пасть на траве предательства; названия нищенствующих орденов, строивших в Генте козни для выгоды дон Хуана. Жители Герцогенбуша прибили к позорному столбу имя кармелитского монаха Петра, который, при содействии епископа и духовенства, замыслил предать город дон Хуану.

В Дуэ они, правда, не повесили *in effigie*\* ректора университета, равным образом обьяспанившегося, но на кораблях гёзов можно было видеть повешенные куклы, на груди которых значились имена монахов, аббатов, прелатов, тысячи восьмисот богатых женщин и девушек из малинского монастыря, которые своими пожертвованиями поддерживали, золотили, наряжали палачей родины.

И на этих куклах, позорище предателей, значились имена маркиза д'Арро, коменданта крепости Филиппивия, бессмысленно расточавшего съестные и военные припасы, чтобы, под предлогом недостатка их, сдать крепость неприятелю; имя Бельвера, который сдал Лимбург, когда город мог еще держаться восемь месяцев; имена председателя высшего совета Фландрии, членов магистрата Брюгге, магистрата Малина, сохраняющего свой город для дон Хуана; членов гельдернской счетной палаты, закрытой за измену, членов брабантского высшего совета, канцелярии герцогского тайного и финансового совета, коменданта и бургомистра Менэна и злоумышленных соседей провинции Артуа, позволивших беспрепятственно пройти двум тысячам французов, которые шли грабить страну.

— Увы! — говорили горожане. — Вот герцог Анжуйский засел в нашей стране. Хочет быть нашим королем. Видели вы, как он вступал в Монс, маленький, толсто-

---

\* *In effigie* — в виде куклы (лат.).

бедрый, длинноносый, желтолицый, криворотый? Это важный принц, возлюбивший необычайные виды любви; чтобы соединить в его имени нежную женственность и мужественную мощь, его называют «ее высочество» господин герцог Анжуйский.

Уленшпигель был в задумчивом настроении. И он пел:

Сияет солнце, небо голубеет..  
Оденьте трауром знамена  
И рукояти ваших шпаг!  
Долой блестящие наряды,  
Завесьте крепом зеркала!  
Я песнь мрачную спою вам,  
О предателях песнь моя

Они пятою наступили  
На грудь свободных, гордых стран:  
На Фландрию, Брабант и Люксембург,  
Антверпен, Артуа и Геннегау.  
Дворяне и попы — вот кто нас предал:  
Толкает на измену их корысть..  
О предателях я пою.

Когда в стране бесчинствуют враги,  
Когда Испанец уж в Антверпен входит —  
Попы, прелаты, офицеры,  
В расшитых золотом одеждах,  
Упившись допьяна вином,  
По улицам Антверпена идут,  
Бесстыдно город покидая ..

По их вине опять восторжествует  
Для дел кровавых инквизиция,  
И Тительманы новые опять  
За ересь будут и пытать и мучить  
Глухонемых  
О предателях я пою.

Вы подписали «Компромисс»,  
О трусы полые!  
Проклятье вашим именам навеки!  
Час битвы наступил. Где ж вы теперь?!

Вы за испанцами  
Летите, воронье..  
Бей, погребальный барабан!

Страна Бельгийская! Потомки  
Тебя осудят: ведь с оружием в руках  
Ты отдалась врагу на разграбленье.  
Но час суда еще не наступил! Смотри:  
Предатели орудуют везде.  
Их было двадцать, нынче — тысяча;  
Их главари все должности в стране  
Своим пособникам пораздавали.

Народное сопротивление  
Решили подорвать они,  
Раздор и леность поощряя, —  
Испытанный предателей прием.  
Покройте крепом зеркала  
И рукояги ваших шпаг!  
О предателях песня эта.

Бывает так: объявят бунтарями  
Они испанцев или «недовольных»,  
Народу запрещая помогать  
Им хлебом, порохом  
Или приют давая;  
Но если схватят их, чтобы повесить —  
Да, чтоб повесить! —  
Глядь, выпустят на волю их тотчас  
«Вставай!» — так говорят брюссельцы.  
«Вставай!» — так в Генте говорят,  
Так говорит народ и в Бельгии.  
Несчастные! Хотят вас раздавить  
Меж королем и папой,  
Что собирает уж поход крестовый  
На нашу Фландрию родную.

Наемники, стекаются они  
На запах крови  
Своры жадных псов,  
Гиен и змей.  
Они прожорливы, их мучит жажда...  
О бедная моя отчизна,  
На разоренье обрекли тебя, на гибель!..

Любимцу папы, Александру,  
Сюда дорогу указал  
Не дон Хуан Австрийский, нет —  
Но те, когорых осыпала  
Деньгами, почестями ты,  
Кто наших жен, детей и дочерей  
Духовными отцами были!

Они тебя повергли в прах,  
И к горлу твоему Испанец  
Уже приставил нож...  
Бесстыдно над тобой глумясь,  
Они Оранскому при въезде в Брюссель  
Устроили торжественную встречу...

Когда сверкали над каналом,  
С веселым треском рассыпаясь,  
Потешных тысячи огней  
И в пышном, праздничном убранстве  
Суда теснились на воде, —  
О Бельгия, с тобою гнусно разыграли  
Историю Иосифа, что продан  
Был в рабство братьями родными.

Видя, что ему не мешают болтать, монах стал задирать нос. И матросы и солдаты, чтобы подстрекнуть его к разглагольствованиям, начинали хулить католических святых и обряды римской церкви.

Он приходил в ярость и изрыгал на них бездну ругательств.

— Да, — кричал он, — да, вот я попал в гёзский вертеп. Да, вот где они, эти проклятые вампиры нашей страны. Да! И после этого смеют еще говорить, что инквизитор — святой муж, жег их слишком много. Нет, немало еще осталось этих поганых червей. Да, на этих прекрасных и смелых кораблях нашего короля и государя, прежде таких чистых, таких вылощенных, теперь сплошь червоточина, да, гёзская, смердящая червоточина, — и ваш горлодер-капитан, и повар с его непотребным пузом, и все вы с вашими еретическими полумесьяцами. Когда его величество король задаст артиллерийскую мойку всем судам своим, то по малой мере тысяч на сто флоринов придется истратить пороха и ядер, чтобы разметать эту грязную, смердящую заразу. Да, вы все рождены на ложе госпожи Люцифер, осужденной на сожительство с сатаной среди источенных червями стен, под червивыми завесами, на червивой подстилке. Да, и вот здесь-то, в этом смрадном соединении, они и произвели на свет гёзов. Да, и яплюю на вас.

В ответ на эти речи гёзы сказали:

— Зачем мы держим здесь этого бездельника, который умеет только изрыгать ругательства? Повесим его поскорей!

И они приступили к делу.

Монах, увидев, что веревка готова, лестница стоит у мачты и ему связывают руки, жалобно взмолился:

— Помилуйте меня, господа гёзы; это бес ярости говорил в моем сердце, а не ваш покорный узник, бедный монах, имеющий одну лишь шею на этом свете. Милостивцы мои, сжальтесь и пощадите. Если уж вам угодно, заткните мне рот кляпом; это невкусная закуска, но все же лучше, чем виселица.

Они, не слушая и не смотря на его неистовое сопротивление, потащили его к лестнице. Тогда он завизжал

так пронзительно, что Ламме сказал Уленшпигелю, который перевязывал ему рану в кухне:

— Сын мой! Сын мой! Они утащили свинью из чулана и удирают с нею. О разбойники, если бы я мог встать с постели!

Уленшпигель поднялся на палубу, но увидел здесь только монаха, который, заметив его, бросился на колени, протягивая к нему руки.

— Господин капитан, — кричал он, — капитан доблестных гёзов, грозный на море и на суше, ваши солдаты хотят меня вздернуть за то, что я согрешил языком; это несправедливая кара, господин капитан, ибо в таком случае пришлось бы надеть пеньковый воротник на всех адвокатов, прокуроров, проповедников и женщин — и мир бы совсем обезлюдел. Ваша милость, спасите меня от веревки, я буду молиться за вас господа, и вечное осуждение не постигнет вас. Простите меня! Бес-болтун увлек меня и принудил меня болтать без остановки; это великое несчастье. Моя бедная желчь от сего и вскипела, она-то и подстрекнула меня наговорить тысячу вещей, которых я совсем не думаю. Пощадите, господин капитан, и вы все, господа, простите меня.

Вдруг на палубе появился в одном белье Ламме.

— Капитан и друзья, — сказал он, — стало быть, это визжала не свинья, а монах, чему я очень рад. Уленшпигель, сын мой, у меня имеется насчет его благочестия один важный замысел. Подари ему жизнь, но не оставляй его на свободе, не то он выкинет на корабле какую-нибудь пакость. Лучше устрой ему на палубе клетку, тесную, но чтоб в ней можно было дышать, сидеть, спать, как делают для каплунов. Я буду его откармливать — и если он не будет есть столько, сколько я захочу, тогда — на виселицу.

— Если он не будет есть — на виселицу, — сказали Уленшпигель и гёзы.

— Что же ты собираешься сделать со мной, толстяк? — спросил монах.

— Увидишь, — ответил Ламме.

И Уленшпигель исполнил желание Ламме, и монах был посажен в клетку, и каждый теперь мог смотреть на него сколько угодно.

Ламме отправился в кухню; спустившись за ним, Уленшпигель услышал его спор с Неле.

— Я не лягу, — говорил он, — нет, я не лягу, чтобы другие там портили мои соуса. Нет, я не стану лежать в постели, как теленок.

— Не сердись, Ламме, — уговаривала его Неле, — не то твоя рана опять откроется и ты умрешь.

— Ну, и пусть умру, — отвечал он, — мне надоело жить без моей жены. Мало мне того, что я ее потерял, так ты еще мешаешь мне, корабельному повару, лично заботиться о супах. Или ты не знаешь, что запах соусов и жарких пропитан здоровьем? Они питают даже мой дух и охраняют меня от несчастья.

— Ламме, — сказала Неле, — надо слушаться наших советов и не мешать нам вылечить тебя.

— Я сам хочу, чтобы вы меня вылечили, — отвечал Ламме, — но чтобы кто-нибудь стал здесь хозяйничать, чтобы какой-нибудь невежественный бездельник, смрадный, грязный, сопливый, паршивый, явился здесь царить на моем престоле в сане корабельного повара и стал запускать свои поганые пальцы в мои соуса, — да я лучше убью его тут же моей деревянной шумовкой, которая для этого станет железной.

— Во всяком случае тебе нужен помощник, — сказал Уленшпигель, — ты ведь болен...

— Мне помощник! — закричал Ламме. — Мне нужен помощник! Ну, не набит ли ты битком неблагодарностью, как колбаса рубленным мясом. Помощник... И это говоришь своему другу ты, сын мой, которого я так долго и так сытно кормил. Теперь откроется моя рана! Плохой же ты друг. Кто же здесь будет готовить такую еду, как я? Что же вы станете оба делать, если я не буду подносить тебе, господин капитан, и тебе, Неле, лакомых кусочков?

— Управимся сами в кухне, — сказал Уленшпигель.

— В кухне! — вскричал Ламме. — Ты можешь есть, пить, нюхать то, что в ней приготовлено, но управиться в ней — нет! Несчастный мой друг и господин капитан, да ведь я, с твоего позволения, нарежу на полоски кожаную сумку, зажарю и подам тебе, и ты это съешь, принимая за жестковатые кишки. Уж позволь мне, сын мой, остаться теперь поваром, — не то я высохну, как былинка.

— Ну, оставайся поваром, — сказал Уленшпигель, — если ты не выздоровеешь, я запру кухню, и мы будем питаться сухарями.

— Ах, сын мой, — говорил Ламме, плача от радости, — ты добр, как богородица.

#### IV

Так или иначе, он как будто выздоровел.

Каждую субботу гёзы видели, как он длинным ремнем измеряет толщину монаха.

В первую субботу он сказал:

— Четыре фута.

И, измерив себя, прибавил:

— Четыре с половиной.

И имел при этом мрачный вид.

Но, измерив монаха в восьмую субботу, он возликовал и сказал:

— Четыре и три четверти.

И когда он мерил монаха, тот с яростью спросил его:

— Чего тебе от меня надо, толстопузый?

Но Ламме, не говоря ни слова, высунул в ответ язык.

И по семь раз в день видели матросы и солдаты, как он подходит с каким-нибудь новым блюдом к монаху и говорит:

— Вот тертые бобы на фландрском масле. Ел ты что-нибудь подобное в твоём монастыре? Роба у тебя почтенная, у нас на корабле не худеют. Чувствуешь, какие подушки сала выросли на твоей спине? Скоро тебе для спанья не нужно будет никаких тюфяков.

При второй кормежке он говорил монаху:

— Ну вот тебе коеке-баккен, блинчики на манер брюссельских; французы их называют сгêре, потому что носят их на шляпах в знак траура \*. А эти не черные, а светлые и в печи подрумянились: видишь, как капает с них масло. Так будет и с твоим пузом.

— Я не голоден, — сказал монах.

— А съесть придется, — ответил Ламме, — подумай, ведь это не ржаные какие-нибудь блинчики, а крупичатые,

---

\* Каламбур: сгêре по-французски означает и материю, употребляемую для траура, и блинчик.

из чистой пшенички, отец мой, отец во толстопузии, это цвет пшеничный, отец мой о четырех подбородочках; вижу, вижу, растет у тебя пятый, и радуется сердце мое. Ешь!

— Оставь меня в покое, толстобрюхий, — сказал монах.

— Я господин над твоей жизнью, — закричал, вскипев, Ламме. — Что же, ты предпочитаешь веревку миске тертого гороха с гренками, которую я тебе сейчас поднесу?

И, явившись с миской, он говорил:

— Тертый горох любит доброе соседство; поэтому я прибавил к нему немецких knoedels, — это такие вкусные мучные катышки: их живьем бросают в кипяток и так варят; они тяжелы для желудка, но от них жиреют. Съешь, сколько можешь; чем больше съешь, тем довольнее буду я. Не притворяйся пресыщенным, не отдувайся, как будто объелся, ешь. Лучше же поесть, чем быть повешенным. Покажи-ка твою ляжку. Растет здорово; два фута семь дюймов в обхвате. Какой окорок может похвастаться такой толщиной!

— Вот, — говорил он, — девять голубей... Для тебя убили этих невинных птичек, которые доверчиво летали над кораблями. Не пренебрегай ими, я им в нутро положил кусочек масла, хлебного мякиша, тертого муската, гвоздичек, истолченных в медной ступке, блестящей, как твоя кожа: само солнышко радуется, что может отразиться в таком светлом зеркале, как твоя рожа, потому что она жирная, а добрый жир — это от моих забот.

На пятую кормежку он принес ему waterzoeu.

— Что скажешь ты об этом рыбном блюде? — начал он. — Море несет тебя и кормит: больше оно не в силах сделать даже для его королевского величества. Да, да, вижу, у тебя явно растет пятый подбородок, слева немножко полнее, чем справа. Надо будет немножко подкормить этот обиженный бочок, ибо господь заповедал нам: «Будьте справедливы к каждому». В чем будет справедливость, если не в равномерном распределении сала? На шестую кормежку я принесу тебе слизняков, этих устриц бедноты: таких не подавали в твоём монастыре; невежды кипятят их в воде и едят в таком виде. Но это только предварение соуса: надо затем снять с них ракушки, сложить их нежные тельца в кастрюльку и потихонечку тушить их с сельдереем, мускатом, гвозди-

кой, а подливу к ним заправить пивом и мукой и подавать к жаркому. Я их так и приготовил для тебя. За что обязаны дети отцам и матерям столь великой благодарностью? За отчий кров и ласку их, но прежде всего за пропитание. И ты, стало быть, должен любить меня как отца и мать родных, и, как им, ты обязан мне признательностью твоей пасти. Да не верти ты так дико глазами в мою сторону.

Сейчас принесу тебе сладкой похлебочки из пива с мукой, с сахаром, с корицей. Знаешь, для чего? Для того, чтобы твой жир стал прозрачным и трепетал у тебя под кожей: он уж и теперь виден, когда ты волнуешься. Но вот звонит вечерний колокол. Спи спокойно, не заботясь о завтрашнем дне, в твердой уверенности, что завтра ты вновь обретешь смачную еду и своего друга Ламме, который ее для тебя приготовит.

— Уходи и дай мне помолиться богу, — сказал монах.

— Молись, — отвечал Ламме, — молись под веселую музыку храпа: от сна и пива нагуляешь еще доброго жирка. Я доволен.

И Ламме собрался спать.

— Чего ради, — спрашивали его солдаты и матросы, — ты откармливаешь этого монаха, который тебя терпеть не может?

— Не мешайте мне, — отвечал Ламме, — я совершаю великое дело.

## V

Пришел декабрь — месяц долгого сумрака. Уленшпигель пел:

Сбросил маску герцог Анжуйский:  
Его высочество  
Хочет быть государем Бельгии .  
Но провинции, что стали испанскими,  
Но не стали еще анжуйскими,  
Не заплатят ему налогов. .  
Бей, барабан, бей!  
Проиграет битву анжуец!

Ведь в их руках богатые поместья,  
Сокровища казны,  
И ренты, и акцизный сбор,  
И городские выборные власти,  
Зато и сердится на реформатов  
Его высочество анжуйский герцог,

Во Франции безбожником сльвущий..  
Ох, проиграет битву наш анжуец!

Пуская в ход насилие и меч,  
Он королем быть хочет полновластным,  
Самодержавным государем,  
Его высочество анжуйский герцог..  
Немало наших славных городов,  
Антверпен даже хочет взять обманом  
Молокосос, властитель скороспелый!  
Ох, проиграет битву наш анжуец!

О Франция! Не на тебя  
Народ наш ринулся, от гнева обезумев.  
Нет, тело благородное твое  
Не поразят смертельные удары.  
Нет, это трупы не твоих детей  
Легли горою страшной друг на друга,  
Загромоздив Кип-дорпские ворота ..  
Ох, проиграет битву наш анжуец!

Нет, Франция, то не твоих детей  
Народ бросает с крепостных валов!  
Виной всему — анжуйский герцог,  
Его высочество, развратник и бездельник:  
Твоею кровью он живет  
И нашу хочет пить;  
Но лишь приблизит кубок он к устам..  
Ох, проиграет битву наш анжуец!

В незащищенном городе недавно  
Его высочество кричал «Убей! Убей!  
Да здравствует господня месса!» —  
А у красавчиков, его любимцев,  
Глаза блестели беспокойным блеском,  
Как у людей бесстыдных, развращенных,  
Которым ведома лишь похоть, не любовь..  
Ох, проиграет битву наш анжуец!

Их мы разим, а не тебя, народ несчастный,  
Сам стонущий под бременем налогов,  
И податей, и сборов, и поборов..  
Тебе презрением платя, они всё тащат —  
Хлеб, лошадей, повозки... У тебя,  
Кого отцом своим они считать должны бы!..  
Ох, проиграет битву наш анжуец!

О Франция, ты — мать, вскормившая свою грудью  
Отцеубийц и выроdkов порочных,  
Что за твоими рубежами  
Позорят имя славное твое .  
Что ж, упивайся грязной славой их,  
Их подвигом пасилья  
И бесчинств кровавых..  
Ох, проиграет битву наш анжуец!

Вплетясь в венок твоих побед военных,  
Еще одна провинция — твоя!..  
Народ французский, ты — народ мужей!  
Сверни-ка шею петуху-задире,  
Чье имя «Похоть и Война»!  
Сломи врага и раздави скорей!  
Приобретешь любовь ты всех народов,  
Коль проиграет битву наш анжуец!

## VI

В мае, когда фламандские крестьянки, чтобы предохранить себя от болезни и смерти, медленно бросают ночью через голову назад три черных боба, рана Ламме опять открылась; его трясло в лихорадке, и он просил, чтобы его положили на палубе, против клетки монаха.

Уленшпигель согласился, но, боясь, как бы его друг в беспамятстве не упал в море, он приказал хорошенько привязать его к кровати.

В минуты просветления Ламме неустанно напоминал, чтобы не забыли о монахе, и показывал ему язык.

И монах говорил:

— Ты оскорбляешь меня, толстопузый.

— Нет, — отвечал Ламме, — я тебя откармливаю.

Мягко веял ветерок, тепло сияло солнце, Ламме в лихорадочном бреду был крепко привязан к кровати, чтобы в припадке беспамятства он не бросился за борт. Ему казалось, что он в кухне, и он говорил:

— Печь сверкает сегодня. Сейчас дождем посыплются дрозды. Жена, расставь силки в саду. Как ты красива, когда руки твои оголены до локтя. Какая белая рука. Я укушу ее, укушу губами — это бархатные зубы. А кому же это чудное тело, эти нежные груди, видные сквозь тонкое полотно твоей рубашки? Мне, радость моя, мое все это. Кто сварит соус из петушиных гребешков и цыплячьих гузок? Не надо так много муската: от него лихорадка. Белый соус, тмин, лавровый лист. Где желтки?

И, знаком приказав Уленшпигелю приблизить ухо к его рту, он шепнул ему:

— Сейчас дождем посыплется дичь. Тебе дам четыремья дроздами больше, чем другим. Ты капитан, не выдавай меня.

И, услышав, как волна мягко бьет о борт корабля, он сказал:

— Суп кипит, сын мой, суп кипит! Но как медленно нагревается эта печь.

Едва сознание вернулось к нему, он заговорил о монахе:

— Что он? Толстеет?

И, увидев его, он показал ему язык и сказал:

— Совершается великое дело. Как я рад!

В один прекрасный день он потребовал, чтобы на палубе поставили большие весы, на одну чашку посадили его, на другую монаха. Но едва монах опустился на чашку, как Ламме стрелой взлетел вверх и закричал в восторге:

— Вот так вес! Вот так вес! Я легкий дух в сравнении с ним; я чуть было не вспорхнул как птичка. Вот что, снимите его, чтобы я мог сойти. Теперь положите гири, посадите его. Сколько в нем? Триста девяносто фунтов! А во мне? Двести семьдесят пять!

## VII

Следующей ночью, в сумерках рассвета, Уленшпигеля разбудили крики Ламме:

— Уленшпигель, Уленшпигель! На помощь! Не давай ей уйти! Разрежьте бечевки! Разрежьте бечевки!

— Что ты кричишь? — спросил Уленшпигель, выйдя на палубу. — Я ничего не вижу.

— Это она, — ответил Ламме, — она, жена моя, плавает в шлюпке вокруг того корабля, да, того корабля, откуда слышались песни и музыка.

Неле вышла на палубу.

— Разрежь мои бечевки, друг мой, — обратился к ней Ламме, — разве ты не видишь, моя рана исцелена; ее нежная рука перевязала рану. Она, да, это она. Видишь, вон она стоит в шлюпке? Слышишь, она поет? Приди, моя дорогая, приди, не убегай от твоего бедного Ламме, который без тебя так одинок на свете.

Неле взяла его руку, коснулась его лица.

— Он еще в жару, — сказала она.

— Разрежьте бечевки, — говорил Ламме, — дайте мне шлюпку! Я жив! Я счастлив! Я здоров!

Уленшпигель перерезал бечевки; освобожденный Ламме соскочил с постели в белых холщовых исподниках, без куртки и начал сам спускать шлюпку.

— Смотри, у него руки дрожат от нетерпения, — сказала Неле Уленшпигелю.

Шлюпка была готова, и Уленшпигель, Неле и Ламме сошли в нее с гребцом и направились к кораблю, стоявшему далеко в гавани.

— Красавец корвет, — сказал Ламме, помогая гребцу.

На ясном небосклоне, озаренном лучами рассвета, точно золотистый хрусталь, вырисовывались изящные очертания корабля и его стройных мачт.

— Теперь расскажи нам, как ты ее нашел? — спросил Уленшпигель у гребущего Ламме.

— Мне было лучше, я спал, — прерывисто рассказывал Ламме, — вдруг глухой стук. Кусок дерева ударился о борт. Шлюпка. Матрос бежит на шум: «Кто там?» Нежный голос, ее, сын мой, ее сладостный голос: «Друзья». И другой голос грубее: «Да здравствуют гёзы! От командира корвета «Иоганна» к Ламме Гудзаку». Матрос бросает лесенку. При свете луны вижу, на палубу подымается человеческая фигура: полные бедра, круглые колени, широкий таз; говорю себе: «Поддельный мужчина»; чувствую, точно роза раскрылась и коснулась моего лица: ее губы, сын мой, и я слышу, она, понимаешь, она говорит со мной. Целует меня и поливает слезами, — и точно жидкий и благоуханный огонь охватил мое тело, — и говорит: «Я знаю, что поступила дурно, но я люблю тебя, муж мой. Я дала обет господу, но изменяю клятве, муж мой, мой бедный муж; я уже не раз приходила, но не смела приблизиться к тебе. Наконец матрос мне позволил: я перевязывала твою рану, ты меня не узнавал, но я тебя вылечила, не сердись, муж мой. Я пришла к тебе, но я боюсь: он здесь, на вашем корабле. Пусти, я уйду; если он меня увидит, он проклянет меня, и я буду гореть в вечном огне». Плача и радуясь, она поцеловала меня еще раз и ушла, несмотря на мои слезы, против моей воли: ты связал меня по рукам и ногам, сын мой, но теперь...

И он сопровождал свою речь могучими взмахами весел, точно натянутая тетива лука, посылающая вперед стремительную стрелу.

Они подъезжали к кораблю, и Ламме говорил:

— Вон она стоит на палубе, играет на лютне, моя прелестная жена, с золотистыми волосами, с темными глазами, с еще свежими щеками, с обнаженными полными руками, с белыми пальчиками. Лети, лодочка, по волнам!

Увидя приближающуюся шлюпку и на ней Ламме, гребущего как дьявол, капитан корвета приказал бросить с палубы трап. Подойдя к корвету, Ламме вскочил на трап, чуть не упав при этом в море и оттолкнув шлюпку назад больше, чем на три брасса; вскарабкался, точно кошка, по трапу и бросился к своей жене, которая, не помня себя от радости, стала целовать его и обнимать, говоря:

— Ламме, не увози меня! Я дала обет господу, но я люблю тебя. Ах, дорогой мой муж!

— Да это Каллекен Гейбрехтс! — вскричала Неле. — Красавица Каллекен!

— Да, это я, — ответила та, — но, увы, полдень минул уже для моей красоты.

И лицо ее омрачилось.

— Что ты сделала? — говорил Ламме. — Что с тобой случилось? Почему ты меня бросила? Почему ты и теперь не хочешь вернуться ко мне?

— Слушай, — сказала она, — не сердись. Я скажу тебе: зная, что монахи — люди святые, я доверилась одному из них: его имя брат Корнелис Адриансен.

— Что? — закричал Ламме, услышав это имя. — Этот злобный ханжа, с помойной ямой вместо рта, только и говоривший, что об избиении реформатов! Этот проповедник инквизиции и указов? Так вот кто был этот мерзавец!

— Не оскорбляй святого человека, — сказала Каллекен.

— Святого человека? — отвечал Ламме. — Знаю я его, этого святого! Это грязная и подлая скотина. О горе, горе! И моя красавица Каллекен должна была попасть в лапы к этому распутному монаху. Не подходи, я убью тебя! А я так ее любил! Мое бедное, обманутое сердце, которое принадлежало только ей... Что ты здесь делаешь? Зачем ты перевязывала мои раны? Надо было дать мне умереть. Я не хочу видеть тебя, убирайся, или я брошу тебя в море. Мой нож!

— Ламме, муж мой! — отвечала она, обнимая его. —

Не плачь, я совсем не то, что ты думаешь: я никогда не принадлежала этому монаху.

— Ты лжешь, — говорил он, плача и скрежеща зубами, — ах, я никогда не ревновал, а теперь стал ревнивцем. Печальная страсть, гнев и любовь — хочется сразу и убить и целовать. Уходи! Нет, останься! Я был так добр к ней. Убийство — вот мой владыка теперь. Мой нож! О, как внутри меня горит, ест, грызет, а ты смеешься надо мной...

Рыдая, она целовала его, кроткая и покорная.

— Да, — говорил он, — я глуп в моей ярости; да, ты хранила мою честь, ту честь, которую так безумно прицепляют к юбкам женщин. Так вот для чего ты пускала в ход самые нежные твои улыбки, когда тебе надо было идти слушать проповедь с приятельницами...

— Дай мне слово сказать, — говорила она, целуя его, — пусть я умру на месте, если я обманываю тебя.

— Умри же, — ответил Ламме, — ибо ты сейчас солжешь!

— Слушай же.

— Говори или не говори, мне все равно.

— Брат Адриансен имел славу хорошего проповедника, — начала она, — я пошла его послушать. Он говорил, что духовный сан и безбрачие выше всего прочего, ибо ими легче всего достигает верное чадо райского блаженства. Его красноречие было сильно и пламенно; оно глубоко взволновало многих честных женщин — среди них и меня, — и особенно вдов и девушек. Так как безбрачие и есть жизнь совершенная, то он советовал нам пребывать в нем, и мы поклялись, что отныне отрекаемся от супружеской жизни.

— Кроме сожителства с ним, конечно, — сказал Ламме, плача.

— Молчи! — отвечала она, рассердившись.

— Ну, кончай! — сказал он. — Ты нанесла мне тяжелый удар, я уж не оправлюсь.

— О муж мой, когда я буду неразлучна с тобой...

Она хотела обнять и поцеловать его, но он оттолкнул ее.

— Вдовы, — говорила она, — принесли клятву не вступать больше в брак.

Ламме слушал, погруженный в свои ревнивые мысли, а Каллекен стыдливо продолжала свой рассказ:

— Он принимал в исповедницы только молодых и красивых женщин и девушек; прочих он отправлял к их духовникам. Он собрал богомолков, взяв с нас со всех клятву, что мы будем исповедоваться только у него; я покорилась. Другие женщины, более опытные, чем я, спрашивали меня, не хочу ли я получить наставление во святом послушании и святом покаянии. Я согласилась. В Брюгге, на набережной Каменотесов, подле монастыря миноритов, был дом, где жила женщина по имени Калле де Нажаж, у которой девушки получали обучение и содержание за червонец в месяц. Брат Корнелис мог незаметно проходить к ней из монастыря. Здесь, в маленькой комнатке, где не было никого, кроме него, я встрети-лась с ним. Он велел мне рассказать ему подробно обо всех моих естественных плотских склонностях. Я сперва не решалась, но в конце концов покорилась и расска-зала все.

— О горе, — всхлипывал Ламме, — и твои чистые признания достались этой свинье!

— Он говорил мне всегда, — это правда, муж мой, — что превыше стыда земного — стыд небесный, что мы должны приносить господа в жертву нашу мирскую стыд-ливость; только исповедуясь нашему духовнику в тайных воужделениях, мы становимся достойны святого послуша-ния и святого покаяния... Потом он стал требовать, чтобы я предстала пред ним нагая, дабы мое грешное тело при-няло самое легкое наказание за мои пороки. Однажды он заставил меня раздеться; когда рубаха упала с меня, я лишилась сознания; он привел меня в чувство нюха-тельными солями. «На этот раз довольно, дочь моя, — сказал он, — через два дня придешь и принесешь розгу...» Это длилось долго, но никогда... клянусь богом и всеми святыми... муж мой... пойми меня... взгляни на меня... посмотри, лгу ли я: я осталась чистой и верной тебе... я люблю тебя...

— Бедное нежное тело, — сказал Ламме. — О, позор-ное пятно на твоём брачном наряде.

— Ламме, — сказала она, — он говорил от имени го-спода и святой матери нашей, католической церкви: могла ли я послушаться его? Я любила тебя всегда, но под страшными клятвами принесла пресвятой деве обет не отдаваться тебе. Но я была слаба все-таки, слаба к тебе. Помнишь гостиницу в Брюгге? Я была у Калле, ты про-

ехал мимо на осле вместе с Уленшпигелем. Я пошла за тобой следом; у меня были деньги, я ничего на себя не тратила; я увидела, что ты голоден; мое сердце потянулось к тебе, я почувствовала жалость и любовь.

— Где он теперь? — спросил Уленшпигель.

Каллекен ответила:

— После следствия, произведенного по приказу магистрата, и преследований со стороны злых людей брат Адриансен вынужден был оставить Бригге и нашел пристанище в Антверпене. Мне говорили на корабле, что мой муж взял его в плен.

— Что? — закричал Ламме. — Монах, которого я откармливаю, это...

— Да, — ответила Каллекен, закрывая лицо руками.

— Топор! Топор! — кричал Ламме. — Убью его, с торгов продам на сало этого похотливого козла. Скорее назад на корабль! Шлюпку! Где шлюпка?

— Это гнусная жестокость — убивать или ранить пленника, — сказала Неле.

— Ты так зло на меня смотришь; не позволишь? — сказал он.

— Да, не позволю, — сказала Неле.

— Хорошо Я не причиню ему никакого зла; мне только выпустить его из клетки. Шлюпка! Где шлюпка?

Они спустились в шлюпку. Ламме поспешно греб и в то же время плакал.

— Ты удручен, муж мой! — сказала Каллекен.

— Нет, я весел: ты, конечно, меня никогда уж не покинешь?

— Никогда, — ответила она.

— Ты говоришь, что осталась чиста и верна мне; но, радость моя, дорогая Каллекен, я жил только мыслью найти тебя, и вот, из-за этого монаха, во всех наших радостях отныне будет яд, яд ревности... В минуту грусти или даже утомления я непременно буду видеть, как ты, обнаженная, подставляешь свое тело этому гнусному бичеванию. Весна нашей любви была моя, но лето досталось ему; осень будет пасмурная, скоро за ней придет зима и похоронит мою верную любовь.

— Ты плачешь? — спросила она.

— Да, — ответил он, — оттого, что прошлое не вернется.

Но Неле сказала:

— Если Қаллекен была верна, ей следовало бы теперь уйти от тебя за твои злые слова.

— Он не знает, как я его люблю, — сказала Қаллекен.

— Правда! — вскричал Ламме. — Так приходи ко мне, красавица, приходи, жена моя, — и нет уж ни пасмурной осени, ни зимы-могильщика.

Он видимо повеселел, и так они вернулись на корабль.

Получив у Уленшпигеля ключи от клетки, Ламме отпер ее. Он хотел вытащить монаха за ухо на палубу, но не смог; он попытался заставить его пролезть боком, но тоже не смог.

— Придется всё сломать, — сказал он, — разжирел каплун.

Монах вышел, вращая отупевшими глазами и держа руки на животе, и тут же упал на свой зад, так как большая волна качнула корабль.

— Что, будешь называть меня «толстопузый»? — сказал Ламме. — Вот ты толще меня. Кто кормил тебя по семь раз в день? Я. Отчего это, крикун, ты стал теперь тише и мягче к бедным гёзам? Если ты посидишь еще год в клетке, то уж не выйдешь отсюда; при каждом движении твои щеки дрожат, как свиной студень; ты уж не кричишь, скоро и сопеть перестанешь.

— Молчи, толстопузый, — ответил монах.

— Толстопузый! — закричал Ламме, придя в ярость. — Я Ламме Гудзак, то есть Ламме — мешок добра, а ты — мешок жиру, мешок сала, мешок лжи, мешок обжорства, мешок похоти. У тебя на четыре пальца сала под кожей, даже глаз не видно. Уленшпигель и я, мы вместе могли бы расположиться под соборными сводами твоего пуза. Ты назвал меня толстопузым. Хочешь зеркало, — взглянуть на твое толстопузие? Это я тебя выкормил, монумент из мяса и костей. Я поклялся, что ты жиром будешь плевать, жиром потеть и оставлять за собой жирные пятна, точно сальная свечка, тающая на солнце. Говорят, удар приходит с седьмым подбородком; у тебя уже шесть с половиной.

И он обратился к гёзам:

— Смотрите на этого сладострастника! Это брат Корнелис Адриансен-Ахтыдряньсен из Брюгге; он проповедовал здесь новомодную стыдливость. Его сало — его

кара; его сало — мое создание. Слушайте же вы, солдаты и матросы, я ухожу от вас, от тебя, Уленшпигель, и от тебя, Неле, я поселюсь во Флиссингене, где у меня есть имущество, и буду жить там с моей бедной, вновь обретенной женой. Вы когда-то поклялись мне, что исполните все, чего я от вас требую.

— Слово гёзов, — ответили они.

— Так вот, — продолжал Ламме, — взгляните на этого распутника, на этого брата Адриансена-Ахтыдрьянсена из Брюгге. Я поклялся, что он у меня задохнется своим салом, как свинья. Постройте ему клетку пошире, впихивайте в него двенадцать обедов в день вместо семи; огкармливайте его, давайте побольше жирного и сладкого: теперь он бик, пусть будет как слон, — и вы увидите, он заполнит всю клетку.

— Мы откормим его, — сказали гёзы.

— А теперь, — продолжал Ламме, обращаясь к монаху, — я прощаюсь и с тобой, бездельник, которого я кормил по-монастырски, вместо того чтобы повесить тебя: возрастай в жиру и жди смерти от удара.

И, обняв Каллекен, он прибавил:

— Смотри, можешь хрюкать или реветь, я увожу ее, больше ты ее сечь не будешь.

Но тут заговорил разъяренный монах, обращаясь к Каллекен:

— Так ты уходишь, баба блудливая, уходишь на ложе похоти. Да, ты уходишь без сострадания к бедному мученику слова божьего, который наставлял тебя в святом, сладостном, небесном послушании. Будь проклята! Пусть ни один священнослужитель не даст тебе отпущения, пусть земля горит под твоими ногами; пусть сахар тебе кажется солью, а говядина — собачьей падалью; пусть хлеб тебе будет золой, солнце — льдиной, а снег — огнем адским. Да будет проклято твое чрево, да будут дети твои чудовищами, с обезьяньим телом и свиной головой, раздутой больше, чем их живот. Пусть ничего, кроме страданий, плача, стенаний, ты не будешь знать ни на этом свете, ни на том, в аду, который ждет тебя, в пекле серном и смоляном, зажженном для таких, как ты, самок. Ты отвергла мою отцовскую любовь; будь трижды проклята святой троицей и семь раз проклята светильниками ковчега; пусть исповедь будет для тебя мукой; пусть святое причастие будет тебе ядом смер-

тельными; пусть каждая плита в храме подыметься с пола, чтобы разможить тебя и сказать тебе: «Се есть распутница, сия осуждена, сия проклята!»

И Ламме, прыгая от восторга, весело говорил:

— Она была мне верна, монах сам сказал. Да здравствует Каллекен!

Но она, рыдая и дрожа, говорила:

— О, сними, молю, сними с меня это проклятие. Я вижу ад! Сними проклятие!

— Сними проклятие! — сказал Ламме.

— Не сниму, толстопузый, — ответил монах.

И жепщина, бледная и обезумевшая, стоя на коленях, простирала с мольбой руки к Адриансену.

— Сними проклятие! — сказал Ламме монаху. — Не то ты сейчас же будешь повешен, а если веревка лопнет от твоей тяжести, ты будешь повешен вторично, пока не издохнешь.

— Повешен дважды и трижды, — сказали гёзы.

— Ну что ж, — сказал монах, — иди, сладострастница, иди с этим толстопузым. Иди, я снимаю мое проклятие, но господь и все святители будут следить за тобой. Иди с этим толстопузым, иди!

И он умолк, потея и хрипя.

— Он хрипит, он хрипит, — вдруг закричал Ламме, — вот шестой подбородок; на седьмом — удар. А теперь, — обратился он к гёзам, — поручаю вас господу, и тебя, Уленшпигель, поручаю господу, и тебя, Неле, и всех вас, друзья, и святое дело свободы тоже препоручаю господу. больше я уже не могу ничего для нее сделать.

Затем, обнявшись и поцеловавшись со всеми, он обратился к своей Каллекен:

— Пойдем, пришел час законной любви.

Лодка неслась по воде, унося Ламме и его возлюбленную, а на корабле все, матросы, солдаты и юнги, размахивали шапками и кричали:

— Прощай, друг и брат! Прощай, Ламме! Прощай, друг и брат!

И Неле, снимая тонким пальчиком слезинку, повисшую в углу глаза у Уленшпигеля, спросила его:

— Ты опечален, дорогой мой?

— Ламме такой добрый, — ответил он.

— О! — сказала она. — Этой войне нет конца. Неужто мы так и проведем всю жизнь в слезах и криви?

— Будем искать Семерых, — ответил Уленшпигель, — близок час освобождения.

Исполняя обещание, данное Ламме, гёзы продолжали откармливать монаха в его клетке. Когда, по уплате выкупа, он был выпущен на свободу, в нем было триста девяносто два фунта и одиннадцать унций фландрского веса.

И он умер настоятелем своего монастыря.

### VIII

В это время собрались господа чины Генеральных штатов в Гааге судить Филиппа, короля Испании, графа Фландрии, Голландии и прочая, согласно подтвержденным им хартиям и привилегиям.

И секретарь собрания говорил:

— Известно всем и каждому, что государь страны поставлен господом богом как властелин и глава над подданными, ради защиты и охраны их от всяких обид, притеснений и насилий, подобно тому как пастух должен быть стражем и защитником стада своих овец. Известно также, что подданные не созданы господом для потребы государя, ни для того, чтобы покоряться ему во всем, что он прикажет, — будь оно благочестиво или греховно, справедливо или несправедливо, — ни для того, чтобы рабски служить ему. Но государь для того есть государь над своими подданными, без которых он не существует, чтобы править ими согласно закону и разуму; чтобы охранять их и любить, как отец любит детей, как пастырь — свою паству, жертвуя жизнью для их защиты. Если он этого не делает, то уже не государем должно его почитать, но тираном. При помощи наемных солдат, призывов к крестовому походу, булл об отлучении король Филипп бросил на нас четыре иноземных армии. Какое надлежит ему наказание по законам и обычаям страны?

— Да будет низложен! — отвечали господа чины Генеральных штатов.

— Филипп нарушил свои клятвы, он забыл об услугах, которые мы ему оказали, о победах, которые мы помогли ему одержать. Видя наше богатство, он отдал нас в жертву вымогательствам и грабежам членов своего испанского совета.

— Да будет низложен как клятвопреступник и разбойник, — отвечали господа чины Генеральных штатов.

— Филипп поставил в важнейших городах страны новых епископов, пожаловав им в удел владения богатейших аббатств; с их помощью он ввел испанскую инквизицию.

— Да будет низложен как палач и расточитель чужого достояния, — ответили господа чины Генеральных штатов.

— Дворянство страны, видя это насилие, вошло в 1566 году с прошением, в котором умоляло государя смягчить свои суровые указы, особенно относящиеся к инквизиции. Он отверг просьбу!

— Да будет низложен как тигр, неутолимый в своей жестокости! — отвечали господа чины Генеральных штатов.

Секретарь продолжал:

— На Филиппа падает чрезвычайное подозрение в том, что он, через посредство членов своего испанского совета, был тайным подстрекателем уничтожения икон и разгрома церквей, чтобы, ссылаясь на преступления и беспорядки, двинуть на нас иноземные войска.

— Да будет низложен как орудие смерти, — отвечали господа чины Генеральных штатов.

— В Антверпене Филипп учинил избиение граждан, разорил фландрских купцов и купцов иностранных. Сам он и его испанский совет дали тайные распоряжения, по коим некий Рода, заведомый негодяй, получил право объявить себя главою грабителей, собирать добычу, пользоваться его именем, именем короля Филиппа, для того чтобы подделывать печати большие и малые и вести себя как его правитель и наместник. Это доказано перехваченными и находящимися в наших руках королевскими письмами. Все произошло с его согласия и по осуждению в совете Испании. Прочитайте его письма; он одобряет в них то, что произошло в Антверпене, признает, что этим ему оказана им самим намеченная услуга, обещает отблагодарить, приглашает Роду и прочих испанцев следовать далее по тому же славному пути.

— Да будет низложен как разбойник, грабитель и убийца, — отвечали господа чины Генеральных штатов.

— Мы не хотим ничего, кроме сохранения наших вольностей, мира честного и твердого, свободы умерен-

ной, особенно в деле веры, относящейся до господ бога и совести. Мы не получили от Филиппа ничего, кроме лицемерных договоров, служащих семенем раздора между областями, для того чтобы поработить их одну за другой и истощить, подобно индийским владениям, грабежом, конфискациями, казнями и инквизицией.

— Да будет низложен как убийца, замысливший погубить страну, — отвечали господа чины Генеральных штатов.

— Он выпустил из страны всю кровь при посредстве герцога Альбы и его клеветов — Медина-Сели, Рекесенса — злодеев, заседавших в советах государственных и областных; он требовал непреклонной и кровавой жестокости от дон Хуана и Александра Фарнезе, принца Пармского, — и это также явствует из его перехваченных писем. Он объявил принца Оранского изгнанным из империи; подкупил трех убийц в ожидании, пока подкупит четвертого; покрыл страну крепостями и замками; сжигал мужчин, закапывал живьем женщин и девушек, получая после них наследство; задушил Монтиньи, Бергена и прочих дворян, вопреки своему королевскому слову; убил своего сына Карлоса; выдав свою беременную любовницу, донью Эвфразию, за принца Асколи, он отравил последнего, чтобы обогатить свое незаконное отродье наследством принца; издал против нас указ, коим объявил нас всех злодеями и изменниками, потерявшими жизнь и имущество, и совершил неслыханное в христианской стране преступление, смешав невинных и виновных воедино.

— По всем законам, правам и привилегиям да будет низложен, — отвечали господа чины Генеральных штатов.

И печати королевские были сломаны.

И солнце сияло над землей и морем, наливая золотые колосья, золотя виноград, разметая по каждой волне жемчуга, драгоценный убор невесты Нидерландов — Свободы.

И вот принц Оранский, будучи в Делфте, поражен четвертым убийцей тремя пулями в грудь. И он умер, послушный своему девизу: «Спокойный среди бурных волн».

Враги его говорили, что, с целью обойти короля Филиппа и не надеясь стать государем южной и католической Голландии, он, по тайному договору, уступил ее герцогу Анжуйскому. Но последний не так был создан,

чтобы породить дитя Бельгию в союзе со Свободой, не любящей противоестественной любви.

И Уленшпигель вместе с Неле покинул флот.

И родина бельгийская стонала под ярмом, скованная предателями.

## IX

Тогда был месяц жатвы; воздух был удушлив, ветер горяч; жнецы и жницы могли привольно собирать под свободным небом на свободной земле хлеб, посеянный ими.

Фрисландия, Дренте, Оверэйсел, Гельдерн, Утрехт, северный Брабант, северная и южная Голландия; Валхерен, северный и южный Беверланд; Дюивеланд и Сховен, образующие Зеландию; все побережье от Кюкке до Гельдерна; острова Тессель, Виланд, Амеланд, Схирмоник-Оог, от западной Шельды до восточного Эмса — все это было накануне освобождения от испанского ярма. Мориц, сын Молчаливого, продолжал войну.

Уленшпигель и Неле, сохраняя всю свою молодость, свою силу и красоту, — ибо любовь и дух Фландрии не стареют, — жили вместе в башне Неере, в ожидании, что после стольких тяжелых испытаний можно будет вдохнуть воздух свободы, повеявший над их родиной Бельгией.

Уленшпигель просил о назначении его начальником и стражем башни, на том основании, что, имея орлиные глаза и заячий слух, он первый увидит, если испанцы сделают попытку вновь явиться в освободившуюся страну, и тогда он подымет wasacht, что на фламандском языке означает «тревога».

Магистрат исполнил его желание: в награду за его заслугу ему определили жалованье: флорин в день, две кружки пива, бобы, сыр, сухари и три фунта мяса в неделю.

Так превосходно жили вдвоем Уленшпигель и Неле, радостно созерцая вдали свободные острова Зеландии, вблизи — леса, замки и крепости и вооруженные корабли гёзов, охраняющие побережье.

Часто ночью они поднимались на башню и, сидя здесь на верхней площадке, перебирали тяжелые испытания и радости любви, прошедшие и предстоящие. Они видели отсюда море, которое приливало к берегу и отливало от него, неся свои волны, фосфоресцирующие в это жаркое время, бросая их на острова, точно пламенные видения. И Неле пугалась, заведя в польдерсах блуждающие

огоньки, которые, говорила она, суть души несчастных покойников. А все эти места были полями сражений.

Блуждающие огоньки трепетали над лугами, пронеслись над плотинами, потом, как бы не в силах расстаться с телом, из которого вышли, возвращались в польдерсы.

Однажды ночью Неле сказала Уленшпигелю:

— Смотри, как их много в Дейвеланде и как высоко они летают: со стороны Птичьих островов их больше всего. Хочешь туда, Тиль? Мы примем снадобье, которое показывает смертным глазам невидимые вещи.

— Если это то снадобье, которое меня носило на великий шабаш, — ответил Уленшпигель, — то я не больше верю в него, чем в пустой сон.

— Не следует отрицать силу чар, — сказала Неле, — пойдем, Уленшпигель.

— Пойдем.

На другой день он попросил у магистрата, чтобы ему на смену был поставлен зоркий и верный солдат стеречь башню и наблюдать за округой.

И они с Неле направились к Птичьим островам.

Проходя по лугам и плотинам, они видели маленькие зеленеющие островки, между которыми бурлили морские воды, а на поросших травой холмах, доходивших до дюн, расположились большие стаи белых чаек, гагар, морских ласточек; одни сидели неподвижно, от чего острова казались белыми, тысячи других птиц кружились в воздухе. Земля под ногами была усеяна гнездами. Когда Уленшпигель наклонился, чтобы поднять лежавшее на дороге яйцо, на него с криком налетела чайка; на ее призыв птицы слетелись со всех сторон сотнями, тревожно крича над головой Уленшпигеля и над соседними гнездами, но не решаясь приблизиться.

— Уленшпигель, — сказала Неле, — эти птички просят пощадить их яйца.

И, задрожав всем телом, она прибавила:

— Мне страшно; вот солнце заходит, небо побелело, звезды проснулись; это час духов. Смотри, красные испарения носятся над землей. Тиль, дорогой мой, что там за адское чудовище разверзло в облаке свою огненную пасть? Посмотри по направлению к Филиппсланду, где король-палач ради своего жестокого честолюбия дважды погубил такое множество несчастных людей; видишь, как там пляшут блуждающие огоньки; в эту ночь души не-

счастливых, убитых в боях, покидают холодные круги чистилица, чтобы подняться на землю и обогреться ее теплым воздухом. В этот час ты можешь просить о чем угодно Христа, бога добрых волшебников.

— Пепел Клааса стучит в мое сердце, — сказал Уленшпигель. — О, если бы Христос мог показать тех Семерых, пепел которых, рассеянный по ветру, должен осчастливить Фландрию и весь мир.

— Малoverный, — сказала Неле, — ты их увидишь с помощью снадобья.

— Может быть, — сказал Уленшпигель, показывая пальцем на Сириус, — если какой-нибудь дух сойдет с этой холодной звезды.

При этом движении блуждающий огонек, кружившийся вокруг него, сел на его палец, и чем настойчивее он старался сбросить его, тем крепче держался огонек.

Неле, при попытке избавить Уленшпигеля, получила свой огонек на кончик пальца.

— Отвечай, — сказал Уленшпигель, щелкнув по своему огоньку, — ты душа гёза или испанца? Если ты душа гёза, уходи в рай; если ты душа испанца, возвратись в ад, откуда пришла.

— Не оскорбляй душ, хотя бы это были души палачей, — сказала Неле.

И, подбрасывая огонек на своем пальце, она говорила:

— Огонек, милый огонек, какие новости принес ты из страны душ? Чем они там заняты? Едят ли и пьют, хотя нет у них рта? Ибо ведь у тебя его нет, славенький огонек. Или они принимают образ человеческий лишь в благословенном раю?

— Как можешь ты, — сказал Уленшпигель, — терять время на разговоры с печальным огоньком, у которого нет ни ушей, чтобы слышать тебя, ни рта, чтобы ответить тебе?

Но Неле, не слушая его, говорила:

— Ответь своей пляской, огонек. Я трижды спрошу тебя: раз во имя господа бога, раз во имя пресвятой девы и раз во имя стихийных духов, которые посредничают между богом и людьми.

Она это сделала, — и огонек подпрыгнул три раза.

Тогда Неле сказала Уленшпигелю:

— Разденься, я разденусь тоже; вот серебряная коробочка со снадобьем для сновидений.

— Мне все равно, — ответил Уленшпигель.

Раздевшись и натеревшись бальзамом сновидений, они, обнаженные, легли рядом друг с другом на траве.

Чайки жалобно вскрикивали; гром глухо грохотал в туче, где сверкали молнии; луна изредка выставляла меж туч золотые рожки своего полумесяца; блуждающие огоньки Уленшпигеля и Неле мчались вместе с прочими над лугом.

Вдруг Неле и ее возлюбленного схватила громадная рука великана, и он стал швырять их в воздух, как детские мячики, ловил, бросал друг на друга, мял в руках, бросал в лужицы между холмов и вытаскивал оттуда, опутанных водорослями. Затем, так нося их в пространстве, он пел голосом, ужаснувшимся пробужденных чаек:

Прочсть хотите глазом вы,  
Существа презренные,  
Божественного разума  
Знаки сокровенные?

Читайте, блохи! Будут вам  
Все тайны здесь открыты —  
К земле, на воздух, к небесам  
На семь гвоздей прибиты.

И действительно, Уленшпигель и Неле увидели на траве, в воздухе и в небе семь скрижалей сверкающей меди, прибитых семью пламенеющими гвоздями. На скрижалях было написано:

Из навоза росток возник.  
Семь — это зло и благо сразу.  
Из угля рождаются алмазы.  
Глуп учитель — мудр ученик...  
Семь — это зло и благо сразу.

И великан шагал, а за ним два блуждающих огонька, которые, стрекоча как стрекозы, твердили:

Он папа пап, сей повелитель,  
Он над царями вознесен, —  
Но хорошенько посмотрите:  
Ведь просто деревяшка он!

Вдруг лицо его преобразилось, он стал печальнее, худее, выше. В одной руке он держал скипетр, в другой — меч. Имя его было — Гордыня.

Он швырнул Неле и Уленшпигеля на землю и сказал:

— Я бог.

Но вот рядом с ним верхом на козе появилась краснолицая девка, в расстегнутом платье, с голой грудью и похотливым взглядом. Имя ее было Сладострастие. За нею шла старуха, собиравшая с земли скорлупу яиц чаек, имя ее было — Скупость; затем — жадный обжорамонах, уписывающий колбасу, едва прожевав сосиски; он, не переставая, что-то жевал, как свинья, на которой он ехал; его звали Чревоугодие. За ним, волоча ноги, тащилась Лень, бледная и одутловатая, с потухшим взглядом; Гнев подгонял ее уколами жала. Лень ныла, скулила и, заливаясь слезами, падала в изнеможении на колени. За ними ползла худосочная Зависть с змеиной головой и щучьими зубами, кусая Лень за то, что она слишком благодушна, Гнев — за то, что он слишком порывист, Чревоугодие — за то, что оно слишком упитано, Сладострастие — за то, что оно слишком румяно, Скупость — за скорлупу, Гордыню — за ее пурпурную мантию и венец.

И огоньки плясали вокруг них и жалобными голосами мужчин, женщин, девушек и детей зывали:

— Гордыня — мать честолюбия, Гнев — источник жестокости, вы убивали нас на полях сражений, в темницах, в застенках, чтобы сохранить ваши скипетры и короны. Зависть, ты в зародыше уничтожила множество благородных и полезных мыслей: мы — души их загубленных творцов. Скупость, ты обращала в золото кровь бедного народа: мы — духи твоих жертв. Сладострастие, спутник и брат убийства, породивший Нерона, Мессалину и Филиппа, короля испанского, ты покупаешь добродетель и развращаешь подкупом: мы — души погибших. Лень и Чревоугодие, вы грязните мир; надо его очистить от вас: мы — души усопших.

И послышался голос:

Из навоза росток возник.  
Семь — это зло и благо сразу.  
Из угля рождаются алмазы.  
Глуп учитель — мудр ученик...  
Чтоб раздобыть золы и угля —  
Что станет делать бродячая тля?

И огоньки говорили:

— Мы пламя, мы воздаяние за былые слезы, за страдания народные; воздаяние господам, охотившимся на

человеческую дичь в своих поместьях; воздаяние за ненужные битвы, за кровь, пролитую в темницах, за мужчин, сожженных на кострах, за женщин и девушек, живьем зарытых в землю; воздаяние за прошлое, окровавленное и скованное. Мы пламя, мы души усопших.

При этих словах Семеро обратились в деревянные изваяния, не меняя ни в чем своего первоначального образа.

И голос воззвал:

— Уленшпигель, сожги дерево!

И Уленшпигель, обратившись к огонькам, сказал:

— Раз вы — огонь, то делайте свое дело.

И блуждающие огоньки толпой окружили Семерых, которые загорелись и обратились в прах, и кровь потекла рекой.

Тогда вышло семь иных образов. Первый из них сказал:

— Имя мне было Гордыня; меня называют теперь Благородное достоинство.

Другие говорили то же, и Уленшпигель с Неле увидели, что из Скупости явилась Бережливость, из Гнева — Живость, из Чревоугодия — Аппетит, из Зависти — Соревнование, из Лениности — Мечта поэтов и мудрецов. И Сладострастие на своей козе обратилось в красавицу, имя которой было Любовь.

И огоньки кружились вокруг них в веселом хороводе.

Тогда Уленшпигель и Неле услышали тысячи голосов невидимых мужчин и женщин; веселые, упоительные, они звенели, словно колокольчики:

Когда на суше и водах  
Сих Семерых пора настанет —  
Род человеческий воспрянет  
И будет счастлив навсегда.

И Уленшпигель сказал:

— Духи издеваются над нами.

И могучая рука схватила Неле за руку и швырнула ее в пространство.

И духи пели:

Когда север  
Обнимется с западом,  
Бедствиям наступит конец.  
Пояс заветный ищи!

— Увы, — сказал Уленшпигель, — север, запад, пояс. Темно вы вещаете, господа духи.

И они снова насмешливо запели:

Север — это Нидерланды,  
А Бельгия — это запад.  
Пояс — союз их,  
Их дружба...

— Вы совсем не так глупы, господа духи, — сказал Уленшпигель.

И они снова насмешливо запели:

Знай, бедняга: добрая дружба,  
Прочный, прекрасный союз —  
Это пояс заветный, связующий  
Нидерланды и Бельгию,  
Союз их согласия,  
Их общего действия,  
Союз крови,  
На жизнь и на смерть.

И было б так,  
Когда б не Шельда.. —  
Да, бедняга, когда б не Шельда!

— Увы, — сказал Уленшпигель, — такова, стало быть, наша тяжелая жизнь: слезы людей и смех судьбы.

Союз крови,  
На жизнь и на смерть,  
Когда б не Шельда... —

откликнулись насмешливо духи.

И могучая рука схватила Уленшпигеля и швырнула его в пространство.

## Ж

Неле, упав, протерла глаза и увидела перед собой только солнце, восходящее в золотистых туманах, верхушки трав, также залитые золотом, и желтоватые под лучами восходящего солнца перья уснувших чаек; они, однако, тут же проснулись.

Неле осмотрелась, увидела свою наготу и поспешила одеться; затем, увидев Уленшпигеля, тоже голого, прикрыла его; думая, что он спит, она потрянула его, но он не шевельнулся — точно мертвый. Ужас охватил ее.

— Неужели, — воскликнула она, — я убила моего друга чародейским снадобьем? Я тоже хочу умереть! О Тиль, проснись... Он холоден, как мрамор.

Уленшпигель не пробуждался. Прошли две ночи и день, и Неле, дрожа в лихорадке от горя, не засыпала подле своего возлюбленного Уленшпигеля.

Утром второго дня Неле услышала звук колокольчика и увидела крестьянина, идущего с лопатой; за ним со свечами в руках шли бургомистр и двое старшин, священник деревни Ставениссе и причетник, державший над ним зонтик.

Они шли, говорили они, со святыми дарами для причащения доблестного Якобсена, который из страха был гёзом, но по миновании опасности возвратился, в смертный час, в лоно святой римской церкви.

Они остановились подле Неле, заливавшейся слезами, и смотрели на тело Уленшпигеля, распростертое на траве и покрытое его платьем. Неле стала на колени.

— Девушка, — сказал бургомистр, — что ты делаешь подле этого мертвеца?

Не смея поднять глаза, она отвечала:

— Молюсь за моего друга, который пал здесь, словно пораженный молнией: теперь я осталась одна и тоже хочу умереть.

— Гёз Уленшпигель умер, — сказал кюре, задыхаясь от радости, — слава богу! Мужик, копай живее могилу. Сними с него одежду.

— Нет, — сказала Неле, вставая, — с него ничего не снимут, не то ему будет холодно в земле.

— Копай могилу, — сказал кюре крестьянину с лопатой.

— Хорошо, — сказала Неле, заливаясь слезами, — в этом известковом песке нет червей, и он останется невредим и прекрасен, мой возлюбленный.

И, обезумев от горя, она упала, рыдая, на тело Уленшпигеля, покрывая его поцелуями и слезами.

Бургомистр, старшины и крестьяне были проникнуты сожалением, но священник не переставал весело твердить:

— Великий гёз умер, слава богу!

Между тем один из крестьян вырыл яму, положил в нее Уленшпигеля и засыпал песком.

И кюре произнес над могилой заупокойную молитву; все кругом преклонили колени. Вдруг под песком что-то зашевелилось, и Уленшпигель, чихая и стряхивая песок с волос, схватил кюре за горло.

— Инквизитор! — закричал он. — Ты меня хоронишь живьем во время сна! Где Неле? Ее тоже похоронили? Кто ты такой?

— Великий гёз вернулся с того света! — закричал священник. — Господи владыка, спаси мою душу!

И он убежал, как олень от собак.

Неле подошла к Уленшпигелю.

— Поцелуй меня, голубка, — сказал он.

И он снова огляделся вокруг; крестьяне убежали вслед за священником, бросив на землю, чтоб легче было бежать, лопату, стул и зонтик; бургомистр и старшины, зажав от страха уши, стонали, распростертые на траве.

Подойдя, Уленшпигель встряхнул их.

— Разве возможно, — сказал он, — похоронить Уленшпигеля — дух, и Неле — сердце нашей матери Фландрии? И она может уснуть, но умереть — никогда. Пойдем, Неле.

И он ушел с ней, распевая свою новую песню. Но никто не знает, когда спел он последнюю.



## ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 19. *«Господа художники... господа издатели, господин поэт...»* — Первое издание «Легенды об Уленшпигеле», вышедшее в 1867 г., иллюстрировали пятнадцать художников. Прибавив к этому числу двух издателей-компаньонов и самого автора «Легенды», получим восемнадцать человек, о которых говорится несколькими строчками ниже.

Стр. 23. *Агнеса* — католическая святая; согласно преданию, — прекрасная римлянка, оставшаяся невинной в доме разврата.

*Рабле Франсуа* (ок. 1495—1553) — знаменитый французский писатель эпохи Возрождения, литературная манера и демократический дух произведений которого оказали воздействие на автора «Легенды об Уленшпигеле».

Стр. 27. *Дамме* — городок, расположенный неподалеку от большого фландрского города Брюгге (см. ниже, примеч. к стр. 29).

*Фландрия* — одна из семнадцати областей (провинций) тогдашних Нидерландов, графство. Общее название этих провинций, расположенных в низовьях больших европейских рек: Шельды, Рейна и Мааса, — Нидерланды — означает: «низовые земли», понизовье. Нидерланды охватывали в середине XVI в. (время действия «Уленшпигеля») территорию нынешних Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, с небольшой частью северной Франции. Вместо «Нидерланды» нередко говорили тогда «Фландрия», распространяя название одной провинции на всю страну. Вот, поименно, нидерландские провинции, которые часто, в одиночку или группами, упоминаются в «Уленшпигеле»: герцогства — Брабант, Лимбург, Люксембург и Гельдерн; графства — Артуа, Геннегау, Фландрия, Намюр, Зютфен, Голландия и Зеландия; маркграфство Антверпен и сенъерии: Фрисландия, Мехелен, Утрехт; на незначительной территории Нидерландов (около 78 тысяч кв. км) жило тогда до 3 миллионов человек.

Стр. 29. *Брюгге* — город на севере Фландрии, связанный судорходным каналом с Северным морем. К началу действия «Уленшпигеля» (1527 г.) Брюгге уже утратил свое значение торговой столицы Нидерландов, уступив место Антверпену.

*Патар* — старинная мелкая монета.

*Флорин* — золотая монета, в ту пору (в Нидерландах) весом около трех с четвертью граммов на нашу современную меру веса.

*Лиар* — мелкая монета. Шесть лиаров составляли денье.

Стр. 30. *Ламме Гудзак*. — Имя «Ламме» означает «агнец», «ягненок». Ниже Клаас так и характеризует мальчика: «он ведь добрый и кроткий, как ягненок». Прозвище «Гудзак» состоит из двух частей: «гуд» — добро и «зак» — мешок. Так Ламме, говорит Клаас, прозван за добродушие

Стр. 33. «...*инфант по имени Филипп... порождение Карла Пятого, злодея нашей страны*». — *Инфант, инфанта* — в Испании и Португалии титул, который давали принцам и принцессам королевского дома.

*Карл V* — император т. наз. «Священной Римской империи германской нации» с 1519 по 1555 г., и испанский король под именем Карлоса I (1516—1556). Кроме германских земель и Испании, в состав империи Карла V входили также Нидерланды, южная Италия, Сицилия, Сардиния, испанские колонии в Америке. Карл V возглавлял католическую реакцию в Европе и стремился к созданию «всемирной христианской монархии». Крушение этой политической программы повлекло за собою отречение Карла V в 1556 г. от испанского престола в пользу сына — Филиппа II, которому он незадолго перед тем (1555) передал Нидерланды

Стр. 34. *Тильберт*. — Имя Уленшпигеля так же раскрывает существенную особенность его характера, как и имя его друга Ламме Гудзака. Священник, говорится в книге, дал ему имя «Тильберт», что значит «подвижный» или «прыткий». Катлина, «добрая колдунья», пророчествует о нем, что он «пройдет по разным землям» и «будет странствовать по свету, нигде не оседая». Этой внешней подвижности соответствует и непрерывное внутреннее развитие Уленшпигеля от озорника до героя, борца за родину, воплотившего в себе ее неукротимую жажду свободы.

*Таверна «Бутылочные четки»*. — Католические молитвы читаются молящимися в определенной последовательности. Чтобы не сбиться, прибегают к помощи так называемых четок — бус, нанизанных на нитку, концы которой связываются. Взяв большую бусину, удерживают ее до тех пор, пока не прочтут молитву «Отче наш» (которая на латинском языке, употребляемом в католическом богослужении, называется «*Pater noster*»), а взяв малую, читают

«Богородицу» («Ave») — и так все время, пока не дойдут до крестика — места, где связаны оба конца нитки бус. Тут читают так называемый «Символ веры» («Credo»), в котором сжато изложены основы всего вероучения. На вывеске таверны, где отпраздновано было рождение Тиля Уленшпигеля, изображены четки из бутылок, а там, где бусы-бутылки смыкаются, вместо креста намалевана пивная кружка. Протестанты высмеивали четки, которые в их глазах были одной из эмблем католицизма. В дальнейшем читателю встретятся в романе всякие кулинарные сравнения и намеки, в которых участвуют четки.

*Пинта* — мера жидкости; во Франции и Нидерландах — около одного литра.

Стр. 35. *Вальядолид* — старинный испанский город, в то время — столица Испании.

*Гильдия* (цех) — в средние века союз купцов или ремесленников, защищавший интересы или особые цеховые права и преимущества своих членов.

*Соборный капитул* — объединение духовных лиц, состоящих при католическом соборе.

*«...пришли из Рима прискорбнейшие вести».* — В то время Карл V воевал в Италии против папы Клементя VII. В начале мая 1527 г. императорские войска взяли Рим, разграбили город и убили при этом несколько тысяч жителей. В середине мая главнокомандующим стал Филибер де Шалон, *принц Оранский*, выдающийся полководец. Захватив в плен папу, он заставил его подписать капитуляцию на тяжелых условиях.

*Герцог Алансонский.* — Последний герцог Алансонский умер в 1525 г., и он, следовательно, не мог участвовать в разгроме Рима (1527). Титул этот восстановлен был позднее, а именно в 1570 г. В этом месте — один из частых в «Уленшпигеле» анахронизмов.

*Фрундсберг* Георг (1473—1528) — полководец, которого считают создателем немецкой наемной пехоты — *ландскнехтов*. Фрундсберг не участвовал во взятии Рима в мае 1527 г.

*Рейтары* — наемные конные войска.

Стр. 36. *Кардиналы* — высшие священники католической церкви, из числа которых избирался папа.

*«...разыскивая кардиналов, крича, что они отрежут им лишнюю кожу...»* — непристойный намек на запрещение избирать в папы кастрата. Карл V, из политических соображений свирепо расправляясь с протестантами в Нидерландах, вступал с ними в союз в Германии. Он выдавал себя за ревностного католика, но не остановился перед разграблением Рима и арестом папы Клементя VII, который только спустя семь месяцев, переодетый, спасся бегством

из заточения. Сын императора, Филипп II, тоже воевал с папой, и оба они, и Филипп и Карл, годами бывали отлучены от церкви.

*Дукат* — золотая монета, вес которой императорским постановлением 1559 г. был определен без малого в три с половиною грамма на нашу меру.

*«Император отменил все торжества...»* — вернее, они были перенесены на следующий год, когда Филипп был торжественно провозглашен законным наследником престола.

Стр 37. *Труба Иисуса Навина*. — От ее звука, по библейскому преданию, обрушились крепостные стены Иерихона.

Стр. 39. *Утварь из английского олова* высоко ценилась в ту пору как нержавеющая. Со времен древнего Рима олово вывозилось из Британии.

*Профос* — начальник полиции.

*Императорский указ*, о котором идет речь, был издан 25 сентября 1550 г. Народ прозвал его «кровавым указом». Хотя указ этот издан значительно позднее, чем указано в «Легенде об Уленшпигеле», но он замыкал собой длинную цепь правительственных постановлений против еретиков, постановлений, которые начали издаваться действительно в пору детства героя романа.

Стр 39—40. *Мартин Лютер* (1483—1546) — основатель протестантской церкви в Германии. Родился в семье рудокопа, окончил Эрфуртский университет, в 1505 г. принял монашество и вскоре после того стал священником. В 1517 г. вывесил на дверях церкви в Виттенберге 95 тезисов, направленных против католичества. В 1520 г. был отлучен папой. В 1523 г снял с себя монашеский сан. В 1525 г. враждебно отнесся к Крестьянской войне, призывая «князей к убийству» (Маркс) восставших крестьян. В последующие годы был занят ревностным насаждением протестантизма в Германии и укреплением теоретико-богословской основы новой религии. См. ниже «реформаты».

*Джон Виклеф* (Уиклиф) — английский священник, представитель ранней реформации в Англии XIV века.

*Ян Гус* (1369—1415) — глава чешской реформации, выдающийся деятель чешской культуры, вдохновитель чешского национально-освободительного движения и национальный герой Чехии. Сожжен по приговору Констанцского собора как еретик.

*Эколампадий* (1482—1531) — деятель швейцарской реформации.

*Ульрих Цвингли* (1484—1531) — один из крупнейших представителей реформации в Швейцарии («цвинглианство»). Пал жертвой крестового похода католических кантонов против Цюриха.

*Филипп Меланхтон* (1497—1560) — соратник Лютера и глава немецкой реформации после его смерти.

*Иоанн Померан*, или *Бугенхаген* (1485—1558) — сыграл крупную роль в распространении лютеранства на севере Германии, а также в скандинавских странах.

*Юстус Ионас* (1493—1555) — один из ревностнейших сотрудников и друзей Лютера в деле реформации.

*Марсилиус Падуанский*, *Франциск Ламберт*, *Оттон Брунсельзиус*, *Иоанн Пуперис*, *Горциан* — второстепенные деятели реформации в различных странах, перечисленные в указе Карла V от 25 сентября 1550 г., изданном в г. Аугсбурге и подтвержденном Филиппом II спустя шесть лет.

Стр. 42. *Троя* (или же Иллион) — древний город-государство в Малой Азии, прославленное героическим эпосом греков («Илиада»).

*Фригия* — область в Малой Азии, границы которой много раз изменялись (по побережью Эгейского, Мраморного и Черного морей). Фригийские колпаки имели загнутый вперед верх.

Стр. 43. *Гамбривиус*, чаще *Гамбринус* — сказочный король Фландрии, которому приписывалось изобретение пива.

Стр. 44. *Аргус*, по прозвищу «Всевидец» — мифическое существо (греч мифология), которому приписывали сто глаз, из коих пятьдесят бодрствовали, когда другие пятьдесят отдыхали. Олицетворение бдительности.

Стр. 45. «...я купил за хорошие деньги у его святейшества патент...» — то есть папское разрешение, здесь — на эксплуатацию «чуда св. Мартина». Католическая церковь изошрялась в изобретении всевозможных способов выкачивания народных средств. Огромные прибыли давала, например, выдача патентов на нарушение постов, так что Филипп II мог лично запроектировать на 1560—1561 гг. получение полумиллиона дукатов как долю государства только по этой статье.

Стр. 46. *Официалами* в католической церкви назывались должностные лица, облеченные церковно-судебной властью

Стр. 51. *Астарта* — богиня земного плодородия, материнства и любви у древних финикийян; в представлении монахов в «Уленшпигеле» — жена сатаны.

Стр. 63. *Гиперборейцы* — в греческой мифологии народ, якобы живший на крайнем севере; *гиперборейский* — северный, здесь: холодный, как лед, ледяной.

Стр. 65. *Бензой* — ароматное вещество из смолы бензоевого дерева; применяется в парфюмерии и теперь.

Стр. 68 «...Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном императором Карлом». — Гент восстал про-

тив Карла V в 1539 году. Карл V рос и воспитывался в Нидерландах. Гент — место его рождения.

Стр. 68. «*Враг Карла, Франциск Длинноносый...*» — французский король Франциск I сначала обещал помощь восставшему Генту, а потом выдал его замыслы императору. Карл V четыре раза воевал с Франциском (между 1521 и 1544 гг.).

Стр. 69. *Валансбени* — в то время пограничный с Францией нидерландский промышленный город, знаменитый своими кружевами и легкими тканями.

*Альба* — Фернандо Альварес де Толедо, герцог Альба, один из виднейших испанских полководцев XVI в., наместник Нидерландов с 1567 по 1573 г.

*Concessio Carolina*. — В 1540 г. император Карл V предпринял карательную экспедицию против восставшего Гента, отказавшегося внести подать, на которую этот город предварительно не дал своего согласия. Вступив в Гент, Карл V наложил на город тяжелый штраф и подверг его суровому наказанию. Было объявлено, что отныне все должностные лица будут назначаться самим императором. Количество цехов (они руководили восстанием) было уменьшено вдвое, и они были лишены политической власти и самоуправления. Новые конституционные порядки были объявлены городу в грамоте, названной *Concessio Carolina*.

Стр. 72. *Мария Португальская*. — В конце 1543 г., шестнадцати лет, Филипп женился на своей двоюродной сестре, инфанте португальской, Марии. Она родила сына, дон Карлоса, 8 июля 1545 г и спустя несколько дней умерла. Португалия была присоединена Филиппом к Испании значительно позднее, в 1581 г.

*San-benito* — одеяние в виде мешка (почему оно первоначально и называлось *sacco benito*) с намалеванными на нем чертями и языками адского пламени; осужденные за ересь шли в нем на публичное сожжение.

Стр. 79. *Орден «Упитанная рожа»*. — Страна необычайного расцвета городской жизни, Нидерланды того времени, с их трудолюбивым, общительным и любящим повеселиться населением, были наводнены всевозможными вольными обществами. Не говоря о цехах, гильдиях и прочих производственных и бытовых объединениях, тут были многочисленные театральные, литературные («камеры реторики»), военные, стрелковые и просто увеселительные общества. Последние нередко принимали всякие шуточные, забавные наименования, вроде описанного здесь ордена «Упитанной рожи»,

Стр. 88. *Фирсхаро* (буквально: «четыре скамьи»). Так назывался общинный суд, собиравшийся, по обычаю, под председательством представителя верховной власти (балы, коменданта), с уча-

ствием наследственных старшин (*эшевенов*) и выборного мэра (бургомистра),

Стр. 91. «...*Филипп, бывший также королем Англии*...» — Филипп был мужем английской королевы Марии Тюдор, на которой он женился 25 июля 1554 г. Вступая в брак, Филипп получил от своего отца королевство неаполитанское и герцогство миланское. Парламент решительно отверг предложение Марии короновать Филиппа королем Англии, так что Филипп был только мужем английской королевы, но не королем. Описанные здесь празднества относятся не ко времени его женитьбы на Марии Тюдор, а к его первому посещению Нидерландов в 1549 г., когда он действительно приехал «обозревать свое будущее наследие» и когда провинции признали его, хотя он и произвел на своих будущих подданных тяжелое впечатление.

*Брюссель* — главный город герцогства Брабант и столица тогдашних Нидерландов.

*Золотая булла Брабанта.* — К особо важным государственным актам привешивался золотой оттиск печати, и они именовались «золотыми буллами», то есть грамотами. Золотая булла Брабанта называлась *Joyeuse Entrée*, что дословно значит «радостный въезд». Эта конституционная грамота обеспечивала Брабанту такие права и вольности, какими не пользовались другие нидерландские провинции. Каждый новый герцог подтверждал эту золотую буллу Брабанта при торжественном въезде в Брюссель, отчего и самую грамоту окрестили «Радостный въезд».

Стр. 94. *Эстерлинг* — нидерландская мера веса для золота, серебра или монет; равнялась полутора граммам. В эстерлинге — 32 аса.

*Реформаты* — сторонники наиболее распространенного в Нидерландах протестантского вероучения, кальвинизма. *Жан Кальвин* (1509—1564) — француз, возглавивший реформацию в Женеве (Швейцария). По словам Энгельса («Развитие социализма от утопии к науке», 1952, стр. 17), кальвинизм отвечал «...требованиям самой смелой части тогдашней буржуазии» и был религиозным выражением ее интересов. Он сыграл большую роль в борьбе протестантизма с католической реакцией XVI в. и из Женевы — родины кальвинизма — широко распространился в Англии, Шотландии, Нидерландах, ряде областей Германии, во Франции, Венгрии и скандинавских странах. Кальвинизм явился религиозной оболочкой для выступления буржуазии в двух ранних буржуазных революциях — нидерландской XVI в. и английской XVII в. «Если лютеранство в Германии стало послушным орудием в руках германских мелких князей, то кальвинизм создал республику в Голландии и

сильные республиканские партии в Англии и особенно в Шотландии» (Энгельс, цит. выше работа, стр. 17).

Стр. 100. *Мария ван дер Гейнст*. — От этой Марии (Иоганны) ван дер Гейнст родилась побочная дочь императора, позднее (1559—1567) правившая Нидерландами под именем герцогини Маргариты Пармской.

Стр. 107. *Мария Уродливая* — Мария Тюдор, известная в истории под именем Марии Кровавой (а не Уродливой), — английская королева с 1553 по 1558 г. Она была дочерью испанской принцессы Екатерины Арагонской и английского короля Генриха VIII, после которого царствовал его несовершеннолетний сын Эдуард VI; при этих королях в Англии восторжествовала реформация. Царствование Марии Тюдор было для Англии временем восстановления католицизма Ханжа, как и ее мать, она отличалась большой жестокостью. Преследуя протестантов, она сотни их отправила на эшафот и на костер.

«Разве я виновата в своем бесплодии?» — От брака с Филиппом у Марии Тюдор была девочка, и, следовательно, это место в «Уленшпигеле» является отступлением от исторической истины.

Стр. 110. *Доминиканцы* — монахи ордена святого Доминика. С 1232 г на этот орден папа возложил обязанности духовного суда, инквизиции

Стр. 117. *Фридрих Саксонский* (Иоганн-Фридрих, курфюрст саксонский с 1532 по 1547 г.) был одним из вождей союза протестантских князей и городов Германии, существовавшего с 1531 года. Карл V разбил войска союза 24 апреля 1547 г. и взял в плен Фридриха Саксонского (в битве при Мюльберге).

*Вавилон*, по библейским свидетельствам, отличался большой распушенностью нравов (под Вавилоном здесь подразумевается Рим, резиденция папы).

Стр. 120. *Генрих II* — сын Франциска I, король Франции с 1547 г. по 1559 г. Он продолжал политику отца, постоянной целью которой было ослабление могущества Испании. В 1552 г. Карл V потерпел поражение под крепостными стенами *Меца* и был вынужден снять осаду. После этого было заключено перемирие на пять лет, но Генрих II нарушил его, как только испанская корона перешла от Карла к Филиппу II.

Стр. 121 *Юлий III* — папа римский (1550—1555) — возвел в сан кардинала, под именем Иннокентия, одного темного проходимца, который стал всемогущим временщиком при папском дворе.

Стр. 123 *Орден премонстрантов*, или белых каноников (норбертинцы), был основан монахом Норбертом около 1120 г., когда

Норберт стал собирать своих учеников на лугу, будто бы предуказанном ему с небес, откуда и название ордена (pré montré по-французски означает «предуказанный луг» — pratum monstratum, лат.). Премонстранты ходили в белых одеяниях.

*Индюльгенции* — продаваемые церковью за деньги свидетельства об отпущении грехов. Протестанты нападали на этот бесстыдный способ вымогательства денег у верующих. Они, например, указывали, что папа Лев X продажей индюльгенций покрывал расходы на свою порочную жизнь.

Стр. 124. *Люцифер* — одно из имен сатаны, означающее, полатыни, «Светоносец» — так называли (в христианской мифологии) отпавшего от бога и ставшего дьяволом ангела до его отпадения.

Стр. 125. *Флорины, крузаты, дукатоны, соверены, экю* — золотые монеты разных стран, имевшие тогда хождение по всей Европе; *патары, су и денбе* — мелкая разменная монета, как и *сольдо*, упомянутый в предшествующей главе.

Стр. 129. *Барон де Рэ* (Жиль де Лаваль, барон де Рэ) — француз, родился в 1396 г., отличился при Карле VII в битвах с англичанами и впоследствии получил маршалский жезл. Разорившись, он поселился в своем замке — в окрестностях г. Нанта, где предавался в течение четырнадцати лет ужасающему распутству. В 1440 г. он был сожжен на костре. Обвинение утверждало, что за годы жизни в замке он заманил несколько сот мальчиков, которые стали жертвами его садизма. Народное предание связало его подлинную историю с известной легендой о Синей Бороде и сделало барона де Рэ чернокнижником и колдуном.

Стр. 130 «...у императора Карла тоже есть овод — это благородный Франциск Первый, король французский...» — Уместнее сказать «был», так как в главе LII упоминалось имя нового короля Генриха II, сына Франциска. Притом уже рассказано о браке Филиппа с Марией Тюдор, состоявшемся в 1554 г., тогда как Франциск умер в 1547 г.

*Вечный жид.* — По древнехристианскому преданию, еврей Агасфер оскорбил Иисуса Христа, шедшего на крестные муки, и за это бог осудил его на вечное скитание по земле.

*Ландграфом Гессенским* в ту пору мог быть только Филипп Гессенский, правивший с 1518 по 1567 г. Он был деятельным сторонником протестантизма, вместе с курфюрстом Фридрихом Саксонским возглавлял Шмалькальденский союз протестантских князей и вел войну против императора Карла V и всей германской католической партии. *Ландграф* — титул, близкий к герцогскому;

так, ландграфство гессенское разделилось потом на два герцогства: Гессен-Кассель и Гессен-Дармштадт.

Стр. 137. *Генеральные штаты* — общий для всех нидерландских провинций сословный сейм, состоявший из представителей провинциальных сеймов (штатов).

*Вильгельм Оранский* (1533—1584) — принц, сын графа Нассау. От отца он унаследовал обширные земли в Нидерландах, от дяди — княжество Оранское на юге Франции. Он стал богатейшим нидерландским вельможей с годовым доходом в 150—200 тысяч флоринов, тогда как самый богатый после него, Эгмонт, имел доход не более одной трети этой суммы. Официально он был наместником (штатгальтером) трех провинций (Голландии, Зеландии и Утрехта) и членом государственного совета Нидерландов. Буржуазные историки представляют его вождем нидерландской революции, но это был прежде всего немецкий князь, стремившийся округлить свои владения за счет территории нидерландских провинций. Он перешел в лагерь революции только под давлением широко распространившегося революционного движения и был в 1572 г. избран штатгальтером отколовшихся северных провинций. Вильгельм Оранский, ставленник крупной голландской буржуазии, вел свирепую борьбу с народными движениями. Был убит 10 июля 1584 г. католиком Жераром.

*Эгмонт* (1522—1568), Ламораль, граф Эгмонт, принц Гевенский — наместник Фландрии и Артуа, где у него были богатейшие владения. В 1557 г. он сыграл выдающуюся роль в победе испано-фламандских войск при Сен-Кантене, а в следующем году разбил французов при Гравелингене (Гравелине), определив этими двумя победами благоприятный для Филиппа II исход войны 1556—1558 гг. Это не помешало Филиппу II казнить Эгмонта в 1568 г., хотя Эгмонт, будучи католиком, всячески подчеркивал свою верность королю — как своими жестокими расправами с реформатами, так и особой присягой о «неограниченном повиновении» Филиппу II (1567), дать которую отказались Вильгельм Оранский и видный нидерландский аристократ *Генрих Бредероде*.

*Горн* (1518—1568), Филипп Монморанси, граф Горн — крупный нидерландский феодал, наместник Зютфена и Гельдерна, адмирал и государственный деятель. Он был другом Эгмонта и его соратником в битвах при Сен-Кантене и Гравелингене. Горн разделил судьбу Эгмонта.

*Золотое Руно* — рыцарский орден высшей нидерландской знати, к которому со времен Карла V могло принадлежать не более 52 человек. Учрежден в 1430 г. бургундским герцогом Филиппом Добрым. Орденский знак состоял из золотой цепи с фигуркой агнца,

напоминавшего о смирении, подобающем рыцарям ордена, и о том, что шерсть — национальное богатство Нидерландов.

«...я слишком много ел всю жизнь...» — По свидетельству историков, Карл V отличался болезненной прожорливостью и неводержанностью к напиткам, разрушившим его могучее здоровье. У Филиппа II было подчеркиваемое Костером пристрастие к сладкому.

Стр. 138. «...третий... для королевы». — Речь идет о Марии Австрийской, сестре Карла V, вдове Людовика II, короля Венгрии и Богемии. Она была правительницей Нидерландов при Карле V, с 1531 до 1555 г., то есть до его отречения.

«Медленно и долго говорит один старик...» — Филипп де Брюссель, член тайного совета Нидерландов.

Стр. 139. *Гранвела* — Антуан Перрено — кардинал, министр императора Карла V и его ближайший советник, сумевший сохранить свое влияние при Филиппе II. *Епископом Аррасским* он стал еще в 1540 г. Филипп II, покидая Нидерланды в 1559 г., оставил его при правительнице Маргарите Пармской и сделал (1561) главой нидерландской церкви (в качестве архиепископа Мехеленского). В 1561 г. папа возвел его в кардиналы. Он был доверенным лицом Филиппа II (контролировавшего через него свою сестру-правительницу), проводником испанской самодержавной политики, направленной на подавление национально-освободительного движения Нидерландов, и руководителем религиозно-политического террора инквизиции. Он презрительно отзывался о народе, говоря: «злое животное, именуемое народ», а народ прозвал его «Красной собакой» — по цвету кардинальской шапочки и за те потоки крови, которые пролил Гранвела. Весной 1564 г. Филипп II уступил народному возмущению и убрал Гранвелу из Нидерландов.

Стр. 140. *Кадзанский мирный договор* был заключен в 1489 г. между делом Карла V императором Максимилианом I и возмущившимися против него фламандцами, которые, задержав Максимилиана в Брюгге, выпустили его, только добившись уступок. *Кадзан* — маленький городок в северо-западном углу Зеландии, недалеко от моря.

Стр. 141. *Eulenspiegelchen*, то есть Эйленшпигельчик — тут Шарль де Костер связывает своего Уленшпигеля с Уленшпигелем народных рассказов (швенки).

Стр. 144. «...кто живет между своих четырех столбов, тот свободен» — юмористическая ссылка на неприкосновенность частного жилища.

Стр. 151. «...архикардинал, чрезвычайный архисекретарь, тайный камергер его святейшего святейшества». — Уленшпигель с притвор-

ной важностью юмористически извращает слово «кардинал» не употребляемой при нем частицей «архи» (то есть главный), комически титулует папу и нагромождает необычные эпитеты к этим словам.

*Священные декреты* — постановления первых пап.

Стр. 153. *Фальконет* — легкое полевое орудие, стрелявшее ядрами величиной с апельсин.

Стр. 157. *Тительман* Петер — один из самых беспощадных инквизиторов Фландрии. Он заслужил такую ненависть народа, что, несмотря на внушаемый им ужас, подвергся однажды публичному поруганию шедшей за ним с угрозами толпы. Владельцы гостиниц, из страха перед народом, отказывались впустить его.

Стр. 161. *Римская блудница* — католическая церковь, возглавляемая папой римским.

Стр. 167. *Симония* — продажа духовного сана, который, по религиозным представлениям, может даваться только небесной благодатью, а не покупаться за деньги. Церковь, продавая индульгенции, то есть за деньги отпуская грехи, была сама повинна в симонии (в чем ее и обвиняли протестантские богословы).

Стр. 169. «...с трудом удерживали волнующуюся толпу». — В описываемое время во многих местах подавление ереси стало наталкиваться на открытое сопротивление. Народ приступом брал тюрьмы, где сидели в заключении еретики. В Валансьенне толпа разбросала вязанки хвороста и освободила жертвы, а когда участников приговорили за это к сожжению, они смело шли на костер, распевая протестантские псалмы «до последнего издыхания». Филипп, узнав об этом «очень дурном примере», поспешил посоветовать Маргарите впредь затыкать приговоренным рот «кляпом или чем-нибудь другим», наподобие того, что ему довелось видеть в Англии при Марии Тюдор.

Стр. 182. *Монастырь святого Юста*, основанный в 1404 г., известен тем, что здесь жил (не приняв монашеского сана) император Карл V после отречения до дня своей смерти (21 сентября 1558 г.).

Стр 202. *Гейдельбергская бочка*. — В знаменитом в истории немецкой архитектуры замке XVI века, расположенном на высоком холме возле университетского города Гейдельберга, туристам показывали огромную бочку 7 × 8,5 метра, емкостью свыше 200 тысяч литров. Она сделана в 1751 г. по образцу имевшихся здесь прежде бочек.

Стр. 213. «Умерший император» — Карл V. «Живой король» — Филипп II «Правительница Маргарита» — побочная сестра Филиппа II, правившая Нидерландами с 1559 по 1567 г.

*Великий инквизитор* — глава Высшего совета испанской инквизиции.

*Генерал иезуитского ордена.* — Основателем и первым генералом (главой) ордена иезуитов был духовник Маргариты Пармской, Игнатий Лойола, основавший орден в 1534 году. Иезуиты были ревностными пропагандистами католичества, неразборчивыми в средствах для достижения цели, действовавшими под девизом: «Всё ради вящей славы божией».

Стр. 221. *Эскориал* (чаще неправильно: *Эскуриал*). — Филипп II выстроил в 40 километрах от Мадрида дворец, монастырь и усыпальницу — Эскориал, который, по выражению некоторых историков, стал «гробницей великого прошлого Испании». Упоминание Тиля Уленшпигеля об Эскориале в разговоре с Эгмонтом (гл. XVI, книга вторая) тем многозначительнее, что Эскориал был воздвигнут в память о победе при Сен-Кантене, одержанной Эгмонтом в 1557 г.

*Граф Людвиг Нассауский* — брат Вильгельма Оранского, один из храбрейших военных руководителей восстания и ревностный кальвинист, погибший в битве на Мооскской равнине в 1574 г.

*Граф Кейлембург* — знатный нидерландский феодал. В его дворце вечером 5 апреля 1566 г. собрались члены союза, получившего название «Компромисс», и здесь, якобы по предложению Бредероде, члены этой дворянской лиги приняли кличку «гёзы». 28 мая 1568 г. (за несколько дней до казни Эгмонта и Горна) Альба смел с лица земли дворец Кейлембурга и на месте его приказал поставить свою стацию.

Стр. 222 *«Компромисс»*. — Так назывались и прошение (петиция) дворян и дворянская лига — союз тех, кто подписал это прошение. «Вечером подписавшие «Компромисс» члены союза устроили банкет во дворце «Кейлембург». Большинство их остригли бороды и надели на себя такие же нищенские котомки с мисками, какие носили бродившие по стране нищие и оборванцы (*gueux*). Что означали эти странные эмблемы, которые должны были служить отличительным признаком членов союза? Явилось ли толчком к принятию этого символа бранное слово, произнесенное в это утро графом Берлеймоном? Не более ли вероятно, что, переодеваясь нищими, дворяне намекали на то, что королевская политика вскоре приведет страну к гибели? Никто не может дать точного ответа на этот вопрос. Во всяком случае именно в этот вечер впервые раздался клич: «Да здравствует гёз!», в течение стольких лет потом повторявшийся в нидерландских провинциях» (А. Пиренн, «Нидерландская революция»).

*Берлеймон* — см. прим. к стр. 244.

Стр. 227. *Дурацкий колпак*. — Черный плащ, усеянный вышитыми на нем шутовскими колпаками, стал отличительной формой лиги оппозиционного нидерландского дворянства года за два до того, как члены этой лиги стали называть себя гёзами.

Стр. 230. *Минориты* — монашеский орден, основанный Франциском Ассизским, — францисканцы. Возникнув в самом начале XIII в., этот орден нищенствующего монашества уже в 1270 г. насчитывал 200 тысяч монахов, которые жили в 8 тысячах монастырей. Даже в пору начавшегося упадка монашества, в XVIII в., орден имел 9 тысяч монастырей.

Стр. 231. *Бренциус*, или *Иоганн Бренц* — виднейший деятель реформации в Швабии, составитель первого лютеранского катехизиса (1527) и «Вюртембергского исповедания веры» (1552).

*Сервет* Мигель (1511—1553) — видный теоретик протестантизма; он был антитринитарий, то есть противник учения о троичности бога, а не тринитарий, как судит о нем патер Корнелис; именно за эту ересь он, по настоянию главы швейцарской реформации Жана Кальвина, и был сожжен в Женеве

*Анабаптист Мюнцер*. — Анабаптисты, то есть перекрещенцы, требовали, чтобы крещение происходило не в младенчестве, а в сознательном возрасте. *Мюнцер* (род около 1490 г.) не был анабаптистом, но среди анабаптистов он нашел наибольшее количество сторонников своего учения. Для Мюнцера религия была только оболочкой, а сущностью было требование социального переворота, полного упразднения эксплуатации, уничтожения эксплуататоров. Энгельс («Крестьянская война в Германии») считал, что Мюнцер приближался к атеизму, и он высоко ценил зародыши пролетарской идеологии в его учении, в котором были коммунистические элементы. Мюнцер стал вождем крестьянско-плебейского лагеря реформации. Но его предвосхищенный фантазией коммунизм, который он называл «царством божим», не нашел достаточной опоры в действительности. Отряд Мюнцера был разбит, а сам он после пыток казнен (1525) сторонниками Лютера, которого Маркс называл «княжеским холопом».

*Адамиты* — члены христианских сект, существовавших с первых веков христианства; адамиты требовали возвращения к первобытной библейской невинности и являлись на богослужение нагими («подобно Адаму»).

Стр. 244. *Государственный совет*. — Из трех советов, управлявших Нидерландами — финансового, тайного и государственного, последний обсуждал важнейшие вопросы внутренней и внешней политики Председателем финансового совета был граф *Берлеймон*, а тайного — юрист *Виглиус* ван Зейхем. Они же были и членами

государственного совета, в который входил еще и фактический правитель Нидерландов кардинал Гранвела. Национальную и антииспанскую оппозицию в государственном совете представляли принц Оранский и графы Эгмонт и Горн

Стр. 245. *Куртре* — старинный город западной Фландрии, знаменитый своим полотном и кружевами.

Стр. 247. *Граф Мегем* — один из активнейших представителей так называемой «католической партии», сгруппировавшейся (во главе с графом Мансфельдом) вокруг правительницы Маргариты Пармской в самом начале нидерландской революции

Стр. 250. *Ламотт* (Валентин Пардьё сир де ла Мотт) — валлонский офицер-наемник, с 1556 г. участвовавший в подавлении протестантского движения.

Стр. 251. *Берхем* — промышленный городок возле Антверпена.

*Филипп де Ланнуа, барон де Бовуар* — один из военачальников Маргариты Пармской, известный своими действиями против кальвинистов; так, 31 марта 1566 г. он разбил отряд кальвинистов под командой Жана Марникса, готовившийся овладеть Антверпеном.

Стр. 254. *Симон Праат* — фламандский печатник, сторонник протестантов, печатавший Библию на фламандском языке, что считалось тяжким преступлением.

Стр. 257. *Граф Гоохстратен*, Антуан Лален — представитель короля в Генеральных штатах, крупный нидерландский феодал, покровитель движения сопротивления испанцам. Подобно Вильгельму Оранскому, он отказался в 1566 г. связать себя клятвой о «неограниченном повиновении» королю, но весной 1567 г. принес требуемую присягу. Все же он последовал потом за Вильгельмом Оранским.

Стр. 258. *Монтиньи* — младший брат графа Горна — был отправлен вместе с маркизом Бергеном к Филиппу II с поручениями от нидерландского дворянства. Оба были брошены в тюрьму и задушены там по повелению короля.

*Алава* — годашний испанский посол в Париже.

Стр. 260. *«Альба в Брюссель вошел...»* — Герцог Альба вступил в Брюссель 9 августа 1567 г. С ним было 9 тысяч человек лучшей тогда в Европе испанской пехоты и отборный отряд в 1200 человек конницы.

Стр. 263. *«Молчаливый идет в поход...»* — Вильгельм Оранский (прозванный за свою сдержанность прирожденным дипломатом Молчаливым), несмотря на настойчивые уговоры графов Горна и Гоохстратена, принесших Филиппу присягу в верности, не последовал их примеру 11 апреля 1567 г. он покинул Антверпен и отправился в свое родовое владение — графство Нассау, где начал собирать силы для борьбы с испанцами.

«Оба графа уже схвачены». — Графы Эгмонт и Горн были арестованы 9 сентября 1567 г.

Стр. 264. *Братья д'Андло, дети Баттенбурга*, были арестованы и обезглавлены за попытку овладеть Амстердамом. *Дирик Слоссе* — лощман, предательски посадивший на мель корабль Баттенбургов, отчего заговорщики были захвачены в плен. Ниже, в главе XVII книги четвертой «Уленшпигеля», рассказано, какое возмездие свершилось над этим предателем.

Стр. 277. *Луис Вивес* — испанский прогрессивный философ, профессор Лувенского университета (Нидерланды), умер в Брюгге в 1540 г. Он был наставником Марии Кровавой в ее юные годы.

Стр. 278. *Бургундская палка*. — В XIV—XV вв. разрозненные нидерландские провинции были объединены в одно целое под верховной властью герцогов Бургундских. В 1482 г., по условиям Аррасского мира, Нидерландские провинции были признаны наследственными землями Габсбургов, а прежнее герцогство бургундское отошло к Франции; это положение было подтверждено еще раз (1559) мирным договором, заключенным в Като-Камбрези.

*Баярд Пьер дю Терайль* (1476—1524) — знаменитый «рыцарь без страха и упрека», французский военачальник. Костер сравнивает с ним *Людвига Нассауского*, называя последнего «*Баярд Фландрии*».

Стр. 288. *Фуггер* — Фуггеры — банкирский дом, сыгравший огромную роль в истории как германской империи, так и всей Европы. Карлу V и Филиппу II он не раз оказывал крупные услуги. Самое избрание Карла V в императоры состоялось благодаря тому, что Фуггеры дали ему для подкупа курфюрстов-избирателей свыше полумиллиона золотых. Будучи ревностными католиками, Фуггеры поддерживали борьбу Испании с протестантами. Но государственные банкротства Испании подорвали богатство Фуггеров, и в XVII в. их финансовое могущество сходит на нет; с этих пор они крупные землевладельцы с графскими и княжескими титулами.

Стр. 305. *Нассауский дрозд* — намек на принца Вильгельма Оранского, принадлежавшего к владетельному дому Нассау.

Стр. 315. *Изабелла Французская* (Елизавета Валуа) — мачеха, а не мать инфанта дон Карлоса (сына Филиппа II от первого брака). Их отношения вызывали беспочвенные подозрения в Филиппе II и послужили темой для произведений нескольких поэтов (Шенье, Шиллер, Альфьери и др.).

*Принцесса Эболи* — Анна де Мендоса — жена престарелого испанского вельможи Рюи Гомеса де Сильва, принца Эболи; находилась в связи с Филиппом II, а также одновременно с государ-

ственным секретарем Пересом; была вдохновительницей многих придворных интриг.

Стр. 331. «...в одной компании с Яковом де Костером ван Маарланд». — Так называемую могилу Уленшпигеля в Дамме (над которой стоит памятник в виде фигуры ученого в очках, читающего книгу, подле него — сова) в XVI в. показывали как могилу старого нидерландского поэта Якова ван Маарланда.

Стр. 337. *Король Наваррский* — король Франции Генрих IV (1553—1610).

Стр. 341. *Мэлестее* — предместье Гента.

Стр. 342. *Спелле* — брабантский профос, прозванный «Красная дубина» за свой красный жезл, который в глазах народа был знаком самоуправления и насилия

Стр. 345. *Принц Конде* (1530—1569) — из дома Бурбонов, глава французских протестантов (гугенотов) и их полководец. Описанное здесь событие относится к 1569 г.

Стр. 353. *Лис* — приток Шельды, впадает в нее возле Гента.

Стр. 356. *Лесные братья* — гёзы-партизаны, скрывавшиеся в лесах.

Стр. 379. «*Это египетская собака...*» — Цыгане считались в средние века выходцами из Египта.

Стр. 386. *Елизавета Тюдор* — английская королева-протестантка (1558—1603), помогавшая нидерландцам с целью ослабления Испании.

*Мария Стюарт* — шотландская королева, казненная Елизаветой, которая предварительно продержала ее в заключении 18 лет; католики как внутри Англии, так и вне ее поддерживали притязания Марии Стюарт на английский престол.

Стр. 405. *Гильом де Блуа* и адмирал *Трелон*, о которых здесь говорится, одно и то же лицо. *Трелон* — один из вождей морских гёзов, отец его был казнен Альбой в Брюсселе в 1568 г.

Стр. 407. *Тессель* — остров у берегов северной Голландии.

*Фли*, или *Флиштром* — пролив между островами Тессель и Терсхеллинг.

*Виринген* — остров северной Голландии, отделенный от нее узким морским рукавом.

Стр. 411. *Люмэ де ла Марк* — вождь морских гёзов, известный своими решительными действиями на море и беспощадностью к врагу. Суда Люмэ и Трелона к 1 апреля 1572 г. овладели крепостью Бриль возле устья Нового Мааса, и этот день празднуется как начало освобождения Нидерландов. Вслед за Брилью был освобожден *Флиссинген*, крупный порт на острове *Вальхерен*, в устье западной Шельды.

«...Альба наложил на Нидерланды гнусные и жестокие налоги.» — Налоги эти, введенные Альбой 13 августа 1569 г., были отсрочены на два года в обмен на ежегодный взнос двух миллионов флоринов. С августа 1571 г. стал взиматься десятипроцентный налог на продажу товаров и всякого вообще движимого имущества; кроме него — пятипроцентный налог на продажу земли и другого недвижимого имущества. До этого, в феврале 1571 г., был взыскан единовременный налог в один процент со всякого движимого и недвижимого имущества, давший три миллиона триста тысяч флоринов. Эти налоги парализовали нидерландскую торговлю и промышленность. Нидерландцы ответили на них сопротивлением; приток в отряды лесных гёзов и в эскадры морских гёзов резко усилился; вскоре гёзы стали хозяевами островов в устье Шельды и Рейна

Стр 425 *Волшебная палочка* из орешника якобы обладает свойством указывать посвященным богатства земных недр, грунтово-ые воды, клады и проч.

Стр. 433. *Stramonium* — дурман; *solanum somniferum* — ядовитое растение из семейства пасленовых, обладающее снотворным действием

Стр. 437. *Хоркум* — городок в южной Голландии, взятый гёзами 25 июня 1572 г. В Хоркуме 9 июля произошла резня монахов.

Стр. 447. *Монс* — главный город провинции Геннегау, граничный с Францией. 24 мая 1572 г. *Людвиг Нассауский* ворвался в него с войсками именно так, как об этом рассказал в своей песне Уленшпигель.

*Граф Шомон*, Гитуа де — французский кальвинист (гугенот).

Стр. 449. *В ночь святого Варфоломея* (на 24 августа 1572 г.) в Париже было убито 2 тысячи гугенотов, а затем в провинции — свыше 20 тысяч. Это привело к новой, четвертой войне католиков с гугенотами (1572—1573), закончившейся изданием Примирительного эдикта.

Стр 453. *Мидделбург* — главный город нидерландской провинции Зеландия на острове Валхерен, отвоеванный у испанцев в 1574 г.

Стр. 454. «..разрушать плотины...» — чтобы затопить места, занятые неприятелем или находящиеся под угрозой его вторжения. Плотины, защищающие нидерландское побережье от моря, имеют, помимо народнохозяйственного, еще и оборонное значение.

Стр. 454 *Гарлем*, город на северо-западе Голландии, был важен потому, что со взятием его разрывалось сообщение между северной и южной Голландией и их можно было бы завоевать порознь Сын герцога Альбы *дон Фадрике* де Толедо вел осаду с неслыхан-

ной свирепостью, но город сломили не испанцы, а голод. Гарлем сдался после семимесячного сопротивления 12 июля 1573 г. Цвет испанского войска, 12 тысяч испытанных солдат, легли под стенами города, вдохновившего своей мужественной защитой другие нидерландские города Альба на этот раз захотел показать народу пример королевского милосердия. Он расстрелял всех французских, валлонских и английских солдат, в количестве 2300 человек, находившихся в городе, но в отношении городского населения ограничился пятью или шестью казнями и контрибуцией в 100 тысяч эю, которые были розданы войскам. Гёзы не смогли освободить город (вопреки тому, что рассказано в «Легенде об Уленшпигеле»).

Стр. 459. *Энкгейзен* — город в западной Фрисландии, у выхода из Зейдерзее — морского залива, глубоко вдающегося в Голландию.

Стр. 464 *Лейден* — город в южной Голландии, на Рейне, прославившийся героической защитой во время двух испанских осад (с 31 октября 1573 г. по 3 октября 1574 г.).

Стр. 465. «...покрываясь святой шляпой, пожалованной святым отцом». — Кроме нее, папа послал Альбе и освященную им шпагу.

Стр. 479. Город *Раммекенс* был освобожден 1 августа 1573 г., *Гертруйденбург* — 16 августа. Испанцы долго осаждали *Алькмаар*, но вынуждены были снять осаду, так как войска, в течение многих месяцев не получавшие платы, отказались воевать.

Стр. 480. «...кровавый герцог бежит». — Альба покинул Нидерланды 18 декабря 1573 г. Его соправителем некоторое время был герцог *Медина-Сели* (до 28 июля 1573 г.). Последний покинул Нидерланды 6 октября, и Альба сдал наместничество *Рекесенсу*, правившему с 29 ноября 1573 г. до 5 марта 1576 г.

Стр. 486. *Валлоны* — французское по языку и католическое по религии население южных и западных провинций Нидерландов. *Pater-noster-knechten*, буквально: «Рабы «Отче наш» — так валлоны были прозваны за их фанатическую приверженность католицизму.

*Гентская «пацификация»* (то есть «примирение») была заключена 8 ноября 1576 г. в городе Генте, как оборонительный и наступательный союз большинства провинций (католических и протестантских) против испанцев.

Стр. 487. *Дон Хуан Австрийский* — побочный брат Филиппа II, правитель Нидерландов с ноября 1576 г. по 1 октября 1578 г. После него наместником Филиппа II в Нидерландах стал *Александр Фарнезе*, сын Маргариты Пармской, умерший 3 декабря 1592 г. Благо-

даря блестящим военным дарованиям и таланту дипломата Фарнезе сумел добиться крупных успехов в Нидерландах.

«...королем их будет принц Анжуйский» — Франциск, брат французского короля Генриха III. Генеральные штаты избрали его государем Нидерландов. На этом настаивал Вильгельм Оранский, который, обманувшись в расчетах на помощь со стороны Германии, не имея твердой и последовательной поддержки Англии, считал необходимым, видя успехи Александра Фарнезе, опереться на помощь Франции. Однако новый государь, прибыв (в феврале 1582 г.) в Нидерланды, стал на первых же порах нарушать конституцию и пытался захватить Антверпен. Изгнанный из Нидерландов, этот распутный и уродливый принц вскоре умер.

*Дон Себастиан Португальский* — король Португалии (1557—1578), вел упорную борьбу с африканскими маврами и старался обратить их в христианство.

Стр. 489. *Хаурегги* Хуан неудачно покушался в марте 1582 г. на жизнь Вильгельма Оранского.

*Дуэ* — город в западной Фландрии (теперь в Северном департаменте Франции), в котором Филипп II открыл реакционный католический университет для борьбы с протестантизмом.

*Малин*, или *Мехелен* — брабантский город в двадцати километрах к северо-востоку от Брюсселя, церковная столица Нидерландов с 1559 г.

Стр. 511. «*да будет низложен...*» — Низложение Филиппа II и провозглашение независимости северных нидерландских провинций состоялось 26 июля 1581 г.

Стр. 512 *Мориц Нассау* (1567—1625) — знаменитый полководец того времени, был после смерти отца избран штатгальтером Голландии и Зеландии.

Стр. 513. *Польдерсы* (польдеры) — низменные места, которые нидерландцы столетиями самоотверженным трудом отвоевывали у моря и у болот, защищали плотинами от затопления и превращали в плодородные поля и сочные пастбища. В эпоху борьбы за независимость нидерландцы, не останавливаясь перед разорением, разрушали плотины и, затапливая польдерсы, топили и изгоняли испанцев. Таким образом, история польдерсов это не только великая эпопея народного труда, но и героическая эпопея освобождения, и недаром Нидерланды называются иногда Польдерланды.

*Дейвеланд* — остров, название которого означает «Голубиный остров». Неподалеку от него находится необитаемый в те времена островок *Филиппсланд*. На этих островках, так же как и на близких к ним *Птичьих островах*, некогда выводилось столько птицы, что весь край прозван *Eierland* — «Яичным краем».

Стр. 518. *Шельда* — большая река и хозяйственная артерия Франции, Бельгии и Голландии. На Шельде расположен ряд крупных фландрских городов, среди них Гент и мировой порт Антверпен. После отделения восточных Нидерландов (во главе с Голландией) от провинций, оставшихся за Испанией (нынешняя Бельгия), голландцы в интересах своей торговли закрыли устье Шельды для судоходства, и такое положение с небольшим перерывом длилось до 1839 г., когда по настоянию великих держав была объявлена свобода плавания по Шельде.

*Н. Славятинский*



СОДЕРЖАНИЕ

Легенда об Уленшпигеле. *Е. Гальперина* 3

ЛЕГЕНДА ОБ УЛЕНШПИГЕЛЕ

Предисловие Сова . . . . .	17
Книга первая . . . . .	25
Книга вторая . . . . .	207
Книга третья . . . . .	261
Книга четвертая . . . . .	403
Книга пятая . . . . .	483
Примечания. <i>Н. Славягинский</i> . . . . .	521

Редактор *А. Быкова*

Иллюстрации художника *Е. Кибрика*

Оформление художника *Я. Егорова*

Технический редактор *Л. Сутина*

Корректор *Э. Урицкая*

Сдано в набор 22/X-54 г.

Подписано к печати 1/II-55 г. А-00435.

Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> — 34 печ. л. =

= 27,88 усл. печ. л. 28,29 уч.-изд. л.

Тираж 375 000.

Зак. 1618. Цена 8 р. 60 к.

Гослитиздат

Москва, Ново-Басманная, д. 19

Министерство культуры СССР.

Главное управление полиграфической  
промышленности, 2-я типография

«Печатный Двор» имени А. М. Горь-  
кого. Ленинград, Гатчинская, 26.

8 p. 00 x.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
1955